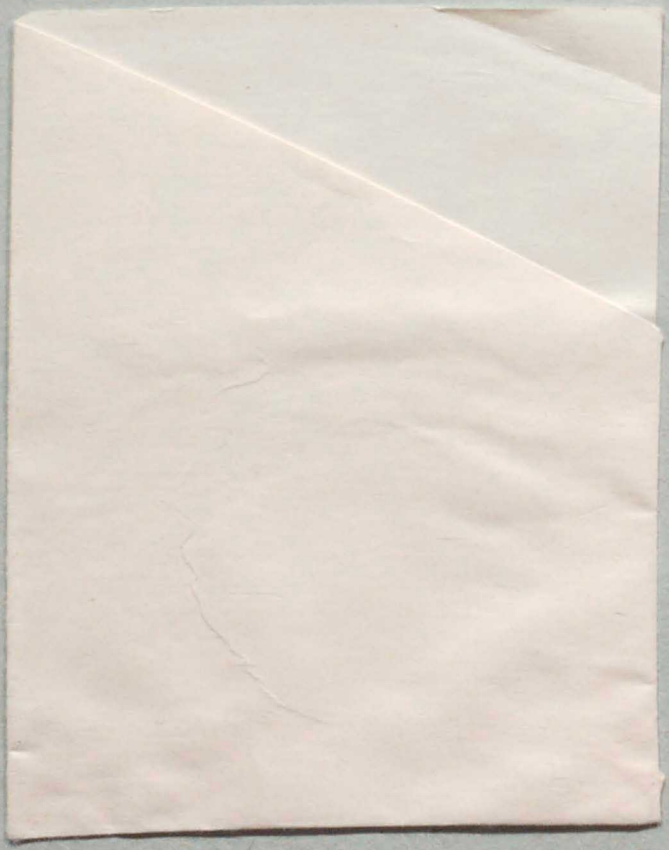
E 120
364
1922



891.7
E 120
364
73392

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

БИБЛИОТЕКА
при Об-ве ...
891.7
Д-70-с

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. С. ДОЛИНИНА

ПЕТЕРБУРГ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „МЫСЛЬ“
1922

Библиотека
имени
Н. Г. Дубенского

26804-39

2007334943

РЦ. № 592. Печ. 2000 экз. Заказ № 611.

26-я Государственная типография. Петербург, Измайловский проспект, № 29.

КНИГА ИМЕЕТ 5 стр

Листов печатных	Общее колич. вып.	В переплетной ед. соедин. номера вып.	Таблиц	Карт	Иллюстраций	Служебн. номер	Номера списка и порядковый	197 г.
33	1	1922				9	543/23	25

ОТ РЕДАКТОРА.

В месяцы промежуточные между юбилеем с м е р т и и юбилеем р о ж д е н и я Достоевского составлялся настоящий сборник, посвященный его памяти. От подведения итогов тому, что о нем уже сказано, что стало уже явным, отодвинулось в область пережитого, отчасти и преодоленного, к искание новых к нему подходов, к выяснению тех сторон его творчества, которые до сих пор почему-то ускользали с поля внимания и лишь в наши дни начинают более или менее намечаться, — по знакам, как бы символически указанным этим двойным чествованием: у м е р ш е г о и р о ж д е н н о г о, двигалась мысль тех, кто вновь в это время углубленно вдумывался в судьбы Достоевского мыслителя и Достоевского художника.

При жизни Достоевский казался человеком определенной партии; современники соглашались или спорили с ним, как с равным, мерили его своей мерой: узкой и временной. Истинное понимание пришло уже после его смерти; в течение слишком тридцати лет до наших дней Достоевского воспринимали почти исключительно со стороны идейной—какъ философа или религиозного мыслителя. И несмотря на всю суб'ективность, которая нередко окрашивала работы о нем в этом направлении,—проникновение в дух его, в сущность его идейного творчества, нужно считать, б. м., несколько односторонним, но в основе все же верным. Тенденции развития его религиозно-философских воззрений уловлены во всяком случае правильно; и здесь грани, указанные двойным его юбилеем, обязывали к одному—подвести итоги достигнутому, с тем, чтобы дальше итти по тому же пути.

Первая часть нашего сборника, целиком посвященная религиозно-философским воззрениям Достоевского, нами и мыслится как попытка дальнейшего развития и углубления результатов уже достигнутых. Открываясь общей, как бы вводной, статьей С. А. Аскольдова о «религиозно-этическом значении Достоевского»—статьей, примыкающей в основных очертаниях своих к течению «нео-христианскому» в духе Вл. Соловьева, и в то же время зовущей, на почве мистического реализма, смелее и определеннее к оптимистическому приятию мира во всем его многообразии;—первая часть уделяет затем особое внимание, в работе Л. П. Карсавина, центральному пункту в системе религиозно-философских идей Достоевского: о сущности католицизма и значении его в исторических судь-

бах западного человечества. При изучении Достоевского проблема католичества тем более важна, что положительная часть его воззрений, связанных с очень сложным философски-историческим, этическим, но как бы намеренно подчеркнуто отнюдь не мистическим толкованием православия, может быть выяснена всего лучше из этой неустанной и страстной полемики его с церковью католической, из тончайшей его критики отрицательных сторон ее, обнаружившихся не только в прошлом, но сказывающихся, как думает Достоевский, еще ярче и гибельнее в настоящем.

Христос и Антихрист или, как Достоевский его называет, «умный Дух»—так противостоят они у него, обе церкви, в аспекте, по крайней мере, историческом. И в полном соответствии с тем, что все силы мысли и творчества направлены, главным образом, на «горнило сомнений», без которых «Осанна» и не может быть прочной, «проблема зла», в глубинах своих тесно примыкающая к предыдущей проблеме, играет вторую, столь же центральную, роль в миросозерцании Достоевского. Н. О. Лосский в статье: «О природе сатанинской» пытается решать ее в плоскости метафизико-психологической на анализе его художественных произведений. Категория этическая, самая главная и самая важная для Достоевского, получает, т. о., свое освещение не только в процессе исторической реализации, но и через проникновение в метафизическую природу полярности «Добра и Зла».

Конструировать цельную философскую систему Достоевского еще не настало время. Об его гносеологии и космологии еще ничего почти не сказано. Необычайная сложность его художественных концепций вместе с исключительной его сосредоточенностью на проблемах этического характера делают, б. м., эту задачу для исследователя самой трудной, рядом с которой эстетика Достоевского кажется в гораздо более счастливых условиях. Свои взгляды на искусство, на художественное творчество, Достоевский часто высказывает не только устами своих героев, но в целом ряде статей—прямо и категорически. И. И. Лапшин дает, как нам кажется, более или менее исчерпывающее представление об его эстетических воззрениях на фоне не только русской, но и западно-европейской эстетики различных литературных школ.

Как бы завершением первой части является небольшая работа Э. Л. Радлова: «Достоевский и Владимир Соловьев». Касаясь в общих чертах основных пунктов сходства и различия их миросозерцаний, Э. Л. Радлов уделяет особое внимание характеру их мышления, устанавливая два диаметрально противоположных типа: интуитивно-гармонизирующий у Достоевского и догматико-диалектический у Вл. Соловьева. Так создается естественный переход ко второй части

нашего сборника, посвященной в первой своей части художественному творчеству Достоевского.

Вторая часть и открывается статьей В. Л. Комаровича: «Ненаписанная поэма—Житие великого грешника». В связи с внутренней биографией Достоевского, с биографией его духа, ставится проблема о форме его художественных творений, о глубочайших чаяниях его и пределах его достижений. Интуитивный тип мышления Достоевского рассматривается еще раз в плоскости художественного творчества и здесь получает дальнейшую свою конкретизацию.

Но как ни исключительна индивидуальность Достоевского, как ни своеобразен мир, им сотворенный, — точки соприкосновения между ним и его временем, исходные пункты его мыслей, его творений, необходимо установить как можно тщательнее. Достоевского,—по крайней мере, первого, докаторжного периода — абсолютно нельзя изучать вне обрамления его эпохи, вне связи с т. н. Гоголевской школой, с которой он боролся, от нее отталкиваясь, на преодоление которой он потратил так много творческих сил. В. В. Виноградов (в статье: «Стиль и композиция Двойника») и ставит вопрос о стиле и композиции его ранних творений на фоне литературных течений 30-х и 40-х годов, еще теснее—на фоне Гоголевских приемов.

Работы в этом направлении—над формой Достоевского в широком смысле этого слова—кажутся нам чрезвычайно нужными и плодотворными. Мы бы готовы были посвятить им гораздо больше внимания и места, если бы не стесненные размеры 2-й части, в рамках которой должны были уместиться и общественно-политические воззрения Достоевского.

В статье Е. Покровской, вновь пересматривается вопрос об отношении Достоевского к Петрашевцам, на основании весьма ценного документа — письма, принадлежащего перу Ап. Майкова, как известно, одного из самых близких друзей и единомышленников Достоевского. Майков определенно свидетельствует, что интерес Достоевского к социализму был далеко не только теоретический: если бы не внезапный арест, Достоевский вступил бы на путь активной борьбы с тогдашним строем, безусловно стал бы «Нечаевцем». В кружке Дурова попытки в этом направлении уже делались, и Достоевский играл в них большую роль.

Подвергаются также пересмотру (в статье: «Герцен и Достоевский») общественно политические его воззрения эпохи 60-х годов, делается попытка точнее определить место его в системе идей, являющихся дальнейшим развитием западничества и славянофильства, в частности—его отношение к общественно-политическим взглядам Герцена. Традиции русской мысли, идущие от Герцена, как бы раздваиваются,

являясь, с одной стороны, главной основой «почвенничества» Достоевского, с другой—системы народничества 70-х годов. Сказывается органически общность происхождения, и ясно улавливаются нити, связующие творчество Достоевского с творчеством народника Глеба Успенского, на фоне основных интересов той эпохи. Такова тема работы Л. К. Ильинского: «Достоевский и Глеб Успенский».

На этом кончается исследовательская часть сборника, третья часть которого посвящена целиком материалам. Идут вначале его неизданные произведения: подробный план «Жития великого грешника», страницы из «Записок из Мертвого Дома» и задержанная цензурой статья его о «Петрашевцах». Затем письма к Гончарову, Полонскому, Майкову и целому ряду других лиц; среди этих писем особенно ценны—не только в смысле, т. ск., житейски-биографическом, но и со стороны истории и психологии его творчества—письма к Ап. Майкову.

Впервые печатается также часть воспоминаний Анны Григорьевны Достоевской, относящихся к началу 70-х годов; в конкретной, семейной обстановке рисуется личность Достоевского. — Это пока первые штрихи для создания образа его житейского, в оболочке, по земному близкой и трепетно волнующей, для чего до сих пор было у нас так мало данных.

Таков план, которым мы руководствовались при составлении настоящего сборника. В общих чертах своих этот же план должен лечь в основу мечтаемого нами периодического издания: «Достоевский и его современники». Общими усилиями петербуржцев и москвичей, как нам известно, усердно и плодотворно работающих над творчеством Достоевского, эта мечта наша—мы надеемся—вскоре начнет осуществляться.

Долгом считаем выразить здесь глубочайшую свою благодарность всем тем, которые дали в наш сборник материалы по биографии и творчеству Достоевского, в особенности—глубокоуважаемому и дорогому Борису Львовичу Модзалевскому, которому мы обязаны большинством ценнейших для всякого исследователя материалов, вошедших в третью часть.

Выражаем также нашу искреннюю признательность А. С. Николаеву, принимавшему столь горячее участие в осуществлении нашего замысла. Ему же мы обязаны и самой мыслью о сборнике. За помощь и поддержку наша благодарность и И. Л. Маяковскому.

А. Долинин.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С. АСКОЛЬДОВ.

РЕЛИГИОЗНО-ЭТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОСТОЕВСКОГО.

Религиозно-этическое значение Достоевского.

Чем дорог нам Достоевский? Явил ли он нам законченные красоты русского языка, подобно Тургеневу, был ли он бытописцем и изобразителем типов, как Гоголь, Островский, Лесков, Л. Толстой, размахнулся ли он в ширь исторических эпопей, подобных «Войне и миру», или, наконец, подобно тому же Толстому, выступил в роли учителя жизни и религиозного проповедника? Нет—как стилист, он неряшлив и подчас томителен своими длиннотами, нагромождением деталей. Быт и русского человека он знал, и, несомненно, мог бы изобразить своих героев в различных жизненных позах и ситуациях. Отчасти он и сделал это. Но жизненной правде его изображений все же нельзя доверять. По его произведениям нельзя исторически правдиво воспроизводить русскую жизнь и общественность, как это вполне возможно по творчеству Гоголя, Тургенева, Островского, Толстого. Во все изображения внешней и внутренней жизни его действующих лиц слишком вклинивается его собственная личность, посторонние подлинному реализму замыслы и точки зрения. Тона же проповедника, учителя и мудреца он никогда не брал не только в своих художественных произведениях, но и в публицистической деятельности. И если ему всегда хотелось страстно прокричать что-то свое, глубоко пережитое и передуманное о жизни, то кричал он каким-то надтреснутым, слишком не импонирующим голосом, кричал не столько для того, чтобы убедить других, сколько для того, чтобы сказать «dixi et animam levavi». И скорее безнадежность в своей убедительности звучит в его речах, часто как бы нарочно направленных к тому, чтобы не убедить, а раздосадовать иначе мыслящих. Слишком он останавливается на том, что им не по вкусу, а иногда и не по разумению. Так ли говорят проповедники и учителя жизни?

И, однако, он научил, продолжает и, быть может, еще в большей степени будет учить, в меру духовного возрастания своей литературной аудитории. Но учит он как-то по-особому и, во всяком случае, не так, как тот же Л. Толстой. Муд-

рость Достоевского слишком психологического происхождения и чужда всякой рационализации. Чтобы его понять, надо его перечувствовать, психологически заразиться им. Ему мало было бы сказать: «имеющие уши—да слышат», а надо было бы воскликнуть: «имеющие душу живую да переживут со мной». Именно переживая Достоевского, мы заражаемся его жизненными оценками. А оценки приводят к определенному мировоззрению. Вскрыть основы этого мировоззрения в его религиозно-этическом содержании и будет нашей задачей.

Первый этический тезис Достоевского есть нечто на первый взгляд наиболее формальное и, однако, в известном смысле наиболее важное. «Будь личностью»—говорит он нам всеми своими оценками и симпатиями. Но что такое личность? Это опять-таки выясняет нам наилучшим образом Достоевский.

Есть четыре вида оформленности душевной жизни:

1) Темперамент—это оформленность, зависящая от биологических, точнее, анатомо-физиологических особенностей человеческой природы.

2) Тип—оформленность, идущая от внешних государственных, сословных и бытовых условий. Типы чаще всего формируются в эпохи общественного застоя. Ими богаты именно такие неподвижные эпохи, как в России царствования Николая I. И Гоголь—центральная фигура типописателей этого периода. Чем ближе к нашему времени, тем подвижнее жизнь. И в соответствии с этим тип мельчает, слишком индивидуализируется. Современная литература дает мало типов. Ей негде их взять. Типы это своего рода штампы на человеческой душе от закрепившихся условий чиновничьей, дворянской, мещанской, помещичьей, крестьянской, купеческой жизни.

3) Характеры—это уже более внутренние, самопроизвольно выработанные душевные оформленности. Однако, их внутреннее происхождение все же относительно. Человек усваивает себе те или иные взгляды, оценки, а в результате—и весь волевой аппарат своего поведения и жизни. Но откуда берет он эти взгляды и оценки? Все же в большинстве случаев извне. Он все же не изобретатель своего жизненного пути. Выработанный характер—это лишь осознанность этого пути, стойкое проведение его до конца. Характеры—это образования более сложных, подвижных и сравнительно интеллектуальных культур. Они гораздо разнообразнее типов.

4) Личность — это оформленность наиболее внутреннего происхождения и наиболее индивидуализированная. В ней всегда явственно ощутим неизменяемый, для всяких внешних воздействий непреодолимый стержень единственного в мире и неповторяемого человеческого «я». Потенциально этот стер-

жень заложен во всяком человеке, но далеко не многие его осознают, сохраняют и раскрывают. Столкновения характеров с внешними условиями драматичны. Это борьба, в которой обыкновенно есть исход и примирение. Столкновение личностей, их внешние и внутренние антиномии трагичны. При внешнем давлении они или сторонятся и скрываются в подполье, или вступают в борьбу, исход которой во всяком случае не примирение. Жизнь не может перековать их на свой лад. Из этого не следует, что они неизменны. Личность часто претерпевает коренные метаморфозы. Ей в высокой степени свойственна гибкость. Но эти метаморфозы идут изнутри. В этом отношении их рост наиболее органичен, что, однако, не исключает в их жизни самых острых кризисов.

Если Гоголь, Островский, Лесков, по преимуществу изобразители типов, Тургенев и Л. Толстой—характеров, то специальность Достоевского—изображение личностей. Эта его специальность есть в то же время его жизненное требование и оценка. Лишь на почве сильно выраженного личного начала возникает и решается во всей глубине и полноте проблема смысла жизни. Личность всегда разрушает традицию, апеллирует к переоценке и духовной свободе. Она есть стимул и главный фактор новых откровений о назначении человека. И если не всегда эти процессы совершаются в ней самой, то, во всяком случае, через нее.

Вот, думается, истинное основание исключительного интереса Достоевского к личности. Самым своим существованием она как бы провозглашает во всеуслышание: «de omnibus dubitantum». А с этого всегда должно начинаться как философское, так и жизненное творчество. И понять все значение этого принципа, перевести его из области теоретической философии в сферу художественных интуиций,—уже это одно составляет величайшую заслугу Достоевского. И уже в силу этого одного романы Достоевского не просто «беллетристика», не просто «художественное творчество», а некоторая своеобразная философия жизни. И в этом видим мы разгадку всех своеобразий Достоевского, как художника, оправдание его «больного» таланта, больше чем оправдание—открытие в нем истинного духовного здоровья.

Главные действующие лица романов Достоевского по своим устремлениям до чрезвычайности разнообразны. Но у всех их есть одна общая черта, заключающаяся в неотступном требовании чего-то своего. Если они любят, то трагически неотвязно, чувственно или душевно приковавшись взглядом к какой-нибудь родинке, к какому-нибудь выражению глаз, индивидуальному изгибу души или тела. Так магнетически неподвижно приковываются к своим избранницам неистовые

в своей неотступности Карамазовы, Рогожин, Версилов, Свидригайлов и др. Такой индивидуализации любви, какую мы находим у Достоевского, не встретишь ни у кого из романистов.

«Вертер» Гете—классический роман безысходного чувства любви. Но как ни остра влюбленность Вертера,—ее индивидуальная безысходность все же слишком притуплена разными об'ективными оценками и мотивациями. Любовь имеет в данном случае свою сложную эволюцию. Читатель видит, чем она питается и на чем держится. И именно условия развития этого чувства имеют уже более типический характер. Любовные же трагедии Достоевского поразительны по простоте своей внутренней мотивировки. Одна индивидуальность поражает другую как бы магнетически и действует, так сказать, на расстоянии. По крайней мере, автор чаще всего не рисует нам никакой эволюции чувства, не передает разговоров и вообще событий, ведущих к любовному очарованию. Его герои любви обыкновенно даже отделены друг от друга различными жизненными условиями, лишь издали наблюдают друг за другом, иногда только знают о существовании друг друга (Версилов). И этого совершенно достаточно для неотвратимости их индивидуально-магнетических притяжений.

Столь же индивидуально отточены и все другие этические, общественные и религиозные idée fixe героев Достоевского. В тайниках души созревают и вынашиваются они, находя себе очень мало, а иногда и никакой внешней опоры и точек отправления. Особенностью Достоевского является, однако, чрезвычайная осложненность проявления личного начала в индивидуальной, семейной и общественной жизни. Его герои переживают обыкновенно сразу несколько жизненных трагедий, впутаны в многообразные конфликты жизненных отношений. Романические связи, семейные привязанности, общественная идеология с одинаковой силой определяют в его романах ход событий.

Если особенностью резко выраженной личности является самобытность и независимость от внешних влияний, то роковой судьбой ее оказывается та или иная форма конфликта с внешними условиями, как некоторой нивелирующей силой. Формы этого конфликта разнообразны и обнаруживаются, прежде всего, в некоторых внешних столкновениях со всякого рода общепринятостью. И уже эта внешняя форма вызова и борьбы чрезвычайно характерна для героев Достоевского. Почти все они нарушители общего порядка в общем смысле этого слова,—нарушители приличий, такта, общепринятых норм и привычек,—своего рода «скандалисты» жизни. Его герои постоянно ошеломляют окружающих той или иной не-

ожиданностью: то в разгаре светского вечера кусают ухо сановнику, то дают ничем не мотивированную пощечину, то делают неожиданное признание и т. п., и т. п. Даже старец Зосима скандализирует общее настроение, опускаясь на колени перед Дмитрием Карамазовым. Развитие романов «Подросток» и «Идиот», можно сказать, есть сплошное нанизывание скандализирующих положений.

Конечно, скандалы в известном смысле характерны и для жизни и для реалистической литературы. Но между этими ординарными жизненными скандалами, совершаемыми на каждом шагу Ноздревым и подобными ему типами, и скандалами героев Достоевского, существует громадная разница. Не разнузданность и не аффект лежит в их основе, а разнообразные формы вызова, протеста, и даже просто откровенности, иногда цинически бесстыжей, как у Ф. П. Карамазова, иногда стыдливой, как в скандализирующей искренности Мышкина. В других случаях, как, например, у «Подростка», это неумелое выражение чувства собственного достоинства и разного рода благороднейших побуждений. Но во всех этих бесконечно разнообразных внутренних стимулах к скандалам, начиная от циничесой дерзости и кончая благороднейшими побуждениями души, есть у героев Достоевского одна общая нота: «я не хочу» или «не могу молчать», «подчиняться общепринятому, ложному и условному». И на это общее дерзновение проявлять свое внутреннее «я» наперекор и вопреки общепринятым формам также как бы благословляет Достоевский своих героев. Мы говорим—«благословляет», потому, что та или иная степень сочувствия и солидарности автора с его героями ощущается даже и тогда, когда дело идет о чем-либо нравственно безобразном. Дерзостный вызов фальшивой благопристойности человеческих отношений все же дорог душе автора, хотя бы он исходил от смрадной души старика Карамазова. Дорог потому, что и старик Карамазов есть личность, а разного рода благопристойные Лужины, Бьоринги не имеют ничего специфически «своего».

Но «скандал» есть, конечно, наиболее внешнее и поверхностное обнаружение того пафоса личности, который так характерен для Достоевского. Личное начало неизбежно должно заявить свои права и в более глубокой области душевной жизни, а именно, в области моральных оценок и норм. Здесь конфликт с общепринятым и общепризнанным имеет своим наиболее ярким выражением уже не скандал, а п р е с т у п л е н и е. Преступление есть основной эпизод почти всех романов Достоевского. Не только к одному, а почти ко всем его главным произведениям в известном смысле подходит заглавие: «Преступление и наказание». Правда,

это не всегда преступление осуществленное, иногда только замышляемое или неудавшееся, но оно всегда нависает в той атмосфере, которая окружает его действующих лиц,—нависает потому, что среди них всегда есть принципиальные нарушители основных нравственных норм, и притом чаще не один, а несколько.

Большинство людей принимает моральный закон в его индивидуальной или общественной форме, как нечто извне данное, внушаемое той духовной средой, в которой они находятся. Авторитет общественного мнения и отдельных лиц играет в этом отношении решающую роль. Не таково развитие людей с резко выраженным личным началом. Они никогда не могут довольствоваться одним лишь усвоением извне данного без внутреннего претворения и переоценки. Гипноз общественного внушения на них не действует, а скорее настраивает на протест. Все нормы жизни нем. енно должны получить их личную санкцию, должны быть избраны и оценены или рефлектирующей мыслью или иррациональной моральной интуицией и опытом. Этот период участия внутреннего начала личности в проверке и усвоении или в отвержении преднаходимых в общественной среде нравственных норм всегда бывает периодом кризисным. Такой кризис нравственного самоопределения наступает у разных людей в различные возрасты. Не одно лишь созревание духовное определяет его срок, но и различные перипетии и внешние условия их личной биографии. И критическая мысль, и так или иначе возбужденное и развившееся чувство или страсть в известный момент произносят вдруг свое «почему» по поводу того, что раньше было принято силою общественного внушения. И это «почему» приводит к той или иной мотивации, клонящейся или к оправданию, или к отвержению того, что раньше казалось незыблемым законом.

Так ставит и решает личность проблему морали. И в эти именно моменты почти неизбежно, если не практически, то теоретически, ниспровергаются в сознании человека все нравственные основы человеческого существования. «Все позволено» кажется тогда отвергнувшей все внешние путы морального закона человеческой душе. Это «все позволено», провозглашаемое умом или совестью, и есть та почва, на которой возникает возможность, а иногда и неизбежность преступления.

Здесь опять-таки приходится отметить существенное различие между преступлениями и всякого рода нарушениями норм в тех случаях, о которых мы говорим, и между весьма обычными их нарушениями в общественной и индивидуальной жизни. Нет человека, который в той или иной форме не

нарушал бы нравственного закона, и, вероятно, нет часа, когда где-нибудь на земном шаре не совершалось бы уголовное преступление самого тяжелого свойства. Но эти ординарные нарушения и преступления, переполняющие человеческую жизнь, совершаются не в порядке внутренней переоценки, а просто на почве оголенного своеволия и эгоизма, лишь прикрытого смягчающим обстоятельством аффекта, страсти, безвыходности и т. п. Они совершаются обыкновенно все же с полным признанием авторитета нарушаемых норм или без всякого вопроса об их значимости. Иначе говоря, они совершаются или против голоса совести, или без всякого его участия—«бессовестно».

Но именно те духовные кризисы, которые характерны для самоопределяющейся личности, не представляют из себя простого бунта своевольной души, а моральный скепсис и переоценку, простое ниспровержение закона вообще, а требование иного закона—высшего или, во всяком случае, имеющего более глубокое обоснование. Это известная внутренняя работа ума, совести и моральной интуиции, или останавливающаяся на определенное время на состоянии скепсиса и отрицания, или приводящая к определенному разрешению нравственной проблемы. Словом, это всегда известное нравственное творчество, хотя и возникающее на предварительном разрушении.

Такие кризисы морального сознания характерны не только для индивидуума, но и для общественной духовной культуры. Время от времени в истории мысли раздается в той или иной форме этот голос всеразрешающей совести. По существу, это «все позволено»—итог софистики и эпохи греческого просвещения. Эти же слова были произнесены и в наше время, как итог разложения религиозного сознания в европейской духовной культуре. «Сумерки богов» есть то состояние общественной жизни, в котором раздаются то в одном, то в другом месте эти роковые слова.

Однако, эта формула, а в еще большей мере соответственные действия, совершаемые в добровольном исканьи высшего и как преодоление предрассудка, исходят лишь от немногих, наиболее смелых. Даже подорванный в своем обосновании нравственный закон еще долго продолжает жить в обществе в качестве вкоренившейся и властной привычки, получая, кроме того, еще и новые точки опоры чисто практического характера. И особая смелость нужна, чтобы произнести эти слова впервые после долгого исторического забвения или в народности, где они никогда не произносились.

Едва ли можно сомневаться, что именно Достоевскому принадлежит это первенство, если не в среде европейских

писателей, то, по крайней мере, в России. Но и для Европы он, во всяком случае, сказал их по-новому и гораздо многозначительнее своего предшественника Штирнера, слишком закутавшего моральную сторону вопроса своеобразной философской теорией, приближающейся к соллипсизму. Что касается Ницше, то он пошел уже по следам Достоевского, хотя и определялся совсем особой мотивацией. По существу же вопроса Ницше не внес ничего принципиально нового. Во всяком случае, тема «все позволено» развита Достоевским до конца и со всеми вариациями ее возможных разрешений и последствий. Ницше же представил лишь ее один вариант, и притом дающий весьма туманный и неясный исход.

Значение Достоевского не только в том, что он был выразителем этого неизбежного морального кризиса безрелигиозного сознания, но и в том, что он работу разрушения того, что держалось в «просвещенном» сознании лишь в качестве условности и предрассудка, завершил определенным созиданием. Не пустое место морального нигилизма оставил он после себя, как софисты древней Греции, а подкрепленную и обновленную веру в то вечное, что было подвергнуто лишь временному, по существу очистительному и обогащающему сомнению. Мы называем это сомнение «очистительным» именно потому, что им отвергаются ложные и призрачные основания морального сознания,—основания, делающие его по существу фальшивой маской. Утверждением, что если нет веры в Бога и в бессмертие, то упраздняется всякий нравственный закон, выраженным через Ивана Карамазова Достоевского, обличается дряблость и негодность тех гуманистических подмостков, которыми эпоха европейского просвещения хотела заменить истинную и единственную опору нравственного закона—религию. Бунт против религии и морали, столь характерный для его героев, есть в то же время бунт против тех жалких ее суррогатов, которыми пробавляется безрелигиозное сознание европейских интеллигентов последнего столетия. Нельзя металлическое изваяние ставить на глиняные ноги. Нельзя твердыню нравственного закона опирать на жидкие теории утилитаризма, на философские измышления и т. п. —вот сущность морального пафоса Достоевского, направленного не столько на самое существо моральных норм, сколько на их гнилые подпорки. Именно это настойчиво твердит он словами и действиями своих героев: Раскольникова, Ив. Карамазова, Ставрогина, Версилова, Кирилова и даже отца-Карамазова и Свидригайлова.

Многообразен этот моральный бунт души, описываемый Достоевским. Но всегда этот бунт имеет два острия, направленные на два фронта: с одной стороны на религию и нрав-

ственность, а с другой—на их многочисленные суррогаты и фальсификацию. И в одном уже этом оздоровляющее влияние Достоевского. Он производит необходимое оцеживание и разделение мутных источников современной духовной жизни. Именно Достоевский, как никто, понял, что главня болезнь современности в ее неорганической синкретичности, в механическом и, во всяком случае, ложном сочетании разнородных начал. И именно потому-то и дорога Достоевскому личность, как таковая, что в ней, при всяком ее жизненном содержании, заключено требование органичности и настоящего единства духовной жизни. Мутное и компромиссное ей претит, ибо она при всяком своем внутреннем содержании сознает невозможность тех духовных пантеонов, которые столь же характерны для современности, как и для последней эпохи Рима.

Достоевский всеми своими художественными симпатиями и оценками провозглашает одно весьма важное положение: злодей, святой, обыкновенный грешник, доведшие до последней черты свое личное начало, имеют все же некоторую равную ценность именно в качестве личности, противостоящей мутным течениям все нивелирующей «среды». Каковы бы они ни были, они все же ведут эту среду к осознанию своих духовных устоев. С них всегда начинается тот духовный водораздел, которого так недостает современности, и необходимость которого так ясно сознавал Достоевский. «Или—или»; это в категорической форме сознает всякая сильная личность, и именно потому-то она и была так дорога художественному вкусу Достоевского, предносилась ли она в образах Зосимы, Мышкина, Раскольникова или даже Ставрогина и Свидригайлова. Для внимательного читателя ясно, что даже Свидригайлов и Смердяков имеют у Достоевского некоторое своеобразное оправдание и признание. Все они так или иначе ведут себя и других к основному и окончательному самоопределению, каждый по-своему дезинфецируют мутную общественную атмосферу.

Если первой задачей Достоевского было приведение к духовному водоразделу каждого, способного заразиться его духовным опытом, то второй, еще более важной, является самое решение резко поставленной дилеммы. И это решение дано было Достоевским всей второй половиной его жизни и деятельности. Конечно—это решение не теоретико-философское, а интуитивно-художественное. Если в теории определенное разрешение жизненной дилеммы дается отвлеченными аргументами, то непосредственная жизнь аргументирует по-своему. Ее аргумент—наказание, не в смысле, конечно, кары уголовного кодекса, а вообще той или иной формы страда-

ния. Преступление в романах Достоевского—это жизненная постановка религиозно-этической проблемы. Наказание это форма ее разрешения. Поэтому то и другое представляет основную тему творчества Достоевского,—тему, разработанную в нескольких вариантах, из которых центральными являются «Преступление и наказание», затем вся часть «Братьев Карамазовых», связанная с личностью Ивана, и, наконец, совершенно второстепенная вставка в том же романе в виде автобиографического воспоминания Зосимы, озаглавленного: «Таинственный посетитель». Эта вставка, при всей ее краткости, имеет, на наш взгляд, весьма большое значение по законченности того душевного кризиса, который в ней изображается. В ней же имеются весьма ценные прозрения Достоевского и в историческое будущее религиозного процесса.

Если задаться вопросом, как разрешается у Достоевского тот морально-религиозный скепсис и бунт, который выражается в формуле «все позволено», то ответить на него словами автора без соответственных доуяснений и дополнений довольно трудно. Даже наиболее подробное развитие этой темы в истории Раскольникова не дает достаточно ясных указаний. Вместо аргументов мысли, им представлены лишь душевные переживания. Но как в жизни, так и в художественных изображениях, внутренняя логика в разрешении жизненной проблемы не раскрывается вся в области ясного сознания. Многое, а может быть и самое значительное, происходит под его порогом. Диалектика идей и понятий заменяется здесь диалектикой чувств и рационально не мотивированных оценок. И это наиболее обнаруживается именно на духовном кризисе и его разрешении в преступлении Раскольникова. В самом деле, если задать вопрос, что собственно привело Раскольникова к покаянию—от категорического «позволено»—к «не позволено»—то придется указать на различные основания. Первое из них заключается в том, что, в сущности, самый период скепсиса и чисто теоретического отрицания совершается в душе человека в состоянии до известной степени раздвоенного сознания. Для Достоевского чрезвычайно характерна мысль, что всякое преступление совершается в состоянии как бы некоторого н а в о ж д е н и я, в котором одна половина человеческого существа как бы одолевает другую, причем это навождение имеет иногда характер какого-то фатума. Раскольников еще до совершения преступления одной половиной своего существа чувствовал его внутреннюю невозможность и неосуществимость чисто психологически. И, однако, совершил его чисто автоматически, словно кто-то другой руководил его мыслью и действиями. Эта раздвоенность личности, столь ярко изображаемая Достоевским, вовсе не проти-

воречит ее единству, особенно подчеркнутому именно в личности. И это единство в том именно и обнаруживается, что личность сознает свое раздвоение, им мучится. Человек со слабо выраженным личным началом просто не замечает своего не только что раздвоения, а как бы раздробления на несколько частей, не замечает, что жизнь, люди, обстоятельства дергают его, как своего рода манекен за разные веревочки.

Эта столь частая в романах Достоевского идея раздвоения не имеет обыкновенно простого смысла эмпирической неустойчивости сознания, а именно мистический смысл наваждения. Многие его герои прямо видят и сознают своего двойника, отожествляемого иногда с чортом, чувствуют на себе его тяготеющую власть. «Молчи, Соня»,—говорит Раскольников,—«я совсем не смеюсь, я, ведь, и сам знаю, что меня чорт тащил». Также и Версилов разбивает завещанный ему образ в припадке одержимости своим двойником. Вообще «двойник» есть слишком упорный мистический образ Достоевского, чтобы он не играл роли в его основной теме. И именно этот образ дает один из ключей к пониманию того внутреннего переворота, который переживается его героями. В сущности, человек еще до исполнения своего замысла совершает суд над своим будущим преступлением. Но этот суд заглушается той силой, которой он временно обречен, как жертва.

Таким образом, разрешение религиозно-морального кризиса есть в изображении Достоевского борьба живущих в человеке двух начал. И то, которое влечет человека к преступлению и ко всем связанным с ним переживаниям, есть нечто, чему дается временная, иногда фатальная власть над человеком. Версилов, рассказывая подростку о своем первом впечатлении от Ахмаковой, прямо говорит, что это был его «фатум». Но эта фатальность внедренной в человека искушающей силы, в виде ли двойника или магнетической страсти, не отменяет его свободы. И свобода обнаруживается именно в том, что содеянное беззаконие может вести к двум итогам,—к тому, чтобы человек в нем укоренился или чтобы раскаялся. В последнем случае падение не только ведет к восстановлению, но и превращается в средство гораздо более упроченного и обогащенного возрождения в человеческой душе того, что раньше было отвергнуто. В индивидуальной человеческой душе в миниатюре разыгрывается религиозная история человечества. Зло попускается, ему дается сила и власть, чтобы на опыте зла взросло прочнейшее и обогащенное доброе начало.

И здесь кроется об'яснение особой склонности Достоевского к падшим в том или ином отношении,—склонности, которую нельзя миновать, говоря о его жизненных оценках. Не

к уравновешенным и нормальным нравственным людям тяготеет жизненный и художественный вкус Достоевского, а именно к тем, кто имеет глубокие рубцы и шрамы всякого рода душевного травматизма. Нормальность, перманентное душевное здоровье положительно претит его духу. Оно есть лишь ненадежная внешняя кора человеческого существа. Оно тем хуже, что под ним неизбежно гнездится какое-нибудь невскрытое зло, в конце-концов, самое страшное зло—самодовольство. Нормальные всегда самодовольные. Это те, которые, выражаясь словами Мармеладова—«возглаголят» про падших: «Господи, почто сих приемлеши», и которым будет дан ответ: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего». То, что сказано Мармеладовым о пьяненьких, слабеньких и скромниках, относится, конечно, и к падшим вообще. Конечно, если падение было осознано, как таковое.

И мы ясно можем себе представить, какой бы беспощадный суд произнес Достоевский над все более и более овладевающим современной духовной культурой моральным американизмом,—той фабрикацией морально-уравновешенного человека, которая столь характерна для нынешних педагогических направлений, того воспитания ребенка и человека, в котором все предусмотрено и гарантировано, так что не только что упасть, но и поскользнуться человеческой душе не на чем. Бесконечно ближе душе Достоевского всех этих норм человеческого развития и поведения—запятненная, зачерненная, неопрятная, иногда искалеченная человеческая душа, перенесшая опыт добра и зла и, главное, его осознавшая. Блудный сын ближе Достоевскому, чем непогрешивший. И все его повести и романы есть, в известном смысле, жизненные вариации на притчу о блудном сыне.

Итак, первый ответ на вопрос о пути возврата к ранее отвергнутому нравственному закону заключается в указании на вечно живущее в человеке, хотя временно им и заглушенное, сознание религиозной правды этого закона,—сознание, наиболее оживающее именно после того, как были выброшены его гнилые безрелигиозные подпорки. Закон жизни отвергается и нарушается испытующим духом человеческой личности, лишь как извне навязанное условие с тем, чтобы возродиться в иной форме. В душевной драме Раскольникова это особенно ясно. Что возрождает его к новой жизни? Менее всего теоретические рассуждения. И после совершения преступления он упрямо продолжает р а с с у ж д а т ь по-старому, пытается бороться своей отвлеченной идеологией против нахлынувших новых чувств. И трезвые (и во многом правдивые) рассуждения Порфирия и аргументы Сони не

попадают в центр его мыслительных твердынь. Он признает, что он обманулся лишь в одном: он «не Наполеон», а такая же жалкая «вошь», как убитая старушенка. Но, конечно, не в этом признании заключается разрешение его кризиса,—разрешение в романе лишь намеченное, но не доведенное до конца.

Гораздо более сильные аргументы для Раскольникова—это опять-таки травматически поврежденная, хотя и в другом отношении, совесть Сони Мармеладовой, а также совесть его сестры и матери. Соприкосновение с этими женщинами, не испытавшими опыта двойника, который вообще не свойственен женской душе, есть второй пункт опоры для возрождения Раскольникова. Он просто заражается живой совестью любимых им людей. Это, конечно, по существу совершенно иное, чем внушение и авторитет общественного мнения, которые он так злобно только что опрокидывал. Третья опора для его возрождения—это душа и совесть народа, которую он почувствовал лишь после преступления и с помощью той же Сони. До преступления люди были для него лишь собрание отдельных особей. Но душу народа, как сверхличное сознание, как целостность, а не коллектив, он не сознавал. Голос этой народной души проник его слух весьма разнообразными путями. Тут играет роль и возглас мещанина: «ты убивец», и ложно принявший на себя преступление молодой парень-мастеровой, и приказание Сони покаяться на площади перед народом. Не перед судом государственным пошел каяться Раскольников, а именно перед народом на площади. Только душевная слабость помешала ему это сделать так, как оно рисовалось в воображении его и Сони. Признание в конторе есть только несущественная осечка в выполнении этого намерения.

И здесь опять приходится отметить, что эта совесть народа не есть возврат к авторитету среды, а по существу совершенно иная инстанция. Это есть именно возврат к религиозной основе нравственного закона. Гораздо явственнее раскрыто по существу то же разрешение состояния религиозного аморализма во вставке романа «Братья Карамазовы»—«Таинственный посетитель», которая относится к роману «Преступление и наказание», как эскиз к картине, однако, эскиз в основных своих чертах более полный. Здесь уже дается читателю образ полного религиозного обновления и просветления.

Вообще из всех вариантов темы «преступление и наказание», ясно видно, что тот духовный водораздел, к которому подводит Достоевский своих героев, а вместе с ними и чита-

теля, есть разделение религиозного и безрелигиозного сознания. Без религии только мнимое благополучие жизни, а, в конце концов, непременно ужас жизни, потому что место религии не остается пустым; суррогаты и фальсификация ее в виде атеистических теорий морали, роковым образом, замещаются более властной силой «князя мира сего». То религиозное миросозерцание, которое раскрывается Достоевскому по выходе из темы, первоначально только этической, лишь условно можно называть миросозерцанием. Его правильнее было бы назвать религиозным «мироощущением». Но, конечно, ему соответствует и известное миросозерцание. По существу, это христианство, однако, почувствованное и пережитое в новых тональностях. То христианство, к которому пришел Достоевский, есть не только возрождение старого духовного достояния, но и достижение нового. О творчестве Достоевского можно говорить как о некоторой своеобразной, а именно, художественной форме религиозного откровения. Конечно, в области догматического учения христианства у него все остается по-старому, но именно религиозное ощущение мира является существенно новым и имеющим характер своеобразного религиозного пророчества. И мы можем сказать, что это пророчество не осталось одиноким; в плане его неясных перспектив набрасываются более подробные очертания его, если не последователей, то религиозно конгениальных ему Вл. Соловьева и А. Н. Шмидт. Но прежде, чем перейти к этой пророческой стороне, остановимся на том новом, что дает нам его религиозное мироощущение. Новизна эта заключается в сознании им большей разлитости в мире богоприсутствия, в более широком понимании идеи провидения и промысла. Мы уже говорили, касаясь темы аморализма и преступления, что религиозный процесс жизни Достоевским больше чувствуется не в нормах жизни, а в ее извращениях, в человеческом падении, в борении человеческих страстей. В естественных распадах твердынь человеческого самоутверждения он больше чувствует Бога, чем в том прямом восхождении к небу, которое присуще традиционному пути христианского подвижничества и святости. В сущности, во всех этих своеобразных влечениях Достоевского к извращенному, падшему, страстному просвечивает одна мысль большого значения, хотя и не высказанная Достоевским в отчетливой форме, но напрашивающаяся как неизбежный вывод его религиозных интуиций. Мысль эта заключается в том, что высшие религиозные достижения имеют какую-то органическую связь с некоторыми греховными проявлениями человеческой воли, что очищенная и сублимированная христианская нравственность не есть удел человеческого суще-

ства. Если таковая и есть, то она все же имеет коренную связь с грехом в биографическом прошлом. Грех есть как бы то духовное удобрение, тот навоз, без присутствия которого не может возрасти пышный и прочный религиозный побег. Конечно, не грех сам по себе, а то в человеческой душе, с чем он органически связан—искренность, страдание, унижение, раскаяние. Это вовлечение в религиозный процесс очищения, кроме чистого религиозного добра, также и некоторых видов зла, а именно, зла внешнего, телесного и душевного, но не духовного, которое заключается в гордыне и самоутверждении, имеет своим результатом и существенно новое понимание религиозного пути человека в жизни. Он заключается, по Достоевскому не в отречении от мира а, в преодолении и претворении мира. Не аскетизм проповедует Достоевский, а теснейшее соприкосновение с мирским и греховным, не сбрасывание ноши человеческого греха, а под'ем этой ноши на высоту. «Каждый за всех и за все виноват»—одно из многозначительных изречений Достоевского говорит нам о невозможности спасаться в от'единении от мира. В человечестве есть таинственное единство и соучастие всех в общих всем грехах и подвигах веры и воли. При таком соучастии можно ли говорить об изолированном спасении чистых и непорочных? Об этом долге смешения и соучастия чистого и высокого с грязным и низким говорит Достоевский устами старца Зосимы, в образе и поучениях которого и обрисовывается тот новый религиозный путь, который, правда, лишь в общих чертах, намечается Достоевским. Это путь иночества в миру, путь, на который наставляет Зосима Алешу Карамазова, того единственного героя романов Достоевского, на котором сосредоточены его религиозные чаяния и надежды. И именно Алеша дает нам возможность понять сущность и своеобразие этого нового пути, на первый взгляд столь рискованного и внутренно противоречивого. Именно на личности Алеши Достоевский показывает нам, как чистое и высокое должно войти в соприкосновние с загрязненным и низким, чтобы исполнить свою религиозную миссию. Задача этого соприкосновения, конечно, не в том, чтобы непременно замарать свои белые духовные одежды, а в том, чтобы внутренно пережить грех с другими, пережить простым сочувствием и пониманием. Особенностью Алеши является именно то, что он способен к этому сочувствию и пониманию. Он отпрыск той же греховной и распаленной карамазовской крови, которая течет и в Иване, и в Дмитрии, но только отпрыск позднейший, получивший тяжелое наследство греха в состоянии уже его внутреннего преодоления. Поэтому-то Алеша все понимает, всему сочувству-

ет, но, к его счастию, не соучаствует. Этим сочувствием он берет на себя чужие ноши греха, но своих не прибавляет. Он чист, но это не мешает ему быть в общении с грязным, которое он понимает. Все своеобразие его натуры в том, что он имеет в себе опыт греха, но лишь в своеобразном виде переживания его, как чужого. Но и в нем самом этот грех не пустая фикция и полная отрешенность, а, напротив, всегда живая возможность. Он, несомненно, имеет и личные соблазны и находится в борьбе с ними,—недаром братья его уличают в тожестве его натуры с ихней. Но если Алеше присуща карамазовщина, то лишь как ослабленный резонанс. Он не имеет опыта двойника и освобожден от него приятием того, что было отвергнуто его братьями—религиозного церковного сознания. Его общение с Зосимой и послушание сделало его неуязвимым, недоступным покоряющей силе страстей, которые в нем только шевелятся, как инородные, извне приходящие переживания, но не отожествляются с его душой. Поэтому-то, т.-е. в силу его сочувствия, но не соучастия с греховным, он и имеет особую силу влияния на других,—силу обращения. Поэтому-то старец и заповедал ему пребывать в миру. Этот путь, рекомендованный для Алеши, есть для Зосимы вместе с тем и общий путь жизненно-активного христианства будущего. В этих немногих словах «иночества в миру» заключается мысль громадной важности, правда, лишь почувствованная Достоевским, но рационально им не развитая во всей значительности ее содержания. Ее раскрытие есть дело его ближайших преемников в настоящем и будущем. Кое-что здесь уже начинает проясняться отчасти в богословии Вл. Соловьева и его последователей, отчасти в цикле идей, связанных с именем Мережковского. Прежде всего, здесь заключается сознание исторической законченности того аскетического направления христианства, которое вообще связано с монашеским отречением от мира. Христианство в этом своем одностороннем устремлении, как показал опыт последнего исторического периода, оказалось бессильным осуществить ту задачу, которая, несомненно, все же лежит в плане религиозного процесса истории, — задачу проникновения духом христианства не индивидуальных лишь форм отношения людей, но именно общественных форм человеческой жизни, т.-е. и культуры вообще и социальных отношений в частности. Аскетизм мог выполнить лишь одну часть плана истории, как богочеловеческого процесса, а именно, исключительно связанную с идеей Бога и осуществляемую в культе, вероучении и личном подвиге святости. Принцип человечности в его органически-общественном содержании остался непросветленным в этой односторонней работе религиозной воли,

действовавшей не в об'единении, а от'единении. Именно в силу этого гуманизм и стал делаться все более и более враждебной христианству силой. Новейшая история обнаружила ясно, в наиболее резкой форме, что этому одностороннему устремлению должен быть положен конец, что христианство должно разрешить полностью проблему жизни, т.-е. перейти от личного и индивидуального к общечеловеческому. Это на наш взгляд достаточно ярко и убедительно раскрыл Вл. Соловьев, что и составляет его специальную заслугу, делающую его богословом мирового масштаба. Но почувствовано и в художественной форме выражено это было уже Достоевским. И, прежде всего, в живом образе и поучениях Зосимы. Хотя Зосима—типичный старец-монах, если брать этот образ со стороны общей формы его религиозно-психологического содержания, но внутренний склад его души глубоко отличается от того типа старца и монаха, который многообразно был воплощен в русской религиозной жизни. Мы уже не говорим о том, что Зосима совершенно чужд обычной строгости и суровости монаха-подвижника. «Конфетою прельщался», язвит его память отец Ферапонт, настоящий представитель строгого монашества аскетического типа. Но в отношении мягкости и снисходительности, по крайней мере, к другим, ему еще можно было бы подыскать сходственные образы в пределах прежнего аскетического уклона, хотя бы, напр., Серафима Саровского и даже Амвросия Оптинского. Но все содержание и тон снисходительных речей Зосимы существенно иные. Эта разница заключается в меньшей боязни мира, его соблазнов и грехов, в отсутствии постоянного призыва к церкви, как культу и религиозному моноидеизму. Вовсе не порывая с этими устоями религиозной жизни, оставаясь типично православным по любви к церковности, в этом смысле Зосима, однако, не основывается исключительно на них. Он ни в чем не порывает с православием, но его значительно расширяет. Если мы переведем его наставления, размышления и действия на язык отвлеченной мысли, то мы можем сказать, что его заботой является не конденсирование и аккумулирование религиозной идеи в отдельных, вырванных из мира лицах, а растворение этой идеи в мире. Он не закидывает религиозной сети в мир, как в инородную среду, чтобы оттуда выловить всех избранных, а сам всеми своими помыслами устремляется в эту среду, внутренно живет ее жизнью и хочет ее претворить в ее собственных пределах.

Его учение состоит не в развитии церковно-догматических идей, а в пробуждении религиозных чувств и свободной медитации.—«Наполнял ум помышлением надменным»—порицает его тот же отец Ферапонт. И, действительно, Зосима

не богословствует, а религиозно свободно размышляет о жизни и, пожалуй, даже больше о жизни этой земной, а не потусторонней. Можно сказать, что Зосима учит религиозно понимать и переживать окружающую действительность и, главным образом, переживать страдание и даже грех чужой и собственный, как неизбежный спутник мирской жизни. В этом и заключается специфически снисходительное отношение Зосимы к греху, не имеющее ничего общего с потворством, и в то же время существенно отличающееся от типичного для аскетизма осуждения и отрешения от греха. «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и в грехе его»—говорит он в своих поучениях. Зосима слишком ясно сознает сверх-индивидуальную основу греха, чтобы ставить его в счет каждому индивидуальному человеку. Как спасение в христианстве соборно, так и грех имеет соборный характер. И в нем также нельзя от'единяться друг от друга, как и в акте спасения через Христа. Это и вложено Достоевским в слова младшего брата Зосимы: «воистину всякий перед всеми и во всем виноват». Именно это сознание солидарности всех в грехе и спасении, растворение личных падений и заслуг в некотором сверхличном организме церковно-общественного организма и есть то, чего, главным образом, не доставало аскетически-церковному пути исторического христианства. На почве одного лишь соучастия в ритуале и исповедании религиозной догмы никогда не могло получиться то единство церковно-общественной жизни, которое составляет задачу будущего. А эта задача весьма ясно сознается Зосимой. В этом отношении весьма существенным дополнением к поучениям Зосимы являются его автобиографические воспоминания и, главным образом, воспоминания о человеке, оказавшем на него сильное влияние. Мы говорим о том же «странном посетителе», история которого занимает столь видное место в духовном развитии самого Зосимы. В уста этого руководителя первых шагов Зосимы вложены, быть может, самые значительные слова Достоевского о религиозном будущем, сказанные им через его действующих лиц. «Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братство. Никогда люди никакой наукой и никакой выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Вы спрашиваете, когда сие будет. Сбудется, но сначала должен заключиться период человеческого у е д и н е н и я. Какого это уединения, спрашиваю его. «А такого, какое теперь везде царствует, и особенно в нашем веке, но не заклю-

чился еще весь и не пришел еще срок ему». И далее: «Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придет срок и сему страшному уединению, и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого. Таково уже будет веяние времени, и удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а свет не видели». В этих словах заключается признание принципиальной невозможности привести историю к осуществлению основной цели при помощи всех видов и форм юридически-правовой политики, основанной на науке и принципе «выгоды» или пользы, и необходимости чисто внутренней религиозной основы, опять-таки не осуществленной в протекшем периоде истории в силу какой-то роковой неполноты религиозного сознания. Убежденность в необходимом осуществлении этой полноты звучит в последних словах о периоде «единения», в словах, подтвержденных пророческим возгласом самого Зосимы (в начале романа): «сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено свершиться». Этим «буди» проникнута вся религиозность Достоевского. Здесь видим мы прозрение новой и окончательной христианской эры, хотя, быть может, и кратковременной и причастной далеко не всему человечеству, но необходимой, как дающей полное завершение идеи христианства. Это, в конце концов, то же вещее апокалиптическое предчувствие, каким проникнуто все богословие Вл. Соловьева и многозначительная мистика А. Н. Шмидт, крупнейших преемников Достоевского в этом отношении. Апокалиптические настроения присущи были разным периодам истории. Мы оставляем в стороне вопрос, действительно ли они дискредитируют друг друга постоянным неосуществлением апокалиптических чаяний и надежд [1]).

Существенно лишь то, что эта апокалиптическая настроенность—«последние времена»—ведущая свое начало от Достоевского, имеет совершенно особые основания. Она не вызвана острыми историческими кризисами или разрушениями культур, как раньше, а возникла в мирную эпоху внешнего благополучия. Это не диагноз больного, почувствовавшего себя плохо, а диагноз врача, чутко прослушавшего не вскрыв-

---

[1]) По существу мы не находим в этих предчувствиях полного религиозного самообмана. История имеет несколько частичных апокалипсисов и лишь один универсальный. Обманчиво здесь лишь смешение частного с всеобщим. Но и это смешение не вполне обманчиво, как не вполне обманчиво, когда человек в приступе тяжелой, но переходящей болезни чует веяние смерти, ибо болезнь есть частичная смерть; она безвозвратно похищает часть здоровья. И в частичных апокалипсисах истории нечто отмирает безвозвратно, и делается решительный шаг к последнему концу.

шуюся еще, но уже назревшую смертельную болезнь. Эта болезнь в современной истории—нарастающий с каждым десятилетием пафос безрелигиозного строительства жизни на началах государственной и классовой борьбы, на началах юридически-правовых норм, механизирующих человеческую нравственность, на началах материальной культуры, поглощающей всю духовную энергию человечества. Достоевский, как никто из писателей-художников, почувствовал эту болезнь, имеющую двусторонний результат—апокалиптическую смерть и с нею связанное апокалиптическое созревание идеи христианства,—почувствовал не во внешних ужасах жизни, а в ее духовных принципах, в созревании зла, в одолении жизни соблазнами ложно поставленных общественных идеалов. Это же рационально вскрыла и обнаружила религиозно-философская мысль Соловьева и связанная с новыми религиозными откровениями мистическая интуиция А. Н. Шмидт. Именно в плане этого столь разнообразно почувствованного и подтвержденного наступления новой религиозной эпохи и находится новая миссия христианства, «иночество в миру», заповеданная Зосимой Алеше Карамазову.

Религиозность Достоевского, поскольку она выражается в художественных образах Зосимы и Алеши, иногда характеризуется, как «розовое христианство». Если такая характеристика является отчасти справедливой по отношению к религиозному циклу идей и настроений «братьев Карамазовых», то в целом к мировоззрению Достоевского она далеко не подходит. И смотрел на мир и чувствовал мир Достоевский далеко не «розово». Можно сказать обратное. Никто так не чувствовал и не понимал всю роковую силу зла и неотвратимость его жизненных побед, как он. Понять эту частичную «розовость» в общей трагической картине жизни у Достоевского можно лишь разобравшись в тех разнообразных видах зла, которые занимали его ум и художественное воображение. Для этого необходимо дать как-бы некоторую классификацию зла, которая, если и не дана Достоевским в отчетливой мысленной форме, то во всяком случае ясно намечается его художественными образами и теоретическими размышлениями в «Дневнике писателя». Руководствуясь этими данными, которые на наш взгляд вполне совпадают с религиозно-философской точкой зрения на этот вопрос, мы должны установить четыре основных вида зла: 1) зло эмпирическое личное. Это самое ординарное и бесконечно разнообразное зло индивидуальных человеческих страстей, недостатков, пороков и грехов. Достоевский изображал его мастерски и в бесконечно разнообразных вариациях и проявлениях. По отношению к этому злу у Достоевского нет никакого ни религиозного, ни этического пафоса. Здесь он является только тонким психоло-

гом. Именно по отношению к этой области и проявляется его религиозная «розовость». Этого зла он, видимо, религиозно нисколько не боится, напротив—прощает и даже приемлет, как некоторый вспомогательный для роста добра стимул. К этому примешивается и эстетически положительная оценка в тех случаях, когда это зло является жизненно-красивым, смелым, свободным. Именно поэтому почти все его излюбленные герои и героини щедро одарены автором различными видами личного эмпирического зла, страстями, капризами и различными вариациями душевной неукротимости. Лиза Хохлакова, Грушенька, Настасья Филипповна, Лиза из «Бесов», Рогожин, Катерина в повести «Хозяйка», Ахмакова и многие другие,— разве это не прощенные автором и даже не родные душе автора грешницы и грешники, иногда просто милые капризницы? И даже такие тонущие в своих страстях люди, как Свидригайлов и Ф. П. Карамазов, несомненно, как-то этически и религиозно прощаются автором. Разве не авторское прощение та красивая и жизненно благородная форма смерти, которую он дает Свидригайлову, умирающему с шуткой на устах, подобно древнему эпикурейцу, изображенному Майковым в его «Три смерти»? Разве не прощено Свидригайлову многое за то, что он выпускает Дуню, когда она находится в его полной власти? Именно в этой области наиболее ярко и обнаруживается тот религиозно-этический парадокс Достоевского, сущность которого мы выяснили в предыдущем изложении— религиозная любовь к греху.

Второй вид зла—*зло эмпирическое сверхличное*, т.-е. коренящееся в условиях и организации общественной жизни, Достоевского, как художника, положительно мало интересует. А, поскольку он его имеет в виду в публицистических статьях, его отношение к нему принципиально то же, что и к злу личного происхождения.

Третий вид зла—*зло личное трансцендентного* (потустороннего) происхождения—область особого внимания и интереса Достоевского. Это зло мистической природы и происхождения. В человеческой душе оно только проявляется, но его корни и причины где-то глубже и дальше человеческого сознания, вообще за его пределами. Оно имеет характер или роковой непонятности человеческого поведения, иногда как-бы автоматизма, как у Ставрогина, иногда как-бы явного или скрытого навождения, как у Раскольникова, Ивана Карамазова, Версилова, или в странных сюжетах «Хозяйки» и «Неточки Незвановой». «Двойники» и всякого рода призрачные спутники—наиболее конкретное выражение этого зла. К этому злу Достоевский относится уже далеко не «розово», чувствует всю его неотвратимую власть и силу. Конечно, это зло не состоит только в тайных зовах, внушениях и одержимости, идущих откуда-то со стороны. Потустороннее зло

внедряется и в обыкновенные человеческие страсти и деяния, придавая им характер чего-то рокового и иногда непонятного для самого действующего лица. Так Версилов кощунственно разбивает образ, сам не понимая, зачем собственно он это делает. Ставрогин весь сплошь психологически «иррациональная» фигура. Серьезность этого зла именно и заключается в том, что оно всегда какая-то неизвестная величина, по отношению к которой все эмпирически возможные средства душевной борьбы с ним—рассуждение, совесть, пример—оказываются зачастую бессильными и, вообще, представляющими непригодное оружие, ломающееся, как шпага Валентина перед Мефистофелем. Кроме того, оно и наиболее мучительное зло, как вносящее в душу человека роковое раздвоение, иногда прямо как-бы разрыв сознания. Но, сознавая всю силу этого зла, Достоевский все-же не признает его жизненно непобедимым. Его неотвратимость все же временная, импульсивная. Оно влечет человека к преступлениям, но результаты этих преступлений все-же исправимы. И в этом отношении, и в нем даже есть своя положительная сторона, поскольку человек, одержимый этим видом зла, обыкновенно испивает чашу зла до «дна» и в конце-концов обнаруживает внутреннюю пустоту потустороннего соблазна. Поэтому-то в художественных изображениях этого зла у Достоевского мы находим явный наклон к оптимистическому исходу или, во всяком случае, к религиозно-обнадеживающему прогнозу. Это, думается, ясно видно из судьбы главных героев этого зла—Раскольникова, Ивана Карамазова, Версилова, Ставрогина. Раскольников к концу романа подводится автором к порогу новой жизни, которую он, правда, не изображает, но с несомненностью предсказывает своему герою, делающему уже первый шаг в этом направлении своим разоблачением и принятием на себя уголовной кары. Иван Карамазов, правда, не показывается нам уже исцеленным. Однако, ясно, что он после всех передряг судебного процесса уже не тот человек, который раньше так дерзко провозглашал свое «все позволено». Уже и для него это «все позволено» превратилось в одну лишь боль и пустоту. Версилов, наиболее благородного и тонкого профиля образ из серии «грешников», опять таки показывается нам в конце романа явно освободившимся от своего двойника и внушенной им роковой страсти. Что сказать о Ставрогине, этом наиболее загадочном герое Достоевского? Самое существенное, что надо иметь в виду в отношении Ставрогина, это то, что зло рисуется в нем уже не в своей активной форме, а лишь в роковых последствиях душевного опустошения. Напрасно стали-бы мы искать в душе Ставрогина каких-либо проявлений активного зла. Перед нами человек без всяких страстей, склонностей и намерений, и в то же время человек полный силы и всяких возможностей. В этой потенции непроявляю-

щихся почему-то сил вся его обольщающая красота. Но что этически и религиозно дурного и злого делает Ставрогин, как центральная фигура романа? Правда, Лиза его жертва; но разве он был активен в ее гибели, а не сама она бросилась под его удар, как под бездушно падающий с высоты камень? Положительно все зло Ставрогина не в действенном сюжете романа, а в прошлом. Ставрогин испил до дна чашу зла где-то там, в Петербурге. Здесь перед нами, в провинциальном городке, он—человек, уже явно отвратившийся от зла, человек, уже ничем не соблазняемый и в этом смысле находящийся на пути исцеления. Правда, он прерывает этот путь самоубийством, которое с религиозной точки зрения может рассматриваться, как наиболее тяжкое преступление. Но религиозный суд над самоубийством — дело весьма сложного и тонкого порядка. Во всяком случае, религиозная точка зрения должна учитывать не только то, как пресекается человеческая жизнь, а куда она направлена в своем последнем повороте. Но относительно Ставрогина именно и приходится констатировать явный поворот от зла. Конечно, в этом повороте не видно и никакой направленности к добру. Это именно та нулевая точка безразличия, на которой человек делается нежизнеспособным. Если это не победа добра, то и не победа зла, какая-то игра в ничью в эмпирическом плане жизни.

А о продолжении этой игры в потустороннем мы можем только сказать одно «ignorabimus». Что Достоевский не мог видеть жизненный maximum зла в личном начале человеческой природы—это на наш взгляд вполне оправдывается и теоретически. Всякая личность, как-бы сильна она ни была, есть все же слишком малая величина перед силами историческими. Личные силы зла всегда находят свой предел или в каких-либо неодолимых препятствиях личной судьбы, или в неизбежном разочаровании, в жизненной скуке. И в самом худшем случае итог личного зла—это потухающий костер, не способный возгореться никаким пламенем, как мы имеем это на примере Ставрогина. Победу зла, очевидно, можно предугадывать не здесь, а в пламени постоянно возгорающемся и разгорающемся от притока новых горючих материалов. Таким неугасимым и крепнущим пламенем является зло всей истории человечества, тот четвертый и самый роковой вид зла, который надо определить как зло сверхличное и трансцендентное по своему происхождению. Изображал-ли и чувствовал-ли его Достоевский? В этом не может быть сомнений, если вдуматься в смысл его «легенды о великом инквизиторе», его «Бесов», различных вещих снов и предчувствий его героев, главным образом, Раскольникова и Версилова, и, наконец, некоторых мест его «Дневника писателя», представляющих его философски-исторические взгляды в будущее.

Сущность этого зла не столько во внешней об'ективности вещей и действий, сколько в одухотворяющем их начале, в том, что Достоевский, словами Версилова, обозначил как «женевские идеи», т.-е. индивидуальная и общественная мораль без Бога и без Христа, безрелигиозный гуманизм, в конце-концов, своеобразная «религия» человекобожества. В этой своей природе оно сверхлично, представляет тонкий, но сильно действующий яд, постепенно напитывающий всю атмосферу человеческой жизни, контагиозно заражающий мысли и чувства людей своими внешними и не имеющими внутренней ценности достижениями в области человеческой культуры. Чувствовал-ли Достоевский трансцендентность этого зла? Думается, что достаточным ответом на это являются «легенда о великом инквизиторе» и «Бесы». «Умный дух», движущий историю, вдохновляющий великого инквизитора и дальнейших продолжателей его дела, в устах Достоевского не мог быть простой фигурой олицетворения. Еще более мистическая потусторонняя природа этого зла чувствуется в романе «Бесы». Не только этим заглавием и эпиграфом из Пушкина, но всем развитием сюжета, в части, касающейся затеи Верховенского, Достоевский дает чувствовать силу какого-то коллективного навождения. Перед людьми встает мираж какого-то дела, из которого каждый ухватывает и понимает лишь какие-то обрывки. И все же, все куда-то устремляются, верят, что из этой мути несогласимых чаяний и ожиданий что-то произойдет. Сон Раскольникова и предчувствие конца истории у Версилова говорят о том-же самом, о руководимом какой-то знающей рукой распаде человечности, распаде, к которому именно и ведет знание, с надписью: «только человечность». Этот роковой обман человеческой истории слишком настойчив и планомерен в смысле разнообразия средств, ведущих к одной и той-же цели, чтобы не видеть здесь одну над человечеством стоящую темную силу. Достоевский только не назвал эту силу тем именем, которое ясно прозвучало от наиболее родственного ему по остроте сознания мистической силы зла Вл. Соловьева. Но принцип действия этой силы, сущность ее природы, как наиболее принципиального зла, угадан Достоевским в полной адекватности религиозно-философской мысли. Замена потусторонних вечных ценностей земными эмпирическими,—хлебом, властью, роскошью технической культуры (чудом)—вот цель и смысл всех гуманистических соблазнов. Механизм, в широком смысле понимаемый, т.-е. в реальном взаимодействии с природой техники, в мысли узкий рационализм и схематизм, в общественной этике принцип борьбы и юридического права—вот замена христианского двуединого пути—любви к Богу и ближнему (не отвлеченному «человеку», а именно к ближнему).

Вся сила этого зла состоит в его внешней убедительности и соблазнительности. Оно непобедимо в эмпирической истории именно потому, что опирается на самые сильные двигатели исторического процесса, а именно, на разные виды общечеловеческого инстинкта самосохранения и самоутверждения. Великий инквизитор, с уверенностью, вполне обоснованной на знании человеческой природы, говорит Христу о том, что «они» (люди) пойдут именно за ним, потому, что он им даст все то, что отнимал своим учением Христос. Победа зла сверхличного, трансцендентного в конце истории предуказана правильными расчетами на слабость человеческой природы. Конечно, эта победа не превращает христианство в религию безысходного пессимизма. И признавая его победу в плане земной истории, христианство сохраняет свой в общем оптимистический взгляд не только на все мировое целое, но даже и на ту же историю. Ведь оно верит тому же, о чем говорит и Зосима, т.-е что с победою зла почти или вполне одновременно созреет и законченный плод добра в виде христианской общественности, которая где-то и как-то осуществляется. И если победа зла закончится все же его неизбежной эмпирической смертью, совпадающей с концом истории, то для Церкви Христовой, как бы мала она ни была, закон смерти не будет иметь никакой силы.

Вообще взгляд на будущее христианства имеет свое выражение у Достоевского не столько в положительном содержании замысла проведения христианских начал жизни в сферу общественно-мирских отношений, сколько в противоположении его ложной безрелигиозной общественности. Этот рост общественного зла также рисуется Достоевским, как в окончательной, так и предваряющих стадиях. Представление общественной смерти постоянно предносится взорам Достоевского, как некий неотвязный кошмар, иногда в страшных тонах общественного распада и войны всех против всех (сон Раскольникова в эпилоге), иногда в виде осеннего увядания жизни, какой-то бледной смертельной немочи (размышления Версилова о безрелигиозном конце истории). Поскольку речь идет о конце истории, его представления, несомненно, туманны и неясны, но его ощущение хода этого процесса в современной жизни ярко и конкретно. Это ощущение и угадывание антихристова шествия наиболее выразилось у Достоевского в романе «Бесы». Именно в этом романе и в «Дневнике писателя» нашли себе наиболее полное выражение его общественно-религиозные взгляды и оценки.

Если религия определяет водораздел личной нравственности, осуществляемой в индивидуально-личных отношениях, то она же определяет два основных пути в разрешении общественной проблемы. Как в личной морали Достоевский

ясно почувствовал сведение всех вариаций поведения к двум основным формам: «все позволено» и «все подчинено религиозному закону любви и единства», точно так же и в плане общественного созидания он ясно чувствует роковую дилемму: «с Христом» или «без Христа». Личность должна самоопределиться и в этом общественном плане. Как бы ни была сильна и самобытна личность, она может иметь свой личный индивидуальный путь лишь в области индивидуальных отношений, стремлений и оценок. В осуществлении же общественных форм жизни, т.-е. в плане истории, она всегда подчинена основным факторам исторического процесса, его основным течениям. Здесь самоопределение, личное творчество и ответственность заключаются почти исключительно в выборе одного из основных течений. Однако, выбирать здесь гораздо труднее и, главным образом, потому, что полярная двойственность двух основных по глубине общественно-формирующих сил замаскирована разнообразными поверхностными течениями, а также частичными сходствами в том, что по глубочайшей своей сущности противоположно. Если особым даром личности является четкое осязание основной моральной дилеммы личного поведения, то эта же острота и четкость ее морально-религиозной интуиции обнаруживается и в сфере общественных проблем и отношений. Раскольников, Иван Карамазов, Версилов, Ставрогин, Шатов,—у всех у них выбор «с Богом» или «без Бога», «с Христом» или «без Христа» одновременно определяет как их личные отношения и поведение, так и выбор того или иного общественного русла. Если в области индивидуальных отношений почти все они, хотя бы теоретически, прошли через формулу «все позволено», то в сфере общественных путей почти все они прошли через так называемые «женевские идеи». «Женевские идеи» это, по меткому определению Версилова, «добродетель без Христа», «идеи или, лучше сказать, идея всей теперешней цивилизации». Конечно, эта добродетель—общественная—самоотверженная забота о благе человечества. Достоевский обыкновенно не изображет, как проникались его герои этими идеями. Он представляет их читателю уже прошедшими через них, прошедшими обыкновенно где-то там, за-границей, во Франции, Швейцарии, Америке. Если про них нельзя сказать, что они все побывали там, то, несомненно, все они побывали под властью этих идей. Читатель обыкновенно застает уже их в кризисном колебании выбора или, что более характерно для героев Достоевского, в периоде отречения от этих идей. Следует признать, что мотивация этого отречения в переживаниях героев Достоевского далеко не так ясна и подробно развита, как в области индивидуально-моральной

проблемы. Дело в том, что те герои Достоевского, ум которых затронут общественной проблемой—Ив. Карамазов, Версилов, Ставрогин—вовсе не являются вполне определившимися в религиозном отношении. И, однако, все они от женевских идей брезгливо отворачиваются. Почему? «Пошло», «тошнотворно», «скучно», «лживо»—говорят они всеми своими минами, позами, действиями, отчасти и словами. Какие бы они ни были—с Христом или без Христа,—но всякая фальсификация им все же претит. Вообще рационализация и мотивировка отречения от «женевских идей» исходит уже от самого Достоевского. Роман «Бесы», а по преимуществу главный в них деятель по рецепту «женевских идей», Петр Верховенский, и есть такая мотивировка. Именно на этом персонаже обнаруживает Достоевский, что сердцевиной общественного служения подобных людей является по существу вовсе не благо человечества, не любовь к людям и даже не общественный идеал, а именно м о й идеал, м о й план и его осуществление, или, по крайней мере, н а ш идеал, н а ш план. Все дело не в людях и не в человечестве и его благе, а в торжестве «м о е г о» и «н а ш е г о», хотя бы для этого торжества нужно было бы сделать гекатомбу из всего человечества. Правда, в романе Верховенский перешагивает лишь через труп Шатова, настоящим убийцей которого и является; однако, он проделывает это так легко и беззаботно, что нет сомнений, что все его служение общественным целям происходит на почве полного внутреннего душевного опустошения и на основе одного лишь горделивого самообольщения: «я лучше других, я сделаю лучше других». Вообще все почти сотрудники Верховенского внутренне опустошенные люди. Как в индивидуальном срыве, в аморализме человек одержим своим двойником, так в срыве общественном он руководим девизом: «цель оправдывает средства»; действуют уже не люди, а какие-то одержимые бесами, про которых остается только воскликнуть: «сколько их, куда их гонит». Из всей этой бесовской кутерьмы выбирается на твердую дорогу один лишь Шатов. Характерно, что как Раскольников через соприкосновение с сознанием народа, как целого, выходит из душевного кризиса аморализма, так же точно Шатов освобождается от атеизма через веру в «народ-богоносец». Для него народ «тело Христово», и через это тело он познает сначала Христа, а затем Бога. Душевный процесс опознания бесовщины у Шатова наиболее адекватен тому же процессу в сознании самого Достоевского. В душевном кризисе Ставрогина выбор общественного пути слишком осложнен выбором лично-индивидуального пути. Безбожный путь общественного служения им, несомненно, преодолен, но в области лично-

индивидуального поведения он все еще находится под властью злой силы. В этом причина его расхождения с Шатовым.

Религиозное значение романа «Бесы» не исчерпывается разоблачением истинной природы «женевских идей» и общественного служения под их флагом. В этом же романе находятся неясные, но все же многозначительные проблески тех интуиций, которые уже относятся к области чисто теоретических религиозных представлений. Их выразительницей является хромоножка, формальная жена Ставрогина. Впрочем, в данном случае она говорит со слов одной старицы; «Богородица—великая мать сыра-земля есть», научает ее последняя. В эти мимоходом брошенные слова вложена одна из задушевных идей Достоевского, которую он по иному выражает и в «Братьях Карамазовых» через Зосиму и Алешу. Зосима говорит: «люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытно люби». И Алеша следует этому завету старца, но неумышленно и не думая, а повергаясь на землю с какой-то экстатической интуицией, как к живому существу, после сна о «Кане Галилейской». Взаимная связь этих трех мест ясно выражает одну мысль: земля живое существо, и притом существо мира горнего, отожествляемое старицей с Богородицей. Для читателя, конечно, естественно пройти мимо всего этого: «мало, что взбредет на ум экзальтированным людям». И, однако, мимо этого нельзя пройти, если принять в расчет, что та же мысль прорывается в последнее время иными путями и по существу находится в плане последних религиозных откровений А. Н. Шмидт и отчасти Вл. Соловьева. Идея ипостасного женского начала, то отожествляемая с Церковью, то с Софией Премудростью Божией, то с душой мира, слишком настойчиво стучится в сознание наиболее чутких религиозных мистиков и мыслителей последнего времени, чтобы не видеть в ней проблеск какого-то нового откровения догматического характера. Неясность и туманность имеющихся в этой области отожествлений и различений, трудность установить границы между отдельными персонификациями этих высших начал мира и человечества, нисколько не дискредитирует эти проблески. Человеческий опыт вообще чужд тому, что для высших форм бытия является характерной особенностью, а именно, слиянности личных начал, благодаря которой одно является в каком-то отношении и многим, а многое одним. Эта своего рода как бы переливчатость высших форм бытия друг в друге есть нечто непостижимое для нашего опыта раздробленного и раз'единенного эмпирического мира, а потому и нечто непостижимое для адекватного мысленного выражения. И, однако, об этом недоступном твердо и уверенно говорит откровение и религиозная мысль не одного лишь христианства, а и других ре-

гий. Новизна прозрений Достоевского, Соловьева и Шмидт заключается лишь в том, что дело идет именно о женском начале и устанавливаются новые персонификации. Нельзя не сопоставить с этим и чисто философские построения, относящиеся отчасти к той же области и особенно созвучные с той формой интуиции, которую мы находим у Достоевского. Мы имеем в виду своеобразную и до сих пор несправедливо пренебрегаемую религиозную философию Фехнера, известного больше лишь в качестве автора по существу малозначащего психологического закона. Основной мыслью Фехнера как раз и является признание небесных светил и, в частности, земли одушевленными личными существами. Ни по характеру своего творчества, ни по происхождению своих теорий, Фехнер не имеет с Достоевским ничего общего. Тем значительнее это совпадение крупного философа с художником, постигавшим религиозную истину чисто интуитивным путем. Вообще в художественных интуициях Достоевского очень много пророческого или, во всяком случае, предвосхищающего новое. И в этом смысле его произведения в наше время обладают гораздо большею жизненностью и более доступны для понимания, чем в его время.

Как мы уже упоминали, особенностью религиозного сознания Достоевского является его устремленность к земле. Он больше думает о земных задачах и путях религиозной идеи, чем о ее потусторонней цели. И поскольку эта направленность его религиозного интереса относится к об'емлещему целому земной истории, и притом, как законченному циклу, приближающемуся к своему последнему акту, его художественное творчество и отчасти публицистика находится в сфере тех проблем, которые в теоретической философии относятся к философии истории, понимаемой в религиозном смысле. Наиболее характерным для Достоевского является именно пророческая интуиция его о завершенности исторического процесса в смысле одновременного созревания добра и зла. Здесь мы опять не можем не привести в связь творчество Достоевского с богословием и философией религии Вл. Соловьева. Их угадывания в принципе до чрезвычайности совпадают и относятся друг к другу отчасти как продолжение к началу, отчасти же как теоретическое раз'яснение к интуитивным постижениям. Достоевский, подобно Соловьеву, острее других почувствовал то взаимоотношение добра и зла в человеческой истории, которое совпадает с религиозным понятием соблазна. Вопрос идет, конечно, не о соблазнах личной воли, а о сверхличном, относящемся к общественным идеалам. По мысли Достоевского, исторический процесс в своем религиозном содержании протекает в роковом соблазне морально-общественными ценностями, которые по форме совпадают даже

и с христианством, но лишь наполнены иным внутренним содержанием. Эта мысль получает свое наиболее яркое выражение в «Легенде о великом инквизиторе», этой вставке в «Братья Карамазовы», имеющей в то же время значение вполне самостоятельного произведения. Эта легенда имеет, несомненно, в виду соблазн католической церкви. Но по тому смыслу, который в нее вложен, она далеко выходит за пределы одного лишь исторического прошлого. В сущности, это продолжение того же соблазна и ложного пути католичества в будущем дано Достоевским в замечательном отрывке из «Дневника писателя» за март 1876 г., озаглавленном: «силы мертвые и силы грядущие». Здесь, в набрасываемых перспективах союза папы римского с новой нарождающейся силой демоса, в перспективах подмены истинного Христа ложным, на все готовым и на все согласным, опять-таки поразительное совпадение того, что предвидел Соловьев в своей повести об Антихристе. Правда, Соловьев, предрекает частичную измену Христу всех трех церквей. У Достоевского слишком подчеркнутая антипатия к католичеству, чтобы его не выделить. Нельзя, однако, не признать, что эта антипатия основана на слишком резко выраженных в истории фактах постоянного соблазна католичества земною властью. Но не это выделение или уравнение католичества существенно во всем этом вопросе, а то, что на судьбе католичества Достоевским необычайно ясно вскрыты универсальные принципы соблазна, которые по существу одни и те же, обращаемся ли мы к церковной или вне-религиозной политике. Несомненно лишь, что измена католической церкви была первым и самым роковым, по неизбежности своих последствий, срывом христианства с правильного пути. Здесь именно враждебное христианству начало забралось в самую сердцевину его телесного организма и соблазнило именно возглавление земной церкви в лице папы и высшей церковной иерархии. На почве этого соблазна и произошла первая измена внутреннему содержанию христианства и тот распад религиозного сознания, который породил реформацию со всеми ее последствиями и отголосками, а, главное, породил массовое отпадение от религии тысяч и миллионов верующих. Но антихристово начало истории, разделив человека с Богом, распространило свой «метод» действия на оба обособившиеся фронта. Оно, несомненно, активно и в том стане, который имеет на своем знамени распятого Христа, сбивая его на старые, осужденные всем ходом истории, пути католичества. Но наибольшие завоевания делает оно, конечно, в противоположном лагере. Здесь соблазн внешними достижениями культуры проявляется во всей силе, не сдерживаемый никакими противодействиями со стороны учения евангельского, и, что важнее всего, распространяется

на массы, тогда как там он отравляет сознание, главным образом, лишь власть имеющих. Но по существу, соблазн этот везде одинаков. Это тот же тройственный соблазн властью над природой (техника и «чудо»), властью над человеком и экономическим устроением («хлебом»), который предстоял в дьявольском искушении в пустыне перед началом земного служения Христа. Но то, что отверг Христос, постоянно принимает изменяющее ему человечество, принимает в разнообразных формах и выражениях. Если в «Легенде о великом инквизиторе» мы имеем разоблачение основной и общей формы этого соблазна, то к вариациям его Достоевский обращается многократно и по разным поводам, как в своих романах, так и в «Дневнике писателя». Если в «Бесах» срывается маска с общественного служения человечеству «мимо Христа», обнаруживается гнилая сердцевина лишь в теории возвышенных «женевских идей», то в разнообразных публицистических выступлениях Достоевский то тут, то там ловит общественную жизнь, ее пленяющие и одурманивающие лозунги, на фальшивых шагах обнаруживает внутреннюю ложь в различных общественных «вывесках» о правде, справедливости и общем благе. Больше всего обрушивается он, конечно, на то, что в его эпоху именовалось «либерализмом».

Характерен в этом отношении его специфический интерес к суду присяжных, и именно к той стороне судебного процесса, которая наиболее отражала либеральную тенденцию его времени, к делу защиты. Красноречивый адвокат—постоянная мишень выпадов и злостных сарказмов Достоевского. Казалось бы, это диссонирует со всем остальным содержанием его религиозности, с его снисходительностью и пониманием греха и преступления. Но этого, конечно, нет. Достоевский снисходителен лишь в плане религиозного суда и осуждения, но вовсе не уголовного государственного. Ведь он приемлет грех лишь со всею полнотою его религиозных последствий, т.-е. с наказанием и раскаянием. И нарушать органическую связь этих трех моментов, в чем он видит как бы главную роль защитника, есть для него именно с религиозной точки зрения величайшее зло и развращение. Но, кроме того, здесь есть нечто, что возмущает его в гораздо большей степени, а именно—некоторый вид общественно-санкционированной лжи. По виду дело защиты есть дело человеколюбия. Но именно «по виду»—возмущается Достоевский. В основе своей она чаще всего не имеет с ним ничего общего, потому что, защищая преступление, она обвиняет или ставит вне защиты пострадавшего. С особенным душевным надрывом следит Достоевский за процессами по преступлениям, направленным на детей. Здесь для него защитник становится сам преступником по отношению к пострадавшему ребен-

ку. Судебный процесс в его либеральной форме есть лишь одна из масок, срываемых Достоевским с внешне пленительного прогрессивного либерализма. Но, конечно, таких масок множество, и притом во всех лагерях, партиях и направлениях. Их совлечение—одна из основных задач художественной и публицистической деятельности Достоевского. Он не выделялся бы этим из среды многих других писателей Европы и России, если бы делал это случайно, не руководимый одной общей тенденцией и мыслью. Особенностью Достоевского именно и является его сознание внутреннего единства всех видов лжи и обмана. И эта особенность проистекает из его общего религиозного восприятия истории и современной жизни, из его осознания ее конца и ее религиозного смысла.

Осмысливание исторического процесса с точки зрения внутреннего раскола единого богочеловеческого процесса, порожденного средневековым католичеством, разоблачение соблазнов зла, распутывание тех предательских узлов, в которые связаны человеческой и нечеловеческой хитростью добро и зло различных ценностей и порядков—основная и наиболее насущная тема религиозной мысли настоящего и будущего. Для развития этой темы в надлежащей ясности до сих пор еще не было достаточно исторического опыта и материала. В настоящее время она назрела, и в смысле своей возможности, и в смысле своей необходимости. Без ясной аналитической работы в этом направлении,—работы теоретической мысли и непосредственной интуиции совести,—без рассечения роковых связей добра и зла, толкающих мало чуткую совесть и столь же нечуткие умы на ложные шаги, невозможно практическое разрешение религиозно-общественной задачи, переданной подготовительной эпохой прошлого завершающему будущему. Трудно сказать, хуже или лучше современное человечество человечества прошлого. Но одно можно сказать уверенно: никогда человеческая совесть и ум не были так запутаны в своих исканиях хитросплетениями добра и зла. Теоретическое и практическое раз'единение этих хитросплетений составляет неотложную задачу деятельного христианства. Если эта задача именно теперь поставлена и именно теперь доступна разрешению, то несомненно, что Достоевский не только нас к ней подвел, но и дал громадной ценности интуитивные постижения, облегчающие для религиозной воли и мысли эту трудную работу. В этом состоит его историческое значение для религиозной жизни не только России, но и всего человечества.

С. Аскольдов.

Л. КАРСАВИН.

ДОСТОЕВСКИЙ и КАТОЛИЧЕСТВО.

Достоевский и католичество.

«Идеал гражданского устройства в обществе человеческом» «есть единственно только продукт нравственного самосовершенствования единиц, с него и начинается;... было так с покон века и пребудет во веки веков. При начале всякого народа, всякой национальности, идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью. Эти убеждения формулировались всегда и везде в религию, в исповедание новой идеи, и всегда, как только начиналась новая религия, как тотчас же и создавалась гражданская новая национальность» [1]).

Таково основоположение той философии общества и истории, которую развивает Достоевский как в романах своих, так и в статьях, и которую необходимо ни на мгновение не упускать из виду, касаясь его отношения к той либо иной религии, в частности—к католичеству. Понимание и оценка католичества являются производными общей философской концепции. В этом и трудность проблемы, и ее интерес.—Общественный идеал в существе и истоке своем—идеал религиозный; он—одно из обнаружений религиозности, хотя бы и не всегда сознаваемое как таковое. А что он не всегда понимается религиозно, на самом деле будучи религиозным—это хорошо известно Достоевскому и хорошо им показано в целом ряде кратких и подробных характеристик таких явлений, как социализм. Однако, понимание общественного идеала, как нерелигиозного, точнее—непонимание всеобъемлющего значения религиозности глубоко ошибочно и неизбежно сказывается во внутренних противоречиях и саморазложении всякого мирского строительства.

---

[1]) «Дневник Писателя», 1880 авг. III, 3. В дальнейшем даю сокращенное указание—«Дн.», приводя год, месяц, главу и часть. Курсив везде принадлежит Достоевскому, разрядка—мне.

Общественно-религиозный идеал необходимо является также идеалом национальным, а вернее—идеалом гармонического синтеза, организмом его национальных аспектов или выражений. Для Достоевского, познавшего абсолютную ценность всякой индивидуальности, близка и понятна абсолютная ценность всякой нации, всякого народа. Отсюда вытекает своеобразная трудность всей его общественно-философской и, еще более, религиозной концепции, разрешаемая в духе славянофильского мессианства.

О мессианстве и славянофильстве нам придется сказать несколько далее. Но уже теперь необходимо обратить внимание на то, чем и как обосновывается кратко формулированная выше основная идея. Разумеется, не историческими примерами, приводимыми на тех же страницах «Дневника», т.-е.— не ими главным образом. Все это правдоподобно и вероятно: национальная общественность евреев или арабов слагается в связи с законом Моисея и Кораном, на них основана; с падением религиозного идеала падают и общественность и национальность. Совершенно справедливо: «когда... утрачивается в национальности потребность общего единичного самосовершенствования в том духе, который зародил ее, тогда постепенно исчезают «все гражданские учреждения», ибо нечего более охранять. Но примерами ничего доказать невозможно, уже потому, что их можно толковать и по-иному, например, в духе исторического материализма считать духовно-религиозное следствием или эпифеноменом общественного. т.-е. переворачивать причинную связь, устанавливаемую автором.

Достоевский поставленного мною сейчас вопроса не ставит. Но он отвечает на него в проблематике и психологии своих героев, отвечает, как художник и гениальный аналитик.

«Нет добродетели, если нет бессмертия», утверждает Иван Карамазов. Любовь на земле «не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие». Не следует понимать эти слова вульгарно и сплетать их со страхом пред загробными карами. «Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия». Тогда «нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному, и... эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благородным исходом в его положении». И это вовсе не холодная диалектика,

это—слова «блаженного» или «несчастного» сердца, «горняя мудрствующего и горняя ищущего». Иван Федорович не «шутит» и в беседе с Алешей вскрывает весь смысл поставленного им вопроса, который обрекает его своею для него неразрешимостью на жизнь «с адом в груди и в голове».

В больном юноше Маркеле, брате Зосимы, просыпается всеоб'емлющая любовь, как будто и не религиозная. Он говеет для того, чтобы «обрадовать и успокоить мать». Но когда нянька зажигает лампадку в его комнате, Маркел, прежде не допускавший этого, вдруг говорит: «Зажигай, милая, зажигай, изверг я был, что претил вам прежде... Ты Богу, лампадку зажигая, молишься, а я, на тебя радуюсь, молюсь. Значит, одному Богу и молимся». Так напряженная любовь становится верою или раскрывает свою религиозную природу; и религиозна она целиком у самого старца Зосимы. Достоевский неоднократно вскрывает религиозную природу русского социализма и нигилизма; и опять-таки «тем же методом» обнаруживает неполноту и несовершенство земной любви без веры в бессмертие и Бога. Версилову предносится фантастическая картина будущего безрелигиозного человечества, когда «весь великий избыток прежней любви к Тому, который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку». Версилов трепещет внутренно этою любовью; он уже читает во взглядах будущих людей бесконечную взаимную нежную любовь, любовь, но и «грусть». Мечтатель не может «обойтись» без Него, не может «не вообразить Его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил: «Как могли вы забыть Его?» И тут как бы пелена упадала со всех глаз, и раздавался бы великий восторженный гимн нового и последнего воскресения».

О том же говорит Зосиме «таинственный посетитель». «Рай в каждом из нас затаен», но «чтобы переделать мир по новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу», стали друг другу братьями, а для этого «должен заключиться период человеческого уединения», т.-е. об'ясняемой недостаточностью веры раз'единенности или, в конце концов, самоубийства. «Но непременно будет так, что придет срок и сему страшному уединению, и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого. Таково уже будет веяние времени, и удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а света не видели. Тогда и явится знамение Сына Человеческого на небеси...» Это будет царство любви, но ведь в любви-то и дано «ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим»; все живет и живо лишь ею, лишь чувством «соприкосновения своего таинственным мирам иным».

С намерением я подчеркиваю «метод» Достоевского, как метод возведения проблемы к основным тенденциям душевной жизни, изучаемой во всей ее конкретности. Только поняв и оценив значение и силу этого метода, можно понять идеи Достоевского не как безответственные мечты и фантазии, а как нечто внутренно обоснованное. «Он», как метко выразился К. Леонтьев, «знает гораздо более психическим строем лиц, чем строем социальным».

Итак, смысл жизни человечества на земле, начало и цель ее—любовно-религиозное единение со Христом каждого и всех, единство всех и всего во Христе. Это не единство немногих, неприемлемое и непереносное для религиозного чувства, а единство всех; не единство отвлеченно-духовное, но—целостное, включающее в себе все: и «клейкие листочки, и дорогие могилы, и голубое небо, и любимую женщину». В нем должны найтись место и радость и для Свидригайлова, и для Федора Павловича Карамазова, уже здесь на земле как-то приемлемого любовью старца Зосимы. Оно—единство со Христом и духа человеческого, и всей материи обоженной, Богоматери.

Всеединство не может быть отрицанием чего-бы то ни было: в нем должно быть все, ибо только в этом случае оно все-единство. Значит, есть правда во всяком искании человечества. И Достоевский усматривает ее, убежденный в ограниченности и недостаточности социализма и анархизма, даже в предлагаемой ими «переделке всего человечества по новому штату»: «ведь это один же чорт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца», как говорит Иван Карамазов.

Именно поэтому религиозный идеал не может не быть и общественным. Общественный идеал без религиозного основания только «панически-трусливая потребность единения, с единственною целью «спасти животишки», т.-е. «самая бессильная и последняя идея из всех идей, единящих человечество... начало конца, предшествие конца». Безрелигиозное общество—«муравейник,» в себе самом несущий начала разложения, обреченный на гибель, потрясаемый клокотанием «четвертого элемента». Гибель такого общества рано или поздно неизбежна, и Достоевскому казалось, что она уже близка. Если же мы вспомним уже приведенные выше мысли о религиозном происхождении всякого общества, нам станет очевидным, что в самой первоначальной идее его, хотя и религиозной, должна заключаться какая-то ошибка. Эта ошибка и есть католическое или папское понимание христианства.

Религиозно-общественный идеал выдвигает ряд основных проблем, которые ставятся и частично решаются в творчестве Достоевского. Первая может быть определена, как проблема зла и оправдания. К ней автор только подошел, но решения

ее не дал или дать не решился, хотя только такое решение и может привести в гармонию те противоречия, которыми столь богаты его романы. Вторая ограничена сферою общественности и сводится к вопросу об оправдании уже не индивидуальных, а групповых ценностей, более же всего к оправданию национального во вселенском. Третья, в данной связи и для нас самая существенная, возвращает к основной идее Достоевского и может быть условно формулирована, как проблема отношения между церковью и государством или организованной общественностью.

Повидимому, национальное несовместимо со всечеловеческим, и вселенское или всечеловеческое неизбежно должно быть интернациональным. Достоевский, действительно, различает «мировое значение», часто «неисследимое» по своей глубине, и «ореол местной национальной характерности». Однако, мировое для него не является отрицанием национального, несмотря на всю очевидность отрицательности во всяком национальном эгоизме. «Европа», говорит Версилов, «создала благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще почти ничего не знает... Всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, под тем лишь условием, что останется наиболее французом, равно—англичанин и немец». В этом ограниченность их национализма, отсутствие в национальном всечеловеческого. Отсюда и их взаимная вражда. «Им еще долго суждено драться, потому что они—еще слишком немцы и слишком французы и не кончили свое дело еще в этих ролях». Неизбежным следствием национального эгоизма является раз'единенность или «уединение», пронизывающее все стороны жизни и отрицающее религиозно-общественный Христов идеал.

Однако, «всякий великий народ верит и должен верить, если хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном и заключается спасение мира, что живет он на то, чтобы стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их в согласном хоре к окончательной цели, всем им предназначенной» (Дн. 1877, янв. II, 1). Повидимому, это положение противоречит приведенным выше. Можно точнее выразить его, отметив, что вера в свою миссию не должна сочетаться с «эгоизмом национальных требований», который обеспложивает и убивает самое веру. Не должно быть того, что Достоевский резко ставит в вину еврейскому народу—«веры в то, что существует в мире лишь одна народная личность—еврей, а другие хоть есть, но все равно надо считать, что как бы их и не существовало». «Выйди из народов и составь свою особь, и знай, что с сих пор ты один у Бога, остальных истреби, или в рабов преврати, или эксплоатируй. Верь в победу над

всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся» (Дн. 1877, март, II, 3). Такова формула национального эгоизма, которого не должно быть во всеединстве.

Как же тогда мыслимо сохранение абсолютно ценных национальных личностей во всечеловечестве, немыслимом как интернационал? Достоевский не дает полного и ясного ответа—он отвечает по-славянофильски: чрез осуществление русской идеи; и в этой славянофильской формуле должно искать существо его мысли. «Мы», говорит он, «первые о'бявим миру, что не чрез подавление личностей иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна другою, прививая к себе их органические особенности и уделяя им и от себя ветви для прививки, сообщаясь с ними душою и духом, учась у них и уча их, и так до тех пор, когда человечество, восполняясь мировым общением народов до всеобщего единства, как великое и великолепное дерево осенит собою счастливую землю» (Дн. 1877, апр. II, 2). Так, поясняет Достоевский в своей «Речи о Пушкине», будет указан «исход европейской тоске в... русской душе», так будет сказано «Слово великой общей гармонии братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону».

Здесь надо отметить несколько неравноценных мыслей. Во-первых, всечеловечество должно быть таким организмом, в котором сохраняется из национального все, обладающее абсолютным значением, т.-е. национальная личность всякого народа. Во-вторых, все эти национальные личности взаимно восполняют друг друга и живым взаимодействием и создают само человечество. Таким образом, француз не должен перестать быть французом, немец—немцем, но они должны быть не только французами или немцами, а и всечеловеками;—пункт, Достоевским до конца не выясненный. В-третьих—и это наиболее спорная мысль, стоящая в связи с неясностью второго пункта—всечеловечество нуждается в особом конкретном носителе, в народе-мессии, который именно поэтому подвергается опасности во всечеловечности своей утратить национальное лицо.

Народ-мессия есть русский народ. Конечно, речь идет не о ясном сознании им своей всечеловеческой миссии, тем менее—об осуществленности ее. Всечеловечность русского народа надо рассматривать как потенцию, актуализирующуюся лишь частично и неполно—полная актуализация ее—а в это

Достоевский верит—принадлежит будущему. При этой оговорке уже не страшны указания на недостаток культуры, на невежество и грубость русского мужика, на дикость нравов; а, с другой стороны, благодаря этой же оговорке, получается возможность понять национальную типичность русской интеллигенции.

Признавая русский народ народом-мессией, Достоевский невольно отожествляет его всечеловечность с его национальностью, растворяя вторую в первой. Главною народною нашей чертой, говорит он, является отсутствие национального эгоизма, терпимость ко всему иноплеменному. А с терпимостью органически связана и другая особенность—отзывчивость на все чужое, способность перевоплощаться. «Один лишь русский, даже в наше время, т.-е. гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех... Я во Франции—француз, с немцем—немец, с древним греком—грек и, тем самым, наиболее русский, тем самым я—настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль». Эти слова Версилова, неизбежным выводом из которых должна быть дилемма: или гибель—растворение русской национальности, или руссификация Европы (от последнего Достоевский иногда и не так уже далек), подтверждаются на примере Пушкина, на его «способности всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, перевоплощения почти совершенного». «Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим...» «Родственно и задушевно», целиком соединившись со своим народом, «став вполне народным поэтом», Пушкин стал и «общеевропейцем», «всечеловеком».

Если терпимость к иноплеменному лишь выражение «способности к перевоплощению», то сама эта способность выражает жажду «всемирного счастья», стремление «ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого Арийского рода». Наш русский удел «и есть всемирность, и не мечом приобретенная» (руссификация в этом плане мыслей отбрасывается), «а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей». Вот в чем смысл русской истории, смысл всех страданий русского народа. В «идее» его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и заключается...»

БИБЛИОТЕКА имени

В чем же именно? Основание перевоплощаемости, тожественной с национальным самораскрытием, лежит в самоуглублении, в обращении в себя самого. Но для этого надо отбросить все внешнее, ошибочно считаемое мною моим, отказаться от эмпирического я. «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве». Только чрез смирение можно приобщиться народному духу. «Не вне тебя..., а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду». Но обладание истинным (не эмпирическим) самим собою уже и есть истинная свобода. «Победишь себя, усмиришь себя,—и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Не у цыган» (Достоевский говорит об Алеко) «и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже не предполагая, что за нее надобно заплатить».

Путь к самопостижению или «смирению» лежит чрез страдания и завершается страданием—жертвой. Поэтому и народ русский, а в значительной мере и все славянское племя должны обладать свойством «подыматься духом в страдании, укрепляться политически в угнетениях и среди рабства и унижения соединяться взаимно в любви и в Христовой истине». «Славянская идея в высшем смысле ее» «есть жертва, потребность жертвы даже собою за братьев, и чувство добровольного долга сильнейшему из славянских племен заступиться за слабого, с тем, чтобы, уравнять его с собою в свободе и политической независимости, тем самым основать впредь великое всеславянское единение во имя Христовой истины, т.-е. на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и угнетенных в мире». (Дн. 1876, авг., Post-Script.).

Что-либо из двух. Или данная Достоевским характеристика является характеристикою национально-русского аспекта всечеловечности, или она дает всечеловечность вообще. Во втором случае остается неясным, в чем же собственно-русское, ибо и другие народы должны придти к тому же; в первом—оказывается необоснованною исключительная роль русского народа (ведь всечеловеческое не может быть ограничено только одним из своих аспектов), и проблема исторической миссии России остается не разрешенной... Но для нас существенны не эти противоречия, возникающие попутно, а сама характеристика основных черт русского народа, взятая в последней ее психологической глубине. И вот тут-то и оказывается, что русский национально-всечеловеческий идеал, будучи идеалом

гражданственным, по существу своему есть идеал религиозный, «Христов». Это—служение во Христе, «служение Христу и жажда подвига за Христа», проблема «судеб настоящих и судеб будущих православного христианства» (Дн. 1876, декабрь, II, 3); это—«настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воздвижение Креста Христова и окончательное слово Православия, во главе которого давно уже стоит Россия» (ib. июль-авг., I, 4).

Православный идеал нерасторжимо, органически сочетает в себе религиозное, общественное и политическое начало. Он дает «формулу гражданственности», из него проистекающей и от него неотделимой. Поэтому, в православном понимании, церковь, как единство людей во Христе, должна заключать в себе всё, все стороны жизни. Церковь не «союз людей для религиозных целей», подобный «всякому общественному союзу»; она не противоположна государству и не подобна ему, но, в идеале, включает в себя государство, которое должно «обратиться в церковь вполне и стать ничем иным, как лишь церковью, и уже отклонив всякие несходные с церковными свои цели». «Государство», как формулирует приведенную мысль Ивана Карамазова отец Паисий, «должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью, и ничем иным более». Тогда общественно-моральный идеал, вырастающий, как мы видели, из индивидуально-морального, снова обнаружит себя и как индивидуальный, став «идеею о возрождении вновь человека, о воскресении его и о спасении его». Всякие же отношения м е ж д у церковью и государством, всякое разграничение сфер их действия могут быть только «временным, необходимым еще в наше грешное и незавершившееся время компромиссом». При всем этом человечество должно начинать с духовного единения, с истока. Оно сначала должно об'единиться духовно и внутренно, и только «потом уже в с и л у э т о г о д у х о в н о г о с о е д и н е н и я всех во Христе» и «социально» (Дн. 1877 май-июнь, III, 1).

Теперь мне не трудно ответить на недоуменный вопрос читателя: какое все это имеет отношение к католичеству? Впрочем, полагаю, догадливый читатель и сам уже понял, что всем сказанным вопрос о католичестве решен, и оценка его произнесена. Остается лишь детализировать и конкретизировать общую мысль.

Еще до появления христианства европейское человечество жило «идеею всемирного единения людей». Эта идея создала западную цивилизацию и стала ее целью; она выражена древним Римом в «форме всемирной монархии». Но Рим, а вместе с ним и его «формула», пали пред христианством. Однако, пала лишь «формула», не сама идея, бывшая своего рода предвосхищением христианского религиозно-общественного идеала. Хри-

стианство заключало в себе эту идею искони, хотя ко времени падения Рима и своей победы еще не раскрыло ее с полною ясностью. И она осталась во всей своей чистоте, но и потенциально в христианстве восточном, в православии, ныне возглавляемом и хранимом Россиею. В западном же христианстве или католичестве, в церкви папской христианский идеал видоизменился, «не утратив свое христианское, духовное начало и поделившись им с древне-римским наследством». Католичество провозгласило, что «христианство и идея его, без всемирного владения землями и народами, не духовно, а государственно,—другими словами, без осуществления на земле новой всемирной монархии, во главе которой будет уже не римский император, а папа,—осуществимо быть не может». Католичество считало (и считает) необходимым «сначала заручиться прочным государственным единением в виде всемирной монархии» с тем, чтобы потом, «пожалуй», создать и духовное единение (Дн. 1877; май-июнь, III.).

По первоначальному заданию (разумеется, не существенно: насколько сознательному) католичества всемирно-государственное или внешнее единение—средство, духовное—цель. Но средство неизбежно превращается в цель и ее отменяет. Поэтому в развитии папской идеи «самая существенная часть христианского начала почти утратилась вовсе»; римская, светская государственность поглотила и растворила христианский идеал, князь мира сего победил наместников Христовых. Отсюда—омирщение церкви и омирщение всей христианской культуры и жизни. И с этой точки зрения французская революция и все социалистическое движение представляются логически и органически необходимыми моментами развития Запада. А безрелигиозная общественность и государственность, как мы уже знаем, приводят к раз'единенности, к борьбе всех против всех: к борьбе государств, наций, общественных групп и классов. Вырождение католической культуры и самого католичества, как папской церкви, ставящей себе мирские цели и применяющей мирские средства, завершающей себя в иезуитском братстве, неизбежно. Иначе и быть не может, ибо католическое задание в самой основе своей ошибочно и греховно. Римская или папская идея—«третье диаволово искушение».

Можно не соглашаться и спорить с тем, что православие в том виде, как его описывает Достоевский, не только идеал, но и, хотя бы в малой своей доле, действительность. Входить здесь в рассмотрение этого вопроса неуместно. Ограничусь лишь указанием на то, что, если православие Достоевского не более, чем идеал (впрочем, и для идеала должны быть некоторые реальные предпосылки), он принципиально отличен от католического идеала. Но прав или не прав Достоевский в ха-

рактеристике православия, он безусловно и во многом прав в характеристике исторического католицизма [1]).

Спорить с фактами—предприятие безнадежное. Католичество—это, пожалуй, уже стало общим местом—отличается от православия, и к выгоде своей и к невыгоде, деятельным характером. Оно, конечно, не отрицает ни жизни, ни царства будущего века, напротив—в них усматривает последнюю цель и ими обесценивает земную жизнь. Но практически и реально оно все в этой, теоретически обесцениваемой им, земной жизни, всецело занято ее устроением, поглощено ее целями и ее задачам подчиняет идеалы будущего мира, который и сам предстает пред ним в чертах и красках мира земного. Христианская идея наряду с царством небесным, понятие которого доныне остается неуясненным, предполагает и преображение земной действительности усилиями сынов Божьих. И это преображение можно или относить в далекое будущее, к концу времен, небрежа земным трудом, в чем повинно восточное христианство, или считать его постоянным и необходимым заданием. Понимая свою цель во втором смысле (в чем его большое значение), католичество, во-первых, рассматривает земную деятельность, как средство достижения небесного царства, а во-вторых, самое земную деятельность берет в ее чистом виде, забывая о ее преображении. И в том и в другом—его измена христианскому идеалу.

На деле католичество сосредоточилось на земных целях, заставляя служить им даже ушедших из мира монахов, которыми оно укомплектовывает армии воинствующей церкви. Оно—религия человеческая, слишком человеческая. Оно не ждет, когда государство «сподобится» стать церковью, но и не стремится себе его уподобить, само ему уподобляясь. Достоевский с полным основанием выдвигает момент земного владычествования, римскую традицию. С неменьшим правом можно указать на католическую мораль, рассудочно-расчетливую в типичных своих обнаружениях и скользящую по грани бухгалтерии, на холодно-рассудочное богословие, на мистику, которая вносит в отношения к Божеству человеческую «прелесть», земную эротику. Косвенно, на рассудочность католичества Достоевский и намекает в речи Шатова в «Бесах». «Народы», говорит Шатов, «слагаются и движутся» не разумом или рассудком, не наукою, а «силою иною, повелевающею и господствую-

---

[1]) Во избежание напрасных недоразумений, считаю нужным отметить, что моя книга «Католичество» рассматривает его в его существе и идеале, не в историческом обнаружении, со стороны положительно и абсолютно-ценного в нем, не со стороны его недостаточности. К тому же и начинается она с условных предложений. Поэтому никакого противоречия между ее содержанием и тем, что утверждаю я здесь, нет, как ясно из одновременно почти вышедшей в свет моей «Культуры Средневековья». По нынешним временам и людям, к сожалению, приходится делать подобные оговорки.

щею, но происхождение которой неизвестно и необ'яснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти», «искание Бога». Она может быть и есть даже в необразованном и диком, некультурном народе, как может отсутствовать и часто отсутствует в образованном и ученом человеке. «Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости... Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков». И религия основываться на разуме не может. Ведь «никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал...» А какая же религия без различения добра и зла? Если принять во внимание, что именно в православном и л и русском народе Достоевский усматривает эту высшую силу, делающую простого русского мужика носителем истинно-христианского идеала, и если сопоставить с этим последовательный рационализм католического богословия, выдвинутое мною положение оказывается отчетливо не высказанным у Достоевского только по недоразумению или случайным обстоятельствам. Но, конечно, и рационализм ложен лишь как отрицающий высшее ведение и горделиво ставящий себя на его место, не довольствуясь скромною служебною ролью. Таков рационализм католичества, и в этом тот же основной недостаток римской религии.

Все почти, если не все, высказывания Достоевского о католичестве даны в полемическом контексте. И все же совершенно очевидно, что он видел в католицизме и нечто положительное. «Католическая идея» «износилась» («Гражданин», 1873, № 51), но не целиком: в ней осталось христианское содержание. Как идея религиозная, она являлась и является принципом общественной и политической жизни, образуя национальности и давая им «живую жизнь» (ib.). «Под этой идеей впродолжение тысячелетия» «сложились» нации, «проникнутые ею насквозь» (Дн. 1877, янв., I, 1), создалась «западно-католическая цивилизация» («Гражданин», 1874, № 1). И подобно тому, как православная идея наиболее полно и совершенно выразилась в России, возглавляющей славянство, идея католичества стала «главною идеею» Франции и сделала Францию совершеннейшею своею выразительницей. В течение «почти двух веков, Франция, вплоть до самого недавнего погрома и уныния своего, все время и бесспорно—считала себя во главе мира, по крайней мере, нравственно, а временами и политически, предводительницей хода его и указательницей его будущего» (Дн. 1877, янв. II, 1). Таким образом, Франции в за-

падно-христианском мире принадлежит то же самое место, что России в восточно-христианском. Следовательно, и католичество обладает известною организацией и об'единяющей силой, несмотря на свою ошибочность и недостаточность, на свое столь ярко сказавшееся в той же Франции вырождение. И, разумеется, не Достоевскому, защитнику абсолютной ценности индивидуального и национального, отрицать положительное значение этой страны католицизма. Впрочем, здесь он не вполне точен, особенно если не принимать во внимание прослеживаемого им вырождения католичества в социализм. С одной стороны, слагая нации, в частности, французскую, как главенствующую, католичество, с другой стороны, национальность разлагает. Оно, вводящее везде один латинский язык, отрицающее местные церкви, только терпящее местные особенности, отвергает идею всечеловеческого организма или взаимодополняющегося единения наций во имя религиозного интернационала, во имя единства отвлеченного и рассудочного.

Все это, как и взгляды самого Достоевского, может показаться голословными утверждениями, в лучшем случае—безответственными интуициями: ведь мы не верим фактам, не убеждены в правильном и беспристрастном их подборе. Для обоснования изложенной концепции католичества необходимо, пользуясь охарактеризованным выше «методом», углубиться в психологический анализ католической идеи и выяснить неразрывную, органическую связь ее моментов. Такой анализ дан в «Легенде о Великом Инквизиторе», и не следует смущаться некоторою неясностью изложения: она неизбежна потому, что взгляды Достоевского высказывает Иван Федорович Карамазов, характеризующий (немного, конечно, сильно) свою легенду, как «только бестолковую поэму бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал».

«Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Вот первое дьявольское искушение, настолько связанное с двумя другими, что оно без них, как и они без него, немыслимо, не выражено вполне. Оно покоится на глубоком знании эмпирической человеческой природы, соединенном с презрительным неверием в возможность обожения человека. Всякая деятельность человека, в частности, моральная и религиозная его деятельность—так думает «страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия»—мотивирована основными потребностями эмпирической человеческой природы. Говоря грубо и конкретно, человек живет и действует, сознательно либо бессознательно руководствуясь надеждою на хлеб земной и насущный. Никаких идеальных потребностей, никакой тяги к абсолютному в нем нет; а если и есть, то лишь как нечто второстепенное и производное. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» «Ты», говорит инквизитор Христу, «хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обе-

том свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся,—ибо ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой и раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою, и прекратятся им хлебы Твои».

Действительно, свобода и необходимость заботиться о хлебе насущном несовместимы. Ради хлеба, ради удовлетворения своих насущных эмпирических потребностей человек пойдет в рабство: «лучше поработите нас, но накормите нас». А в царстве свободы он очень быстро убедится, что «свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою». Почему же не сумеют?—Да потому, что люди «малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики», потому, что в них реальна лишь эмпирическая природа. Но это значит, что они не могут быть и свободными в том высшем смысле, какой раскрыт Достоевским в применении к идеалу православия. Свобода—«хлеб небесный», но небесному хлебу «в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени» не сравниться с земным. Мотивация всего эмпирическими потребностями, утилитаризм в религии и морали, является отрицанием свободы, ибо свобода как раз и есть независимость от эмпирии, обладание самим собою истинным, которое, как мы знаем, приобретается самопознанием—смирением и страданием, а не гордынею мнимо-своим. Тем, что люди вместо «знамени хлеба небесного» стремятся к «знамени хлеба земного», они показывают, что дар свободы им тяжел, что они готовы отдать свою свободу за их успокоение.

Но как же люди, отдающие свою свободу, могут быть «бунтовщиками»?—Да, они и отдают-то свободу свою потому, что «устроены бунтовщиками», а бунтовщики не могут быть счастливы. Это во-первых; во-вторых—надо различать свободу истинную от свободы мнимой, которая на самом деле рабство, и помнить, что, отказываясь от первой и будучи на самом деле рабом, человек может считать и считает себя свободным. «Но знай», говорит инквизитор, «что теперь... эти люди уверены более, чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем, сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим».

Однако, из одних эмпирических потребностей, из хлеба земного все не выводимо: «тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том для чего жить». Без цели жизни человек откажется и от хлеба. В психике человеческой есть иррациональные с точки зрения утилитаризма, но основные стремления. И «единоличное существо» и «целое

человечество» ищут, «пред кем преклониться». Им нужно нечто бесспорное, т.-е. такое, чтобы все его признавали, нечто абсолютное. Если не все признают поклоняемое достойным поклонения, оно не бесспорно. И «потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение всех людей, которое ведет к борьбе, к взаимному истреблению. Это понятно.—По существу своему потребность в «преклонении» является тягою к абсолютному. Свободное существо для того, чтобы остаться свободным, должно само найти и признать абсолютное, не в силу пользы его и не в силу его эмпирической убедительности. Но для существа несвободного или рабствующего эмпирии абсолютность определяется эмпирическими признаками, т.-е. именно пользою или «хлебом» и общезначимостью, как всеобщим признанием. А всеобщее признание, в свою очередь, определяется внешними признаками. Только «внешние силы» могут «навеки победить и пленить совесть... слабосильных бунтовщиков».

Есть три таких силы—чудо, тайна и авторитет. Их отверг Христос, отвергая искушения умного духа. Он отказался от них потому, что «возжелал свободной любви человека», свободного избрания добра, свободного следования Ему. Но людям подобное искушение не по силам. Их природа не может отказаться от чуда, как отказался от него Христос; они не могут полагаться на свободное решение своего сердца в минуты «самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих». «Человек ищет не столько Бога, сколько чудес» и, отвергнув чудо, сейчас же отвергнет и Бога.

Далее.—«Вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда» Христос, высоко ставя достоинство человека и желая свободного признания и свободного решения, «взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного», и поставил это перед людьми. Он указал на тайну; но предоставил раскрытие ее свободным усилиям своих последователей. И непостижимой тайною остается, почему столь немногие осуществляют Его завет, почему так мало, повидимому, избранных. Как же решить эту тайну слабому человеческому уму, как успокоиться человеческому сердцу? Только одним способом можно достичь, если не первого, то второго, практически наиболее важного: надо убедить людей, что «не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести». Убедить же можно лишь посредством чуда и посредством авторитета, который основывается на том же чуде и на хлебе земном.

Итак, анализ эмпирической природы человека приводит к весьма низкой его оценке. В нем и над ним господствуют материальные потребности, без удовлетворения которых он жить не может, и которые определяют всю его деятельность, равно—

и религию и мораль. Правда, в нем есть и жажда абсолютного, требующего преклонения, и потребность в этом преклонении, и—«третье и последнее мучение»—«потребность всемирного соединения». Но эти иррациональные потребности, во-первых, связаны с основною материальной, а, во-вторых, истинно утолимы лишь путем свободного искания, свободного труда и свободной любви, путем свободы, т.-е. преодоления первой и основной. Если нет сил на свободу, т.-е., если материальная потребность господствует, жажда абсолютного может быть оправдана лишь внешне—авторитетом, чудом, тайною и, в конце концов, удовлетворением потребности материальной или пользою. Само «всемирное единение» при этом условии может быть осуществлено только извне, внешнею силою, т.-е. тоже посредством чуда, тайны и авторитета и посредством земной власти.

Христос не бросился вниз, остался тверд в своей вере свободной. «О, конечно, Ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это—они-то боги ли?» Не боги, отвечает христианский идеал, но свободно могут обожиться; да и Христос победил искушение и «поступил тут» не «как Бог», а как человек. Инквизитор обожил человеческое, а, с другой стороны, отверг возможность обожения человека. Потому он и поддался на «третье диаволово искушение», т.-е. признал ошибку в отказе Христа от земной власти и правоту католичества, эту власть взявшего в свои руки и «исправившего» дело Христа.

Грех католичества в том, что оно не верит в Христа-Богочеловека и Христу-Богочеловеку, а верит скептическому и циническому уму дьявола. Но это еще не все. У Христа нашлись ученики, «избранники», нашедшие в себе силу для подвига свободы и для самой свободы. Только таких избранников немного, «несколько тысяч, да и то богов». Остальные—слабые и лукавые бунтующие рабы. За что же они гибнут в «неспокойстве, смятении и несчастии»? Или—несколько расширяя и видоизменяя вопрос—за что страдают люди, страдают невинные дети; за что «замученный ребенок... бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «Боженьке»? Как же могло так случиться, что Бог Любви «отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми» (а ведь надо сделать счастливыми и спасти всех)? Возлюбивший людей «поступил как бы и не любя их вовсе». Значит, Он или не любил их, или ошибся.

Мало признать грех католичества и основную его ошибку. Надо еще понять, что она ошибка любви, правда — любовь уничтожающая. Великий Инквизитор тоже был в пустыне, питался акридами и благословлял свободу; он «готовился стать в число избранников... «восполнить число». Но он «очнулся

и не захотел служить безумию». Он не захотел личного своего спасения ради любви к слабым, немощным и подлым и, зная, что его или подобных ему ждут муки, на эти муки идет во имя счастья людей. «Неужели мы не любили человечества», спрашивает он, «столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу...?» «Нет, нам дороги и слабые».— Они любили человечество, но тот же Великий Инквизитор говорит совершеннейшему Человеку: «Я не хочу любви Твоей, потому что сам не люблю Тебя... Мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна!» А если нет любви к Человеку, нет и не может быть любви и к людям, и, следовательно, первоисточное чувство было не любовью, но чем-то совсем иным. Иначе оно не привело бы себя к саморазложению и самоотрицанию, иначе христианство в католичестве не стало бы люциферианством.

А оно становится им. Исходя из оценки и понимания человечества не верою Христовой, но верою в слова «умного духа», католичество хочет превратить камни в хлебы, накормить голодных, для того, чтобы они пошли за ним. Оно, зная тайну свободы, стремится поработить людей обманом, выставляя себя, как истинное учение Христово. «В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать». Оно «исправляет» подвиг Христа и основывает его на чуде, тайне и авторитете. И, наконец, сознавая необходимость для себя земной власти, оно смело берет третий дар дьявола: «мы взяли от него Рим и меч Кесаря и об'явили лишь себя царями земными, царями едиными...». Оно умеет ждать, трезво оценивая человеческую природу, и знает: человечество истомится в своей свободе и принесет ее к ногам того, кто даст ему хлеб и обманом успокоит его совесть. Пускай сейчас люди бунтуют, пускай даже отвергают Бога. Все равно, рано или поздно «глупые дети» раскаются и, запутавшись в дебрях, куда заведут их «свободный ум и наука», возопиют о помощи. И тогда католическая церковь даст им «тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы». Запуганных и робких заставит оно работать, но зато даст им радости, «разрешит им и грех», а для успокоения их примет всю ответственность на себя. «И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только и будем несчастны... Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое, и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет, и для их же счастья будем манить их наградою небесною и вечною».

Есть своя величавая красота в этой любви, убивающей себя и все же как-то оправдываемой безмолвным, тихим поцелуем Христа. Но мне существенно подчеркнуть глубину, внутреннюю силу и убедительность диалектики, такую ее органичность, что по одному звену необходимо восстанавливаются

все остальные. И это не злостная, пристрастная диалектика полемиста, сводящего весь католицизм к погоне за «материальными скверными благами». — Католичество взято в самом благородном своем обнаружении, в героизме величайшей жертвы; и взято со стороны «руководящей», «высшей идеи» своей, не со стороны того, насколько и как она опознается и чем она, сознательно или бессознательно, подменяется. Пускай даже ни один католик, ни один иезуит никогда не договаривался до идеи «Великого Инквизитора»: она тем не менее может быть основною в католичестве и как-то должна быть основною в силу внутренней своей убедительности. Довольно «и одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлась, наконец, настоящая руководящая идея всего римского дела, со всеми его армиями и иезуитами... Я... твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения».

Итак, основанием католичества, как индивидуальной и как социальной религиозности, является утверждение, что царство Христово от мира сего, что Христос «без царства земного удержаться не может» («Гражданин», 1874, № 1). Римская церковь не может уступить и ни за что не уступит своей светской власти и «лучше согласится, чтоб погибло христианство совсем, чем погибнуть светскому царству Церкви». Но провозгласив такое положение, католичество «тем самым провозгласило Христа нового, на прежнего не похожего, прельстившегося на третье диаволово искушение, на царство земное». При этом земное властвование римской церкви, как идеал ее, должно быть понято шире, чем простое обладание государством Петра. — «Об'единенная Италия стучалась уже в ворота Рима», а папство как раз и открыло «свой секрет», по-новому выразило свою вековечную идею. Эта новая формула, этот «секрет» — догмат папской непогрешимости.

Какое отношение имеет догмат непогрешимости к светской и государственной власти? Он, повидимому, устанавливает только одно: при известных условиях безошибочны папские решения в вопросах веры, культа и дисциплины. Можно обвинять папство в гордыне, человеческой или антихристовой; но какое основание видеть в догмате непогрешимости формулу притязаний на государственную власть? — Признать себя высшим судьей и законодателем в делах веры при условии приоритета религиозного начала и необходимости подчинить ему все, значит, рассуждает Достоевский, признать себя главою всех государей земных, в о с к р е с и т ь древнюю идею всемирного владычества и единения и окончательно продать Христа за царство земное.

В 1873 г. 7 августа Пий IX обратился с письмом к императору Вильгельму, где, между прочим, он говорит: «... эти меры могут лишь колебать ваш престол. Говорю откровенно... потому, что считаю своим долгом говорить истину всем, хотя

бы и не католикам, ибо всякий приявший крещение принадлежит более или менее — я не могу здесь из'яснить в подробности почему — принадлежит, говорю, более или менее папе». Конкретно — папа заступается перед императором за его подданных, даже за еретиков, и заступается не как предстатель, но как власть имеющий, ибо даже еретики имеют право принадлежать ему, папе. Если вспомнить, что в религиозном вопросе невозможен никакой компромисс, станет ясным, что из слов папского послания вытекает и государственное верховенство папы. Вот почему Достоевский и считает возможным дать такое свободное переложение мыслей Пия IX: «Это вы думаете, что я только титулом государя Папской области удовольствуюсь? Знайте же, что я всегда считал себя владыкой всего мира и всех царей земных, и не духовным только, а земным, настоящим их господином, властителем и императором. Это я — царь над царями и господин над господствующими, и мне одному принадлежат на земле судьбы, времена и сроки; и вот я всемирно об'являю это теперь в догме моей непогрешимости» (Дн. 1876, март I, 5. Ср. 1877, май—июнь, III, 3).

Нет вообще вопроса, который бы стоял вне религии. Но это положение приобретает особый смысл, когда речь идет о католичестве, и когда Достоевский утверждает, «что нет теперь в Европе вопроса, который бы труднее было разрешить, как вопрос католический, и что нет и не будет отныне в будущем Европы такого политического и социального затруднения, к которому не примазался бы и с которым не соединился бы католический римский вопрос» («Гражданин», 1874, № 1). Тут надо различать две стороны. — Во-первых, в существе своем католичество является выражением западно-романской культуры и невольно принимается всеми «за общее знамя соединения всего старого порядка вещей» (Дн. 1877, май—июнь. II, 2). Сознательно или бессознательно для всего романского мира его культура есть культура римская и католическая. Во-вторых, сама римская церковь представляет активную силу, которая пронизывает всю жизнь, всю ее стремится сплотить в себе и себе подчинить.

Выше уже указано, что римская религия создала и организовала романскую культуру, высшее и совершеннейшее выражение которой дано во Франции, «нации католической вполне и всецело». В XIX в. кажется смешным называть Францию «католической, представительницей католичества», может быть, это еще смешнее в веке XX. И тем не менее Достоевский убежден в своей правоте: «Франция есть именно такая страна, которая, если-б в ней не осталось даже ни единого человека, верящего не только в папу, но даже в Бога, все-таки будет оставаться страной

по преимуществу католической, представительницей, так сказать, всего католического организма, знаменем его...» (ib.). Иными словами, развитие культуры Запада и культуры Франции преимущественно и есть развитие римского католичества.

Как недостаточное и грешное выражение христианства, католичество не может быть внутренно единым; оно несет в себе начальную раздвоенность, семя разложения, прежде всего — противоречие христианской и римской идеи. А и сама римская, древне-римская идея может дать только внешнее и временное единство, обреченная на разложение. С этой точки зрения, Великая Французская Революция была ничем иным, как «последним видоизменением и перевоплощением той же древне-римской формулы всемирного единения» или видоизменением папской формулы, в которой вслед за отвержением христианства отвергнуто уже и папство. Великая Революция — самоотрицание католичества, переродившегося в чистый общественно-политический идеал, безрелигиозный (Дневн., 1877, май—июнь, III, 1). Это идея «успокоения и устройства человеческого общества уже без Христа и вне Христа», давно подмененного папизмом. И Франция «устами самых от'явленных атеистов своих» провозгласила «Libérté, Égalité, Fraternité — ou la mort», т.-е. точь-в-точь как бы провозгласил это сам папа:.. — «его слогом, его духом, настоящим духом и слогом папы средних веков» (ib., янв., I, 1). Атеизм — как ясно уже из «Легенды о Великом Инквизиторе» — противоречит католицизму только видимо. «Франция», повторяет Шатов мысли Ставрогина, «в продолжение всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога и если сбросила, наконец, в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм..., то единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского католичества». Если она «мучается..., то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала».

Революция умножила армию собственников и предала Францию в руки буржуазии. А буржуазия, первый и естественный враг демоса, «извратила естественный ход стремлений демократических и обратила их в жажду мести и ненависти». Так был сделан дальнейший шаг к раз'единению или обособлению — «в сущности, единение исчезло окончательно. Олигархи имеют в виду лишь пользу богатых, демократия лишь пользу бедных, а об общественной пользе, пользе всех и о будущем всей Франции... никто не заботится, кроме мечтателей-социалистов и мечтателей-позитивистов, выставляющих вперед науку...». Но наука бессильна, во всяком случае — бессильна в данный момент, а «мечтатели», хотя и управляют, сами управляемы «спекулянтами». Демос, которого олигархи держали в темноте и невежестве, думает только о «грабеже

собственников», наивно предполагая, что этим путем разбогатеет, и «что в том-то и состоит вся социальная идея, о которой... толкуют... вожаки». (Дн., 1876, март, I, 4).

Таков реальный процесс. Он выражает собою внутреннее развитие идеи католицизма. — «Новая формула» Великой Революции «оказалась недостаточною». Но вековечное стремление человечества к исканию «новых формул идеала и нового слова, необходимых для развития человеческого организма», увлекло мечтателей далее. Они «бросились ко всем униженным и обойденным, ко всем не получившим доли в новой формуле всечеловеческого единения, провозглашенной» 1789-м годом. «Они провозгласили... всеединение людей на основаниях всеобщего уже равенства, при участии всех и каждого в пользовании благами мира сего, какие бы они там ни оказались» (Дн., 1877, май—июнь, III, 1). Это и есть социалистическая идея, «совершенно естественный фазис... прежней мировой католической идеи и развитие ее» (ib., янв., II, 1). Правда, французский социализм кажется протестом против католицизма всех «задушенных» им «людей и наций». Но, во-первых, это не мешает ему быть «завершением» католической идеи, а, во-вторых, идея «насильственного единения человека», идущая от древнего мира и сохраненная в католичестве даже в смысле «идеи освобождения духа человеческого от католичества», «облеклась тут именно в самые тесные формы католические, заимствованные в самом сердце духа его, в букве его, в материализме его, в деспотизме его, в нравственности его» (ib.). Французский социализм весь построен «по католическому шаблону, с католической организацией и закваской» (ib., май—июнь, II, 2).

Социализм — продукт разложения католицизма или сама католическая идея, доведенная до последних своих логических пределов. Он такое же атеистическое перерождение католичества, как и вера Великого Инквизитора, более этого — он и есть сама эта вера, а Великий Инквизитор на самом деле социалист. Отсюда ясно, что дальнейшее развитие социалистической идеи должно ее привести к самоуничтожению и к тому возврату в церковь и к религии, о котором пророчествует герой «Легенды». Весь вопрос в том, способно ли само католичество дать изголодавшемуся человечеству хлебы, превратить в них камни своего учения. А в связи с этим стоит другой вопрос: какова политика папства и его идеалы во вторую половину семидесятых годов, когда Достоевский писал свой «Дневник».

Социальная революция, по мнению и предчувствиям Достоевского, неизбежна: она вытекает из логически-необходимого развития западно-романской культуры, т.-е. из развития католической идеи. Надвигается что-то грозное, «социальный, нравственный и коренной переворот во всей западно-евро-

пейской жизни». Страшная революция «грозит потрясти все царства буржуазии во всем мире, ...грозит сковырнуть их прочь и стать на их место». Поэтому все, кому дорог существующий порядок, должны блюсти католичество, как «общее знамя соединения всего старого порядка вещей». (Дн., 1877 май—июнь, II, 2). Стремящееся к власти над миром папство должно учитывать этот момент. И «армия папы» — иезуиты — уже направила свои ряды на Францию. «Им несомненно необходимо обработать Францию в новом и уже окончательном виде..., дать стране новый организм... на веки вечные». В этом для Достоевского вся подкладка авантюры Мак-Магона (ib., III, 4). В этом же для него последнее основание политики Бисмарка, который, стремясь уничтожить Францию, борется за протестантизм против католичества: «важнейшая опасность для об'единенной Германии кроется именно в римском католичестве», что Достоевский старается показать и путем позитивно-дипломатического анализа. Во всем мире у папства только один защитник — Франция, на ее меч папство только и может расчитывать. «если только этот меч она успеет опять твердо захватить в свою руку» (ib., сентябрь, I, 3). «Пока жива Франция, у католицизма есть сильный меч, и есть надежды на европейскую коалицию» (ib., ноябрь, III, 2); и сам он может еще об'единить Францию «хотя бы внешне-политически».

У папства свои цели. И если, в чем нельзя сомневаться, католический вопрос есть вопрос мировой, он и должен решаться в мировом масштабе. Защищая и осуществляя себя, католичество должно вступить в борьбу с православной идеей. И действительно, воинствующие клерикалы ненавидят Россию. «Не то, что какой-нибудь прелат, а сам папа, громко, в собраниях ватиканских, с радостью говорил о «победах турок» и предрекал России «страшную будущность». Этот умирающий старик, да еще «глава христианства», не постыдился высказать всенародно, что каждый раз с веселием выслушивает о поражении русских» (Дн., 1877, сентябрь, I, 3). Дорога католичества намечена. — Как только загорелся восточный вопрос, иезуиты бросились во Францию, чтобы произвести там государственный переворот и вызвать войну с Германией, исконным врагом католицизма. «Франция была выбрана и предназначена для страшного боя, и бой будет. Бой неминуем», хотя и «есть еще малый шанс, что будет отложен». Но, начавшись, этот бой сразу же станет всеевропейским и выдвинет восточный вопрос. Достоевский надеялся на победу православного Востока (ib., сентябрь, I, 5).

Теперь, когда мы успели основательно забыть историю семидесятых годов, и Бисмарка, и Мак-Магона, и генерала Черняева, соображения Достоевского могут показаться плодом своеобразной мании преследования, тем более, что он не-

однократно и настойчиво пишет о «католическом заговоре». Мы, конечно, не помним, что тогда и в английских и в немецких газетах писалось о «воинствующем католицизме», о Франции и католичестве, как главных врагах Германии. Впрочем, дело не в этом. В европейской политике XIX в. церковь не выступала, как явственный, очевидно-влиятельный, осознанный собою и противниками фактор борьбы. Религиозная проблема решалась в категориях борьбы светской, понималась, как проблема только политическая и культурная. Но это не препятствовало ей оставаться религиозною и в смысле неосознанной подпочвы движения, и в том смысле, который позволяет считать французскую революцию и французский социализм фазисами развития католицизма. Ведь римская церковь омирщилась; и естественно, что религиозная борьба стала борьбою мирскою. Можно, как Достоевский, считать религиозное основною скрытою пружиною всего, а светское — только внешностью. В этом случае неизбежно придется предполагать или раскрывать «католические заговоры» и «масонские» организации. Можно, с другой стороны, считать основою всего политические, даже социально-экономические явления и рассматривать все религиозные или церковные факты, позволяющие предполагать заговоры, весьма характерною для эпохи идеологическою надстройкою и необходимыми эпифеноменами процесса. Ни то, ни другое не правильно с точки зрения истинной идеи Достоевского. — Вся политико-социально-религиозная жизнь представляет единство, религиозные или же социально-политические явления — не более, как односторонние ее обнаружения. И, в конце концов, не столь уже важно для существа дела, хотя и весьма показательно, в каком ряду явлений ярче и полнее обнаруживает себя исторический процесс.

Предположения Достоевского в конкретности своей не оправдались; он бы сказал: «католический заговор» не удался. Но это не изменяет его прогноза. Он полагал, что последняя попытка католичества захватить власть все равно закончится для него неудачею, а потому поставит его перед новою проблемою. Ведь католическая идея не умерла. — «Католичество умирать не хочет, социальная же революция и новый социальный период в Европе тоже несомненен: две силы несомненно должны согласиться, два течения слиться» (Дн., 1877, ноябрь, III, 3). Как же иначе, раз оба течения, обе силы — два аспекта одного и того же католичества? Расчеты на Францию оправдаться не могут: она рано или поздно будет раздавлена. Тем самым католичество потеряет меч и не сможет уже опереться на земных государей или государства. Ему придется искать иную опору, и оно найдет ее в народных массах.

Если Достоевский убежден в неизбежности социального переворота и торжества «четвертого сословия» в Европе, то

столь же он убежден и в саморазложении социалистической идеи и нового социального строя. Попытки построить новое общество, по его мнению, приведут к борьбе всех против всех, к отчаянию и разочарованию. Глупое людское стадо долго будет метаться из стороны в сторону, но, в конце концов, поймет, что без веры, без Бога жизни не устроишь. И тогда-то пробьет час торжества для папской идеи, уже знакомой нам из слов Великого Инквизитора.

«Если папство... будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно бросится в об'ятия социализма и соединится с ним воедино». «Папа выйдет ко всем нищим пеш и бос и скажет, что все, чему они учат и чего хотят, давно уже есть в Евангелии, что до сих пор лишь время не наступало им про это узнать, а теперь наступило, и что он, папа, отдает им Христа и верит в муравейник». Тогда придет время папству еще раз указать на себя, как на единственную всемирную власть. (Дн., 1877, май—июнь, III, 3). Католицизм «обратится к народу, ибо некуда ему идти больше, обратится именно к предводителям наиболее подвижного и подымчатого элемента в народе, социалистам». Социализм вдруг предстанет, как подлинно-католическое учение, а католичество, окончательно продав Христа, даст социализму организацию, единство и абсолютное, повидимому, оправдание. (Дн., 1877, ноябрь, III, 3). У папы, скажут новые проповедники, ключи царства небесного, и «вера в Бога есть лишь вера в папу», непогрешимого заместителя Бога на земле, владыки времен и сроков. Сначала выше всего ставилось смирение, но теперь папа его отменил, и «если старшие братья ваши не хотят вас принять к себе, как братьев, то возьмите палки и сами войдите в их дом и заставьте их быть вашими братьями силой». Теперь сам Христос говорит: «Fraternité ou la mort» (Будь мне братом или голову долой!)». И о грехах нечего беспокоиться: все грехи происходили от бедности. «Только веруйте, да и не в Бога, а только в Папу и в то, что лишь он один есть царь земной, а прочие должны исчезнуть, ибо и им срок пришел. Радуйтесь же теперь и веселитесь, ибо теперь наступил рай земной, все вы станете богаты, а через богатство и праведны, потому что все ваши желания будут исполнены, и у вас будет отнята всякая причина ко злу». (Дн., 187 , март, I, 5).

Так представляется Достоевскому последний фазис в развитии католичества и его идеи, который является окончательной дехристианизацией католичества и действительным концом всей католической культуры, открывающим дорогу полному торжеству на земле истинного христианства или православия. В торжестве православия на земле он убежден: «Сие и буди, буди!».

Трудно, разумеется, оценивать гадания и пророчества, и всякая попытка начертить путь конкретного будущего справедливо вызывает сомнения и недоверие. Прежде чем подойти к правде этого недоверия, я должен указать на то, что к тем же гаданиям и пророчествам Достоевского возможен и иной подход. Именно, их можно и должно рассматривать, как своеобразное проектирование в будущее наблюдений над настоящим и оценок его. И с этой точки зрения они оказываются чрезвычайно плодотворными и меткими.

Мы привыкли рационалистически раз'единять и противопоставлять друг другу различные сферы жизни. Мы говорим о политике, как о чем-то совершенно отдельном и отличном от религии, даже от социальной и экономической жизни. И раз'единяя ряды явлений, мы затрудняем себя в большинстве случаев искусственными вопросами о влиянии одного ряда на другой.

Так мы признаем аксиомою, что религия есть внутреннее, индивидуальное дело, и считаем единственно правильною постановкою вопроса ту, которая покоится на противоположении церкви и государства, как некоторых самостоятельных и особых величин. Разумеется, всякий скажет, что церковь и государство переплетаются, что разделение их во многом искусственно. Но все же основанием является не связанность их нерасторжимая, а расторженность. Для нас единство является производною множества. И я знаю лишь один вид «монизма» — монизм исторического материализма. Однако этот монизм тоже исходит из множества, предполагая, что основание жизни находится только в одной категории ее проявлений.

Утверждением всеединства, пониманием религии в смысле всеединства, раскрывающегося не только как религиозное, но и как политическое, и как социальное, Достоевский противопоставляет механистически-атомистической концепции общества органическую. Для него единство первее множества, образуя и ставя его. Раз'единенность — факт вторичный, а сознание отличности, скажем, общественно-политической жизни от религиозной об'ясняется недостаточным проникновением в сущность вопроса. Ведь только на первый взгляд социалист и атеист кажется человеком нерелигиозным, а французская революция отрицанием религиозного идеала. При ближайшем рассмотрении единство жизни всплывает и обнаруживает себя. Поэтому установление отношений между церковью и государством является не только чем-то недолжным, но и нереальным, мнимым. А с другой стороны, неясность или невысказанность религиозного момента в политике либо общественности или общественно-политического в религиозности нисколько не соответствует подлинной действительности. Может быть, никто не видит протестантско-религиозного

момента в дипломатии князя Бисмарка, может быть, и сам он его не видит и не подозревает в мотивах своей деятельности. И тем не менее он может существовать и существует. Точно так же возможно, что Великий Инквизитор только образ фантазии, и подобного ему никогда не было и не будет; и все-таки он типичен и в некотором смысле существует. Сам Достоевский не формулировал свою идею с полною ясностью, он иногда поддавался господствующему уклону мысли и говорил о каком-то реально существующем «католическом заговоре». Но нам-то существенна его подлинная идея, а не недостаточность ее определения.

Мы не склонны считать религию и церковь могучими двигателями жизни: достойно ли это просвещенного человека, признавшего религию личным делом каждого? Что же касается психологии темных масс и «бессознательной» жизни, так это — не должное, а потому и... не существующее. Естественно, что мы недооцениваем политическую деятельность католичества и связь ее с католической идеей. Но если только мы отрешимся от высокомерной своей предвзятости, мы сейчас же увидим, что католичество было политически действенным и политиканствующим не только в Средние Века или в XVI—XVII веках, а и в XVIII и в XIX, что оно политично и сейчас. Приводимые Достоевским факты могут быть умножены. Не будет недостатка и в принципиальных высказываниях. В 1881 г. папа Лев XIII в энциклике «Diuturnum illud» высказал чрезвычайно интересные и показательные соображения. — Естественным и необходимым началом власти, говорит он, является Бог: таково учение католичества. Однако это учение ничего еще не говорит о формах власти и ее организации, «de rerum publicarum modis». Для церкви (значит, церковь — высшая решающая инстанция!) безразлично (nihil enim est, cur non ecclesiae probetur...), будет ли власть в руках одного или в руках многих, только бы направлена она была на общую пользу. Поэтому «не запрещаются» (non prohibentur) и республики. В прежнее время «первосвятители римские, установив священную империю, освятили политическую власть как единоличную». Теперь, очевидно, они в лице Льва XIII освящают ее и как республиканскую. Беда не в демократии, а в новых политических учениях, отрицающих божественное происхождение власти и возводящих начало ее к «решению толпы» (arbitrium multitudinis). Это учение дало начало «лживой философии, так называемому новому праву». Из него же проистекли «finimae pestes», т.-е. коммунизм, социализм и нигилизм. Впрочем, если обратить внимание на политику Льва XIII и такие явления, как «христианский социализм», можно усмотреть в католичестве тенденции не только к признанию демократического принципа вообще, но и к признанию принципа социалистического,—конечно, с отрицанием

крайних выводов, атеизма, материализма и классовой борьбы.

В общем и целом существо католической идеи, заключенные в ней потенции и стремления схвачены Достоевским верно, хотя, по условиям полемики, и недостаточно освещена положительная сторона католичества, правда, не столь уже важная, поскольку проблема поставлена «эсхатологически», и внимание направлено на последние судьбы человечества и царство Христово на земле. Но тут мы и подходим к вопросу о правде недоверия ко всяким эсхатологическим построениям и гаданиям. Признавая всю ценность эсхатологизма, как метода изложения и концентрации идеи, мы должны выяснить свое отношение к нему и по существу.

В брошюре «Наши новые христиане»[1]) Константин Леонтьев резко высказался против мечты Достоевского о всеобщем примирении людей в лоне православия. Это, утверждает Леонтьев, «не есть православное пророчество, а какое-то о б щ е г у м а н и т а р н о е». Мечта Достоевского носит «слишком р о з о в ы й оттенок»; она слащава и бессодержательна и сводится к той «окончательной гармонии или благоустройству человечества» (примеч. 1885 г., стр. 213), которые остроумно высмеяны самим же Достоевским в «Записках из Подполья». Пользуясь терминологией Достоевского, можно сказать, что Леонтьев обвиняет его в сочувствии «католическому» идеалу. С другой стороны, по мнению Леонтьева, христианство не верит в возможность земного рая, и Церковь «ничего особенно благотворного» в будущем от человечества не ждет. «Любовь, прощение обид, правда, великодушие были и останутся навсегда только коррективами жизни, паллиативными средствами, елеем на неизбежные и даже п о л е з н ы е нам язвы. Никогда любовь и правда не будут воздухом, которым бы люди дышали, почти не замечая его». Так будет и так должно быть по учению Церкви. Царство Божие не от мира сего, о «т о й ж е н о в о й з е м л е и о т о м н о в о м н е б е, которые обещаны нам Спасителем и учениками его, по у н и ч т о ж е н и и э т о й з е м л и с о в с е м и человеческими д е л а м и е е», мы ничего не знаем.

Несомненно, прав Вл. Соловьев, а не Леонтьев, и Достоевский разумел под «всемирной гармонией и благоденствием» нечто принципиально отличное от идеала социалистических утопий и католицизма. Но все же Достоевский мечтал о такой гармонии, как о завершающем моменте в развитии челове-

---

[1]) 1882 г.; перепечатана с дополнениями в «Собрании сочинений», т. 8, стр. 151—215; вторая статья—«О всемирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на пушкинском празднике», стр. 173 сл. Ср. В л. С о л о в ь е в «Приложение» к «Трем речам в память Достоевского»—«Заметка в защиту Достоевского от обвинения в «новом христианстве». Собрание сочинений. 2-е изд., т. III, стр. 219—223.

чества «здесь, на земле», и указания Соловьева на изменчивость самой земли, на зависимость ее состояния от нравственного состояния людей, дела не меняют. Вопрос в том, является ли истинное единение людей концом или целью всего их развития или же чем-то лежащим в совсем иной категории, чем-то в буквальном смысле слова потусторонним. Достоевский склонялся к первому ответу. В этом его «хилиазм», в этом его уклон к католичеству, во имя земного искажающий абсолютное и обусловливающий существенные ошибки построения.

Всеединение людей и мира должно заключать в себе всех людей: и еще не рожденных, и живых, и умерших. Поэтому оно не может быть временным моментом развития. Напротив, включая все ценное в самом времени, все его мгновения, оно по необходимости должно быть всевременным. Для него совершенно не существенно, наступит ли когда-нибудь или не наступит относительное земное благоденствие; а всякое земное благоденствие неизбежно относительно уже потому, что на земле включить умерших не может. Идея прогресса неприемлема и ложна по самому существу своему, с необходимостью приводя или к «душевной драме Герцена», или к проклятым вопросам Ивана Карамазова, или к необдуманно-наивному фантазированию Федорова. Истинное всеединство в условиях земного бытия не должно быть и не может быть.

Продолжим несколько эту мысль. — Предполагая истинное бытие как всеединое, мы тем самым включаем в его всевременность и надмирность все моменты времени и мира, по крайней мере постольку, поскольку они бытийны, а потому и ценны. И следовательно, смысл и цель земного бытия вообще не могут быть выражены в каком-нибудь его моменте, а только—во всеединстве всех его моментов. Но точно так же и смысл или цель индивидуального существования и существования народа либо общества должны быть понимаемы только с точки зрения всеединства. И если действительно у русского или французского народа есть своя особая миссия, эта миссия осуществляется в целом народного развития, а не в какой-нибудь момент времени. Ее осуществленность не в конце народной жизни и не в начале ее, и не в какой-нибудь точке на линии, конец с началом связующей. Допуская, что миссия России правильно определена Достоевским, нет необходимости допускать, что она в какой-то момент целиком и конкретно выразится. Во-первых, все равно целостное выражение ее в условиях действительности земной невозможно. Во-вторых, мыслимо, что целостность эта созидается всеединством эмпирически, временно и пространственно, раздробленных моментов, среди которых найдется место и опознанию ее Достоевским. Равным образом, и католичество не нуждается для полноты своего олицетворения в той картине, которую

дал нам Достоевский. Картина эта должна быть понята только как проекция всевременного единства на плоскости временной жизни,—проекция, может быть, психологически и неизбежная, но условная. Она может покоиться на прозрении, только не в будущее, а во всевременность, и для правильной оценки ее необходимо отказаться от понимания ее как пророческой.

Некоторые намеки на развиваемые мною соображения у Достоевского есть: они рассеяны в словах старца Зосимы и в передаче их Алешею. Но ясно Достоевский себе этого не представлял. Он подошел к проблеме с навыками и запросами человеческого разума, для которого всеединство и всевременность весьма мало постижимы. Поэтому его эсхатологизм и принял форму современного хилиазма, граничащего с осмеянной им же утопией земного безрелигиозного рая. Но рационалистический, т.-е. по преимуществу человеческий и сознательно-нерелигиозный подход характерен как раз для католичества, достаточно показавшего его в своей догматике и деятельности. Он уместнее и естественнее в католицизме. Однако, скажут мне, именно в католицизме он по данному вопросу и не выражен с такою полнотой и яркостью. Это справедливо, и для этого есть свои причины.

Католицизм, рабствуя эмпирии и служа «князю века сего», строит земное царство, тогда как православие, по крайней мере, доныне, менее всего занято подобною задачею. Но, всецело погружаясь в мир и омирщаясь, католицизм, пока жива в нем идея Божества и потустороннего мира, рассматривает земную эмпирическую жизнь как средство достижения жизни небесной, правда, представляющейся ему в очертаниях и красках земной. Для него земной труд самоценностью и абсолютным значением не обладает. Его теория резко противоречит практике, и для католика вполне мыслима самая бессмысленная деятельность, лишь бы она предписывалась религиозным законом. Это внутреннее противоречие католицизма находит себе внешнее выражение в противоречии принципиального обесценения земной жизни религиозным католичеством и принципиального утверждения ее католичеством безрелигиозным, т.-е. западным социализмом. Но безрелигиозное католичество уже перестает быть христианством и, как религия, гибнет. Иными словами, католичество может строить хилиастическую концепцию только в меру утраты им христианского момента.

Православие, практически как будто равнодушное к эмпирии, тем не менее глубоко ощущает ее божественную ткань. Оно приемлет жизнь так, как принимал ее и сам Достоевский. Оно ищет бытие и правду в последних низинах зла. Оно старается все понять и все оправдать, т.-е. во всем усмотреть божественную основу. Для православия поэтому абсолютным значением обладает всякая индивидуальность, бесконечно це-

нен всякий творческий, не «рабский», а «сыновний», труд. И оно не может допустить, чтобы люди жили, трудились и страдали только для нравственного упражнения, только для того, чтобы спасти себя. Понятно, что в своей концепции будущего православие не может обойтись без земной жизни и этим сближается с тем католичеством, которое католичество религиозное отрицает. Для православия соблазнительны хилиастические утопии, но оно понимает их религиозно. И сам Достоевский отметил эту своеобразную особенность русского социализма, коммунизма и нигилизма.

Очевидно, проблема удовлетворительным для православия образом не может быть разрешена в духе религиозно-католического теоретического отрицания преображенного мира с утверждением непреображенного мира на практике. Точно так же неприемлемо для православия и решение, предлагаемое безрелигиозным католичеством. Остается, повидимому, только путь синтеза обоих решений. Надо попытаться, взяв второе решение, понять его религиозно. Но этот путь заводит в тупик. Он оставляет без ответа Карамазовские вопросы, не оправдывает достаточным образом предшествующие эпохе благодействия моменты и труд всякого. Он ведет к нелепой мечте о магическом воскрешении мертвых, как «общем деле», или к отчаянию. Наконец, он является человеческим, рационалистическим, а потому и недостаточным решением.

Достоевский и остановился в этом тупике. Чтобы выйти из него, он должен был преодолеть остаток живого и в нем католицизма — религиозный рационализм, отказаться от своего религиозного хилиазма, который, как ни как, а очень напоминает изображаемый им последний фазис католичества, совершенно отбросить идею прогресса и прямо и полно поставить проблему всеединства. Тогда сами собой отпали бы гадания и вызывающие сомнения и недоверие пророчества. Тогда бы идея его предстала в более реальном и конкретном виде, а оценка католичества выиграла в полноте и ясности. И здесь Достоевский поставил проблемы. Но тем он и глубок неисчерпаемо, что требует не согласия с собою, а творческого развития его мыслей.

Л. Карсавин.

Н. ЛОССКИЙ.

О ПРИРОДЕ САТАНИНСКОЙ

(ПО ДОСТОЕВСКОМУ).

О природе сатанинской.

(По Достоевскому).

Художественное видение жизни направлено у Достоевского преимущественно на те моменты бытия, в которых скрещиваются в сгущенном виде самые насущные религиозные, этические и социальные интересы, особенно на те, где мировое зло обнажается до самых своих корней и проедает душу человека насквозь. Поэтому его образы дают богатый материал для исследования проблемы зла. Статья моя посвящена лишь небольшой части этой проблемы,—именно, содержит в себе лишь этически-религиозное рассмотрение вопроса о существе, дошедшем до предела зла, о природе сатанинской. Спешу оговориться при этом, что читатель, отвергающий существование сатаны, может разуметь под сатанинскою природою просто характер всякого существа, дошедшего до крайней ступени зла.

Взгляды, изложенные мною, не представляют собою у ч е н и я Достоевского. В отвлеченной форме он нигде не высказывал их от себя; поэтому я и не решаюсь утверждать, что Достоевский признал бы их выражением своих мыслей. Связаны они с Достоевским тем, что для развития их отправным пунктом служит в статье жизнь в тех ее проявлениях, которые раскрыты Достоевским, особенно в «Братьях Карамазовых».

Обсуждение вопроса о крайней ступени злой воли возможно лишь с точки зрения целой системы этики и даже всестороннего учения о всех ценностях. Здесь, в краткой статье, такая система не может быть развита и обоснована; поэтому приходится опереться на готовую и широко известную систему этических и религиозных учений. Исходным пунктом для меня послужит христианское миропонимание, тем более, что и Достоевский стоял на его основе.

Христианин убежден, что абсолютная ценность есть Бог и Царство Божие, т.-е. первозданный мир, поскольку он продолжает дело Божие, пребывая в совершенном единении со своим Творцом; а в том царстве мира, которое состоит из существ, временно заблудшихся или даже бесповоротно отпав-

щих от Бога, положительною ценностью обладает все то, что ведет вновь к Царству Божию.

Существо, дошедшее до предела зла, ненавидит Бога и Царство Божие, а также все, что ведет к Нему. Оно борется против Бога и всех, кто вступает на путь Божий. Это положение принимают, пожалуй, все христиане, но вслед за ним, для проникновения в тайники природы Сатаны, нужно решить еще вопрос, есть ли для него борьба против Бога первичная цель, цель сама по себе, или же она только средство для достижения еще более дорогой ему цели. В первом случае перед нами было бы существо, бескорыстно сеющее зло вокруг себя, наслаждающееся гибелью и страданиями всего живого просто потому, что чужое страдание есть страдание. Во втором случае это—существо, корыстно злое, т.-е. причиняющее зло ради приобретения себе какого-либо блага. Само собою разумеется, бескорыстно злой более ужасен, чем корыстно злой. Если существо, враждебное Богу ради какой либо своей (мнимой) выгоды, есть Сатана, то тот, кто ненавидит Бога просто и непосредственно, без всякого отношения к своему я, есть Сверхсатана. Для более ясного понимания различия между этими двумя видами существ, остается еще только определить, какое именно благо, несовместимое с бытием Бога и любовью к Нему, может Сатана предпочесть Богу? Ответ вытекает из самого вопроса: быть самому Богом, быть выше Бога—вот притязание гордыни сатанинской; отсюда вытекает, как следствие, как производное явление, ненависть к Богу и творению Его.

Краткого размышления достаточно, чтобы убедиться, что существо, названное нами Сверхсатаною, невозможно. Непосредственная ненависть к Богу и сотворенному Им-бытию, как таковому, была бы также непосредственною ненавистью и к своему собственному бытию; но непосредственное отрицание самого себя—невозможно; ненависть к себе возникает всегда лишь как производное явление, напр., как следствие недовольства тем, что я труслив, или неостроумен, или некрасив, вообще не обладаю каким-либо воображаемым или действительным достоинством.

Невозможность непосредственной ненависти к Богу и ко всякому бытию, как таковому, есть одно из следствий неосуществимости вообще абсолютного зла, тогда как абсолютное добро, именно, Бог и Царство Божие, существует. Абсолютное зло, т.-е. уничтожение бытия просто ради уничтожения его, будучи высшею целью Сверхсатаны, не вносило бы никакого раздвоения в его поведение: такое существо, прибегая ко лжи и лицемерию, надевая на себя личину добродетели или даже используя в целях обмана смесь подлинного добра со злом, было бы вполне последовательным, раз только средства ведут к его верховной цели—уничтожению бытия.

Известно, как современные этические системы, выросшие на основе «Критики практического разума» Канта, дорожат последовательностью поведения (Липпс, Коген, Мюнстерберг и др.), считая ее существенным признаком нравственности. Сверхсатана, будучи последовательным, был бы удовлетворен своею деятельностью, поскольку достижение его верховной цели зависит от него; единственным источником страданий этого существа было бы сознание того, что оно способно достигать только умаления бытия, но никогда не будет в силах довести до полной гибели других и самого себя, так, чтобы водворилось совершенное Ничто.

Если бы такое существо было возможно, то в мире встречались бы случаи истязания, производимого *просто ради истязания*, не из мести, не из ненависти, не вследствие собственной измученности, вызвавшей слепое озлобление против всех, не для упоения своею силою, не для победного торжества над чужим бытием и даже не от скуки, а просто потому, что чужое страдание давало бы удовлетворение истязателю *само по себе*, без всякого отношения к нуждам его я, т.-е. *совершенно бескорыстно*. *Удовлетворение* от чужого мучения здесь не было бы корыстью, так как, согласно предположению, *верховная цель* заключалась бы в причинении другому существу страданий, а удовлетворение истязателя было бы только выражением того, что цель его достигнута; точно так же, напр., бескорыстное жертвование собою ради блага отечества, правда, дает удовлетворение герою, но *не ради этого чувства* своей удовлетворенности совершает он свой подвиг, и потому эта приятная внутренняя *отметка* того, что верховная цель (спасение отечества) достигнута, не придает поступку никакого оттенка корысти. Вследствие органической сращенности всякого индивидуума с мировым целым [1]), такое бескорыстное, самозабвенное принятие к сердцу блага других индивидуальностей, а также высшего, чем моя индивидуальность, бытия вполне возможно, но невозможно, чтобы существовала такая же самозабвенная, бескорыстная работа, направленная на осуществление чужих страданий. Правда, Достоевский дает много, слишком даже много картин беспричинного, повидимому, мучительства; общий осадок от его мира остается такой, как будто он допускал сверхсатанинскую злобу; однако, в столь утонченном вопросе нельзя полагаться на общее впечатление, необходимо подвергнуть анализу хоть некоторые, наиболее яркие из его образов. Особенно сконцентрированы они в главе «Бунт» Ивана Карамазова. Здесь турки, бросающие вверх грудных младенцев и подхватывающие их на штыки на глазах матерей,

---

[1]) См., напр., мировоззрение, выраженное в моей книге «Мир, как органическое целое».

турки, ласкающие младенца, чтобы его рассмешить, и в тот момент, когда он радостно хохочет и тянется ручонками к пистолету, спускающие курок; здесь и русский мужик, описанный Некрасовым, мужик, секущий слабосильную лошаденку по плачущим, но «кротким глазам»; здесь генерал, затравивший в глазах матери дворового мальчика за то, что он, играя камнем, нечаянно зашиб ногу любимой генеральской гончей. Однако, это не те люди, в душу которых, вплоть до самых сокровенных тайников, вводит нас Достоевский; глубочайшие мотивы их поступков остаются нам неизвестными: быть может, национальная вражда между турками и славянами, заморенность мужика, безумное самомнение генерала, удалившее его на безмерное расстояние от «подлого раба» (так, что травля ребенка есть для него не более, как интересное зрелище)— источники этих гнусностей.

Более знакомы нам основные причины самого возмутительного явления—истязания детей своими родителями. Иван Карамазов рассказывает, как «интеллигентный образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца семи лет, розгами»... «Папенька рад, что прутья с сучками, «садче будет», говорит он, и вот начинает «сажать» родную дочь. Я знаю наверно, есть такие секущие, которые разгорячаются с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия, с каждым последующим ударом все больше и больше, все прогрессивнее. Секут минуту, секут, наконец, пять минут, секут десять минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок наконец не может кричать, задыхается: «Папа, папа, папочка, папочка!» [1]).

Далее он говорит о пятилетней девочке, которую родители «били, секли, пинали ногами, не зная сами за что, обратили все тело ее в синяки; наконец, дошли и до высшей утонченности: в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, и за то, что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься)—за это обмазывали ей все лицо ее же калом и заставляли ее есть этот кал, и это мать, мать заставляла!» (XIII, 256). Первый из этих рассказов, повидимому, есть намек на «дело Кронеберга» и защиту его в суде Спасовичем, о чем подробно рассказано в «Дневнике писателя» за 1876 г. [2]). На суде оказалось, что отец, приезжая вечером домой со службы, наказывал свою девочку за проступки, совершенные ею днем, за ложь, за развившийся, по его мнению, у ребенка «затаенный порок», а в день особенно тяжелого истязания—за то, что ребенок рылся в сундуке мачехи, сломал ее вязальный крючек, взял («украл», как говорили родители)

---

[1]) Собр. соч. Достоевского, изд. 6, 1904 г. т. XIII, стр. 255.
[2]) Февраль, гл. II, стр. 57—84, т. XI (изд. 6, 1905 г.).

из ее сундука чернослив. Без сомнения, здесь нет истязания ради истязания. Первоисточники этой жестокости в борьбе родителей с недостатками детей очень сложны и разнообразны, здесь есть и задетая семейная гордость, честь и честолюбие, и возмущение падением идеала детской невинности, и ненависть человека к собственным порокам, как в зеркале, отраженным в детях, и властолюбие самодура, не допускающего, в особенности, чтобы близкие и подчиненные ему люди преступали его запреты, и т. п. мотивы. Наказание или борьба уже в процессе своего осуществления может превратиться в истязание. «Тут именно незащищенность-то этих созданий», говорит Достоевский, «и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и не к кому итти,—вот это то и распаляет гадкую кровь истязателя. Во всяком человеке, конечно, таится зверь,—зверь гневливости, зверь сладострастной распаляемости от криков истязуемой жертвы, зверь без удержу спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок, и проч. (XIII, 256).

Думается, что этот ужас возникает так: наказание, как и всякое нападение, пробуждает сильные эмоции, чрезвычайно понижающие сознательность человека: в таком состоянии легко могут проснуться самые архаические, атавистические инстинкты, и тогда ребенок, хватающийся ручкою за палец своего мучителя, ища спасения у него же и от него же, кажется мучителю злобно сопротивляющимся и еще более распаляет его ярость; тут каждый дальнейший шаг ведет еще ниже в глубину дочеловеческой жизни с ее страшною напряженностью борьбы и звериными проявлениями упоения победою, окончательного преодоления и т. п чувствами и поступками [1]).

Гораздо более сложны и утонченны проявления зла в душе причудливого создания фантазии Достоевского, у Лизы Хохлаковой (в главе «Бесенок» в «Братьях Карамазовых», XIV, стр. 265—270). Она преподносит любимому ею Алеше целый букет душевных извращенностей самого гадкого свойства. «Вы в мужья не годитесь», говорит она, «я за вас выйду, и вдруг дам вам записку, чтобы снести тому, которого полюблю после вас, вы возьмете и непременно отнесете, да еще ответ принесете». Она заявляет ему, что не стыдится его и не уважает, потом продолжает:

> «Я все хочу зажечь дом. Я воображаю: как я пойду и зажгу потихоньку, непременно, чтобы потихоньку. Они-то тушат, а он то горит. А я знаю, да молчу. Ах, глупости! И как скучно!

[1]) См. об эмоции, как рудиментарном поступке, как о рудименте животных, до-человеческих инстинктов, мою книгу «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма», гл. «Эмоции».

Она с отвращением махнула ручкой.

— Богато живете,—тихо проговорил Алеша»...

«Пусть я богата, а все бедные, я буду конфекты есть и сливки пить, а тем никому не дам»...

«Вы злое принимаете за доброе», говорит Алеша, «это минутный кризис, в этом ваша прежняя болезнь, может быть, виновата.

— А вы таки меня презираете! Я просто не хочу делать доброе, я хочу делать злое, и никакой тут болезни нет.

— Зачем делать злое?

— А чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось! Знаете, Алеша, я иногда думаю наделать ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно»...

«А может быть, вы думаете, что я вам все это нарочно, чтобы вас дразнить?

— Нет, не думаю... хотя, может быть, и есть немного этой потребности.

— Немного есть, никогда перед вами не солгу, проговорила она, со сверкнувшими каким-то огоньком глазами.

Самую отвратительную мерзость она преподносит ему под конец:

«Я читала про какой-то, где-то суд, что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обоих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, и потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, через четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо!

— Хорошо?

— Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите?

Трудно понять, как у человека язык поворачивается сказать такое; кажется, что перед нами существо, неисцелимо извращенное, дошедшее до предела падения, а между тем, стоит всмотреться внимательнее, и тотчас же обнаружится, что здесь нет сверхсатанинской злобы, и что в числе сложных источников этого извращения есть требование чистого добра, чистой любви без малейшей примеси личных мотивов, и презрение к себе за неспособность к такому добру. Кончает она беседу просьбою:

«Алеша, спасите меня!»

«Я убью себя, потому, что мне все гадко! Я не хочу жить, потому, что мне все гадко! Мне все гадко, все гадко! Алеша, зачем вы меня совсем, совсем не любите!», закончила она в исступлении.

— Нет, люблю!—горячо ответил Алеша.

— А будете обо мне плакать, будете?

— Буду.

— Не за то, что я вашею женою не захотела быть, а просто обо мне плакать, просто?

— Буду.

— Спасибо. Мне только ваших слез надо. А все остальные пусть казнят меня и раздавят ногой, все, все, не исключая никого! Потому, что я не люблю никого. Слышите, ни-ко-го! Напротив, ненавижу! Ступайте, Алеша, вам пора к брату!—оторвалась она от него вдруг.

— Как же вы останетесь?—почти в испуге проговорил Алеша.

— Ступайте к брату, острог запрут, ступайте, вот ваша шляпа! Поцелуйте Митю, ступайте, ступайте!

И она с силой почти выпихнула Алешу в двери».

Чистой любви она требует от Алеши, без сомнения, также и от себя. Ананасный компот впервые появился на сцену так:

«Знаете, я про жида этого как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и плачет (ведь четырехлетние мальчики понимают), а у меня все эта мысль про компот не отстает» (XIV, 269).

Только что человеческая душа прониклась чистою симпатиею к страдающему ребенку, и вдруг причудливая игра ассоциаций подсовывает из области подсознательного нелепый компот. Как не возмутиться духом против этой гнусности, тем более, что такое странное сочетание представлений вовсе не есть чисто теоретический и притом непроизвольный процесс смены образов: под ассоциациями, самыми хаотическими, даже возникающими в состоянии душевной болезни, кроются, как первоисточник их, подсознательные устремления воли. Трудно сказать, какой мотив таился в душе Лизы. Быть может, яркая, ужасающая картина распятия мальчика не только потрясла ее душу состраданием к ребенку, но и бессознательно пробудила страх за себя, как это часто бывает, когда человек видит или даже только представляет себе что-либо особенно ужасное; однако, тотчас же является и сознание того, что мне то бояться нечего, я в полной безопасности и довольстве, в такой же мере, как бывает тогда, когда «ем любимый ананасный компот». Эта примесь к страху за другого еще и страха за себя, да к тому же с таким нелепым самоуспокоением, подрывает веру в добро, вселяет в душу пре-

зрение к себе и ко всему миру: «все гадко», «ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось!» Такой быстрый переход от усмотрения зла в себе к отрицанию добра и в других, конечно, возникает уже на почве гораздо более глубокой порчи души, чем страх,—именно, на основе гордости, не допускающей возможности того, чтобы, если я оказался плохим, другие были хороши. Сердцеведец Зосима знает этот путь, прямо ведущий к вратам ада, и предостерегает от недоверия к себе и другим:

«Брезгливости убегайте тоже, и к другим и к себе: то, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили в себе, очищается...» «Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень» (XIII, 63).

Какую систематическую форму может принять это неверие в добро, мы знаем из разреза души Ивана Карамазова. Как и Лиза, не найдя чистого добра в себе, он стал не в меру зорким к злу в других и усомнился в существовании добра вообще. «Он сам, может, верит ананасному компоту» говорит Алеша. «Он тоже очень теперь болен, Lise».

— Да, верит!—засверкала глазами Лиза.

— Он никого не презирает,—продолжал Алеша.—Он только никому не верит. Коль не верит, то, конечно, и презирает» (XIV, 269).

Что отрицание добра не есть первичная основа воли Лизы, видно уже из того, как она казнит себя за «бесенка» в душе своей: «только что удалился Алеша, она тотчас же отвернула щеколду, приотворила капельку дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, изо всей силы придавила его. Секунд через десять, высвободив руку, она тихо, медленно прошла на свое кресло, села, вся выпрямившись, и стала пристально смотреть на свой почерневший пальчик и на выдавившуюся из под ногтя кровь. Губы ее дрожали и она быстро, быстро шептала про себя: «подлая, подлая, подлая, подлая» (270).

Утонченные формы истязания путем причинения не физических, а нравственных страданий, напр., отношение Екатерины Ивановны к Дмитрию Федоровичу Карамазову, отношение Грушеньки к людям, Настасьи Филипповны, Фомы Опискина и др. героев Достоевского, явным образом также возникают, как вторичное явление, обыкновенно, на почве какой-либо психической травмы (душевного поранения), развивающей жажду мести всем людям, всему обществу, недоверие ко всякому человеку.

Конечно, всякое поранение предполагает душу, несовершенную, испорченную какими-либо видами самолюбия или

себялюбия, которые весьма разнообразны. Так, бывают, напр., себялюбцы, вовсе не интересующиеся другими людьми, не гордые и не завистливые, а только сосредоточенные на своей деятельности, любящие свою активность, проявление своей энергии,—бывают среди них и такие, которые направляют эту энергию на высокие, сверхличные цели, однако так, что сверхличное служит для них лишь средством удовлетворить свою самость, наполнить свою душевную жизнь разнообразным интересным содержанием или насладиться своею ловкостью, искусством, талантом и т. п. (Эгоцентрические характеры, см. о них в главе «Характер» в моей книге «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма»); наоборот, другие себялюбцы сосредоточены на отношении их самости к другим я; у них нет равнодушия к чужой жизни, они проявляют чрезвычайно повышенный, однако отрицательный интерес к другим я, выражающийся в зависти или гордости, не терпящей чужого превосходства. Таким образом всякая форма самолюбия и себялюбия ведет к отчуждению от других людей, которое может дойти до таких пределов, что себялюбец, ничуть не будучи злобным или мстительным, способен причинять людям тяжкие страдания просто лишь от скуки (Клеопатра, втыкающая булавки в грудь невольниц) или из любопытства (Ставрогин, которому одинаково доступна красота «и зверского сладострастия и подвига», что возможно только при крайнем эгоцентризме).

Принимая во внимание множество и разнообразие путей возникновения зла на основе нарушения гармонии между человеком и миром, вследствие большей, чем должно, любви к своему я, приходится признать, что даже и Достоевский не дает образов, устанавливающих бесспорно существование ненависти к чужому благу, как первичного устремления воли, не дает права допускать такую природу, которую мы назвали сверхсатанинскою.

Н. К. Михайловский, в своей статье о Достоевском: «Жестокий талант», утверждает, что «есть люди, мучающие других людей не из корысти, не ради мести, не потому, что бы те люди им как нибудь поперек дороги стояли, а для удовлетворения своей мучительской наклонности» [1]).

По его мнению, многие герои Достоевского такие истязатели. Напр., «Человек из подполья» мучит своими разговорами проститутку, доводя ее до неутешных рыданий, и в изображении этого утонченного истязания «Достоевский отверг все внешние, посторонние мотивы: герой мучит, потому что ему хочется, нравится мучить. Ни причины, ни цели тут нет, да вовсе их, по мысли автора, и не надо, ибо есть жестокость,

[1]) Собр. соч., т. V, изд. 4, стр. 58 с.

безусловная жестокость an und für sich и она-то интересна» (там же, стр. 11). Сам Достоевский, по его мнению, такой же истязатель, отличающийся только от обыкновенных мучителей своим великим художественным талантом, который он использует для истязания читателя. Доказывает он свой тезис путем рассмотрения ранних произведений Достоевского, изобилующих художественными недостатками: «Двойник», «Чужая жена и муж под кроватью», «Вечный муж». Характерно, что и совершеннейшие произведения Достоевского Михайловский считает содержащими в себе множество орудий бесцельной пытки, но не доказывает своей мысли анализом их по недостатку времени и места. «Позднейшие произведения», говорит он, начиная с «Преступления и наказания», и особенно самые последние—«Бесы», «Братья Карамазовы»—переполнены ненужною жестокостью через край» (стр. 49).

Следуя трафарету нашей передовой печати все и вся об'яснять условиями социальной жизни, Михайловский усматривает причину развития «жестокого таланта» у Достоевского в том, что у него не было определенного общественного идеала, и особенно в том, что русская действительность до эпохи великих реформ, а также вскоре после нее, препятствовала выработке таких идеалов и активной общественной жизни. Из рассуждений Михайловского, однако, явствует, что он не поставил проблему мучительства, как п е р в и ч н о г о мотива воли, достаточно отчетливо и не доказал существования такого явления. Он говорит о мучительстве «без утилитарной подкладки», без материальной «выгоды» для мучителя. Но выгоду, в более утонченном смысле, напр., для утоления самолюбия, он вряд ли стал бы отрицать; по крайней мере о Фоме Опискине («Село Степанчиково и его обитатели»), на подробном обследовании которого он основывает свою статью, он говорит: «словами «ненужная жестокость» исчерпывается вся нравственная физиономия Фомы и, если прибавить безмерное самолюбие при полном ничтожестве, так вот и весь Фома Опискин» (стр. 25). Но самолюбие, к которому нужно прибавить еще унижения, испытанные им, как приживальщиком, от генерала, прежнего владельца села Степанчикова, а также обиды от неудач на литературном поприще—вот первичные страсти и чувства, из которых родилась его мстительность, выражающаяся в издевательстве над людьми.

Итак, ненависть всегда есть п р о и з в о д н о е явление, обусловленное погонею за каким-нибудь личным благом; однако, благо это может быть не физическим, а утонченным душевным. Даже отпадение Сатаны есть не первичное проявление его воли, а производное. По мнению отца церкви св. Григория Богослова, «первейший из небесных светов» утратил свет и славу «по гордости своей» и «захотев быть богом,

весь стал тьмою» [1]). Отсюда следует, что сатана знает о совершенстве Бога. И понятно: абсолютная ценность всяким, кто усмотрел ее (даже настолько, что позавидовал ей), не может быть не признана ценностью, но может быть отвергнута волею или, вернее, может стать предметом извращенного отношения к ней воли: сатана вместо того, чтобы полюбить Бога больше себя, любит только идею божественности и хочет присвоить себе это достоинство, или, буде это невозможно, унизить Бога, чтобы удовлетворить своей первичной страсти—гордости. Он примирился бы с Господом, если-бы Господь исполнил его требование, когда он, указывая на все царства вселенной, сказал: «все это дам тебе, если, падши, поклонишься мне» (Мф. IV, 9).

Такой дух, видящий больше, чем мы, не может иной раз не поддаться очарованию неотразимого превосходства Бога и существ, сливающихся в согласной любви к нему, но до конца, до преклонения перед Господом, оно не дойдет. «Я был при том», говорит чорт Иван Федоровича, «когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих «осанна», и громовый вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. И вот клянусь же всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми «осанна!». Уже слетало, уже рвалось из груди, я ведь, ты знаешь, очень чувствителен и художественно восприимчив. Но здравый смысл,— о, самое несчастное свойство моей природы—удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение!» (XIV, 337). Благими намерениями ад вымощен, да, именно благими: ведь дьявол, отвергая Бога и Царство Божие, уж конечно не говорит себе и, тем более, другим: «я поступаю так из гордости, зависти и самолюбия»; без сомнения, он оправдывает свое поведение какими-либо соразмерными своей дерзости, весьма высокими мотивами, напр., уверениями, что он любит людей, больше, чем Бог, и хотел бы дать им больше счастья, чем предоставил им Творец. «Мефистофель, говорит Карамазовский чорт, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. Ну, это как ему угодно, я-же совершенно напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренно желает добра» (XIV, 336 стр.).

Облик такого существа и все поведение его оказывается в высшей степени сложным, двойственным, сотканным, повидимому, из противоречий, как и рисует его Достоевский. Оно

---

[1]) См. об этом и о мнениях других отцов церкви—Макарий «Православно-догматическое богословие», изд. 5, стр. 404—411.

выступает с намерением не губить, а созидать, однако, непременно с в о е царство, по с в о е м у плану, помимо Бога и вопреки Богу. Сравнительно простейший путь для этого состоит в том, чтобы обольстить человека благами нисшего порядка, направить все помыслы его на устройство с помощью науки «муравейника» (любимое сравнение Достоевского), в котором все были бы обеспечены хлебом земным. В торопливом беге к этой цели человек, отвергший Бога, считает себя в праве начать с истребления всех, кто кажется неподходящим по складу своей души для муравьиной жизни, и, таким образом, вместо любви на деле выступает на первый план ненависть. «Они прямо об'являют, говорит Достоевский в «Дневнике писателя», что для себя ничего не хотят и работают лишь для человечества, хотят добиться нового строя вещей для счастья человечества. Но тут их ждет буржуа на довольно твердой почве и им прямо ставит на вид, что они хотят заставить его стать братом пролетарию и поделить с ним имение—палкою и кровью. Несмотря на то, что это довольно похоже на правду, коноводы отвечают им, что они вовсе не считают их, буржуазию, способными стать братьями народу, и потому-то и идут на них просто силой, из братства их исключают вовсе, братство де образуется потом, из пролетариев, а вы—сто миллионов обреченных к истреблению голов, и только. С вами покончено для счастья человечества» (XII, 63 стр.).

Чиновник Лебедев в «Идиоте» говорит: «Слишком шумно и промышленно становится в человечестве, мало спокойствия духовного, жалуется один удалившийся мыслитель. Пусть, но стук телег, подвозящих хлеб голодному человечеству, может быть, лучше спокойствия духовного, отвечает тому победительно другой, раз'езжающий повсеместно, мыслитель,—и уходит от него с тщеславием. Не верю я, гнусный Лебедев, телегам, подвозящим хлеб человечеству. Ибо телеги, подвозящие хлеб всему человечеству, без нравственного основания поступку, могут прехладнокровно исключить из наслаждения подвозимым значительную часть человечества, что уже и было»... (VII, 368 стр.).

Однако, несостоятельность этого научно-атеистического способа устроения жизни человечества обнаружится слишком скоро и черезчур явно: «Начав возводить свою «вавилонскую башню» без Бога и без всякой религии, человек кончит «антропофагиею» (XIII, 274), «ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою» (XIII, 269). Поэтому Отец лжи создаст для человека соблазн, гораздо более утонченный: лжебога и ложную религию, основанную на потворстве земным вожделениям человека, но так, чтобы совесть человека была усыплена мнимым согласием с заветами Бога. Основы этого величайшего соблазна раскрывает поэма Ивана

Карамазова «Великий Инквизитор» (XIII, 261—276). Герой ее сам заявляет Христу: «мы не с Тобою, а с ним» (273), с «страшным и умным духом», который уже в трех вопросах, предложенных Христу в пустыне, обнаружил «вековечный и абсолютный ум свой» (267). Следуя этому уму, Великий Инквизитор признал, что религия Христа несоразмерна с силами человека. «Вместо того, чтоб овладеть свободой людей, Ты увеличил им ее еще больше!..» «Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот, вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда—Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людям, а потому поступил как бы и не любя их вовсе»... «Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобою, прельщенный и пленен-ный Тобою. Вместо твердого древнего закона,—свободным сердцем должен был человек решать впредь сам,—что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ перед собою» (270)... «Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным. И если за Тобою, во имя хлеба небесного, пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль Тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы,- многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые» (269).

Итак, перед нами великий г у м а н и с т, восставший против Бога, во имя любви к человеку, и решивший «исправить подвиг» Христа (276). Он не требует от человека величия духа, под'ятия на себя креста Господня, свободного подвига. За то и обещает он человеку не бесконечное блаженство обладания абсолютным добром, а «тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы» (274)... «О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же мы им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом»... «Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое, и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет, и для их же счастья будем манить их наградою небесною и вечною. Ибо если бы и было что на том свете, то, уж, конечно, не для таких, как они» (275). Чтобы успокоить их совесть, « мы ска-

жем, что послушны Тебе и господствуем во имя Твое» (269), «основывая религию на чуде, тайне и авторитете» (273). «Правы мы были уча и делая так? скажи. Неужели мы не любим человечества, столь смиренно сознав его бессилье, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения?..» (273).

Достоевский не раз в своих произведениях развивает эту идею водворения счастья на земле путем поощрения человеческих слабостей или даже путем принижения человеческой природы. Розанов в своей книге: «Великий Инквизитор» особенно остановился на этой мысли. Чрезвычайно грубое выражение ее дано в «Бесах» Шигалевым и подхвачено Петром Верховенским, который говорит Ставрогину: «У него хорошо в тетради,—у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносить. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а, главное, равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, — не надо высших способностей. Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами». («Бесы», т. VIII, стр. 370).

Мысль, что дух зла выступает не прямо, как разрушитель и человеконенавистник, а, наоборот, как гуманист, задающийся целью создать царство всеобщего счастья, конечно, непременно на земле без Преображения ее, обстоятельно развита Вл. Соловьевым в его «Краткой повести об антихристе». Соловьев полагает, что в последний раз попытка создать земное царство счастья возникнет не на основе материализма, а с помощью «религиозного самозванства, когда имя Христово присвоят себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу его» [1]).

Антихрист в изображении Соловьева оказывается «величким спиритуалистом, аскетом и филантропом» (561 стр.). Став вселенским императором, он стремится облагодетельствовать человечество государственным строем, обеспечивающим всякому гражданину «хлеб и зрелища» (panem et circenses), но источник всей его деятельности не любовь к человеку, а безмерное самолюбие, побуждающее его в конце концов об'явить себя «единственным истинным воплощением верховного божества вселенной» (580 стр).

Гуманность, хотя бы и мнимая, созидательная работа, хотя бы и ложно направленная, разве все это не противоречит общепринятому убеждению, что диавол есть дух небытия, как это признает и Великий Инквизитор (267)? Про-

[1]) Вл. Соловьев, три разговора, собр. соч. т. VIII, стр. 527.

тиворечия здесь, конечно, нет: полнота бытия возможна только в Царстве Божием; всякое отпадение от Бога и попытки созидания царства, противящегося Богу, ведут к умалению бытия, к уничтожению одних существ другими и в конечном итоге к тому страшному распаду, жуткое переживание которого дано у Флоренского в его книге: «Столп и утверждение истины». «Вопрос о смерти второй—болезненный искренний вопрос. Однажды во сне я пережил его со всею конкретностью. У меня не было образов, а были одни чисто внутренние переживания. Беспросветная тьма, почти вещественно-густая, окружала меня. Какие-то силы увлекли меня на край, и я почувствовал, что это—край бытия Божия, что вне его—абсолютное Ничто. Я хотел вскрикнуть и— не мог. Я знал, что еще одно мгновение, и я буду извергнут во тьму внешнюю. Тьма начала вливаться во все существо мое. Самосознание наполовину было утеряно, и я знал, что это—абсолютное, метафизическое уничтожение. В последнем отчаянии я завопил не своим голосом: «Из глубины воззвах к Тебе, Господи. Господи, услыши глас мой...» В этих словах тогда вылилась душа. Чьи-то руки мощно схватили меня, утопающего, и отбросили куда-то, далеко от бездны. Толчок был внезапный и властный. Вдруг я очутился в обычной обстановке, в своей комнате, кажется; из мистического небытия попал в обычное житейское бывание. Тут почувствовал себя пред лицом Божиим и тогда проснулся, весь мокрый от холодного пота» (стр. 205).

Великий Инквизитор называет диавола не только духом небытия, но и духом самоуничтожения (267). Однако, первичное устремление воли к самоуничтожению невозможно; следовательно, это—явление производное, и надо выяснить, как оно возникает. Гордый замысел диавола создать свое царство, лучшее, чем мир Божий, мотивируется, как сказано, перед другими и даже перед самим собою не низменною завистью, а мнимою любовью к добру. Призрачный блеск добра—такова основная ложь диавольской природы. Но этого мало, всякая попытка созидания, если она, хотя бы временно, ведет не к чистому разрушению, а действительно к устроению какого-то царства, возможна не иначе, как путем использования бытия, уже сотворенного Богом, и принципов жизни, заповеданных Им, вроде солидарности, гармонии, верности долгу, взятых, однако, не в абсолютной широте, а в такой относительности, которая искажает их основную цель и ведет в результате не к полноте бытия Царства Божия, а к умалению и стеснению бытия; так, народ, ослепленный гордынею, может проявить в войне чудеса храбрости, стройной организованности, верности долгу, но вся эта кипучая жизнь, чем она интенсивнее, чем более она использовала силы добра ради конечного зла, влечет в тем более страшную бездну раз-

рушения. Таков путь дьявола: весь насквозь он пропитан лживостью; на словах и в средствах — добро, а в конечной цели—зло или же в конечной цели—мнимое добро, а в средствах—зло. Сам Иисус Христос говорит: «он лжец и отец лжи» (Иоан. 8, 44).

Такое существо, по мере развития своей деятельности и опознания ее, должно придти к лицемерию и сознательной лжи. Но сознательная ложь есть признание своей слабости и превосходства противника; отсюда неизбежны величайшие страдания для гордого существа, природе которого соответствует открытое нападение, обнаруживающее воочию перед всеми его превосходство. Страдания от своей собственной деятельности должны породить в нем, в конце концов, ненависть также и ко всем своим предприятиям, и даже к самому себе. Если и такой конец не приведет его к раскаянию, то ненависть к Богу и миру Его должна возрасти до последних пределов вместе с сознанием тщеты всех попыток преодолеть Господа. Вся жизнь такого существа превращается в толчение воды в ступе, и потому страдания его ужасны своею пустотою, отсутствием в них жизни. «Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное», говорит чорт Ивана Федоровича, «даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... все же за то живут, живут реально, не фантастически; ибо страдания-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие; все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато. Ну, а я? Я страдаю, и все же не живу. Я икс в неопределенном уравнении, я какой-то призрак, который потерял все концы и начала и даже сам позабыл, наконец, как и назвать себя» (XIV, 331).

Страдание, утратившее смысл, есть уныние (acedia), один из смертных грехов. Оно прямой путь к небытию. Существо, впавшее в уныние, обыкновенно, стремится покончить с собой путем повешения и готово было бы ежедневно совершать над собою этот отвратительный акт, если бы могло надеяться придти таким путем к полному небытию, но и в момент самой гибели своей, оно, пока пребывает в унынии, не раскаялось бы и не перестало бы ненавидеть того, кому хотело причинить зло. Так, Смердяков повесился, не оставив записки о том, что убийство совершено им, хотя и был уверен, что Иван Федорович не сообщит в суде рассказанную ему историю преступления (XIV, 321).

Итак, духи тьмы становятся духами «самоуничтожения и небытия» (XIII, 267); не имея средств уничтожить себя до конца, они «требуют» от Бога «себе уничтожения» (XIV, 331). Старец Зосима говорит о них: «Ненасытимы во веки веков, и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают. Бога живого без ненависти созерцать не могут и требуют,

чтобы не было Бога жизни, чтобы уничтожил себя Бог и все создание свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти»... (XIII, 343).

Вечность этого пребывания во зле, среди адских мучений от своей собственной воли и чувств кажется нормальному человеку непонятною. Повидимому, так естественно, дойдя до позорных последствий зла, например лжи, прозреть, устыдиться своего падения и раскаяться. И действительно, благодаря свободе воли, перед каждым существом открыта возможность преодоления себя. Но, с другой стороны, именно благодаря свободе, эта возможность не необходимо становится действительностью, и нельзя отрицать того, что могут найтись существа, которые вечно пребудут в состоянии отпадения от Бога. Своими силами мы неспособны узнать, существует ли этот факт, но Откровение, данное нам, повидимому, содержит в себе указание на то, что он имеет место. Духами зла именно и следует, пожалуй, называть некоторые существа из числа отпавших на веки. Чтобы понять такое упорство, незачем спускаться в ад, достаточно заглянуть поглубже в свое сердце и присмотреться хотя бы к мелким повседневным проявлениям гордости и самолюбия, окружающим нас со всех сторон. Малейший намек на приказание, распоряжение, требование, запрещение, особенно если оно исходит от лица, считаемого нами стоящим ниже нас, болезненно задевает нас. Социальные перевороты, устранившие сначала родовую аристократию, а теперь имеющие целью уничтожить деление на хозяев и рабочих, обусловлены не только экономическими отношениями и не только справедливым стремлением оградить достоинство человека, но и притязаниями гордыни и самолюбия не терпящих чужого превосходства и чужой власти даже и там и в тех отношениях, в которых неравенство морально и технически правомерно.

Даже признание своей вины—с каким трудом оно дается человеку! Достоевский рисует тяжелую картину этого процесса в исповеди «таинственного посетителя» перед Зосимою (XIII, 319—331). Для многих людей исповедь, требуемая православною и католическою церковью, есть непреодолимое препятствие, мешающее им вернуться к церкви. Много ли есть людей, способных, согласно православному обычаю, идя на исповедь, подойти к своим близким, попросить у них прощения за грехи против них, и сделать это просто, естественно, без вымученных чувств и сдавленного голоса! Даже мелкие оплошности против требований вежливости ликвидируются зачастую не так, как должно. В России, вместо прежнего «извините» или «прошу извинения», недавно появилась новая формула: «извиняюсь». В ней нет скромного обращения к чужой воле: она констатирует факт, осуществляющийся в моей индивидуальности, вроде выражений «моюсь, причесываюсь».

Поразительно, как охотно была подхвачена эта форма извинения всеми и даже интеллигенциею.

Если мелкие столкновения гордой и самолюбивой воли со средою столь чувствительны, то что же говорить о крупных. У Достоевского находим целую галлерею исковерканных душ, и все они изуродованы какою-нибудь тяжкою обидою, социальною (социальным неравенством, имущественною зависимостью, связанною с унижениями, и т. п.) или индивидуальною (особенно поруганием любви). Тяжкие обиды возводят одних людей на высоты святости, а других, особенно гордых и самолюбивых, загоняют в подполье или в застенок, где они с наслаждением отдаются самоистязанию или истязанию других или же превращаются в шутов. Таковы у Достоевского Настасья Филипповна, Грушенька, Катерина Ивановна, Подросток, Ипполит, Федор Павлович Карамазов (бывший приживальщик в молодости), Фома Опискин, штабс-капитан Снегирев, Смердяков и множество других лиц.

Уязвленное сердце самолюбивого человека непрестанно, днем и ночью, терзается болью и готово каждую минуту по ничтожному поводу к нелепой вспышке озлобления. Подросток, незаконный сын Версилова, носящий фамилию Долгорукий, впадает в бешеную ярость, когда новый знакомый предполагает, что он к н я з ь Долгорукий. «Позвольте, однако, узнать вашу фамилию: вы все смотрели на меня», ступил вдруг ко мне учитель с поддейшей улыбкой.

— Долгорукий.

— Князь Долгорукий?

Нет, просто Долгорукий, сын бывшего крепостного Макара Долгорукого и незаконный сын моего бывшего барина, г-на Версилова. Не беспокойтесь, господа, я вовсе не для того, чтобы вы сейчас же бросились ко мне за это на шею и чтобы вы все завыли, как телята, от умиления!

Громкий и самый бесцеремонный залп хохота раздался разом, так что заснувший за дверью ребенок проснулся и запищал. Я трепетал от ярости» (IX, 56, см. также стр. 8).

В России, где никакие частицы von или de не отличают дворянскую фамилию от недворянской,—как многие лица, выросшие в интеллигентной среде, сравнительно поздно узнают, что они не дворяне, и как часто это открытие уязвляет их до глубины души, ставит в смешное положение при попытках скрыть свою принадлежность к другому сословию или порождает ненависть к дворянству и приводит к отрицанию сословных различий, не столько на основании сверхличных соображений о социальной пользе и справедливости, сколько под влиянием ущемленного самолюбия.

В «Братьях Карамазовых» даже великий постник и молчальник отец Ферапонт, юродивый, малограмотный, неинтел-

лигентный монах без священнического чина, таит в своей самоуверенной душе те же чувства, что и Подросток. «Я то от их хлеба уйду, не нуждаясь в нем вовсе, хотя бы и в лес, и там груздем проживу или ягодой, а они здесь не уйдут от своего хлеба, стало быть, чорту связаны» (XIII, стр. 178). У игумена и других монахов он видит чертей: «у которого на персях сидит, под рясу прячется, токмо рожки выглядывают; у которого из кармана высматривает, глаза быстрые, меня-то боится: у которого во чреве поселился, в самом нечистом брюхе его, а у некоего так на шее висит, уцепился, так и носит, а его не видит.

— Вы... видите?—осведомился монашек.

— Говорю вижу, наскрозь вижу» (стр. 178).

Ему является Дух Святой и Христос:

«Правда ли про вас великая слава идет, даже до отдаленных земель, будто со Святым Духом беспрерывное общение имеете?

— Слетает. Бывает.

— Как же слетает? В каком виде?

— Птицею.

— Святый Дух в виде голубине?

— То Святый Дух, а то Святодух. Святодух иное, тот может и другою птицею снизойти: ино ласточкой, ино щеглом, а ино синицею.

— Как же вы узнаете его от синицы-то?

— Говорит.

— Как же говорит, каким языком?

— Человечьим.

— А что же он вам говорит?

— Вот сегодня возвестил, что дурак посетит и спрашивать будет негоже. Много, инок, знать хочешь.

— Ужасные словеса ваши, блаженнейший и святейший отче, качал головою монашек. В пугливых глазках его завиделась, впрочем, и недоверчивость.

— А видишь ли дерево сие?—спросил, помолчав, отец Ферапонт.

— Вижу, блаженнейший отче.

— По-твоему вяз, а по-моему иная картина.

— Какая же?—помолчал в тщетном ожидании монашек.

— Бывает в нощи. Видишь сии два сука? В нощи же и се Христос руце ко мне простирает и руками теми ищет меня, явно вижу и трепещу. Страшно, о, страшно!

— Что-же страшного, коли сам бы Христос?

— А захватит и вознесет.

— Живого-то?

— А в духе и славе Илии, не слыхал, что ли? Обымет и унесет»... (XIII, 179).

Ученых монахов этот изувер не любит и особенно ненавидит иеромонаха старца Зосиму, окруженного почитателями и людьми, ищущими у него совета и утешения. У гроба старца, после ряда непристойных выходок, он выдает свои сокровенные чувства. «Над ним заутра «Помощника и Покровителя» станут петь—канон преславный,—а надо мною, когда подохну, всего лишь «Кая житейская сладость»—стихирчик малый,—проговорил он слезно и сожалительно. Возгордились и вознеслись. Пусто место сие!—завопил он вдруг, как безумный, и, махнув рукой, быстро повернулся и быстро сошел по ступенькам с крылечка вниз» (XIV, стр. 11).

Всякое возвышенное чувство или положение внушают к себе почтение и любовь, пока они далеки от нас и являются нам почти лишь в воображении, но не воплощены вот здесь, в этом живом человеке, стоящем рядом. «Унизительное страдание, унижающее меня, голод, например, еще допустит во мне мой благодетель, но чуть повыше страдание, за идею, например, нет, он это в редких разве случаях допустит, потому что он, например, посмотрит на меня и вдруг увидит, что у меня вовсе не то лицо, какое по его фантазии должно бы быть у человека, страдающего за такую-то, например, идею» (XIII, 251). «Любит человек падение праведного и позор его» (XIII, 331), не раз утверждает Достоевский. Грушенька просит Ракитина привести к ней Алешу: «приведи ты его, я с него ряску стащу» (XIII, 87). Ракитин, улучив удобную минуту, ведет Алешу к Грушеньке с величайшим наслаждением. «Не для радости Грушенькиной он вел к ней Алешу; был он человек серьезный и без выгодной для себя цели ничего не предпринимал. Цель же у него теперь была двоякая, во-первых, мстительная, т.-е. увидеть «позор праведного» и вероятное «падение» Алеши «из святых во грешники», чем он уже заранее упивался, а во-вторых, была у него также в виду и некоторая материальная, весьма для него выгодная цель» (Грушенька обещала ему за это 25 рублей).

Своеобразная группа проявлений гордости и самолюбия возникает в случае столкновения этих чувств с покоряющей силой любви: ненависть в любви (la haine dans l'amour), так ярко и поэтично изображенная Гамсуном в его романах: «Пан» и «Виктория». У Достоевского эти чувства обнаруживаются, как привходящий элемент в любви многих его героев, например у Версилова, у Лизы Хохлаковой (см. выше).

Даже и добру в себе самом властный, гордый, самолюбивый человек покоряется только после борьбы и преодоления себя. Особенно упорным становится сопротивление, когда человеку кажется, что чужая воля, воля общества, государства, Бога обращается к нему с *требованием* добра, осуществления его, как *должного*. «Я никому ничего не должен», заявляет Подросток, «я платчу обществу деньги в виде фи-

скальных поборов за то, чтоб меня не обокрали, не прибили и не убили, а больше никто, ничего с меня требовать не смеет. Я, может быть, лично и других идей, и захочу служить человечеству и буду, и, может быть, в десять раз больше буду, чем все проповедники, но только я хочу, чтобы с меня этого никто не смел требовать... Моя полная свобода, если я даже и пальца не подыму» (IX, 53).

Но и безличная сила добра не без сопротивления овладевает сердцем гордого человека. Иван Карамазов, мучимый совестью после преступления Смердякова, приписывает в беседе с Алешею своему чорту следующую оценку своего поведения. «Ты идешь совершить подвиг добродетели, а в добродетель то и не веришь—вот что тебя злит и мучает, вот отчего ты такой мстительный» (XIV, 343). Алеша так понимает его душевное состояние: «Муки гордого решения, глубокая совесть», Бог, которому он не верил, и правда Его одолевали сердце, все еще не хотевшее подчиниться. «Да, неслось в голове Алеши, уже лежавшей на подушке, да, коль Смердяков умер, то показанию Ивана никто уже не поверит; но он пойдет и покажет». Алеша тихо улыбнулся: «Бог победит», подумал он. «Или восстанет в свете правды, или... погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит», горько прибавил Алеша и опять помолился за Ивана» (XIV, 345).

Глубокое и всепроникающее влияние гордости и самолюбия на все стороны душевной жизни дает право считать их стоящими во главе всех пороков. Понятно поэтому восхваление смирения в христианской этике; но, конечно, не следует смешивать подлинного смирения с тем извращением его, о котором говорится: «уничижение паче гордости». Есть у Достоевского слабые, исковерканные души, пребывающие в состоянии крайнего самоунижения денно и нощно. «Николай Ильич Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, хоть и посрамленный своими пороками, но все же штабс-капитан. Скорее бы надо сказать: штабс-капитан Словоерсов, а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить слово-ерсами. Слово—ер-с приобретается в унижении».—«Это так точно», усмехнулся Алеша,—только невольно приобретается, или нарочно?» (XIII, 211). Через минуту после такого пресмыкания Снегирев, узнав, что сын его Илюша укусил палец Алеши, кричит: «Сейчас высеку-с. Сею минутой высеку-с, совсем уже вскочил со стула штабс-капитан».—«Да я ведь вовсе не жалуюсь, я только рассказал... я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Да он, кажется, теперь и болен»... «А вы думали я высеку-с? Что я Илюшечку возьму да сейчас и высеку пред вами для вашего полного удовлетворения? Скоро вам это надо-с?» проговорил штабс-капитан, вдруг повернувшись к Алеше с таким жестом как будто хотел

на него броситься.—Жалею, сударь, о вашем пальчике, но не хотите ли: я, прежде чем Ильюшечку сечь, свои четыре пальца, сейчас же, на ваших глазах, для вашего справедливого удовлетворения, вот этим самым ножом оттяпаю. Четверх-то пальцев я думаю вам будет довольно-с, для утоления жажды мщения-с, пятого не потребуете?.. Он вдруг остановился и как бы задохся. Каждая черточка на его лице ходила и дергалась, глядел же с чрезвычайным вызовом. Он был как бы в исступлении» (XIII, 211).

У мощных натур, таких, как Грушенька, это самоунижение проскальзывает на секунду, но тотчас же наверстывается какою-нибудь грандиозно-мстительною выходкою, ведущею к адским последствиям. Когда Катерина Ивановна с взвинченною восторженностью расхваливает Грушеньку и даже целует ее ручку, Грушенька в ответ берет ее руку со словами:

«Вот я, милая барышня, вашу ручку возьму и также, как вы мне, поцелую. Вы мне три раза поцеловали, а мне бы вам надо триста раз за это поцеловать, чтобы сквитаться. Да так уж и быть, а затем пусть как Бог пошлет. Может, я вам полная раба буду и во всем пожелаю вам рабски угодить. Как Бог положит, пусть так оно и будет, безо всяких между собой сговоров и обещаний. Ручка-то, ручка-то у вас милая, ручка-то! Барышня вы моя милая, раскрасавица вы моя невозможная!

Она тихо понесла эту ручку к губам своим, правда, с странною целью: «сквитаться» поцелуями. Катерина Ивановна не отняла руки: она с робкою надеждою выслушала последнее, хотя тоже очень странно выраженное обещание Грушеньки рабски угодить ей; она напряженно смотрела ей в глаза: она видела в этих глазах все то же простодушное, доверчивое выражение, все ту же ясную веселость... «Она, может быть, слишком наивна!»—промелькнуло надеждой в сердце Катерины Ивановны. Грушенька меж тем как бы в восхищении от «милой ручки» медленно поднимала ее к губам своим. Но у самых губ она вдруг ручку задержала на два, на три мгновения, как бы раздумывая о чем-то.

— А знаете что, ангел-барышня, вдруг протянула она самым уже нежным и слащавейшим голоском,—знаете что, возьму я да вашу ручку и не поцелую. И она засмеялась маленьким развеселым смешком.

— Как хотите... Что с вами?—вздрогнула вдруг Катерина Ивановна.

— А так и оставайтесь с тем на память, что вы-то у меня ручку целовали, а я у вас нет.—Что-то сверкнуло вдруг в ее глазах. Она ужасно пристально смотрела на Катерину Ивановну.

— Наглая!—проговорила вдруг Катерина Ивановна, как бы вдруг что-то поняв, вся вспыхнула и вскочила с места. Не спеша поднялась и Грушенька.

— Так я и Мите сейчас перескажу, как вы мне целовали ручку, а я-то у вас совсем нет. А уж как он будет смеяться!

— Мерзавка, вон!

— Ах, как стыдно, барышня, ах, как стыдно это вам, даже и непристойно совсем такие слова, милая барышня.

— Вон, продажная тварь!—завопила Катерина Ивановна.—Всякая черточка дрожала в ее совсем исказившемся лице.

— Ну уж и продажная. Сами вы девицей к кавалерам за деньгами в сумерки хаживали, свою красоту продавать приносили, ведь я же знаю.

Катерина Ивановна вскрикнула и бросилась было на нее, но ее удержал всею силой Алеша...

— Это тигр!—завопила Катерина Ивановна (когда Грушенька выбежала из комнаты). Зачем вы удержали меня, Алексей Федорович, я бы избила ее, избила!

Она не в силах была сдерживать себя перед Алешей, может быть, и не хотела сдерживаться.

— Ее нужно плетью, на эшафоте, через палача, при народе!

— Алеша попятился к дверям.

— Но Боже!—вскрикнула вдруг Катерина Ивановна, всплеснув руками,—он то! Он мог быть так бесчестен, так бесчеловечен! Ведь он рассказал этой твари о том, что было там, в тогдашний роковой, вечно проклятый, проклятый день! «Приходили красу продавать, милая барышня!» Она знает! Ваш брат подлец, Алексей Федорович!» (XIII, 163 стр.).

Смирение необходимо даже для веры в Бога, потому что гордый человек, как это ни смешно, готов помериться силами с самим Господом Саваофом, или, по крайней мере, пытается отвергнуть бытие столь недосягаемо великого Существа. Когда такой человек приводит доводы против бытия Божия, поражаешься иногда, как мало в них логической связности;—прислушаешься к интонациям его, всмотришься в мимику и увидишь, что подсознательная основа неверия у него—зависть к Богу и отвращение к мысли, что есть существо, бесконечно более высокое, чем он. Даже и тогда, когда такие люди верят в Бога, их вера может оказаться деланною. Подросток спрашивает Васина о Версилове: «неужели вы думаете, что он может верить в Бога?»—«Это очень гордый человек, как вы сейчас сами сказали», ответил Васин, «а многие из очень гордых людей любят верить в Бога, особенно несколько прези-

рающие людей. У многих сильных людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность—найти кого-нибудь или что-нибудь, перед чем преклониться. Сильному человеку иногда очень трудно переносить свою силу... Они выбирают Бога, чтоб не преклоняться перед людьми;—разумеется, сами не ведая, как это в них делается; преклониться перед Богом не так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие,—вернее сказать, горячо желающие верить; но желания они принимают за самую веру. Из этаких особенно часто бывают под конец разочаровывающиеся» (IX, 57).

Когда такие натуры начинают бороться с Богом и, следовательно, вступают в область инфернального бытия, они, как уже сказано, оправдывают свое поведение высокими мотивами. «О гордости же сатанинской мыслю так», говорит старец Зосима, «трудно нам на земле ее и постичь, а потому сколь легко впасть в ошибку и приобщиться ей, да еще полагая, что нечто великое и прекрасное делаем» (XIII, 339). Но крушение горделивых планов, построенных без благословения Божия и даже хотя бы сомнение в своем превосходстве, порождает в такой самолюбивой воле все наростающую ненависть, ярко изображенную в «Повести об антихристе» Вл. Соловьева. «Ждет горделивый праведник высшей санкции, чтобы начать свое спасение человечества, и не дождется. Ему уже минуло тридцать лет, проходят еще три года. И вот мелькает в его уме и до мозга костей горячей дрожью пронизывает его мысль: «а если... а вдруг не я, а тот... Галилеянин... вдруг Он не предтеча мой, а настоящий, первый и последний? Но ведь тогда он должен быть ж и в... Что я скажу Ему? Ведь я должен буду склониться перед Ним, как последний глупый христианин, как русский мужик какой-нибудь бессмысленно бормотать: «Господи Сусе Христе, помилуй мя грешного»,—или как польская баба растянуться к ж и ж е м. Я, светлый гений сверхчеловек! Нет, никогда!» И тут на место прежнего разумного холодного уважения к Богу и Христу зарождается и растет в его сердце сначала какой-то ужас, а потом жгучая и все его существо сжимающая и стягивающая з а в и с т ь и яростная, захватывающая дух ненависть. «Я, я, а не Он. Нет Его в живых, нет и не будет. Не воскрес, не воскрес, не воскрес! Сгнил, сгнил в гробнице, сгнил, как последняя...» И с пенящимся ртом, судорожными прыжками выскакивает из дому, из саду, и в глухую черную ночь бежит по скалистой тропинке... Ярость утихла и сменилась сухим и тяжелым, как эти скалы, мрачным, как эта ночь, отчаянием. Он остановился у отвесного обрыва и услышал далеко внизу смутный шум бегущего по камням потока. Нестерпимая тоска давила его сердце. Вдруг в нем что-то шевельнулось: «Позвать Его,—спросить, что мне делать?» И среди темноты ему представился кроткий и грустный образ: «Он меня жалеет... Нет, никогда!

Не воскрес, не воскрес!» И он бросился с обрыва. Но что-то упругое, как водяной столб, удержало его в воздухе» [1]).

Став вселенским императором, он созывает вселенский собор. Здесь вождь православных, старец Иоанн, говорит ему: «На вопрос твой: что можешь сделать для нас,—вот наш прямой ответ: исповедуй здесь теперь перед нами Иисуса Христа,—Сына Божия, во плоти пришедшего, воскресшего и паки грядущего,—исповедуй Его, и мы с любовью примем тебя, как истинного предтечу Его второго славного пришествия». Он замолчал и уставился взором в лицо императора. С тем делалось что-то недоброе. Внутри его поднялась такая же адская буря, как та, что он испытал в ту роковую ночь. Он совершенно потерял внутреннее равновесие, и все его мысли сосредоточились на том, чтобы не лишиться и наружного самообладания и не выдать себя прежде времени. Он делал нечеловеческие усилия, чтобы не броситься с диким воплем на говорившего и не начать грызть его зубами» (575 стр.).

Такое существо на веки может пребыть в ненависти к Господу Богу,—хотя и обладает силою для преодоления себя, но не воспользуется ею. Ненависть эта терзает душу непрестанно и наполняет ее адскими мучениями, но не Бог создает эти вечные муки, а сам тот, кто любит себя больше, чем Предвечное Добро. Благодать Божия может проявиться в отношении к этим существам лишь в том, чтобы оставить их в свойственной им сфере и не повышать мучений их приближением к ним сияния Славы Своей. Сведенборг рассказывает, что во время одного из его видений у него «явилась мысль: каким образом возможно, чтобы благость Господа допускала бесам вечно оставаться в аду. Только что я это помыслил, как один из ангелов правого предсердия чрезвычайно быстро низринулся в седалищную область великого Сатаны и извлек оттуда, по внушению от Господа, одного из самых дурных бесов, чтобы доставить ему небесное блаженство. Но мне было дано видеть, что по мере того, как ангел восходил к небесным сферам, его пленник менял гордое выражение своего лица на страдающее, и тело его чернело; когда же он, несмотря на свое сопротивление, был вовлечен в средние небеса, то с ним сделались страшные конвульсии, он всем своим видом и движениями показывал, что испытывает величайшие и нестерпимые муки; когда же он приблизился к сердечной области небес, то язык его вышел далеко наружу, как у очень уставшего и жаждущего пса, а глаза лопнули, как от жгучего жара. И мне сделалось его жаль, и я взмолился Господу, чтобы велел ангелу отпустить его, и когда, по соизволению Господа, он был отпущен, то бросился вниз головою с такою стремительностью, что я мог видеть только, как мелькнули его чрезвычайно черные

---

[1]) Вл. Соловьев, т. VIII, стр. 562.

пятки. И тогда мне было внушено: Пребывание кого-нибудь в небесах или в аду зависит не от произвола Божия, а от внутреннего состояния самого существа, и перемещение по чужой воле из ада в небеса было бы так же мучительно для перемещаемого, как переселение из небес в ад... И таким образом я понял, что вечность ада, для тех, кто находит в нем свое наслаждение, одинаково соответствует как премудрости, так и благости Божией» [1]).

Н. Лосский.

---

[1]) Memorabilia, прилож. к «Arcana Coelestia» Сведенборга; питата из статьи Вл. Соловьева о Сведенборге (т. IX собр. соч. Соловьева, 243 с.).

И. ЛАПШИН.

ЭСТЕТИКА ДОСТОЕВСКОГО.

Эстетика Достоевского.

I.

Эстетические взгляды художников, то, что Фехнер называл активною эстетикой, конечно, не представляют собою наукообразного, систематического, философского исследования. Тем не менее они возбуждают большой философский интерес. У всякого великого художника имеется известное мировоззрение, не формулированное отчетливо и тем не менее типичное потенциально в его произведениях. Оно проявляется: 1) в тех данных, которые составляют материал для его биографии—письма, дневники, отрывочные высказывания; 2) в его эстетических статьях; 3) в том, что можно назвать искусством в искусстве, т.-е. в том, как отображаются процессы художественного творчества и восприятия и всевозможные эстетические идеи в его лирике, в высказываниях его героев и в его собственных высказываниях. Раскрытие такого, если так можно выразиться, эстетического мирочувствия представляет высокий интерес. «Следить за мыслями великого человека—наука самая занимательная» (Пушкин). Однако, разрешение подобной задачи представляет ту опасность, что комментатор рискует чрезмерно рационализировать идеи художника, придать им такую систематичность, которая отнюдь не была осознана художником, не делая при этом оговорки, что это именно он, комментатор, об'единяет разрозненные, хотя, быть может, и вполне гармонирующие между собою мнения. Если вы сказали однажды: *а* есть *в*, а в другой раз: *с* есть *а*, то вывод, который я отсюда делаю: *с* есть *в*, уже принадлежит мне, и я должен оговорить это обстоятельство. Пушкин сказал однажды Полевому про комментаторов Шекспира, что они чорт знает что насочинили на него, Шекспир же творил в простоте, он был «гениальный мужичек». Таким образом, то искусство, которое напоминает маевтику Сократа, и которое Бенар «L'esthétique d'Aristote» называет «l'art de faire accoucher les grands ésprits», требует большой осторожности.

В настоящее время вопрос об эстетике Достоевского никому не покажется странным, но четверть века тому назад он вызвал бы у многих литераторов недоумение. Был распространен взгляд, что Достоевский—художник, совершенно пренебрегающий художественной формой за счет идейного содержания, и потому нечего ожидать от него углубления в проблемы эстетики. Так, мне вспоминается рецензия на «Братьев Карамазовых», помещенная в «Деле» за 1881 г., где автора хвалят за гуманные чувства, одушевлявшие его при создании его эпопеи, но роман признается крайне неудовлетворительным в художественном отношении. В настоящее время подобное отношение к эстетической стороне творений Достоевского представляет, думается мне, лишь исторический интерес.

Упреки, которые делались Достоевскому за «пренебрежение» эстетической формой, например, покойными историками литературы А. Н. Веселовским и И. Н. Ждановым, основаны на том, что, по справедливому указанию Меймана[1]), в творчестве художника постоянно взаимодействуют две тенденции:—стремление к выражению и стремление к художественной форме, причем первый фактор может быть плодотворным,—порождая новые художественные формы, и губительным, разрушая или нарушая эстетическую форму. Могут быть художники, в которых оба стремления гармонически поддерживают друг друга (Пушкин, Римский-Корсаков); у других же, даже первоклассных художников, стремление к форме может порой связывать силу экспрессии (Тургенев, Гончаров); у третьих, наоборот, сила выражения причиняет ущерб форме (Толстой и Достоевский). Взаимная антипатия Тургенева и Достоевского, быть может, не имела чисто личный характер, но имела свои корни и в противоположности приемов творчества. Вот почему, быть может, Тургенев не мог схватить необычайную художественную «новь» в том, что казалось ему просто «больничной кислятиной», а Достоевский в своей карикатуре на Тургенева в образе беллетриста Кармазинова (в «Бесах») подчеркивает прилизанность письма и мелкотравчатость художественной формы. Говорить о пренебрежении художественной формой у Достоевского так же неосновательно, как говорить о подобном пренебрежении формой у автора «Тристана». Не пренебрежение, а роковой перевес стремления к выразительности над чувством формы, сказываясь во второстепенных произведениях подобных художников, однако, не помешал им проявить поразительное чувство формы в их наивысших созданиях («Преступление и наказание» и, с некоторыми оговорками, «Братья Карамазовы» у Достоевского).

[1]) У Меймана по вопросу об отношении стремления к форме и стремления к выражению см.: «Эстетика», ч. II-я: Система Эстетики, глава третья: «Анализ художественного творчества», стр. 54—104. Москва, 1920 г., пер. Самсонова.

II.

Мысли Достоевского касательно самого процесса художественного творчества, к сожалению, немногочисленны и отрывочны. Прежде всего остановим наше внимание на том, как описывает Достоевский свою артистическую наблюдательность. Если Пушкин описывает наблюдательность фланирующего по городу на коне героя неоконченного романа в письмах, а Гончаров—при изображении пробуждения творческих наклонностей у Райского, то Достоевский прямо пишет о себе: «Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать, кто они, как они живут, чем занимаются, и что их в данную минуту занимает». Слово угадывать в применении к расшифрованию характера употреблял ранее Достоевского Пушкин, говоря Гоголю о его даровании. В наблюдательности своей, кроме ее психологической природы, Достоевский оттеняет и ее незаинтересованный характер—интерпретация житейского впечатления идет не в сторону практического вывода, как у психиатра или судебного следователя, но в сторону творческой эстетической фантазии; тяготение к артистическому чувству формы перевешивает в подобной наблюдательности и чисто интеллектуальный, и чисто практический моменты: почерпнутое из реальной действительности мгновенно изолируется от нее и переносится в область художественной фантазии, тесно сплетаясь с продуктами творческого воображения художника.

В «Белых ночах», описывая мечтания молодого поэта, фланирующего по улицам Петербурга, Достоевский весьма тонко отмечает, как фантазия художника, рассеянно и невнимательно воспринимающего уличные впечатления и поглощенного своим внутренним миром, все же ассимилирует эти невольные восприятия: «Но все та-же фантазия подхватила на своем игривом полете старушку и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку и мужичков, которые тут-же вечеряют на барках, запрудивших Фонтанку, заткала шаловливо всех и все в свою канву, как мух в паутину, и с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку». (Сочинения, т. II, стр. 130, 1904).

Можно предположить, что Достоевский иногда и зарисовывал фигуры, особенно поразившие его воображение. По крайней мере, я видел более четверти века тому назад у незабвенного Я. П. Полонского портрет Федора Павловича Карамазова, набросанный карандашом Ф. М. Достоевским. Кому из гостей Полонского принадлежал набросок, я не знаю. Рисунок вполне соответствовал иконографической характеристике Федора Павловича, которая дана в романе, и был сделан, как мне показалось, довольно искусно.

Весьма интересны указания Достоевского на значение сновидений для развития творческой фантазии. В этом отношении заслуживают внимания три сноведения, описываемые им: первое оттеняет художественный реализм некоторых сновидений, их удивительное правдоподобие в глазах грезящего; второе подчеркивает космический размах комбинационной способности воображения; третье — ту психологическую проницательность, которую мы обнаруживаем иногда в уразумении своего характера, как и своего собственного существа, на что обратил внимание в некоторых отношениях родственный по духу Достоевскому философ Банзен (в своих: «Beiträge zur Characterologie»; об этом подробности см. в моей книге «Философия изобретения», пятая глава, т. I-й, 1922 г. «Творческое воображение»).

1) «В болезненном сновидении сны часто отличаются необыкновенной выпуклостью, яркостью и необыкновенным сходством с действительностью. Слагаются иногда картины чудовищные, но обстановка и процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественными, соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Те же сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на уже возбужденный организм человека («Преступление и наказание», стр. 37-я, издание сочинений Достоевского в 14 томах 1906 года) [1]).

Ту же мысль о художественном творчестве во сне повторяет чорт в кошмаре Ивана Карамазова. Он прибавляет далее по поводу вопроса об изобретательности во сне вообще: «Насчет этого даже целая задача: один министр говорил мне, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит». («Братья Карамазовы», т. II, 328 стр.).

II) Герою «Хозяйки», молодому ученому Ордынцеву, кажется, что он видит во сне: «все свое прошлое, начиная с неясных детских грез, все, что вычитал в книгах; оно одушевлялось, воплощалось, вставало в колоссальных формах и размерах, раскидывались волшебные сады, складывались и разрушались целые города, целые кладбища высылали ему мертвых, которые начинали жить сызнова, рождались и умножались целые племена и народы, каждая греза воплощалась почти в миг зарождения, он мыслил не бесплотными идеями, а целыми мира-

1) Какую роль подобные сновидения играют у художника в процессе их творчества, об этом я писал в работе: «О перевоплощаемости в художественном творчестве», «Вопросы теории и психологии творчества», издание Лезина, вып. V-й, 1913 г.).

ми». Это описание не есть романтическая выдумка поэта, но чрезвычайно тонкое изображение той иллюзии восприятия космоса, которая возникает на почве удивительного расширения круга творческой сновидной фантазии. Подобные переживания описывает в своем дневнике Амиель (см. мою книгу «Проблема чужого Я»).

III) «Меня охватывает новое чувство, невыразимое, которого я еще не испытывал никогда, и сильное, как весь мир. О, я уже не в силах теперь уйти ни за что. О, как мне нравится, что это так бесстыдно. Я схватил ее за руки, прикосновение ее рук мучительно сотрясает меня, и я приближаю губы мои к ее наглым, алым, дрожащим от смеха и зовущим меня губам. О, прочь это низкое воспоминание! Проклятый сон! Клянусь, что до этого мерзостного сна не было в моем уме даже хоть чего-нибудь, похожего на эту позорную мысль (мысль использовать некоторые письма с целью шантажировать знакомую девушку И. Л.), даже невольной, какой-нибудь в этом роде мечты не было (хотя я и хранил документ в кармане и хватался иногда за карман со странной усмешкой). Откуда же это все явилось совсем готовое? Это—оттого, что во мне была душа паука. Это значит, что все уже зародилось и лежало в развратном сердце моем, в желании моем лежало. Но сердце еще стыдилось наяву, и ум не хотел еще представить что-нибудь подобное сознательно, а во сне душа сама все представила и выложила, что было в сердце в совершенной точности в самой полной картине и в пророческой форме» («Подросток»). Здесь с замечательным мастерством описан процесс психологической догадки человека о том, что «на дне души таится» (Штекель) в сновидной грезе, процесс, представляющий аналогию и с процессами художественной творческой догадки во сне.

В самом процессе творчества Достоевский отмечает две стадии: одну подготовительную, которую Римский-Корсаков [1]) называет хроническим вдохновением: «Лучше подождать побольше синтезу, подольше подумать, подождать, пока многое мелкое, выражающее одну идею, соберется в одно большое, в один крупный рельефный образ, и тогда выражать его. Не выражать же все промежуточные пробы и эскизы» (Письма, 87).

В письме к брату от 31 июля 1858 года Достоевский указывает на огромное значение в творчестве непрерывного труда, на то, как Пушкин отделывал свои стихи. Он упрекает брата в пренебрежении отделкой и прибавляет: «Ты явно смешиваешь вдохновение, т.-е. первое мгновение создания картины или движения в душе (что всегда так и делается) с работой. Я, например, сцену тотчас же и записываю так, как она мне яви-

[1]) См. мою статью: «О музыкальном творчестве», Музыкальный Современник, 1915, № 1.

лась впервые; и рад ей, но потом целые месяцы, год обрабатываю ее, вдохновляясь ею по несколько раз (курсив Достоевского), а не один (потому, что люблю эту сцену), и каждый раз прибавлю в ней или убавлю что-нибудь, как уже и было у меня, и, поверь, что выходило гораздо лучше». (Биография, письма etc. 1883 г., изд. Страхова, стр. 113).

Другая стадия, которую Римский-Корсаков называет острым вдохновением, отличалась у Достоевского, как и у многих великих художников, необычайной быстротой и напряженностью работы. Интересно сопоставить в этом отношении одно место из писем Пушкина с приводимыми ниже словами молодого писателя, героя «Униженных и оскорбленных». «Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидишь один между четырех стен или ходишь по лесам, когда никто не мешает нам думать, до того, что голова закружится». (Письма, изд. Венгерова, № 931, 932). Именно такую быстроту работы творческой фантазии, но уже в самом процессе писания, описывает Достоевский; устами своего героя сообщает, что он сочинял свою повесть с такой лихорадочной быстротой, что 3½ печатных листа были сочинены в 2 дня и 2 ночи («Униженные и Оскорбленные», 56 стр.), что не помешало рецензенту заметить в критической статьѣ, что повесть «пахнет потом и отделана до приторности»

Радости творчества, связанные с процессом перевоплощаемости в действующих лиц романа и с личными чувствами симпатии к своим героям, Достоевский описывает в том же романе следующим образом: «Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда я еще не читал и не показывал никому моей рукописи, в те долгие ночи среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду, когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существовавшими, любил их и подчас и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим» («Униженные и Оскорбленные», 25). Если в процессе перевоплощаемости играет известную роль конгениальность натуры художника и соответствия его личных переживаний изображаемому в романе, как это, напр., отмечает Достоевский по поводу создания типа Фомы Опискина в «Селе Степанчикове», то, с другой стороны, самый сюжет произведения, его герои и общий тон могут быть в полном несоответствии с личными переживаниями художника в данный момент. В воспоминаниях Всеволода Соловьева о Достоевском последний сообщает, что «Маленький герой», эта очаровательная повесть из детской жизни, был написан в крепости, в ожи-

дании каторги, а может быть и смертной казни. Подобным же образом «Свадьба Кречинского» была написана Сухово-Кобылиным в тюрьме, в ожидании суда, грозившего каторгой—он, как известно, ложно обвинялся в убийстве француженки Диманш. Подобное же несоответствие фиктивных чувств художника с реальными переживаниями момента было прекрасно описано уже Пушкиным, который оттеняет трудность передачи известных чувствований в тот момент, когда они всецело заполняют душу поэта, в его реальной жизни.

Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарки шествуя во след,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем.
Но я любя был глух и нем.
Прошла любовь — явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободный, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум,
Пишу, и сердце не тоскует.

Даже в лирической поэзии художник воплощает не индивидуально личные, а типически-индивидуальные переживания, и притом фиктивного порядка—их носителем является его идеализированное фиктивное Я (Schein-Ich, по выражению Гартманна). Эту эстетическую истину учуяли и Пушкин и Достоевский.

III.

Чтобы уяснить себе, как Достоевский описывает творческий процесс формирования художественного типа, надо прежде всего определить его отношение к натурализму, если под этим термином мы условимся разуметь тенденцию дать в произведении искусства ничем не отличимую от оригинала копию. Уже Пушкин (в статье о драме) осуждает подобную тенденцию, указывая на то, что статуи не раскрашиваются. Быть может, он не знал о раскрашивании статуй древними, но то была стилизованная окраска, а не та, которая здесь имеется в виду, какая применяется в паноптикумах на восковых фигурах, т.-е. детальная окраска, вводящая зрителя в заблуждение, побуждающая его смешивать живых людей с восковыми подобиями. Уже Вольтер осуждает с эстетической точки зрения изобретение самодвижущихся кукол-автоматов. Так по поводу знаме-

нитого флейтиста Вокансона, раскрашенной куклы, игравшей на флейте, он пишет в своем: «Discours en vers sur l'homme»:

... D'une main sterilement vantée
Le hardi Vocanson, rival de Promethée,
Semblait de la nature imitant les ressorts
Prendre le feu des cieux pour animer les corps. [1]).

Мимезис, подражание действительности, является одним из существенных факторов эстетического удовольствия при созерцании об'ектов искусства, но при натуралистической подделке под действительность мы имеем дело не с эстетической иллюзией, а с мистификацией, при которой действительное и фиктивное делаются совершенно неразличными. Такие подделки могут нравиться лишь эстетически неразвитым существам, например, маленьким детям.

Достоевский рассказывает, что шестилетний мальчик увидел в витрине на улице, в окне за стеклом, «три маленькие куклы, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем, совсем, как живые! Какой-то старичек сидит и будто бы играет на большой скрипке, двое других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках и в такт качают головками и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся—говорят, совсем говорят, только вот из-за стекла не слышно! И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, вдруг рассмеялся». («Дневник Писателя»: «Мальчик у Христа на елке», Сочинения, т. XI-й, стр. 17, издание 1904 года). В «Бедных людях» также упоминается зябнущий мальчик, который заглядывается, как у немца-шарманщика куколки танцуют. (См. «Бедные люди», стр. 90-я).

Мысли Достоевского о процессе формирования художественного типа несколько напоминают взгляды Аполлона Григорьева, который говорит о трех процессах: копирование, типизация (собирание характерных черт—процесс неумышленный, не сознательный) и идеализация. Под последним процессом он разумеет нахождение художником свободного создания, т.-е. тот момент, когда тип начинает жить идеальной жизнью в фантазии и потом в произведении художника, действовать и говорить вполне соответственно своему характеру. Именно этот дар отмечает у себя Гоголь, дар «угадать человека, т.-е. угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать с удержанием самого его склада, его образа мыслей и речей» (см. А. Григорьева: «Сочинения», т. I. О правде и искренности в искусстве. Гоголь, «Исповедь», соч. т. IV-й, стр. 795. Изд. 1884 г.).

[1]) «Смелый Виконсон, тщетно прославленный за свое искусство, казалось, соперник Прометея, подражая силам Природы, похитил с неба огонь, дабы одушевлять тела».

Гегель в своей эстетике (Введение) и за ним Гоголь в гениальном «Портрете» отмечают тот факт, что неотличимое сходство оригинала и художественной копии производят на развитого человека не эстетическое, а иногда прямо отталкивающее впечатление. Стремление натурализма воспроизвести реальность, как «в е щ ь в с е б е», не только антихудожественно, но ф и л о с о ф с к и нелепо. В духе Канта и Шиллера Достоевский пишет: «Сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как она отражается в его идее, пройдя через его чувство. В зеркальном отражении не видно, как зеркало смотрит на предмет или, лучше сказать, видно, что оно совсем не смотрит и отражает пассивно механически» (Рецензия на академическую выставку 1861—62 гг. Последнее издание сочинений, т. XXII-й).

«Диккенс никогда не видел Пушкина собственными глазами, а заметил его только в многоразличии наблюдаемой им действительности, создал лицо и представил его, как результат своих наблюдений». Это лицо—реально, хотя оно «и д е а л д е й с т в и т е л ь н о с т и». В этом бесконечно глубокое отличие глаза художника от фотографического аппарата. Художник не копирует, а типизирует, у л а в л и в а я г л а в н у ю ч е р т у лица. В этом э м о ц и а л ь н о м процессе типизации интеллектуальная работа стоит на втором плане сознания; в противном случае можно было бы подобрать типические черты путем интеллектуальной работы холодного наблюдения. Такую нарочитость в подборе характерных черточек, словечек, жестов, скажем солдата или поповича, Достоевский называет э с с е н ц и о з н о с т ь ю. В статье: «Ряженый» он уличил автора в том, что он п р и т в о р и л с я духовным лицом, написав против Достоевского статью, переполненную поповскими выражениями. Подобный недостаток Тургенев отличает у Жорж Занд в романе Ф р а н с у а д е-Ш а м п и, где она злоупотребляет провинциализмом местного крестьянского говора. (См. письма Тургенева).

Ф о т о г р а ф и ч е с к и й с н и м о к может в редких случаях возвыситься до значения художественного произведения, но только изредка это возможно: «В редких только мгновениях человеческое лицо выражает главную свою черту, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и у г а д ы в а е т э т у г л а в н у ю м ы с л ь л и ц а, хотя бы в тот момент, когда онъ списывает ее, ее и не было вовсе на лице. Фотография же застает человека, как он есть, и весьма возможно, что Наполеон в иную минуту вышел бы глупым, а Бисмарк—нежным. Здесь же в этом портрете солнце застало Соню в ее главном мгновении стыдливой, кроткой любви и несколько дикого пугливого ее целомудрия» (Подросток, 431). В этих тонких замечаниях Достоевский предвосхищает идеи современного эстетика Ро-

берта де ля Сизеранна («Les questions d'esthétique contemporaine»: La photographie est-elle un art?).

Приведенное нами место напоминает одну картину в I-й главе романа: «La recherche de l'Absolu» Бальзака, где описывается лицо жены Бальтазара де-Клаэс, случайно озаренное солнцем как раз в момент его наивысшей выразительности.

В «Идиоте» (I-я глава IV части) Достоевский задается следующим вопросом: «что делать романисту с людьми ординарными, совершенно обыкновенными, и как выставить их перед читателем, чтоб сделать их хотя сколько-нибудь интересными? Совершенно миновать их в рассказе нельзя, потому что ординарные люди поминутно и в большинстве необходимое звено в связи житейских событий,—миновав их, стало быть, нарушим правдоподобие». По мнению Достоевского, чтобы сделать их интересными, художник должен осветить в их личности ту сторону, в которой проявляется их желание быть оригинальными. «Наглость наивности», «несомневаемость» подобного человека в себе и в своем таланте—вот та черта, которую с успехом может использовать поэт, как это и сделал, например, Гоголь, в изображении поручика Пирогова («Невский проспект»).

Процесс типизации художником образа, выделения в нем характерного, существенного, связан с некоторым подчеркиванием типических черт известным преувеличением, но мера такого преувеличения не может быть постигнута никаким расчетом, но лишь артистической чуткостью, вдохновением художника. Мелодраматичность, грубая карикатура отделены здесь от истинно артистического произведения нередко едва уловимым «чуть-чуть», в котором Толстой, повторяя слова Брюллова, видит сущность художества; ту же мысль с замечательной глубиной развивают Тургенев и Достоевский. Последний говорит: «Все искусство состоит в известной доле преувеличения, с тем однако же, чтобы оно не переходило известных границ. Портретисты это знают очень хорошо. Например, у оригинала несколько велик нос, для сильнейшего сходства надо сделать его чуть-чуть подлиннее, но затем, если еще прибавить носа, выйдет карикатура. Зная это очень хорошо, плохие художники никак не могут справиться с обыкновенными лицами, художнику средней руки никак не удался бы портрет Павла Ивановича Чичикова» («Идиот», Ib.). Разбирая «Бедную невесту» Островского и не удовлетворяясь художественным выполнением образа, Тургенев удивительно метко говорит (Собр. сочинений, т. I, стр. 338-я): «Необходимости, жизненной необходимости в образе нет. Автор добросовестно и старательно гоняется за ней, за этою неуловимою чертою жизни и не достигает ее до конца. Из математики нам известно, что, переломленная на самые ма-

лые доли прямая линия может только бесконечно приближаться к линии круга, но никогда не сольется с ней. Точно так же и ум, труд, наблюдение проводят, если так можно выразиться, прямые линии, одной поэзии дана та волнистая линия, о которой говорил Гогарт». Что творчество художника есть сочетание сознательной, умышленной работы ума со стихийными порывами вдохновения, улавливающими искомое «чуть-чуть», это прекрасно выразил Пушкин, предвосхищая мысли Тургенева и Достоевского, говоря о портрете полководца работы Доу:

Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или случайное то было вдохновенье,
Но Доу дал ему такое выраженье.

В замечательной статье по поводу выставки картин в Академии Художеств (сезон 1861—62 г.) Достоевский на анализе картины Якоби: «Привал арестантов» чрезвычайно убедительно показывает, что ни ум, ни забота о правдоподобии, ни техническое мастерство недостаточны для уловления «черты жизни», и художник при отсутствии подлинного вдохновения неизбежно впадет в мелодраму: «Точность, верность элементарно необходимы, но они лишь материал для художественного произведения, орудие творчества».

Чрезвычайно интересны замечания Достоевского об исторической интуиции художника. Написать историческую картину—это не значит просто воспроизвести с археологической точностью и психологическим правдоподобием dramatis personas минувшего момента, тут нужно нечто гораздо большее, чего, по мнению нашего поэта, не хватает в картине Ге «Тайная вечеря»: «Если изображать прошедшее событие, то событие непременно представится в его законченном виде, т.-е. с прибавкою всего его последующего развития, еще и не происходившего в тот исторический момент, в котором художник старался изобразить лицо или событие». По мнению Достоевского, у Ге не чувствуется в его картине исторической значительности изображаемого им момента, а просто изображена группа, быть может, весьма почтенных евреев, собравшихся поужинать (см. Дневник Писателя, 1873 г., статья о передвижной выставке, на которой была выставлена эта картина). Весьма часто так называемые исторические картины не осуществляют даже психологического правдоподобия, ограничиваясь чисто внешним маскарадом. Так оценивает Достоевский картину на выставке в Академии Художеств (сезон 1861—62 г.): «София Витовтовна порывает пояс Василия Косого на свадьбе Василия II Темного»

Проблемы комического и отвратительного почти не затронуты Достоевским—о трагическом речь будет ниже. Мысли Достоевского о смехе являются как бы преддверием теории комического, которая однако у него отсутствует: «Часто в смехе людей обнаруживается нечто пошлое, нечто как бы унижающее смеющихся. Смеющийся, как спящий, не знает, какое у него лицо. Чрезвычайное множество людей не умеют смеяться; впрочем, это дар, и его не выделяешь... Выделяешь разве лишь тем, что перевоспитаешь себя к лучшему, тогда и смех такого человека переменится к лучшему. Смех требует беззлобия, а люди всего чаще смеются злобно. Иной характер долго не раскусишь, а засмеется человек, и вдруг весь характер его окажется, как на ладони. Смех есть самая верная проба души. Смеющийся ребенок это луч из рая, это—откровение из будущего, когда человек станет так же простодушен и чист, как дитя» («Подросток», 331, 333). Это тонкое наблюдение можно было бы иллюстрировать яркими примерами из литературы. Приведу два—один из Тургенева, другой—из Толстого: смех одного офицера, выдававший его природную глупость, у Толстого и смех «великаго» Губарева в «Дыме», смех, обнаруживавший пошлость его натуры. Мысль Достоевского показывает, как глубоко чувствовал он ту корреляцию психических свойств, в силу которой все основные черты человеческой личности закономерно связаны между собой, так что по одной из них при достаточной проницательности можно угадать другую.

Достоевский величайший мастер в художественном изображении в литературе отвратительного, и в этом отношении он значительно расширил сферу об'ектов, изображаемых искусством. Но в изобразительном искусстве он еще стоит на Кантовско-Шиллеровской точке зрения. Кант сознавал, что не красота одна является содержанием искусства, «художественное произведение прекрасно описывает вещи, которые в природе были бы отвратительными или безобразными». Красота в искусстве—прекрасное представление о вещи». Но Кант и Шиллер ограничивают это положение оговоркою, с которою тоже можно согласиться, но крайне трудно в конкретных случаях определить границы ее применения: «Только то, что будит отвращение, что силою вторгается в наше наслаждение, то не подлежит изображению». Так, смерть не подлежит изображению в скульптуре, и древние никогда не делали ее предметом пластических искусств.

Damals trat kein grässliches Gerippe,
Vor das Bett der Sterbender, ein Kuss

Nahm das letzte Leben von der Lippe,
Seine Fackel senkt ein Genius [1].

В упомянутой рецензии на академическую выставку (1861—62) по поводу картины Клодта I-го: «Последняя весна» Достоевский пишет: «Художник поставил себе чрезвычайно трудную задачу — отвратительное представить прекрасно,—это никогда никому не удастся. Представьте себе, что актер или актриса стали бы умирать на сцене по всем правилам патологии, со всевозможной не сценической, а естественной правдой... да все зрители разбежались бы от такого представления». Может быть, Достоевский и прав по отношению к оценке данной картины, но остается все же несомненным, что отвратительное, как момент или часть художественного целого, может находить себе противовес в человечески значительном содержании целого и совершенстве художественной формы. Это одинаково касается и будничного пошлого, вульгарного, низкого и отвратительного. Если общее эстетическое впечатление от данного произведения обозначить через X, чувство отвращения через O, а противодействующие ему факторы через П, то мы получим уравнение X = П — O, где величина П зависит от значительности общего замысла художника и силы его таланта.

Приведенную выше цитату из Достоевского следует поставить в связь со следующими рассуждениями Шиллера из его статьи: «Мысли об употреблении пошлого и низкого в искусстве»: «Высокий ум, благородный дух с'умеет возвысить даже пошлое, и именно тем, что поставит его в связь с чем-нибудь духовным и откроет в нем важную сторону». «Когда Гомер изображает нам Уллиса в нищенском рубище, то зависит от нас, как подробно мы можем себе представить эту картину. Но она ни в каком случае не имеет достаточной живости, чтобы сделаться нам неприятною или противною. Если же живописец, а тем более актер вздумал бы верно изобразить Улиса по Гомеру, мы бы с отвращением от него отвернулись: в этом случае сила впечатления не находится в нашей власти». Очень верно замечание Гоголя, рассказывающего, как однажды в детстве он вздумал срисовать безобразное сухое дерево, и окружающие стали осуждать его: «хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором и листы были бы свежие, хорошо растущие, а не сухие»... «Чем предмет обыкновеннее,—говорит Гоголь,—тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное, и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина, мгновенная высокая мысль, вдруг об'емлющая священным холодом вдохновение читателя».

[1] „Тогда у ложа умирающего не появлялся никакой отвратительный костяк с последним поцелуем отлетала жизнь с губ умирающего, и гений опускал евой факел".

Изображения скелета, черепа, обезображенного трупа, отвергавшиеся законом античной пластики, были включены в сферу искусства христианством, и это было большим шагом вперед. Если рассуждать по-Шиллеровски, то пришлось бы забраковать и базельские фрески, и «Totentanz» Гольбейна, и «Auch ein Totentanz» Ретеля, и скульптуру Бьегаса (поляка, а не немца Бегаса), и изумительное распятие Груневальда, и автопортрет Беклина со смертью, играющей на скрипке. Рассуждение Шиллера и Достоевского применимо вполне к картине одного испанского художника, о котором сообщает Барте в своем «Essai sur le beau» (1802 г.), на которой грубонатуралистически был изображен совершенно разложившийся труп, с распавшимися внутренностями, весь покрытый червями. Барте рассказывает, что зрители, подойдя к картине, тотчас же шарахались от нее прочь, заткнувши нос от мерещившегося им зловония. В период сочинения «Идиота» Достоевский отступил от взглядов Шиллера, и признает замечательным произведением живописи картину, имевшуюся у Рогожина (о ней речь будет ниже) и изображавшую труп Христа без всякой идеализации, во всем безобразии смерти, но сообщавшую зрителю волнующие душу чувства и мысли.

Во взглядах на сценическое творчество, Достоевский близок к Пушкину. В замечательной своей статье о драме Пушкин в согласии с современными воззрениями пытается установить гармонический синтез между односторонностью идеалистического и реалистического трактования драмы. Если под идеалистической тенденцией разуметь тенденцию к обобщению, стилизации, типизации, а под реалистической—тенденцию к сгущению образов и положений конкретными деталями реальной жизни, то, как справедливо указывает Гроос, обе тенденции законны и имеют свой плюс и минус: идеализация сообщает произведению широту об'ема, конкретизация—полноту содержания. Трагедия требует в известной мере идеализации, изоляции от повседневной действительности (Гаманн) более других родов искусства, благодаря возвышенному патетическому содержанию и особенностям сценической условности. Это особенно касается правдоподобия внешней обстановки, которое в известной мере приносится в жертву правдоподобию психологическому—правдоподобию характеров, разговоров, чувств и страстей. Достоевский пишет: «Дело театральных групп состоит в произведении наибольшего эффекта без особенно больших хлопот о естественности; эффект сценически условен, он обусловливается потребностями театральных подмостков, и, чтобы не говорить о других условиях, вспомним только о том, что актеры не имеют права стать спиною к публике и стано-

вятся не иначе, как лицом, и уже не далее повертываются, чем в профиль». Но «зритель привыкает к условиям сценического эффекта». Быть может, и Пушкин, и Достоевский читали статью Дидро (1746 года): «Essai sur l'art dramatique». В ней Дидро указывает, что цель драматурга—и л л ю з и я. Сила сценической иллюзии зависит от соотношения д в у х факторов: п о л о ж и т е л ь н о г о — это совокупность всех правдоподобных обстоятельств—circonstances communes, и о т р и ц а т е л ь н о г о, того, что представляется невероятным, исключительным—«circonstances extraordinaires». Сила иллюзии, скажем, как в вышеприведенном нами уравнении = X, который равняется сумме величин положительной A и отрицательной (—B), т.-е., X=A—B. Это X есть постоянная величина для одного человека, для равных же индивидуумов различна, но драматург «осужден создавать иллюзию решительно для всех».

Отношение художника к создаваемым им образам чрезвычайно своеобразно: нельзя сказать, чтобы для него (или для читателя) эти образы были частью реальной действительности, ни того, чтобы они были заведомой выдумкой—он допускает их реальность и переживает с чрезвычайной яркостью соответствующие ф и к т и в н ы е чувства, к а к б у д т о то, что он созерцает, было реальностью:

И ты невольно сим явлением
Даруешь жизни красоты,
И этим милым заблуждениям
И в е р и ш ь, и н е в е р и ш ь т ы. (Майков).

Французы и англичане называют это и л л ю з и е й (Дидро), немцы (начиная с Канта и Шиллера)—в и д и м о с т ь ю, Schein, а Пушкин и Достоевский—о б м а н о м. Вот как описывает Достоевский эту эстетическую веру в реальность художественных фикций: «И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир. К а к б у д т о и впрямь все это не призрак. Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь—не возбуждение чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее»... Так Пушкин говорит в «Каменном Госте».

Я вольно предавался вдохновенью:
Слова лились, к а к б у д т о их рождала
Не память робкая, но сердце.

Вот примеры употребления термина «о б м а н» у Пушкина:

«Мечтатель» (1815 г.):

Гоните мрачную печаль,
Пленяйте ум о б м а н о м,
И милой жизни светлу даль
Кажите за туманом.

«Послание к князю Горчакову» (1816):

А мой удел—за пасмурным туманом
Зачем же мне грядущее скрывать?
Увы! нельзя мне вечным жить обманом
И счастья тень, забывшись, обнимать.

«Сон» (1816):

Тогда волной с лазурной высоты
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.

Эстетической иллюзии—обману, мечтанию Пушкин противопоставляет термин существенность в смысле реальность (Капитанская дочка (сон Гринева), Арап Петра Великого). Слово существенность вместо реальность употреблялось тогда и в русской философской литературе, например, в «Картине Человека» Галича, вышедшей года за два до «Капитанской дочки». В более поздних сочинениях Пушкин продолжает употреблять термин обман (нас возвышающий обман, упоительный обман).

Отмечая ниже, на той же странице, силу чувствований художника, направленных на фиктивные об'екты, Достоевский называет эту художественную иллюзию обманом. Я думаю, что это и у Пушкина, и у Достоевского эквивалент слова иллюзия, которая первоначально означает именно заблуждение, обман (например, у Жуковского в дневнике: «Не иллюзия, но уверение»). Психологическое, а тем более специально эстетическое значение слово иллюзия приобрело лишь во второй половине XIX века.

Великие художники не раз отмечали близость художественного обмана к тому, что Достоевский называет эстетическим враньем. Рассказывая о разных приключениях, которые в детстве приписывал себе в вымышленных историях, Гете замечает: «Я доставлял особенное удовольствие другим детям, когда сам являлся героем своих рассказов. Если бы я не получил по природной склонности потребности претворять такие видения и вымыслы в художественную форму, то моя ранняя слава не могла бы не сопровождаться дурными последствиями». Пушкин в своей статье о Дельвиге сообщает, что у Дельвига в бытность его в лицее проявлялась удивительная способность импровизировать какую-нибудь историю, подкупающую слушателя своим правдоподобием. Однажды он увлек весь лицей рассказами о приключениях своей семьи, между тем как все, сообщенное им, было артистической выдумкой. Гоголь в известном письме по поводу «Ревизора» описывает нам, как Хлестаков лжет «не холодно, не декламаторски-театрально, но с чувством, в глазах его вы-

ражается наслаждение, получаемое им от этого». Вот подобному-то «эстетическому вранью», наклонность к которому Достоевский считает специфической особенностью русского обывателя, он уделяет несколько бесподобных страниц в «Дневнике Писателя».

IV.

Область красоты и область искусства совсем не одно и то же, и вопрос о ценности красоты человеческой в жизни лежит за пределами эстетики, хотя и соприкасается с ней. Это прекрасно понимали и Пушкин, и Достоевский. В проблеме ценности красоты в жизни художникам нередко бросались в глаза четыре обстоятельства: 1) Красота человека иногда совпадает с высокими нравственными качествами, в этом смысле поэт говорит о «святыне красоты»: «моя Мадонна—чистейшей прелести чистейший образец», «гений чистой красоты». Если верить запискам Смирновой, то для Пушкина красота-«гармония» совпадает с добром в действии, как в жизни, так и в искусстве. Подобным же образом и Достоевский подчеркивает совпадение с красотою высоких нравственных качеств, исключительного благородства души, которые он дает в «Неточке Незвановой» (княжна) и в «Маленьком герое» (г-жа М.); 2) Красота человека иногда самым резким образом не совпадает с его нравственными свойствами. Эта мысль особенно сильно поразила Гоголя. Он взял (быть может, умышленно) тот самый образ Мадонны Перуджино, который пленил Пушкина, как идеальное выражение нравственной гармонии духа, и придал его проститутке. Когда художник Пискарев последовал за «Бианкой», он попал в публичный дом. Красавица улыбалась ему: «Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглостию, она была странна и так же мало шла к ее лицу, как идет выражение набожности к роже взяточника или бухгалтерская книга поэту». Достоевский в своем творчестве уделяет особенно много внимания сочетанию красоты с порочностью; он дает целую галлерею подобных типов: Ставрогин, Версилов, Верховенский, Вельчанинов, Грушенька, Трусоцкая, Вальковский, лондонская проститутка («Зимние заметки о летних впечатлениях»). Весьма любопытно, что Достоевский в своих описаниях порочной красоты оттеняет или ее грубоватый характер, импонирующий в значительной степени не эстетическому чувству, а половым влечениям окружающих (Грушенька), или дефекты, бросающиеся в глаза с эстетической точки зрения, какую-то дисгармонию, выражающуюся в том, что лицо, несмотря на свежесть и правильность, произво-

дит впечатление маски (Ставрогин), или имело недоброе выражение, что производило неприятное впечатление. Спенсер в статье «Личная красота» об'ясняет несоответствие красоты и нравственных (а также и умственных) качеств тем, что одни черты лица или характера от одних предков, а другие от других. Такие наблюдения Достоевского, повидимому, блестяще иллюстрируют описанную и биологически истолкованную Спенсером дисгармонию во внешних и внутренних качествах человека. К этому можно прибавить, что симметрия форм и правильность еще не есть красота, между тем пышность форм, стройность движений и богатство волос и образуют то, что вульгарно понимается, как красота; 3) Влечение к красоте нравственно возвышает человека. Подобно Пушкину в подражании Данте и А. Толстому в «Портрете», Достоевский изумительно описывает в 11-летнем мальчике зарождение чувства красоты, удивление перед своими переживаниями, восхищение перед женской красотой и героические поступки, на которые может подвигнуть она молодую душу. Здесь удивительно описание смутного предчувствия и полового влечения, и эстетического чувства: «Какое-то непонятное мне самому ощущение овладело мною; что-то шелестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведанное ему, но от чего оно подчас горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое. Другой раз как будто удивление охватывало меня, и я уходил куда-нибудь, где-бы не могли меня видеть, как будто для того, чтобы перевести дух и припомнить что-то такое, что до сих пор, казалось мне, я очень хорошо помнил, и про что теперь вдруг позабыл, но без чего однако же мне никуда нельзя показаться и никак нельзя быть». (Соч. т. II, стр. 316, издание 1904 г.). По поводу этих мыслей вспоминается: а) указание Гегеля на то, что удивление начало философии, религии и искусства, что в красоте загадка и манит, и отталкивает («Vorlesungen ueber Aesthetik», «B I, Einleitung»); б) Мысль Платона об ἐ'ανάμνησις, как источнике прекрасного: оно познается не из опыта, это—идея, подобная идее справедливости («Гиппий старший»). Я не хочу этим сказать, что припоминание, о котором говорит маленький герой, есть «анамнезис» Платона, но что в зарождении чувства эстетической формы не все определяется внешними впечатлениями, но и унаследованной нами структурой сознания, аффективными наклонностями и инстинктами; —чувство знакомости проистекает здесь от отчетливого осознания смутно почуянной ранее красоты. Внутреннее откровение сообщает ребенку необычайное мужество и страстное стремление, хотя бы с величайшей опасностью для

себя, принести жертву любимому существу, хотя в данном случае не может быть речи о силе полового влечения в собственном смысле слова, но лишь об импульсах морального и эстетического порядка. 4) Влечение к красоте нравственно унижает человека: «Красота—это страшная и ужасная вещь. Страшная потому, что неопределенная и определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут противоречия все живут... Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек начинает с идеала Мадонны и кончает идеалом Содома. Еще страшнее, как с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и во-истину, во-истину горит, как и в юные беспорочные годы... Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме-ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей—знал-ли ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы—сердца людей» (Сочинения, т. 13-й, «Братья Карамазовы», ч. I, стр. 117). Так говорит у Достоевского Митя Карамазов, которого так трагически сгубила женская красота, но многие повторяют эти слова Карамазова, как окончательную формулу самого Достоевского. Быть может, слова эти (упоминание о двух идеалах) навеяны одною сценою из романа Теофила Готье: «Mademoiselle de Maupin» (1835 г.). Герой Теофила Готье сообщает читателю, что он утратил способность различать добро и зло, что он смотрит на все с точки зрения эстетической формы. В соборе он созерцает изображение Мадонны, исследует ее внешность, как истый знаток женской красоты, по всем статьям, даже в воображении прикасается к ее телу и целует ее в «мистическую розу», но затем, сопоставив ее мысленно с виденной им ранее Афродитой Анадиоменой, он отдает решительное предпочтение на этом своеобразном «конкурсе красавиц» последней: «красота физическая» в его глазах стоит выше «красоты духовной». Однако, я думаю, что для читателя совершенно очевидны серьезность в постановке вопроса и выражение мучительного разлада, вызываемого антиномией добра и красоты — у Мити, и бездушно холодное, бесстыжее резонерство героя Готье. Уже Пушкина поражала мысль о том, как красота может сделать человека скотиной [1]), и «Египетские ночи» не даром особенно поразили воображение Достоевского, как это видно из «Белых Ночей».

---

[1]) В одном из набросков повести по поводу картины, изображающей Похищение Европы Юпитером в образе быка.

V.

Во взглядах художников XIX века на отношение искусства к науке можно отметить два односторонних уклона. Один—пережиток интеллектуализма XVIII века—заключается в том, что искусство как будто сводится к науке. Современный художник—это своего рода психолог, натуралист и социолог, описывающий в своих произведениях моральные явления, классифицирующий и об'ясняющий их подобно Кювье или Жуфруа Сент-Илеру. Так говорит о себе Бальзак в предисловии к своей грандиозной (97 томов) «Comédie Humaine». Презрительно называя ученых—«purés abstractifs», он самого себя величает «docteur des sciences sociales». Те же идеи повторяет Золя в «Le roman experimental». У немецких романтиков-мистиков выступает другая идея, что наука как будто сводится к искусству. Эта, намечаемая еще Шиллером, мысль у мистика Шеллинга находит себе полное выражение. Шиллер говорит об ученом:

> Wenn seine Wissenschaft der Schönheit zugereifet,
> Zum Kunstwerk wird geadett sein [1]).

А Шеллинг прямо утверждает, что в будущем рассуждения науки сменятся интуитивным артистическим познанием художника (об этом подробности см. в моей книге: «Философия изобретения и изобретение в философии», т. II-й, 1922 г., глава: «Три пути в философии изобретения»). Поэтому для мистиков ценность научных теорий, «порожденных механической деятельностью рассудка, а не творческим гением, который свойственен только сфере искусства», ниже ценности искусства, которое одно дает нечто вечное, непреходящее, абсолютно ценное. Весьма любопытно, что эту идею мистиков разделяют и скептики, наприм., отец новейшего скептицизма Юм. Это психологически вполне понятно, так как и у мистиков, и у скептиков общий враг—человеческий разум—Hure Vernunft, как выражался Лютер, или Vernunft Pest, как говорил Песталоцци.

Достоевский в повести «Хозяйка» описывает процесс научного творчества, который сближается с художественным. Молодой ученый, историк церкви, Ордынцев обдумывает свое будущее научное исследование. Это—«первый восторг, первый жар, первая горячка художника.... Он сам создавал себе систему, она выживалась в нем годами, и в душе его мало по малу вставал уже еще темный, неясный, но как-то дивно отрадный образ идеи, воплощен-

---

[1]) Когда его наука дозреет до красоты, она достигнет благородства художественного произведения».

ной в новую определенную форму, и эта форма просилась из души его, терзая эту душу; он еще робко чувствовал истину, оригинальность и самобытность ее, творчество уже сказывалось силам его, оно формировалось и крепло. Но срок воплощения и создания был еще далек, может быть, совсем невозможен (Собр. сочинений, II, 1904 г., «Хозяйка», 309). Далее Достоевский прибавляет: «Может быть, ему суждено было быть художником в науке» (371). Здесь Достоевский дает гениальное описание процесса научного творчества, в котором есть черты некоторого сходства с художественным, но есть и черта глубокого различия, совершенно неизвестного ему. Это не мешает описанию быть удивительно верным. «Образ идеи», как я показал в исследовании «Философия изобретения», весьма напоминает то, что Бергсон в философском строительстве систем называет «image médiatrice» (см. его статью «Философская интуиция». Новые идеи в философии. Сборник № 1). Нужно еще прибавить, что Достоевский имеет здесь в виду неоправдавшуюся творческую интуицию в науке: Ордынцеву не удалось завершить его творческих порывов—они оказались в конечном итоге бесплодными.

Преклонение перед ценностями искусства, об'единяющее взгляды скептиков и мистиков в их вражде к рассудочным наукам, можно оценить из следующих сопоставлений:

Скептицизм.	Мистицизм.
Юм: «В то время, как Платон, Аристотель, Эпикур, Декарт властвуют, сменяя один другого, Теренций и Виргилий очаровывают все века, и никто не оспаривает за ними этой чести; философия Цицерона не пользуется популярностью, но мы еще восхищаемся его красноречием».	Каролина Шлегель: «Критика погибает, люди сходят со сцены, системы сменяются, но, если мир когда-нибудь вспыхнет, как фигурки, вырезанные из бумаги, то художественные произведения будут последними живыми искрами, которые войдут в дом Божий».

Пушкин, который любил скептика Монтеня, может быть, читал Юма и, быть может, имел сведения о мистической эстетике представителей германского идеологизма, как он выражается, мог почерпнуть эту идею из того или другого источника или самостоятельно додуматься до нее. Он писал в своих заметках следующее: «Произведения великих поэтов остаются свежи и вечно юны, между тем, как представители старинной астрономии, физики, медицины и философии один за другим стареют, один другому уступают место; одна поэзия

остается на своем неподвижно и никогда не теряет своей молодости». (Сочинения, изд. Суворина, VIII, 329). Мысль эта снова встречается в переписке Герцена с Тургеневым; отголосок ее мы имеем в «Довольно»—в том самом произведении, которое пародировано в виде повести Mersi» в романе «Бесы». После всех этих исторических справок можно указать, что и у Достоевского встречается романтическая идея о превосходстве искусства над наукой, но он нигде не высказывает этой мысли от собственного имени.

В романе «Бесы» Степан Трофимович Верховенский говорит на публичном празднестве: «А я утверждаю, что Шекспир и Рафаэль выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человеческого, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества и, может быть, высший плод, какой только может быть! Форма красоты уже достигнутая, без которой я, может быть, и жить-то не соглашусь». («Бесы», изд. 1904, 428 стр.).

VI.

Весьма интересны взгляды Достоевского на взаимное отношение искусства и нравственности. Толстой подчиняет искусство нравственности, он разрушает триаду истины, добра и красоты, подчиняя второму члену триады два остальных, отчасти даже противопоставляя их. Ницше порой склоняется к обратному и готов подчинить и науку, и особенно мораль искусству: «ибо, только как эстетический феномен, существование (Dasein) и мир вечно оправданы». Достоевский, заявляя, что красота спасает мир, не думает однако об субординации нравственности искусству или обратно: искусства — нравственности, но об их координации, подобно Канту и Шиллеру и в новейшее время Когену. Слово «красота» в приведенной тираде следует понимать в смысле высшей гармонии, а не в смысле специально искусства, художества.

Я не нахожу у Достоевского мыслей о происхождении искусства, но он влагает в уста своего любимого героя, Алеши Карамазова, Кайто-Шиллеровскую мысль о сродстве между искусством и игрой. Когда Коля Красоткин при первом знакомстве с Алешей спешит уверить его, что слух, будто он, Коля, играл с другими мальчиками для собственного удовольствия, а не для их развлечения, в разбойники, есть чистейшая клевета, Алеша замечает: «А вы рассуждайте так: в театр, например, ездят же взрослые, а в театре тоже представляют приключения всяких героев, ино-

гда тоже с разбойниками и с войной, так разве это не то же самое, в своем, разумеется, роде? А игра в войну у молодых людей в рекреационное время или там в разбойники—это ведь тоже зарождающееся искусство, зарождающаяся потребность искусства в юной душе, и эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления в театре; только в том разница, что в театры ездят смотреть актеров, а тут молодежь—сама актеры» (См. «Братья Карамазовы», том II, стр. 219, Собрание сочинений, т. XIV, изд. 1904 г.). Выше мы видели, что Достоевский отмечает два момента в зарождении эстетической потребности: 1) влечение к гармонии и красоте; 2) удовольствие, получаемое от подражания. Ниже мы увидим, что он выдвинет и третий важный момент—разлад с окружающей действительностью, стремление привести в равновесие свой духовный строй.

В вопросе об отношении искусства к нравственности Достоевский в общем стоит на Канто-Шиллеровской точке зрения, провозглашая автономность художественного творчества. Главным признаком художественности произведения является «согласие, по возможности полное, идеи с той формою, в которой она воплощена (Соч. т. X, стр. 56). Скажем еще яснее: художественность, напр., хотя бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа своего мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение». Здесь под мыслью, очевидно, нужно понимать не отвлеченную мысль, не смысл логический, не метафизическую идею вообще, а эмоциальное мышление, то-есть все эстетическое переживание художника, со всем его богатством эмоциального содержания. Таким образом, художественность определяется двумя моментами, из которых первый определяет второй: чем совершеннее художественная форма, тем адэкватнее перевоплощаемость артистических чувств читателя в душу поэта и изображаемых им героев. Такая формула художественности близко подходит к определению искусства Толстым и Гюйо. Толстой пишет: «Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство—в этом состоит деятельность искусства» («Что такое искусство»). В определении Толстого, однако, отсутствует самое важное: эстетическая форма, о которой говорит Достоевский. Чтобы пояснить свою мысль, Достоевский иллюстрирует антиномию чистого эсте-

тизма («искусство для искусства») и чистого утилитаризма в таком художественном образе. Предположим, что в Лиссабоне на другой день после страшного землетрясения (1750 г.) в местном «Лиссабонском Меркурии» вдруг вместо статей, взывающих о помощи пострадавшему населению, появилось бы стихотворение вроде «Шепот, робкое дыханье, трели соловья». По всей вероятности, лиссабонцы казнили бы за безтактность автора, а лет через пятьдесят ему же был бы воздвигнут памятник в том же Лиссабоне. Нельзя требовать от мира искусства, чтобы он прямо непосредственно, по чьему-нибудь указу, служил пользе общественной и нравственному совершенствованию людей. Истинное искусство всегда совершенно и всегда косвенно содействует моральному прогрессу [1]), но в широком масштабе, в своем совокупном действии на духовное развитие человека.

Художественные ценности непреходящи во все времена, злободневные же представления о пользе не могут иметь значения исключительных руководящих мотивов для творчества. В этом смысле великие поэмы Гомера, в которых так ярко выразились общественные идеалы античности, могут оказаться более современными, чем произведения из современной жизни, в отношении воспитательного воздействия на человека. Если в общих чертах этические идеалы человечества заключают в себе нечто твердо установленное, навеки приобретенное, то многое остается здесь отнюдь не фиксированным и развивающимся. Достоевский в связи с этими мыслями высказывает положение, которое сходно с одною мыслью Жорж Занд, цитируемой А. Григорьевым. Я приведу слова их в непосредственном сопоставлении:

---

[1]) Признавая за искусством огромную косвенную роль в нравственном развитии общества и человечества, Достоевский категорически отвергает всякое умышленное стремление художника быть полезным моральным воздействием на окружающих. «Цель искусства не нравоучение, но идеал—писал Пушкин. «Лукиан, Тассо, Спенсер,—пишет Перси Бёши Шелли,—нередко преследовали моральную цель, и действие их поэзии уменьшалось в прямом соотношении с большей или меньшей очевидностью таких намерений» («The defense of poetry»). Достоевский повторяет ту же мысль: «всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художественной потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь «направительное»... такое произведение окажется гораздо полезнее для его же (критика-утилитариста в искусстве) целей, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей), хотя с виду и походило бы на то, что называют «удовлетворением праздного любопытства». Достоевский опасался увидеть в «Бурлаках» Репина тенденциозную картину, но, к его величайшей радости, картина пленила его своими чисто художественными достоинствами—он усмотрел в ней Гоголевские фигуры («Дневник Писателя», за 1873 г. «По поводу выставки, т. X, стр. 233—35, изд. 1904 года).

Жорж Занд.

Я не знаю, настанет ли день, когда человек решит, не обманчиво, а окончательно, что полезно для человека.

Достоевский:

Можно угадывать, изобретать, предполагать и расчитывать, но невозможно расчитать каждый будущий шаг всего человечества, вроде календаря, поэтому, как определить совершенно верно, что вредно, и что—полезно?

Наши эстетические чувствования, по Достоевскому, морально преобразуют нашу личность не в розницу, а оптом. Мир искусства, как огромная динамо-машина, сообщает нам все более и более с течением времени аккумулирующийся запас впечатлений, который постепенно преобразует наш духовный мир. При этом какое-нибудь отдельное, глубоко запавшее в душу впечатление—ощущение высшей красоты, может сыграть решающую роль в положительном смысле, как мотив, действующий в нашей смутно сознательной области: «может быть, при таких ощущениях высшей красоты, при этом сотрясении нерв в человеке, происходит какая-нибудь внутренняя перемена, какое-нибудь передвижение частиц, какой-нибудь гальванический ток, делающий в одно мгновенье прежнее уже не прежним, кусок обыкновенного железа магнитом». «И кто знает? может быть, двадцать лет спустя после глубокого эстетического впечатления юности, может быть, в массе причин, заставивших его поступить так, а не эдак, заключалось, бессознательно для него, и впечатление Аполлона Бельведерского, навеянное им двадцать лет назад. Вы смеетесь? Действительно, это похоже на бред. Но во-первых, в подобных фактах, вы сами еще ничего ровно не знаете. Может быть, впоследствии узнаете («мы верим в науку»). Во-вторых, можно привести в подтверждение исторические факты—возбуждающее энтузиазм воздействие Корнейля и Расина в эпоху великой французской революции».

Немного ниже мы увидим, насколько прав был Достоевский и в теоретической, и в исторической части своего утверждения, а теперь следует отметить глубокую связь искусства с жизнью, с ее исканиями и борениями: «Потребность красоты развивается наиболее тогда, когда человек в разладе с действительностью, в негармонии, борьбе, то-есть когда наиболее живет, потому что человек живет именно в то время, когда чего-нибудь ищет и добивается». «Красота—гармония, в ней успокоение». Шеллинг в заключительной главе своей «System d. Transcendentalen Idealismus» пишет: «So muss auch der Kunstlerische Trieb aus einem sol-

cher Gefühl des innnern Widerspruchs hervorgehen» [1]).

Это чувство приводит в движение всего человека и охватывает корень его существа. Это чувство противоречия разрешается im Gefühl einer unendlichen Harmonie, Rührung, она воплощает человеку и человечеству его идеалы». В таких поисках за идеалом художник может обращаться и к прошлому, «переживая байронический энтузиазм перед идеалами красоты, созданными прошедшим и оставленными нам в вековечное наследство. Мы изливаем часто всю тоску о настоящем; это тоска по идеалу, которого мы в муках добиваемся». Достоевский иллюстрирует эту последнюю мысль свою стихотворением Майкова, где дан образ статуи «Дианы»: «Богини девственной округлые черты». «Последние две строчки этого стихотворения (...«мрамор недвижимый белел передо мной красой непостижимой») полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значения, что мы не знаем ничего более сильного, более жизненного во всей русской поэзии» (Ibidem, 76).

Обратимся теперь к рассмотрению того, прав ли Достоевский исторически в своей теории воспитательного воздействия искусства. Здесь, как и в других случаях, он оказался художником-пророком. Напомню читателю замечательный рассказ Глеба Успенского: «Выпрямила»,—рассказ, производящий впечатление лично пережитого или подмеченного в окружающей действительности—отнюдь не выдуманного происшествия. Учитель в минуты тяжелых дум по поводу общественных неладов нашей жизни, навеянных картиной: «Проводы новобранца в деревне», впадает в тяжелое забытье. «Я сам чувствовал каждый миг, что несчастие сверлит мой мозг. И вдруг я почувствовал, что-то другое.... на сердце у меня шевельнулась какая-то горячая капля, еще секунда, что-то горячее вспыхнуло сильным и радостным пламенем. Я вздрогнул всем телом, как вздрагивают дети, когда они растут, и открыл глаза. Сознания несчастия—как не бывало. Я чувствовал себя свежо и возбужденно. Что же это такое, и откуда это счастье?» Его источником были три образа, сменявшие один другой в фантазии учителя: I) Образ бабы на сенокосе с граблями в руках. Она была «так легка, изящна, так «жила», а не работала, жила в полной гармонии с природой, с солнцем, с ветром, с этим сеном, со всем ландшафтом, с которым были слиты и ее тело, и ее душа, что я долго-долго смотрел на нее и чувствовал только одно: как хорошо». II) Второй образ—это «печаль девушки с монашеским лицом о не своем горе», то-есть, образ революционерки, и, по словам С. А. Венгерова—Веры Фигнер.

[1]) Художественное влечение должно исходить из подобного чувства внутреннего противоречия.

III) Третий образ, образ Венеры Милосской, виденный когда-то учителем в Лувре. Подставьте в приведенные выше рассуждения Достоевского о силе искусства, косвенно, но мощно воздействующей на наше поведение, вместо Аполлона Венеру, и предсказание Достоевского окажется сбывшимся буквально.

VII.

Что касается самой теории Достоевского, то я считаю ее глубоко верной и совершенно новой для его времени. Позволю себе развить его мысль, отнюдь не навязывая, разумеется, ему моего комментария. Художник, конечно, не копирует, но воспроизводит в известной переработке и типы, наблюдаемые в действительности; он дает, таким образом, отображение действительности. Но вместе с тем он нередко вносит в изображенное существенно новые черты; в его творчестве имеется преображение действительности. В обоих случаях у художника имеется идеализация; и даже у самого «об'ективного» художника, который, по выражению Пушкина, беспристрастен, как судьба, имеется известное, хотя бы глубоко запрятанное, чувство оценки in bonam partem или in malam partem. Оценка эта сказывается хотя бы в выборе сюжета, группировке действующих лиц, в выборе известного рельефа или фокуса при постройке всего произведения. Но больше того, художник может предвосхищать явления жизни людей и события. Отображение, преображение и предвосхищение,—вот три момента художественного творчества в его отношении к изображаемому. В процессе эстетического восприятия третьему моменту ничего не соответствует, ибо прозорливость художника предвосхищает появление модели; но для первых двух моментов в эстетическом восприятии имеются соответствующие корреляты. Отображение соответствует узнаванию себя или других в художественном образе. Когда художественный образ близок к индивидуальной модели, воспринимающий узнает себя в нем. Так критик Беклин узнал себя в его «масках», Ганелик—себя в Бекмессере, русские музыкальные обскуранты—себя в «Райке» Мусоргского, и т. п. Но чаще читатель, слушатель или зритель познает себя или другого в типе. Да и в приведенном случае личности имеют значение отнюдь не индивидуальное, но типически индивидуальное. Такое узнавание может быть или неприятным, или приятным, в зависимости от сочувственного или несочувственного отношения художника к изображаемому типу. И это опознание себя или другого, связанное с известным чувством оценки, не проходит бесследно для поведения данного

лица в жизни. Стыд, раскаяние, злоба, радость, унижение—самые разнообразные эмоции могут при этом оказаться двигателями нашего поведения. При этом узнавание возможно: 1) прямое в отношении к характеру изображенного типа; 2) прямое в отношении к состоянию или житейскому положению изображенного типа; 3) символическое, когда читатель усматривает иногда смутную аналогию между собой и изображаемым типом; 4) символическое, когда усматривается такая-же аналогия в ситуации. К сказанному чрезвычайно важно добавить, что речь идет не о простом интеллектуальном опознавании себя в типе, а об опознавании в образе художника через перевоплощение, то-есть о процессе эмоциональном. Узнавание может быть привлекательным и отталкивающим, касаться себя или других, характера или ситуации.

Процессу преображения в эстетическом восприятии соответствует подражание или торможение через контрастное представление. Новизна типа, в который привнесены некие черты художником, возбуждает интерес и заставляет читателя подражать герою, или, если последний производит на него отталкивающее впечатление, всячески на будущее время противодействовать совершению поступков, подобных совершаемым им,—затормаживать их. Процесс преображения имеет разновидности, подобные вышеприведенным. Причем надо иметь в виду, что оба момента творчества—отображение и преображение—текучи, переливаются один в другой; и то же можно сказать о моментах восприятия: узнавания и следующего за ним подражания.

Примером узнавания других могут быть всевозможные хвалебные или презрительные литературные клички: «Гамлет Щигровского уезда», «Степной король Лир» (у Тургенева), Ставрогин («Бесы»)—Шекспировский Принц Гарри, Ипполит-Ноздрев в трагедии («Идиот»), князь Мышкин-Пушкинский Рыцарь бедный и т. п. Очаровательно письмо Девушкина к его подруге, в котором он выражает свое отчаяние по поводу того, что черновик его письма попался в руки знакомых, и того, что они над ними обоими издевались и прозвали его Ловеласом. Позднее же он пишет про литератора, который хотел их обоих «описать»: «А что тогда Ловеласом-то он меня назвал, так это вовсе не брань или название какое неприличное—он мне об'яснил это слово: слово с иностранного взято и значит—проворный малый». Вот пример узнавания себя из «Униженных и Оскорбленных»: Наташа, больная, сидя за самоваром, говорит Ване, вспоминая стихи Некрасова: «Самовар мой кипит на дубовом столе.... я больная брожу».—«Какие это мучительные

стихи, Ваня, и какая фантастическая, раздающаяся картина! Канва одна, и только имеется узор—вышивай, что знаешь».

Вот пример узнавания другого в портрете, являющемся дорогим воспоминанием. Когда Наташа покинула дом родителей, мать часто разговаривала с картиной, на которой заезжий живописец изобразил Наташу Купидоном: «Говорю с ней вслух, когда одна остаешься, спрошу что-нибудь и представлю, будто она мне ответила, и еще спрошу» («Ун. и Оск.»). В данном случае мы имеем пример того, что Гаманн в своей «Эстетике» называет монументальным искусством, которое служит напоминанием об отсутствующих или умерших лицах.

В «Бедных Людях» Достоевский с удивительным мастерством показывает, как его герой, Девушкин, читая, что ему попадется под руку, сначала увлекается нелепыми «Итальянскими страстями» и «Ермаком и Зюлейкой» бойкого писаки Ратазяева (Достоевский ловко имитирует его стиль) и затем, познакомившись с Пушкиным, испытывает при чтении «Станционного смотрителя» совершенно особые переживания: «Ведь вот, скажу я вам, маточка,— пишет он Варваре Алексеевне,—случается же так, что живешь и не знаешь, что там у тебя под боком книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде не в догад было, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь и разгадаешь». Его поражает простота изложения: «Да и дело-то простое, Бог мой, до чего. Право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написать? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как примерно сказать этот Самсон-то Вырин, бедняга». Его трогает до слез жизненность, натуральность описаний. И в знакомом чиновнике Горшкове он опознает подобие Вырина: «дело то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться».

Примерами символического опознавания могут служить несколько эпизодов в повестях Тургенева. Героиню «Затишья», Марию Ивановну, которая не любит стихов, необыкновенно поражает Пушкинский «Анчар». В образе Пушкина («Но человека человек послал к Анчару властным взглядом... и умер бедный раб у ног непобедимого владыки») она почувствовала какое-то смутное сходство с роковою властью над собой несчастной страсти и трагическим исходом своей судьбы. Нечто подобное представляет собою и «Фауст» Тургенева, где молодая женщина, избегавшая чтения романов и не ведавшая страстей, испытывает сильнейшее впечатление от Гетевского Фауста, где усматривает сходство именно между

своей судьбой и судьбой Маргариты, отдавшейся во власть злого духа. В «Накануне» Елена, присутствуя на представлении «Травиаты» в Венеции, усматривает аналогию между печальной судьбой чахоточной «Травиаты» и своего, тоже умирающего от чахотки, мужа.

Процессы подражания и торможения тесно примыкают к узнаванию, поскольку отображение жизни художником всегда в известной мере связано и с процессом преображения. Подобное подражание нередко бывает чисто внешним, как это мы видим в модном подражании костюмам, материям, языку и внешним формам быта; точно так же, когда «Пир Тримальхиона» инсценировали при Ганноверском дворе, или когда Шлиман пытался создать себе в Афинах обстановку древнегреческого дома, то подобное подражание представляет лишь исключительную эстетическую причуду, хотя и весьма интересную для психолога. Для нас сейчас особенно интересны случаи, когда воздействие эстетического образа влияет на самые мотивы поведения данного человека вне искусства в самой жизни. Человек, под влиянием знакомства с художественным типом, в который он невольно эстетически перевоплощается при чтении, начинает воображать себя подобием изображаемого героя и подражать ему в жизни. Этот процесс подробно проанализировал во французской литературе Жюль Готье в его книге: «Le bovarysme». Этот странный термин ведет свое происхождение от имени героини Флоберовского романа, которая трагически погибла, изломав свою жизнь подражанием героиням романов, которых начиталась в детстве и юности. В нашей литературе это явление гениально подмечено и описано впервые Пушкиным, а затем Достоевским. Первый обозначает этот процесс глаголом воображаться, второй—глаголом самосочиняться [1]), т.-е. выдумывать для себя воображаемую личность, не соответствующую подлинному «Я», и под нее подгонять свои поступки:

Воображаясь героиней
Своих излюбленных творцов,
Клариссой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книжкой бродит.
Она в ней ищет и находит
Свой юный жар, свои мечты—
Плоды сердечной полноты.

Сиповский («Русская Старина», 1899, юбилейный №, посвященный памяти Пушкина) указывает, что письмо Татьяны к Онегину в 17 местах напоминает письмо героя «Новой Элои-

1) Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется», заметка по поводу Катерины Ивановны в Братьях Карамазовых. («Из записной книжки» в Биографии, писанной Страховым, стр. 359-я).

зы» Руссо. Пушкин здесь гениально передает эту наклонность юной души выражать свои чувства языком любимого героя.

В «Метели» Пушкин описывает, как Бургин об'ясняется в любви Марии Гавриловне языком Руссо, и как она опознает литературный источник его красноречия. Здесь описаны оба процесса узнавания и подражания. Точно так же Пушкин замечает, что при дворе в «Пиковой Даме» опознают кн. Голицыну, а гвардейские офицеры понтируют на тройку, семерку и даму. Добрый Дук в Анджело подражает Гарун-Аль-Рашиду, о котором он читал. Особенно замечательный пример подражания в «Египетских ночах». Великосветской даме и молодому человеку приходит в голову воспроизвести в Петербурге страшный эксперимент «Египетских ночей».

Толстой в «Детстве и отрочестве» отмечает ту легкость, которая замечается у юношей и подростков в этой наклонности «самосочиняться» под влиянием художественной литературы.

В «Хозяйке» Достоевский дает поразительное описание воздействия на душу влюбленного народной песни, которую поет страстно любимая им женщина. Пробудившись от сна, Ордынцев почувствовал состояние полнейшей напряженности души; «могучим порывом закипела по пробуждении его страсть». «Почти в ту же минуту и как бы в ответ на тоску его, в ответ его задрожавшему сердцу зазвучал знакомый, как та внутренняя музыка, знакомая душе человека в час радости и жизни своей, в час безмятежного счастья—густой серебристый голос Катерины. Близко, возле, почти над изголовьем его, началась песня сначала тихо и заунывно. Голос то возвышался, то спадал, судорожно замирая, словно тая про себя и лелея свою же мятежную муку ненасытимого, сдавленного желания, безвыходно затаенного в пустующем сердце, то снова разливался соловьиной трелью и, весь дрожа пламенем уже неудержимой страсти, разливался в целое море восторгов, в море могучих, беспредельных, как первый час блаженства любви, звуков. Ордынцев слышал и слова; они были просты, задушевны, сложенные дивно прямым, спокойным и ясным самому себе чувством. Но он забывал их, он слышал лишь одни звуки. Сквозь простой, наивный склад песни ему сверкали другие слова, гремевшие всем стремлением, которое наполняло его же грудь, давшие отклик сокровеннейшим, ему же неведомым изгибам страсти, прозвучавшим ему же ясно, целым сознанием о ней» («Хозяйка», стр. 352—353, Собр. соч. т. I, 1904 г.). Здесь Достоевский мастерски оттеняет несоответствие эмоциального содержания и текста простой спокойной, заунывной народной песни с личными эмоциальными переживаниями Ордынцева, для которого песня с ее содержанием была лишь толчком к пробуждению страсти.

Близость любимой женщины, тембр ее голоса и полная личной страсти манера исполнения были внеэстетическими факторами в переживании Ордынцева.

Внеэстетическое воздействие музыкального произведения, пробуждение под его влиянием чувственной страсти, мы находим позднее у Толстого в «Крейцеровой Сонате», а в «Войне и Мире» Толстой оттеняет тот факт, что в музыкальном эстетическом наслаждении можно искать самозабвения от угрызений совести. Для Ростова в песне Катюши открывается прекрасное: «независимо от всего в мире и выше всего в мире. Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым» («Война и Мир», т. II, стр. 77). Вельчанинов в «Вечном муже» Достоевского пользуется песнями для обольщения Нади: «Он допел романс Глинки: «Когда в час веселый откроешь ты губки и мне заворкуешь нежнее голубки», сверкающим взглядом обращаясь к Наде».

Наоборот, умиротворяющее, приводящее в гармонию душевный строй воздействие музыки прекрасно описано Пушкиным, Тургеневым и Толстым. Гость Лауры в «Каменном Госте» говорит ей:

Благодарим, волшебница, ты сердце
Чаруешь нам; из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает
Но и любовь—мелодия. Взгляни:
Сам Карл остронут, твой угрюмый гость.

В «Певцах» Тургенев, описывая вдохновенное пение Якова и очарование, испытываемое слушателями, отмечает про Дикого-Барина, грубого, порочного человека с почти свирепым лицом: «Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице». Наконец, Толстой в «Альберте» дает изумительно тонкое и детальное сопоставление переживаний артиста, играющего на скрипке, и восхищенных им слушателей: «Слушатели незаметно были перенесены вдруг в совершенно другой, забытый ими мир». В последних приведенных нами примерах музыка, если и вызывает в слушателях личные чувства внеэстетического порядка, то все же созерцательного характера: сладкие и сладко-грустные мечты и воспоминания; в первых же примерах она воздействует на хотение реальное, на чувственные страсти, направленные на будущее.

В «Детстве и Отрочестве» Николенька говорит по поводу чтения им романов Эжена Сю, Поль-де-Кока и Дюма: «Все самые неестественные лица и события были для меня так же живы, как действительность». «Я находил в себе все описываемые страсти и сходство со всеми характерами и героями, и злодеями».

Фатеева («Люди сороковых годов» Писемского) рассказывает о себе: «Я училась в пансионе... нас водили в первый раз смотреть музей редкостей, где между прочим были статуи... только когда приехали мы домой и легли спать, одна из воспитанниц, шалунья она ужасная была, и говорит: «представимте, mesdames, сами из себя статуй». И взяли, сняли с себя рубашечки, встали на окна и начали разные позы принимать...» Начальница строго наказала их за эту затею (См Писемский. Полн. Собр. Соч., изд. 3-е, 1911 г., т. V-й, стр. 244-я).

У Л. Толстого в «Набеге» есть изумительная характеристика одного кавказского офицера: «Это был один из наших молодых офицеров-удальцов, «джигитов», образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму «Героев нашего времени», Мулла Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примерами собственных образцов» (Соч. Л. Н. Толстого, изд. 1893 г., т. II, стр. 71—72). Любя высшее общество, будучи скромным, деликатным и подлинно добрым человеком и не имея никаких заклятых врагов, он был груб с представителями высшего общества, жаждал мести своим воображаемым врагам, убивал без надобности и à contre-coeur немирных татар, и в силу этого был совершенно непонятен, как характер, для окружающей среды.

У Чехова есть хороший пример торможения под влиянием эстетического рассказа. Отец застал ребенка курящим и вместо всяких наставлений с'импровизировал перед ним печальную историю мальчика, который курил. Талантливый рассказ вызвал в ребенке твердое намерение никогда не курить.

Достоевский в «Подростке» описывает глубокое впечатление на всю жизнь, какое произвело на двух подростков, мальчика и девочку, чтение одной сцены (о ней речь будет ниже) в романе Диккенса: «Лавка древностей». В «Братьях Карамазовых» мы имеем яркий пример символического узнавания и в то же время, в известной мере, торможения. При встрече Мити с братом Алешей он говорит ему, восторженно декламируя стихи Шиллера о Церере «Робок, наг и дик скрывался», в которых его особенно трогают слова об униженном человеке, каким он считает и себя: «Не думай, что я только хам в офицерском чине, который пьет коньяк и развратничает».... А далее замечает, что, когда ему случается погружаться в разврат, то он всегда это стихотворение вспоминает. «Исправляло оно меня? Никогда!» Но и в разврате, в самых низких падениях, он сохранил способность чувствовать красоту идеала. «Пусть же я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой». Дойдя до стихов:

Насекомым—сладострастье,
Ангел—Богу предстоит,

он говорит: «Я, брат, это самое насекомое и есть, и это обо мне специально сказано» («Бр. Карамазовы», 115—116, ч. I, изд. 1904 г.). Шиллер не спас Митю Карамазова от падения и позора, но он помешал ему (в связи с другими положительными влияниями) стать вторым экземпляром его отца, Федора Павловича; в нем сохранилась на всю жизнь способность к нравственному возрождению. Отожествляя себя со сладострастным насекомым, Митя знает, что это верно лишь отчасти, и что в нем, в отличие от такого насекомого, еще не потерян образ Мадонны рядом с кумиром Содомским. Он бессилен затормаживать порочные порывы, он не может не совершать грязных поступков, но он оказался в силах помешать развратным влечениям окончательно загрязнить его душу.

Самая поразительная форма воздействия художника на общество, на которую указывает Достоевский, это—предвосхищение. Этот пророческий дар поэта давно обращал на себя внимание самих художников, но ни в одном известном мне курсе эстетики, кроме Гюйо, это замечательное явление артистической дивинации типов и событий не подвергается исследованию. Поэтому я считаю весьма полезным, говоря об этой важной эстетической мысли Достоевского, дать ее историю, которая нигде не написана. Родоначальником идеи поэта-пророка, предсказания которого в будущем превзойдут потуги ученых «savoir pour prévoir», является Шеллинг. Художники, начиная с Пушкина, не заходят так далеко, но признают за поэтом способность упреждать лица и события. Поэт для Пушкина пророк со сверхчеловеческой гиперэстезией, он волхв, «заветов грядущего вестник». В записках Смирновой Пушкин говорит: «Мольер в «Мещанине в дворянстве» предсказал эпидемию равенства XVIII века». Среди французов эту мысль высказывают Бальзак и Прудон. «Художник—это человек, одаренный довольно высокой степенью способности предчувствия идеала» («Искусство, его основания и общественное значение»). Бальзак, говоря об архитектуре, которой он посвящал в своих романах очень детальные описания, замечает: «В глазах человека прошедшее поразительно напоминает будущее. Рассказать ему то, что было, не значит ли это всегда почти то же самое, что предречь будущее?» («La recherche de l'Absolu»).

Аполлон Григорьев пишет: «Искусство, связанное с жизнью, видит однако далее, чем сама жизнь, видит и то, что уже есть в жизни, что носится в воздухе эпохи: постоянное или преходящее оно отразит, как фокус, и отразит так, что всякий почувствует правду отражения, что всякий готов дивиться, как ему самому не представилась прежде эта высшая правда жизни столь же ярко» (По поводу «Дворянского гнезда», соч.

т. I, стр. 113-я). Высказывая эти мысли, Григорьев опирается на Шеллинга и Гегеля: «Искусство чает, заранее чувствует приближающееся будущее, как птицы чувствуют вёдро или ненастье: трагическая черта в величавых лицах олимпийских изваяний, глубоко подмеченная Гегелем, или, что все равно, трагическое и грозное провещание Эсхиловского Прометея—одно из ручательств за непосредственную прозорливость искусства, за его истинно божественное происхождение. Великий философ (Шеллинг) признает его даже за единственный истинный орган его трансцендентальной философии». Во II томе своей «Эстетики», в главе «О роке», Гегель, упоминая о молчаливой печали олимпийских божеств, добавляет: «Причиной этой печали является рок, он обнаруживает, что над их головами тяготеет нечто высшее, по сравнению с ними, и что все эти индивидуальности должны уступить место общему единству, которое поглотит всех их». Вагнер пишет: «Художник видит вещи в более точной интуиции, фиксирует ее и передает другим». В другом месте: «Оперный композитор может дать юноше точный образ его бессознательной деятельности». И еще в одном месте: «Мелодия музыкальной драмы должна превосходить первобытную мелодию настолько же, насколько интуиция, видящая будущее человечества, превосходит смутную интуицию первобытного человека (W., IV, 142). В своей статье: «Упадок искусства лжи» Оскар Уайльд выступает в парадоксальной, но очень остроумной форме с протестом против мысли, что искусство—зеркало жизни. Ложь он понимает почти так же, как Пушкин—слово обман.

Теперь она с таким волненьем
Читает сладостный роман;
С таким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман.

По Уайльду не искусство воспроизводит жизнь, а скорее жизнь—искусство. Романтизм всегда впереди жизни (Romanticism is always in front of life). Русские писатели: Тургенев и Достоевский, по его словам, выдумали нигилистов, и потом они появились. Может быть, до него дошло о Тургеневе следующее сообщение, напечатанное в «Temps» 23 марта 1877 года. В этой газете печатался роман «Новь», и вот в переписке Тургенева с редактором газеты сообщается, что роман предвосхитил реальные события, выяснившиеся на политическом процессе в С.-Петербургском Сенате: «Действительно, в этом процессе находим мы те же самые иллюзии и заблуждения—до неожиданности браков и браков фиктивных включительно» [1]). Едва-

[1]) Покойный С. А. Венгеров говорил мне, что у Тургенева было в руках соответствующее дело Сената, когда он писал роман.

ли Уайльду было известно, что роман «Преступление и Наказание» уже печатался на страницах «Русского Вестника», когда происходил в Москве процесс студента Данилова, убившего ростовщика из сверхличных побуждений, аналогичных с идеями Раскольникова.

Достоевский не только обладал в исключительной форме даром артистического предвосхищения типов и событий, но и сознательно, подобно А. Григорьеву, признавал у великих художников наличность этого дара. Так в своей статье о Жорж-Занд он называет ее «великой предчувственницей» лучшего будущего человечества.

Предвосхищение поэтом лиц и событий нельзя истолковывать, как мистическое откровение, подобно Шеллингу, ни видеть в нем социологическую индукцию,—род научного предвидения. Такое предвосхищение основано на чуткости, проницательности, которые, однако, связаны с большим знанием жизни и человеческой души. Во всяком случае, такое предчувствие и предвосхищение лишний раз показывает, что удачное предсказание ученого и удачная интуиция художника одинаково возможны только потому, что характеры людей и природа их действий строго закономерны. Эту закономерность художник угадывает на основании смутных чувств аналогии, а ученый дешифрирует и истолковывает при помощи отчетливых понятий. Это, разумеется, нисколько не исключает и того факта, что у ученого есть своя интуиция, родственная артистической, но отнюдь не тожественная с ней. (Об этом см. мою книгу: «Философия изобретения и изобретение в философии»).

Способность предвидения предполагает непременно у художника уменье «с высоты взирать на жизнь», то-есть, если не понимать, то живо чувствовать удельный вес наблюдаемых типов и направление кривой крупных, развертывающихся перед ними событий. Предвосхищение их представляет нам высшую форму влияния художника на общество рядом с двумя указанными выше. Гюйо так выражает эту мысль: «Гений не есть только отражение, он творчество, вымысел, следовательно, главным образом предвосхищение грядущего общества, и даже идеального общества». Гюйо в книге «Искусство с социологической точки зрения» (стр. 63-я) сопоставляет три общества: I) Предшествующее реальное общество, которое обусловливает и отчасти порождает гения; II) Общество идеально-измененное, которое создается самим гением; мир желаний, страстей, рассуждений, который он порождает в своем уме, и который есть созерцание возможного; III) Последующее образование нового общества поклонников гения, которые в большей или меньшей степени осуществляют в себе его нововведения путем подражания».

Следуя за идеями Достоевского и развивая их, мы, я думаю, видим, что механизм воздействия поэта на общество, в общем верно угаданный Гюйо, оказывается гораздо более сложным, ибо Гюйо упустил из виду роль *узнавания* для воспринимающих поэтическое произведение и роль *предвосхищения* в творчестве художника. Круг влияния гения отнюдь не ограничивается его поклонниками. Чиновники в «Театральном раз'езде» Гоголя, узнавшие себя в «Ревизоре» и с пеною у рта бранящие Гоголя, не могут быть названы его поклонниками, но произведение поэта не прошло даже и для них бесследно.

VIII.

Может ли поэт, выражающий ярко, и притом в поэтической форме, нравственные порывы к добру, призывать к служению человечеству, писать:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан, —

и в то же время изменять своим общественным идеалам?

В старину по этому поводу высказывалась мысль, будто *истинный поэт всегда добродетелен*, в новейшее время в моде то, что Базаров называл «*противоположное общее место*», а именно, будто *истинные поэты всегда были антиморальны*. Такого мнения, например, придерживается проф. Евлахов («Философия художественного творчества», т. II-й). Достоевский в заключительной статье о Некрасове затрагивает этот сложный вопрос, который так часто пытаются решать с ребяческим легкомыслием. Достоевский, разумеется, считает вздором мнимую добродетель поэтов; он допускает, что великий поэт, как и всякий человек, может быть слаб волей в борьбе со страстями и падать нравственно очень низко; но он предполагает, что эти противоречия между нравственными идеалами, которые вдохновленно выражает художник в своих лирических порывах, и его житейским малодушием,—что эти противоречия стоят поэту многих тяжелых душевных мук. Человек же, которому, по *самой природе его, чужды альтруистические наклонности и влечение к добру*, не может быть великим гениальным поэтом; и лишь в этом смысле верны слова Пушкинского Моцарта: «Гений и злодейство—две вещи несовместные». Быть может, эта мысль была навеяна Пушкину статьею Шелли: «The Defense of Poetry», где Шелли пишет: «В числе тех грехов, которые распространенное мнение вменяет поэтам в преступление, мы не видим жестокости, алчности, мести, *зависти* и страстей, дурных по своей сущности».

«Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви».—

«Это писал тот самый поэт, который в другом стихотворении поведал нам, какой «демон» осилил его, и он никуда не пошел. «В кармане моем м и л л и о н»—вот имя этому демону,—миллион, как средство достигнуть гордой независимости в жизни. Но как же совместить эту страсть к наживе с задушевной лирикой печальника о народном горе? Гамлет говорит о плачущем актере: «что ему Гекуба?». Вопрос предстоит прямой: был ли наш Некрасов такой же самый актер, т.-е. способный и с к р е н н о (курсив Достоевского) заплакать о себе и о той святыне духовной, которой сам лишил себя, излить затем скорбь свою (настоящую скорбь!) в бессмертной красоты стихах и на завтра действительно утешиться.... этой красотой стихов? Красотою стихов—и только. Мало того,—взглянуть на эту красоту стихов, как на «практическую» вещь, способную доставить деньги, прибыль, славу, и употребить эту вещь в этом смысле?» Или скорбь поэта продолжала его мучить в ж и з н и и после написания стихов? Достоевский, тонко анализируя духовный мир Некрасова, чрезвычайно убедительно показывает, что любовь к народу была для Некрасова существенной стороной «в его натуре, исходом его собственной скорби по себе самом», «катарзисом» от тех мук, которые ощутил поэт, сознавая несоответствие между своими идеальными стремлениями и своим действительным образом жизни:

Video meliora proboque,
Deteriora sequor [1]).

(Статья Достоевского о Некрасове напечатана в «Дневнике Писателя», декабрь, 1877 г. Собр. сочинений, изд. 6-е, т. XII-й, стр. 390—408, 1904 г.).

IX.

В знаменитой речи о Пушкине у Достоевского на первом плане, разумеется, не эстетическая проблема, но он мимоходом отличает те признаки, по которым о р и г и н а л ь н о с т ь художественного гения выделяется из более или менее удачных проявлений подражательности в искусстве. П е р в ы м и такими признаками он отмечает с а м о с т о я т е л ь н о с т ь с т р а д а н и я. Он, очевидно, хочет этим указать на то, что пушкинское творчество не представляет собою перепевов байронизма, как утверждает, например, Брандес, но является продуктом подлинно пережитой духовной дисгармонии, которую, как мы видели, он, во след Шеллингу, представляет источником к созданию новых самобытных эстетических форм. Пушкин осмеивает в самом себе подражательность, проявленную

[1]) «Вижу лучшее и одобряю, а следую за худшим».

в «Бахчисарайском Фонтане» и выражавшуюся в аффектированном описании страстей, свойственном юным поэтам, которые отображают в своих созданиях литературные влияния чужого творчества. Он согласен с теми критиками, которые находили ходульными некоторые стихи в поэме. Точно так же Достоевский, как справедливо указывает Тынянов, стремится преодолеть в себе влияние гоголевского стиля (Тынянов: «Достоевский и Гоголь»; к теории пародии, 1921 г.).

Вторым признаком гениальности Достоевский признает глубину самосознания. Я думаю, что эта глубина определяется прежде всего силою ума, которая препятствует великому художнику «самосочиняться», силой художественного вкуса, который подсказывает поэту верное понимание артистических средств и целей в процессе творчества, и нравственной высотой, способностью «с высоты взирать на жизнь». Давая сочувственный отзыв о драме Киченского, Достоевский упрекает его, что он, благожелательно изображая одного молодого парня, слишком отожествляет свой нравственный уровень с точкой зрения на вещи своего героя: «автор слишком полюбил его и не решается ни разу посметреть на него свысока. Нам кажется, что мало еще верно выставить все данные свойства лица, надо решительно осветить его собственным художественным взглядом. Настоящему художнику ни за что нельзя оставаться наравне с изображаемым им лицом, довольствуясь одною его реальною правдой». «Художественный эффект получился бы больший, и герой стал бы зрителю еще «милее», если бы автор допустил немного, капельку лишь иронии над изображаемым типом». (По поводу одной драмы, «Дневник Писателя», 1873 г., стр. 261 — 262 [1]). Третьим признаком творческой оригинальности Достоевский указывает всенародность и четвертым — всечеловечность. Он разумеет при этом дар перевоплощаемости, причем усматривает у Пушкина совершенно исключительную способность перевоплощаться в типы других национальностей. Если верить Запискам Смирновой, то всенародности и всечеловечности придавал и Пушкин капитальное значение при оценке с художественной точки зрения оригинальности поэта. Образом дремучего бора он обозначал народную стихию, из недр которой выростает индивидуальное творчество художника; «священная роща» у древних греков была для него как бы символом всечеловеческой стихии в поэзии, и он расходился с Хомяковым, отстаивая про-

[1]) Быть может, эта чрезмерная близость автора к моральной идеологии его героев побудила Достоевского назвать Островского в его ранних произведениях поэтом без идеала. Письмо к А. Майкову 18 января 1856 г.

тив него права русского поэта перевоплощаться в иностранные типы и не порывать вообще связей с художественным творчеством Запада. Он называл приходской узко национальную точку зрения на искусство, которую отвергает и Достоевский. Равным образом, он мечтает о времени, когда «Борис» станет доступным народным массам, и видит во всенародности поэта наиболее почетную «славу».

X.

Признавая великие произведения искусства ценностями всевременными, непреходящими, Достоевский признает также за ними значение универсальное, т.-е. всечеловеческое и всенародное. Разумеется, он понимает эту универсальность, как потенциальную: классиками искусства являются не те, которые признаны таковыми «Его Величеством Большинством», но те, которые признаны таковыми большинством людей, обладающих, и по природной одаренности, и по культурному развитию, способностью к верным суждениям вкуса. Универсальность произведений искусства есть, как выражается Кант, Идея—бесконечное задание: желательно, чтобы все великое в искусстве стало доступно, по возможности, всем людям, способным к эстетическому восприятию. К такому идеалу человечество должно стремиться, но на практике это стремление наталкивается на трудности, к которым относятся: 1) трудность понимания произведений других народов, трудность эстетического перевоплощения в душу художника другого народа, 2) трудность восприятия художественных произведений людьми с низким умственным, эстетическим и нравственным уровнем.

Примером первой трудности может служить проблема художественного перевода иностранных поэтов. Если, по итальянской пословице «traduttore-traditore»—переводчики-предатели, то в области поэзии это особенно чувствительно. Вот по поводу понимания русских классиков (Пушкина, Гоголя, Тургенева) иностранцами в переводе на какой-нибудь европейский язык и понимания иностранного писателя (например, Диккенса) нами в переводе на русский язык, Достоевский отмечает, что в наших писателях «все характерное, все наше национальное по преимуществу и, стало быть, все истинно художественное, для Европы неузнаваемо, и чем крупнее и своеобразнее талант, тем он будет неузнаваемее» (Соч. изд. 6-е, т. 10-й, 1904 г. стр. 229). «Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, да еще, может быть, со всеми оттенками, даже любим его не меньше его соотечественников». Достоевский предполагает две возможные причины подобного явления:

1) Наше превосходство перед европейцами в способности к перевоплощаемости, 2) Недостаточное знакомство и недостаточный интерес европейцев к русскому быту и русской жизни. (Ibidem, 230 стр.).

Достоевского весьма интересовал вопрос об эстетической пропаганде в народных массах, и его занимала психология художественного творчества и восприятия в этих массах. Живо интересуясь распространением грамотности в народе, Достоевский особенно заботился, чтобы при составлении программы книг для народного чтения не был упущен момент эстетической занимательности, дабы таким путем приохотить массы вообще к чтению книг. В высокой степени интересно описание театральных представлений в тюрьме (в «Записках из мертвого дома»). В этой замечательной главе Достоевский в очень ярких красках описывает подробности представления двух пьес: «Филатка и Мирошка» и «Кедрила Обжора», отмечая проявление исключительной одаренности многих из мира преступников и в сценической игре, и в способности к импровизации, и в музыкальных выступлениях: «Можно было даже удивляться, смотря на этих импровизированных актеров, и невольно подумать: сколько сил и таланта погибает у нас на Руси иногда почти даром в неволе и в тяжкой доле». (Сочинения, изд. 6-е, 1905 г., стр. 150). Наряду с этим, отмечается Достоевским гуманизирующее моральное воздействие театра на каторжан: «Я утвердительно скажу, что театр и благодарность за то, что его позволили, был причиною того, что на праздниках не было ни одного серьезного беспорядка в остроге, ни одной злокачественной ссоры, ни одного воровства» (там же, стр. 137-я). Каторжные были увлечены спектаклем (и актеры, и зрители) и переживали все перипетии спектакля с такой же непосредственностью и с таким же азартом, как дети.

Но если внимание Достоевского направлено на зачатки эстетических потребностей и дарований в душе нравственно падшего человека, то, с другой стороны, от его внимания не ускользают и самые уродливые проявления подобных потребностей в пошлых и низких натурах. У Достоевского мы встречаем ряд образчиков глупых, подлых и нередко пошленьких произведений низкой души. Смердяков с гитарой поет романс: «Непонятной силой я привязан к милой». Вот второй куплет:

«Царская корона,
Была бы моя милая здорова,
Господи помилуй,
Ее и меня,
Ее и меня,
Ее и меня».

Его собеседница находит, что в прошлый раз лучше выходило: «была бы моя милочка здорова».

— «Стихи вздор-с»,—сказал Смердяков.

— «Ах, нет, я очень стишок люблю».

— «Это, чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами: кто же на свете в рифму говорит. И если бы мы все стали в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали-с». («Братья Карамазовы», т. I, 257 стр.). Мы встречаем образчики рифмованной лакейщины в «Идиоте» (258 стр.) «Лева Шнейдера шинелью», в «Бесах» (417): «Здравствуй, здравствуй гувернантка». «Жил на свете таракан»—в Бесах же (158); там же (238): «Краса красот, сломала член», там же (стр. 133) пародирование Фета и в «Братьях Карамазовых» (27): «Уж какая это ножка», etc.

XI.

Впечатление правдоподобия — существенный фактор в создании эстетического впечатления, и все великие художники принимают его в расчет. Так, Пушкин снабжает поэму: «Братья разбойники» примечанием, в котором поясняет, что не следует считать выдумкою факт, о котором сообщается в поэме: двое каторжных, скованные между собою, переплыли реку. Он указывает, что это сообщение—подлинный факт, о котором можно узнать из судебного дела об этих разбойниках. Байрон, рассказывающий в «Дон-Жуане» о турке, впившемся зубами в пятку русского офицера так крепко, что, только когда голова турка была отрублена, ее можно было отделить от пятки, прибавляет:

Но факт есть факт, и истинный поэт
Остерегаться выдумок обязан:
В стихах, как в прозе, лгать заслуги нет.

(«Дон-Жуан», VIII, 86). Точно так же и Достоевский весьма озабочен впечатлением правдоподобия. «Я вывел неотразимое заключение, что писатель художественный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую им действительность». (Письма, изд. Страхова в прилож. к биографии, стр. 317-я). Та же мысль о правдоподобии занимает Достоевского при писании «Братьев Карамазовых», что видно из его писем, напечатанных в «Былом» (1917, № 15). В письме к Майкову из Флоренции (от 11/23 декабря 1868 года) он пишет: «Пересказать только то, что мы все, русские, пережили за последние 10 лет! Да разве не закричат реалисты, что это фантазия». Достоевского и впоследствии упрекали в неправдоподобии, указывая на чрезмерно быструю смену событий и внезапную концентрацию исключительных происшествий, но он, повидимому, порой применял практически такой силлогизм: Кажущиеся невероятными события случаются каждый день, но то, что слу-

чается ежедневно, есть вероятное событие. Следовательно, некоторые вероятные события могут казаться невероятными.

Проблема фантастического в искусстве затрагивается у нас уже Пушкиным. Он осуждает ребячество и уродливость восточной фантастики Мура. В начале четвертой песни «Руслана» он пишет:

Я каждый день, восстав от сна,
Благодарю сердечно Бога,
За то, что в наши времена
Волшебников не так уж много.
. . . . . .
Поэзии чудесный гений,
Певец таинственных видений,
Любви, мечтаний и чертей,
Могил и рая верный житель
И музы ветренной моей
Наперсник, пестун и хранитель!
Прости мне, северный Орфей,
Что в повести моей забавной
Теперь вослед тебе лечу
И музу лиры своенравной
Во л ж и п р е л е с т н о й о б л и ч у.

«Фернейский злой крикун», т.-е. Вольтер, о котором Пушкин упоминает здесь в опущенной строфе, так характеризует фантазию в своей «Pucelle» (XIV, p. 246—47):

Elle repand ses faveurs les plus chères
Sur nos romans, nos nouveaux opéras
Et son empire assez longtemps dura
Sur le théâtre, en barreau dans les chaires,
Près d'elle était le Galimatias,
Monstre bavard caressé dans ses bras [1]).

Пушкин здесь, очевидно, признает за фантастикой в сказке право, не впадая ни в доктринерство материалистов XVIII века, ни в идеологию романтиков, которые в е р и л и в ч у д е с а. Типичным отголоском материализма XVIII века является протест против в с я к о й фантастики в искусстве у Дюринга. Говоря в своей книге «Великие люди в литературе», о Шекспире, он приводит слова Джульетты, обращенные к коням Феба:

«Вы, огненные кони Феба,
Спешите на огненных ногах
Скорей к его дворцу...

[1]) «Она изливает свое сердечное благоволение на наши романсы, новые оперы, ее господство было довольно продолжительно над театром, над судейскими трибуналами; при ней находилось болтливое чудовище Галиматья, которое она ласково обнимала руками».

Он замечает, что слова эти доказывают только, что Джульетта была дура, не усвоила элементов космографии. Смысл фантастики и ее эстетическое значение могут быть поняты правильно только, если принять в расчет отношение поэта или изображаемого им лица к об'ективной реальности. И в этом смысле фантастика, думается мне, может быть трех родов:

1) Фантастика наивная, где художник в жизни верит в подлинность сверх'естественных существ и чудесных происшествий. Подражание наивной народной фантастике требует от поэта исключительного дара перевоплощаемости (Пушкин, Римский-Корсаков), чтобы быть эстетически убедительным: «Искусство быть наивным есть противоречие, говорит Кант, но представить наивное в вымышленном лице вполне возможно, и это прекрасное, хотя и редкое искусство» («Критика силы суждения, стр. 213).

2) Фантастика трансцендентная, метафизическая, при которой фантастические явления не прямо, но косвенным образом «яко зеркалом в гадании» указуют на воздействие на нас трансцендентных сил. «Существенный интерес и значение фантастического в поэзии, пишет Вл. Соловьев, держится на уверенности, что все, происходящее в мире и особенно в жизни человеческой, зависит, кроме своих наличных и очевидных причин, еще от какой-то другой причинности, более глубокой и многооб'емлющей, но за то менее явной. Если бы жизненная связь всего существующего была проста и прозрачна, как дважды два—четыре, то этим исключалось бы все фантастическое» (Собрание сочинений, т. VIII-й, стр. 410-я).

3) Фантастика имманентная, в которой художник нарушает правдоподобие в известном отношении, делая какое-нибудь невероятное допущение внешнего характера, чтобы при помощи подобного допущения раскрыть в весьма правдоподобной форме какие-нибудь человечески значительные переживания, т.-е. явления внутреннего порядка,—словом, прибегая к тому, что проф. Овсянико-Куликовский называет экспериментацией в искусстве.

Примерами наивной фантастики могут быть чудесные лица и события в религиозных мифах и сказках, например, описание небесного свода, которое имеется в Коране, и о котором Пушкин, подражая ему, замечает: «Плохая география, но за то какая поэзия!» Трансцендентная фантастика, присущая поэтам новейшего времени, которые уже не вполне наивно относятся к продуктам своей фантазии, все же предполагает с их стороны веру в потусторонний мир и его тауматургическое воздействие на мир опыта, (напр. Скрябин). Разумеется, градации от совершенно наивной фантастики к суеверию сознательных сторонников трансцендентности фантастики непрерывны. К тому типу, который я называю трансцендентной фантастикой, Достоевский относит Гофмана: «Он олицетворяет

силы природы в образах, вводит в свои рассказы волшебников, духов и даже иногда ищет свой идеал вне земного, в каком-то необыкновенном мире, принимая этот мир за высший, как будто сам верит в непременное существование волшебного мира» (XXII-й т. сочинений, статья о Поэ). Примером имманентной фантастики является фантастика Поэ, который, по словам Достоевского, «только допускает внешнюю возможность неестественного события, (доказывая, впрочем, его возможность и иногда даже чрезвычайно хитро) и, допуская это событие, во всем остальном совершенно верен действительности». Эдгар Поэ «почти всегда берет самую исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение». Но он убеждает читателя привлечением множества живых и ярких подробностей. «Попробуйте, например, сами вообразить что-нибудь не совсем обыкновенное или даже не встречающееся в действительности или только возможное,—образ, который нарисуется перед вами, всегда будет заключать одни более или менее общие черты всей картины или остановится на какой-нибудь особенности, частности ее. Но в повестях Поэ вы до такой степени ярко видите все подробности представленного вам образа или события, что, наконец, как бы убеждаетесь в его возможности, действительности, тогда как событие это или почти совсем невозможно, или еще никогда не случалось на свете». Так, например, он описал с такими яркими подробностями еще не совершенный в то время перелет через океан из Америки в Европу, что публика поверила ему, между тем как это была утка. (Т. XXII, стр. 234 я).

Достоевский отдает предпочтение таланту Гофмана перед талантом Поэ, но сам он в своих произведениях стоит за то, что я называю имманентной фантастикой. Во что бы ни верил Достоевский-метафизик, как бы он ни склонялся допускать «соприкосновения мирам иным», он не допускает в своих произведениях чудес, в которые он хотел бы заставить уверовать читателя.

К фантастике Достоевский прибегает, как и Поэ, согласно вышеприведенному его описанию, именно в целях высшего психологического правдоподобия и углубленности сюжета. Рассказ: «Кроткая» представляет потрясающую историю одной самоубийцы. Рассказ ведется от имени мужа погибшей, который, размышляя над происшедшим, уясняет себе его моральный смысл. Чтобы передать такое, многие часы продолжавшееся душевное состояние человека, Достоевский прибегает к фикции почти стенографической записи его тяжелых дум, написав рассказ от имени мужа: «Если бы мог подслушать его и все за ним записать стенограф, то вышло бы несколько шаршавее,

необделаннее, чем представляется у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый». Достоевский указывает далее, что к подобной же фикции стенографической записи прибегал с большим успехом Виктор Гюго в «Последнем дне осужденного». Чтобы раскрыть всю неискоренимость низменных желаний и душевной пошлости человека, Достоевский в «Бобке» создает фикцию разговора между собою на кладбище покойников, причем передает этот разговор, как рассказ полупьяного и полусумасшедшего литератора. Эдгар Поэ, по словам Достоевского, вынуждает у нас веру в неправдоподобное, привнося в рассказ массу ярких реальных подробностей материального характера, в чем наш поэт усматривает американскую черту характера. Сам же Достоевский, наоборот, отнимает иногда известную долю чувства реальности, при восприятии будничной обстановки, и тем сообщает ей характер призрачности, фантастичности. Таково известное описание фантастичного сырого, туманного петербургского утра, которое заканчивается словами подростка: «Вот они все (пешеходы) кидаются и мечутся, а, почем знать, может быть все это чей-нибудь сон, и ни одного-то здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного. Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится— и все вдруг исчезнет». («Подросток», 129—130). Это место можно сопоставить с следующими словами: «Все это были странные чудные фигуры, не дон-Карлосы и не Позы, а вполне титулярные советники, и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу и передергивал какие-то нитки, пружины, и куколки эти двигались, а он хохотал и все хохотал». (Соч. т. XXII-й, стр. 183-я).

Высочайший образчик имманентной фантастики дан Достоевским в сцене появления чорта у Ивана Карамазова. Моральный и философский символизм в этой сцене приведены в полную гармонию с физическим и психологическим правдоподобием изображаемых событий. Подобно Пушкину, давшему художественное изображение пророческого сна в «Капитанской Дочке», Толстому, сделавшему то же самое в «Анне Карениной», и Тургеневу, давшему подобное же описание в рассказе «Сон»,—Достоевский, описывая «пророческий сон» Вельчанинова в «Вечном муже», остается в рамках имманентной фантастики. Художественные стремления Достоевского и других наших великих писателей—по возможности держаться в романе рамок имманентной фантастики—прекрасно выражены Влад. Соловьевым: «Вот окончательный признак подлинно фантастического: оно никогда не является, так сказать, в обнаженном виде. Его

явления никогда не должны вызывать принудительной веры в мистический смысл жизненных происшествий, а скорее должны указывать намеками на него. В подлинно фантастическом всегда остается формальная возможность об'яснения из обыкновенной всегдашней связи явлений, причем однако это об'яснение окончательно лишается внутренней вероятности» (Сочинения, т. VIII, стр. 411-я). Эффект таинственного, необычайного усиливается именно в самой будничной, повседневной смене событий. «Никто не станет читать вашей фантастической поэмы, если в ней рассказывается, как в вашу комнату влетел шестикрылый ангел и поднес вам прекрасное золотое пальто с алмазными пуговицами» (Соч., т. VI, 411).

XII.

*Символизм в области искусства может означать две различных вещи: во-первых, известную коренную черту всякого художественного творчества, во-вторых, известное историко-литературное обозначение определенного направления в поэзии и других искусствах. В первом значении символизм есть термин эстетический, во втором—историко-литературный, подобно акмеизму, адамизму, футуризму, имажинизму и т. п. Имея в виду отношение Достоевского к символизму лишь в эстетическом значении этого слова, я прежде всего замечу, что над проблемой символизма в искусстве задумывались уже Пушкин и Гоголь, но лишь в той мере, в какой они касались поэтического языка. Элементы символизма имеются в самой структуре языка, в метафоре. Если у поэтов-мистиков была всегда тенденция преувеличивать значение символизма в поэзии до карикатуры, то у рационализирующих умов была всегда тенденция язык, даже поэтический, очистить от метафор,—безумное предприятие, ибо метафора и символизм—живая стихия всякого языка. Тик очень удачно осмеял нелепости подобного предприятия: «Утренняя заря рассыпает розы»—можно ли придумать что-нибудь глупее?—«Солнце погружается в море»—ерунда.—«Утро пробуждается»—нет никакого утра.—Как же оно может спать? Это ведь ничто иное, как час восхода солнца. Проклятие! Ведь, солнце даже не восходит,—и это уже бессмыслица и поэзия. О, если бы мне была предоставлена власть над языком, я бы хорошо его вычистил и вымел... О, проклятье! В этом вечно лгущем мире нельзя обойтись без того, чтобы не говорить бессмыслицы». «Есть два рода бессмыслицы, пишет Пушкин: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемых словами, другая—от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения» (1827 г., Суворинское изд. сочинений, V, 55 стр.). «Байрон не мог из'яснить некоторые свои

стихи». Мне приходит в голову, не имеет ли в виду Пушкин одно замечание Байрона, по поводу тех стихов в «Абидосской невесте», где поэт говорит, что прекрасная музыка проявлялась в чертах его героини. Байрон указывает, что слова эти могут казаться нелепыми только тому, кто не чувствует женской красоты. Гоголь в интересной статье о малороссийских песнях указывает на то, что в них часто усматривают наличность бессвязности и бессмыслицы там, где на самом деле имеется удачный поэтический образ. Так, например, вместо того, чтобы сказать «был вечер», народный поэт говорит:

Ишли корови из дуброви,
А овечки с поля,
Выплакала кари очи,
Край милова стоя.

Иногда такие импровизации кажутся беспорядочными потому, что сочиняются мгновенно. «Мы имеем здесь дело с очаровательной безотчетностью поэзии». «В подобных стихах соединяются самая яркая живопись и самая звучная звонкость слов, песня сочиняется не с пером в руке, на бумаге, но в забвении, когда душа звучит. Только тогда, когда вино перемешает и разрушит весь прозаический порядок мыслей, когда мысли непостижимо странно в р а з н о г л а с и и з в у ч а т в н у т р е н н и м с о г л а с и е м, в каком-то разгуле, торжественном более, чем веселом, душа в непостижимой загадке изливается нестерпимо унылыми звуками». Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков или, лучше сказать, поэзия поэзии» (Соч., т. IV, «Переписка с друзьями»). Гоголь дает удивительный образчик описания той спутанности впечатлений, которую испытывает при головокружении крайне взволнованный образом прелестной женщины юноша: «Троттуар несся под ним, карета с скачущими лошадьми казалась недвижимой, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, а алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестели, казалось, на самой реснице его глаз. И все это произвел один глаз, один поворот хорошенькой головки» («Невский проспект», Соч., т. IV). Чрезвычайно метки указания Гончарова относительно неспособности Райского овладеть абстрактным научным символизмом алгебры: «он в изучении алгебры едва мог дойти до уравнений». Но за то он мог путем «с в е р к а ю щ е й д о г а д к и» иногда решать задачи, руководствуясь не традиционными правилами математики, а своим собственным символизмом, «замещая математические знаки самодельными образами»: «У него в голове было свое царство цифр в образах: они по-своему строились у него так, как солдаты. Он придумал им какие-то свои знаки или физиономии, по которым они

становились в ряды, слагались, множились и делились; все фигуры их рисовались то знакомыми людьми, то походили на разных животных» (Сочинения, т. IV, стр. 55-я, «Обрыв», ч. 1-я). Здесь, конечно, символизм в образном мышлении поэтической натуры служит не художественным, а познавательным целям.

С другой стороны, Тургенев приводит в «Рудине» стихи поэта Айбулата, где напряженность метафоры порождает бессмыслицу.

И до конца печальных дней
Ни гордый опыт, ни рассудок,
Не изомнут рукой своей
Кровавых жизни незабудок.

Толстой же в «Что такое искусство» резко осуждает туманность и искусственность символизма у некоторых французских поэтов. Но символизм в поэзии проявляется не только в языке, но и в одухотворении животных, растений и неодушевленных предметов,—так называемое символическое вчувствование—и, наконец, в трактовании известного образа, ситуации или целого сюжета в качестве символа, выражающего эмоциональное впечатление от того, что не укладывается прямо ни в какую картину, сцену или наглядное представление. Такова сфера безмерно великого и безмерно малого—идеи Бога, мира, мирового зла, смысла жизни, человечества, социальной революции и, с другой стороны, едва уловимых, мимолетных, тончайших, но значительных по своему действенному характеру, движений человеческой души. В этом смысле художественный импрессионизм есть вид эстетического символизма. У великих гениев искусства есть свое определенное эмоциональное отношение к миру, как целому, своя определенная артистическая реакция на микрокосм и макрокосм. В этом смысле символичны «Фауст», «Божественная Комедия», «Медный Всадник», «Братья Карамазовы», и именно об этом виде символизма (не употребляя однако, подобно Пушкину, Гоголю, Гончарову и Тургеневу, самого термина) ставит вопрос Достоевский. Как мыслителя, его волновала проблема мирового зла, как художника—потребность эмоционально выразить в искусстве при посредстве образов, полных жизни, а не мертвых дидактических аллегорий, волновавшие его искания духа,—дать «Русского Кандида» не в форме философской теодицеи, а в художественном произведении, воздействующем на душу читателя исключительно через посредство эстетической формы. Он говорит: «Может-ли мерещиться в образе то, что не имеет образа?» («Идиот», стр. 317). Как он раз-

решает поставленный вопрос, мы увидим немного ниже. Скажем прежде, какие философские идеи особенно волнуют его, как художника. Не будем разбирать вопроса о том, каковы философские взгляды Достоевского, как человека и публициста, ибо это далеко не одно и то же. Я думаю, со мною согласятся лица, весьма различно толкующие идеологию Достоевского, как человека и публициста, что Достоевский по преимуществу поэт безысходно трагического в жизни человека. Ему, как художнику, доступна «другая половина жизни», «l'altra meta», по выражению итальянского футуриста Папини: темные, страшные, бессмысленные стороны человеческого бытия. Бесстрашие, с которым он заглянул чорту в глаза, способность созерцать сразу две бездны, по его собственному выражению,—это и было то, что привлекло к нему мировое внимание, что побудило Ницше назвать его первым психологом нашего времени.

Аристотель понимал трагическое исключительно в форме страдания, которое постигает праведную, но согрешившую натуру. Страдание отъявленного мерзавца — не трагично; зритель будет думать: «поделом вору и мука!» Страдание же совершенно невинного человека не может быть, с точки зрения Аристотеля, предметом трагедии, ибо подобное допущение нечестиво. В новейшее время Гегель усматривает сущность трагедии в возникновении в душе героя неразрешимого конфликта между двумя моральными побуждениями (Doppelpflichten, как выражается Банзен), который приводит героя к гибели. В этом смысле Гегель считает самой совершенной трагедией в мире «Антигону» Софокла, в которой героиня погибает потому, что она, побуждаемая любовью к брату, похоронила его; но исполнив, таким образом, по отношению к нему долг любящей сестры, она нарушила свой долг по отношению к государству, которое запрещало хоронить тех, кто, подобно ее брату, боролся против Фив. Подобным же образом В. Гюго в «93 году» изображает конфликт между чувством сострадания и гражданскими обязанностями, рассказывая, как маркиз Лантенак освобождает из горящей башни, с опасностью жизни, трех детей пленной республиканки, как его, опаснейшего врага революции, арестует Симурдэн, комиссар революционного совета, и как республиканец Говен освобождает его, расплачиваясь жизнью за такой контр-революционный поступок. Гюго одобряет подобный выход из трагического конфликта. Геройский поступок Лантенака «абсолютно-человеческое», и оно выше «абсолютно-революционного». Здесь вмешалось неведомое, l'inconnu, l'Avertisseur mystérieux, la grande Lueur éternelle. (См. книгу Arréat: «La morale dans le drame, l'epopée et le roman»). Достоевский не ограничивает область трагического конфликтом морального сознания, как Гегель. В эстетике трагического он совершенно отвергает идею

поэтической справедливости и приближается к Шопенгауэру и Банзену. Он подчеркивает полное несоответствие между ужасами человеческого существования и сферою власти человеческой воли над природой. Но непостижимость мирового зла с точки зрения нашего «эвклидовского ума» не повергает его в безысходный пессимизм Банзена. Из трагического тупика он находит выход не в моральной вере, как Кант, а в «мистическом чувстве», «соприкосновении мирам иным»— практический выход из мучительного раздвоения морального сознания. Достоевский в лице своих любимых героев (Зосимы, Алеши) не постулирует актом веры бытие Бога, бессмертие и свободу воли, а непосредственно ощущает эти реальности. Его герои уверены, что они переживают то, что Вл. Соловьев называет чувством Бога. Свои философские идеи Достоевский эстетически воплощает трояким образом: или делая своих героев выразителями известной идеологии (атеизма или мистики) и приводя в столкновение их мнение в живых диалогах, как Платон (например, Иван и Алеша Карамазовы), или влагая в уста какого-нибудь действующего лица монолог философского содержания (Легенда о великом Инквизиторе), причем иногда в другом его сочинении у другого действующего лица имеется монолог, диалектически противоречащий первому по содержанию, но на ту же тему. Так, например, в статье: «Приговор» самоубийца доказывает, что жизнь имеет нравственный смысл лишь при допущении идеи бессмертия, а в монологе Версилова в «Подростке» доказывается, что высокие моральные чувства альтруизма в человечестве пробудятся лишь тогда, когда оно окончательно убедится, что бессмертия нет. Третий художественный прием, которым пользуется Достоевский—это эстетический символизм, в котором мировые идеи: зла, бессилия человеческой воли, нелепости мысли о бессмертии и противоположные—идея Бога, бессмертия и свободы воли—находят себе эмоциальные эстетические эквиваленты в известных образах.

Приведенный нами выше вопрос Достоевского: «может ли мерещиться в образе то, что не имеет образа», он связывает с идеей мирового зла, как стихии мира, мощной, реальной и враждебной Богу. Замечательно, что в данном случае мысли и самые образы Достоевского аналогичны с идеями Виктора Гюго. Вот что следует у Достоевского непосредственно за поставленным вопросом: «Но мне как-будто казалось временами, что я вижу в какой-то странной и невозможной форме эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо. Я помню, что кто-то повел меня за руку со свечей в руке, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это-то самое темное, глухое и всесильное существо, и смеялся над моим негодованием» («Идиот» писано в 1868-9 г., стр. 317). «Есть чудовища,

пишет Гюго, организм которых представляет чудо совершенства в своем роде, и это совершенство имеет целью истребление, оно есть как бы само зло в самом совершенном виде. Оптимизм почти становится втупик перед некоторыми существами. Всякое скверное животное, как и всякий злой дух, есть сфинкс, ужасный сфинкс, задающий ужасную загадку, загадку зла. Это совершенство зла и заставляло иногда великие умы склоняться к верованию в двойное божество, в ужасного двуликого бога маникеев». («Труженики моря», 1868 г., цитата взята мною из книги Гюйо: «Искусство с социологической точки зрения»). Ужас при мысли о нелепости бесконечной жизни символизируется в образе пауков в «Преступлении и Наказании». (Собр. сочинений, т. VI-й, стр. 259-я, изд. 1904 г.) «Я не верю в будущую жизнь»,—сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости:

— А что если там одни пауки или что-нибудь в этом роде?—сказал он вдруг.

— «Это сумасшедший»,—подумал Раскольников.

— Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное. Да, почему же непременно огромное?

— И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, и по всем углам пауки—и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится».

Сознание смутных, но мощных порочных импульсов в нашей воле, делающих порой бессильными наш разум в борьбе со страстями, аннулирующими свободу воли, Достоевский символизирует опять же в образе паука в «Подростке», в приведенной нами выше цитате. В целях эстетического символизма Достоевский прибегает и к живописным и к музыкальным образам. Приведенные выше из «Идиота» размышления о мировом зле поставлены у Достоевского в связь с описанием картины, которую имел Рогожин: «Художники обыкновенно изображают умершего Христа все еще с оттенком необыкновенной красоты в лице, эту красоту они ищут придать ему даже при самых страшных муках»; в картине же Рогожина, это в полном виде труп человека, испытавшего тяжелые муки, но ничего еще не успело окостенеть, так что на лице умершего еще проглядывает страдание, как будто бы еще и теперь им ощущаемое (это очень хорошо схвачено артистом), но зато лицо не пощажено нисколько. Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть, и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их даже Тот? Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то неумолимого и немого зверя или в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая «бессмысленно захватила, раз-

дробила и поглотила в себя глухо и бессчувственно великое и бесценное существо». В том же романе Достоевский описывает другую картину. О ней говорит «Идиот». Он, видевший в Швейцарии близко процедуру смертной казни и описывающий с замечательным проникновением душевное состояние казнимого, выражает пожелание, чтобы Епанчина написала картину, передающую последний момент перед казнью: «Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень, преступник ступил на нее: голова, лицо бледное, как бумага, священник протягивает крест, тот с жадностью протягивает свои синие губы и глядит—и все знает (курсив Достоевского). Крест и голова—вот картина, лицо священника, палача, его двух служителей и несколько голов и глаз снизу—все это должно нарисовать как бы на третьем плане, для аксессуара». Идиот находит полезной такую картину («Идиот», стр. 67-я). Достоевский, подобно Канту, дорожит идеей бессмертия потому, что она у него связана с идеей абсолютной ценности человеческой личности. Подобная картина дает возможность живо почувствовать в поэтическом символе, как преступно посягательство на эту ценность со стороны всех сторонников застенка и расстрелов.

Достоевский, насколько я помню, никогда в своих сочинениях не употреблял термина: «свобода воли», но идея свободы воли и ее связь с идеей нравственной ответственности у него ясно выражена. Он, подобно Канту, утверждает, что у преступников всегда бывает сознание того, что они нарушают нравственный закон. Он отличает в человеке, поступающем дурно, наличность сознания, что он мог поступить иначе. Герой «Униженных и оскорбленных», видя неудержимое влечение Наташи пойти к князю, замечает: «Да, ведь ты же сама говорила сейчас Анне Андреевне, что может быть, не пойдешь из дому ко всенощной» (курсив Достоевского). С чувством свободы выбора связано сожаление о бесповоротности совершенного, горечь позднего и бесплодного раскаяния, ибо прошедшее не могут изменить сами боги, как говорит Гораций (Оды, III, XXIX, 43).

«О, если-б можно было переменить прежнее и начать совершенно новое!» Мучительное сознание непоправимости содеянного—«это раз пронзает сердце и потом навеки остается рана». Достоевский приводит три литературных примера изображения «больных сцен», «которые всю жизнь потом с болью припоминаются: 1) последнее свидание Онегина с Татьяной, 2) сцена Жана Вальжана с девочкой у колодца, 3) предсмертный монолог Отелло. Сам же он приводит пример из живописи, символическое значение которого очевидно. В «Подростке» рассказывается об одном изверге-отце, который довел своего шестилетнего ребенка до того, что мальчик. из страха

наказания, утопился. Это так поразило отца, что с ним произошел глубокий нравственный переворот, и он просил одного художника нарисовать ему картину, изображающую ребенка с кулачками, прижатыми к груди, собирающегося в порыве отчаяния броситься с крутого берега в реку.

Кроме символических картин живописного порядка, у Достоевского имеются три подобных же музыкальных сцены. Молодой композитор мечтает (в «Подростке», стр. 410—411) написать нечто вроде оперной сцены из «Фауста»; Маргарита тоскует, мучится в соборе, а хор гремит безучастно строго: «Dies irae, dies illa». С божественными гимнами сплетается голос дьявола, напоминающий Гретхен былое и, наконец, возвещающий ей, что прощения нет, и что она проклята. Но затем вдруг раздается как бы удар голосов, хор победоносный, вдохновенный, и все переходит в восторженный всеобщий: «Hosanna!» «Как будто крик всей вселенной. А ее все несут, несут,—и вот тут опустить занавес». В «Неточке Незвановой» есть сцена, в которой скрипач, дурно обращавшийся с женой, когда она умерла, под наплывом укоров совести, в безумном отчаянии начинает играть какую-то дикую фантазию. Наконец, в «Бесах» революционер Лямшин играет на фортепиано талантливо задуманную фантазию, передающую живо торжество хамства, пошлости и грубой силы над идеей революции. Пьеса представляет импровизацию, которая начинается величественной марсельезой, но мало по малу появляется сначала, в виде намека, пошлейший «Augustin», который, все разрастаясь, наконец раздавливает марсельезу. Это—реминисценция победы немцев над французами в войне 1870—71 г.г.

Можно еще указать на два замечательные символические сна, один Раскольникова, другой—Версилова:

1) Странный сон, который привиделся Раскольникову перед совершением убийства, представляет потрясающее душу развитие мотива, намеченного у Гюго: у того и другого пьяный ломовик, нагрузив телегу непомерной тяжестью, зверски бьет запряженную в телегу клячу и, дойдя до последней степени остервенения при виде, что она не может везти воз, убивает ее. У обоих художников картина имеет символический смысл, раскрывая всю глубину р а д и к а л ь н о г о з л а, таящегося в человеческой душе. Но у Достоевского картина обогащена массою реальных подробностей—сцена в пять раз превосходит длиною стихотворение Гюго. Для усиления ужаса Достоевский вводит веселую компанию приятелей, для которых избиение и убийство лошади является веселой потехой, с другой стороны, чувство сострадания к избиваемому животному он высказывает не от себя, но отражает это странное зрелище в душе маленького ребенка (Раскольников во сне видит себя маленьким мальчиком). Привожу текст Гюго и его русский перевод—эта строфа из поэмы «Melancholia»:

Le pesant chariot porte énorme pierre.
Le limonier suant du mors à la croupière
Tire, et le roulier fouette, et le pavé glissant
Monte, et le cheval triste a la poitrail en sang.
Il tire, traîne, geint, tire encore et s'arrête;
Le fouet noir tourbillonne au-dessus de sa tête;
C'est lundi: l'homme hier buvait au Porcherons
Un vin plein de fureur, de cris et de jurons;
Oh! quelle est la loi formidable qui livre
L'être à l'être, et la bête effarée à l'homme ivre?
L'animal éperdu ne peut plus faire un pas;
Il sent l'ombre sur lui peser; il ne sait pas,
Sous le bloc qui l'écrase et le fouet qui l'assomme,
Ce qui lui veut la pierre et ce qui lui veut l'homme.
Et le roullier n'est plus qu'un orage de coups
Tombant sur ce forçat qui traîne les licous,
Qui souffre et ne connaît ni repos, ni dimanches,
Si la corde se casse, il frappe avec la manche,
Et si le fouet se casse, il frappe avec le pié;
Et le cheval tremblant, hagard, estropié
Baisse son cou lugubre et sa tête égarée.
On entend sous le coup de la botte ferrée
Sonner le ventre nu du pauvre être muet!
Il râle; tout à l'heure encore il remuait;
Mais il ne bouge plus et sa force est finie,
Et les coups furieux pleuvent; son agonie
Tente un dernier effort; son pied fait un écart,
Il tombe et le voilà brisé sous le brancard;
Et dans l'ombre pendant que son bourreau redouble
Il regarde Quelqu'un de sa prunelle trouble
Et l'on voit lentement s'éteindre humble et terni
Son oeuil plein de stupeurs sombres de l'infini,
Ou luit vaguement l'âme effrayante des choses,
Helas! (См. «Les contemplations», tome I, 1856, p. 209—210. Melancholia).

Вот перевод: «Грузная телега тянет огромный камень, бьют, обливаясь потом от узды до крупа, тянет, а вощик хлещет лошадь; скользкая мостовая подымается в гору; у грустной лошади грудь окровавлена; лошадь дергает, тянет, стонет, еще раз дергает—и останавливается. Черный кнут сыплет град ударов на ее голову. Сегодня понедельник—вощик пьянствовал вчера,—в нем вино вызывает неистовство, крики и проклятия. О, что это за ужасный закон, связующий одно существо с другим, запуганное животное с пьяным человеком! Потерявшееся животное не может сделать более ни шагу—оно чует, что на него надвигается страшная тень. Под давлением непосильной тяжести и ударами ошеломляющего кнута

оно не понимает, чего хочет от него камень и чего—человек. А вощик весь превратился в град ударов, сыпящихся на этого каторжника, тянущего упряжь и не ведающего в страданиях ни праздников, ни отдыха. Оборвись веревка кнута, вощик бьет кнутовищем, сломайся кнутовище, он пустит в ход его наконечник, и трепещущая, растерянная, израненная лошадь печально склоняет свою растерянную голову. Слышно, как звонко отдается удар железного сапога в голое брюхо бедного немого животного—оно хрипит, оно еще двигалось, но теперь оно уже не подвинется более, его силы исчерпаны, бешеные удары сыплются по-прежнему; в агонии лошадь делает еще последнюю попытку двинуться, но, оступившись, она падает, наконец, под тяжестью оглоблей, и в то время, как ее палач усиленно истязает жертву, лошадь потускневшим зрачком видит Кого-то. Распростертая на земле, она медленно, смиренно угасает, в ее взоре застыл мрачный ужас перед Бесконечным, в котором неясно просвечивает страшная тайна бытия».

2) Любопытную форму применения эстетического символизма к сновидениям представляет описание Версиловым того сна, который он однажды видел. В Дрездене его внимание неоднократно привлекала картина Клода Лоррена: «Атис и Галатея», которую он почему-то назвал: «Золотой век». Эта картина, изображающая безмятежную, блаженную сцену из древне-греческой жизни среди благодатной природы, приснилась ему, как реальность, как подлинный золотой век, пережитый человечеством на заре его юности. Он испытал чувство необычайного счастья, переживая эти грезы. Чувство радости, умиления и всечеловеческой любви он продолжал переживать и в первые мгновения по пробуждении. «Был уже полный вечер. В окно моей маленькой комнаты, сквозь зелень стоявших на окне цветов, прорывался пук лучей и обливал меня светом. И вот, друг мой, и вот это заходящее солнце первого дня европейского человечества, которое я видел во сне, обратилось для меня, когда я проснулся, в заходящее солнце последнего дня человечества» («Подросток», изд. 1906, т. IX, стр. 437). Версилов с последними словами вспоминает о коммуне 1871 года в Париже. Эта картина «Золотого века» в значительно разработанной форме встречается в: «Рассказе смешного человека».

Мне остается еще указать на три мистических пейзажа, имеющие символическое значение: один связан с идеей Божества, другой—с идеей бессмертия, третий—с идеей свободы воли. Сам Достоевский указывает на литературный источник, который повлиял на него при «создании этих картин. У Диккенса в «Old curiosity shop» (Лавка Древностей) есть трогательная сцена, в которой тринадцатилетняя девочка со своим старым дедушкой после многих тяжелых испытаний нашли себе приют в старом городе, где есть старинный собор; де-

вочка состоит при нем сторожихой, показывая его достопримечательности посетителям. «И вот, раз закатывается солнце, и этот ребенок на паперти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то, и другое, ведь, как загадка—солнце, как мысль Божия, а собор, как мысль человеческая, не правда-ли?» Достоевский тут же сообщает, какое неизгладимое впечатление производит эта сцена на чистые юные души. Мальчик, кончающий гимназию, с сестрою такого же возраста читали вместе эту сцену. «Мы сидели с ней на террассе под нашими старыми липами и читали этот роман, и солнце тоже закатывалось, и вдруг мы перестали читать и сказали друг другу, что и мы будем так-же добрыми, что и мы будем прекрасными...» («Подросток», стр. 411). У Достоевского есть аналогичный пейзаж в «Бесах»:—Уйду я, бывало, на берег к озеру, с одной стороны наш монастырь, а с другой—наша острая гора, так и зовут ее горой Острой. Взойду я на эту гору, обращусь к востоку я, припаду к земле, плачу, плачу я, и не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное. Любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно! Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце зайдет, и все погаснет» («Бесы», 129-130). Идея бессмертия у Достоевского была связана с мистической мыслью о внутренней связи между всеми живыми существами, между универсальной жизнью Макрокосма и индивидуальною Микрокосма. Эта мысль (вместе с христианской идеей о всеобщем воскресении во плоти) у Достоевского общая с Фурье. Она находит себе эстетическое выражение в символической картине, изображающей умирающего брата Зосимы: «Выходили окна комнаты его в сад, а сад у нас был тенистый, с деревьями старыми, на деревьях завязались весенние почки, прилетали ранние птички, гогочут, поют ему в окна. И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить и у них прощения: «Птички Божия, птички радостные, простите и вы меня, потому что и перед вами я грешен». («Бр. Карамазовы», ч. II, стр. 301). Наконец, глубокий духовный переворот—пробуждение непоколебимого сознания в себе разумной свободной воли на почве на всю жизнь нерушимо сложившейся морально-религиозной убежденности—великолепно описан в том же романе: «Над ним (Алешей) широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С заката до горизонта двоился еще

неясный млечный путь. Светлая и тихая до неподвижности облекла ночь землю. Белые облака и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною. Алеша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю: «Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои». Как будто нити ото всех этих миров Божиих сошлись разом в душе его, и он весь трепетал, соприкасаясь мирам иным. Простить ему хотелось всех и за все. Какая-то, как бы идея воцарилась в уме его, и это уже на всю жизнь, на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь борцом и сознал и почувствовал это вдруг» («Братья Карамазовы», ч. II). Перед нами здесь, быть может, самый яркий поэтический символ Достоевского, где в незабываемом образе мерещится то, что, по его словам, не может быть образом, та духовная революция, тот внезапный и мгновенный, но долго подготовлявшийся, по выражению Канта, взрыв «Explosion», за которым следует кристаллизация нравственной личности человека, которым бесповоротно овладевает одна «идея» [1]):

«Звездное небо надо мною, и нравственный закон во мне!».

И. Лапшин.

17 августа 1921 г.

---

[1]) В мою задачу не входит исследование вопроса о том, каким влиянием определялось развтиие эстетических идей Достоевского. Поэтому я ограничусь лишь немногими беглыми замечаниями, предполагая, что этот вопрос может быть полностью решен лишь после опубликования богатого материала, имеющегося в архиве А. Г. Достоевской. Эстетика Достоевского в своих предпосылках может быть названа Канто-Шиллеровской, причем всего вероятнее предположить, что самого Канта («Критика способности суждения», 1-я часть) Достоевский не читал. Учение об эстетической видимости, сближение искусства с игрою, взгляд на эстетическую форму, на процесс образования художественного типа, учение об отвратительном в искусстве, идея об эстетическом символизме (symboliche Bedeutung)—все это идет от Шиллера. С другой стороны, идея пророческой роли художника, сближения между наукой и искусством и мысль о чувстве дисгармонии, разлада с окружающей действительностью, как главном стимуле в поисках за новыми эстетическими формами—эти идеи идут, повидимому, от Шеллинга через посредство, может быть, Аполлона Григорьева. Наконец, стремление к характерному, типическому, и притом к детализации и жизненной конкретизации художественных образов, напоминают воззрения Тэна и Прудона. Был ли Достоевский, однако, знаком с их эстетическими трудами, я не могу с уверенностью сказать. С Прудоном его об'единяет идея пророческой миссии художника и любовь к средневековому искусству («Dies irae», которыми восхищались и Прудон, и Достоевский).

Э. Л. РАДЛОВ.

СОЛОВЬЕВ и ДОСТОЕВСКИЙ.

Соловьев и Достоевский.

I.

Большая аудитория С.-Петербургских Высших Женских Курсов в Боткинском доме на Сергиевской переполнена слушательницами, среди них много стриженных. Двери в прилегающую залу открыты, и около дверей толпятся студентки, не нашедшие себе места в аудитории. Только отрывочные фразы и слова, сказанные особенно громко, проникают сюда, как, напр.: «не стало духовного вождя русского народа», и т. п.,—повторенные несколько раз. На всех лицах сосредоточенное внимание и серьезность, выражающие сознание громадности потери, понесенной русской землей. Читает Владимир Соловьев о значении великого только что скончавшегося писателя. Голос Соловьева звучит как-то необычно, в нем слышится какой-то надрыв, попадаются слишком часто высокие, почти плачущие ноты, свидетельствующие о сильном волнении.

Соловьев говорит о том, что Достоевскому по праву принадлежит название пророка, т.-е. лица, которое предвидит будущее и вещает о нем; ему одинаково свойственны и религиозное, и философское, и художественное вдохновение. Как художник, он учит, что красота спасет мир, но красоту он не отделяет от добра и истины. В искусстве он является предтечей нового религиозного направления, которое идет на смену бездушному реализму. Он, прежде всего, любит живую человеческую душу во всем и везде, а так как живая душа выражается в движении, то в его художественных произведениях все в брожении и движении. Его не интересует быт или неподвижное состояние общества, а его изменения, и он предугадывает направления движения; он не ограничивается простым описанием движений, но, подобно ветхозаветному пророку, судит о них и осуждает всякое уклонение от цели, которую он предугадал. Цель эта достигается трудом и подвигом. В чем состоит эта цель? Эта цель выяснилась вели-

кому покойнику только постепенно: еще будучи в Мертвом Доме, он понял, что отдельные лица, хотя бы и лучшие люди, не имеют права насиловать общество во имя своего личного превосходства, что общественная правда не выдумывается отдельными умами, а коренится в народном чувстве, и что эта правда имеет значение религиозное и связана с верой в Христа. Отсюда естественно связать общественный идеал с грядущим Царством Божиим и, ранее всего, с Церковью; этим же определяется и путь достижения идеала. Но под церковью Достоевский понимает не фактически существующее учреждение со всеми его ограничениями и недостатками, не внешнюю храмовую церковь,—хотя и она должна существовать, и притом первее всего, как все чувственное и осязательное, первее внутреннего,—и не внутреннее личное, домашнее христианство, служащее к спасению отдельного лица, а свободное христианское единение или вселенскую церковь, являющуюся задачей, решаемой людьми веры, творящими жизнь, а не людьми факта, живущими чужой жизнью. Во вселенском христианстве исчезнут все различия человечества, причем народы, однако, не потеряют своих национальных черт—они освободятся только от национального эгоизма. Дело, однако, не только в единстве, но и в свободном согласии на единство. Этот идеал вселенского христианства определяет особую задачу, выпавшую на долю России. В русских людях Достоевский ценит в особенности две черты, а именно, способность перевоплощаться в духовную суть всех наций и сознание своей греховности, связанное с требованием лучшей жизни. Эти свойства делают русский народ особенно способным к выполнению той роли, которая предназначена ему Провидением. Значение России в служении истинному вселенскому христианству, поэтому русский народ есть народ избранный, однако, не в том смысле, что он превосходит другие, а в том, что он свободно служит другим. Русский народ, несмотря на свой звериный образ, в глубине души сохраняет образ Христа, поэтому он соединит и примирит во вселенском христианстве все народы, и притом не только одной верою, но и на деле.

Достоевский понял, что полная действительность бесконечной человеческой души осуществлена в Христе, но возможность или искра этой бесконечности и полноты существует во всякой душе, даже при самой большой глубине падения. Как же осуществляется этот идеал?

Человек, который в своем нравственном падении на злобе и безумии основывает свое право переделывать мир по-своему, есть убийца. Первейший шаг к спасению состоит в том, чтобы почувствовать свое бессилие и свою неволю. Но кто останавливается на этом, тот становится само-

убийцей: он сознает свою несостоятельность и в этом обнаруживает внутреннее противоречие—акт силы и свободы, с одной стороны, и отсутствие веры в возможность исцеления, т.-е. веры в добро, которое спасает—с другой стороны. А эта вера возвращает и веру в человека, как свободного участника в деле Божьем и носителя божественной силы. Но эта вера заключает в себе и уверенность в воплощении Божества, т.-е. в соединении его с нашим существом не только духовным, но и плотским; это значит, поверить в искупление, освящение и обожение материи в лице посредника—Богочеловека. Верить в Царство Божие значит с верою в Бога соединять веру в человека и веру в его природу. Все заблуждения происходят от разделения этих трех вер,—разделения, обнаруживающегося в мистике, в философском идеализме и материализме. Достоевский понял, что эта триединая христианская вера должна быть основой духовного развития человечества. Сущность истинного христианства есть синтез этих трех вер, распавшихся в исторических судьбах народов, и состоит в примирении Востока и Запада, католичества и иудейства: примирить их значит отделить в них то, что от Бога, от того, что от человека. Эта задача выпала на долю России, благодаря духовным свойствам русского народа. Осуществление этого идеала представляет собой нравственное возрождение и духовный подвиг не отдельного лица, а целого общества и народа, и этот подвиг спасет мир.

В таких чертах изобразил Соловьев в своей речи значение Достоевского, и естественно, что эта смерть глубоко потрясла молодого философа, ибо он потерял руководителя и сотрудника в общем деле, проводившего в ярких художественных образах идеи, которые философ развивал в отвлеченных понятиях. Соловьеву приходилось особенно скорбеть еще и потому о смерти своего знаменитого союзника, что слава его и художественные произведения его находили доступ к гораздо большему кругу людей и выслушивались с бо́льшим вниманием, чем слова молодого, только что начинавшего приобретать известность философа.

В речи Соловьев следовал правильной мысли Достоевского, высказанной в «Дневнике писателя»: «чтобы судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно, и даже хотя бы в большинстве своем, может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет к тому срок». Что справедливо относительно народа, то справедливо и относительно отдельного лица. Применив эту мысль к Пушкину, Достоевский усмотрел в нем высочайшее достижение и полнейшее выражение русского духа; подобно этому,

и Соловьев, в своих трех напечатанных речах о Достоевском, рисует не столько действительное лицо, сколько идеальный его образ, в котором опущены все второстепенные и несущественные черты и сохранены лишь результативные мечты и мысли великого писателя.

Эти мечты и мысли оказались настолько сходными с кругом идей, в котором жил и которому поклонялся в конце 80-х годов прошлого столетия молодой философ,—может быть, отчасти и под влиянием Достоевского,—что невольно закрадывается сомнение, не слишком ли он сблизил и сочетал два различных духовных мира. И эта мысль приобретает тем бо́льшую вероятность, что душевный уклад обоих писателей был совершенно различный. Это различие очень скоро сказалось, и Соловьев не остановился на том, чему учил великий романист. Путь развития обоих писателей был прямо обратный: Соловьев начал с того, чем кончил Достоевский. Соловьев начал с увлечения славянофильством и разочаровался в нем, хотя и не вполне. Достоевский, напротив, начал с поклонения общечеловеческим, гуманным идеям запада и кончил славянофильским национализмом. Это заставляет задуматься о том, что́ в Соловьеве осталось родственного Достоевскому, после расхождения их путей.

II.

Когда и где началось личное знакомство Соловьева с Достоевским—этого я в точности сказать не могу, но, по всей вероятности, это знакомство завязалось не ранее 1877 года, когда в марте месяце этого года Соловьев переселился в Петербург, где он прожил без больших перерывов втечение четырех лет. Достоевский в это время почти безвыездно, по крайней мере, зимой, жил в Петербурге. Страхов, в своих воспоминаниях о Достоевском, приложенных к 1-му тому собрания сочинений этого писателя, на стр. 301 пишет: «в 1879 году, в июне месяце, была сделана вместе с Вл. Соловьевым поездка в Оптину Пустынь, где они оставались почти неделю. Отражение этой поездки читатели найдут в «Братьях Карамазовых». Некоторые находят,—например., Мишель д'Эрбиньи,—что Алеша Карамазов представляет портрет Вл. Соловьева. Розанов в двух фельетонах «Нового Времени» (1903, № 9535 и 9556) сообщает, что эта поездка была предпринята ради свидания с отцом Амвросием, и что Достоевский и Соловьев встретились там и с К. Леонтьевым, который в это время жил в Оптиной Пустыни. Совместная поездка двух писателей указывает на несомненную их близость, и можно заключить, что они уже нашли много точек соприкосновения в мыслях. Это подтверждается письмом Достоевского от 24 марта

1878 г. к Н. П. Петерсону, в котором первый пишет по поводу Н. Федорова, мечтавшего о научном воскресении мертвых, следующее: «Сегодня я прочел их (т.-е. изложение мыслей Н. Федорова) В. Сер. Соловьеву, молодому нашему философу, читающему теперь лекции о религии—лекции, посещаемые чуть не тысячною толпою. Я нарочно ждал его, чтобы ему прочесть Ваше изложение идей мыслителя, так как нашел в его воззрениях много сходного. Это нам дало два прекрасных часа. Он глубоко сочувствует мыслителю и почти то же самое хотел читать в следующую лекцию (ему осталось еще четыре лекции из 12). Но вот положительный твердый вопрос... без сомнения, самое существенное, есть долг воскресения прежде живших предков, который, если бы был выполнен, то остановил бы деторождение, и наступило бы то, что обозначено в Евангелии и в Апокалипсисе воскресеньем первым». Далее Достоевский спрашивает, как понимает Н. Федоров воскресение—аллегорически, как Ренан, или же буквально, и добавляет: «предупреждаю, что мы здесь, т.-е. я и Соловьев—по крейней мере, верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно будет на земле». Это письмо показывает, что уже в марте 1878 г. Достоевский и Соловьев частенько говорили о религиозных вопросах и во многом оказались одинаково мыслящими.

Третье свидетельство близости обоих писателей заключается в письме Достоевского к г-же N. N., от 1880 г. Он пишет: «На недавном здесь диспуте молодого философа Вл. Соловьева на доктора философии я услышал от него глубокую фразу: «Человечество, по моему глубокому убеждению, знает гораздо больше, чем до сих пор успело высказать в науке и искусстве. Ну, вот так и со мною. Я чувствую, что во мне гораздо больше сокрыто, чем сколько я до сих пор высказал, как писатель». Итак Достоевский посещал лекции Соловьева о Богочеловечестве в 1878 г., и был на его докторском диспуте, имевшем место 30 апреля 1880 г. Переписки между ними, повидимому, не было, ибо они, живя в одном городе, могли постоянно видеться, когда была необходимость. Наконец, последнее свидетельство о близости этих двух мыслителей заключается в трех речах, которые Соловьев напечатал о Достоевском после смерти последнего. Отметим еще, что внук Соловьева говорит, что его деду в Достоевском более всего нравились некоторые места из «Бесов».

Едва ли не самое раннее упоминание Соловьева о Достоевском содержится в письме к Селевиной от 19 июня 1873 г. «Не знаю, почему тебя возмутило «Преступление и Наказание»? Дочти его до конца, да и всего Достоевского полезно было бы прочитать: это один из немногих писателей, сохранивших еще в наше время образ и подобие Божие».

Некоторое разочарование чувствуется в том, что Соловьев писал Н. Страхову в 1889 году: «С тем, что Вы пишете о Достоевском и о Л. Толстом, я решительно несогласен. Некоторая непрямота и неискренность (так сказать, сугубость) была у Достоевского лишь той шелухой, о которой Вы прекрасно говорите, но он был способен разбивать и отбрасывать эту шелуху, и тогда оказывалось много настоящего и хорошего, в то время как у Толстого...».

Естественно, возникает вопрос: что влекло их друг к другу, и чем каждый из них мог быть для другого? В краткой формуле на этот вопрос можно ответить так: Достоевский искал и находил частью разрешение своих религиозных сомнений в Соловьеве, частью отвлеченное оправдание своих мыслей, Соловьев же находил в Достоевском глубокое знание и понимание темных по преимуществу сторон человеческого духа и неожиданные и логически неоправданные откровения. Соловьев очень ценил эту сторону инспирации, даже в таких писателях, которые совершенно не способны были к логическому развитию мыслей» [1]).

III.

Душевный уклад обоих писателей, которыми земля русская вправе гордиться, весьма различный. И все же в них сохранились некоторые общие, весьма важные черты, показывающие их внутреннее сродство.

Достоевский, в своем «Дневнике писателя», такими словами характеризует свою манеру изложения: «По свойству натуры моей начну с конца, а не с начала, разом выставлю всю мою мысль. Никогда-то я не умел писать постепенно, подходить подходами и выставлять идею лишь тогда, когда уже успею всю разжевать предварительно и доказать, по возможности. Терпения не хватало, характер препятствовал, чем я, конечно, вредил себе»... Ранее мы уже имели случай привести характерные слова Достоевского: «Я чувствую, что во мне гораздо больше сокрыто, чем сколько я до сих пор мог высказать, как писатель». Такая манера письма оправдывает в известном смысле восторженные слова Белинского, повторенные автору «Бедных людей» несколько раз: «Да, вы понимаете ли сами, что это вы такое написали?» Действительно, логического развития, строгих доказательств высказываемых мыслей мы напрасно стали бы искать у Достоевского: мысли его возникают как бы из недр бессознательного, обладают внутренней самоочевидностью, не нуждающейся в силлоги-

[1]) При написании этой главы я воспользовался некоторыми фактическими указаниями профессоров Д. И. Абрамовича и С. М. Лукьянова.

стике; каждая отдельная мысль стоит как бы сама по себе и не боится как-будто нисколько того, что она противоречит другой, столь же живой, образной и самоочевидной. Противоречие для Достоевского вовсе не есть критерий истины, и истинные мысли вовсе не должны образовывать системы, в которой одна зависит от другой и поддерживает другую. Мог же он написать в «братьях Карамазовых», несмотря на свою гуманность: «Издали еще можно любить ближнего, но вблизи—низачто, никогда». Точно так же мечты о вселенской церкви, которую, как думает Достоевский, русский народ носит в глубине души, и мечты о его православии вовсе не мешают тому, что, рассуждая об одиночестве русского народа, о том, что он ни в ком не находит поддержки, кроме Бога и царя, ни словом не упоминает о духовенстве, как будто бы действительной православной церкви вовсе не существует. И это не сознательное опущение, а бессознательное чувство, говорящее Достоевскому, что церковное православие так же далеко от народа, как и интеллигентское просвещение. Достоевский интуитивно схватывал и осязал самую глубину души человеческой; он чувствовал, что природа души алогична, поэтому и может быть выражена лишь в приблизительных образах и в фантастических мыслях, а не в строго логических, лишенных противоречия, формулах.

Те немногие случаи, когда мне выпало на долю видеть и говорить с Достоевским—это было на вечерах у К. Н. Бестужева-Рюмина, где собирались многие выдающиеся люди, напр., К. Леонтьев, Н. Страхов и др.,—меня поражала одна его особенность: высказав какую-либо мысль, он, казалось, попадал в плен этой мысли, и доводы, самые разнообразные, по большей части конкретные образы и исторические факты, не всегда точно воспроизводившие действительность, выплывали как-то неожиданно, как будто непроизвольно и независимо от воли и сознания говорившего. Это мне напоминает рассказ Легувэ о Ламартине, который однажды спросил своего друга: «что Вы это делаете?» «Я думаю»,—был ответ. «Как странно, заметил Ламартин: я никогда не думаю, мои идеи думают за меня». Когда одна дама попросила Ламартина написать на память ей в альбом несколько строчек, то он мгновенно, нисколько не подумав, написал следующие шесть прелестных строчек:

...Le livre de la vie est le livre suprême
...Qu'on ne peut ni fermer, ni rouvrir a son choix;
... Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois;
...Mais le feuillet fatal se tourne de lui même
...On voudrait revenir à la page ou l'on aime
...Et la page ou on meurt est dégà sous nos doigts.

Не помню, кому из двух: Альфреду Мюссэ или Леконт де Лилю,--кажется, первому,--принадлежат следующие две строчки:

...On ne travaille pas, on écoute, on attend
....C'est comme un étranger qui vous parle à l'oreille.

Таково казалось и творчество Достоевского: мысли бродили, связывались и принимали более или менее определенные контуры, как будто независимо от его воли.

Духовный облик Соловьева совершенно иной. Когда он говорил или писал, то чувствовалось, что это именно о н говорит, а не что-то в нем пребывающее, независимое от него. Даже когда он касался мистических явлений или таинственных переживаний, то и эти явления получали у него чисто рациональную форму. Если природа их и не могла быть выведена и понята чистой логикой, то необходимость признания их и внутреннее их оправдание велось всегда чисто рациональным путем. Этой чертой его души, мне кажется, об'ясняется его склонность к католицизму и к западным католическим писателям, которые веру понимают совершенно рационально и учат, что существо Бога совершенно познаваемо. Интуитивный момент в мышлении Соловьева играет второстепенную роль по сравнению с логической дедукцией. Его мышление совершенно отвлеченно, и он заботится о доказательности своей мысли и о том, чтобы в них не было внутреннего противоречия, чтобы их можно было сложить в стройную и цельную систему. Он превосходно владеет диалектикой, этим высшим цветением логического мышления—недаром побывал он в школе Канта и Гегеля—и своим громадным запасом знаний он свободно располагает, извлекая из него то, что каждый раз ему кажется необходимым, и складывая из частей различные схемы и целые строения.

Несмотря на диалектику и громадный критический талант Соловьева, его мышление остается догматическим, в то время, как интуитивное мышление Достоевского, несмотря на противоречивость и несвязность отдельных частей, имеет характер критический. Достоевский более заботился о выяснении отдельных конкретных душевных явлений, чем о том, чтобы понять их в их целостности. Для него, как он сам пишет в «Дневнике писателя», «все в вопросах»; для Соловьева же, напротив, истина дана, и задание состоит только в том, чтобы ее оправдать логически. Поэтому его мысли, как бы талантливы и высоки они ни были, все же являются лишь вариациями на заданную тему, подобно фантазиям, которые гениальный музыкант исполняет на определенную мелодию. Новы пути оправдания, но не самые положения. Когда Соловьев говорит о церкви, то он имеет в виду историческое явление и принимает его, как данный и необходимый факт, содержа-

щий в себе законное осуществление христианской идеи; вселенская церковь Достоевского, которая, по его уверению, живет в глубине души русского народа, есть лишь расплывчатый образ и неопределенная задача, возможность осуществления которой едва намечена.

При таком глубоком различии душевного облика не удивительно, что у обоих писателей должно было получиться расхождение. Если у Достоевского все было в брожении и движении, и не было ничего твердого, то у Соловьева, наоборот, основные контуры мировоззрения оставались неизменными, несмотря на глубокие потрясения, как, напр., то загадочное, о котором он упоминает в предисловии к «Трем разговорам».

В конце жизни он все же мог о себе сказать:

«Не тронуты в душе все лучшие надежды...
И призраки ушли, но вера неизменна».

Итак, в творчестве Достоевского преобладал элемент бессознательного вдохновения, в Соловьеве же преобладала логическая, сознательная мысль, державшая, так сказать, в руках его вдохновение. Недаром Соловьев так осторожно говорит об этом состоянии, когда ему приходится касаться этого предмета, напр., по поводу Пушкина или диалога Платона «Ион». Он ни разу не высказал своей полной мысли и останавливается лишь на условиях вдохновения или на передаче чужих мыслей. Он даже находит мысль Аристотеля, подхваченную в книге Ломброзо «Гений и помешательство», о «сродстве вдохновения с умопомрачением»,—заслуживающей внимания, хотя и не об'ясняющей дела.

Между тем, казалось бы, для Соловьева именно было легко построить теорию вдохновения. Ведь центральная мысль его системы есть Богочеловечество, т.-е. та мысль, которая в ином смысле встречается у антипатичного ему писателя Ницше, что человек есть мост. Человек, и по мысли Соловьева, есть соединительное звено двух сфер,—одной, находящейся ниже его, и другой, помещенной выше его. Мысль о том, что человек есть венец творения, т.-е. окончательный этап эволюционного процесса, была ему совершенно чужда. Низшая сфера по отношению к человеку для него воплощалась в духе земли, о котором он так часто говорит в своих стихотворениях:

Земля-Владычица! к тебе склонил чело я
И сквозь покров благоуханный твой
Родного сердца пламень ощутил я,
Услышал трепет жизни мировой.
В полуденных лучах такою негой жгучей
Сходила благодать сияющих небес,
И блеску тихому несли привет певучий

И вольная река, и многошумный лес.
И в явном таинстве вновь вижу сочетание
Земной души со светом неземным.
И от огня любви житейское страдание,
Уносится, как мимолетный дым.

Множество неразрывных уз приковывает человека,—всего человека, и его тело, и его душу,—к земле-владычице; от нее человек получает все свои дарования, от нее же и все наслаждения и страдания. Земля-владычица, эта сфера бессознательного, алогичная, от которой душа получает свое содержание, и только «свет неземной» озаряет эту темную сферу одержимости благодатью сознания. Дух и сознание, по древнему учению греков, появляется как бы извне в человеке и в форме рассудка вносит порядок в хаос разнообразных впечатлений, исходящих от земли-владычицы, а в форме разума стремится в высь, пытаясь разорвать цепи, чтобы пристать к нездешним берегам.

Мы все навек незримыми цепями
Прикованы к нездешним берегам,
Но и в цепях должны свершить мы сами
Тот путь, что боги очертили нам.

Путь, которым боги могут воздействовать на человека, состоит в том, что религия называет благодатью, а поэзия вдохновением, состоянием, прямо противоположным одержимости. Чтобы благодать стала в нас действенной силой, необходимо участие самого человека:

Все, что на волю высшую согласно,
Своею волей высшую творит,
И, под личиной вещества бесстрастной,
Везде огонь божественный горит.

К восприятию благодати и вдохновения человек может готовиться и может сделать это состояние длительным. Это есть путь нравственного подвига, «и не погаснет то, что раз в душе зажглось». Почему же Соловьев не развил этих мыслей в целую теорию вдохновения? Ведь сам он испытал на себе действие «света неземного». Не могло его, конечно, смущать то, что про подобную теорию Спенсер, напр., сказал бы: «да это ведь есть верование дикарей, которые убеждены, что души умерших или души предков могут проникать, во сне ли или на-яву, в душу живых и там производить разные странные явления, какие, напр., производят шаманы». Это не могло смущать Соловьева, который верил, что человечество знает гораздо больше, чем оно высказало в науке и искусстве; поэтому возможно, что и дикари могут выразить, в соответствен-

ных, конечно, их умственному кругозору формах, верную мысль. Он слишком хорошо знал, что все учение христианства есть соблазн для иудеев и безумие для эллинов. Итак, в чем же причина? Не в том ли, что область бессознательного еще мало исследована, и что многие факты еще недостаточно проверены и необ'яснимы? И не в том ли также, что на вдохновение могут ссылаться и те, дела коих ничего общего с благодатью или божественным законом не имеют? Не видел ли Соловьев перед глазами пример самого Достоевского, вдохновение которого увлекало его часто по пути, по которому за ним следовать Соловьев никак не мог?

IV.

В изложении Соловьева воззрений Достоевского сглажены некоторые черты, вследствие чего и могло получиться впечатление чрезвычайной близости воззрений обоих мыслителей. Между тем, как в духовном укладе, так равно и в решении различных проблем, именно вследствие психического различия обоих, были существенные пункты расхождения.

Общая основа обоих была и оставалась всю их жизнь в том, что они в религии видели самое существенное и полное выражение человеческой природы,—и не только в религии вообще, а именно в религии Христа, в идее Богочеловечества. Поэтому у них были и общие враги, как-то: атеизм и социализм,—у Достоевского еще и католицизм, поскольку он видел в нем источник атеизма и материализма. Социализм потому казался обоим мыслителям ложной теорией, что он переносит центр тяжести человеческой жизни вовсе не туда, где ему надлежит быть, ибо распределение и увеличение материальных благ само по себе не имеет никакого отношения к человеческому счастью; мир во зле лежит, и исцелением может быть лишь вера в Царство Божие. Рассуждения Соловьева о социализме более тонки и менее прямолинейны, чем рассуждения Достоевского, как это видно, напр., и из его французского письма к J. Huret, опубликованному в книге этого автора: Enquête sur la question sociale en Europe. Paris, 1897.

Оба мыслителя должны были относиться одинаково враждебно к учению о непротивлении злу и видеть в войне не только одно зло, так как бывают и «священные войны».

«И перед пастию дракона,
Ты понял: крест и меч—одно».

Эта общая основа заключала в себе и прикрывала собой и значительные расхождения, которые, оставляя в стороне меиее значительное, сводились к различию в понимании Бога и зла. И это различие, в свою очередь, зависело в значительной

степени от психической организации обоих. Волжский в прекрасной статье (в Мире Божьем): «Религиозно-нравственные проблемы у Достоевского» провел несколько параллелей между обоими мыслителями, и они очень правильны,—по крайней мере, поскольку они касаются Достоевского. Волжский находит, что Соловьев шел от Бога к человеку, а Достоевский—от человека к Богу;—этого и следовало ожидать, приняв в расчет отвлеченно-дедуктивное мышление Соловьева и конкретно-интуитивное—Достоевского.

Достоевский всю жизнь мучился Богом и был им мучим, он старался верить и других побуждал к вере, он боролся с атеизмом, но твердой уверенности в существование Бога он не достиг—или достигал лишь в отдельные моменты. И, опять-таки, и это, по всей вероятности, связано с трудностью конкретного представления о Божестве и с психологической невозможностью для него представить себе Бога в форме отвлеченного начала, напр., в форме идеи добра (у Платона). Бог ему представляется в «Бесах», как синтетическая личность всего народа, взятого в его целом. Нет общего Бога у всех народов; он всегда и у каждого народа особый. Чем сильнее народ, тем особливее его Бог, и это признак уничтожения народности, когда Бог начинает становиться общим. И так сильно было стремление Достоевского конкретизировать идею Бога, что в «Братьях Карамазовых» он ставит народность и Бога в ближайшую связь: «Кто не верит в Бога, и в народ Божий не поверит, кто же уверовал в народ Божий, тот узрит и святыню его, хотя бы сам и не веровал в нее до того вовсе. Народ есть тело Божие, и жизнь народа состоит не в чем ином, как в искании своего особого Бога». С этим связана и невозможность для Достоевского представить себе Царство Божие иначе, как на земле, на которой должно и произойти воскресение мертвых. Поэтому Христос был для него гораздо ближе и понятнее Бога, как чисто индивидуальное осуществление высочайшего идеала нравственности, с которым связаны все гуманные стремления Достоевского. С воскресшим Христом связана и вся вера писателя в возможность нравственной жизни. Как понять бесконечное страдание невинных, попрание человеческих прав и человеческого достоинства в жизни, если не допустить, что примирение наступит в будущей жизни, в которой каждый получит по своим действительным заслугам? Нравственность только и можно спасти, предположив существование бессмертия, а бессмертие неминуемо ведет и к вере в Бога. Достоевский мучился Богом, но корень его мучений находился в его личных переживаниях, в душевном страдании, вызываемом в нем горем и мучениями, на которые он насмотрелся в своей жизни. Вопрос о зле был для него чисто конкретный и индивидуальный, и он не мог и не спо-

собен был решать его в отвлеченной форме, как это, напр., делает Лейбниц, спокойно делящий зло на разные виды и утверждающий, что зло есть отрицательное только понятие. Действительное, положительное зло в человеческой жизни, в существовании коего наш писатель не сомневался, привело его сначала к бессмертию, а потом—к колеблющейся, правда, вере в Бога.

Живое ощущение действительности, интуитивность мышления, стремление конкретизировать отвлеченные проблемы определили и дальнейшие выводы, которых не мог избежать Достоевский. Как мог он соединить в одно целое учение о вселенском христианстве, в котором сольются все народности и уничтожатся все разноглаия, с предтавлением о Боге, как народной синтетической личности, с представлением об особом Боге каждого народа, о том, что народность есть тело Божие? Для него была только одна возможность, заключавшаяся в представлении о той миссии, которая, по его мнению, возложена на Россию, а именно—в утверждении, что вселенское христианство не есть задача будущего и что оно уже осуществлено—и именно в православии русского народа. Это был тот путь, который одним казался высочайшим достижением писателя, другим, напротив, изменою общечеловеческим идеалам, ведущею к самым нежелательным заключениям. Ибо ясно, что восторги «народом богоносцем» содержали в себе и косвенное осуждение других народностей и их религиозных представлений.

Достоевский, действительно, не удержался от крайностей в обоих указанных направлениях. Преклонение перед народом-богоносцем привело его к утверждению, что русский народ есть избранный народ и только он сохранил чистоту евангельской веры. На ряду с поклонением перед народом мы находим у Достоевского и осуждение интеллигенции: она гораздо хуже народа и никаких драгоценностей из Европы народу она не принесла. Она не хочет знать народа и напрасно читает ему лекции о веротерпимости и свободе; в этом отношении народ может научить кое-чему и Европу. Так как русская интеллигенция всегда была либеральна, то Достоевскому естественно было перейти к нападкам на либерализм, который обнаруживается главнейше в двух сферах—в литературе и в адвокатуре. Этим об'ясняются нападки Достоевского на Гамму-Градовского и Авсеенко, а также на Утина и Спасовича. Достоевский требует, чтобы зло было изображаемо, как зло, а не как добро. Во всем этом много справедливого, но не погрешали в этом отношении и сам Достоевский?

Каждому народу конечно, свойственно верить, что он есть избранный народ, иначе говоря, что он имеет особое назначение и место, пока он имеет самостоя-

тельность и независимость, и вместе с тем верить в истинность исповедуемой им религии. Но вопрос о том, кто в чистоте сохранил евангельскую веру, сам вовсе не есть вопрос веры, а вопрос исторического знания и знакомства с народною душою. Первого, конечно, у Достоевского не было в достаточной мере, вторым же, т.-е., проникновением в народную душу, он обладал более, чем кто-либо. Но преклонение перед народом не мешало ему видеть, что «зверин его образ», что он «груб и грешен», что он «духовно болен, но не смертельно», что он лишь «обеспокоен нравственно». «Несмотря на внешний звериный облик, в глубине души его живет Христос, а вместе с Христом, конечно, просвещение, и в высшие роковые минуты свои народ решает и решал великое общее всенародное дело свое всегда по-христиански». «Народ, в огромном большинстве, православен и живет идеей православия в полноте. В сущности, в народе нашем, кроме этой идеи, и нет ничего, и все из нее одной исходит». Во всем этом есть доля увлечения и преувеличения, но и значительная правда, которую отрицать нельзя. Но как это вяжется с идеей братства народов и вселенской церкви? Что может выиграть в смысле обогащения содержания православная церковь от соединения ее с другими христианскими исповеданиями? Очевидно, это соединение может состоять в простом присоединении католичества к православию, и вся выгода в этом деле осталась бы на стороне католичества.

Но законное национальное чувство у Достоевского не удерживается в указанных границах; он не только преклоняется перед своим народом и его исповеданием, но считает ложными всякие иные. Законное чувство национальной гордости у него переходит в ложный национализм, и это легко проследить в двояком отношении—в религиозном и политическом. В своей отрицательной оценке католичества Достоевский, очевидно, идет слишком далеко и перехватывает через край, если он утверждает, что католичество уже не христианство—как это мы читаем в 3-ей главе ноябрьского дневника за 1877 г. и в «Братьях Карамазовых»; что в католичестве действовал не Христос, а злой дух, бес, чорт. «Что такое восточный вопрос», пишет он в другом месте. «Восточный вопрос есть в сущности своей разрешение судеб православия». Судьбы православия слиты с назначением России. Что же это за судьбы православия? Римское католичество, продавшее давно уже Христа за земное владение, заставившее отвернуться от себя человечество и бывшее, таким образом, главной причиной материализма и атеизма Европы, это католичество, естественно, породило в Европе и социализм, ибо социализм, имеющий задачей разрешение судеб человечества уже не по Христу, а вне Бога и вне Христа, и должен был зародиться в

Европе, естественно, взамен упадшего христианского в ней начала, по мере извращения и утраты его в самой церкви католической. Утраченный образ Христа сохранился «во всем свете чистоты своей в православии». Можно ли представить себе суждение более рискованное, в котором различные явления связаны в одно целое? Оставляя в стороне вопрос о том, в какой мере католицизм виноват в материализме, атеизме и социализме, нельзя не вспомнить того, что материализм, вовсе не тожествен с атеизмом, ибо ни Эпикур, ни Тертуллиан, ни Гоббс не были атеистами, будучи родоначальниками материализма; точно так же и социализм вовсе не должен быть по необходимости атеистичным, в нем есть элемент религиозный и элемент правды вообще, которые и сам Достоевский проглядел.

Если увлечение национальной идеей привело Достоевского к неправильной оценке некоторых религиозных явлений, то то же самое, и еще в большей мере, произошло с ним и в сфере политической. Отношение его к полякам, может быть, отчасти об'ясняется его отношением к католичеству; точно так же, может быть, и осуждение ветхозаветного избранного народа, на место которого он поставил свой избранный народ, об'ясняется хотя отчасти религиозными мотивами. Но таковых не было, когда он упрекал Данилевского, автора книги «Россия и Европа»,—моральные основы которой были так строго осуждены Соловьевым,—в том, что он недостаточно усвоил себе славянофильскую программу в вопросе о Константинополе, долженствующем принадлежать России. Самую книгу он называет прекрасною. Он даже доходит до того в национальном увлечении, что говорит о «скотах-турках» и о «европейской швали». Впрочем, может быть, такой язык в публицистике и считается допустимым.

Достоевский, без сомнения, велик, как писатель-художник; он интересен и глубок, как религиозный мыслитель, но политические его обнаружения, сделавшие его идеологом известного периода русской истории, вряд ли прибавляют много к его неувядаемой славе, хотя и в этой области он высказал столь глубокие и верные мысли, что они граничат с прозрениями. В Достоевском, как религиозном мыслителе, ценно для читателя именно то, что он, вместе с автором, переживает колебания и сомнения, которые каждый испытал, что читатель не видит прямолинейного осуждения греха и преступления, в которые каждый впадал или, по крайней мере, был близок к тому. Достоевский является человечным по преимуществу писателем именно той стороной его анализа, в котором он касается темных и болезненных явлений душевной жизни, таящихся в глубине бессознательного в каждом человеке; спокойное и безмятежное обладание истиной есть

удел немногих, и менее всего он свойственен Достоевскому. Но если ему кажется, что сама греховность есть необходимое условие и ступень к спасению, то в этом апофеозе греха читатель, полагаю, усмотрит увлечение, в которое вовлекло гениального писателя его глубокое знание темных сторон человеческого сердца.

Мог ли Соловьев во всем сочувствовать Достоевскому?

Соловьев, читавший лекции о Богочеловечестве и писавший речи «о Достоевском» и Соловьев «Оправдания добра» и, в особенности, «Трех разговоров» с его «повестью об антихристе»—два весьма различных лица; если «повесть об антихристе» и можно внешне сближать с «Великим инквизитором», то излагаемые в них воззрения очень различны. Много увлечений им пережито и оставлено окончательно, в том числе общее с Достоевским увлечение мыслями Н. Федорова; розовое настроение юности уступило место некоторому разочарованию, и хотя вера осталась неизменною, но сознание близости конца омрачает ясное миросозерцание, и Соловьев начинает чувствовать, что «его душа одна и видит пред собою—свою лишь тень». Такое же ощущение близости конца и смешение своего конца с концом мира, какое испытал Соловьев, пережил и Достоевский; в воспоминаниях г-жи Починковской приведены следующие слова, сказанные Достоевским не задолго до смерти: «они (либералы) и не подозревают, что скоро придет конец всему и всем их прогрессам и болтовне. Им и не чудится, что антихрист-то уж родился и идет он... идет к нам антихрист! идет! И конец миру близок, ближе чем думают».

Славянофильские мечты Соловьева рассеялись, как дым, а вместе с тем вера в возможность Царства Божия на земле, которую он лелеял одно время вместе с Достоевским, уступила место надежде, что это Царство наступит в другом плане. Соловьев продолжал верить в миссию России, но она не представляется ему, как присоединение католичества к православию, сохранившему чистоту веры. Он слишком хорошо знает историю церкви, чтобы одно католичество винить в разделении церквей. И первый шаг к спасению человечества представляется ему не как простое признание истины православия, а именно как соединение, в котором обе стороны одинаково участвуют и одинаково выигрывают. Добродетель он не ставит в непосредственную связь с бессмертием и верою в Бога, а представляет себе возможность добродетельной жизни и вне религиозной сферы. Хотя он и не отрицает того, что все добродетели коренятся в безусловном начале и что высшие из них охватывают собой все остальные, однако, это не помешало ему утверждать, что люди неверующие сделали для распространения истинного христианства более, чем представи-

тели церкви. Точно так же и к социализму он не относится с безусловным отрицанием, а признает, что в вопросе, напр., о частной собственности, которая не имеет морального основания, противники и защитники ее одинаково неправы, хотя и в различных отношениях. Не отрицая значения национальной идеи и национального чувства, он далек от национализма и с особенной болью чувствует всю нравственную невозможность оправдания национальной политики в вопросах польском и еврейском, и национальной политике он противополагает требование христианской политики. Наконец, в страданиях и грехе он не видит необходимого условия спасения, хотя, конечно, греховность не может быть и препятствием к спасению, ибо ведь весь мир во зле лежит, от необходимости которого Христос избавил человечество своей искупительной жертвой, оставляя лишь возможность греха в свободе человеческой воли.

Итак, расхождение по разным вопросам у обоих писателей очень глубокое. Что же заставило Соловьева пойти по пути, приведшему к такому расхождению? Что заставило его изменить свои первоначальные убеждения? Это вопрос сложный, и поднимать его в полноте здесь не место. Отчасти, может быть, здесь играли некоторую роль и внешние условия его жизни, и различные влияния, которые он испытывал, но главную роль, конечно, играло прямое развитие его философской мысли, которое заставило его совершенно иначе ставить проблемы и решать их в отвлеченной сфере мысли. Если моральная сторона христианства совершенно ясна и не нуждается в толковании, а только в раскрытии и применении ее ко всем областям жизни, то того же нельзя сказать о метафизической стороне: здесь, в толковании «веры отцов», мышление может пользоваться широким простором и впитывать в себя разнообразные элементы. Первоначальную основу Шеллингова учения о Боге, зле и свободе и некоторые гностические элементы Соловьев старался рационализировать и создать свободную теософию и теургию, причем он охотно пользовался терминами и понятиями, которые казались трудно соединимыми с его религиозными представлениями; так, он пользуется терминами естественной религии, естественного права, душой земли, мировой душой, отожествляя последнюю с человечеством, лотосом, Софией или вечной женственностью и т. д. В эти понятия он вкладывал не всегда одинаковое содержание, и они у него не всегда играли одинаковую роль; они то выступали как бы на первый план,—в начале и в конце его философской деятельности, то отступали на задний план—в средние годы его деятельности, но присутствие их всегда чувствовалось, как нечто неуловимое и не вполне уловленное самим автором. Но всегда он ставил проблемы, даже чисто

индивидуальные, в общей и отвлеченной форме. Бога он всегда представлял себе, как личное начало, несмотря на симпатию к пантеизму гностиков, Шеллинга и Спинозы, и зло он всегда ставил в зависимость от свободы человеческой воли, несмотря на ограничение ее благодатью. Он всегда оставался философом и ценил права разума, даже и в тех случаях, когда касался вопросов, наименее поддающихся решению логики. Отсюда его осторожность, на которую мы уже имели случай указывать, говоря о теории вдохновения.

Да, они разошлись во многом, и каждый шел по своей дороге, каждый искал своего пути к бесконечному началу. Но значит ли это, что пережывший своего знаменитого союзника писатель перестал ценить его и отвернулся от него? Нисколько. Все мы представляем нечто неповторяемое и поэтому безусловно ценное; каждый из нас выражает по-своему и соответственно своим природным данным одно общее искание, и потому ничто не мешает нам наслаждаться духовным богатством вождей человечества, ведущих нас по разным дорогам. В одном выразилось тайное, мятежное искание бесконечного, в другом—уверенность в обладании им. И если я выражу надежду, что когда-нибудь восторжествует ясное сознание над бессознательным, то это не мешает признанию, что, благодаря обоим писателям, мы можем сказать:

Да, с нами Бог,—не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханьи бурном
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь,—средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог.
Владеем мы всерадостною тайной:
Бессильно зло: мы вечны, с нами Бог.

Э. Л. Радлов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В. КОМАРОВИЧ.

НЕНАПИСАННАЯ ПОЭМА ДОСТОЕВСКОГО.

Ненаписанная поэма Достоевского.

Издалека смотреть на Россию, а вместе, в созерцательном покое, и на самого себя, чтобы понять, наконец, и выразить свое самое сокровенное—к этому стремился не один Гоголь. Скитальчества Достоевского по Европе—во внутренней истории его духа, его развития—занимают приблизительно такое же место...

В 1867 г., надолго покидая Россию, Достоевский уносил с собой горькое чувство всевозможных утрат и разочарований. Последние годы перед этим были для него полны суровых испытаний судьбы. Несчастья начались смертью жены (1864 г.).

«Когда она умерла, писал Достоевский Врангелю, я хоть и мучился, видя, как она умирает..., но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землей». Но это было только начало... Вскоре, в том же году, умирает брат Михаил Михайлович. — «Бросился я, схоронив ее, в Петербург, к брату—он один у меня оставался, через три месяца умер и он» ... Одна за другой оборвались две самые крепкие связи с жизнью. «Я остался вдруг один, пишет Достоевский, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась на-двое». И вместе до крайности усложнились внешние условия жизни. Смерть брата не только отняла друга и сотрудника, но и запутала денежные дела. Достоевский берет на себя уплату многочисленных долгов покойного,—сознательно отдает себя, свой талант, работу в кабалу кредиторам и литературным дельцам, вроде Стелловского. И это еще не все; нужно было спасать журнал брата,—дело, на которое затрачено было столько надежд и воли. Но все усилия не приводят ни к чему; героическая борьба, которую затеял он, публицист-проповедник, кончается поражением: в 1865 г. из-за долгов, отсутствия подписчиков, среди брани и свиста журнальных врагов, закрывается «Эпоха»... «Судьба меня задавила», пишет Достоевский дру-

гу... Гибель одушевлявших надежд, страшное одиночество и лихорадочная работа для денег, в уплату долгов,—«хоть бы снова в Сибирь», вырывается странное и страшное признание. В этой безнадежности, минутами, как бы вовсе угасает воля; жизнь разрушается; его непрестанно сжигает какая-то внутренняя лихорадка; озноб, жар каждую ночь; худеет ужасно... Потом падучая. «Едва приехал в Петербург (из Висбадена, осенью 1865 г.), в первую же ночь—сильнейший припадок; оправился, дней через пять—другой припадок, еще сильнее».—«Чувствую, пишет Достоевский, что только случай может спасти меня. Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянию. Тревога, горечь, самая холодная суетня, и, вдобавок—один, прежних и прежнего сорокалетнего нет уже при мне»... Это отчаяние, одиночество—только ли в сфере привязанностей, как бы сильны они ни были, только ли в сфере материально-деловой? Это период отчаяния не только в своей личной судьбе, но и отчаяния метафизического. Ведь назвал же потом сам Достоевский «Подполье» своим Standpunkt-ом, средоточием, хотя и временным, своего духа. Значит, какой-то период его духовной жизни был отмечен этим «подпольным» уединением, этим рассудочным расколом с жизнью. И не о прошлом только, не о своих только «40-х годах» рассказывает Достоевский в 1864 г. этими записками одинокого отщепенца,—в 1866 г. историей рассудочного преступления. Недаром задумывает он «Записки из подполья», как «Исповедь», и только в последней редакции, очевидно, изменяет заглавие. В середине 60-х годов отчаяние Достоевского не только за личную судьбу свою. Это—отчаяние в судьбах человека и человечества; это горькая вера в неисцелимость человека от холодных навождений рассудка, «логики»,—всегда религиозно-бесплодной, преступной. Дух человеческий безнадежно отвращен от иной жизни, кроме как в этом «подполье». А эта иная, не «подпольная» жизнь только смутно угадывается еще, как непосредственная, нерассудочная разумность (Разумихина, например). Но как далека она еще и от героя «Подполья», и от Раскольникова, как непонятна. Ведь они оба дошли только до слепой необходимости отрицать свое «Подполье»,—не зная, во имя чего это надо, зная только, что надо. Тут в Достоевском—безнадежность Раскольникова рассудить себя, понять, почему не смог «преступить», почему нужно было наказание...

Так, едва ли тогда в Достоевском «тревога, горечь, холодная суетня» была только на зыбкой душевной поверхности: отчаяние было глубже; за кризисом душевным угадывается кризис духовный...

И, однако, несмотря на все, верит Достоевский в свою «кошачью живучесть», кажется ему, «что только собирается жить», что-то подсказывает внутри, что уйдет из всех своих тупиков. И, как всегда бывает, внешними переменами стремится ускорить ожидаемое перерождение.—«Мне решительно нельзя жить в Петербурге», пишет он Врангелю. «В Петербурге припадки усиливаются, а заграницей этого не бывает. Поскорее поехать в Дрезден, засесть на три месяца..., чтобы никто не мешал». Там, заграницей, в скитаниях по Европе, ждал, очевидно, Достоевский, какого-то разрешения, духовного освобождения, прояснения. Надежды эти до некоторой степени оправдались.

Духовная жизнь Достоевского, насколько она видна нам, лишена поступательной непрерывности, где усложнение (рост, развитие) протекало бы ровно и последовательно. В Достоевском это—не протягивающаяся вперед линия, но, вернее, ряд концентрических кругов, замкнутых каждый в себе и, однако, об'единенных одним центром. Центр этот—перерождение, т.-е. мгновенное упразднение, уничтожение того, что только что было, чем-то новым, совершено иным. Вокруг такого центра замыкаются один за другим круги мыслей, идеологических построений, творчества,—каждый новый круг, как бы повторяя предшествующий, начиная все снова и замыкающийся в себе, лишь только обежит вокруг все одного и того же центра. Только каждый новый круг полнее, шире предыдущего...

Достоевский-юноша, почти мальчик, однажды в зимний январьский вечер остановился в задумчивости над замерзавшей Невой. И вдруг совершилос что-то неожиданно-странное. Показалось, что весь этот мир исчезает, искуривается паром к темному небу. Что-то зашевелилось вдруг в нем; сердце как будто облилось в это мгновение горячим ключем крови; это—прилив могущественного, но доселе незнакомого ощущения. Он как-будто что-то понял в эту минуту, как-будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, доселе незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. «С той минуты началось мое существование», говорит Достоевский.

Вот первое обнаружение духовной сердцевины Достоевского. Она в этой способности личности мгновенно исчезать и тотчас снова рождаться, и уже новой, совершенно иной. И лишь только обнаружился этот центр, вокруг него замыкается первый круг: «Ощущение на Неве» и рассказано ведь

Достоевским [1]) в пояснение—как источник—первых творческих грез его—об «оскорбленной девочке», «смешном титулярном советнике» («Бедные люди», «Двойник»). Достоевский сороковых годов, «гуманные» идеи, образы «униженных и оскорбленных»—все это замыкается вокруг одного мгновения, одного минутного «ощущения», в котором исчез один Достоевский и родился другой, иной («что-то новое», «новый мир», «началось существование»)...

1849 год, арест и Петропавловский равелин, эшафот, затем каторга... Десять лет спустя, в 1859—60 гг., старые друзья просто не узнавали, вероятно, не чувствовали прежнего Достоевского в том, который появился среди них в Петербурге, в Москве. Перемена эта—результат последовательного приумножения, накопления нового к старому, результат роста, развития?

Едва ли. Картина рисуется другая. Последние годы перед событиями 1849-го г. отмечены в жизни Достоевского необыкновенным смятением, упадком духа. «Ты не поверишь, писал Достоевский брату в 1847 году, вот уже три года литературного моего поприща, я как в чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться, наука уходит за невремением. Хочется установиться... До которых пор пойдет этот ад, тут бедность, срочная работа,—кабы покой...». Он хочет покоя, чтобы установиться, т.-е. понять себя, но вместо покоя—смятение, смешанное со страхом, с ужасом; он боится всего, болезни, например, и изводит расспросами друга—доктора; вид похоронной процессии доводит до обморока; ложась спать, оставляет записку, предупреждающую о возможной летаргии.

Если об'яснять все это лишь внешней биографической обстановкой (бедность, ссора с Белинским и раздраженное самолюбие),—безвозвратно утратится тогда цельность живой личности, которая всегда из себя и в себе обусловливает даже и внешние свои проявления и состояния. Поэтому и за внешними фактами биографии мы вправе усматривать определяющую их духовную основу.

Что же скрывалось за этой нервозностью, граничащей с чудачеством? «Начинаешь бояться жизни», признается Достоевский брату. Это страх перед той загадкой, той тайной, которую находит он внутри себя; обычная юношеская пытливость, метафизическая тревога (есть ли Бог, загробная жизнь)—здесь—в форме смятенного ужаса, непрестанно нарастающего, так что неизбежным кажется какой-то предел, где должно наступить или разрешение, или гибель; стоит припомнить повесть «Хозяйка», чтобы согласиться с этим. Наступило разрешение—в Сибири; так обычно думают, так

[1]) «Петербургские сновидения в стихах и прозе».

утверждал сам Достоевский [1]). Но этот долгий период—жизни в Сибири—когда зарождались и зрели новые мысли о народе и «почве», не есть ли только результат перерождения? Перерождение и здесь было мгновенно, неуловимо для рассудка—не текучее развитие, но katarsis. Много лет спустя, в романе «Идиот», Достоевский вспомнил и указал нам это мгновение. Это минуты на эшафоте в 1849 году; о них рассказывает князь Мышкин Епанчиным. «В промежутке между двумя приговорами, двадцать минут, или, по крайней мере, четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет... Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Эти пять минут казались бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизни, что сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал; расчитал время... две минуты положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть... Настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чем будет думать: ему все хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь, есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то—так кто же? Где же? Все это он думал в эти две минуты решить. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи—его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними... Неизвестность и отвращение от этого нового были ужасны»... Вот тут, на эшафоте, 22-го декабря 1849 года, этими двумя минутами невыразимого, несказанного раздумья п р о с е б я был снова проведен рубеж между прежним Достоевским и новым, тут только родившимся [2]). До этого—смятенность духа, страх перед жизнью, ужас неведомого; но вот отсчитаны сроки, когда все должно разрешиться,—каких-то двадцать минут, меньше—четверть часа, еще и еще меньше,

---

[1]) Другу юности, доктору Яновскому, Достоевский писал уже в 1872 г.: «Вы любили меня и возились со мною, с больным душевной болезнью (ведь я теперь сознаю это) до моей поездки в Сибирь, г д е я в ы л е ч и л с я.

[2]) Такая значительность мгновений на эшафоте видна хотя бы в некоторых художественных изображениях Достоевского; рассказывая, например, о первой встрече «Подростка» с странником Макаром, Достоевский неизменно сохранил тут подробности автобиографического признания из романа «Идиот»: тут те же солнечные лучи, то же отвращение и злоба перед новой открывающейся жизнью (см «Подросток», часть 3, глава I); но ведь встреча подростка с странником—решительный перелом в его жизни.

какая-то одна непротяженная точка времени: «две минуты». И в это мгновение погибает, исчезает все прежнее «разрешается все», все вопросы; начинается новый цикл мыслей, чувств, творчества ..

Перед нами теперь два личных документа: юношеское «ощущение на Неве» и рассказ Мышкина; если присоединить к ним третий—описание эпилептического припадка (в том же романе «Идиот»)—духовная жизнь Достоевского станет видна не только со стороны, т.-е. формальной, но и в сокровенном своем переживании.

В самом деле, каково содержание этих преображающих мгновений, этого центра, духовной сердцевины Достоевского? «Перед самым припадком, вдруг среди грусти, душевного мрака, давления мгновениями как бы воспламенялся его мозг, и с необыкновенным порывом напряглись разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармонической радости и надежды..., неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного слития с самым высшим синтезом жизни... Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилием самосознания..., самосознания, и, в то же время, самоощущения в высшей степени непосредственного». В этот момент как-то становится понятно необычайное слово о том, что «времени больше не будет».

Из сопоставления этого признания с двумя другими обнаруживается нечто общее, характеризующее скрытую сущность Достоевского. Прежде всего, эти мгновенные перерождения его ничем не обязаны логической способности в ы в о д а, у м о з а к л ю ч е н и я; это что-то совсем иное, чем перерождение Л. Толстого д о п у щ е н н о й, принятой мыслью (как это рассказано в его «Исповеди»). Во всех трех признаниях Достоевского он как бы инстинктивно подчеркивает внеразумную непосредственность своего состояния: «О щ у щ е н и е на Неве»—без всякого логического содержания; на эшафоте—нелепая, неразумная надежда слиться с солнечным лучом; наконец, это не столько «самосознание», сколько «с а м о о щ у щ е н и е в высшей степени н е п о с р е д с т в е н н о е». И пока Достоевский характеризует эти состояния, как состояния души, как нечто текучее,—он говорит только о непрестанно нарастающем напряжении, о каких-то борющихся усилиях воли: на эшафоте—«ему все х о т е л о с ь представить себе, как можно скорее и ярче предстоя-

щее состояние; перед припадком—«с необыкновенным порывом напрягались разум, силы», это мгновение «необыкновенного усилия»...

Но за этим напряжением воли уже ничего не остается обычно-психического, потому что мгновенно исчезает самый носитель этого психического—личное «я». Осуществляется «совершенно новый мир», начинается «новое существование», личное «я» растворяется в солнечном луче, сливается «восторженно, молитвенно с самым высшим синтезом жизни». Поэтому покой и радость, которые ощущаются тут,—мистического, трансцендентного порядка, не имеют себе эмпирического носителя. Мгновенные перерождения Достоевского—мистическое высвобождение воли из всех своих ограничительных оболочек; индивидуального, отграниченного уже нет, но есть «слитие» («солнечный луч»), и «времени больше не будет». Это та «изумительная, кафолическая, трансцендентальная перемена», которую с удивлением и трепетом находили в себе и другие мистики, когда все законы психологии становятся тщетными и пустыми, когда кожа совлекается, по крайней мере, выворачивается, и у человека как бы пелена спадает с глаз»[1]).

Такими мгновенными прорывами за пределы логики и опыта каждый раз обновлялся весь состав личности; мгновенно соприкоснувшись с «миром иным», она жила затем,—уже войдя, вернувшись в свои пределы,—как бы воспоминанием этого «слития», «молитвенного» синтеза. Но иссякало это воспоминание, опять наступала полоса ужаса, смятения,—слишком плотно сжимались границы личности—и опять необходимым становилось обновление ее иррационального состава.

Такова схема внутренней духовной бессознательной жизни Достоевского. Но в какой мере согласовалась она с сознательными заданиями Достоевского, в какой полноте достижимы были им самим заданные себе цели? Цели и задания эти—Теодицея, оправдание Бога жизнью или жизни Богом, умиротворение своей духовной тревоги и горечи (перед зрелищем человеческого страдания), усмотрением, отчетливым и полным, нравственной законности этого текучего потока, скорби и страданий, ненужной, казалось бы (с нравственной точки зрения) гибели и падения лиц, народов.... Доступно ли оно было Достоевскому, такое усмотрение? Согласно нашей схеме, мистический путь Достоевского—всегда нисхождение, от мгновенного исступления и примирительного озарения к мирской юдоли, скорби и ужасу. Восторг и примирение поэтому всегда были отделены от видимого, чувствами

[1]) Клаудиус. Его цитирует Шопенгауэр («Мир, как воля и представление»).

воспринимаемого, от об'ектов опыта, т.-е. от той жизни, оправдание которой и задавал себе Достоевский, и после таких мгновенных под'емов, лишь только вступал в свои права разум, жизнь представала перед ним—перед разумом Достоевского—снова как «ахинея» (Ивана Карамазова), где все позволено, потому что все нелепо. В таком *нисходящем* направлении Теодицея, как устойчивое достижение,—возможна ли? Тут всегда разрыв и зияние—между двумя этими состояниями: мгновенной неразумной ясности и рассудочной темноты. Достоевскому не свойственен был иной путь, только и ведущий к цели, правда не в той полноте, как этого хотел Достоевский—путь восхождения, когда нравственный разум не спорит, не враждует с жизнью, но спокойно подымается на высоту созерцания этой жизни в ее вечных, хотя и призрачных, формах. Только в этой созерцательной деятельности разума достигается гармоническое тождество мира и личности,—мира, оправданного разумом, и личности, сохранившей себя не разрушенной. Ведь уже сказано, что мир может быть оправдан *только как феномен эстетический*, а об'ектом такого (для Достоевского неполного) оправдания мир предстает только тут, в этом безвольном созерцании. Достоевскому—в противоположность Пушкину, например,—органически чужда была эта целительная созерцательность. Не умел он подобно Пушкину от чувственного восприятия подыматься до светлой незаинтересованности, где воспринимаемое оправдывается, как красота.

«В багрец и золото одетые леса», за мельницей ручей, сосед с охотою и лай собак, и отдаленные седой зимой угрозы,—Достоевский не мог перейти от всего этого к сладкой тишине самозабвения, к радостной свободе созерцания («И пробуждается поэзия во мне»). В Достоевском совсем другое; там, где соприкасается он с природой, где, казалось бы, скорей всего мог наступить этот созерцательный покой,—там мы имеем изумительные признания.

«Иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь в горы, кругом сосны, старые, большие, смолистые... солнце яркое, небо голубое, тишина страшная. Вот тут-то, бывало, и *зовет все куда-то*, и мне все казалось, что если пойти все прямо, пойти далеко-далеко и *зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается*, то там вся и разгадка, и тотчас же новую жизнь увидишь»...

Нигде ярче не сказалась эта неспособность Достоевского остановиться, сосредоточенно задержаться на черте, «где небо с землей встречается», а ведь только тут, на этой линии—в созерцании—является греза, оправдывающая мир.

«Перед ним было блестящее небо, внизу озеро, кругом горизонт, светлый и бесконечный, которому конца края нет. Он долго смотрел и терзался..., простирал руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой». Ни намека на целительную радость самоутраты, нисколько не усыплен сладко, но терзается и плачет, чувствуя еще сильнее здесь,—перед солнцем, небом,—свою обособленную самость, свою личность, «совсем чужую» и этому солнцу, и этому небу [1]). А чтобы перестать терзаться, нужно что-то другое, чем только видеть солнце, небо, горы и сосны; нужно «зайти вот за эту линию»,—уже ничего не видеть, ослепнуть в ослепительном, как молния, свете преображения...

Итак, в Достоевском взаимоотношение личности и мира в конечном счете определялось мгновенным исступлением, экстазом; но здесь достигавшийся синтез не был прочен и длителен и ни в какой связи не стоял с тем личным разумом, с тем мыслящим Достоевским, который так настойчиво и страстно требовал нравственного оправдания жизни: такое оправдание, такое требование сознательной личности оказывалось недостижимым, пока личность сохраняла себя, оставаясь в формальных пределах своего чувственного опыта, оставалась сама собой. Если воспользоваться старым определением гения, как повышенной способности к созерцанию—Достоевскому не хватало гениальности.

Но если всякий путь самосовершенствования может быть назван путем к гениальности, о Достоевском это можно сказать в более точном смысле слова. Знал он, что его последняя цель, Theodicea, если в какой-либо мере и достижима, то только тут, в гениальной способности созерцательно соотноситься миру. Всем тревожным, обвинительным вопросам Ивана Карамазова, всем утверждениям его contra Deum et Mundum, что противополагает Достоевский, как оправдательные pro Deo, pro Mundo? Зосима, в своем поучении, прямо повторяет Карамазовский вопрос: «разве можно быть счастливым», когда столько страдания? «Но можно, можно!» отвечает он. Почему можно? И вот Карамазовскому «бунту», отрицанию ответ только в этом: «благословляю восход солнца ежедневный, сердце мое поет ему.. Ночь светлая, тихая, теплая июльская, река широкая, пар от нее поднимается, свежит нас, слегка всплескивает рыбка, птички замолкли, все тихо... Истинно все хорошо и великолепно, потому что все истина»... Но не обладая сам этой

[1]) Смело относим это состояние князя Мышкина к самому Достоевскому, как единственное почти в его творчестве переживание природы.

силой целительного созерцания, как данностью, однако, именно к ней прикрепляя свои идеологические задания, Достоевский надеялся приобрести ее «своими средствами»; надеялся, что явится она результатом одного из мгновенных перерождений. Недаром поучениям старца Зосимы о «земной радости» предпослан рассказ о трех таких преображениях,—*таких*, какие свойственны были самому Достоевскому: это—преображение брата Маркела, самого Зосимы и, наконец, «таинственного посетителя» его...

Но еще осязательнее эти надежды и чаяния Достоевского,—найти в созерцании нравственную полноту жизни, «земную радость» путем мгновенного перерождения,—видны на том пути, по которому повел он «любимого, хотя и будущего героя» своего, Алешу. Когда обнаружился «тлетворный дух», после страшного смятения духа и отчаяния (как всегда у самого Достоевского), Алеша достигает этого целительного потрясения (как другие герои Достоевского, как сам он): «Как подкошенный, повергся на землю..., так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая слезами и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков... Полная восторгом душа его жаждала свободы». Пока—это только присвоенный любимому герою собственный мистический опыт Достоевского. Но ведь Алеша—свершитель самых затаенных надежд Достоевского. Поэтому не только пережитое (как другим героям своим), но и ожидаемое присваивает ему Достоевский. В исступленном порыве Алеши, в мгновение экстаза, накопляются, собираются духовные силы для будущего его жизненного подвига (свершение его—за пределами написанных частей романа): экстаз Алеши Карамазова оставляет после себя нечто новое, устойчивое и постоянное,—«на всю жизнь».

«С каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его—и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом и сознал, и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга».

Мгновенное исступление должно дать устойчивое, длительное, «на веки веков» перерождение—вот вера и чаяния Достоевского о себе самом, как это видно из предопределенных судеб любимого его героя. Но и больше того: тут раскрывается та новая способность духа, которую стремился и надеялся найти Достоевский в этом завершительном преображении, которую стремится он, как художник, присвоить тут и своему герою.

Исступленный порыв Алеши не разрушает уже видимый, вот этот, мир, он не искуривается паром к темносинему небу, связь с этим миром не рассекается молнией исступления (как в князе Мышкине); Алеша не ослеплен этой молнией, но смотрит и видит. «Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный млечный путь. Свежая и тихая, до неподвижности, ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра». Не случайно, конечно, рассказ о знакомом Достоевскому мгновенном перерождении впервые здесь обрамлен пейзажем. Сила какой-то новой, полной и обостренной созерцательности и должна была, очевидно, укрепить переродившуюся душу Алеши. Недаром сравнивает Достоевский теперь то «твердое и незыблемое», что приобретено здесь, с «этим сводом небесным», здесь увиденным, созерцаемым... Но не можем ли мы за этим новым рассказом о перерождении,—перерождении, хотя и мгновенном, но устойчивом и полном,—не можем ли усмотреть нечто пережитое, внутренне осуществленное самим Достоевским? Не можем ли отнестись к нему так же доверчиво в этом смысле, как и к другим, приведенным выше? Если подобно Алеше (князю Мышкину, герою «Слабого сердца») знал Достоевский в себе эти мгновенные «соприкасания мирам иным» (это установлено уже нами), то знал ли он, подобно Алеше, только эту незыблемость и твердость, устойчивость «на веки веков» мгновенно достигнутого? Достиг ли он, действительно, устойчивую ясность созерцания и в этой ясности — нравственное тождество жизни (земной) и Бога? Алеша ведь только «будущий» герой его, и не успел Достоевский показать, сколь твердым и незыблемым, действительно, осталось в душе его приобретенное тогда, в этом мгновенном исступленном порыве его к «земной радости», к «Канне Галилейской». «Кто-то посетил мою душу в тот час», говорит Алеша; а Достоевский заверяет: «на всю жизнь». Мы не увидели этого «на всю жизнь», роман остался незаконченным; а в написанных частях его—кто сильнее, кто первенствует: Зосима, Алеша или Иван?..

Но перерождение Алеши,—пусть неоправданное дальнейшим,—ценно для нас сейчас, как свидетельство об определенном понимании Достоевского своих внутренних целей, как свидетельство веры его, что Theodicea возможна лишь в созерцании; тут признается Достоевский в своей затаенной надежде достигнуть и для себя самого созерцательности в

каком-то особенно полном, особенно-радостном и молитвенном перерождении [1]).

В 1867 году, в смятении, и ужасе, и тоске покидая Россию, Достоевский как-будто руководился смутным предчувствием близости такого обновления. Мы сказали уже—предчувствия эти оправдались, но лишь до некоторой степени...

Уже в первом письме Ап. Майкову из за границы (только что перебравшись из Дрездена в Женеву и вспоминая, что поехал из России «с смертью в душе») Достоевский приписывает как бы вскользь, но подчеркивая: тут за то,—в Дрездене, вероятно,—«прочувствовалось и много кой-чего выдумалось... мыслей моих вам не описываю. Много накопилось впечатлений».

В согласии с общим, т.-е. стилем духовной жизни Достоевского и некоторыми, скудными, правда, фактическими данными, нужно допустить, что именно здесь, в Дрездене, среди первых уже впечатлений дороги, наступило в нем это мгновенное озаряющее перерождение [2]). И если допустить это,

---

[1]) Предложенное построение умопостигаемого характера Достоевского является гипотезой, которая должна быть оправдана сложной эволюцией его житийного замысла.

[2]) Позже, в романе «Подросток», свои дрезденские впечатления и состояния 1867 года Достоевский рассказал «исповедью» Версилова. Версилов говорит, например: «я и прежде живал в Европе, но никогда я не выезжал туда с такою безотрадною грустью и с такою любовью, как в то время. Я никуда особенно не спешил, я скитался»... Достоевский то же говорит о себе самом в первом письме из-за границы в 1867 году,—говорит о своей смертельной тоске, но вместе и о любви (о «своем новом ангеле-хранителе», жене) о скитальчестве («где бы ни жил... все равно, в Дрездене или где-нибудь») Версилов рассказывает далее свое переживание одной дрезденской картины, «Асис и Галатея» Клода Лоррена—в том же письме 1867 года находим упоминание о Дрезденской галлерее, а особенная любовь самого Достоевского к дрезденской картине Клода Лоррена засвидетельствована А. Г. Достоевской. Словом, указанный отрывок «исповеди» Версилова, несомненно, пронизан личными воспоминаниями Достоевского о 1867 годе. И вот среди этих несомненно личных воспоминаний сохранен Достоевским рассказ об одном поразительном впечатлении Версилова («одном из первых тогдашних впечатлений моих»). Это—сон о «золотом веке», яркое видение «земной радости», сон, хотя и действительный, но поражающий, «совершенно неожиданный», каких «никогда не видал»... Не в праве ли мы оценивать и дрезденский «сон Версилова», как некоторое свидетельство о том, что самим Достоевским было пережито в Дрездене в 1867 г.? Но, в таком случае, мы вправе заключить, что тотчас же по выезде за границу (в Дрездене) в 1867 году во внутренней жизни Достоевского совершилось нечто необыкновенно значительное,—«совершенно неожиданное», «невиданное»... С другой стороны, на Дрезден (на значительность первых переживаний за границей) указывают некоторые даты в более поздних письмах Достоевского, которыми он старался определить время зарождения своего эпического замысла (см. ниже). 25 марта 1870 года Достоевский пишет, например, Майкову, что замысел «Жития» «уже два года как зреет в голове»; по этому указанию, зарождение замысла приблизительно совпадает с тем моментом, когда в Дрездене, в июле—августе 1867 года, Достоевским «много кой-чего выдумалось, прочувствовалось».

тогда понятным становится, как следствие этого обновления, то необыкновенное воодушевление, тот изумительный под'ем духовной жизни Достоевского, которым отмечены годы его заграничных скитальчеств. Только здесь ведь продуманы были до конца мысли о предназначении России и судьбе Европы, о православии, католичестве и социализме; давно уже так легко и так жадно не читал и не перечитывал Достоевский, как здесь, среди томительных переездов из Дрездена в Женеву, Флоренцию и опять в Дрезден; зимой 1869 г. прочитаны Вольтер и Дидро, и предстоит еще прочесть «целую библиотеку атеистов, католиков и православных»; во Флорентийской городской библиотеке с какой-то торопливой жадностью хватается он за давнишних любимцев своих, французских романистов 40-х годов, Бальзака, Жорж-Санд...,—словом, он подводит итог чему-то, сводит счеты со всем своим прошлым, и это—в пылу литературной работы, когда нужно было спешить изо-всех сил и высылать Каткову лист за листом едва дописанные главы «Идиота»...

Такая необходимость свести счеты с прошлым возможна лишь перед лицом чего-то нового. Ощущением в себе этого «нового» проникнуты и те исключительные по своей содержательности письма Достоевского к близким друзьям, которые приходятся как раз на эти годы заграничной его жизни[1]). В тоне этих дружеских признаний, в едва уловимых оттенках стиля, т.-е. между строк, читается исповедь Достоевского о том событии внутренней его жизни, которого он давно ждал, и которое теперь свершилось,—он верит в это. Радостно признается он Ап. Майкову: вопрос, «которым мучился сознательно и бессознательно всю жизнь»—теперь разрешен, теперь должно наступить успокоение—«хоть бы и умереть», цель жизни достигнута. Словом, Достоевский убеждает (и только ли друзей, не себя ли самого вместе с ними?), что внутреннее озарение, совершившееся в Дрездене[2]),—не преходящее, как бывало прежде, но устойчивое и длительное, перелом «на всю жизнь и на веки веков».

Здесь,—думает Достоевский,—завершение всего его дела жизни; в новой, здесь обретенной созерцательной способности духа,—радостное разрешение мучительного вопроса, снятие противоречия между Богом и миром, Теодицея...

---

[1]) Три письма А. Н. Майкову,—одно из Флоренции (от 11 (23) декабря 1868 г.), два из Дрездена (от 12 (24) февраля 1870 г. и 25 марта (6 апр.) 1870 г.); два письма Ивановой-Хмыровой,—одно из Флоренции (от 8 (20) марта. 1869 г., другое из Дрездена от 17 (29) августа 1870 г.); и, наконец, два письма Н. Страхову (из Дрездена,—от 26 февраля (10 марта) 1870 г. и 24 марта (5 апреля) 1870 г.). См. «Биография, письма...»; Ч. Ветринский «Достоевский».

[2]) Согласно нашему допущению.

Но не осторожно было бы довериться только этим признаниями; ведь все это лишь домыслы Достоевского о себе самом. Как бы искренно они ни звучали—возможно невольное заблуждение, невольная со стороны Достоевского переоценка совершившегося в нем, подмена осуществленного желаемым. Внутренне достигнутое полное перерождение должно было получить об'ективное и столь же полное выражение; для Достоевского (художника) эта необходимость была необходимостью творчества.

В Дрездене, в 1867 году Достоевский не только «прочувствовал», но и «много кой-чего выдумал». А позже, в указанных письмах (Ап. Майкову, Страхову и Ивановой-Хмыровой) Достоевский, осведомляя друзей о внутренней своей перемене, делает это лишь вскользь и попутно: все эти письма, в главном своем содержании, посвящены другому; они говорят о большом художественном замысле, который, будучи осуществлен, должен соответствовать этому новому духовному содержанию художника. «У меня на уме теперь... огромный роман», первому Ап. Майкову признается Достоевский, «название ему «Атеизм» (ради Бога, между нами), но прежде, чем приняться за который, мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных... Лицо есть. Русский человек нашего общества и в летах, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов,—вдруг, уже в летах, теряет веру в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличался (разгадка психологическая: глубокое чувство, человек и русский человек). Потеря веры в Бога действует на него колоссально (собственно действие в романе, обстановка—очень большая). Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадается на крючек иезуиту-пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины—и под конец обретает и Христа, и русскую землю, русского Христа и русского Бога (ради Бога, не говорите никому, а для меня так: написать этот последний роман, да хоть бы и умереть—весь выскажусь»... И как бы приоткрывая тайну зарождения столь важного для него замысла, Достоевский прибавляет: «Порассказать только то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии...»).

Тон этого письма,—приподнятый тон исповеди в самом сокровенном и важном,—не покидает и все другие письма. Ивановой-Хмыровой, Страхову и опять Майкову передает Достоевский как бы отдельные моменты развития своего замысла. Это будет последний его роман, итог всей жизни, ибо

идея его—та, которой мучился, сознательно или бессознательно, всю жизнь сам он,—существование Божие. Сообщаются и подробности сюжета, план будущего романа: он будет распадаться на 5 больших повестей; действие первой—это детство героя; вторая повесть будет происходить в монастыре, в ней изображен будет Тихон Задонский; главный же герой всего произведения еще в 1-ой части выступает 13-тилетним мальчиком, участвующим в совершении уголовного преступления; внутреннее развитие и постепенное приближение к Богу этого человека—таково основное действие всей эпопеи в целом, которую теперь (1870 г.) Достоевский называет уже не первоначальным заглавием «Атеизм» (1868), а иначе,—«Житие великого грешника»...

Замысел, столь сильно волновавший воображение писателя, не мог бесследно исчезнуть; не мог он не быть записанным уже в момент своего зарождения. Это и подтвердилось вполне при знакомстве с черновыми рукописями Достоевского...

Перед нами—листки с беглыми, подчас недоговоренными заметками; это—мгновенно мелькнувшие в воображении художника и тотчас же записанные эпизоды повествования; или пространные «нота-бенэ» к способу выполнения замысла; тонкие, словно кружево, рисунки готических сводов вычерчены как бы в раздумьи над судьбой героя, над характером его, создаваемым кропотливо,—разрозненными и скупыми заметками. Но, несмотря на свою краткость, записи эти местами столь отчетливы, ярки, в противоположность внешней своей разрозненности—так внутренне последовательны, что возможно теперь не только восстановить замысел Достоевского, но и приблизительно конструировать его предполагавшееся осуществление.

«Житие»,—повествование о жизни некоего избранника,—должно было начинаться рассказом о детстве героя. Он предстает перед читателем маленьким мальчиком, которому нет еще и десяти лет; но уже теперь—«ужасно много о себе думает». Это—первые предвестия большой и оригинальной личности, г е р о я. «Мальчик дикий», нравственно одинокий, среди чужих и враждебных ему людей. Он живет у каких-то «старичков», в среде буднично-пошлой и неприглядной нравственно. Тут «падение»; по вечерам приезжают «гости», напиваются, царит грубая, циничная откровенность в разговорах; тут же какие-то женщины: Анна, Василиса; ими торгуют: Василису продали, но она убегает вместе с Анной. На глазах мальчика погибают,—«запиваются, падают»,—какой-то «из ученых гостей», потом и старик со старухой; «слабеют» напившись, валяются... В этом растленном быту и растет мальчик,—начинает думать и чувствовать.

Первые, резкие впечатления его—недоумение над «чепухой», нелепостью жизни «больших». Они глупы и ничтожны, но «верят в свою чепуху»...

Жизнь сразу же предстает ему, как бессмыслица и «нелепость», в которой нужно, однако, найти смысл, чтобы оправдать ее. Это и есть дело его жизни,—то, о чем будет повествовать «Житие»... Первые глухие протесты («как они смеют?»—негодует ребенок на приезжающих гостей) уединяют его; к тому же дает о себе знать сильный и владычествующий характер; мальчик все больше и больше замыкается в своем собственном мире вымысла.

Старик занимался первым его обучением: читал историю Карамзина, арабские сказки, рассказывал о легендарных подвигах Суворова. Это—первые искры, которыми воспламеняется природная фантазия ребенка. Он восторгается Карамзиным и начинает уже сам много и жадно читать,—любит историю и рассказы о путешествиях, потом романы Вальтер-Скотта, Пушкина и Гоголя. Но читает не только усваивая, но и творчески перерабатывая прочитанное: фантазирует над книгой, мечтает. Он инстинктивно прячется в эти мечты свои от жизни, потому что она только «чепуха», которой тешат себя «большие». А здесь, в мечтах—яркими красками украшенный мир героев и подвигов; и, конечно, первый герой здесь—он сам.

Скоро мальчик находит себе друга,—наперсника этим горячим и затаенным грезам. В доме «старичков» живет «хроменькая»,—девочка Катя. Он растет вместе с ней, вместе ходит учиться к другим детям по-французски и по-немецки, вместе с ней терпит от них обиды, насмешки. И к одной только «хроменькой» привязан нелюдимый и дикий мальчик, но скрывает это и выказывает пренебрежение; она же «хроменькая», жалкая. Над ней пробует свою силу, деспотически помыкает ею, бьет за всякое ослушание, за мелочи. «Хроменькая» безропотно сносит, все исполняет. И смутно, против уже озлобленной воли своей, мальчик угадывает какую-то скрытую силу в этой смешной и жалкой «хромоножке». У него уже привычка ее бить; но вот когда напиваются «старички» и «хроменькая», несмотря на строгое его запрещение, плачет над ними, услужливо помогает,—он не бьет ее, смиряется, сам не понимая себя... И только ей поверяет он все свои мечтания; вместе с ней читает романы или пересказывает прочитанное. Уже озлобленный и оскорбленный безобразием жизни, он бы, кажется, умер, если бы кто подслушал его мечты; но «хромоножке» во всем открывается. А она хранит тайну,—без приказания, сама поняв, что ее надо хранить, что у них есть тайна. Однако, многое в его мечтах не принимает, а только выслушивает и бережет... К хроменькой девочке при-

лепляются первые пробудившиеся влечения духа; но это только еще «мечты» ума, и потому может быть она—«хроменькая» [1]).

«Мечтательство мальчика уже в этих первых своих проявлениях—ощущение своего «я», своей самости, болезненно-деспотической, исключительной. Беспрерывная мысль его, как стал себя помнить—«чем я буду, и как это все сделаю?». Девочке рассказывает, что «будет королем»; власть, господство над другими—это его удел, он страстно верит этому, мечтает...

В таком искусственном мире неживых, книжных чувств один только властелин—его «я». «Хроменькая» для него—все то, что не «я», не его «я». Над «хроменькой» непрестанно господствует поэтому, как бы убеждает себя в собственном могуществе. «Бог знает, что с ней делает»—говорит про него кто-то, наблюдая со стороны. «Я сам Бог», говорит и внушает он Кате, заставляет ее себе поклоняться. «Тогда полюблю, когда все сделаешь». Так, мысль о Боге впервые предстает во враждебном противоположении своему «я». Тут завязка того внутреннего действия, которое должно быть развито и счастливо закончено житийным повествованием...

В пошлом и растленном быту «старичков», среди пьяных лиц и мелкого торгашества,—даже среди этого «падения» иногда совершается все же нечто такое, что вдруг приоткрывает тайное и вечное жизни; к таким событиям приковывается неудержимо пытливое внимание ребенка; они, как загадка, останавливают его перед собой и вырывают, хоть на мгновения, из обособленного мира «мечтательства». «Хроменькая» пропадает из дому; мальчик находит ее в снегу полузамерзшей; несет на руках домой, спасает и в первый раз не бьет ее, но... целует. Потом—первая исповедь, первые религиозные вопросы самому себе: «что у него там в ящичках и в чаше? Есть ли Бог?» И, наконец,—первое соприкосновение со смертью. По внешним признакам смерти (последнее причащение умирающего) мальчик впервые и смутно угадывает мистический смысл ее, как смысл жизни: опять перед ним, с новой силой, тот же вопрос,—«Есть ли Бог?» Так, в замкнутую жизнь гордого воображения вторгается временами нечто новое, неожиданное: жалость, сочувствие, сердечная растроганность (к «хроменькой») и настойчивый вопрос (не только ума уже),—не о себе, не о своем владычестве, но о ком-то бесконечно противоположном и чуждом (в этом ужас), о Боге. И уже завязывается борьба: «Есть ли Бог?»—спрашивает пытливо мальчик и чувствует «гадливость», как всякий раз,

---

[1]) Вот эта связь (в записях Достоевского) между «мечтательством» и «хромотой», как его символом: «Не надо говорить: он мечтал о том-то, но он шел к хроменькой и говорил то-то».

когда соприкасается с явлениями из другого, не своего, не «мечтательного» мира...

Смертью «старичков» заканчивается первый, ранний период жизни. Мальчику тогда 13 лет. Он накануне роковых испытаний... Отрочество героя начинается «переселением к Альфонскому». Альфонский—это отец его. С ним связано было, вероятно, «чувство разлуки» в раннем детстве, когда мальчик жил у чужих «старичков». Теперь, после их смерти, мальчик каким-то образом находит отца и семью, вместе с «хроменькой» переселяется к Альфонскому. Только отец это—незаконный, и семья—чужая; тут мачеха, жена Альфонского, ее дети, «сведенный брат»; мальчику подчас об'являют, что он «не брат» ему. Однако, с отцом близок; тот часто и долго говорит с сыном, поучает и расспрашивает его. Но отношения временами обостряются. И все-таки за оскорбление отцу, за пощечину, готов мстить кровью... От отца мальчик скоро переходит в пансион, к французу Сушару. Темное прошлое, незаконное происхождение мальчика ставят его здесь в ложное, неравное с другими детьми положение. У Сушара воспитываются «матушкины дети»; они гадливо («их гадливость от глупости») смотрят на нового товарища,—сумрачного, мрачного. И перед Сушаром возникает даже вопрос, «чтобы не с детьми жил и воспитывался этот мальчик, но «с лакеями», —по крайней мере, отдельно. Среди новых товарищей мальчика (какой-то Аркашка, Брутилов и др.) выделяется француз Lambert (в некоторых записях Albert). Он всех удивляет в пансионе своим зверством. Lambert исповедуется и причащается (при этом—какой-то француз Пуго), но в Бога не верит и цинически признается в этом... В пансионе одиночество мальчика еще глубже, еще сосредоточеннее, чем прежде; нелюдим, необщителен, смотрит на всех остальных детей, как на нечто совершенно себе чуждое. Он сильно задумывается, его всегда что-нибудь ужасно увлекает: жители луны, например—совсем другой мир, непохожий на здешний; Гамлет, его одиночество, что-нибудь еще,—может быть «Скупой рыцарь» Пушкина. Привычка жить на счет только своего воображения, головными мечтами здесь еще больше укореняется. И мечты его теперь все больше и больше теряют детскую расплывчатость и случайность; они сосредоточиваются на одном и главном. Мало-по-малу все разнообразные фантастические образы, все грезы как бы стягиваются, сливаются в одной, особенно яркой, особенно настойчивой и прочной мечте; она растет, ширится, все больше приобретает силу и власть над душой мечтателя, превращает его в одержимого, в обреченного, в раба своей же идеи...

Еще в раннем детстве, «у старичков», «как стал себя помнить», первая мысль его, опасная и чрезвычайная, даже не

мысль, а инстинктивная уверенность,—что он будущий человек необыкновенный. «Я буду королем», фантазировал он тогда. Теперь, в пансионе, когда смешная обстановка еще более противоречит этой мечте (он ведь «с лакеями»),—фантазия, наперекор всему, превозносит его выше и выше, он беспрерывно думает об одном; детская греза о короле созревает в «огромный замысел владычества». Еще «у старичков», в обстановке торгашества и наживы, мальчик глубоко почувствовал могущество денег. От одного из гостей, от ростовщика («человек ужасный»), он узнал о процентах,—средстве приумножать свои богатства. И вот теперь ранняя мечта о значении денег организуется, зреет. В пансионе за эту мысль о деньгах цепляется инстинктивное и смутное еще чувство своей силы, своего будущего предназначения, могущества. Он давно уже начал собирать, копить деньги, не сознавая ясно, для чего это делает. В пансионе идея накопления исподволь проясняется и укрепляется. Это нелепая, фантастическая мечта о ростовщике—владыке мира. Диалектика в этом «замысле владычества» такова: чтобы достигнуть господства над другими (а это нужно, это только и цель!), необходимо, прежде всего, победить себя, думает он, надо приобрести ту внутреннюю силу, в которой тайна всякого господства. Поэтому будущий владыка мира должен пройти трудный искус самоотречения, испытать себя лишениями,—голодом, физической болью, ранами и сожиганиями, «чтобы ничего не бояться». Испытывая себя так, мальчик думает, что это лишь средство к накоплению, лишь приучение себя довольствоваться малым, лишь экономия. Но неуловимо для сознания, в уродливых формах, впервые заявляет себя скрытая в нем сила схимничества и аскезы,—но только еще как сила без своего приложения; приложится ли она к просветлению жизни Духом или к отрицанию жизни вне своей только гордыни? Неизвестно еще; пока только—«чтобы ничего не бояться». И ему кажется, что это бесстрашие, эта достигнутая внутренняя сила только и нужна, чтобы стать всесильным ростовщиком: рука об руку с этим суровым самовоспитанием мучениями идет накопление денег. Но инстинктивно решает непременно только честным путем наживать деньги. Если деньги выражение внутренней гордости, могущества, то можно ли тут унижаться до лести, ловкости, до плутовства?..

Итак, пусть он одинок и с людьми неуживчив,—от гордости и несходства с ними. В этом одиночестве он будет господствовать над миром силой золота. Деньги—самая пригодная тут сила, думает он. Даже если он и не будет «необыкновенным», но самым обыкновенным, «ординарным», то деньги дадут ему все, т.-е. «власть и право презрения». Вот формула его будущего могущества; не столько власть—

реальное, осязаемое обладание,—сколько право презрения,—внутреннее право превознести себя над другими, могущество в себе. И кажется,—золото нужно ему только для бескорыстного сознания такого права, только как символ такого могущества.

Однако, по временам вера в эту мечту ослабевает или совсем покидает его. Он кается и мучается совестью в том, что ему так «низко» хочется быть необыкновенным. Ведь есть науки, поэзия, подвиги героизма. Это «выше» и лучше, чем золото ростовщика. Значит, надо, чтоб и в этом он был выше и лучше других. Но он утешает себя,—так оправдывает свою мечту о золоте: «чтоб все поклонились, а я прощу». Только для этого господства, хотя бы мгновенного, нужно ему золото, а там—«он простит», может быть, и не воспользуется вовсе своей властью...

С этой мечтой своей он так сживается, что вне ее не живет совсем, не видит, не замечает другой, не «мечтательной» жизни. Это полная отчужденность, омертвелость души для всего, что выходит за ограниченные ее пределы. Своей замкнутостью он вызывает или недоумение, или насмешки окружающих,—Сушара, товарищей. Все смотрят на него, как на эксцентрика. Это еще больше обособляет его. В такой мечтательной отчужденности утрачивается мало по малу непосредственная способность нравственно оценивать себя и других. Мальчик совершает несколько безобразных поступков в сообществе товарищей (дразнят барыню, нападают, оскорбляют; напивается пьян; полный разврат). Из глубины души поднимается, однако, протест. Свободный и большой дух не уживается в тесной скорлупе «идеи», рвется наружу, из «мечтательного» одиночества к жизни. «Многое его иногда трогает сердечно». Но идея давит и глушит пока эти свободные порывы. Так проходят два года в пансионе Сушара. Это годы обособленной жизни в «идее». Непосредственная, живая связь с жизнью надорвана. И в такой богатой натуре этот раскол должен проявиться не иначе, как в крайней форме своевольства, в преступлении...

От Сушара мальчик переходит в другое учебное заведение, к Чермаку (в гимназию). Но тотчас же по переходе учиняет побег; с ним опять «хроменькая»; но кроме нее—Куликов, разбойник (?). Вместе с ним совершает он убийство. После преступления Куликов этот (он беглый солдат) решает прикончит и мальчика. Но он проявляет «силу духа», тот его не режет, а отпускает...

Преступление потрясает, сбивает с толку; мальчик чувствует естественную необходимость сжаться внутри себя и пообдумать, чтобы на чем-нибудь «установиться». «Но о

Боге пока не думает и снова устанавливается на деньгах». Он опять в гимназии (у Чермака) и как бы смирен, как бы ищет себя, ту точку опоры, которая поколеблена совершившимся. Кровь иногда его мучает. Гадливость, презрение к людям и отчужденность не ослабевают однако, а усиливаются. Неожиданно отличился на экзамене, — против воли, потому что решил прикинуться идиотом. После экзамена все в восторге от него, любят, ласкают; а он мучается и презирает себя, что «поддался», снизошел до этих людей. Гордость в нем непомерная...

После гимназии, вместе с Альфонским, живет в деревне. У Альфонского—любовница; Альфонская же (мачеха героя), из мести сходится с прежним своим поклонником. Мальчик случайно узнает об этой связи, но молчит. Отец знает, что сын невольный свидетель его позора... В деревне развертывается и другой побочный эпизод жизнеописания—«история со срамом Кати» (?).

После деревни он в Москве и сходится со школьным своим товарищем Lambert'ом; еще у Сушара Lambert удивляет всех своим зверством. Теперь, когда «укусили страсти», Lambert вводит его в разврат. Он бросается в разврат потому, что многое его сердечно трогает (как прежде, замерзающая «хроменькая» или чувство к отцу); он не хочет этого, бережет свою гордость и со злости и гордости решает как бы надругаться над своими влечениями к жизни,—идет за Lambert'ом. Lambert упивается развратом и не находит ничего выше. Это национальное легкомыслие (Lambert—француз). А он входит в разврат этот и с неотразимым желанием, но и со страхом. Пустота, грязь и нелепость разврата поражают его. Это последние крайние шаги на пути обособления, отчужденности. Разврат и преступление метафизически равнозначны, как своевольное нарушение личностью внеличных законов жизни (т.-е. нравственности, согласно Достоевскому). Поэтому разврат ведет к новому преступлению. Albert (Lambert) и он срывают звезду с иконы; это придумал он, а не Lambert; недаром еще у «старичков» внушал он хроменькой»: «Я сам Бог»... Вместе с Lambert'ом удачно скрываются. Lambert кощунствует; он бьет его за это. Что-то в нем возмущается против кощунства, неожиданно для него самого. Ведь сам провозглашает себя атеистом; и, несмотря на это, внутренняя борьба, возмущение собой так сильны, что бросает все, идет и предает себя сам,—«с горечью», потому что не знает, не понимает еще, во имя Чье это делает... Этим кончается, по замыслу, первая часть «Жития»; она изображает «состояние колебания», внутреннюю борьбу религиозно определяющейся личности.

Немногие записи, еще более разрозненные и краткие, чем предыдущие, намечают в очень общих чертах следующие жизненные этапы, следующие части «жития»[1]).

Вторая часть—это известно тоже из писем—особенно влекла к себе Достоевского, особенно бережно вынашивалась им. «Вторая повесть будет происходить вся в монастыре», писал Достоевский; «на эту вторую повесть я возложил все мои надежды... хочу выставить главной фигурой Тихона Задонского... мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитой и развращенный (я этот тип знаю), будущий герой всего романа, посажен в монастыре родителями... Волченок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном»[2]).

Наши записи развивают как раз этот сюжет. В монастырь попадает мальчик прямо «из бездны», от разврата и кощунства Lambert'a. Здесь Тихон открывает мальчику,—своими рассказами, поучениями, личным примером,—новый мир; приобщает мало-по-малу «волченка», нигилиста-отщепенца ко «вселенской радости живой жизни», внеличному (т.-е. внерассудочному) Бытию Духа, Который везде,—в природе, в неискаженной человеческой жизни. «Дай Бог доброй ночи и всем диким зверям», говорит Тихон; рассказывает мальчику о медведе, о букашках... Тихон не отрицает науку, но понимает ее как б о г о с л у ж е н и е. Не отрицает жизнь, но утверждает ее во вселенской радости и зовет к ней: «Монахом жить ниже, надо иметь детей».

Мальчик дружен с Тихоном, но сперва смотрит свысока: «он так смешон, он так ничего не знает»; а потом догадывается о сокровенной силе и крепости этой целостной, неискаженной личности. Тихон много рассказывает ему,—о силе смирения, о свободе воли, о прощении непростимого преступника (что это мучение всего мучительнее). Тихон привязан к мальчику, потому что угадывает в нем большую духовную силу; «благословляет на падение и на восстание».

Следующие части «Жития»,—насколько это видно из заключительных записей,—должны были изобразить это новое и сильнейшее борение с самим собой,—падение и подвиги и вновь падение и, наконец, з а в е р ш и т е л ь н о е о с е н е н и е б л а г о д а т ь ю. Из монастыря он выходит с прежней гордой мечтой о величии, теперь еще больше укрепившейся, потому что в Тихоне нашел подтверждение своей мысли, что «надо победить только себя, чтобы победить весь мир». И от гордости, от непомерной надменности, он «становится до всех кроток и милостив, именно потому, что уже безмерно выше всех». Новые «падения и восстания» должны быть изображе-

[1]) Из писем Достоевского 1869—70 г.г. известно, что этих частей задумано тогда было п я т ь.

[2]) См. «Биография, письма и т. д.», стр. 233.

ны в широком действии («Путешествие по России, любовь и пр. и пр. Канва богатая»). И, в конце этого трудного жизненного пути,—«все яснеет». Перед смертью—примирение с жизнью, примирение с Богом, приятие Его. Признавшись в преступлении, умирает.

С очень значительным моментом духовной жизни Достоевского совпал, по времени зарождения, художественный замысел этот. Но и не только совпал, а был обусловлен этим новым духовным содержанием художника. Самое заглавие задуманного произведения, это своеобразное словосочетание,—«Житие великого грешника»,—ничто иное, ведь, как попытка Достоевского логически формулировать предполагаемое им в себе мистическое содержание. «Житие», т.-е. жизнь в Боге или устремленная к Нему, и «великий грешник», т.-е. средоточие противоположного начала,—эти три слова, соединенные вместе, дают как бы словесную формулу примиренного, гармонического воззрения на мир. Но ведь задуманное произведение—лишь последовательное и стройное развитие этого заглавия—тезиса, этой формулы. Поэтому особенно важно, что слово «Житие» здесь—далеко не поверхностная стилизация. Это сознательный выбор определенной художественной формы. Достоевский обдуманно стремился написать историю целой жизни, как эпический рассказ, жизнеописание. Эпическая форма будущего произведения была внимательно предусмотрена и продумана Достоевским. В этом смысле доказательно уже, что охотно сравнивает Достоевский свое будущее произведение с «Войной и Миром» Л. Толстого. «Это будет мой последний роман», пишет он А. Майкову и прибавляет: «Об'емом в «Войну и Мир». Тоже и Н. Стахову: «Вся идея потребует большого размера, об'емом, по крайней мере, такого же, как роман Л. Толстого»... Только ли об'ем романа интересовал тут Достоевского? Но, может быть—эпический ритм повествования, свободная смена во времени изображенных лиц и событий, словом, эпическая форма его? По крайней мере, в период обдумывания своего произведения (в 1869 г.), Достоевский принимается перечитывать «Войну и мир», выписав нарочно из России, через Страхова, в письмах к которому пространно и настойчиво просит о пересылке. Этот сознательный выбор эпической формы для задуманного произведения отчетливо виден и в записях плана его. Среди них есть, например, ремарка Достоевского к способу осуществления замысла, разительно подчеркнутая, выделенная среди других записей, как особенно важная, знаком NB. «Рассказ—Житие», гласит эта ремарка. Другая подобная заметка требует «сухости» в повествовании, подобной жизнеописанию Жиль-Бляза, т. е., вероятно, этой наивной четкости Лесажа, в

изображении временной смены происшествий, событий жизни. Наконец, самый сюжет, как он виден из записей и конструирован нами, явно выдает эпический свой характер. Это история одной жизни; периоды этой жизни определяют собой дробление на части задуманного художественного целого, малые единства его: первая часть—детство героя, дальнейшие части—юношество, зрелость, старость и т. д. Законченность же произведения, последовательная связь между собой всех этих 5—6-ти частей, на которые, по замыслу, распадается «житие»,—художественное единство их определяется этим же общим эпическим началом,—течением, сменой во времени изображаемого. Первые впечатления ребенка и смерть старика—вот пределы рассказа, предусмотренные записями; и они определяют собой не столько идею изображения, сколько эпическую форму его. Если эпическая форма была предусмотрена Достоевским, по отношению ко всей совокупности задуманных частей «Жития», тем сильнее чувствуется эпический ритм в 1-ой части «Жития», которая, как уже известно, подробнее всех других намечена в плане. Первая часть «Жития»—детство и раннее юношество героя—должна была изобразить первые колебания его при вступлении на жизненное поприще, первую, глухую еще борьбу обособляющего рассудка и религиозной воли. «Состояние колебания и есть действие романа»—записал Достоевский. И вот, насколько видно из плана, это «состояние колебания» должно было изображаться последовательной сменой цельных временных периодов, но не коротких катастрофических происшествий, «событий». Жизнь «у старичков», затем у Альфонского, поступление в пансион и годы учения, жизнь в деревне и, наконец, в Москве, с Lambert'ом—тут медленно и плавно проходят годы, и моменты внутреннего колебания—это моменты последовательно изображаемого роста, развития. Что эта временная, эпическая последовательность первой части была также сознательно предусмотрена Достоевским,—видно из одной отрывочной записи плана, в которой художник кропотливо высчитывает год рождения героя, 1835-й и затем отдельными цифрами (13, 2, 12, 8) намечает какие-то этапы рассказа [1]).

Все это об'ясняет и оправдывает название п о э м а, которое присваивает сам Достоевский задуманному произведению. «Это—поэма настоящая», говорит он [2])... Форма произведения всегда менее всего произвольна, всегда предусматривается не сознанием, а как бы инстинктом художника. Достоевский—словно не доверяясь своему инстинкту, заранее деспотически предрешает форму будущего произведения. И, кажется,—потому так много говорит о ней, что сам

[1]) См. приложение.

[2]) См. Письмо к Ивановой-Хмыровой от 8 (20) марта 1869 г.

чувствует некоторое удивление. «Житие», «поэма настоящая»... и это после «Преступления и Наказания» и «Идиота», где структура романа совершенно чужда формальных особенностей эпоса и скорей отвечает требованиям сцены. Но Достоевский как-будто сознательно борется со своей определившейся уже, традиционной для него, к 1869 году формой романа—трагедии. «На эффектных и сценических местах, записывает он,—как бы вовсе этим нечего дорожить».

Такое стремление к эпической форме, наперекор всему, понятно в Достоевском, если учесть, что хотел выразить он своим этим произведением,—«последним», «завершающим». Поэма Достоевского знаменовала бы о свершившемся перерождении самого художника, широкие картины спокойного жизнеописания свидетельствовали бы о новом, созерцательном воззрении на мир самого Достоевского; а в таком созерцании он надеялся ведь обнаружить за противоречивым и жестоким многообразием жизни красоту и гармонию, как потенцию той же самой жизни («земной рай»); поэма Достоевского и была бы его художественной Теодицеей. В «Преступлении и Наказании», в «Идиоте»,—романах, непосредственно предваряющих замысел «Жития»,—это оптимистическое воззрение тоже ведь дает о себе знать, но только как голая мысль; наказание неизбежно следует за преступлением ведь только потому, что всякое преступление нарушает изначальное тождество жизни и Бога, и так как это тождество абсолютно, не терпит нарушений, то нарушитель его либо должен погибнуть (самоубийство Свидригайлова—возмездие), либо восстановить это нарушенное тождество,—иначе, вне Бога, жизнь невозможна. Отчужденность Раскольникова от всех после преступления изымает его из жизни, делает его отщепенцем, и только наказание, т. е. внутреннее очищение, возвращение к Богу, вернет его и к жизни, восстановит нарушенный в нем закон мировой гармонии. Но что это воззрение было для Достоевского только идеологической предпосылкой—видно из нераскаянности Раскольникова, из обнаружившегося тут бессилия художника. Тоже и в «Идиоте», не трагическая судьба героя законченного романа,—за которой угадывается не мировая гармония, но мировой диссонанс,—но первоначальная мысль художника обнаруживает это оптимистическое мировоззрение, мысль «изобразить положительно прекрасного человека» (а «положительно прекрасное лицо есть одно только—Христос»), в сутолоке жизни, как нечто возможное в ней, больше того,—законное, должное... Но художественное творчество живет и движется живыми интуициями.

Достоевский, мы знаем уже,—в период обдумывания «Жития», верил, что обрел, наконец, способность такого ин-

туитивного усмотрения «мировой гармонии». Если эта вера не обманывала его—оставалось только подчинить свое творчество этому новому созерцательному воззрению, т. е. художественно воспроизвести свое созерцание жизни в ее обычном течении, как дана она в опыте, чтобы придти к цели,—художественно выразить скрытое в жизни Божеское начало, религиозно оправдать жизнь. И тут с необходимостью выдвигалась эпическая форма замысла.

Таков глубокий смысл стремления Достоевского к житийной эпической форме задуманного повествования. Стремление это руководилось основной сознательной целью личности Достоевского. Сам он заверяет нас в этом; о своей работе над будущей поэмой он говорит [1]), как о «торжественной стороне» своей жизни, как о своей «цели и надежде достичь синтеза художественной и поэтической идеи».

Но вот мы,—ученики или ценители Достоевского,—стоим перед знаменательным фактом: в литературном наследстве Достоевского Поэма о раскаявшемся грешнике отсутствует...

Рассказ странника Макара о «нераскаянном» грешнике (в «Подростке») и «Житие старца Зосимы» (в «Братьях Карамазовых») не могут тут идти в счет, так как их житийная форма не определяет собой сколько-нибудь значительного художественного единства, но появляется в подчинении совсем другому, противоположному художественному началу: оба эпических наброска вкраплены ведь в роман-трагедию; и оба они свидетельствуют опять только о стремлении художника к эпической форме,—о стремлении (но не обладании), не покидавшем его даже в самые последние годы жизни...

Этот пробел в литературном наследстве Достоевского, в связи со всем сказанным выше, красноречиво говорит о Достоевском,—человеке, мыслителе и художнике. У нас отнимается теперь вера в слова самого Достоевского, когда говорит он о радостной, примиряющей идее, осенившей его душу (см. выше); «Дрезденское» перерождение не дало, очевидно, тут устойчивой созерцательной ясности мировоззрения, которую искал Достоевский и хотел верить, что нашел; мы не верим уже, что Карамазовский «бунт» когда-нибудь окончательно был усмирен в душе Достоевского так, как сам он сознательно хотел этого. И дрезденские «впечатления» (наравне с другими перерождениями Достоевского) были лишь мгновенным исступлением... Форма в искусстве определяет не только художественное своеобразие произведения, его не-

---

[1]) В письме к Ивановой-Хмыровой.

повторяемость, единичность, но и, кроме того, думается, составляет она то суб'ективное для художника, что ищут обычно, говоря об искусстве, как об исповеди. Мы видели,—такое значение формы было сознано Достоевским в период обдумывания им своего «последнего», «завершающего» произведения. Тем значительнее, тем характернее для Достоевского этот пробел в его литературном наследстве, эта столь желанная, но все же ненаписанная поэма.

Правда, не мог такой значительный замысел исчезнуть совсем бесследно. Нет только цельной поэмы, предметный же художественный материал, собранный записями плана, не исчез. Но поэмы все-таки нет...

Три последние романа Достоевского («Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы») в большей или меньшей мере вобрали в себя материал, собранный Достоевским для задуманного «Жития великого грешника».

Уже Ставрогин, центральный образ романа «Бесы», обнимает собою некоторые черты характера «Великого грешника», как намечен он был записями 1869—70 гг.

«Гордость безмерная»; «Безумная гордость»; «от гордости и от безмерной надменности к людям он становится до всех кроток и милостив—именно потому, что уж безмерно выше всех»...—Этими записями плана «Жития» прямо схвачена сущность Ставрогина, его сердцевина... «Монастырь и Тихон»; «от гордости идет в схимники и странники».—Это, очевидно, зерно, из которого вырос невключенный в роман эпизод свидания Ставрогина с Тихоном. Почти также вполне отвечают Ставрогину следующие записи плана «Жития»: «Сила воли»; «Человек необыкновенный»; «Подвиг и страшные злодейства»; «Чтоб ничего не бояться»—«Жертвы жизнью» и т. д. Наконец, так же, как и герой задуманной поэмы, Ставрогин в судьбе своей связан с «хроменькой», а заключительные записи плана,—«все яснеет. Умирает, признаваясь в преступлении».—как будто ведут нас к первоначальной концепции образа Ставрогина, след которой остался в виде евангельского эпиграфа к роману. Таким образом, связь замысла «Жития» и романа «Бесы» несомненна. Необходимо проследить теперь, как она возникла.

Имеющиеся в рукописи даты, в сопоставлении с некоторыми датами смежных набросков к «Бесам», дают возможность точно установить время записи этого плана. Он записывался в промежуток времени между 20/8 декабря 1869 года и 15/3 мая 1870 года.

Но еще за год до этого, в конце 1868 года, Достоевский извещая в первый раз Ап. Майкова о замысле «Атеизм», тут же упоминает о двух других замыслах: «Есть у меня идея

одной довольно большой повести, листов в 12 печатных, и привлекает меня. Есть и еще одна мысль». Из дальнейших писем к Майкову выясняется с точностью, что эти два побочные замысла, зародившиеся одновременно с мыслью о «Житии»—замысел «Вечного мужа» и «Бесов». Спешно работая над повестью «Вечный муж» в течение всего почти 1869 года, Достоевский не переставал, однако, обдумывать два другие замысла. В ноябре «Вечный муж» был окончен (письмо Майкову от 23 ноября 1869 года), и Достоевский, не делая перерыва, принимается за роман в «Русский Вестник», т. е. за будущие «Бесы» (письмо Майкову от 7 декабря 1869 г.). В это же время, как мы видели, была сделана первая запись «Жития» (8 декабря 1869 года). Письма конца 1869 года и начала 1870-го дают представление о планах Достоевского в тот период. Роман в «Русский Вестник» (будущие «Бесы») представляется пока Достоевскому вещью не художественной, тенденциозной, которая не требует много времени и работы; она пишется с «такою легкостью», и «пусть выйдет хоть памфлет», надо только «высказать погорячее». И одновременно с этой легкой работой над памфлетом («Бесами») Достоевский записывает план «Жития» (январь—май 1870 г.), намереваясь, тотчас по окончании памфлета, приняться за первую часть его, которую заранее уже предлагает, в виде отдельного романа, журналу «Заря». «То, что я пишу теперь в «Русский Вестник», я кончу месяца через три наверно»,—пишет Достоевский Майкову в марте 1870 года,—«тогда, погуляв месяц, сел бы за работу в «Зарю». И в такой уверенности Достоевский ведет уже переговоры о первой части «Жития» с «Зарей», через Н. Н. Страхова (Письмо к нему от 24 марта 1870 г.). Так проходит весна и лето 1870 года. К осени же вся обстановка резко меняется. В декабре Достоевский пишет Майкову: «зало), полагал сначала, что слажу легко. И что-ж? Переменил думав огромный роман (с направлением—дикое для меня дечуть не десять редакций и увидел, что тема oblige, и поэтому ужасно стал к роману мнителен. Еле-еле окончил первую часть... и отослал... Название романа «Бесы»... Так, в течение лета (1870 г.) роман «с направлением», памфлет, изменился в то, что мы имеем теперь как роман «Бесы». Вместо того, чтобы в два-три месяца окончить весь роман, Достоевский к концу года смог закончить только первую часть его. В связи с этим исчезла надежда скоро приняться за роман в «Зарю», т. е. за осуществление главного замысла, «Житие великого грешника». «Жаль, что я не сдержал слова в «Зарю», в том же письме к Майкову прибавляет Достоевский... «оторваться от «Русского Вестника» (т. е. от «Бесов») до срока не могу. Да и начав одно, нельзя перейти к

другому». Извинениями по поводу несдержанного обещания «Заре» заполнены письма к Страхову конца 1870 года. Так, осуществление замысла «Жития» оказалось отложенным на неопределенное время. Причина этого—видоизменение памфлета в большой роман «Бесы». Изучение материалов к «Бесам» вскроет этот процесс в подробностях. Пока очевидно одно: герой памфлета, Голубов, вытесняется образом «князя», Ставрогина. «Выступило... новое лицо», пишет Достоевский Страхову в октябре 1870 года, «с претензией на настоящего героя романа, так что прежний герой (лицо любопытное, но действительно не стоющее имени героя) стал на второй план. Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за переделку». Появление Ставрогина, «настоящего героя романа», совпадает по времени с отказом от романа в «Зарю», т. е. от немедленного осуществления замысла «Жития». И не только совпадает, но одно обусловливает другое... Все это об'ясняет духовное родство Ставрогина и «великого грешника». Отказавшись, как увидим—лишь на время—от полного воплощения характера «великого грешника», Достоевский присвоил некоторые черты его новому герою другого романа.

Но как бы далеко ни простиралось сходство Ставрогина с «великим грешником», можно ли говорить о каком-либо родстве художественной концепции «Бесов» и задуманной ранее концепции «Жития»?..

Не осуществленный, в силу внешнего стечения обстоятельств, в период своего зарождения,—замысел «Жития» не переставал волновать Достоевского в последующие годы. В период обдумывания «Братьев Карамазовых», в 1877 году, Достоевский записал свое «memento на всю жизнь», с предписанием самому себе «написать русского Кандида». Но, ведь, «великий грешник», по замыслу 1869—70 гг., и есть этот «русский Кандид». Так устойчив был в Достоевском интерес к этому его замыслу... И это об'ясняет, почему некоторые элементы последнего романа Достоевского являются как бы отголосками некоторых записей плана 1869—70 гг. Пафос Ивана Карамазова,—его Великого Инквизитора или юношеской мечты о «теологическом перевороте» (в разговорах с чортом)—чувствуется еще в этих записях плана «Жития»: «Я сам Бог»; «мечты бесконечные, до ниспровержения Бога и постановления себя на его место (Куликов сильно влиял)»... Любопытна эта приписка в скобках о Куликове. Как видно из других записей плана, Куликов тождественен с лакеем Осипом. И в этой зависимости богоборческого мечтательства героя от влияния лакея Осипа (или Куликова) предвосхищены как будто взаимоотношения Ивана Карамазова и Смердякова...

Некоторые другие записи плана как будто указывают на Дмитрия Карамазова. «Начало широкости»; «сладострастие»; «любит опускаться в бездну»; «прямо в бездну»; «Разгул» и т. д. Концепцию образа Алеши, очень обще и отдаленно, предваряет запись, несколько раз встречающаяся в плане: «Монастырь». Но мотив «хромоножки»,—широко разработанный в плане,—находит себе отклик во взаимоотношениях Алеши Карамазова и Лизы Хохлаковой. Только тут этот мотив 1870 года,—мотив детской дружбы с «хроменькой»,—разработан не в основной последовательности романа, а отодвинут назад и дан в виде фона. Алеша «прежде, еще в Москве, еще в детстве Lise, любил приходить к ней и рассказывать, то из случившегося с ним сейчас, то из прочитанного, то вспоминать из прожитого им детства. Иногда даже оба мечтали вместе и сочиняли целые повести вдвоем»; Алеша был, по словам Lise, «самым серьезным другом ее детства». «Он меня маленькую на руках носил, мы играли с ним»... Этот едва намеченный в романе мотив детской дружбы непосредственно восходит к следующим записям плана 1870-го года: «Об чем они говорят с хроменькой, обо всех своих мечтах... Он шел к хроменькой и говорил то-то...»; «с хроменькой читал романы»; «хромоножке во всем открывается»; «что ни прочтет, то передаст своеобразно хроменькой»; «нес ее на руках» и т. д.

Мотив Алеши—Лизы Хохлаковой возвращает нас к начальным фазам «Жития», как оно представлено записями 1870 года. Точно так же, к этим фазам ведет нас эпизод Коли Красоткина. Духовный облик этого мальчика соответствует некоторым общим записям плана, создающим характер «Великого грешника». Коля Красоткин—«смелый мальчишка,.., характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого», у него «независимый дух, с самого чуть не детства,... смелость мыслей и убеждения», и, как результат, резкость и настойчивая прямолинейность суждений; он «не такой, как все», по словам Алеши, «прелестная натура, хотя и и з в р а щ е н н а я». «Послушайте, Коля, говорит Алеша, вы, между прочим, будете и очень несчастный человек в жизни». Впереди его ждет, однако, высокая миссия: «Но в целом все-таки благословите жизнь», заканчивает Алеша. Любопытно отметить: в этом же разговоре с Алешей идет речь о Кандиде, которого Коля уже читал... Быть несчастным в жизни, пройти через все крайности падений и восставаний, но «в целом благословить жизнь», осуществить «чистый идеал свободного человека»—так и был задуман герой «Жития», этот «русский Кандид»... И так анализ последних романов Достоевского в свете замысла 1869—70 гг. вскрывает некоторую зависимость отдельных персонажей этих романов от записей задуманного жиз-

неописания. Все эти персонажи—как бы осколки жизнеописания «великого грешника». Ставрогин, Иван, Димитрий, Алеша Карамазовы, Коля Красоткин—все это лишь отдельные замкнутые в себе моменты духовной жизни, развития другого, более величественного, но так и неявленного героя. Такое расщепление могло бы свидетельствовать о полном отказе Достоевского когда-нибудь осуществить полностью свой житийный замысел, написать поэму. Но мотивы этого отказа тут, в «Бесах» ли или в «Братьях Карамазовых», неуловимы, потому что ни тот, ни другой из этих романов в своем замысле не совпадают с замыслом «Жития» 1869—70 гг. Однако, в жизни и творчестве Достоевского был момент, когда он попробовал еще раз приняться за оставленный в 1870-м году свой эпический замысел,—по крайней мере, за первую часть его. Результатом этой попытки явился роман «Подросток» (1875 г.), роман, больше, чем все другие, связанный с записями «Жития». Но форма и этого романа далеко не житийная. Вот если проследить, как развивался этот роман, слагаясь в художественное единство, только тогда будут видны не случайные (как в 1870 году), но органические причины этих последовательных неудач Достоевского при осуществлении эпического замысла [1]).

В. Комарович.

---

[1]) Исследование романа «Подросток» с точки зрения его художественного генезиса будет служить непосредственным продолжением этой статьи.

В. ВИНОГРАДОВ.

СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЭМЫ: „ДВОЙНИК“.

Стиль [1]) петербургской поэмы „Двойник".

(Опыт лингвистического анализа).

> «Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и все хохотал!».
>
> («Петербургские сновидения в стихах и прозе»).

Петербургская поэма: «Двойник», всегда высоко с идейной стороны ценимая самим Достоевским, не имела успеха у публики при своем появлении и даже подорвала у автора репутацию будущего гения. Критика в оправдание своего холодного, иногда даже враждебно-иронического отношения к этой повести указывала на слабость ее формы. Между тем, архитектоника «Двойника», намеченные в нем стилистические задания и приемы их осуществления не были выяснены ни современными его появлению рецензентами, ни последующими исследователями творчества Достоевского. Они искали и находили в «петербургской поэме» лоскуты из различных произведений Гофмана [2]) или анализировали «поприщинскую психологию» Голядкина. И особенно соблазняла эта вторая генеалогическая точка зрения. Приключения Голядкина» до последнего времени воспринима-

---

[1]) Стиль «Двойника» в предлагаемой статье описывается мною только в проекционной плоскости. Я рассматриваю «Двойник», как окаменелый памятник прошлой жизни поэтического языка, и стараюсь выяснить его лишь внешнюю, грамматическую, так сказать, структуру. Вопросов поэтической символики Достоевского, которая ближе всего подводит к постижению явлений индивидуального поэтического языкового мышления, я сознательно почти не касаюсь, хотя вообще придаю им первенствующее значение. О них речь будет особо.

[2]) См., напр., Замотин И. И., Достоевский в русской критике. Варш. 1913. Ч. I, 27 стр.; проф. Кирпичников. Достоевский и Писемский; Л. Гроссман. Гофман, Бальзак и Достоевский. София, 1914, № 5, 91—93 стр. С. И. Родзевич. К истории русского романтизма. Р. Ф. Р. 1917, № 1—2. 223—230 стр.

лются на фоне психологической трактовки Аксентия Ивановича Поприщина (особенно резко у Переверзева. Творчество Достоевского. М. 1912), и сопоставление «Двойника» с «Записками сумасшедшего» сделалось общим местом литературы о Достоевском. Между тем, Белинский, к которому прикрепляется цепь мнений о Двойнике, как о художественной переработке «Записок сумасшедшего» (Отеч. Зап., т. XLV, отд. V, 8 стр.), лишь сдержанно намекнул на общность некоторых стилистических приемов этих произведений—«маскировку юмором глубоко-трагического колорита и тона». Но решительно отрицал литературное родство их типов—Поприщина и Голядкина. Большинству рецензентов «Двойника» бросалось в глаза совпадение сцен, ситуаций и фигур «Двойника» и с другими сочинениями Гоголя. «В начале тут беспрерывно кланяешься»,—писал С. П. Шевырев,—«знакомым из Гоголя: то Чичикову, то Носу, то Петрушке, то индейскому петуху, в виде самовара, то Селифану» (Москвитянин. 1846 г., ч. I, № 2, стр. 172).

В самом деле, сходство в основном образе «Двойника» и «Записок сумасшедшего» (Поприщина — Голядкина) не могло поразить и удивить современника-читателя. «Подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура» мелкого чиновника-неудачника с «амбицией», образ, канонизированный Гоголем, ко времени Достоевского успел уже стать традиционным. П. В. Анненков констатировал, что «этот тип окаменел в нашей литературе» (Современник, 1849 г., т. 13, 10 стр.). Я. Бутков и целый ряд других писателей «натуральной школы», упражняясь в различных видах стиля и комбинируя разнообразные сюжетные схемы, взбирались на «петербургские вершины» («Петербургские вершины», описанные Я. Бутковым. 1845—1846 г., кн. I и II) и рисовали здесь образы мелких чиновников «с амбицией», сходивших с ума [1]). Напротив, в «Двойнике» современники увидели совершенно новую трактовку традиционного сюжетного построения. «Записки сумасшедшего» Гоголя стали представляться непосредственным оригиналом для «Двойника» позже, когда некоторая хронологическая даль скрыла промежуточные литературные холмы. Между тем, различие художественных заданий и стилистического их выполнения в обоих произведениях несомненно. Близость ограничивается лишь частичными совпадением сюжетной схемы. Как в «Записках сумасшедшего», так и в «Двойнике» разрабатывается один из вариантов мотива о несчастной любви титулярного советника к генераль-

[1]) Кроме «Записок Сумасшедшего» Гоголя, напр., в Сев. Пчеле за 1834 г. от 15 февраля: «Три листка из дома сумасшедших»; в Литературных Прибавлениях к Русск. Инвалиду за 1835 г. № 54: «Листок из записок сумасшедшего» Е. Г.; в «Петербургских вершинах» Я. Буткова, повести: «Сто рублей» и «Первое число».

ской (или почти генеральской) дочери (дочь директора—Клара Олсуфьевна), предпочитающей ему блестящего светского молодого человека (камер-юнкер Теплов, Владимир Семенович). «Кознями врагов» в той и другой фабуле руководит начальник отделения («начальник отделения»—Андрей Филиппович). Но элементы этого традиционного узора использованы Гоголем и Достоевским совершенно различно. У Гоголя эта любовная интрига вставлена в рамку дневника Поприщина. Но дневник, в собственном смысле, включает в себя «дела и дни» только одного Поприщина, а сюжетная разработка отношений и событий в директорском доме построена в форме собачьей переписки, захваченной автором дневника. Прием обрисовки вещей с собачьей точки зрения, которая в ремарках Поприщина обнаженно сопоставляется с человеческой («Мне подавайте человека. Я хочу видеть человека! Я требую духовной пищи!»), создавая цепь неожиданных комических воспроизведений, ведет к эффектному разнообразию стиля. Мотивировка включения в дневник переписки Мэджи и Фидели дана в форме сумасшествия Поприщина («Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал»), и в связи с этим совершается обрыв основной канвы новеллы и резкая перемена стиля. Дело в том, что мотив навязчивой идеи в художественном воплощении Гоголя предполагает применение одного из излюбленных творческих приемов его—реализации словесной метаморфозы: в данном случае—превращения сумасшедшего в об'ект преследующей мысли (в «Записках сумасшедшего»—в испанского короля, во «Владимире 3-й степени»—во Владимира 3-й степени) [1]). В соответствии же с пересечением основной новеллы новым мотивом изменяется и стиль, переходя постепенно в мозаичное сцепление фраз, логически не связанных, иногда механически скрепленных общностью отдельных слов, с патетическими перебоями, имитирующими манию величия, и с резким обрывом лирической концовки.

Такой склейки двух различных сюжетных построений не было в поэме: «Двойник», и она осуществляла иной композиционный план.

Даже совпадавшая с «Записками сумасшедшего» часть сюжетной схемы «Двойника» терялась в пестрых красках иного фабулярного узора [2]). Если литературное сумасшествие до

---

[1]) Навязчивая идея, мучившая Поприщина, подсказана современной газетной литературой, в которой со второй половины октября 1833 г. «испанские дела» начинают занимать главное место (Сев. Пчела за 1833 г.—19 окт., 24 окт. и особенно с 28 октября).

[2]) В своем сюжете поэма Достоевского даже в деталях (сцена бала) обнаруживает близкое родство с новеллой Е. П. Гребенки: «Двойник» из серии: «Рассказы пирятинца».

Достоевского, при разработке сюжетов из мелко-чиновничьего мира, было лишь орудием развязки, как у Буткова, отчасти у Гоголя во «Владимире 3-й степени», или связано с мотивировкой новых стилистических приемов, как у Гоголя в «Записках сумасшедшего», то Достоевский в «Двойнике» сделал сумасшествие Голядкина—темой. Обрисовка «сумасшествия для сумасшествия»—так формулировали современники сюжетное задание «Двойника» (Анненков), и новизна его была ими болезненно воспринята («неприятный и скучный кошмар», «скучная до утомления повесть», «нарушение приличия, нестерпимое для круга образованных читателей», и т. п.).

Легко понять, почему Достоевским была отброшена рамка дневника самого Голядкина. Она мало гармонировала с намеченным художественным заданием: дневник не мог бы так четко и, главное, с таким тщательным описанием малейших движений героя, при обычной у Достоевского быстроте развития интриги, изобразить любопытные в своем роде приключения г. Голядкина. В соответствии с этим избирается форма рассказа «постороннего наблюдателя». Уже определился характерный прием Достоевского, предпочитавшего эпистолярную и мемуарную формы стилизации своих новелл и романов, в которых и композиционная схема и способ рисовки почти всегда обусловливаются стилем подставного лица. Поэтому «анатомо-морфологическое» описание «Двойника», как и других произведений Достоевского, должно начаться с стилистического анализа и лишь затем перейти к композиционной схеме.

I.

В «Двойнике» изложение преломляется через маску «скромного повествователя похождений» сумасшедшего господина Голядкина. Вследствие этого открылась возможность применить способ рисовки, сходный с тем, которым пользовался Гоголь в новелле, тоже трактовавшей о раздвоении,—в повести: «Нос», а также в «Мертвых душах»—прием точной и детальной регистрации мельчайших движений героя. Напр., у Гоголя в первом отрывке повести «Нос»: «Иван Яковлевич надел для приличия сверх рубашки фрак и, усевшись, приготовил две головки луку, взял ... нож и, сделавши значительную мину [1]), принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и увидел... Иван Яковлевич ковырнул... пощупал пальцем... Засунул пальцы и вытащил... руки опустил; стал протирать глаза и щупать»... [2]).

---

[1]) Ср. в «Двойнике»: «Господин Голядкин с самой значительной миной ...».

[2]) См. мою статью: «Сюжет и композиция повести Гоголя: «Нос». Журнал: «Начала», № 1.

С той же отчетливой подробностью воспроизводятся и действия Голядкина: «Голядкин очнулся... зевнул, потянулся и открыл, наконец, совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно... Господин Голядкин судорожно закрыл глаза... Через минуту одним скачком выпрыгнул из постели... тотчас же подбежал к зеркалу... Поставил зеркало на прежнее место, а сам... подбежал к окошку и... начал что-то отыскивать глазами... Потом—заглянув... сначала за перегородку... на цыпочках подошел к столу, отпер в нем один ящик, пошарил... вынул, наконец,... бумажник, открыл... и с наслаждением заглянул»... Таким образом, основной слой повести образует построенный под непосредственным влиянием гоголевского сказа деловой повествовательный стиль, комического оттенка, живописующий как малейшие движения героя, так и детали окружающей обстановки, иногда выливающийся в форму подробного перечисления [1]).

Составные элементы этого стиля не были новы. «Страсть к подробностям, разложение вещей, анализ бесконечно малых», детализация обстановки еще Анненковым признаны были характерной особенностью всей гоголевской школы. В узком кругу изображаемого мира тщательно вырисованные детали обстановки принимают гротескные очертания. Значение этихъ аксессуаров в построении новеллы сентиментально-гротескного типа и было осознано и использовано как Гоголем, так и его последователями (примеры из Я. Буткова и М. Достоевского см. в статье Анненкова. Современник, 1849 г., т. XIII, 10 стр.). Этот прием усвоил в начале своей литературной деятельности и Ф. М. Достоевский, видоизменяя его в зависимости от художественного задания той или иной повести и развивая далее.

В первом произведении Ф. Достоевского: «Бедные люди», где повествовательный сказ отступал на задний план перед беспорядочно эмоциональной диалогической формой речевого стиля, с его игрой интонаций, вырисовка деталей обстановки и событий прошлой и настоящей жизни героев

[1]) «Очнулся, зевнул, потянулся и открыл, наконец...» (Т. I, ч. I, изд. Маркса, 1894 г., 125 стр.); «обрился... и вымылся, хлебнул чаю на-скоро и приступил к... облачению: надел панталоны... потом манишку... жилетку: на шею повязал... галстук и, наконец, натянул виц-мундир»... ib., 128.—«пробормотал кое-что улыбаясь, покраснел, сконфузился, выразительно замолчал и, наконец, сел окончательно». Ib., 132. «Знакомо глянули на него стены... комод... стулья... стол... диван и, наконец, платье»... Ib., 125. «Словом, господин Голядкин вполне был доволен, во-первых, потому, что был совершенно спокоен, во-вторых, что не боялся врагов своих...; в-третьих, что сам своей особою оказывал покровительство и, наконец, делал доброе дело» ib., 186. Сравн. даже злоупотребление нетерпеливо ожидаемым в длинном перечислении «наконец»: «Он только машинально отсмеивался. Наконец, он почувствовал, что на него надевают шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу; что, наконец, он почувствовал себя в санях, в темноте и на холоде, наконец, и на лестнице. Наконец, он споткнулся»... ib., 161.

эффектно разнообразилась изменением оттенков эмоционального фона и лишалась хронологической последовательности. Здесь скопление подробностей было подчинено принципу выбора, который обусловливался соответствием их по сходству («изо всего что-нибудь выведешь сходное с своим положением, и это всегда так бывает») или по контрасту той эмоциональной рамке, в которую эти детали вставлялись (по контрасту, напр., в письме Вареньки от 3 сент., Макара Девушкина от 12 июня и др.; по сходству—в письмах Девушкина от 11 авг., от 21 авг. и т. д.). Но так как основным заданием «Бедных людей» была формовка речевого стиля «бедного человека» на основе «слога лиц, выводимых Гоголем» (на это обратили внимание уже Шевырев—Москвитянин, 1847 г., № 1—и Страхов. Отеч. Зап., т. 171, 551 стр.) [1], а сюжет для выполнения этой задачи был совершенно безразличен [2], то естественно, что, увлекаясь упражнениями в стиле, Достоевский иногда изменял намеченному принципу группировки подробностей и злоупотреблял деталями, нагромождая их, как материал для игры стилем. Вследствие этого нередко сбитые в кучу подробности выступали далеко за пределы сюжетных требований, придавая всей композиции характер неуклюже-растянутого сооружения. Этот диссонанс воспринят всеми критиками «Бедных людей». «Автор владеет даром выбора, хотя редко употребляет его», писал А. Никитенко (Библ. для Чт., т. 75, 31 стр.). «Герои своевольно и эгоистически присваивают себе право говорить и делать для себя больше, чем для романа» (ibid, 30 стр.).

Еще резче этот недостаток подчеркивает рецензент Иллюстрации (1846 г., 59 стр.): «хотя эта странная чета и могла видеться ежедневно и виделась на гуляньях там и сям, но во время свиданий не разговаривала, а все, что сказать могла, излагала в письмах... Но видно у Федоры, которая в этом романе играет роль Меркурия, заболели ноги. Варенька сжалилась над нею и вышла замуж за своего соблазнителя» [3].

Таким образом, в «Бедных людях» рисовка подробностей обстановки играла не только композиционную роль, но и получала значение материала для стилистических экспериментов.

---

[1]) Ср. письмо Достоевского к брату от 1 февр. 1846 г.: «не понимают, как можно писать таким слогом. Им и не в догад, что говорит Девушкин, а не я и что Девушкин иначе и говорить не может» («Письма Достоевского» 44 стр.).

[2]) Сюжеты, композицию и стиль ранних произведений Достоевского на фоне натуральной школы я рассматриваю в приготовляемой к печати книге: «Натуральная школа и ранние произведения Достоевского».

[3]) Эти замечания, при всей их логической справедливости, обнаруживают у рецензента недостаток историко-литературных сведений: история Вареньки Доброселовой была предопределена литературной традицией того «мещанского» сентиментального романа, форму которого избрал Достоевский, подчеркнувши ее именами Вареньки Доброселовой и Макара Девушкина и назвавши слуг Терезой и Фальдони (имена героев сентиментального романа Леонарда).

В «Двойнике» же, где осуществлен переход от эпистолярной формы к форме рассказа непосредственного наблюдателя [1]), Достоевский соединяет с отделкой подробностей обстановки тщательное описание всех движений героя в их хронологической последовательности, независимо от повторяемости. Так, направленные в эту сторону стилистические приемы «гоголевской школы» нашли здесь дальнейшее свое развитие и преобразование.

Предшественники Достоевского, избегая упреков в утомительном однообразии, к подробной рисовке обстановки [2]) не присоединяли хронологически последовательной регистрации всех действий героя, независимо от их повторяемости, а, наоборот, производили выбор между движениями по тому или иному принципу, тщательно вырисовывая обычно лишь первые шаги героя, тем более, что в большинстве случаев сюжетная схема исчерпывалась только в значительный промежуток литературного времени. Так повелось от Гоголя, в «Мертвых душах» которого—при стремлении к хронологически-последовательному и полному описанию «дней» героя, подробно нарисованы лишь движения Чичикова в первые два дня, а затем отмечались только новые события («на другой день»... «на другой день»... «Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома») вплоть до новых встреч при новой обстановке при раз'ездах Чичикова.

Точно так же и в повести: «Нос» прием детальной и точной регистрации мельчайших движений применен к изложению лишь части дня как Ивана Яковлевича, так и майора Ковалева. (Ср.: «он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать»... «Нос очутился... между двух щек майора Ковалева... уже апреля 7 числа»).

В «Двойнике» же весь композиционный план осуществляется при посредстве такой исчерпывающей рисовки движений, которые как бы застывают «на мгновение»: «на мгновение смутился»—132 стр.; «на мгновение выразительно замолчал»—135 стр.; «на мгновение будто прирос к

---

[1]) Ср. частое употребление наречного образования: «повидимому», напр., «повидимому,... остался совершенно доволен»—126 стр.; «повидимому, и то, что он отыскал на дворе, совершенно его удовлетворило»—ib.; «повидимому, ни тема разговора, ни самый разговор не понравились господину Голядкину»—127 стр.; «господин, сидевший на дрожках..., повидимому, крайне был изумлен»—130 стр.; «повидимому, доставило ему крайнее удовольствие»—142 стр.; «не было, повидимому, конца его хлопотам»—ib. и др.; Ср. также выражения: «заметно было еще, что, во время осмотра, глядел с каким-то странным ожиданием на барина»...—128 стр.; «Заметно было уже по одному виду господина Голядкина, что у него хлопот полон рот»...—141 стр.; «Заметно было, что герой наш был в крайнем волнении»—143 стр. и т. п.

[2]) Ср. порицание Анненкова: «великие писатели не все целиком берут от обстановки, а только те ее части, которые проявили значительную мысль». Современник. 1849 г., т. XIII, 11 стр.

своему креслу»—136; «покраснел на мгновение»—141; «закрыл глаза на мгновение»—180; «прошептал, остолбенев на мгновение»—193 и т. д.

Четкая, неспешная рисовка движений в их последовательности и порядок их смены подчеркивались особым стилистическим приемом. Это—постоянные указания на предшествующее основное действие, обособленное от других, его сопровождавших, путем повторения соответствующего глагольного образования в той или иной форме в новом синтаксическом целом [1]).

Такого же типа—ступенчатое расположение глагольных форм: «Так и вышло... запнулся и завяз... завяз и покраснел... покраснел и потерялся... потерялся и поднял глаза... поднял глаза и обвел их кругом... обвел их кругом и обмер»...

Помимо такого непосредственного упоминания о предшествующем действии, порядок смены движений отмечается еще беспрестанным повторением связующей частицы: «потом» [2]).

Покосясь на словесной передаче всех движений без пропусков, независимо от их повторяемости, повествовательный стиль становится однообразным. Обозначения движений пре-

---

[1]) «Голядкин... выпрыгнул из постели... Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал»—126 стр.

«Г. Голядкин остановился перед квартирою... Остановившись, приготовился дернуть за шнурок... Приготовившись дернуть за шнурок... он немедленно и довольно кстати рассудил»—131 стр.

«Побежал закусить, отдохнуть и выждать известное время. Закусив... Голядкин уселся»...—143 стр.

«Господин Голядкин успокоил, наконец, вполне свою совесть Успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он за трубку»—171 стр. «Потом же, когда кончатся часы присутствия, он примет меру одну. Тогда же он знает, как ему поступить, приняв эту меру»—201 стр.

«Неожиданно освободился от слабых рук господина Голядкина. Освободившись, он бросился с лестницы»—203 стр.

«Г. Голядкин... поднял нос кверху и осмотрелся, где он и как. Осмотревшись и заметив... герой наш почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку»—207 стр.

[2]) «Голядкин... оправился и огляделся, потом подошел к окну... потом опять сел на место»—143 стр.

«Г. Голядкин... покачнулся вперед, сперва один раз, потом другой, потом поднял ножку, потом как-то пришаркнул, потом как-то притопнул, потом споткнулся»...—160 стр.

«Тут г. Голядкин-младший... прибавил, что он, с своей стороны, весьма рад... потом наклонился немного... потом опустил глаза в землю»—193 стр.

«Герой наш... доказал бы, что он в своем праве, потом бы уступил немножко, потом может быть, и еще немножко бы уступил, потом согласился бы совсем, потом... и помирился бы даже»—201 стр. «С час времени ходил он по комнате, курил, потом бросил трубку... потом прилег на диван, потом опять взялся за трубку, потом опять начал бегать по комнате»—212 стр.

вращаются в застывшие формулы, которые повторяются на протяжении поэмы множество раз. В соответствии с этим неизменно повторяются и описания душевных переживаний, знаками которых являлись внешние движения [1]).

---

[1]) Напр., «судорожно потер себе руки»—129 стр.; «крепко потер руки»—126; «радостно потирал себе руки»—141; «говорил..., потирая руки... от радости»—178 стр.; «с энергией потер себе руки»—203; «энергически потер себе руки герой наш» — 227 стр.; «с восторгом он тер свои руки» — 278 и нек. др.

«Улыбался, что-то бормотал про себя»—130 стр.; «пробормотал кое-что, улыбаясь»—132 стр.; здесь же: «что-то пробормотал»; «отчасти улыбаясь, что-то бормотал про себя»—161 стр.; «улыбаясь, что-то бормотал себе под нос»—275 стр. и др.

«Вспыхнул, как огонь»—130, 199, 249 стр.; «подумал, вспыхнув, как огонь»—209 стр. и др.

«Он опустил глаза в землю»—156 стр.; 193; 200; «нечаянно опустил он глаза в землю»—252 стр.; «в недоумении своем опустил он глаза в землю»—263 и др. под.

«Покраснел до ушей»—130, 183, 190 стр.; ср. «красный, как рак»—199 стр.; «краснея, как рак»—208 стр.;

«Вздрогнул от одного самого неприятного ощущения»—129 стр.; «вздрогнул и поморщился от какого-то безотчетного и, вместе с тем, самого неприятного ощущения—158 стр.;

«Дрожа всем телом от какого-то болезненного ощущения»—217 стр.; вздрогнул от какого-то странного ощущения—276; ср. «вздрогнул всем телом»—164; «дрогнул всем телом»—165; «дрожа всеми членами»—253 стр. и др. под.; также: «чувствуя довольно значительную дрожь во всех членах»—226 стр.; «чувствуя дрожь во всех членах»—234 стр. и мн. др. под.; «как лист, задрожал»—180 и 267 и т. д.

«Сгорел от стыда»—172 стр.; «сгорел со стыда окончательно»—273 стр.; ср. «горел на мелком огне»—173; «говорил, горя на мелком огне»—273 стр.;

«Сорвался с места»—161 стр.; «вдруг срывался, как бешеный, с места и бежал»—163 стр.; «сорвался он, наконец, с места и бросился»—197 стр.; «как будто с места сорвавшись, бросился он вон»—253 стр. и т. д.;

«Продолжал он дрожащим, немного расслабленным от удовольствия голосом»—127 стр.; «продолжал г. Голядкин дрожащим, расслабленным голосом»—187 стр.;

«Бросил страшный, вызывающий взгляд»—130 стр.; «обеспечил себя тем же самым вызывающим взглядом»—132; «бросив вызывающий взгляд»—135; ср. стр. 145 и др.

«Чувствовал он в себе какое-то ослабление и онемение»—148 стр.; «во всем существе своем чувствовал какое-то ослабление и онемение»—168 стр.;

«Тут довольное странное ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина»—189 стр.; «между тем какое-то новое ощущение отозвалось во всем существе г. Голядкина»—164 стр.;

«Г. Голядкин мысленно обнаружил желание провалиться сквозь землю или спрятаться хоть в мышиную щелочку»... 148 стр.; «он с величайшим бы удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю»—156; «с величайшим бы удовольствием согласился наш герой пролезть теперь в какую-нибудь мышиную щелочку»—273 и др. «Какой-то новый свет пробивался сквозь весь неясный и загадочный туман, уже два дня окружавший его. Герой наш отчасти начинал понимать»—219 стр.; «мало-по-малу, новый свет начал пробиваться сквозь смущение г. Голядкина»...—240 стр.; «новый свет проливался»...—283 стр. Ср. 251: «вдруг новым светом озарило» и др. под.

«Все это потрясло до основания господина Голядкина»—217; «происшествия вчерашнего дня до основания потрясли г. Голядкина»—222 стр. и т. д.

Резкое выделение одного фактора, организующего повествовательный стиль, в качестве «доминанты» обусловило иерархию традиционных стилистических приемов и своеобразно видоизменило их семасиологическую роль—в зависимости от основного задания—детальной регистрации всех действий героя.

Благодаря такому способу рисовки, рельефно выступал гротескный рисунок: действия героя механизировались, и сам он превращался в марионеточную фигуру, повторявшую по воле автора определенный круг движений [1]).

Для того, чтобы эти формулы движений и настроений не образовали замкнутого круга, воспроизводимого с утомительным однообразием, необходимо было разнообразить порядок их смены неожиданными нарушениями. Поэтому встречаются в тексте бесконечные указания на внезапный обрыв начатого действия и неожиданный переход к новому. Наречное образование: «вдруг» отмечает пересечение одного ряда движений другим [2]).

Переход от одного ряда движений к другому часто мотивируется введением неожиданных «обстоятельств»: «вдруг одно, повидимому, весьма маловажное обстоятельство разрешило некоторые сомнения господина Голядкина»—227 стр.; «вдруг одно совершенно неожиданное обстоятельство совсем, как говорится, доканало... г. Голядкина»—235 стр.; «тут случилось совсем неожиданное обстоятельство»—277 стр. и т. д. В общую атмосферу разливающегося от быстрой смены неожиданностей «изумления» вовлекается и марионеточная фигура самого Голядкина, удивляющаяся собственным действиям: «к собственному своему величайшему изумлению, с о-

---

1) Ср. указания на это в тексте: «Господин Голядкин быстро подался вперед, словно пружину какую кто тронул в нем»...—155 стр.; «двигаемый той же самой пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрошенный, подался вперед»—155 стр.; «он все бежал, да бежал, словно двигаемый какою-то постороннею силою»—168 стр. и др.

Ср. поддчеркивание «машинальности» действий: «машинально... бормотал»—161; «он только машинально отсмеивался»—161; «машинально осмотрелся кругом»—168 стр.; «машинально оправился»—146; «машинально... водит пером»—174 стр. и т. д.

2) «Вдруг, вспомнив, герой наш вспыхнул... наконец, вдруг, по вдохновению какому-то дернул он за шнурок»—130; «вдруг обернулся»—141; «вдруг герой наш изо всей силы дернул шнурок»—148;

«вдруг пред нею очутился г. Голядкин»—160; «вдруг вспомнил все»—161; «вдруг... останавливался»—163; «вдруг срывался, как бешеный, с места»—163; «вдруг он вздрогнул всем телом»—164; «он вдруг очутился в шинели»—241; «вдруг пустился бежать без оглядки»—167; «вдруг г. Голядкин умолк»—180; «вдруг бросил трубку»—205; «вдруг и совсем неожиданно ретировался за ширмы»—155; «заплакал совсем неожиданно»—131; «неожиданно начал вдруг говорить»—156; «вдруг решительно топнул ногою»—209; «вдруг совсем неожиданно теперь опять... появился»—166; «вдруг глаза его остановились на одном предмете»—217; «почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку»—207 и очень мн. др.

всем неожиданно начал вдруг говорить»—156 стр.; «к неописанному своему и всех окружающих изумлению, вынул вместо платка склянку» —253 стр. и др. под.

Помимо игры неожиданными пересечениями рядов движений, пересечениями, вследствие которых схема действий героя проектируется в форме зигзагообразно расположенных линий, те же эффекты комического использования моторных образов осуществляются также посредством особого приема рисовки действия, выполнению которого предшествует парализованная отступлением попытка. Комизм такого «триединого» движения подчеркивается контрастными сцеплениями фраз и слов и рождающимися отсюда каламбурами.

Пример [1]): «Герой наш приготовился дернуть за шнурок колокольчика... Приготовившись дернуть за шнурок колокольчика, он немедленно и довольно кстати рассудил, что не лучше ли завтра... Но... немедленно переменил новое решение свое и уже так, заодно, впрочем, с самым решительным видом позвонил»...—131 стр.

В новелле, комические приемы которой так явно построены на игре моторными образами, вполне естественно ожидать указаний на быструю их смену, которая обозначается повторяющимся признаком действия: «немедленно», «ни мало не медля» [2]).

В соответствии с таким темпом смены движений, они обозначаются глаголами, с реальным значением которых соединено представление суетливой поспешности, судорожной торопливости действия. Герой почти не ходит, а «летает», «прыгает», «скачет» и т. п. [3]).

---

[1]) Другие формулы «триединого» движения: «Голядкин «взял стул и сел. Но, вспомнив, что уселся без приглашения, поспешил исправить ошибку свою в незнании света и хорошего тона, немедленно встав... Потом, опомнившись—решился, ни мало ни медля... и сел окончательно»—132 стр. «В два шага очутился он у двери, и уже стал отворять ее... Обнадежив себя... герой наш вдруг, и совсем неожиданно, ретировался за ширмы... Разрешив, таким образом, положение, г. Голядкин быстро подался вперед... с двух шагов очутился в буфетной»...—155 стр.

[2]) «Немедленно кликнул»...—127; «немедленно понадобилось сказать»...—130; «немедленно... рассудил»—131; «решился ни мало не медля»...—132; «ни мало не медля схватился за трубку»—204; «уселся он немедленно на диване»—209; «немедленно предупредил его в свою очередь»—199; «немедленно подошел кой к кому»—234; «не медля ни минуты, пристроился к столику»—251; «хотел он в чем-то немедленно об'ясниться»—137 и мн. др. Ср. также: «Чтобы времени не терять... полетел домой»—204; «не теряя времени, взял свою шляпу»—212; «дорогого своего времени не теряя, вбежал он вверх по лестнице»—207; «абордировал он, не теряя времени, Андрея Филипповича»—237 и т. д. Ср.: «быстро пошел,... как будто спеша нагнать потерянные две секунды»—166 стр.

[3]) «Одним скачком выпрыгнул»—126; «тотчас же подбежал к зеркальцу»—126; «подбежал к окошку»—126; «побежал под аркаду»—141; «забежал в лавочку»—142; «побежал закусить»—143 и т. д.; «стремглав побежал»—257; «стремглав бросился вон»—161; «отскочил в сторону»—164; «быстро вскочил с дивана»—171; «в один прыжок соскочил с крыльца»—209; «вскочил»—214 и т. д.;

По преимуществу употребляются глагольные формы совершенного вида, с «однократно моментальным» (по терминологии Шахматова)—значением: выпрыгнул—126; юркнул—155; скользнул—155; ринулся—243; шаркнул—141; захлопнул—148; дернул шнурок—148; сунулся—154; сунул—155; двинулся—155; шмыгнул—228; мелькнул—168; топнул ногою—209; встрепенулся—214, и т. д. Поровистый характер движений подчеркивается частым присоединением к действию в качестве определяющего признака наречий: «судорожно» («судорожно закрыл глаза»—125; «судорожно потер себе руки»—129 и др.), «торопливо», «суетливо» («торопливо, суетливо сбежал»—128; «торопливо... прижался»—129; «торопливо осмотрелся»—167... «шел торопливо»—165 и т. д.), «поспешно» («поспешно распростился»—142; «перебил поспешно»—143), «быстро» («быстро вскочил»—171; «быстро пошел»—166; «быстро потом обернулся назад»—165, и т. п.), «живо» («живо умылся»—171); «стремглав» («стремглав бросился»—161; «побежал стремглав»—257, и т. п.); «без оглядки» («бежал без оглядки»—163; «бросился вон без оглядки»—209, и т. д.); «мигом» («все это делалось мигом»—224; «сразу, в один миг разрушал»—223 и т. д.), «тотчас же» («тотчас же шмыгнул»—228; «тотчас же осекся назад»—232), и др. под.

Комическое своеобразие этих бесцельно-торопливых в лихорадочной смене своей движений и ощущений усиливается внедрением в передающие их формулы «словечек» и выражений вульгарного, чаще разговорно-чиновничьего диалекта или иностранных речений с оригинальной семантикой: «срезался»—130; «огладился»—143; «скандализируясь изумлением чиновников, перебил»—143; «делая... молодца по неволе»; «Заходил мнением своим в контру»—185 и т. п. [1]).

«прыгнул за печку»—232; «словно на крыльях летел»—243; «полетел в департамент»—171; «герой наш не шел, а летел»—250; «как стрелка, влетел»—168 и т. д. Ср. «почти на-лету обернулся»—249; «герой наш несся некоторое время по улице»—249 и т. д.

[1]) «Начал стараться улизнуть»—157; «улизнуть от греха»—158, 198; «старух едва не опрокинул в ретираде»—161; г. Голядкин... «трусил шажком»—162; «дробил и семенил с притрусочкой»—165; «пришло в голову подбиться к чиновникам, забежать вперед зайцем»—179; ср. 202; 224; «ощутил желание крюку дать»—180; «сердце насасывало»—180; «виляет бочком»—182; «скомпрометировать себя в отношении амбиции»—183; «исхарчился»—185; «употреблял усилия найти в г. Голядкине»—186; «вздумалось пожуировать жизнию»—186; «пустился, желая накрыть опасность»—192; «прямо подкатился к г. Голядкину»—196; «щелкнул по брюшку»—199; «замарал себя»—185, 200; «позволить затереть себя, как ветошку... не мог»—201; «ползался с третьими»—202; 224; 235; «адресовал улыбку»—202; «отправил в рот, чмокнув от удовольствия»—209; ср.: «чмокнул в самые губки»—235; «захрапел сном невинности»—217; «подлизался»—224; «лягнет ножкой»—224; «куртизанит третьего»—224; «гонят в толчки»—224; «абордировал он Андрея Филипповича»—237. Ср.: «случалось ему абордировать кого-нибудь ради собственных делишек своих»—132; «позволили ввернуть полсловечка»—263; «проревел во все горло лакей»—264; «курнякая головой» и т. д.

Сила комического впечатления, создаваемого таким лексическим подбором, заключается в нарушении соответствия между об'ективной точкой зрения на действие и передающей его формулой, которая как бы извлекается из языка самого действующего лица. Противоположный этому прием комической рисовки—закрепление действия в значительно-торжественной фразе, комическая ощутимость которой покоится на контрасте смыслового содержания составляющих ее лексических элементов. В большинстве случаев такая формула слагается из соединения глагола с определяющими его словами, контрастирующими по своему значению с названием действия или подчеркивающими его «значительность»: полюбовался окончательно»—128; «сел окончательно»—132, 142; «похолодел окончательно»—267; «посеменил окончательно»—202; «с возмущающим душу бесстыдством щелкнул окончательно по брюшку»—199, и т. п. [1]).

В этих двух приемах рисовки действий и состояний легче всего вскрываются два слоя повествовательного стиля—высокий и низкий, которые требуют раздельного рассмотрения.

Но при всем разнообразии лексической структуры формул движений и настроений, в их словесном облике поражает одна общая черта, придающая своеобразный характер повествовательному стилю «Двойника». Это—отсутствие точного обозначения цели, причин и содержания передаваемого действия или состояния. Перенесенная в маленький до фантастичности мир искусственных переживаний, неопределенность обозначений, выражающаяся в непрестанном употреблении неопределенных местоимений и наречий, создает атмосферу таинственных полунамеков, жуткого ожидания, которое обычно разрешается комически. Это — приемы, подчеркивающие гротескный стиль новеллы и распространяющиеся от обозначений признаков действий на все ее аксессуары.

Примеры: «Начал отыскивать что-то глазами»—126; «Петрушка что-то рассказывал»—127; «как будто заранее что-то предчувствовал»—134; «он отчего-то улыбался»—160; «что-то сказал ему, что-то скоро сказал»—164; «с каким-то необыкновенным участием осведомился о здоровье»—174, и мн. др. под.

От этой неопределенности обозначений, как характерного приема описания движений и чувств, а также введения новых

---

[1]) «Улыбаясь значительно»—127; «значительно кивал головою»—262; «значительно взглянул»—144 и т. д. Ср.: «бросая значительный взгляд»—133; «остановился с весьма значительным видом»—133 и др. под.; «выразительно замолчал»—132; 135; «красноречиво умолк»—145; «стал решительно и прямо смотреть»—273; «прямо, решительно, смело абордировал он»—237 стр. и т. д.; «уцепился всеми данными ему природой средствами»—243; «уцепившись за крыло дрожек всеми данными ему природою средствами, герой наш несся»—249; ср. ibid.: «всеми средствами вцепившись в воротник» и мн. др. под.

событий, возрастает комическое своеобразие действий, и оно нередко обнажается присоединением к форме глагола или существительного определяющего признака: «странно,» «странный» [1]).

В этой «странной» атмосфере непрерывно сменяющихся движений и событий, окруженных дымкой таинственной неопределенности, должны приобретать особую интенсивность и остроту чувства, и высшая степень их напряжения постоянно подчеркивается присоединением к формам их выражений гиперболизирующих определений: «неописанный», «неистощимый», «крайний», «неизъяснимый», «величайший» и т. п. [2]).

---

[1]) Ср. тот же прием в повести Гоголя: «Нос».

Примеры из «Двойника»: Костюмирован он был странно до-нельзя—127; Петрушка глядел с каким-то странным ожиданием на барина—128; Страх сменился каким-то странным... выражением в лице г. Голядкина—129;

Крестьян Иванович как-то странно и недоверчиво взглянул на г. Голядкина—134; выразил на лице своем какую-то странную, даже, можно сказать, недовольную мину—132;

В нем произошла какая-то странная перемена—136;

Глаза его как-то странно блеснули—136;

Произошла довольно странная сцена—136;

Необыкновенно странным образом разрешилось и второе движение г. Голядкина—136;

Какое-то странное... ощущение охватило всего г. Голядкина—141;

Случилось странное происшествие—160;

Странного чувства, странной темной тоски своей все еще не мог оттолкнуть от себя—164—165.

Все это было так странно—169;

Сомнения его вдруг разрешились, но зато самым странным и самым неожиданным образом—172;

Все это сопровождалось какой-то странной тоской—222;

Появлялась перед ним в каком-то странном... полусвете фигура Андрея Филипповича—222;

Как-то любопытно и странно посмотрел на г. Голядкина—238;

Как-то странно ответили сослуживцы на приветствие г. Голядкина—236;

Как-то странно с'ежился—242;

Пожал ее с каким-то странным, совсем неожиданным внутренним движением—236;

Вдруг во всех окнах разом обнаружилось какое-то странное движение 272 и мн. др. под.

[2]) Думал в неописанной тоске—130; подумал в неописанной тоске наш герой—261; в неописанной тоске своей бросился было он догонять своего неприятеля—250; в странной, неописанной тоске сорвался он, наконец, с места—197; к неописанному своему и всех окружающих изумлению—253 и др. под.; в неистощимой тоске своей—252; в неистощимой агонии—274; проговорил с невыразимой миной негодования—157; крайне был изумлен—130; с крайним беспокойством смотрел—136; был в крайнем волнении—143 и т. д.; смотрел с необ'яснимым... участием—275; с неиз'яснимым беспокойством начал озираться кругом—164 и т. д.; с величайшим любопытством... стал заглядывать—130; с величайшим бы удовольствием провалился—156; к... величайшему изумлению... начал вдруг говорить—156 и т. д.; с необыкновенным участием осведомился—174; был в необыкновенной тарелке своей—184 и мн. др.

Иногда напряженность чувства и действия как бы растет на глазах читателя. Это усиление достигается путем повторения одного и тоге же слова с градацией определений или посредством нагромождения близких по значению лексических сочетаний:

«с беспокойством, с большим беспокойством, с крайним беспокойством смотрел»—136;

«первым делом г. Голядкина было протестовать, протестовать всеми силами, до последней возможности»—197;

«принял на себя вид самый занятой, самый деловой, самый форменный»—200; «спешил, частил, торопился»—166, и мн. др.

Все эти стилистические приемы, об'единенные общим художественным заданием—четкой и детальной рисовки движений героя и гиперболического описания сопровождающих их душевных переживаний, определяют и структуру предложения. Для «делового» стиля «Двойника» характерно обилие «слитных» предложений, с скоплением многих однородных членов.

К таким же об'единениям приводят и аналогичные приемы для обрисовки аксессуаров действия и обстановки. В частях повествования, посвященных изображению обстановки, выступают сходные черты слитных предложений: перечисление предметов (ночь была... чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных родов и сортов»...—162; «среди ночного безмолвия, прерываемого лишь гулом карет, воем ветра и скрипом фонарей, уныло слышались хлест и журчание воды»—162, и т. д.), особенно скопление определений и обстоятельств—наречий обычно синонимического характера («большого, капитального дома»—125; «дальний, потаенный карман»—126; «снег валил еще сильнее, крупнее и гуще»—164; «ночь... ноябрьская, мокрая, туманная, дождливая, снежливая»—162, и мн. др.) и даже глагольных форм.

Любопытно, что, в целях контраста с «пружинной» марионеткой, домашняя обстановка и пейзаж, среди которых развертываются приключения Голядкина, в «Двойнике» одушевлены. Нередко они представлены в виде свидетелей и «посторонних наблюдателей» действий г. Голядкина («г л я н у л и на него стены... комод... стулья»—125; «осенний день так сердито и с такой кислой гримасой з а г л я н у л к нему сквозь тусклое окно»—125; «пачка бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно г л я н у л а на г. Голядкина»—126; ср. даже: «борода его кучера опять г л я н у л а к нему»—270 и т. д.), или даже его врагов, энергично содействующих его гонителям («струи дождевой воды п р ы с к а л и... и к о л о л и и с е к л и лицо несчастного г. Голядкина»—162; «вьюга и хмара вдруг атаковали г. Голяд-

кина..., пронимая его до костей, залепляя глаза, продувая со всех сторон, сбивая с пути, как бы нарочно сообщась и согласясь со всеми врагами его...— 162 стр.; снег валил хлопьями и всячески старался, с своей стороны, каким-нибудь образом залезть под распахнувшуюся шинель настоящего г. Голядкина—249 стр.).

Из таких элементов соткан основной повествовательный сказ «Двойника».

II.

Значительно переработанный и полный оригинальных дополнений, повествовательный сказ «Двойника» все же носит на себе яркий отпечаток влияния «Носа» и «Мертвых душ» Гоголя. Недаром чутким современникам связь «Двойника» с этими произведениями Гоголя казалась непосредственно ощутимой. В письмах самого Достоевского о «Двойнике» (к брату, 46 г. Письма, 44 стр.) встречаются указания на «Мертвые души», как на образец, который он, по мнению его поклонников, преодолел своей «поэмой». Веским доказательством формовки основного повествовательного стиля «Двойника» под влиянием соответствующих приемов «Носа» и «Мертвых душ» может служить ряд реминисценций по разным частям поэмы.

На фоне соответствующих выражений и ситуаций «Мертвых душ» воспринимаются следующие места «Двойника»:

«Учитель... казалось, хотел ему вскочить в глаза».	«Господин Голядкин... смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза».
«Пришпандорь кнутом вон того—солового» (слова мужика). М. Д., изд. XV, 90 стр.	«Что, дескать, ты, такой-сякой, Вася пришпандорил таки свою дамочку, как хотел» (слова «блестящего кавалера»).
«Индейский петух заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно: желаю здравствовать» ib. 46 стр.	«Самовар что-то с жаром быстро болтал на своем мудреном языке,... вероятно, то: что, дескать, возьмите же меня, добрые люди».
«Он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «ах, ты, мордашка этакой!» ib. 161.	«Эх, ты, фигурант ты этакой!»—сказал господин Голядкин, ущипнув себя окоченевшею рукою за окоченевшую щеку: «дурашка ты этакой, Голядка ты этакой».

«Он подходил дробным, мелким шагом, или, как говорят, семенил ножками... Посеменивши с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде коротенького хвостика или на подобие запятой» ib. 165.

«Голядкин... дробил и семенил частым, мелким шажком, немного с притрусочкой»...

«Господин Голядкин поднял ножку, потом как-то пришаркнул»...

«Лягнул своей коротенькой ножкой и шмыгнул в соседнюю комнату»

«Уже стал он было в сенях поспешно сбрасывать с себя шинель, как швейцар поразил его совершенно неожиданными словами:

— Не приказано принимать.

— Как! Что ты! Ты, видно, не узнал меня? Ты всмотрись хорошенько в лицо,— говорил ему Чичиков.

— Как не узнать! ведь я вас не впервой вижу,—сказал швейцар. — Да вас-то именно одних и не велено пускать, других всех можно». ib. 213.

— «Дома-с, то-есть, нет-с, их нет дома-с.

— Как? Что ты, милый? Я-я на обед, братец. Ведь ты меня знаешь?

— Как не знать-с! Принимать вас не велено-с.

— Ты-ты, братец... ты, верно, ошибаешься, братец. Это—я...—проговорил господин Голядкин, сбрасывая шинель».

«Зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи» ib., 212.

«Я изобразил бы вам... счастливых родителей, устремивших на него полные ожидания очи».

Менее ощутительны реминсценции из новеллы Гоголя «Нос».

«Коллежский ассесор Ковалев проснулся довольно рано... потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашним вечером вскочил у него на носу».

«Голядкин очнулся после долгого сна... потянулся... подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоявшему на комоде.

«Вот бы штука была,—сказал господин Голядкин вполголоса,—«вот бы штука была, если-б я сегодня манкировал

«Доктор этот был видный собою мужчина, имел прекрасные, смолистые бакенбарды, свежую, здоровую докторшу».

«Вдруг он стал, как вкопанный, у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неиз'яснимое: выпрыгнул сгнувшись господин и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос!

При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять... весь дрожа, как в лихорадке. Бедный Ковалев чуть не сошел с ума... Он побежал за каретой... Наконец, он увидел его, стоящего... «Милостивый государь», сказал Ковалев, внутренно принуждая себя ободриться. — «Вы ошибаетесь, милостивый государь»—сказавши это, нос отвернулся»...

«Только нет, не может быть... Это, верно, во сне снится или, просто, грезится... Майор ущипнул себя».

в чем-нибудь, если бы вышло, например, что-нибудь не так, прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний»...

Доктор... весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми седеющими бровями и бакенбардами... пил кофе, принесенный ему собственноручно его докторшей.

«С неиз'яснимым беспокойством начал он озираться кругом... Остановился, как вкопанный... вздрогнул, разглядел и вскрикнул от изумления и ужаса. Ноги его подкосились. Это был тот самый знакомый ему пешеход.

«Да что-ж это такое, что же это я с ума, что ли, в самом деле, сошел?» Господин Голядкин пустился догонять незнакомца... «Извините, я, может быть, ошибся», дрожащим голосом проговорил наш герой... Незнакомец молча и с досадою отвернулся... остановился перед домом... нагнулся... мелькнул и исчез... при входе на лестницу... Волосы стали дыбом на голове господина Голядкина, и он присел без чувств на месте от ужаса».

«Что-ж это, сон или нет?» думал он, «настоящее или продолжение вчерашнего... Кто разрешил такого чиновника, кто дал право на это? Сплю ли я, грежу ли я?» Господин Голядкин попробовал ущипнуть самого себя».

Но у Гоголя стиль никогда не остается однообразным. Помимо внедряющихся драматических отрывков, в самом повествовательном сказе происходит смена ровного течения эпически-построенных фраз комического оттенка местами лирического под'ема с чередованием напряженных интонаций и декламационно-патетических периодов.

Достоевский в «Двойнике» слишком открыто комбинирует различные приемы Гоголя в своих стилистических построениях. Правда, в отличие от Гоголя он очень мало пользуется средствами звуковой игры. Каламбурные сцепления слов в «Двойнике» редки и довольно однообразного типа [1]). Еще реже, можно сказать, единичны—приемы звуковой игры, состоящие в подборе нескольких слов с созвучными окончаниями («веселый по-всегдашнему, с улыбочкой по-всегдашнему, вертлявый тоже по-всегдашнему, одним словом: шалун, прыгун, лизун, хохотун»—235 стр. ср. в «Шинели» Гоголя: рябоват-рыжеват-подслеповат). Но за то в «Двойнике» широко использован торжественно-декламационный сказ с его «высокой» лексикой, полной церковно-славянизмов, и своеобразным строением периодической речи. Классическим образцом комического использования этого торжественного сказа была повесть Гоголя «о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Отголоски этой новеллы в «постройке фразы» «Двойника», правда, единичные, были указаны уже Переверзевым (Переверзев. Творчество Достоевского, 23—24 стр.). Есть даже реминисценции оттуда. Наиболее характерно заимствование из этой повести того «страшного, всеуничтожающего взгляда», которым втечение поэмы трижды обеспечил себя господин Голядкин.

«Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд, и какой взгляд! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича».

«Герой наш бросил страшный, вызывающий взгляд, так и назначенный с тем, чтобы испепелить разом в прах всех врагов его».

---

[1]) «Андрей Филиппович ответил г. Голядкину таким взглядом, что, если бы герой наш не был уже убит вполне, совершенно, то был бы непременно убит в другой раз,—если бы это было только возможно»—156; «г. Голядкин выбежал... спасаясь от убийственных взглядов Андрея Филипповича. Г. Голядкин был убит—убит вполне, в полном смысле слова, и если сохранил в настоящую минуту способность бежать, то единственно по какому-то чуду»—162 стр.; «Немедленно переменил новое решение свое и уже так, заодно, впрочем с самым решительным видом, позвонил у дверей»—131 стр. и др. «Герой наш... словно победу схватил, когда пришлось ему уцепиться за шинель...»—243 стр.).

Но ссылка на «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», ни в коем случае не уясняет всех приемов высокой стихии «Двойника». Той игры восклицательными и вопросительными интонациями, которая так характерна для этой новеллы Гоголя, в повествовательном стиле «Двойника» почти нет, если не считать зачина четвертой главы, в котором воспевался «день, торжественный день рождения Клары Олсуфьевны, ознаменовавшийся обедом». Начало этой главы—несомненные вариации стилистических приемов того лиро-комического сказа, которым рассказана новелла об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. Здесь—все его характерные черты: растущая лестница «высоких» эпитетов, заканчивающаяся гиперболическим определением комически-обессмысленного характера («блистательным, великолепным званым обедом, таким обедом, который походил более на какой-то пир валтасаровский, чем на обед,—который отзывался чем-то вавилонским»...); игра контрастными сцеплениями слов («блистательным балом, семейным, маленьким, родственным балом, но все-таки блистательным») на фоне общей антитезы комических положений и восторженно-лирического их воспроизведения; смена повествовательных и восклицательных интонаций; риторические вопросы (да и как, спрошу я, как могу я, скромный повествователь..., как могу я изобразить»..., «как изображу я вам, наконец, этих блестящих чиновных кавалеров»...); постоянные употребления так называемой фигуры — praeteritio («я ничего не скажу, но молча—что будет лучше всякого красноречия—укажу вам»... «я не скажу ничего, хотя не могу не заметить»... «я не буду описывать»...) и соединенные с нею постоянные жалобы на «слабость, вялость и тупость пера» и незнание «тайны слога, высокого, сильного, слога торжественного»...; тавтологии и амплификации; фигуры умолчания, символизирующие невыразимость описываемых событий («он казался чем-то другим... я не знаю только, чем именно»); церковно-славянизмы, ярко обнаруживающиеся в лексике («упитанными тельцами», «благоговейное молчание», «маститый старец, лишившийся употребления ног на долговременной службе»; «слезящиеся очи»; «с цветущих ланит»; «в сию торжественную минуту»; «седовласого хозяина» и т. п.) и в некоторых случаях противопоставленные словам низкого ряда («с меньшим талантом соваться нельзя»); частое употребление уменьшительных, не вяжущееся с «торжественным стилем»; грамматические соединения обыденной речи: («музыканты в числе целых одиннадцати штук» и т. п.); комическое использование иностранных слов («гемеопатическими, говоря высоким слогом, ножками»; «божественный нектар», «пир валтасаровский» и т. п.) и сложных эпитетов («приличио-

завистливые очи»; «кавалеров прилично-туманных») и другие особенности.

Замечательно, что именно в это место «Двойника», стиль которого целиком разлагается на приемы «повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», вставлены клаузулы, отражающие влияние «Записок сумасшедшего». Здесь использована в многочисленных вариациях клаузула: «платье, больше похожее на воздух, чем на платье» («Записки сумасшедшего», 11 ноября). В «Двойнике»: «балы, более похожие на семейные радости, чем на балы»; «молчание и ожидание, более похожее на демосфеновское красноречие, чем на молчание»; «вином, более похожим на божественный нектар, чем на вино»; «дам, более похожих на фей, чем на дам», и др. Во всяком случае любопытно, что единственное более или менее яркое стилистическое отражение «Записок сумасшедшего» восходит не ко второй части этой новеллы, в собственном смысле рисующей сумасшествие, а к первой, по своим стилистическим приемам близкой к «миргородской» повести.

Но параллельное изучение «высокого стиля» «Двойника» и комически-торжественного сказа гоголевской новеллы о двух Иванах лишь этими сопоставлениями и должно было бы ограничиться.

Для уяснения других сторон торжественной декламации «петербургской поэмы» исследователь стиля, усвоивши мысль современных ее появлению рецензентов, что в ней Достоевский «подражает до заимствования приемам и голой внешности Гоголя», мог бы привлечь к сравнению и Гоголевскую «Шинель», откуда в «Двойник» переселилась немка Каролина Ивановна, и даже, «Вечера на хуторе близ Диканьки», откуда в заключение появлялись «Господа Басаврюковы, хорошая дворянская фамилия, выходцы из Малороссии». И в самом деле, внедряющаяся в основной комически-деловой сказ «Двойника» в начале седьмой главы сентиментально-мелодраматическая декламация невольно напоминает о знаменитом «гуманном» месте «Шинели» (тот же зачин—«что-то униженное, забитое и запуганное выражалось во всех жестах его»..., та же напряженно-растущая интонация и тот же прием сцепления фраз начальным «и»:—«и краснеет человек, и теряется человек, и страдает амбиция»...).

Но при современном состоянии исторической стилистики русского языка гораздо полезнее таких генеалогических разысканий ограничиться лишь описанием стилистических построений торжественно-высокого сказа «Двойника» и достигаемых ими эффектов.

III.

«Высокий стиль» лишь в редких случаях определяет строение больших композиционных частей «Двойника» (как, напр., начало IV, V, X глав), обыкновенно он чередуется с другими формами повествования и контрастным столкновением разнородных лексических сочетаний рождает комические эффекты. Он накладывает на основную массу повествовательного стиля как бы совершенно иной лексический слой, вводя в мир церковных образов, связанных с церковно-славянизмами [1]).

От несоответствия соединенных с этими словами представлений общему тону рассказа и значениям соседящих с ними лексических групп возрастает комическая сила повествования. Именно для этого торжественного стиля характерны метаморфозы («он обратился весь в слух и зрение»—242; «обратился весь в зрение»—136 стр.; «обратить в ветошку г. Голядкина»—202 и др.); оксюмороны («приличным забвением приличия»—151 стр.; «с яростным хладнокровием»—200 и др.); антитезы («не старый г. Голядкин, не герой нашей повести, а другой г. Голядкин, новый г. Голядкин»—209; «вскипел и смолчал... до времени, впрочем»—245; «господин Голядкин отряхнулся немного, стряхнул с себя снежные хлопья... но странного чувства, странной темной тоски своей все еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя»—164 — 165; «тоска — не тоска, страх — не страх... лихорадочный трепет пробежал по жилам его, и др. под.); сравнения с несоизмеримо распространенной второй частью (сравнение Голядкина с человеком, стоящим над стремниной; Голядкина-младшего с человеком в чужом платье) и особенно плеонастические образования.

В сущности плеоназм в его различных проявлениях служит основным принципом, формующим речь в высоком стиле. В обычном повествовательном сказе фраза, т. е. совокупность слов, соответствующих одному простому или сложному представлению, и об'единения нескольких фраз в син-

---

[1]) «Сокрушить рог гордыни и раздавить змею, грызущую прах в презрении бессилия»—201 стр.; «герой наш словно из мертвых воскрес»—243; «слова этой истории ложились на сердце его, словно манна небесная»—185; «в прах обратиться» — 163; «ожесточенная адская злоба» — 169; «в глубине души своей сложил он одно решение и в глубине сердца своего поклялся исполнить его» — 200; «душой и телом предались» — 224; «в исступлении стыда»—225; «сознал в глубине души своей всю степень своей беззащитности»—236; «тяжко почувствовал руку врагов на плечах своих»—237; «с возмущающим душу бесстыдством»—245; «со стоном и скрежета зубами»—268; «мирная сень успокоительной и охранительной кучи дров»—272; «покачал своей седовласою и внушающею всякое уважение головою»—274; «сердце затрепетало от избытка чувств в груди героя»—276, и мн. др.

таксические целые, передающие сочетания комплексных представлений, воспринимаются нами, как более или менее адэкватные символы этих представлений. Наоборот, в торжественном сказе напряженно взволнованное чувство, имитируемое рассказчиком комической новеллы, спешит излиться в словесных построениях, в которых контрастно нарушено соответствие между словесным выражением и его смысловым значением. Отсюда—обилие в этом сказе троп-фигур, подводимых под рубрики гиперболы и иронии, но с неожиданным комическим их разрешением обессмысливающего характера [1]).

Ведь вполне естественно, что в торжественном сказе, осуществляющем комические эффекты, лежащий в основе этих троп-фигур контраст формы и ее реального значения иногда совершенно обнажался. От этого становилась интенсивнее комическая ощутимость этих построений, и лицо рассказчика как бы расплывалось в гримасу.

Например: «Чувствовал он в себе присутствие страшной энергии. Г. Голядкин мог смело надеяться, что в настоящую минуту даже простой комар весьма бы удобно перешиб его крылом своим»—243; «проговорил совершенно справедливый (впрочем, единственно только в этом отношении совершенно справедливый) г. Голядкин-младший»—247 стр.; «в глубине души своей сложил он одно решение, и в глубине сердца своего поклялся исполнить его. По правде-то он еще не совсем хорошо знал, как ему поступить, т.-е., лучше сказать, вовсе не знал, но все равно, ничего»—200.

Но еще большую роль, чем комические срывы гиперболических построений, в формовке торжественного стиля «Двойника» играли напряженно растущие патетические под'емы. Если в первых имитация сильного эмоционального возбуждения сравнительно быстро разрешается в коротких словесных построениях с пониженной тональностью,—наоборот, во-вторых, интенсивность эмоций как бы возрастает по мере того, как элементы возбудившего их сложного представления воплощаются в словесных формулах, которые

---

[1]) В «Двойнике»: «г. Голядкин никоим уже образом не мог более сомневаться, что он находится не в тридесятом царстве..., а в городке Петербурге, в столице... Сделав *такое важное открытие*, г. Голядкин... закрыл глаза»—125; Ср. 158 стр.: «Если снять этот парик, так будет голая голова»... «*Сделав такое важное открытие*, г. Голядкин вспомнил»...; «с яростным хладнокровием и с самою энергическою решимостью дошел г. Голядкин до стула и уселся на нем»—200 стр.; «известное своею неблагонамеренностью и зверскими побуждениями лицо в виде г. Голядкина-младшего... в один миг разрушало все торжество и всю славу г. Голядкина-старшего»—223; «народилась... страшная бездна совершенно подобных... и полицейский служитель... принужден был взять этих всех совершенно подобных за шиворот и посадить в случившуюся у него под боком будку»—225; «не замечая значительно наглой улыбки конторщика, улыбки торжества и спокойного могущества, выбрался из толпы»—209 стр., и очень мн. др.

оказываются уже не соответствующими увеличившемуся в напряженности своей чувству и выступившим при его свете новым сторонам в представлении. Вследствие этого возникают сцепления близких по значению фраз и предложений, которые располагаются как бы по восходящим ступеням эмоциональной возбудимости и произносятся с напряженной интонацией, формующей периоды. И для торжественного стиля «Двойника» особенно характерны относящиеся сюда разновидности грамматического плеоназма: повторения и градации, которые нередко соединяются с тавтологическим повторением и завершаются комическим обрывом.

Виды повторений чрезвычайно разнообразны. Чаще всего повторяется стоящее в зачине подлежащее, и вследствие этого возникает ряд сравнительно коротких предложений, имеющих одно и то же начало: «Г. Голядкин ясно видел, что настало время удара смелого, время посрамления врагов его. Г. Голядкин был в волнении. Г. Голядкин почувствовал какое-то вдохновение»—159 стр.

«Все спрашивало, все кричало, все рассуждало»—161.

«Все стояло, все молчало, все выжидало»—156.

«Гость просил покровительства, гость плакал, гость судьбу обвинял»—185 стр. (Ср. у Гоголя. Мандельштам, 161—162 стр.).

К тому же сцеплению коротких предложений с однозвучными начальными частями приводит иногда повторение выдвинутого наперед сказуемого: «стоял один человек, стоял он, стоял сам господин Голядкин,—не старый г. Голядкин, не герой нашей повести, а другой господин Голядкин, новый г. Голядкин»—209 стр.

«Чувствовал он в себе присутствие страшной энергии (далее примечание в скобках)... Чувствовал он еще, что опал»...—243.

Оказываются нередко повторенными и другие члены в рядом стоящих предложениях путем переноса слова или группы слов из одного предложения в другое. Замечательны в таких случаях заботы о расстановке лексических групп в этих соседящих синтаксических организациях: тавтологические сочетания помещаются обычно или в зачине, или же, как своеобразные клаузулы, замыкают предложения.

«Герой наш не шел, а летел, опрокидывая всех на дороге—мужиков и баб и детей—и сам, в свою очередь, отскакивая от баб, мужиков и детей»—250 стр.

«Он даже ругнул себя за эту мысль, даже тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль»—204.

Значительно реже наблюдается хиастическое расположение повторенных слов: «Позволить затереть себя... г. Голядкин не мог. Согласиться на это не мог он»—201 стр.;

«вдруг перед нею очутился г. Голядкин. Г. Голядкин был бледен»—160 стр.

Повторяются не только части предложений, но и целые предложения, иногда становясь рядом и об'единяя каждое вокруг себя зависимые предложения («не оставалось лица, которого мнения не переделал бы в один миг безобразный г. Голядкин по своему. Не оставалось лица, даже самого незначительного, к которому бы не подлизался бесполезный и фальшивый г. Голядкин»—224 стр.; «чувствовал он, что решиться на что-нибудь... было для него сущею необходимостью; даже чувствовал, что много бы дал тому, кто сказал бы ему, на что именно нужно решиться»—204). Но еще чаще—повторения предложений, построенные так, что повторяемое предложение из главного становится придаточным, причем между рассказчиком и Голядкиным замечается трогательное стилистическое единодушие:

«Рок увлекал его. Господин Голядкин сам это чувствовал, что рок-то его увлекал»—157 стр.

«Он был,... еще не побежден; он это чувствовал, что не побежден»—203 стр. Ср. также внесение чужих слов в повествовательный сказ: «Покамест все идет хорошо. Очень обрадовавшись тому, что все идет хорошо, Голядкин поставил зеркало»—126 и т. д. [1]).

Часто с тавтологическим повторением соединяется градация, которая является другой основной фигурой, формующей синтаксические об'единения в торжественном стиле. «Странного чувства, странной темной тоски своей все еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя»—165. «Тот, кто сидел теперь напротив г. Голядкина, был—ужас господина Голядкина, был стыд господина Голядкина, был—вчерашний кошмар г. Голядкина, одним словом, был сам господин Голядкин»—173 стр. «Он уже сперва все дело предчувствовал... уже сперва был обо всем предуведомлен»—173 стр.

---

[1]) Но тавтологические повторения могут и не приводить к скоплению самостоятельных предложений, а осуществляться в пределах одного слитного предложения, в котором, таким образом, оказывается два или несколько однозвучных членов:

«Он его часто видывал, этого человека, когда-то видывал, даже недавно весьма»—166 стр.;

«возродилась бы новая дружба, крепкая, жаркая дружба, еще более широкая, чем вчерашняя дружба»—201;

«то появлялась перед ним... фигура Андрея Филипповича, сухая фигура, сердитая фигура»—222 стр.

«Голядкин-младший разрушал все торжество и всю славу господина Голядкина-старшего, затмил собою Голядкина-старшего, втоптал в грязь Голядкина-старшего»—223 стр.

Он «стал вглядываться в мутную, влажную даль, напрягая всеми силами зрение и всеми силами стараясь пронзить близоруким взором своим мокрую средину»—164 стр.

Освобождаясь от тавтологии, в «Двойнике» градация часто обнаруживается в чистом виде и ведет к тем же сложным синтаксическим построениям, что и повторение.

Напр.: «Г. Голядкин знал, чувствовал и был совершенно уверен, что с ним непременно совершится дорогой еще что-то недоброе, что разразится над ним еще какая-нибудь неприятность»...—167 стр. «Сознав в один миг, что погиб, уничтожился в некотором смысле, что замарал себя и запачкал свою репутацию, что осмеян и оплеван в присутствии посторонних лиц, что предательски поруган тем, кого еще вчера считал первейшим и надежнейшим другом своим, что срезался, наконец, на чем свет стоит—господин Голядкин бросился в погоню за своим неприятелем» —200 стр.

Можно сказать, что в торжественном стиле «Двойника» основной прием описания предмета и чувства—это прием градации, осложненной тавтологическими повторениями: лишь путем постепенного усиления выразительности одних и тех же словесных сочетаний и замены их более яркими по значению своему лексическими формами находит себе полный исход возбужденная данной темой эмоция. В силу этого в высоком стиле «Двойника» предложения организуются в декламационно-патетические периоды, образуемые через соединение или подчинение простейших синтаксических единиц повторяющимися союзами, с растущей силой интонационного напряжения и очень часто—с неожиданным комическим ее срывом [1]).

---

[1]) Примеры периодической речи настолько многочисленны, что приходится ограничиться приведением лишь двух-трех наиболее характерных. Любопытен рост эмоциональной насыщенности при помощи повторения союза *и* в словесных построениях с контрастно противопоставленными двумя частями (ср. у Гоголя. Мандельштам, 151 стр.).

«И все рады ему, и все любят его, и все превозносят его, и все провозглашают хором, что любезность и сатирического ума его направление не в пример лучше любезности и сатирического направления настоящего г. Голядкина, и стыдят этим настоящего и невинного г. Голядкина, и отвергают правдоподобного господина Голядкина, и уже гонят в толчки благонамеренного г. Голядкина, и уж сыплют щелчки в известного любовью к ближнему настоящего г. Голядкина»...—224 стр.

Периоды более сложного типа имеют резкие перебои интонаций и эффектно подчеркнутую игру несоответствием синтаксического строя и смыслового его разрешения, а также контрастами лексического состава.

Таковы декламационно-патетические периоды с комической концовкой: «Тот, кто сидел напротив г. Голядкина, был—ужас господина Голядкина, был—стыд г. Голядкина, был—вчерашний кошмар г. Голядкина, одним словом, был сам г. Голядкин,—не тот г. Голядкин, который сидел теперь на стуле с разинутым ртом и с застывшим пером в руке; не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника; не тот, который любил стушеваться и зарыться в толпе, не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает: «не троньте меня, и я вас трогать не буду», или: «не троньте меня, ведь и я вас не затрагиваю»,—нет это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но, вместе с тем и совершенно похожий на первого,—такого же роста, такого же склада,

Этому изысканно-ритмическому течению периодической речи в высоком стиле «Двойника» должно соответствовать и своеобразие в расстановке слов. И направленные на это усилия слишком очевидны и носят явственную печать влияния гоголевского стиля.

Очень часты случаи постановки «сказуемого перед подлежащим, дополняемого перед дополняющим, определяемого перед определением» (см. у Мандельштама, 149—151 стр.; у Андрея Белого, Луг Зеленый. Статья: «Гоголь», 117 стр.) [1]).

Но рядом с этим наблюдается следование архаическому, церковно-славянскому порядку слов и иногда изысканная

так же одетый, с такой же лысиной,—одним словом, ничего, решительно ничего не было забыто для совершенного сходства, так что если-б взять да поставить их рядом, то никто, решительно никто не взял бы на себя определить—который именно настоящий Голядкин, а который поддельный, кто старенький и кто новенький, кто оригинал и кто копия»—173 стр.

Иногда же период замыкается комически примененной фигурой умолчания: «Между тем как г. Голядкин начинал было ломать себе голову над тем, что почему вот именно трудно протестовать хоть бы на такой-то щелчок,—между тем эта же мысль о щелчке незаметно переливалась в какую-нибудь другую форму,—в форму какой-нибудь известной маленькой или довольно значительной подлости, виденной, слышанной или самим недавно исполненной,—и часто исполненной-то даже и не на подлом основании, даже и не из подлого побуждения какого-нибудь, а так—иногда, например, по случаю, из деликатности; другой раз ради совершенной своей беззащитности, ну, и, наконец, потому... потому, одним словом, уже это господин Голядкин знал хорошо: почему!..»—223 стр.

Но едва ли не чаще рост интонационного напряжения и в связи с этим градация смысловых представлений—во второй части периода, после разрешения интонации первой части, сохраняются до конца (ср. особенно характерный пример такого построения на стр. 236: «каково же было изумление, исступление и бешенство, каков же был ужас и стыд г. Голядкина-старшего, когда,... враг его... вырвал свою руку... мало того: вынул платок свой», и т. д.).

Сцепления самих периодов в логическом течении мысли нередко осуществляются по характерной для градации скале усиления. Любопытны присоединяющие новый период формулы: «скажем более»—163 стр.; 167 стр.; 170 стр.; скажем все, наконец: 201 стр. Другой употребительный способ сочетания периодов—контрастные противопоставления («Не спорим, впрочем, не спорим»—202 стр. «И вдруг, ни с того, ни с сего»—220 и др. под.).

Даже наиболее обычный прием следования периодов одного за другим—сочинение логически развивающихся мыслей в «Двойнике» достигает необыкновенной изысканности и сложности (напр., в начале X главы: то... то-то...).

[1]) «Мучило крайне его воспоминание о вчерашнем вечере»—186 стр.; «Вошел г. Голядкин в свое отделение робко... робко присел он... Ни на что не глядя, не развлекаясь ничем, вникнул он в содержание лежавших перед ним бумаг. Решился он...»—171 стр.

«Дух захватывало всячески достойному сожаления г. Голядкину от ужаса—225.

Словно на крыльях, летел он... Чувствовал он в себе... Чувствовал он еще, что опал и ослаб совершенно—243 стр.

Все смотрят на него с видом самым зловещим и подозрительным. Высокая, плотная фигура, лет пожилых—262.

«Особенного внимания решительно ничьего не возбуждал с первого взгляда этот человек»—166.

преднамеренность необычной расстановки слов, в противоположность только что описанной отодвигающей глагол на конец предложения, непосредственно и тягостно ощутима.

«Оно не может замарать человека, амбицию его запятнать и карьеру его загубить»—185.

«Они его давно уже держали, приготовляли и на черный день припасали»—227.

«Смело, почти сам себе удивляясь и внутренно себя за смелость похваливая, абордировал он»—237.

С этим приемом замыкания синтаксических единиц глагольной формой надо сопоставлять также постановку причастия позади всех относящихся к нему слов:

«Нет ли чего—нового и особенного, до него относящегося и от него с какими-нибудь неблаговидными целями скрываемого»—172 стр. и т. д.

В высшей степени характерно также частое употребление притяжательных местоимений с инверсией, хотя иногда для осуществления комических эффектов они выдвигаются и вперед определяемых слов:

«Темной тоски своей»—164; «в покойных креслах своих»—131; «подавляя краску свою»—223; «перешиб его крылом своим»—243 и т. д. Но ср.: «числился г. Голядкин в качестве помощника своего столоначальника»—130; «служил в качестве помощника своего столоначальника»—173; «осиротел сапог, покинутый своею калошею»—167 стр. и др. под.

Таковы главные элементы торжественной струи стиля «Двойника», которая вливается в основной повествовательный слой комически-делового характера. Часто органически соединяясь и образуя своеобразную амальгаму, оба эти сказа в «Двойнике» иногда проявляются в чистом виде.

Однако—сделанной характеристикой все резкие особенности повествовательного стиля «Двойника» не исчерпываются.

IV.

Нередко повествовательный сказ «Двойника» как бы трансформируется в тягучий разговорно-речевой стиль. В этом отношении существенное наблюдение,—правда, в черезчур обобщенном виде,—сделано Белинским: «Автор рассказывает приключения своего героя от себя, но совершенно его языком и понятиями» (Отечеств. Зап. XLV, 1846 г., 20 стр.). Иными словами: Белинскому казалось, что стиль подставного повествователя «Двойника» часто строится по тем же образцам и по той же схеме, как и голядкинская «звукоречь». Это—очень ценное замечание и нуждается в дальнейшем развитии.

Уже указано было, какое значение для основного повествовательного сказа имеют лексические сочетания, как бы пе-

ренесенные из языка самого действующего лица. Это и понятно. Низкий стиль юмористического повествования осуществляется путем внедрения в литературно-обработанный слой выражений и оборотов «обыденной жизни, и то больше фабричных, мастеровых, городского люда». Так у Гоголя (см. Мандельштам. О характере Гоголевского стиля, 255 стр. и след.). Видоизменяя этот прием, Достоевский вкрапляет в повествование типичные черты канцелярского разговорного диалекта, его своеобразную лексику, его строй и его метафоры. Недаром Голядкин «всегда осматривается кругом», «не отливается ли на его счет какая-нибудь острота канцелярская». В «Бедных людях» применение этого приема, даже внесение канцелярской фразеологии оффициального типа [1]), мотивировано эпистолярной формой, вставлено в рамку писем мелкого чиновника. В «Двойнике» уснащение повествовательного стиля особенностями канцелярского письменного и чиновничьего разговорного языка дается без всякой мотивировки, в целях достижения комических эффектов [2]).

Результатом применения этого стилистического приема явилась близость Голядкинской «звукоречи» и частей повествовательного сказа, напр., в отдельных «словечках» и образах: «срезался»; ср. в речи Голядкина: «срезал молодца-то»; ср. в повествовании: «делая развязного и молодца по-неволе»; в повествовании: «Голядкин сморщился, словно лимон разгрыз»; ср. у Голядкина: «лимон с'ел, как по пословице говорится»; в пов.: «заигрывал неприличным в обществе хорошего тона образом»; ср. в речи Голядкина: «чем он именно берет в обществе высокого тона»; в пов.: «замарать себя и запачкать свою репутацию»—115, 200; ср. в речи Голядкина: «фамилью мою замарает, мерзавец»—207 стр.; в пов.: «позволить затереть себя, как ветошку... г. Голядкин не мог»—201; «никак не мог согласиться—дозволить себя затереть, как ветошку, и, наконец, дозволить это совсем развращенному человеку»—202 стр.; ср. в речах Голядкина: «как ветошку себя затирать я не дам... Не позволю покуситься на это человеку развращенному»—201 стр., 207, 206 и т. п.; в пов.: «впрочем, это все могло бы устроиться

---

[1]) «Доложу я вам...», «в подробности узнать...», «кабалу стряпал...», «отнеслись намедни в частном разговоре Евстафий Иванович, что наиважнейшая добродетель гражданская—деньгу уметь зашибить» и т. д.

[2]) Напр., «положил ждать»... «Для сего нужно было, во-первых, что-б кончились как можно скорее часы присутствия»... «поведение г о с п о д товарищей и сослуживцев господина Голядкина»; «оправдался... в нагоняе... за нерадение по службе»; «абордировать ради собственных делишек своих»; «ошибка в незнании света и хорошего тона»; «человек был, как и все, порядочный, разумеется, как и все люди порядочные и, может быть, имел там кое-какие и даже довольно значительные преимущества, одним словом: был сам по себе человек»; ср. с речами Голядкина: «Господин Голядкин поспешил заметить... что он, как и все... тоже, как и все, средства имеет..., он сам по себе, как и все» и мн. др.

к лучшему»—243, между тем, это—«любимая фраза» самого г. Голядкина, см. 266 стр. и др. под.

В высшей степени любопытно совпадение многих выражений в повествовательной части «Двойника» и в переписке Голядкина, построенной по всем правилам канцелярской стилистики.

В письме: «бесстыдство, наглость и возмущающая душу фамильярность иных особ»—221 стр.; в повествовательном сказе: «самым возмущающим душу средством»—222; «с возмущающим душу бесстыдством и фамильярностью»—245 и др.;

в письме: «эти особы погибнут не иначе, как от собственной неблагопристойности и развращенности сердца»—221; в тексте повествования: «выскакивало... по отвратительному развращенностью сердца г. Голядкину»—225 стр.

«Известный бесполезностью своего направления человек» (в мнимом письме Клары Олсуфьевны)—251; в повествовательной части: «известный своей бесполезностью г. Голядкин-младший»—248 стр.; «известное безобразием и пасквильностью своего направления лицо»—223; «известное своим неблагопристойным направлением лицо»—222 стр. и др. под.;

в том же письме: «протестую всеми данными мне природою средствами»—251 стр. Ср. в пов.: «уцепившись за крыло дрожек всеми данными ему природою средствами»—249 стр. и др. под.

Конечно, этот прием уснащения повествовательного стиля канцелярской фразеологией и формовка его низкого разряда по схеме разговорного и письменного чиновничьего языка имеют место и в других ранних произведениях Достоевского, напр., в «Господине Прохарчине» [1]), в повести: «Слабое сердце» [2]).

Можно даже утверждать, что и в поздних произведениях Достоевского, облеченных в «мемуарную» форму, напр., в «Бесах», в основе стиля самого мемуариста лежит письменный канцелярский язык, но уже освобожденный от наиболее резких стилистических приемов Гоголя, которые определяюще влияли на выработку стиля «бедного человека» у Достоевского, напр., частого употребления уменьшительных имен,

[1]) «Его превосходительство сказали»; «присоединиться законным образом для составления напитка» (пить чай); «законное возмездие» (жалованье); «неоднократно замечено про разных иных из их братьи»; ср. здесь же обнажение канцелярского характера этой фразы: «могуче-форменная фраза: неоднократно замечено» и т. д. (Здесь все эти приемы прикрываются маской постороннего биографа).

[2]) «Примкнуть свое скромное имя к длинному столбцу почтительных лиц»; «скандалезное дельцо» и т. п. Ср. в «Дядюшкином сне»: «капитальные и скандалезные вещи» и мн. др.

синонимических выражений, тавтологий и т. п. И, несомненно, контраст между бледностью и монотонностью этого мемуарного стиля и разнообразием речевых стилей действующих лиц входил в творческие расчеты Достоевского.

В «Двойнике» же, облеченном в форму рассказа наблюдателя, элементы письменного канцелярского языка случайны и заслоняются речевыми представлениями и речевыми эмоциями. И внесением «словечек» и выражений Голядкинской речи в повествовательный сказ достигается тот эффект, что время от времени за маской рассказчика начинает представляться скрытым сам Голядкин, повествующий о своих приключениях. В «Двойнике» сближение разговорной речи г. Голядкина с повествовательным сказом бытописателя увеличивается еще от того, что в косвенной речи Голядкинский стиль остается без изменения, падая, таким образом, на ответственность автора. А так как Голядкин говорит одно и то же не только языком своим, но и взглядом, видом, жестами и движениями, то вполне понятно, что почти все описания (многозначительно указывающие на «всегдашнее обыкновение» г. Голядкина) пестрят не отмечаемыми цитатами из его речей.

Напр.: «Господин Голядкин тотчас, по-всегдашнему обыкновению своему, поспешил принять вид совершенно особенный, вид, ясно выражавший, что он, Голядкин, сам по себе, что он ничего, что дорога для всех довольно широкая, и что ведь он, Голядкин, сам никого не затрогивает»... «Этот взгляд вполне выражал независимость господина Голядкина, т. е., говорил ясно, что г. Голядкин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, и что его изба, во всяком случае, с краю»

Иногда же стиль повествователя «этой правдивой истории» без всякой мотивировки превращается в Голядкинскую звукоречь, как бы пародируя ее.

Пародированье стиля главного действующего лица встречается и в других произведениях Достоевского, напр., в «Господине Прохарчине», где этот прием обнажается: «Нет, брат», протяжно отвечал Зимовейкин, сохраняя все присутствие духа, «не хорошо ты, брат-мудрец, Прохарчин, прохарчинский ты человек!» продолжал Зимовейкин, немного пародируя Семена Ивановича и с удовольствием озираясь кругом»...

В «Двойнике» в качестве не столько пародиста, сколько стилизатора, выступает сам повествователь. Примеры такой обнаженной однородности одной из форм повествовательного стиля с языком «двойника» довольно многочисленны: «Обратимся лучше к господину Голядкину. Дело в том, что он находится теперь в весьма странном, чтоб не сказать более, положении. Он, господа, то-

же здесь, т. е. не на бале, но почти что на бале, он, господа, ничего; он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой; стоит он теперь в сенях на черной лестнице квартиры Олсуфья Ивановича. Но это ничего, что он тут стоит; он так себе, он, господа, стоит в уголку»—и т. д. «Он до сеней и до лестницы добраться умел по той причине, что, дескать, почему же не добраться, что все добираются; но далее проникнуть не смел, явно этого сделать не смел... не потому, чтоб чего-нибудь не смел, а так, потому, что сам не хотел, потому что ему лучше хотелось быть втихомолочку. Вот он, господа, и выжидает теперь тихомолочки и выжидает ее ровно два часа с половиною» и т. д.

Еще: «глазком не мигнув, он с величайшим бы удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю; но что сделано, того не воротишь... ведь уж никак не воротишь. Что же было делать? Не удастся—держись, а удастся—крепись. Господин Голядкин уж, разумеется, был не интриган и лощить паркет сапогами не мастер»...

Количество выписок можно бы значительно умножить, но и сделанные, представляя собою комбинацию самоопределений господина Голядкина с мелкими словесными штрихами стороннего наблюдателя, достаточно ярко подчеркивают мысль, что «петербургская поэма», по крайней мере, во многих частях, выливается в форму рассказа о Голядкине его «двойника», т. е. «человека с его языком и понятиями». В применении этого новаторского приема и крылась причина неуспеха «Двойника».

V.

Речь Голядкина—одна из разновидностей стилизованной речи «бедного человека», и связь ее по образам и по приемам построения со стилем «дружеских писем» Макара Девушкина несомненна. В художественном задании «Бедных людей» формирование этого стиля играло существенную роль.

Недаром «сочинитель литературы и пиита Девушкин» даже в самых патетических местах не забывает напомнить читателю: «начал я вам описывать все это, частию, чтоб сердце отвести, а больше для того, чтобы вам образец хорошего слогу моих сочинений показать»... «у меня и слог теперь формируется». В других случаях, минутно освобождая свои послания от налета торжественных, церковно-книжных оборотов, увеличивающихся числом по мере «формирования» слога [1]), Макар Девушкин предупреждает: «расскажу вам

[1]) Напр., «в позлащенных палатах»; «я обрел душевный покой»; «я гоним судьбой... униженный ею, предался отрицанию собственного своего достоинства, я, удрученный моими бедствиями, и упал духом»; «болезненный одр»; «во чреве матери» и мн. др.

без слога» (письмо от 9-го сент.), но заключает это же писание свое высоким стилем («торжественно говорю... клянусь, что как ни погибал я от скорби душевной в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, на унижение мое... клянусь... этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще на веки сделали» и т. д.).

Изысканность стиля Макара Девушкина бросилась в глаза всем рецензентам «Бедных людей». Страхов отметил в дополнение к этому несогласованность между стилем бедного человека и эпистолярной рамкой, в которую Достоевским вставлены упражнения в нем: «письма писаны языком, возможным лишь в разговоре» (Отеч. Зап., т. 171, 1867 г., 553 стр.).

После этого вполне естественно, что из писем Макара Девушкина перешли в «голядкинскую» речь целиком отдельные фразы и выражения (В «Бедных людях»: «затирает ее в работу, словно ветошку какую-нибудь»—5 стр.; «бедный человек хуже ветошки»—71; «я чуть ли не хуже ветошки, об которую ноги вытирают»—84 стр. Ср. в «Двойнике»: «как ветошку себя затирать я не дам»—201; «я не ветошка: я, сударь мой, не ветошка»—201 стр. и т. д.; в письме Девушкина: «клеветою гнушаюсь»—98 стр.; ср. у Голядкина: «клеветою и сплетней гнушаюсь»—135 стр.; в «Бедных людях»: «в позлащенных палатах»—97, ср. «Двойник» 254 стр.; в «Бедных людях»: «петля этот Ратазяев!»—53, ср. в «Двойнике»: «старая петля» и т. п.; в «Бедных людях»: «в общую материю полсловечка ввернуть»—50 стр.; ср. в «Двойнике»: «позволили ввернуть полсловечка»—263 стр. и др.).

Но в «дружеских письмах» Девушкина, подчеркивающих заботы о слоге со стороны их автора, стилизация тягучего однообразия и лексической бедности не выступала так рельефно, как в речах другого персонажа «Бедных людей»—старика Покровского, которые вполне совпадают по строению своему с Голядкинскою «звукоречью».

Такова эволюция этой формы стиля в творчестве Достоевского до появления «Двойника». Но, конечно, ее происхождение, как и состав, гораздо сложнее и едва ли, при современном состоянии исторической стилистики русского языка, могут быть полностью вскрыты. Впрочем, непосредственно очевидно, что в нее вошли приемы «уснащенной» речи героев Гоголя, поражающей «множеством разных частиц, как то: сударь мой, этакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно так сказать, некоторым образом и прочих, которые сыплются мешками» («Мертвые души», 156 с., изд. XV). Классическим образцом такой речи является повесть о капитане Копейкине. (Ср. в «Шинели»: «Акакий Акакиевич из'яснялся, большею частью, предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые не имеют решительно никакого значения»). И эта черта признавалась критиками характерной

особенностью стиля «бедного человека»: «простые, недальние люди всегда выражают чувства чем-то в роде междометий, или отрывистыми словами» (Современник, 1849 г., т. XIII, 3 стр.).

По такому же принципу построена Голядкинская речь. Голядкин «сбивается, путается», и недостаток нужных слов восполняет быстро чередующимися «словечками»: дескать, так и так, этак, этакой, там, знаете ли, видите ли, того, вероятно, может быть, в некотором роде, то-есть и т. д. [1]).

В эту амплифицированную речь человека, теряющегося в «поисках» слов для «удачнейшего выражения мысли своей», особенно в беседе с посторонними лицами, комически внедряются частые подчеркивания «смысла» употребленных ходячих речений: «в этом, Крестьян Иванович, я полагаю оружие; я кладу его, говоря в этом смысле»—134;

«Не хочу замарать себя, и в этом смысле умываю руки; в этом смысле говорю, я их умываю»—135.

«Поклялись зарезать, в нравственном смысле говоря, человека»—231. «Надеваю маску... единственно для карнавала и веселых собраний, говоря в прямом смысле, но не маскируюсь перед людьми каждодневно, говоря в другом, более скрытном смысле-с»—195 и др. под.

Стремясь подчинить своей воле непослушные слова, Голядкин вносит в свою речь постоянные поправки и пояснения, иногда даже контрастирующие по смыслу с предшествующими отрывистыми фразами: «я да Петрушка... я хочу сказать: мой человек, Крестьян Иванович... я хочу сказать, что я иду своей дорогой»...—133. «Я видите ли, Антон Антонович, даже не знаю, как вам, т. е. я хочу сказать»...—175.

«Нет-с, Антон Антонович, я, конечно, чувствую, т. е. я хочу все спросить, как же этот чиновник»—175 и др. под.

Более характерные для стиля речей Голядкина, чем его дум, эти частицы, окруженные паузами, рассекают предложения на мертвые члены и создают фигуру умолчания, превращающую голядкинские речи в ряд отрывистых слов без связи:

«Я, право... здесь, Антон Антонович... тут—чиновник, Антон Антонович»—175 стр.

«Ну, хорошо... а как того... а как они там того... да и перемешают»—207 стр. и мн. др.

Помимо амплификаций и фигур умолчания, особенно частых в беседах Голядкина с посторонними лицами, для его стиля характерны тавтологии. Чем интенсивнее напряжения воли, чем упорнее усилия, с которыми соединено для

---

[1]) «Что, дескать, он того... ну, там, что-нибудь будет выспрашивать»—212; «как бы этак того...»—191; «ведь ты, тезка, знаешь, того»—189; «разные там закавыки»—192; «вероятно, может быть, только и добра-то, что приличное платьишко»—183; «я этак могу санфасон»—145; «А вот как бы мне теперь того»—154; «все-то, а в о с ь м о ж е т б ы т ь, к а к-н и б у д ь, н а в е р н о е, н е п р е м е н н о возьмет, да устроится» и др. под.

Голядкина движение слов, об'единенных в предложения, тем сильнее должна быть привязанность к уже найденным словам, которыми затрудненно разрешается эмоция. Это ведет к бесконечным повторениям одних и тех же лексических групп с различными интонациями и с соответственными видоизменениями формального строя. Тавтологические обороты, однообразием сцепляемых слов подчеркивающие бедность лексики, занимают исключительное место среди приемов стройки речи «бедного человека».

Буквальные повторения целых предложений с различными интонациями, по большей части, расположенных тавтологическими парами (вот бы штука была, вот бы штука была»—126; «идти или нет? Ну, идти или нет?»—153; «пусть его служит, пусть его служит себе на здоровье»—179; «вот те и штука! Вот-те и штука! Так вот какое здесь обстоятельство!»—193 и т. п.); повторения отдельных слов или фраз, т.-е. частей предложения, иногда с хиастическим их распорядком («будем с своей стороны интригу вести в пику им... в пику-то им интригу вести»—187; «всегда-то поперек да в пику человеку, человеку-то в пику да поперек»...—179 и др. под.); построение соседящих предложений с созвучным зачином, одинаковой замыкающей концовкой или с тавтологическими другими частями («покамест недурно, покамест все идет хорошо»—126; «этому не учился, хитростям этим всем я не учился»—134 и т. д.)—все эти стилистические приемы напоминают об аналогичных явлениях в повествовательном сказе. Сходство увеличивается еще от того, что и в Голядкинской речи повторения осложняются еще градацией, в форме ли скопления подобозначащих слов и целых предложений, или в форме соединения одних и тех же лексических сочетаний с наростанием количественных определений [1]). Правда, есть и отличие в строении речей Голядкина от повествовательного сказа: это—многочисленные приемы повторений или ступенчатого усиления предложений с наростанием восклицательной и вопросительной интонаций или перебоем их [2]). Однако, это разли-

[1]) «Как бы вы стали мстить врагу своему, злейшему врагу своему»—135; «понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю, я вас совершенно понимаю теперь»—138; «Это приятная сумма, это весьма приятная сумма, хоть кому приятная сумма!»—127; «знает, знает, все знает»—170; «если-б я сегодня манкировал в чем нибудь, если бы вышло, например, что-нибудь не так, прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний, или произошла бы другая какая-нибудь неприятность»—126; «только зачем же они там взяли Ивана-то Семеновича? На какой им чорт было нужно Ивана Семеновича» и т. п.

[2]) «Поклониться или нет? Оставаться или нет? признаться или нет?»—130; «И как это кончится все? И как это теперь устроится? Дорого бы я дал, узнать это все!..—259; Понимаете ли вы это? Дескать, понимаете ли вы это, милостивый мой государь?!»—257; «Не лучше ли теперь потерпеть? Не лучше ли теперь подождать?» — 171; «Идти или нет? Ну, идти или нет? Пойду... отчего ж не пойти?»—153 и мн. др.

чие коренится в общих свойствах разговорно-речевого стиля, который покоится на быстрой смене эмоционально окрашенных побудительной, восклицательной и вопросительной интонаций.

Таким образом, сходство в основных приемах стройки разговорно-речевого и повествовательного стиля в его торжественной струе несомненно, но оно об'яснимо. Ведь речи и думы Голядкина—один из способов словесной передачи его мыслей и чувств. Но та же задача стояла и перед рассказчиком, который в большинстве случаев пользовался для этой цели самоопределениями Голядкина, иногда не говоря об этом, но нередко прямо подчеркивая этот прием [1]).

И все же, несмотря на это обстоятельство, части повествовательного стиля, не переходящие в стилизацию Голядкинской звукоречи, воспринимаются, как нечто формально отличное от «дум и речей» самого Голядкина. Причины этого кроются в следующем: во-первых, характерная для разговорно-речевого стиля быстрая смена разнородных интонаций не допускает в нем организации предложений в сложные периоды, между тем как периодизацией определяется синтаксический строй повествовательного сказа в его высокой стихии: вследствие иного характера интонаций и иного размещения интонационных вершин в разговорно-речевом стиле разрывается связь между однородными словесными группами; во-вторых, в Голядкинской речи очень слабо представлена одна из крупных слагаемых лексических величин торжественной стихии повествовательного сказа—церковно-славянизмы с их сложными синтаксическими построениями.

В лексическом составе Голядкинской речи наиболее ярко выступают следующие группы:

Основная масса его—специфические «словечки» и выражения вульгарного чиновничьего жаргона: «размазался»—139; «состряпал дело»—140; «закавыки»—192; «этот новый крючок»—195; «старая петля»—198; «чести не марает»—269; «чем он именно берет в обществе высокого тона?»—242; ср. «самозванством... в наш век не берут»—200 стр. и др.; «вгвоздить резону в забубенную голову»—242 и 191 стр.; «пропускаю идею»—240, 194, 220 и др. под.; «на этом одном он и лепится»...231 стр.; «медведь»—231 и др. ср. тот же образ в «Бедных людях»; «расскакался я с амбицией»—214; «плёвое дело»—204; «стравить вместе»—191 и мн. др. под.

На фоне своеобразной лексики разговорно-чиновничьего

[1]) «Герой наш действительно воротился, тем более, что, по счастливой мысли своей, ставил себя теперь совсем лицом посторонним»—272; ср. ibid: «Я буду так—наблюдателем посторонним буду... дескать, я наблюдатель, лицо постороннее»; «ребята, которые, как справедливо выразился о них г. Голядкин, умеют лишь в орлянку играть при случае, да где-нибудь потаскаться»—235. Ср. 129 стр.: «им бы только в орлянку при жалованье, да где-нибудь потаскаться, вот это их дело», и т. д.

жаргона воспринимаются иностранные речения («амбиция», «компрометировать»—209; «турнюра»—220; «неглижировать»—191; «интриган», «форменно», «дезертировать», «манкировать», «под сюркуп»—269 и т. п.) и обильные уменьшительные имена ласкательного или презрительного оттенков («только секундочку»—271; «поди-тка на кухню, котёночек»—270; «раздушенные пустячки»—270; «квартиренку... мебелишки»—268; «старикашка нюнит»—258; «пресдобная бабенка»—224; «грешка прихватили»—239; «дурашка»—154; «водочка»—270; «селедочка»—270 и др.) [1]).

Другой крупный лексический пласт «звукоречи» Голядкина, облегчающий ему высказыванье,—это поговорочные выражения повседневной жизни и пословицы: «коку с соком—это пословица русская»—138; «молоко, с позволения сказать, на губах не обсохло»—139; «лимон с'ел, как по пословице говорится»—139; «не удастся—креплюсь, удастся—держусь»—145, 156; «ларчик-то просто ведь открывался»—179; «от старости, как говорится, покачнулся порядком»—139, 178; «дышит на ладан, как говорится»—140; «все сыры-боры от нее загораются»—258 и мн. др.

Но Голядкинская речь иногда подымается на высоту торжественного стиля. Высокий стиль образуется путем внедрения в основную лексическую массу книжно-заученных прописных изречений и архаических формул канцелярской фразеологии [2]).

Слагаясь из таких элементов, Голядкинские речи осуществляют двойственную цель: они, во-первых способ изложения намерений и ощущений Голядкина, а, во-вторых—своеобразный аккомпанемент его движений. И это отражается на их течении. Нервной торопливости движений, перебиваемых одно другим, соответствуют в Голядкинской речи постоянные отклонения и обрывы в сцеплении фраз с резкими переменами интонаций, напр.: «какого толку ждать от пьяного человека! Что ни слово, то врет. На что это, в п р о ч е м, он намекал?..»—217 стр. «Стой! Куда ж я иду?.. Время-то мое дорогое только даром теряю... Ну, н и ч е г о: еще все это мож-

---

[1]) Конечно, в этой же связи следует говорить о «Голядинской брани: «нюня ты этакая»—188; баран-голова—181; голядка ты этакой—189; Иуда ты этакой—216; мошенник ты этакой—216; разбойник ты этакой—216; шельмец ты такой—216; злодей ты такой—216; самоубийца я этакой—27; плут ты этакой—215; бездельник ты этакой—214 и т. д.

[2]) «Путь жизни широк»—134; «Здесь... ничего нельзя найти предосудительного касательно оффициальных отношений моих»—147; «в минуту семейной и торжественнейшей радости для его сердца родительского»—160; «я иду прямым путем, а окольным путем ходить презираю»—194; «начальство благодетельное, видя промысел Божий, приютило двух близнецов»—206; «начальство должно поощрять подобные движения»—238; «принимаю благодетельное начальство за отца и слепо вверяю судьбу свою»—238; «суд света, мнение заблудшей толпы»—246 и т. п.

но исправить. О д н а к о, и в самом деле, не зайти ли к Вахрамееву?.. Ну, д а н е т! Я уж после»...—213 стр.; «не будь этого, вот именно этого, так все бы уладилось... вот бы как оно и того... Д а н е т, в п р о ч е м, что же... оно вовсе ведь не того Я-то что вру, дурак-дураком!»—257 стр. и др. под.

В соответствии с повторяемостью движений Голядкина и их словесных обозначений, наблюдаются в его речах повторения некоторых как бы «застывших» формул, напр.: «не интриган, и этим горжусь»—135, 145. Ср. 156, 180, 194, 270 и нек. др.; «не мастер красно говорить»—134 bis, 135 bis; «маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно»—135, 144, 195, 270 стр.; «не хочу замарать себя»—135, ср. 164, 191 и т. п.; «иду прямо, открыто и без окольных путей»—135, 144 и др.; «все это в свое время устроится к лучшему»—164, 243, 205, 272, 266 и мн. др. Несовпадения темпа движений с аккомпанементом иногда обостряют комизм.

От этого еще рельефнее выступает марионеточный характер фигуры Голядкина.

* * *

Таковы формы стиля, чередующиеся в петербургской поэме «Двойник.

Из анализа их следуют общие выводы:

1) В повествовательном сказе преобладают моторные образы, и основной стилистический прием его—регистрация движений, независимо от их повторяемости.

2) В «высокой» струе повествовательного сказа выступают, как принципы, формующие декламационно-патетические периоды,—тавтологические повторения, иногда соединенные с градацией.

3) В повествовательный сказ внедряются, в целях комических эффектов, слова и выражения чиновничьего разговорного диалекта и канцелярской фразеологии оффициального характера. В «Двойнике», благодаря этому приему, достигается сближение повествовательного и речевого стилей.

4) В последующих произведениях Достоевского, облеченных в мемуарную форму, стиль мемуариста носит яркие следы влияния канцелярского языка.

5) В повествовательном стиле «Двойника» ясно обнаруживается воздействие Гоголевского стиля, главным образом, «Мертвых душ», «Носа», меньше всего «Записок сумасшедшего».

6) В «Двойнике» повествовательный сказ иногда переходит в речь Голядкина. Вследствие этого рассказчик сливается с самим героем.

7) Голядкинская «звукоречь»—аккомпанемент движений марионетки.

8) Описание стилистических приемов «Двойника», выяснивши, каковы были формы стиля, их переливы и достигаемые ими эффекты, дает ключ и к архитектонике «петербургской поэмы» [1]).

VI.

Повествовательный сказ, регистрирующий, главным образом, движения, которые совершаются во времени, легче всего мог быть примирен с хронологическим принципом развертыванья сюжета. Быть может, отчасти этим и об'ясняется, что «Двойник» построен в форме последовательного рассказа о событиях четырех дней. Короткий срок развития интриги естественно вытекал из своеобразных особенностей стиля, отмечающего все движения, независимо от повторений.

В соответствии с этим поэма распадается на четыре части, каждая из которых—повествование о приключениях одного дня. Первые три из них (гл. I—V; VI—VII; VIII—IX) [2]) имеют почти тождественный зачин (пробуждение Голядкина); лишь в начале последней части изложению событий дня предшествует описание ночного кошмара, потому что тогда уже совсем исчезала у героя граница между сном и явью, бредовыми видениями и реальностью.

В начале поэмы рассказчик выступает, как совершенно посторонний, но очень внимательный наблюдатель, с любопытством отмечающий подробности обстановки Голядкина, его разговоры и действия. К самому Голядкину он относится вполне об'ективно: «заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура его» по признанию рассказчика, «не останавливала на себе р е ш и т е л ь н о н и ч ь е г о исключительного внимания». Значение многих действий Голядкина наблюдателю остается неясным: он ограничивается скромными догадками («ливрея, о ч е в и д н о, была взята на прокат для какого-то торжественного случая» и др. под.). Иронические ноты и редкие каламбуры разнообразят эпическое течение рассказа.

Искусно и незаметно—от лица самого Голядкина—указывается лучшее средство остаться незаметным, ускользнуть от людей, вызывающих, как Андрей Филиппович, «страх» и «тоску»: «прикинуться, что не я, а что к т о - т о д р у г о й, р а з и т е л ь н о с х о ж и й с о м н о ю... Именно не—я, не—я,

---

[1]) Архитектоника рассматривается мною лишь в той мере, в какой она определяется чередованием форм стиля.

[2]) Я рассматриваю композицию второй редакции: «Двойника». В первой—еще явственнее выступал тот план героической поэмы о борьбе с «самозванцем Гришкой Отрепьевым», по которому чертилась схема действий Голядкина. См. «Забытые и неизвестные страницы» Достоевского. Собр. и ком. Л. Гроссман, т. 22, стр. 10.

да и только». Мысль о «двойнике», там образом, всплывает туманно.

Действие движется быстро и прямо. «Вдруг», по вдохновению какому-то, «поворачивается назад, на Литейную». «Дело в том, что г. Голядкину немедленно понадобилось для собственного же спокойствия, вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его, Крестьяну Ивановичу».

Следуют полные туманных, но многозначительных намеков картины свидания Голядкина с доктором, взятым напрокат у Гоголя, но получившим от Достоевского в соответствии с сюжетным заданием («сумасшествие ради сумасшествия») крупную роль, так что он не только держит узел завязки, но и в эпилоге разрешает новеллу. Вполне понятен этот кажущийся обрыв прямой линии движений, направленных к участию в «торжестве» Клары Олсуфьевны: в сцене с доктором явственно проступает фабулярный узор, по которому рисуются действия психически больного Голядкина,—это борьба с «злыми врагами», которые его «погубить поклялись» и подыскивают с этой целью «самозванца».

В свете этих раз'яснений действия Голядкина определяются, как приготовления к возможной борьбе, которые после необходимого перерыва и продолжаются (ср. стилистический прием обрисовки «триединого» движения). Голядкин не допущен до «торжества»: это—вызов на борьбу, публичное оскорбление.

В этой сюжетной схеме любовная интрига имеет значение лишь мотивации вражды к Голядкину его врагов и, оставаясь в главном своем течении за пределами повествования, выступает рельефно лишь в завязке, где выясняются соотношения сил героя и его врагов, и в развязке, где среди контрастирующей с основным действием сентиментальной обстановки «примирения с людьми и судьбою» «строго и ужасно» прозвучал приговор над «вероломно-обманутым» врагами г. Голядкиным.

Вступление героя в среду врагов знаменует начало борьбы («началось-то оно таким образом. У Измайловского моста оно началось: вот оно как началось»—231 стр.).

Здесь—зачин поэмы в собственном смысле (гл. IV), воспевающей героическую борьбу. В этом—оправдание перехода к торжественному лиро-комическому сказу. Появление Голядкина на балу обрисовывается посредством излюбленного стилистического приема Достоевского, повлиявшего и на сцепление композиционных частей: попытка, отступление и осуществление. Но прежде чем приступить к действиям, Голядкин выжидает, «покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве постороннего зрителя».

Таким образом, роли рассказчика и самого Голядкина

совпадали: отступая в роль «постороннего зрителя», Голядкин как бы заслоняет собою рассказчика. В соответствии с этим—повествовательный сказ переходит в тягучую Голядкинскую «звукоречь» («он, господа, тоже здесь, т. е. не на бале, но почти что на бале» и т. п.—153 стр.), но скоро принимает прежний облик, когда Голядкин снова становится «действующим лицом».

Посредством эффектной игры с торжественным лирокомическим сказом, обрывающимся внезапно и сменяющимся деловым повествовательным стилем, в постоянных их перебоях рисуется «смелый удар» Голядкина и его поражение («Господин Голядкин ясно видел, что настало время удара смелого, время посрамления врагов его»). Во время «бегства» Голядкина от врагов в рамке пейзажа, совпадающего с основным действием, происходит появление «самозванца», «подготовленного» врагами («Г. Голядкин выбежал,.. спасаясь от врагов»... «Снег и дождь вдруг атаковали и без того убитого несчастиями г. Голядкина, не давая ему ни малейшей пощады и отдыха... как бы нарочно сообщась и согласясь со всеми врагами»...).

Узнавание «двойника» осуществляется в форме ступенчато-построенного наростания признаков ужасного сходства при ряде встреч. Так контрастно ночью первого дня реализована была мысль, пришедшая еще в начале дня в голову самому Голядкину: «не я, а кто-то другой, разительно схожий со мною».

Вполне понятно, что в дальнейшем повествовании враги как бы покидают сцену, оставляя на ней Голядкина и «самозванца», и появляясь лишь спорадически, но незримо витают над ней непрестанно и из-за кулис руководят действиями «самозванца».

Взаимоотношения двух Голядкиных—старшего и младшего—рисуются с обычными приемами фантастической новеллы гротескного характера, причудливо сплетающей фантастику трагических призраков с сценами обыденной пошлости. По наблюдениям Гроссмана и Родзевича, которые надо ограничить указанием на существование соответствующей русской традиции до Достоевского, «Гофман здесь прорывается на каждом шагу» не только в общем строении мотива раздвоения, но и в художественных комбинациях, направленных на устранение четкой границы между фантастическим миром трагической борьбы и комическими подробностями стилизованной реальности.

В повествовании о втором дне для этой цели употреблены следующие средства: решительное опровержение предположений о «несбыточном бреде» героя, о мгновенном расстройстве воображения, «о сне» его (ср. у Гоголя в «Носе») и обоснование реальности происшествий предыдущего дня

ссылками на «адскую, ожесточенную злобу врагов» и «горький житейский опыт»; контрастное использование разговора с «добрым» утешителем, вскрывающим реальную, обыденную основу случайных совпадений («так все пустячками кончается»; «мать-природа щедра»; «ларчик-то просто, ведь, открывался»), и, наконец, общий сдвиг рассказчика, который из бесстрастного «постороннего наблюдателя» как бы превращается в горячего сторонника г. Голядкина[1]), «разительно схожего» с ним в восприятии событий. В связи с этим последним приемом находится замена делового повествовательного сказа лирически окрашенными элементами высокого стиля. Взаимоотношения Голядкина и «двойника» во второй день определяются тем принципом, который в самом начале повествования об этом дне вскрывается: «не протестую и совершенно смиряюсь». В полном соответствии с ним рисуется попытка Голядкина переманить «самозванца» от врагов на свою сторону, мнимо-счастливый исход ее и завершающая договор—«вместе хитрить» «дружеская вечеринка».

Необходимо отметить, что выступление «двойника на сцену всегда сопровождается отрицанием иллюзорности его появления («нет, не иллюзия»—180 стр.; ср. также о письме—217 стр.).

Повесть о событиях третьего дня контрастно противопоставлена предшествующему изложению: «теперь дело шло не о пассивной обороне какой-нибудь—пахнуло решительным, наступательным» (200 стр.). Заключенная «первобытная дружба» оказалась ловушкой, «первым шагом» самозванческой интриги. И теперь «самозванец», за которым стоят враги («все эти народы», «все в стачке друг с другом»), выступает в роли ловкого обольстителя народа. Закравшиеся было в душу Голядкина сомнения в реальности «двойника» («это, вероятно, как-нибудь там померещилось... или, верно, это я сам ходил... и себя как-нибудь там принял совсем за другого»...—198) рассеяны «действительностью», своевременно выпустившей «близнеца».

В контрастных перебоях стилей, имитирующих борьбу решимости с благоразумным ожиданием, рисуется неосуществившаяся попытка обличения самозванца («самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то не надолго»—200 стр.).

Самозванец ускользает от преследования. «Все, повидимому, и даже природа сама, вооружилось против г. Голядки-

---

[1]) Рассказчик как бы берет на себя оправдание реальной законности «ужаса» Голядкина: «Сам же он горел на мелком огне». Да и было отчего, впрочем (173).

на». При такой мотивировке понятно применение характерного для «Двойника» стилистическо-композиционного приема: возвращение к первоначальному намерению («я смирением возьму»—204, ср. другие формулы здесь же, аналогичные изложенным на 170 стр. и след.)., от которого были временные отклонения. Голядкин идет на уступки: он согласен признать в «самозванце» близнеца, созданного Божиим промыслом и обласканного «благодетельным начальством». Но дипломатическая переписка об условиях мира, в числе которых было установление точных границ («пределов»), занимаемых каждым из «совершенно подобных» (во избежание «подмена», как в ресторане), приводит к разрыву.

В повествовании о последнем решающем дне борьбы намеренно разрушается параллелизм с предшествующими частями поэмы: в зачин его вдвинуто описание ночного кошмара, приводящее к сознанию, что «и наяву едва ли веселее проводится время». Жуткая атмосфера сгущается указанием на кажущиеся «исключения в течении небесного светила» и внезапным открытием «стратегической диверсии» «скаредной немки».

Борьба открывается пред'явлением ультиматума «самозванцу» («либо вы, либо я, а вместе нам невозможно») и посылкой разведчиков («расспроси, братец, разузнай, не приготовляется ли что-нибудь там на мой счет. Он-то как действует?»—230). Наконец, «из своего бруствера» в стан врагов проникает сам Голядкин. Взбешенный «шуточками» «двойника», он решает обратиться за помощью к благодетельному начальству, по дороге «абордируя Андрея Филипповича, порядочно изумленного таким нечаянным нападением», но неудачно, и, наконец, к Антону Антоновичу («поддержите меня, Антон Антонович, заступитесь за меня, Антон Антонович»—240) и с тем же успехом. Неудачей кончается и прерываемая вероломным перемирием погоня, которая возвращает Голядкина к началу,—к Измайловскому мосту, к дому Олсуфия Ивановича. При изображении всех этих перипетий «борьбы», реальные соотношения вещей совершенно растворяются в бредовых видениях Голядкина.

Такой способ рисовки достигается уже описанным стилистическим приемом, согласно которому повествовательный сказ обильно уснащается цитатами из голядкинских дум и речей. Вследствие этого приема рассказчик как бы сливается с героем и повествует только о тех действиях и событиях, которые прошли через сознание Голядкина (ср. постоянную формулу, вводящую «новые обстоятельства»: «очнувшись, герой наш заметил»—252, 262, 256, 241 и др.), изображая их так, как они представлялись самому Голядкину («герою нашему, по крайней мере, так показалось»—228 стр.; «как показалось г. Голядкину»—238 стр. и др.).

Из всего хода изложения ясно, что борьба должна закончиться поражением и гибелью Голядкина. Но этот «трагический» исход борьбы рисуется на фоне своеобразно пародированной развязки сентиментальной любовной новеллы, которая обычно разрешалась неудачным похищением возлюбленной и ее заточением (ср. пародирование мотива похищения в романе: «Похождения и странные приключения лысого и безносого жениха Фомы Фомича Завардынина»—рассуждение сентиментальной дамы Ирины Алексеевны о муже: «он был для меня любовник, настощий Ромео, что в тиятре представляют... он меня похитил... в ужасную погоду... весь продрог, голубчик»...—52 стр.). В речах Голядкина, сопровождающих мнимое похищение, рассыпаны намеки на целый ряд романов «скверных немецких поэтов и романистов» и французских и русских любовных новелл, между прочим, на «Графа Нулина» Пушкина, с героиней которого—Натальей Павловной—Клара Олсуфьевна училась в одном пансионе у эмигрантки Фальбала и усвоила оттуда общие привычки.

Но, как и следует ожидать, похищение в «Двойнике» разрешается не заточением невесты в монастырь, а заключением Голядкина на «казенный квартир, с дровами, с лихт и прислугой».

Так и композиционный план «Двойника», в значительной степени предопределенный стилистическими приемами, резко отграничивает эту «поэму» от «Записок сумасшедшего», к которой склонна возводит ее до сих пор история литературы.

Присматриваясь к системе стилистических приемов, осуществляемой в «Двойнике», легко заметить в ней доминирующую черту, которая характерна для всех первых произведений «Достоевского»,—это решительное господство в ней стиля «бедного» чиновника, в который постепенно переливаются упражнения Достоевского во всех других формах стиля. Под влиянием определяющего значения именно этой формы стиля, Достоевский, отказавшись в «Двойнике» от рамки дневника самого Голядкина, принужден был рассказчика незаметно переделать в «двойника» Голядкина. При таком превращении в повествовательном сказе зазвучали лирическо-сентиментальные ноты. И современники увидели в «Двойнике» возрождение «особого сентиментально-фантастического рода» новеллы.

Виктор Виноградов.

25 июля 1921 г. Петроград.

Е. ПОКРОВСКАЯ.

ДОСТОЕВСКИЙ и ПЕТРАШЕВЦЫ.

Достоевский и Петрашевцы.

Приговор Военного суда по делу Петрашевского гласил между прочим: «Головинского, Достоевского и Пальма за недонесение о распространении письма Белинского и сочинений Григорьева лишить чинов и всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием»[1]). По поводу приговора, слишком строгого в сравнении с инкриминируемой Достоевскому виной, современник события и близкий знакомый многих из Петрашевцев, П. П. Семенов-Тянь-Шанский, замечает: «Очевидно, что в уголовном уложении в законе о смертной казни и вообще о политических преступлениях было что-то неладное...[2]).

Оффициальная точка зрения, повидимому, опиралась на показания самого Достоевского, который определенно подчеркивает в них, что он никакого активного участия в движении не принимал. Так же свидетельствуют и современники, в частности А. П. Милюков, словам которого В. И. Семевский придает исключительное значение, как современника, лично знакомого с Ф. М. Достоевским, слышавшего, как он высказывался в кружке Дурова, говоря, что слова его «чрезвычайно ценны и должны играть первенствующую роль при решении вопроса, был ли в это время Достоевский социалистом»[3]). Но так ли это было на самом деле?

Непосредственное чувство, в полном согласии как с биографией Достоевского, так и с впечатлениями от его произведений, давно подсказывало, что его участие в кружке Петрашевского должно было быть гораздо серьезнее. Мы поднимаем этот вопрос в связи с одним документом, имеющимся у нас: неоконченным и неотправленным по адресу письмом Ап. Н. Майкова к П. А. Висковатову, найденным мною в архиве

---

[1]) «Петрашевцы», изд. Саблина, М. 1907 г., стр. 72.
[2]) Семенов-Тянь-Шанский, «Детство и юность», Пгр., 1917, стр. 215.
[3]) В. И. Семевский, «Голос Минувшего». 1915 г., № 12, стр. 38.

Я. П. Полонского, хранящемся в Пушкинском Доме при Росс. Академии Наук [1]).

Для установления степени участия Достоевского в движении того времени письмо А. Н. Майкова, кажется нам, имеет большое значение.

В самом деле: собственные показания Достоевского не могут быть приняты безоговорочно; в них Достоевский естественно приуменьшал не только долю своего участия в деле, но даже и степень интереса к социальным вопросам. Многие места его показания могут быть опровергнуты фактами. Данные, оффициально добытые помимо показаний Достоевского, тоже чрезвычайно слабы: многое осталось для власти незамеченным; на Достоевского к тому же обращено было мало внимания, и он обвинялся лишь в распространении письма Белинского и в слушании суждений на вечерах у Петрашевского.

Воспоминаниям А. П. Милюкова придавать исключительное значение тоже нет никакого основания, как показаниям лица лишь знакомого, но отнюдь не близкого с Достоевским.

Тем большую ценность приобретает свидетельство Майкова в письме к П. А. Висковатову [2]). С П. А. Висковатовым у Майкова, как видно по их переписке, были самые искренние задушевно-дружеские отношения, и Майков, несомненно, писал то, что знал. Тем более, что все, о чем он рассказывал, было давно прошедшее, юношеские воспоминания человека, уже далеко ушедшего от всего, что некогда происходило. И этот рассказ Майкова вполне согласуется с воспоминаниями самого Достоевского в его «Дневнике Писателя» [3]). Он как бы раскрывает скобки в признаниях Достоевского, сделанных им там «безлично и в смысле совершенно отвлеченном (ibid)».

---

[1]) Письмо не датировано, но относится, очевидно, к 1885 г.; в нем Майков, говоря о событиях 1848 г., отмечает, что они были 37 лет тому назад. Цель письма также приводит к этому году: Майков посылает, очевидно, по просьбе Висковатова, библиографию к своей биографии, а нам известно, что П. А. Висковатов [1]), профессор Дерптского Университета с 1873 по 1895 г., издал в 1881 г. свою «Geschihte der russischen Literatur in gedrängter Übersich», а в 1886 г., при 2-м ее издании, прибавил «Ein Leifaden nebst bibliographischen Notizen mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Litteratur», для чего ему, очевидно, и были нужны сообщаемые Майковым материалы. В предисловии Е. А. Боброва к русскому изданию этих лекций в 1892 г. говорится, что в 1885—86 г.г. Висковатов перерабатывал свой труд, снабжая его библиографией. К сожалению, письмо, на которое отвечал Майков,—в архиве Майкова, хранящемся в Пушкинском Доме, не нашлось среди других писем Павла Александровича и Аполлона Николаевича, которыми они обменивались с 1871 по 1895 г.

[2]) См. о нем Словарь профессоров Юрьевского, б. Дерптского, Университета, т., Юрьев, 19 г.

[3]) «Дневник писателя, из журнала «Гражданин» за 1873 г., XVI: «Одна из современных фальшей». Полн. собр. соч., т. X, Спб., 1906, стр. 299).

Братья Майковы—Аполлон и Валериан—знали Петрашевского еще со времени участия Валериана в издании известного «Словаря иностранных слов, вошедших в русский язык», под редакцией Кириллова, и хотя уже с 1847 г. перестали посещать его «пятницы», но поддерживали близкие сношения со многими из их участников, как, напр., с Плещеевым, Влад. Милютиным, а с Достоевским у А. Н. Майкова уже и тогда были самые дружеские отношения. Начались они, когда Достоевскому было 22 года. Об их близости свидетельствует и ответ Достоевского Следственной Комиссии на вопрос о наиболее близких ему людях: Достоевский на первое место поставил семью художника Майкова. В позднейшей переписке с Майковым Достоевский всегда подчеркивал их исконную дружескую близость; так, например, в письме своем из Женевы от 16-28 августа 1867 г. он пишет: «я вас называю незабвенным другом и чувствую в моем сердце, что название правильно: мы с вами такие давнишние и такие привычные, что жизнь, разлучавшая и даже разводившая нас иногда, не только не развела, но даже может быть свела нас окончательно» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», СПБ. 1883, стр. 163). О такой же близости, о знакомстве с интимнейшими переживаниями друга свидетельствует письмо Достоевского из Семипалатинска от 18 января 1856 г.: «благодарю вас особенно за сведения о себе, я вперед знал, что так у вас кончится и что вы женитесь. Вы пишете мне, помню ли я Анну Ивановну,—но как же забыть? Рад ее и вашему счастью, оно мне и прежде было не чуждо; помните в 47 году, когда все это начиналось? Напомните ей обо мне и уверьте ее в беспредельном моем уважении и преданности. Родителям вашим скажите, что я знакомство и ласку их вспоминал и вспоминаю с наслаждением» (там же, стр. 83). Все это заставляет очень доверчиво отнестись к данным переписки Майкова с Висковатовым. Как видно из письма, которое мы ниже приведем, роль Достоевского оказывается далеко не пассивной. В попытке некоторых членов перейти от слов к революционным действиям участие Достевского весьма заметное.

Кружок Петрашевского не был кружком активных деятелей. Несмотря на все старания строгого военного суда, наряженного над Петрашевцами по особому распоряжению императора Николая и происходившего под его постоянным давлением,—суд этот, как значится в отчете, помещенном в № 276 «Русского Инвалида» от 22 декабря 1849 г. [1]), усмотрел виновность Петрашевцев лишь «в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка». Никакого тайного общества с уставом и регламентом не обнаружилось, да тайного общества и не было.

[1]) «Петрашевцы», изд. Саблина, М. 1907, стр. 3.

«Раз в неделю у Петрашевского, пишет в своих воспоминаниях Петрашевец Д. Д. Ахшарумов, бывали собрания, на которых вовсе не бывали постоянно одни и те же люди. Это был интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, о произведениях новейшей литературы по различным отраслям знания; приносились городские новости, говорилось громко обо всем без всякого стеснения. Иногда кем-либо из специалистов делалось сообщение вроде лекции. Ястржембский читал о политической экономии, Данилевский о системе Фурье, в одном из собраний читалось Достоевским письмо Белинского к Гоголю по случаю выхода его «Писем к друзьям...» [1]).

Кружок Петрашевцев не был единственным в своем роде. Об одном из них упоминают Милюков и Чернышевский—это кружок Ир. Ив. Введенского, в котором, по словам Чернышевского, суждения велись в социалистическом духе. О кружке Петрашевского было известно всем в столице. Так, в частном письме, некто Петров, перечисляя удовольствия столицы (оперу, цирк, Михайловский театр), упоминает в их числе проповеди Нильсона, пропаганду Петрашевского и фельетоны Плещеева.

Кружок этот, по справедливому замечанию Д. Д. Ахшарумова, «выражавший собою современные общечеловеческие стремления, был одним из естественных передовых явлений в жизни народа»— «мы не были какими-либо выродками, происшедшими самопроизвольно и внезапно, мы были произведения образованного класса земли русской, эндотические растения страны, в которой мы рождены» [2]).

Почва для такого рода кружков в 40-х годах была самая благоприятная: грандиозные события, развертывавшиеся на западе, революции в Париже, Берлине и Вене, пламенные выступления социалистов во французском парламенте, изучение идеалистического социализма захватили умы тогдашней образованной молодежи, вся сила которой «ушла туда, на усвоение этого вновь открывшегося перед ними мира, мира насущных вопросов, энергических протестов, растравленных ран, настоящего горя и обольстительных построений всеобщего будущего счастья человечества, как говорит петрашевец Пальм в своем романе «Алексей Слободин», описывая под вымышленными именами собрания у Петрашевского и некоторых их членов [3]). Но если громадное большинство этой образованной молодежи могло подписаться под стихами Ивана Аксакова:

---

[1]) Д. Д. Ахшарумов, «Из моих воспоминаний». 1849 г. Изд. «Общественной Пользы», Спб., 1905 г., стр. 15.

[2]) Ахшарумов, «Из моих воспоминаний», 1849 г., изд. «Общественной Пользы». Спб. 1905 г., стр. 16.

[3]) Альминский, «Алексей Слободин», Спб. 1873 г., гл. X.

«Тогда мы слушали с восторженным вниманьем
Далекий шум святой борьбы,
Дрожала наша грудь тревожным ожиданьем
Перед решением судьбы.
Мы братьев видели в защитниках свободы,
Мы не могли их не любить.—
Могучий дух тогда воспламенял народы!
И нас он мог ли не пленить?»—

то далеко не всякий из них от свободных разговоров в дружеском кружке помышлял перейти к активным действиям. То же было и в кружке Петрашевского. Выйти на путь активный он не мог уже потому, что у членов его не было даже согласия в самых основных, принципиальных вопросах: «Это был спор», пишет Достоевский, «который начался один раз, чтобы никогда не кончиться»[1]) Но правительству нужна была жертва—всеевропейский революционный порыв не на шутку напугал его. Нужно было на одном разительном примере показать, что либерализм в России не на месте. «Пока я жив,—революция меня не одолеет», сказал Николай I и пустил в ход систему репрессий.

Петрашевцы пошли на каторгу. Но для многих, вероятно, так же, как и для П. П. Семенова-Тянь-Шанского, должен был встать вопрос: «в чем же состояло преступление самых крайних из людей сороковых годов, принадлежавших к посещаемым нами кружкам, и в чем состояло их различие от всех остальных, не судившихся и не осужденных?» «Ведь таково было общее настроение людей 40-х годов, сходившихся в то время в либеральные кружки Петрашевского и других. Присужденные к смертной казни мало чем отличались по своему направлению и стремлениям от других»[2]).

Отсюда ясно, что название «Петрашевцы» очень узко: Петрашевцы выражали собою целое идейное движение образованного общества 40-х годов; Лорис-Меликов назвал их апрелистами, а Ахшарумов «социалистами 49 г.», в смысле тогдашнего идеального направления социалистических учений во Франции[3]).

«Пусть из Петрашевцев»—пишет Достоевский о себе в «Дневнике писателя» 73 г.—«хотя, по-моему, название это неправильно, ибо чрезмерно большее число, в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы. Петрашевцев осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным. Правда они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было и дело во всей этой давно про-

---

[1]) Подлинный текст показания Достоевского—«Космополис», 1898, т. XI, № 9, стр. 206.

[2]) Семенов-Тянь-Шанский. «Детство и юность», Пгр. 1917, стр. 213—214.

[3]) Ахшарумов, «Из моих воспоминаний 1849 г.», стр. 20.

шедшей истории»... [1]) Также смотрит на кружок Петрашевского, как на простое собрание разнородных людей, сходившихся в силу интересов умственной жизни, и Семенов-Тянь-Шанский, знавший и этот кружок, и лиц иных убеждений (см. «Детство и юность», стр. 196—197). Конечно, в кружке Петрашевского были зародыши революционных движений. А. Г. Достоевская записала со слов Ф. М.: «Социалисты произошли от Петрашевцев, Петрашевцы посеяли много семян. Тут были задатки, из которых могли выработаться и практические социалисты—«нечаевцы». «Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, т. е. стать на «нечаевскую»-же дорогу, в случае, если бы так обернулось дело?»—спрашивает Достоевский в Дневнике 73 г. «Конечно», продолжает он, тогда и представить нельзя было, как бы это могло так обернуться дело? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь,—может и мог-бы во дни моей юности» [2]). Но все же это были только зародыши.

Вполне понятно, поэтому, если люди более энергичные, не удовлетворенные одними разговорами, стали искать иных выходов. К таким принадлежал и Достоевский. Ястржембскому он рисуется, как человек тихий, скромный, на вид очень симпатичный; его лицо обнаруживало болезненность Говорит он всегда мало и тихо. «Все мы всегда видели в нем человека мягкого, нежного, способного к самой нежной чувствительности.», разговорчивым он становился только один на один. Но в то же время, благодаря страстности своего темперамента, когда что-либо сильно задевало его, он производил на слушателей потрясающее действие, представляясь поэтому, как говорит Ип. М. Дебу, наиболее подходящим для пропаганды. «В минуты таких порывов, замечает П. П. Семенов-Тянь-Шанский, Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем» («Детство и юность», стр. 204). А переживал Достоевский социалистические идеи того времени сильно и страстно. Как он сам рассказывал, еще в 1846 г. был он посвящен Белинским «во всю правду грядущего» «обновленного мира и во всю святость будущего коммунистического общества» [3]). Это учение он «принял страстно тогда все» [4]).

---

[1]) Достоевский, «Дневник писателя» из журнала Гражданин за 76 г.—полн. собр. соч., т. X, Спб. 1906, стр. 299.

[2]) «Дневник писателя» из журнала Гражданин за 73 г.—полн. собр. соч., 1905 г., т. X, стр. 299.

[3]) Достоевский, «Дневник писателя» из журнала Гражданин за 73 г.—Полн. собр. соч., 1905 г., т. X, стр. 300.

[4]) Там же, стр. 163.

В 1846 г. случайно он познакомился с Петрашевским, который сразу произвел на него сильное впечатление.

В 1847 г., в посту, он попал к нему на «пятницы», которые и посещал до самого ареста.

О своих посещениях кружка Петрашевского Достоевский, конечно, на следствии показывал далеко не то, что было в действительности. Его показания, как выяснено в литературе вопроса, не совпадают с другими данными—с указаниями Антонелли, Липранди, самого Петрашевского, Головачевой-Панаевой и др. Несомненно, Достоевский принимал участие в обсуждении всех наиболее важных вопросов, как то о судопроизводстве, цензуре и в особенности о крепостном праве, на что указывает и Семенов-Тянь-Шанский.

Но именно потому, что в кружке только говорили и обсуждали, но дальше слова не шли, Достоевский не удовлетворился этим кружком. Не удовлетворенный здесь, Достоевский искал нового, более сплоченного кружка.

В начале 1849 г. из наиболее близких Достоевскому Петрашевцев: Дурова, Пальма, Плещеева, Головинского и Филиппова организовался новый кружок, «дуровцев», собиравшийся на квартире у С. А. Дурова. В него вошли два брата Ламанских, Спешнев, Мордвинов, Милюков, Момбелли, Львов, Григорьев, Кошевский и Щелков. Присутствие в нем горячих социалистов, как Данилевский, Филиппов, Мих. Достоевский, Головинский и Спешнев, имевший уклон к коммунизму, дало кружку определенное социалистическое направление. Петрашевский на собрания эти приглашаем не был.

Чтобы факты, сообщаемые Майковым, были более ясны и выпуклы, я остановлюсь на некоторых членах этого кружка и на характере его деятельности.

Во главе кружка стоял С. Ф. Дуров. По словам Семенова-Тянь-Шанского, «его можно считать революционером, т. е. человеком, желавшим провести либеральные реформы путем насилия» [1]). Революция привлекала его не сама по себе, как Петрашевского. В ней он видел выход из современных тяжелых условий русской действительности. Достоевский, как передает доктор Яновский, «с особенным сочувствием отзывался о нем, называя его «человеком очень умным и с убеждениями».

Остановлюсь еще на характеристике студента Павла Филиппова, сделанной Достоевским: «Он еще очень молодой человек, горячий и чрезвычайно неопытный, готов на первое сумасбродство и одумается только тогда, когда уже беды наделает. Но в нем много очень хороших качеств, за которые я его

---

[1]) Семенов-Тянь-Шанский, «Детство и юность», Спб. 1917, стр. 205.

полюбил—именно, честность, изящная вежливость, правдивость, неустрашимость и прямодушие. Горячий темперамент его и, сверх того, ранняя молодость часто опережают рассудок, да кроме того есть в нем и еще одно несчастное качество: это самолюбие, или, лучше сказать, славолюбие, доходящие в нем до странности. Несмотря на то, что он образован и вдобавок специалист по физико-математическим предметам, у него мало серьезно выработанных убеждений, за недостатком знания действительной жизни. Взамен его молодость щедро наделила всякими увлечениями, нередко самыми разнородными и даже противоречащими друг другу» [1]).

Но наиболее видную роль в кружке играл Н. А. Спешнев. По крайней мере Семенов-Тянь-Шанский [2]) считает его одним из выдающихся деятелей кружка. Спешнев побывал заграницей, где был знаком с коммунистическими кружками, и по возвращении в Россию явился пропагандистом западных идей и тактики. «Он был убежден, что для восприятия идей освобождения крестьян и народного представительства необходимо подготовить русское общество путем печатного слова, он возмущался цензурными его стеснениями и первый задумал основать свободный заграничный журнал на русском языке, не заботясь о том, как он попадет в Россию». Он приглашал всех пользоваться, без зазрения совести, изустным словом для распространения «социализма, атеизма, терроризма, всего, всего доброго на свете!» В кружке Петрашевского и Дурова он стоял несколько особняком—«он был везде вроде почетного гостя».

Остальные члены кружка не имели такого значения, как указанные. Некоторые из них, как Кашевский, Щелков, не принимали активного участия. А. Н. Плещеев более всего был, как выразился Достоевский, настроен «в розовом и райски нравственном свете».

Достоевский, как он сам после признавался в «Дневнике писателя», был сторонником социализма,—не в смысле, конечно, какого-либо одного учения, а в смысле принятия основных его положений, ибо «все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли, и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Эти новые идеи нам казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества». («Дневник писателя из журнала Гражданин» за 73 г. Полн. собр. соч., 1906 г., т. X, стр. 300, 301).

---

[1]) См. В. И. Семевский, «Голос Минувшего», 1915 г., № 12, стр. 52—53.
[2]) Семенов-Тянь-Шанский, «Детство и юность», Пгр., 1917, стр. 199.

Это подтверждается и фактами следствия. При обыске у Достоевского были отобраны Eugène Sue: «Le Berger de Kravan», «Histoire de dix ans» Луи Бланка, «Le vrai christianisme suivant Jésus Christe»—Кабе и некоторые другие. Ближе других ему была, вероятно, «мирная» и «кабинетная» система Фурье.

«В беседах с братом», замечает Яновский: «они обыкновенно высказывали сходные суждения», а о Михаиле Михайловиче Достоевский писал в Дневнике 1876 г.: «он был тогда фурьеристом и со страстью изучал Фурье» [1]).

Но ко времени не задолго до ареста, т. е. в начале 1849 г., с Достоевским происходит значительная перемена, подмеченная д-ром Яновским: «Он сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придираться к самым ничтожным мелочам, стал особенно часто жаловаться на дурноты. Причиной этого, по собственному сознанию Достоевского, было сближение его со Спешневым, или, точнее сказать, сделанный у него заем. На уверения доктора, что его мрачное расположение духа пройдет, Достоевский однажды ответил: «Нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить, так как я взял у Спешнева деньги (при этом он назвал сумму около 500 р.). Теперь я с ним и его. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад, такой уже он человек. Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой мефистофель». (С. Яновский. «Воспоминания о Достоевском»—«Русский Вестник», 1885 г., № 4, стр. 799, 800, 803, 813—7).

В связи ли с деньгами произошло это сближение или по иной причине, но сближение произошло.

Подпав под влияние Спешнева, о котором он отзывался, что он силен и не чета Петрашевскому, Достоевский, есть основание думать, перешел от Фурье к системе Луи Блана, о котором потом писал в Дневнике с явно выраженной симпатией («Дневник писателя» за 73 г.—Полн. собр. сог. СПБ 1905 г., т. X., стр. 299—300).

Эта идейная перемена в Достоевском, и сближение его со Спешневым совпадают по времени с предложением, сделанным П. Филипповым в кружке Дурова, предложением логически вытекавшим из его первого предложения об изучении России, а именно—получавшиеся при этом изучении статьи распространять путем домашней литографии помимо цензуры. Как добавляет Милюков, печататься должны были статьи, одобренные всем кружком Дурова. Но большая часть дуровцев, чуя риско-

---

[1]) Достоевский, «Дневник писателя», 1876.—Полн. собр. соч., Спб., 1905, т. XI, стр. 158.

ванность предприятия, встретила предложение Филлипова несочувственно. После небольшого замешательства и переговоров предложение было отвергнуто кружком. Но сторонники у него все же нашлись, по словам Пальма: «Спешнев, Львов и писавшие статьи». На следствии выяснилось, что вместо литографии была устроена домашняя типография. Внимание на эту типографию следственная комиссия обратила самое малое, очевидно потому, что Филиппов показал, что она была делом исключительно его и Спешнева, давшего деньги на заказ частей, а Спешнев указал, что Филиппов был лишь исполнителем его плана; комиссия пришла к заключению, что в деле о типографии замешено было всего двое, и что «умысел этот не касается никакого кружка и никаких лиц, кроме его, Филиппова, и Спешнева, ибо они положили хранить это дело в величайшей тайне». При обыске на квартире у Спешнева, кроме пустых ящиков, оклееных ореховым деревом, ничего не обнаружили. Где был станок и другие принадлежности—так следственная комиссия и не узнала.

Оба приведенные факта—и устройство домашней типографии Спешневым, и сближение его с Достоевским—были известны, но проходили мало замеченными: между ними не было подмечено той внутренней связи, которая вскрывается перед нами письмом Майкова.

Приводим письмо это целиком, хотя оно и не все относится к вопросу—«Достоевский и Петрашевцы», но в нем прекрасно отразилось мировоззрение Майкова и его взгляды на вопросы социальные.

Вот оно:

«Любезнѣйшій другъ Павелъ Александровичъ! прежде всего спасибо, сердечное спасибо, что вы меня не забываете; мало того—мною занимаетесь; мало того—(написавъ это третье м а л о т о г о, вспоминаю риторику Кошанского и стараюсь припомнить какая это фигура, нарощеніе, кажется?) и такъ: мало того—хотите читать лекціи о моих писаніяхъ, слѣд., забирайтесь въ тайники моей души, чтобы посмотрѣть какъ зарождались и творились в ней образы, и какіе чувства во мнѣ говорили и какіе горизонты передъ умственнымъ окомъ раскрывались и исполняли меня умиленіемъ и радостью! Голубчикъ Вы мой на что Вамъ еще какіе то біографическія статьи, послѣ того, какъ Вы біографію мою всю изучили въ этихъ, самыхъ живыхъ, источникахъ. Написано много было біографій, да все глупости. Виноватъ, впрочемъ. Есть одна, которую я читалъ съ удовольствіемъ, ибо написана была святымъ человѣкомъ, Александр. Устиновичемъ Порѣцкимъ—знали Вы его? Онъ и меня зналъ и любилъ и зналъ с Университета. Помѣщена она в изданіи Баумана т. I Русскіе Современные Дѣятели 1876-го года, составилъ Д. И. Лобановъ. Книга есть у моей жены, но она мнѣ

ея не даетъ, ибо я два другіе данные мнѣ экземпляра «утратилъ». Но вѣдь и эти біографіи не въ духѣ нынѣшняго времени. Нынче не то требуется. Нынче жиды, а за ними и кретины изъ русскихъ и нѣмцевъ съ дуру, писателей провѣряютъ по отношенію ихъ къ либеральнымъ теченіямъ ихъ времени. Вотъ напр. узколобый Арсеньевъ, разбирая Полонскаго, сказалъ, что я шелъ было по прямой линіи, а потомъ споткнулся и полетѣлъ внизъ, падая все ниже и ниже, глубже и глубже въ тину (да, прибавлю и очутился въ Двухъ Мірахъ!), а Полонскій, так тот все зигзагами—сегодня либераленъ, завтра консервативенъ и т. д. Другой критикъ жидъ Венгеровъ недавно написалъ цѣлую исторію послѣпушкинской литературы, которую, говорятъ, сожгли, гдѣ подводилъ съ этой точки зрѣнія формулярные списки всѣмъ нашимъ писателямъ. Со стороны жида это понятно. Хуже чѣмъ ладанъ чорту жидамъ русскій духъ—у насъ и вообще національность какая нибудь, нѣмецкая, русская. Національное чувство въ народахъ—имъ смерть. Либеральныя идеи—космополитизмъ, ослабленіе государственныхъ связей, всяческія свободы—ихъ торжество, равноправность, широкое поприще всякому geschäftmacher-ству. Вотъ въ этомъ духѣ ведется ими и критика. Не знаю, что тамъ насудилъ Венгеровъ, но обо мнѣ, сукинъ сынъ, говорятъ, написалъ, что я участвовалъ въ дѣлѣ Петрашевскаго и измѣнилъ потомъ его святымъ принципамъ. Этотъ неучъ до того не знаетъ того о чемъ пишетъ, что случайно встретясь со мной, сталъ разспрашивать о Петрашевскомъ, и выразилъ мысль, что Петрашевскій издавалъ подъ именемъ Кириллова «Словарь иностранныхъ словъ вош. въ русск. яз.», и не хотѣлъ мнѣ вѣрить, когда я его убѣждалъ, что Кирилловъ не псевдонимъ Петрашевскаго, а артиллеріи штабсъ капитанъ, котораго я очень хорошо зналъ, ибо у него в 1-мъ томѣ работалъ мой братъ Валерьянъ, который и отказался отъ 2-го тома, куда влѣзъ Петрашевскій съ совсѣмъ неподобающими статьями. Къ дѣлу Петрашевскаго дѣйствительно я былъ прикосновенъ, но скажу съ достовѣрностью, что этого дѣла никто до сихъ поръ путно не знаетъ, что видно изъ «дѣла» изъ показаній, все вздоръ; главное, что въ немъ было серьезнаго, до комиссіи и не дошло. Да я Вамъ, кажется, разсказывалъ. Съ Петрашевскимъ я познакомился въ Университетѣ, и потомъ изрѣдка ходилъ къ нему во 1-хъ потому что были все юноши знакомые, а потомъ—еще и потому, что было забавно. По смерти же брата (1847 лѣтомъ) глубоко меня потрясшей, да притомъ тогда же былъ въ самой горячей завязкѣ мой романъ съ Анной Ивановной—я былъ у Петрашевскаго всего разъ, въ декабрѣ 1847 г. Братъ еще раньше тоже отвлекся отъ кружка Петрашевскаго, принявъ критику въ Отеч. Зап. и около него составился его кружокъ: Владиміръ Милютинъ, Стасовъ, еще человѣка три, четыре. Я же, занятый

своимъ романомъ, а именно тѣмъ, что въ него входило—какъ бы побольше добыть денегъ, то я сидѣлъ, писалъ итальянскіе разсказы, а потомъ критики в Отеч. Зап., ото всѣхъ былъ въ сторонѣ. Разъ, кажется, в январѣ 1848 г.[1]) приходитъ ко мнѣ Ф. М. Достоевскій, остается ночевать—я жилъ одинъ на своей квартирѣ—моя кровать у стѣны, напротивъ диванъ, гдѣ постлано было Достоевскому. И вотъ онъ начинаетъ мнѣ говорить, что ему поручено сдѣлать мнѣ предложеніе: Петрашевскій, молъ, дуракъ, актеръ и болтунъ, у него не выйдетъ ничего путнаго, а что люди подѣльнѣе изъ его посѣтителей задумали дѣло, которое Петрашевскому неизвѣстно, и его туда не примутъ, а именно: Спѣшневъ, Пав. Филипповъ (эти умерли, такъ я ихъ называю, другіе кажется еще живы, потому объ нихъ все таки умолчу, какъ молчалъ до сихъ поръ цѣлые 37-мь лѣтъ обо всемъ этомъ эпизодѣ) и еще пять или шесть не помню, въ томъ числѣ Достоевскій. И они рѣшили пригласить еще 7-го или восьмого, т. е. меня. А рѣшили они завести тайную типографію и печатать и т. д. Я доказывалъ легкомысліе безпокойность такого дѣла, и что они идутъ на явную гибель. Да притомъ—это мой главный аргументъ—мы с вами (съ Ф. М.) поэты, слѣд. люди не практическіе, и своихъ дѣлъ не справимъ, тогда какъ политическая дѣятельность есть въ высшей степени практическая способность и пр. И помню я—Достоевскій сидя какъ умирающій Сократъ передъ друзьями, въ ночной рубашкѣ съ незастегнутымъ воротомъ, напрягалъ все свое краснорѣчіе о святости этого дѣла, о нашемъ долгѣ спасти отечество, и пр.—такъ что я, наконецъ, сталъ смѣяться и шутить. «Итакъ—нѣтъ?» заключилъ онъ.—Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Утромъ послѣ чая, уходя—«Ненужно говорить, что объ этомъ—ни слова»—«Само собою». Въ послѣдствіи я узналъ, что типографскій ручной станокъ былъ заказанъ по рисунку Филиппова в разныхъ частяхъ города и за день, за два до ареста былъ снесенъ и собранъ въ квартирѣ одного изъ участниковъ, М-ва, котораго я, кажется и не зналъ; когда его арестовали и дѣлали у него обыскъ на этотъ станокъ не обратили вниманія, у него стояли въ кабинетѣ разные физическіе и другіе инструменты и аппараты, но дверь опечатали. По уходѣ Комиссіи и по уводѣ—домашніе его съумѣли не повредивъ печатей снять двери съ петель и выкрали станокъ. Такимъ образомъ улика была уничтожена. Обо всемъ этомъ дѣлѣ Комиссія ничего не знала, не зналъ и Петрашевскій, и изо всѣхъ избѣгшихъ ареста только я одинъ и зналъ. И если что меня тяготило въ ожиданіи когда меня арестуютъ (а этого я ждалъ по близкимъ связямъ съ Дост-ми и Плещеевымъ), а потомъ чего болѣе я боялся уже на допросѣ въ крѣпости—это именно этой тайны посѣщенія

[1]) Очевидно, не 1848 г., а 1849 г., т. к. иначе по Майкову и арест Петрашевцев произошел бы в 48 г.

Дост-го, и того что онъ мнѣ сообщилъ. Но на допросѣ объ этомъ не спрашивали и я весьма свободно и развязно отвѣчалъ объ теоріи Фурье и фаланстеріяхъ, даже не безъ юмора, члены смѣялись, когда я рисовалъ, какія это будутъ казарменныя жилища гдѣ будетъ и мой нумеръ, и вся жизнь будетъ на глазахъ и никакихъ амуровъ не останется въ тайнѣ. Распространялся о неуживчивости Дост-го, который перессорился со всѣми, кромѣ меня, но, наконецъ, въ послѣднее время охладѣлъ и ко мнѣ и мы видались рѣже. Съ Петрашевскимъ поддерживалъ знакомство изъ учтивости, да и забавно было. Когда же, наконецъ, мнѣ сказали «можете итти—вы свободны»—я наконецъ вздохнулъ легко, мнѣ стало ужасно весело именно оттого, что не спросили ничего о «той ночи». Помню, когда я вышелъ изъ свѣтлой комнаты, гдѣ сидѣла Комиссія, въ темный корридоръ, я вдругъ очутился одинъ въ темнотѣ, пошелъ наудачу и думалъ ужъ назадъ вернуться къ генераламъ, попросить чтобъ указали мнѣ, какъ выйти, но вдругъ наткнулся на идущаго человѣка и рукой, которую держалъ впередъ, ощупалъ что-то металлическое въ родѣ звѣзды, и вдругъ слышу строгій голосъ: «Кто такой? куда?» Явилась откуда то свѣча—я вижу, что прошелъ мимо часового, а передо мной генералъ въ мундирѣ—то былъ, я узналъ послѣ, комендантъ Набоковъ: «я изъ Комиссіи, мнѣ сказали, я свободенъ,—я и пошелъ, но не знаю куда итти». Онъ указалъ и я очутился на крѣпостномъ дворѣ ярко озаренномъ луной—и ни души! Опять не знаю куда направляться? Постоялъ, посмотрѣлъ на соборъ. Тихо,—а кругомъ въ стѣнахъ—знакомые—и что съ ними? Я все таки ничего не зналъ, что они надѣлали. Слава Богу, что не спрашивали о типографіи: что бы я сказалъ? Надо сказать въ моихъ отвѣтахъ не было никакой лжи, и никакого бросающаго на кого нибудь обвиняющую тѣнь. Сразу Дуббельтъ меня поставилъ такъ, что я почувствовалъ себя развязно, а первая его улыбка развязала мой юморъ—о Петрашевскомъ, напр., я говорилъ какъ онъ насъ всегда смѣшилъ: разъ явился на дачу ночью въ грозу, мы ужь раздѣвались,—въ испанскомъ плащѣ и въ бандитской шляпѣ. О Дост-мъ говорилъ съ чувствомъ и сожаленіемъ, что разошелся с нимъ, что расходился онъ вообще изъ огромнаго самолюбія и неуживчивости. Наконецъ, въ крѣпости то, увидѣлъ того же жандармскаго офицера, изъ простыхъ, который меня привезъ изъ 3-го отд. въ крѣпость и который до призыва меня въ Комиссію караулилъ меня въ комендантской комнатѣ, и когда я тамъ, смотря на висящіе на стѣнахъ виды Венеціи, сталъ ему разсказывать, что вотъ, молъ, чудный городъ, лошадей или улицъ нѣтъ, а только каналы и кухарки за провизией или ѣздятъ на лодкахъ, или купцы подъѣзжаютъ на лодкахъ, а къ нимъ спускаютъ корзины съ деньгами и они накладываютъ провизію,—смотрѣлъ на меня, какъ на враля, и, можетъ быть, опаснаго—«Ну вотъ вы меня сюда привезли, покажите теперь

какъ выйти»—сказалъ ему. Онъ обрадовался какъ родной: «пойдемте, пойдемте!» У него былъ извощикъ. «Ну что, говорю, везли думали Богъ знаетъ какого преступника—а вотъ теперь сами рады».—«Должность такая—везешь, не знаешь, боишься, а теперь другое дѣло. Не хотите ли ко мнѣ—чайку и закусить время позднее»—«Нѣтъ покорнѣйше благодарю—дойдем до извощика, а тамъ надо успокоить родителей. И разумѣется—сейчасъ къ родителямъ, а чѣмъ свѣтъ записку къ Аннѣ Ивановнѣ.

Однако, садясь Вамъ писать письмо, я совсѣмъ и не думалъ, что наткнусь на это повѣствованіе. Меня все еще какъ будто связываетъ слово, данное въ «ту ночь» Дост-му. Впрочемъ когда нибудь это опишу все порядочнѣе и подробнѣе; особенно это приходитъ мнѣ въ голову когда жиды и кретины станутъ писать свои исторіи о насъ. Есть еще одно обстоятельство, которое разъяснить я не могъ тоже лѣтъ 30. Это исторія «Коляски . Или ужъ и ее разсказать Вамъ, благо дѣло на ходу? Пожалуй, пока не разобрала лѣнь. Это дѣло идетъ объ убѣжденіяхъ. Смѣшное и трагическое дѣло. Что такое убѣжденіе у мальчика 20, 25 лѣтъ? это вообще, и у насъ въ мою юность—и слухомъ не слыхали и слова не знали. Это все таки то, что онъ кругомъ себя слышитъ и что вычитываетъ; плода собственнаго опыта и изученія быть еще не можетъ, за отсутствіемъ того и другого. Мы же росли какъ грибы, какъ деревья. Я выросъ въ московской семьѣ: слава отечества, отецъ раненъ подъ Бородинымъ, и пр., воспитывались, чтобы быть образованными людьми; въ Университетѣ ужъ искали истины; товарищи мои (братъ, Цейдлеръ, Дудышкинъ, Заблоцкій Михаилъ съ философскими направленіями искали абсолюта; для жизни искали идеала какимъ быть, переходили отъ стоиковъ къ эпикурейцамъ, менѣе всего, впрочемъ, знали христіанскій идеалъ, не въ ту сторону шли поиски, и вотъ почему мнѣ христіане не давались такъ долго для «Двухъ міровъ». Или лучше сказать надо такъ: выросли мы безсознательно на христіанской и русской почвѣ, и въ дѣйствіяхъ своихъ были, конечно, христіанами и русскими, но свои отношенія къ міру приравнивали то по тому, то другому философскому ученію. Вдругъ налетѣла буря Бѣлинскаго: новыя идеи о бракѣ, что онъ ненуженъ—Жоржъ-Зандизмъ, о соціальныхъ условіяхъ—старый міръ съ его религіей, устройствомъ общества—отживаетъ, нуженъ новый, словомъ западничество дохнуло всей своей силой и охватило конечно и меня—но не вполнѣ и вотъ почему: потому что матушка моя какъ москвичка, выписывала Москвитянинъ Погодина, и въ немъ другое вѣяніе, а главное, что меня въ немъ плѣнило—это открытіе славянскаго міра, такъ что я и кандидатскую свою диссертацію написалъ на тему: о первоначальномъ характерѣ законовъ по памятникамъ славянскаго права—сравнилъ Русскую Правду съ законами Душана,

съ польскими (у Маціовскаго) и пр. То есть это было такъ: міръ Москвитянина вмѣстѣ съ занятіями Русской исторіей были для меня главное, чѣмъ я старался овладѣть: другая, кровная, забота—были стихи. А соціальные вопросы—какъ бы сторона—конституція лучше—ну пусть конституція, пусть все это рѣшаютъ другіе, я беру ужъ какъ готовое, отметая только то, что мнѣ не нравится, напр. казарменная жизнь въ фаланстеріяхъ и общественныя работы; ну, а общественныя кухни пусть заведутъ, можетъ быть дешевле будетъ, если притомъ меня не будутъ заставлять стряпать. На счетъ брака тоже нравилось, особенно на счетъ замужнихъ дамъ, да притомъ все это очень хорошо какъ темы или точки зрѣнія для сочиненій; хотѣлось напр. написать итальянскую поэму, ну—такъ героя взять изъ современыхъ представителей (Въ Двухъ Судьбахъ) передовыхъ людей, въ родѣ Печорина, только университетскаго и начитавшагося твореній Бѣлинскаго—хотя такого героя какъ тамъ взять Владиміръ, я и не видывалъ, и въ себѣ не чувствовалъ. Отъ этого этотъ Владиміръ такой двойственный—въ немъ и русскія чувства изъ Москвитянина, они же и мои истинныя, и Бѣлинское западничество. А милый Милюковъ до сихъ поръ еще что-то въ немъ находитъ особенное и говоритъ объ немъ серьезно. Но это поощрялось литературой и испортило многія пьесы въ моихъ стихахъ этой средней эпохи моей. Такимъ образомъ выходило, что я къ западникамъ не примкнулъ, хотя посѣщалъ ихъ, а славянофиловъ въ Петербургѣ не было, живое воздѣйствіе которыхъ могло бы благословить и оплодотворить мое сердце и фантазію и дать устой уму. Съ западниками я раздѣлялъ и негодованіе на цензуру, и вообще думалъ, что они очень умные люди и понятія и стремленія ихъ ведутъ къ истинѣ и счастью Россіи»... Здесь письмо обрывается; письмом Майкова разрозненные факты связываются, превращаются в цельную картину: предложение Филиппова не могло не встретить сочувствия у Спешнева, мечтавшего путем печатного слова подготовить общество к принятию необходимых по его мнению реформ. Достоевский, по силе своего таланта и захватывающего пафоса, был для Спешнева, действительно активного революционера, очень ценен, и Спешнев подчиняет его своему влиянию, тем более, что Достоевский и сам не чужд, как мы видели, активности, особенно в минуты порыва. И вот связь закреплена—у Достоевского есть его Мефистофель, для которого он идет вербовать своего друга—поэта. Он сделал только первый шаг по Нечаевской дороге. Кружок Петрашевского был арестован ранее, чем из типографии Спешнева вышла хотя одна книга; попытка перейти к активности в среде Петрашевцев была задушена в самом зародыше. Но для нас важно, что попытка эта была, и что в ней действенную роль играл Достоевский.

Несмотря на свое обещание «когда нибудь описать это полнее и порядочнее», Майков так и не описал этого факта, и нам приходится лишь догадываться о многих обстоятельствах,—но и в этом виде его письмо проливает свет на отношения Достоевского к тогдашним кружкам и революционным идеям. Оно делает понятным его собственное признание: «я сам старый Нечаевец». Судя по письму Майкова, он имел все основания сказать это.

Е. Покровская.

А. ДОЛИНИН.

ДОСТОЕВСКИЙ и ГЕРЦЕН

Достоевский и Герцен.

(К изучению общественно-политических воззрений Достоевского).

I.

.... «Мало того, хотя ему и жаль было этих «недовершенных созданий», но он не только не каялся в своей поспешности, а считал ее делом необходимым и полезным. Для него главное было подействовать на читателей, заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону. Важно было не само произведение, а минута и впечатление, хотя бы и не полное. В этом смысле он был вполне журналист, и отступник теории чистого искусства»... (Соч. Дост., т. I, изд. 1883 г., стр. 216).

Если при изучении художественных творений Достоевского эта черта его, отмеченная Страховым, должна быть принята во внимание с большой осторожностью: мысли и цели случайные вряд ли могут резко отражаться в самой основе сложных художественных концепций, годами вынашиваемых,—то при изучении его общественно-политических воззрений, по крайней мере тех, которые отпечатлелись в его журнальной деятельности, с нею, с этой чертой, считаться приходится весьма часто. Нужно сделать одну лишь оговорку: причина здесь, по всей вероятности, не столько в читателе, сколько в нем самом, Достоевский стремился не столько к тому, чтобы подействовать на читателя, ему не давать покоя своими мыслями, сколько к тому, чтобы заявить немедленно про свою непокорную мысль, излить свое собственное неспокойство. Его мысли носили бы наверное тот же страстный, тот же моментный характер, если-б он даже был постоянно принуждаем к молчанию, не имел бы в виду никакого противника или друга. Так же обрывчато, вспышками, думал он и на каторге, и в батальоне, и в те томительные годы заграничной жизни, когда тоска по России причиняла ему мучения, быть может, не менее острые, чем Омск и Семипалатинск (См. Письма к брату

из крепости и Майкову из Женевы). Соч. Дост., т. I, изд. 1883 г., стр. 67—72 и 167—179.

Отдаваться полностью отклику на всякий удар извне, откуда бы этот удар ни исходил, не насиловать факты, прилаживая их к системе своих мыслей—факт из личной ли жизни, из жизни русского народа или народа западно-европейского—а себя ему подчинить, отвечая на него со всею страстью, со всею силой убежденности, на какую только он один был способен, точно в нем, в этом факте, вся суть его стремлений, единственный смысл всех его чаяний в прошлом и на будущие времена;—вот что создает все своеобразие его публицистики, делает ее такой волнующей, страстной, нередко и пристрастной, такой, порою, узкой и в то же время углубленной.

Противоречий, кажется, полна вся журнальная деятельность Достоевского. Она прежде всего двойственная, вся проникнута той напряженной борьбой взаимно исключающих истин, которая неустанно кипела в его душе, никогда не испытавшей радости уравновешенности. «Он умер в самом горячем процессе борьбы добра и зла»—так сказал про него Толстой. Если при жизни Достоевского политическая позиция его считалась определенной, в стане «победителей», вплотную придвинутой к позиции кн. Мещерского или—фигуры покрупнее—Победоносцева, то очень скоро, после смерти, стало ясно, что здесь кроется крупное недоразумение: современники переусердствовали, путая конечные цели и тактику, идеалы и способы их осуществления; и еще чаще—за обычностью ходячих слов и понятий не ощущали они той взрывной силы, которую мы, потомки, независимо от того, принимаем или отвергаем те или другие его воззрения, чувствуем ныне в его как будто старых «охранительных» идеях и терминах. Ведь не нужно насиловать ни цитат, ни хронологии, чтобы, на основании его писаний, художественных и публицистических, и не одного какого-нибудь периода, а всей его жизни,—чтобы на основании этих писаний показать, что как был Достоевский, до каторги, пламенным защитником «униженных и обойденных», последователем Белинского—социалиста, Жорж-Санд и Фурье, так и остался он им до конца. В «Бесах» отразилось впечатление от Женевского с'езда первого интернационала, на котором были и русские. Нигилизм он оставил,—бежав заграницу,—огрубелым, доведенным до последней степени пошлости; Шигалевщина вовсе не отрицание идеи революции: страстью Достоевского, силой негодования его руководит не сущность движения, не сама цель, а средства и способы ее осуществления. Недаром в письмах за период «Бесов» не одно только торжество утоленной злобы,—в них нет достаточной уверенности в своей правоте, и ощущается ясно тревога: «он оторван от России и, быть может, многого уже не знает в ней». По чувству глубочайшей ненависти к омещанившейся Европе,

к тупому самодовольству буржуа, как ему казалось, дописывающего последние штамповые страницы обезличенной истории западных народов, только он один может стать в уровень с Герценом. И это неизменно характеризует Достоевского впродолжение всей его жизни (см. хотя бы те же письма к Майкову, там же, стр. 168—279).

Но с другой стороны, в том же счастливом положении, тоже не насилуя ни цитат, ни хронологии, окажется и консерватор, и воинствующий националист, и православный клерикал—еще с большим правом они могут ссылаться—и ссылались, особенно при жизни, — на писания его конца 60-х годов и годов 70-х. То, что Достоевский твердил неустанно: «наше спасение в самодержавии, и все 80 миллионов русских, как один человек, исповедуют и ныне, как и встарь: «Ты наш отец, а мы твои дети»,—это можно об'яснить, в плоскости имманентной, как угодно: страхом перед общеевропейской революцией, которую он воспринимал, как ужасную катастрофу, или жаждой во что бы то ни стало покорить в себе самом гордость гордого человека, снять с себя невыносимо тягостное иго своего собственного бунтарства смирением перед неодолимой стихией народной; — эти и им подобные слова тогда, в атмосфере политических страстей, звучали полным оправданием для внутренней правительственной политики того времени. И можно было сделать только такой вывод — православная церковь должна стать воинствующей—из его слов: «не православный не может быть русским» и «всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает без всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов» (т. 12, стр. 149. Изд. Просвещ.).

— «К востоку—вот направление исторических путей наших! Константинополь должен быть наш». И политика русская в Европе недостаточно национальна, напрасно так часто вмешиваемся мы в европейские дрязги без всякой надобности и пользы.

И в то же время: «мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что роль русского народа—роль мессианистическая, установление общей гармонии на земле, истинной любви и братства между классами и народами всего Арийского племени». (Соч., т. 19, стр. 179). Это при обязанности-то каждого народа, в том числе, конечно, и русского, «иметь своего бога особого, а всех остальных богов на свете исключать без всякого примирения, победить и изгнать их из мира!». А ведь эта мысль, о синтетическом, всечеловеческом, всеоб'емлющем характере русской идеи, как мы увидим ниже, в концепции его политических и религиозных воззрений самая главная, и никогда она не давала никаких поводов, фор-

мулировкой своей, истолковать ее, как боевую: высказанная впервые в конце 1860 года, как поясняет Страхов, в пору еще не совсем остывшего всеобщего умиления, когда Чернышевский похваливал славянофилов, а славянофилы — «Современник», она осталась его основой, любимой его мечтой до конца жизни, которую он высказывает с одинаковым пафосом в целом ряде журнальных статей в «Дневнике Писателя» за все годы, с особенной силой и яркостью—в Пушкинской Речи. И чудные страницы, обвеянные мягкой сумеречной грустью от ощущения далеких судеб страждущего человечества, порождены ею в «Подростке», в «Идиоте» и в «Братьях Карамазовых».

Это примеры самые разительные, колеблющие основы миросозерцания. Можно бы еще указать на отношение Достоевского к русской интеллигенции: то требуется от нее полный отказ от своего прошлого, окончательное и бесповоротное возвращение на родную ниву,—тогда мы почти у сферы идеи опрощения Толстого; то наоборот, проповедуется ей стоять непоколебимо за те великие культурные ценности, которые она приобрела за последние два века, с реформы Петра; и если народ интеллигенцию такой не примет, то «уж лучше остаться совсем одной, без народа», чем пожертвовать ему самым драгоценным, что у нее имеется: «Пусть уж мы оба погибаем врозь (т. 20, стр. 51) [1]). Или отношение к Петровской реформе, постоянно меняющееся; к Белинскому: то он «самое позорное, самое смрадное явление в русской жизни, то... Белинский «человек наиболее русский», и удостаивается он этой великой чести именно за безудержное увлечение его самым крайним западным течением—революционным социализмом. («Мой Парадокс»).

Из этого хаоса противоречивых мыслей, идей и мнений с трудом можно прикрепить какую-нибудь мысль к определенной, более или менее точно отграниченной полосе, сказать про нее, что она есть начало «перерождения убеждений» или их завершения. Недаром большинство исследователей почти обходит общественно-политические писания Достоевского, точно в молчаливом согласии, что с ними особенно считаться не приходится: в русской литературе-де это не первая грустная безответственность великого художника, слабо сознающего свои границы: переступая их, он говорит о том, о чем следовало бы ему лучше молчать.

Нужно ли говорить, что это путь слишком легкий и уж действительно безответственный. В истории русской общественной мысли Достоевский-журналист — фигура огромная. Эпоха, в которую он жил и боролся и отстаивал свои идеи,

---

[1]) Достоевского цитирую по собр. соч. изд. Просвещ. в 23 томах, а Герцена—по Павленковскому изданию.

сама по себе требует особого внимания и углубленности. Страсти, какие будила его мысль, чувство злобы или негодования против него, нередко заслоняли правду в его словах, но, сознательно или бессознательно, эта правда воспринималась, и взгляд противника от столкновения с его мыслями становился более острым и вдумчивым. В сущности это была совершенно особая позиция—одного против всех—равно далекая от правых и левых, позиция тоже своего рода «С того берега»... «Дневник», от первой до последней строки, писался ведь им одним, и ни в одном журнале не было для «Дневника» органического места. Человек разрешал себе величайшую свободу, для нас, робких, почти непостижимую: никогда не лукавить, ни с другими, ни тем более с самим собою, не жертвовать, ради прекрасной стройности и хвалимой последовательности, ни одной своей мыслью, раз она оправдана данным моментом, данным переживанием. Не будем мы искать в этих неустранимых противоречиях его, в этой ни на минуту не прекращающейся борьбе противоположных тенденций его мысли, готовой, рационалистически построенной системы, из которой логически с непреложной необходимостью вытекают все частности. Достоевским-мыслителем и Достоевским-художником должна была руководить одна и та же устремленность, как к некоему идеалу—не к системе, располагающейся на плоскости, а к созвучности единой и цельной гармонии. По пути к ней звучали, в болезненном для слуха разногласии, как в настраивающемся оркестре, звуки различных тонов, высоты и силы. В его общественно-политических воззрениях многое может и должно быть отброшено, как случайное, как материал душевно-биографический, искажавший эту внутреннюю из себя развертывающуюся эволюцию. Будем исходить из высших его достижений, когда он поднимается над самим собой, делая величайшее усилие к созданию всеоб'единяющего синтеза—таков единственный способ выяснения той основы, которая скрыта под грудой случайно приставшего к ней материала.

II.

В художественном творчестве высшее достижение Достоевского—«Братья Карамазовы»; в творчестве общественно-политическом—речь, произнесенная 8 июня на Пушкинском празднике. Оба достижения близки не только во времени—когда речь была произнесена, «Карамазовы» еще не были окончены печатанием—но и по содержанию. Мысли, в романе развернутые в художественных образах, в Речи сжаты почти в схему, но проникает их тот же повышенный пафос, которым обвеяна вся книга, под заглавием: «Русский инок», разрешающая искания Ивана. А Иван и есть самое полное воплощение

сущности русского интеллигента, образ которого носился перед взором Достоевского во время «Речи». Ряд восходящих ступеней к последнему творению—все предыдущие художественные концепции Достоевского. Уже в «Бедных людях», из-под завесы, стиллистической отчасти и сюжетной, Гоголя и Гоголевской школы, ясно выступает это трагическое начало в его творчестве и дальше развивается вширь и вглубь не прямо, а зигзагами: на каждой ступени не мало таких образов и мыслей, неоправданных целостностью художественной композиции, вызванных к жизни случайностью, под влиянием тогоже преходящего момента, данного факта душевно-биографического значения.

Пушкинскую Речь Достоевский произнес, как мыслитель и художник в равной степени, и это был отчет за всю русскую литературу со времени Пушкина, за все идейные течения последних десятилетий, и прежде всего отчет за себя, в своих исканиях и достижениях. Здесь современники, воспринимая его Речь, как «событие», заслуживают полного доверия. Когда Достоевский произнес последние слова свои: «Пушкин бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем»—в это самое мгновение всеми, присутствовавшими там на празднестве, ясно почувствовалось, что тайна эта разгадана, и разгадал ее именно он, Достоевский, вот здесь на этом месте, на эстраде, в этом гениальном слове, примирившем все партии, все частные идеи, которые каждая из них «с таким трудом и так упорно отстаивала»; снявшем все противоречия—свои и чужие. «Рядом со славянофилами, обнимавшими меня и жавшими мне руку, тут же, на эстраде, едва лишь я сошел с кафедры, подошли ко мне пожать мою руку и западники, и не какие-нибудь из них, а передовые представители западничества, занимающие в нем первую роль, особенно теперь. Они жали мне руку с таким же горячим и искренним увлечением, как и славянофилы, и называли мою речь гениальной, несколько раз напирая на слово это, произнесли, что она гениальна» (т. 21, стр. 429). В эту минуту покорены были его правдой не одни только старые западники, как Тургенев, у которого были все основания относиться к словам Достоевского с большим предубеждением, но и мученик-народник, Глеб Успенский и—что еще ценнее—та безымянная, подвижническая революционная молодежь, которая тогда так горестно и так страстно искала оправдания себе, не понятой и покинутой своими отцами и старшими братьями. Это о ней и за нее говорит Успенский, что в Речи Достоевского он услышал такой призыв к молодому поколению: «Ваше неуменье успокоиться на личном счастье, ваше горе и тоска о несчастьи других и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия, есть предопределенная всей нашей природой

задача,—задача, лежащая в сокровеннейших свойствах нашей национальности» (соч. т. IX, стр. 262, изд. Фукса). Потом Успенский иначе понял и оценил Речь Достоевского, но первое впечатление было такое и оно-то и было правильное.

На высотах подолгу не удерживаются, и люди вскоре вновь подпадают под власть старых слов и прежних позиций. В «об'яснительном слове к Речи» Достоевский как бы намеренно подчеркивает, что он «славянофил», что «партия» вполне согласна с его выступлением, а идея, которую он высказал на празднике, «была уже не раз если не высказываема, то указываема ими». Так отграничивает он сам «событие» моментом, чрезвычайно кратким, когда в слове, им сказанном, воспринималось нечто гораздо большее, чем оно обычно означает,—старые понятия и формулы языка не исказили основы его идеи. Ибо перед взором его носились образы далекого будущего, рисовались широкие обще-человеческие перспективы, ощутимые в своей реальности именно потому, что за ними чувствовался его огромный внутренний опыт, им пережитый в течение двадцати целых лет после того, как перспективы эти впервые открылись перед ним и дали ему силу и право сказать «благоговейно» о будущей русской идее, как о синтезе «всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих националистах»,—о русской народности, в которой «все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие».

И тут нужно определенно сказать, что эта вера его в мессианистическое значение русского народа имеет под собою в виде основы не одни только религиозные его воззрения. Достоевский шире какой бы то ни было концепции; можно на основании его писаний с полным правом рисовать целую философскую систему, в которой философия истории займет исключительное место, и вне его христианской телеологии. Во всяком случае с плоскости имманентного восприятия и реалистического толкования окружающего мира он никогда не сходил. Говоря с современниками их языком, он обнаруживал в этом не только то, что он «журналист», что он приспосабливается к «идеям» века, но что он и сам в них, в этих идеях, и тоже мыслит—не случайно, а органически-необходимо—по-«современному». Как не пропадал никогда его опыт художественный, и нет возможности понять «Братьев Карамазовых» вне эволюции, нисходящей в основных своих чертах уже к «Бедным людям», так не пропадал никогда и опыт его общественно-политический. Плоскости, в которых этот опыт воспринимался и получал свое освещение и обоснование, существовали как бы одновременно, находились в чрезвычайной близости между собою, и до конца своих дней Достоевский умел становиться и становился сразу на несколь-

ко точек зрения. Орудием борьбы его с «веком» было далеко не религиозное православие, оно не было по крайней мере его главным орудием. Нам думается, это будет гораздо ближе к истине, если воздержимся от определения его философии истории, как системы теологической. Как ни велика та роль, которую играет у него христианство в процессе истории,— оно все же не более как идея в смене других идей, осмысливающих все прошлое и будущее человечества. Мы не должны податься соблазну, заключающемуся в том, что проецировать точку зрения Достоевского до конца можно, б. м., лучше всего в духе и направлении Вл. Соловьева. Как они ни близки в целом ряде пунктов,—это все таки было бы с'ужением системы мыслей Достоевского, сведением нескольких плоскостей к одной. Но что характерно для него, как нечто постоянное и неизменное — это его идеалистическое толкование истории, связанное с общим его философским миросозерцанием, столь родственным с платонизмом. Проводя принципиальную разницу между процессом космическим и процессом историческим, Достоевский, главным образом, настаивает на том, что история не есть процесс, развивающийся согласно железным законам природы: она результат свободного делания, постоянно растущее вширь и вглубь, все более и более захватывающее действо человеческое, в котором некие предвечные идеи находят свое воплощение. Впрочем, быть может, даже и это определение—«предвечные»—тоже не совсем осторожное; поскольку его внимание целиком сосредоточено на мире имманентности, правильнее, пожалуй, было бы сказать так, что мысль Достоевского занята преимущественно теми идеями, активность которых на протяжении человеческой истории достаточно ощутима и может быть уловлена в разные моменты их внутренней диалектической эволюции. Одно ясно, что для него всякая последующая историческая стадия всегда является ступенью восхождения в том отношении, что некая частная идея или сменяется более общей, или, в процессе реализации своей, идея становится для человека более ощутимой и опознанной.

Именно светом такого понимания жизни имманентной и процесса истории, понимания, пробивающегося во всем его творчестве: и художественном и публицистическом—Достоевский и пытается осветить в Пушкинской Речи прошлое и будущее мира, воспринимая это прошлое и будущее сквозь призму русской истории и русского настоящего. И здесь прежде всего приходится ставить вопрос о моменте перелома в русской истории, о Петровских реформах. С этой точки зрения: эволюции идей и их преемственности в общечеловеческих размерах, вопрос о значении и смысле реформы Петра не может казаться устарелым и должен быть вновь перерешен. Пусть для деятелей настоящего момента, для работников сегодняшнего

дня, вопрос этот потерял свою былую остроту, с которой он некогда ставился славянофилами и западниками—пути жизни русской равно отдалились как от Московской Руси, так и форм западноевропейских—но если стремиться обнять единым смыслом все прошедшее и предстоящее в судьбах всего человечества, то это пункт чрезвычайно яркий, носящий определенный характер какого-то резкого перелома и именно общечеловеческого значения. И Достоевский в первый раз приемлет эту реформу безоговорочно, и не только приемлет ее, но ее-то и считает началом нашего сознания, исключительным по своей важности моментом, когда идея, которую воплощает в своей истории русский народ, из области слепого инстинктивного ощущения переходит в область ясного сознательного делания.

И точно Достоевский самого себя судит и во всяком случае «партию» свою, когда говорит, что «нелепо было бы думать», что реформа «была для нас только усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки». Петр, быть может, первоначально и начал производить ее только в этом смысле, т.-е. в смысле ближайше утилитарном, но «впоследствии, в дальнейшем развитии своей идеи, он несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем только ближайший утилитаризм». Так окончательно снимается с него вина в самовластии, и дело его становится глубоко народным, а потому и общечеловеческим. Если до сих пор старые славянофилы и вместе с ними и он сам твердили часто, что народ «отшатнулся от его реформы», что реформа была великая историческая ошибка, нарушившая естественный ход национального развития, то здесь Достоевскому кажется, наоборот, что это был акт самый национальный, что «в реформе Петра народ несомненно ощутил своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую несравненно более высшую цель...., ощутил ее непосредственно и вполне жизненно и немедленно же принял реформу, как свою».

Народ принял европейскую культуру, как историческую необходимость, как этап на пути своей истории; но европейская культура, само собою разумеется, есть только форма промежуточная; она должна быть преодолена, принесена в жертву более высокой форме, которой предназначено воплотить в себе идею всеоб'емлющую, синтетическую по отношению к ее частным идеям. Оттого Достоевский и об'являет, что «все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое». Со стороны славянофилов было, пожалуй, нечто даже большее, чем одно недоразумение: скорее грех, и великий грех, в самой основе их концепции, непростительная слепота в прозрении грядущих судеб человечества. В своем стремлении к национальному самоутверждению, они недостаточно оценили эту

основную черту русского народа, его универсализм, исказили лицо истории, согласно узкой своей схеме. Там, где действовал глубокий и правильный инстинкт, определенное предчувствие тех великих задач, которые предстоит разрешать русскому народу, они увидели одну лишь измену. Ибо не только западники, ничтожное, как славянофилам казалось, число сторонников Петра, а «все мы»—весь народ, по крайней мере, в наиболее сознательной своей части,—«сразу, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом почти с самого первого шага различить, снимать противоречия, извинять и примирять различия».

Так подходим мы к основной теме Пушкинской Речи Достоевского, к тому «колоссальному явлению», как творчество Пушкина, на котором он, главным образом, и «обосновывает свою фантазию». Те самые черты, которые проявились в начале «реформы» как бы пассивно, в характере лишь восприятия нашего чужих идей и гениев, спустя только век, сказались уже великой активной творческой силой, знамением, действительно уже начертающим те великие цели, которые предстоит осуществить русскому народу. Творчество Пушкина, в своем органическом росте, начиная с круга как будто узкого, с «Русского Скитальца», через круг более широкий, через глубочайшее проникновение в сущность русского народного духа,—оно дало в третьей и высшей своей стадии «явление невиданное и неслыханное», обнаружило такого гения, какого еще никогда не было в мире, единственного в мировой литературе художника, обладавшего свойством перевоплощения своего духа в дух чужих народов, «перевоплощения почти совершенного, а потому и чудесного». Так ставится ясно и определенно на одинаковый уровень с Пушкиным и Петр, как проявление одной и той же сущности: Петр, как задание, и Пушкин, как ответ на это задание—оба они вскрывают основу русского духа, смысл тех путей, по которым шла история русского народа до сих пор, и оба же «способствуют новым направляющим светом освещению дороги нашей в будущем». Мы можем уже не предугадывать только,—ибо «если это фантазия, то есть этой фантазии на чем основываться»—не только на одном Пушкине, но в той же мере и степени и на Петре и на всей последующей, Петром предопределенной, истории нашей, что «стать настоящим русским, стать вполне русским.... и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите». В плоскости активного исторического делания, в уровень и в соответствие с теми «проклятыми вопросами», которые предстоит теперь разрешить миру—это и значит: «внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей, вместить в нее с

братской любовью всех наших братьев, изречь окончательно слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен великого Арийского рода» (т. 21, стр. 443—47).

Реформы Петра, «наше прошлое», «наши даровитые люди», художественный гений Пушкина—вот тот основной материал в чисто психологическом освещении, которым Достоевский обосновывает, по крайней мере здесь, в Пушкинской Речи, свою философию истории. На этой плоскости и построена и развернулась вся система его мыслей. Мы еще раз повторяем—это далеко не одна только дань времени, стремление говорить со своими современниками общим с ними языком. Это тот реалистический фундамент, который одинаково близок ему, как и фундамент религиозный.

«Я верую в Россию, я верую в ее православие....—А в Бога? В Бога?—Я... я буду веровать в Бога» (т. 12, стр. 351).—Это вера не как у православного, а в православие, в «ее православие», а что касается Бога, то «я... я буду веровать в Бога»;—если религиозный опыт в такой слабой степени, почти отсутствие этого опыта, характерно не только для Шатова, но и для самого Достоевского, по крайней мере, в известные моменты его жизни и до конца жизни, то нужно безусловно согласиться с тем, что Достоевский должен был внутренне, органически,—не только в качестве способа доказательства,—обосновывать свою веру в Россию и реалистически. И недаром тонут в Пушкинской Речи обставленные с обоих сторон мыслями, ослабляющими их до степени аллегории, эти слова его: «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя Христос». Взята цитата чужая, точно не было своих слов для выражения своей религиозной идеи, в момент Речи, очевидно, стушевавшейся. И уж совсем по земному звучит следующая фраза: «да и сам Он не в яслях-ли родился»? И снова выдвигается главное доказательство: «В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве он (Пушкин) проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание».

III.

В торжественно-патетической Речи, где тон определяется главным тезисом: «Пушкин есть пророчество и указание», а предметом пророчества являются судьбы России среди всех других племен великого Арийского рода—не могло быть места особенно спорным вопросам, возникавшим в связи с фактами и событиями современной европейской действительности, к которой современники относились с напряженным вниманием и не беспристрастно. Но мы знаем, что Достоевский разумеет

под «европейскими противоречиями» и «европейской тоской», и в чем будет заключаться это окончательное слово великой общей гармонии, которое «должен изречь» русский народ. «Великая общая гармония», «будущее хрустальное царство», «золотой дворец с мраморами и райскими птицами»—это все тотже будущий социалистический строй, которого Достоевский чает, как спасения мира, и в то же время отвергает в его современном позитивном обосновании. В неизменно широких захватах его мысли, всегда работающей крайне возбужденно, нередко в ущерб ясности,—вопрос о социальном положении европейских стран занимает исключительное место. Ведь в сущности революция, катастрофичность—доподлинная стихия его творчества, и из двух возможных исходов Достоевский всегда принимает наиболее «трагический». В художественных произведениях основной темой его является не быт, не установленный уклад, а разрушение быта: падение и срывы, состояние ущербности по меньшей мере. Точно так же, когда мысль его носится в сфере общечеловеческих проблем, то под видимой устойчивостью она ощущает подземные вулканические силы, и катастрофа общеевропейская для него не только возможна или допустима—он переживает ее совершенно реально, чувствует ее неизбежность; быть может, порою без особого сожаления, но всегда взволнованно, нетерпеливо ожидает этой катастрофы.

«Нынешний век кончится в старой Европе чем-нибудь колоссальным, т.-е. может быть чем-нибудь хотя и не буквально похожим на то, чем кончилось восемнадцатое столетие, но все-же настолько же колоссальным, стихийным и страшным и тоже с изменением лика сего» (т. 21, стр. 172).

Так твердит Достоевский неустанно в годы 60-ые и особенно упорно — 70-ые. В «Зимних заметках о летних впечатления» славянофильское «гниение Запада» конкретизировалось для него в Герценовский покой мещанства. В эту же пору, в годы 70-е, Достоевский отграничивает власть мещанства в пределах одного только класса буржуазного и знает, что «униженные и обойденные» пока от него свободны, по крайней мере, как сила разрушающая. Если воображение Герцена питалось, главным образом, эпохой падения Рима, сосредоточивалось преимущественно на внутреннем состоянии спокойного в своем неведении умирающего античного мира, на быте вырождения, если можно так выразиться,—то воображение Достоевского в такой же мере приковала к себе эпоха великой Французской революции, момент крушения быта и рождения нового мира,—кровавые и героические призраки и события у самой грани перелома.

Достоевский говорил об этой приближающейся европейской катастрофе тем более смело и уверенно, что это было настроение общее, охватившее тогда и самое Европу: тот же

близкий конец буржуазному миру предрекали с не меньшей решимостью, чем он, такие ясные умы, как основатели т. н. научного социализма: Энгельс и Маркс. Именно в пределах этого столетия, 19-го,—был уверен Достоевский,—история буржуазного мира и завершит свой полный круг. Его историко-философское обоснование этой уверенности ясно: «великая французская революция не удалась; новая формула всемирного единения оказалась недостаточной, *новая идея* не завершенной». Если история человечества есть процесс воплощения идей, стремящихся к своей реализации, наиболее полной, оформляющей как можно большее количество материи, то идея, провозглашенная французской революцией, оказалась для человечества слишком узкой; вне ее формулы очутились целых три четверти человечества «униженных и обойденных»; они-то и постараются теперь исправить эту формулу, и, конечно, теми же самыми мерами, какими человечество действовало в 1789 г., под предводительством удостоившейся ее благ, одной только избранной четверти его. Если уж тогда ясно было, что человек надеется только на свои силы и думает уж «окончательно и бесповоротно» устроиться на земле одними лишь своими средствами, то тем более в наше время, когда идеей века стал атеизм. И пусть французская революция не удалась, пусть мучительно разочарование, постигшее после нее Европу,—западное человечество еще раз попробует свои силы в таком же роде: ведь другого выхода у него нет и уже не может быть.

Но само собой разумеется, что с точки зрения конечных судеб человечества это этап переходный. Идея социального благополучия, воспринятая, как последний смысл и цель истории, есть идея ущербленная, в себе самой носящая свою гибель. И здесь-то и начинается роль будущего русского народа, поскольку он один призван осуществить в своей истории единственно истинную, наиболее полную идею, на основе совершенно иной.

Точно отдаленно отражая ход мыслей Лаврова и Михайловского, приспособляя их воззрения к своей колеблющейся, постоянно перестраивающейся концепции, Достоевский проводит здесь резкую грань между об'ективным ходом истории,—он называет ее просто историей—и суб'ективными устремлениями свободных человеческих воль, руководящихся внутренними велениями, истекающими из глубин интуиции. Между этими двумя факторами не ищет он согласованности: ясно сквозит мысль, что на долю Европы выпала *история*, на долю России—свободно творящая воля. Отмирает идея и вместе с нею соответствующие формы жизни, падая как бы в об'ятия косности, которая приобретает над ними свою власть. Это и дает ему право рисовать иногда пути исторические для западных народов, как пути непреложные, развертывающиеся

по железным законам природы. Пути же русского народа— как дальнейшую и высшую стадию внутренней эволюции вечно становящегося Духа, являющегося по отношению к имманентному миру силой всегда активной, свободно формирующей.

Но бывает иногда так, что Достоевский как бы забывает про эту антитезу свою, сосредоточивая мысль на судьбах одной только Европы, и тогда воскресают старые его идеалы в форме, близкой к той, в какой они рисовались ему в годы светлой молодости, еще до каторги; тогда грядущая социальная революция уже не кажется ему только катастрофой, только вихрем разрушающим, моментом окончательного распада органического целого; тогда борьба за социализм приобретает для него свой высший смысл, переносится из плоскости звериной в плоскость «человеческую», санкционируется как стремление к нравственной правде, как продукт той же свободной творческой воли тех исключительных, высших умов, «которые по вековечным законам природы о б р е ч е н ы н а в е ч н о е м и р о в о е б е с п о к о й с т в о, на искание новых формул идеала и нового слова, необходимых для человеческого организма». «О б р е ч е н н ы е на вечное, да еще мировое беспокойство, на искание новых формул идеала и новых слов»,— в устах Достоевского это высшая похвала,—такой характеристики удостаиваются у него его лучшие люди: Раскольников, Версилов, Иван Карамазов. Да и черты эти почти все «русские», те самые, которые составляют исключительную особенность русского духа, универсального, всечеловеческого, «всеоб'единяющего, синтетического по преимуществу».

Версилов, одержимый русской тоской, великой, особенной, не только за Россию, а за Европу—вернее, преимущественно за Европу,—не православный, пожалуй, даже не христианин, а «деист, философский деист, как вся наша тысяча»; и он представляет себе ясно тот период, для него «даже сомнений нет, что он настанет: бой уже кончился, и борьба улеглась... и великая любовь обратилась у всех людей на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. «Пусть—завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце; но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их,—и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече» (т. XV, стр. 295—6). Эта светлая всеоб'емлющая, немного только грустная всеобщая любовь,—она наступит в момент, близкий к завершению всеевропейской истории, ответит на все наши вопросы тем, что просто их снимет: они сами собою погаснут, как мысли, в нашем уме. Идея бессмертия переносится в плоскость реально-психологическую в виде ощущения любви, охватывающей всю Вселенную, все человечество, на бесконечные времена.

Но до наступления этой великой любви бой все же должен быть, борьба неминуема, и вместе с нею, «проклятия, комья грязи и свистки»,—словом, вся «сапожность» процесса, которая необходима, ибо «действительность и всегда отзывается сапогом, даже при самом ярком стремлении к идеалу». Идеал наступит потом, и он так прекрасен, что вполне оправдывает и по-своему даже осмысливает всю «сапожность» ведущих к нему путей. Будут и должны быть «комья грязи» и «проклятия»—к этому ведет весь процесс европейской истории 19 в.—ее главные вершители, буржуазия, которая должна быть отомщена за то, что исказила лик человеческий и лик истории еще в самом начале своего господства. Уже ясно определилось то, что происходит в Европе.

Как только буржуазия, окончательно восторжествовав, «об'явила, что дальше и не надо идти, и некуда идти, что для них-то «формула» уже осуществилась, так сейчас эти непокойные умы и бросились ко всем униженным и обойденным, ко всем не получившим доли в новой формуле всечелевеческого об'единения, провозглашенной французской революцией 1789 года, и провозгласили свое уже новое слово, именно, необходимость всеединения людей уже не в виду распределения равенства и прав жизни для какой-нибудь одной четверти человечества, оставляя остальных лишь сырым материалом и эксплоатируемым средством для счастья этой четверти человечества, а напротив, всеединения людей на основаниях всеобщего уже равенства, при участии всех и каждого в пользовании благами мира сего, какие бы они там ни оказались» (т. 21, стр. 178). И теперь противостоят они непримиримо резко, оба эти мира: мир отживающий, буржуазный, и мир грядущий, мир «униженных и обойденных», руководимых лучшими неспокойными умами, ищущими новых слов и идеалов. Правда на стороне последних, история за них и с ними—они последний мост к грядущему счастью, к идеалу всезахватывающей любви.

Однако, как бы ни колебалась оценка, даваемая Достоевским социальной борьбе в Европе, в зависимости от того, проносится ли в данный момент перед его воображением один только запад вне чаемой связи с великой миссией русского народа, или в связи с нею—в основе плана рисуемого будущего все же чаще всего лежит убеждение, что завершающее слово скажет именно народ Русский. Если поставить вопрос: может-ли это великое слово предупредить катастрофу Европы? предупредить не насилием, конечно, не железом и кровью, а соблазняющим примером осуществленного свободной человеческой волей идеала: той великой общей гармонией, которая будет установлена русским народом уже окончательно, «без боя и без крови, без ненависти и зла», разрешив «всеевропейский роковой вопрос о низшей братии» на самых незыблемых осно-

ваниях, на основе истинной любви и братства?—то всегда одинакового ответа на этот вопрос у Достоевского мы не находим. Но, кажется, это будет вернее, если скажем, что катастрофа европейская представляется ему все же неизбежной; роль же русского народа начнется именно после того, как «вся Европа будет залита кровью», когда обнаружится вся несостоятельность и этой последней попытки западного человечества устроиться своими средствами; тогда тоска, уже ныне испытываемая Европой, возрастет неизмеримо, она станет неимоверно мучительной по своей безысходности; тогда только запад и обратится к России за окончательным исходом этой своей неразрешимой тоски. Оттого Достоевский и останавливается так часто на последнем моменте перед решительной битвой, на тех психологических причинах, которые делают эту катастрофу неминуемой. «Старый порядок вещей»—твердит он много раз—без боя места своего не уступит. Он чувствует себя еще достаточно крепким, и способен на всякого рода соединения против нового. Но если бы даже и хотел уступить, то катастрофы все равно не миновать, «страшные дела должны быть, ибо время уступок уже прошло». «Нищие не пойдут уже ни на какие теперь соглашения, даже если бы им все отдавали: они все будут думать, что их обманывают и обсчитывают. Они хотят расправиться сами» (т. 20, стр. 100). И еще и еще раз предрекает он им полную победу. Эти миллионы слепых и несчастных людей со своим лозунгом: «прочь с места, я стану вместо тебя»—«победят несомненно». «Против того нового, грядущего, насущного и рокового, против грядущего вселенной обновления новым порядком вещей, против социального, нравственного и коренного переворота во всей западноевропейской жизни» (т. 21, стр. 169)—против всего этого, что несут с собою эти «нищие», никому не устоять: ни республике, ни католической церкви, ни всяким другим старым силам Европы. Достоевский говорит все это преимущественно о Франции. Как в 1789 году, в ней-то и начнется это «страшное потрясение и колоссальная революция, но она несомненно грозит потрясти все царства буржуазии во всем мире, грозит сковырнуть их прочь и стать на их место» (т. 21, стр. 169).

Так вырисовывается определенно и ясно, что Достоевский разумеет в Пушкинской Речи под «непримиримыми противоречиями Европы и ее «неразрешимой тоской», подводится под них глубокое реальное обоснование. Слышится ему явственно веяние черных крыльев приближающегося рока, и запад уже кажется ему кладбищем, на котором похоронены такие дорогие и близкие нам покойники. В об'яснительном слове к Речи Достоевский охотно раскрывает смысл этих слов, которые могли кое-кому показаться неясными, и тон его уже не примирительно-торжественный, а раздражительный и жестокий. Он полагает, что после минувшего всеобщего увлечения

его Речью прежние противники снова восстанут против него и будут с ним спорить и издеваться над его «фантазией». Очень характерно, что этих противников он видит не среди крайних левых, не среди социалистов-народников, а среди эпигонов западничества, среди либералов. С первыми ему в сущности не о чем спорить. Как бы они ни расходились в вопросах религиозно-нравственного порядка, в вопросах философских, в частности, философии истории,—в плоскости реальной действительности, оценки фактов и событий современной европейской жизни, у них в сущности нет никаких пунктов расхождения. Для него много значит уже одно то, что они тоже верят в «своеобразное развитие» России—«своей органической силой», тоже проповедуют, что русский народ, быть может, минет язва капитализма и вместе с ней, б. м., и ожидающая Европу революция. Когда Достоевский говорит в конце об'яснительного слова, что с передовыми представителями нашего европеизма, со всеми образованными и искренними русскими людьми, ему «уже будет почти не о чем спорить по крайней мере из основного, из главного, если даже одну половину примут они, т.-е. признают хоть самостоятельность и личность русского духа, законность его бытия и человеколюбивое, всеединяющее его стремление (т. 21, стр. 432),—то, без сомнения, о народниках, говорит он это; он как бы закрепляет,—подчеркивает его истинность,—именно то первое впечатление от «Речи», о котором с таким глубоким сочувствием отозвался Глеб Успенский. Но другое дело либералы. Эти хилые эпигоны старого, когда-то мощного по своей идейности, по существу верного, но уже давно выродившегося в болтливую «парную оппозицию», западничества. Они все еще продолжают по-рабьи лебезить перед Европой; им только и нужно, чтобы «было достроено здание», и тогда уж мы окончательно уподобимся «таким совершенным организмам, как народы Европы». Вот они-то и будут смеяться над тем, что России, невежественной к убогой, предстоит сказать самое высшее слово—да кому! Европе, которой «гражданский строй, крепость этого строя, изумительное ее богатство» являются для нас пока лишь отдаленным идеалом. Достоевский собирает все аргументы свои против них, гневно и раздражительно, саркастически—зло издевается над ними, а в конце полемики выдвигает последний и самый главный свой аргумент: они, слепые, не видят, что «в Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатства, все гражданские основания всех европейских наций»—насколько там «все подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков», а взамен наступит нечто неслыханное, новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо «в один миг исчезнет и богатство» (т. 21, стр. 427). И дальше уж совсем близко к народникам—«если уж действительно так необходимо, прежде

чем сказать новое слово европейским народам, стать самому народом богатым и развитым в гражданственном отношении», то почему же нужно непременно «рабски скопировать это европейское устройство (которое завтра же в Европе рухнет)? Неужели и тут не дадут русскому организму развиться национально, своей органической силой, а непременно обезличенно, лакейски подражая Европе»? (там же).

В одном из своих предисловий к «Письмам из Франции и Италии» Герцен бросает в близкое будущее несколько презрительных слов по адресу нарождающегося русского «мещанства»: «у нас в России, быть может, образуется слегка либеральная парная оппозиция... Мы должны пройти в нашей школе истории и через этот класс,—но рядом с другими» (соч. Герцена, изд. Павленкова, т. V, стр. 3). В годы 70-е этот класс уже образовался. Достоевский ненавидел и презирал его в не меньшей степени, чем Герцен, и в борьбе с ним охотно и с полным правом пользовался орудием идеологов «других классов»....

IV.

В Пушкинской Речи Достоевский сделал попытку подняться над своими же собственными противоречиями и вернулся, углубив ее и шире, но не по новому обосновав, к той самой идее, которую он в первый раз формулировал двадцать лет тому назад, когда выступил во «Времени» со своей «Почвой». Выше мы уже говорили, что это одна из постоянных его идей; на ней он нанизывал весь свой многосложный опыт, все свои наблюдения и думы над общественной жизнью как русской, так и западноевропейской. В течение этих двадцати лет бывали случаи, когда, казалось, идея меркла и превращалась почти в пустую, безжизненную абстракцию. Это были моменты его политических срывов; тогда частное бытовое, подчас и мелкое, выдвигалось на первый план и давало повод к сложным и тяжелым недоразумениям. В Пушкинской Речи это случайное и частное было отброшено, идея очистилась и поднялась еще на большую высоту и стала на момент «синтезом» для всех партий и направлений в русской мысли. Но тут нужно определенно сказать, что об'единяет она не всю Речь, а только вторую ее часть, посвященную антитезе: «Россия и Европа». Метод мышления и творчества Достоевского, всегда контрастами, сказался и здесь, и первая часть Речи, где выдвинута другая антитеза: «Народ и интеллигенция», несмотря на все старания Достоевского придать своей Речи характер цельности и единства, не только не связана органически со второй частью, а противостоит ей, как воплощение противоположной идеи, тоже обнаруживающейся целой и мощной струей в его художественном творчестве и в политическом мышлении. Это и есть те самые старые славя-

нофильские черты народной веры и правды, которые преимущественно и имеют в виду, когда говорят о деятельности Достоевского: стремление к самоусовершенствованию, смирение, покорность и труд. Мысль не отступает от славянофильского шаблона: интеллигенция русская потому и страдает, потому она и «скитальческая», что оторвалась от «силы народной, разучилась решать «проклятые вопросы» по «народной вере и правде». И виновата в этом все та же «великая Петровская реформа, разделившая все наше образованное общество на четырнадцать классов», пленившая его иноземными прелестями внешней культуры. Оторвавшись от народа, интеллигенция потеряла почву, гордая, одинокая скитается по ложным путям, «ударяется в социализм или в какую нибудь другую подобную веру» и нигде не находит искомого идеала и покоя. И дальше следуют знаменитые слова: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве». «Не вне тебя—не в европейских землях и с их твердым историческим строем, с их установившейся общественностью и гражданской жизнью—правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини, себя себе, овладей собою,—и узришь правду». Очевидно, что «все это славянофильство и западничество наше вовсе не есть одно только недоразумение», и Петровской реформе нет никакого оправдания, и никакое «инстинктивное стремление к целям будущим, огромным: к самому жизненному воссоединению с народами Европы, к единению общечеловеческому», Петром не руководило; во всяком случае народ реформы не принял.

Противоречие это со второй частью отнюдь не снимается таким тезисом, что большинство интеллигенции ищет целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного,—ибо мысль эта окружена здесь таким контекстом, что она может быть принята только в укор, как суровое указание на то, что интеллигенция тратит лучшие свои силы бесплодно, в блужданиях по ложным путям. А между тем во второй части Речи, если он еще на чем-нибудь, помимо творчества Пушкина, обосновывает «фантазию» свою, что «стать настоящим русским, стать вполне русским и значит только стать братом всех людей, всечеловеком»—то именно на этой черте интеллигенции, на том, что «дешевле, чем всемирное счастье, она не помирится». Целое сословие «неспокойных умов»—вся сознательная часть народа—с самой бескорыстной жаждой счастья не для себя, а для других, для всего мира.—Народ, дающий такое единственное во всем мире цветение, действительно является народом особенным, призванным сказать последнее синтезирующее слово страждущему человечеству. Достоевский перенес весь пафос, вну-

шаемый этим фактом, во вторую часть Речи, оставив в первой одни лишь порицания и суровые осуждения.

Разбирая роман Достоевского: «Бесы», идеолог революционного народничества Н. К. Михайловский обратился к нему с такими взволнованными словами: «Если бы вы, г. Достоевский, ближе познакомились с позоримым вами социализмом, то убедились бы, что он совпадает с некоторыми, по крайней мере, элементами народной правды. Мы—я говорю «мы», потому что вменяю себе в честь стоять в рядах этих Citoyen-ов,—мы поняли, что сознание общечеловеческой правды и общечеловеческих идеалов далось нам только благодаря вековым страданиям народа. Мы не виноваты в этих страданиях, не виноваты и в том, что воспитались на их счет, как не виноват яркий и ароматный цветок в том, что он поглощает лучшие соки растения. Но принимая эту роль цветка из прошедшего, мы не хотим ее в будущем... Мы пришли к мысли, что мы должники народа, и ставим эту мысль во главу угла и нашей жизни и нашей деятельности... Мысль о предпочтительности социальных реформ перед политическими—это характерная для нас мысль, и знаете ли, что она значит? Для «общечеловека», для Citoyen-а, не может быть ничего соблазнительнее свободы политической, свободы совести, слова, устного и печатного... и мы желаем этого, конечно. Но если все связанные с этой свободой права должны только играть для нас роль яркого и ароматного цветка—мы не хотим этих прав и этой свободы. Да будут они прокляты, если они не только не дадут нам расчитаться с долгами, но еще увеличат их». Это был первый голос, к нему обращенный, тех самых русских Citoyen-ов, которых Достоевский до сих пор наблюдал лишь из прекрасного далека. Вернувшись на родину, Достоевский должен был узнать их поближе и почувствовать, как много общего у него с ними, с их глубочайшими муками совести за вековой неоплатный долг перед народом, с их подвижнически суровым отказом на будущее от роли яркого и ароматного цветка. Мы остерегаемся от того, чтобы утверждать здесь причинную зависимость, но мы все же должны отметить, что и Версилов, и князь Мышкин, и Иван Карамазов—те же всечеловеки, те же русские Citoyen-ы, с теми же общечеловеческими идеалами и общечеловеческой правдой, и в дальнейшем, после «Бесов», вместо Шигалева и Верховенского появляются разве только Ракитины. Когда Достоевский произносил вторую часть своей Речи и говорил об исключительных особенностях русского духа, чарующий образ, нарисованный Михайловским, мог витать перед ним. Мы уже отметили выше—революционная молодежь почувствовала в Пушкинской Речи себе оправдание, а не укор. По воле или помимо воли Достовского стушевался смысл первой части

Речи—этого мы не знаем. Молодежь запомнила из нее только одно: «русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье», и в этом наша национальная особенность.

В творчестве Достоевского—говорили мы—в частности, в его общественно-политическом мышлении, много связано с идеологией первой части его Речи. Спор между западниками и славянофилами Достоевский воспринял не тогда, когда он был злобой дня, а гораздо позже; пережил его совершенно своеобразно и прежде всего в категории чисто психологической. В годы 70-ые он не был еще для него спором законченным, пережитым; он только осложнился в новых условиях, и в старые термины вкладывалось им иное содержание. И не трудно уловить, как западничество часто сливается у него с понятием «интеллигенция», а славянофильство — с народной массой, с крестьянством. Мы уже знаем, что черты «западнические», черты сильно развитой личности, в крайности своих проявлений неминуемо кончающей мучительным для самой себя бунтарством, непосильным для человека своеволием—такой по крайней мере знал он ее по себе,—эти черты вызывали в нем обратное стремление к смирению и покорности, к чувству «сыновства»,—к тем самым началам, какие ему хотелось видеть в народной стихии. Если в художественном творчестве это стремление вызвало к жизни такие образы, как Мармеладовы, Макар Долгорукий, князь Мышкин, Зосима и Алеша, то на почве политической оно будило в нем, вместо кротости и всепрощения, страстный гнев и ядовитую злобу: ведь оно, быть может, еще осложнялось тем ужасом, который он мог испытывать от надвигающейся на Европу катастрофы. «Это странная и святая вещь, Европа... до слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны... пугают нас мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон (т. 21, стр. 234). И противопоставить можно, ей же во спасение, только «русское христинство», в котором, «по настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ, — по крайней мере это главное (т. 20, стр. 309).

«Событием» сделала Пушкинскую Речь одна вторая ее часть. В своем стремлении к реалистическому обоснованию идеи, в ней высказываемой, Достоевский часто покидал свое Православие:—христианство и крестьянство для него синонимы, в православии противопоставляется церковности и обрядности, как самое главное, «живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации» (там же). Достоевский упорно и страстно искал в окружающей действительности тех элементов, которые могли бы дать ему опору в правоте его идеи, и мучился и боролся с нею, с этой действительностью, когда

она обнаруживала тревожные симптомы того, что и в России «гармония» может быть установлена средствами, далеко не мирными. Первая часть Речи, порожденная этой борьбой и этими муками, является той тенью, которую идея в окружающей обстановке неминуемо должна была отбрасывать. В чистом же своем виде, так, как она была высказана и обоснована в первый раз во «Времени», идея, как мы увидим ниже, непосредственно примыкает к системе мыслей Герцена, поскольку мы их знаем в «Письмах из Франции и Испании», «Письмах к Мишле», «Концах и началах» и в его книге: «С того берега». Так Достоевский окажется своеобразным продолжателем традиции, идущей от первой попытки синтезировать западничество и славянство, данной именно Герценом. От Герценизма к Пушкинской Речи—таков, если не единственный, то, по крайней мере, главный путь эволюции общественно-политических воззрений Достоевского.

V.

По мере изучения западничества и славянофильства все более и более утончаются грани между ними, и целый ряд их проблем и решений могут быть выведены за пределы тесных рамок партийности, будучи характерными для всей эпохи 40-х годов, как в истории русской мысли, так и западноевропейской.

Мы разумеем здесь проблемы социально-исторического характера и прежде всего проблему «об отношении лица к обществу и общества к лицу». Когда Герцен считает ее самой главной, самой «мучительной задачей века», то он в этом выражает не столько свой личный опыт, результат наблюдений своих над социальной и духовной жизнью западно-европейской, но и ту высоту мысли русской, на которую поднялись одновременно и реалисты западники, и романтики славянофилы.

На образном языке Герцена проблема эта гласит так: если Европа дала в своем развитии одну крайность: гордого своими нравами, независимого англичанина, которого «свобода основана на вежливой антропофагии, а славяне, Россия—другую противоположную крайность: «бедного русского мужика, безлично потерянного в обществе, бесправно отданного в крепость и в силу того служащего с'естным припасом барину», то весь вопрос теперь заключается в том, как снять эти противоречия, как примирить их в дальнейшем развитии человечества, чтобы «сохранить независимость британца без людоедства, развить личность крестьянина без утрат общинного начала»? В этой красочной формулировке не только весь Белинский, общественное миросозерцание которого, в годы сороковые, зиждится, как известно, на двух неот'емлемых для него истинах: на признании главной творческой силой

в истории данной конкретной личности со всеми ее отличительными особенности, с ее пороками и добродетелями, с ее радостями и печалями,—это с одной стороны, а с другой, на таком же безусловном признании, что «личность нуждается в обществе, как в своем пополнении», ибо «как бы гениальна она ни была, личность все-таки ограничена, и никогда не исчерпает самим собою не только всех сфер жизни, но даже и одной какой-нибудь ее стороны».—С такой постановкой вопроса о «главной задаче века» соглашался и Хомяков, и Киреевский и другие ранние славянофилы, поскольку и для них идеал жизни—та же гармония двух начал: личного и общественного, та же «британская независимость без людоедства и развитая личность крестьянина без утраты общинного начала». Так, Хомяков определенно признает этот грех за русской историей, что «права личности были не только оставлены в ней без внимания, но и совершенно принесены в жертву общему строительству». «Совершена—говорит Хомяков—первая половина труда, и «пора обратиться ко второй, без которой вся прежняя работа, оставаясь чисто односторонней, потеряла бы всякое жизненное значение» (т. I, стр. 604-605—«По поводу малороссийских проповедей»). В системе воззрений славянофилов началу личности, очевидно, отведено соответствующее место, и в связи с этим отношение к западно-европейской культуре и к последней полосе в русской истории—Петровскому периоду—совсем уже не такое отрицательное, как принято думать. В той самой статье, в которой дается философски-религиозное обоснование славянофильству, И. Киреевский прямо заявляет, что все эти «споры о превосходстве Запада или России принадлежат к числу самых бесплодных, самых пустых споров», что мы уже не можем забыть раз приобретенной западной образованности, тем более, что «прошедшие формы нашей образованности были все таки частные преходящие формы и следовательно больше невозвратимы». (Обозрение современного состояния словесности — книжка Москвитянина за 1845 г.). А. Хомяков еще конкретнее, еще смелее делает свои выводы из признанного им начала личности: «требование мысли, восстающей против стеснительного деспотизма, обычаев и стихий местных, он считает в сущности правым». Оно «нашло своего представителя Петра Великого, давшего ему полный перевес и быструю победу». И «как бы строго ни судила его будущая история» за то, что «торжество» победы оказалось слишком «резким, она все же признает, что направление, которого он был представителем, не было совершенно неправо» («По поводу Гумбольдта» т. I, стр. 144-45).

Славянофилы делают эти выводы свои из признанного ими начала личности осторожно, порою робко. Западник

Белинский идет на уступки с противоположной стороны гораздо смелее и решительнее. И прежде всего о самобытности русского народа и о дальнейших путях его развития. «Что личность — говорит Белинский — в отношении к идее человека, то народность в отношении к человечеству. Другими словами: народности суть личности человечества. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели остаться на стороне гуманических космополитов» («Русская литература за 1846 год»). И дальше уже определенно заявляет, что он вполне согласен с отрицательной стороной их учения, с тем, что «они говорят против русского европеизма», и, подобно им, Белинский тоже требует, чтобы мы опознали свою эпоху, перестали наконец «казаться» и начали «быть». Реформы Петра, конечно, не случайность: они были исторически необходимы так же, как и другие крупные явления в прошлой нашей жизни, но это полоса уже пройденная. «Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования, реформа сделала для нас все, что могла и должна была сделать. И теперь настало для России время развиваться самобытно, из самой себя». И что всего характернее, что самобытное развитие это в будущем приобретает и для Белинского некий оттенок, пусть и отделенный, того же славянофильского мессианизма: «Русская многосторонность, с какой русский человек понимает чуждые ему национальности»—думает Белинский—действительно «служит, может быть, залогом того, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание» (Там же).

Вот эти общие пункты, сближавшие, несмотря на всю коренную разницу в основе их мировоззрений, западников и славянофилов, в частности Белинского с Хомяковым и Киреевским, и легли в основу общественных взглядов Герцена и— как увидим дальше—Достоевского-«почвенника». Здесь в сущности речь не об уступках, а тем более об отказе от каких либо основных начал миросозерцания. Расхождение было и оставалось у них весьма глубокое: исследователи совершенно правы, когда указывают на два полярно противоположных типа мышления на основе столь же полярных мироощущений: реалистическое у западников и романтико-идеалистическое у славянофилов. Но расходясь далеко у корней, они ветвями своими в целом ряде вопросов тесно сплетались между собою, как люди одной и той же эпохи, в плоскости, по крайней мере, общественных вопросов, ставившей перед ними одни и те же задачи: с одной стороны, подведения итогов периоду заканчивающемуся—Петровскому, а с другой—выяснения путей предстоящего будущего, накануне явно уже ощутимых решительных и новых шагов истории. Досуга же для таких размышлений было достаточно много в Николаевский

период. Этих корней мы сейчас касаться не можем; итти в глубь их миросозерцаний—за пределами нашей задачи. Здесь интересует нас только то общее, что у них есть, и в плоскости одной лишь социальной. Герцен, равно как и Достоевский, подведут под эти общие пункты иные основания: будет каждая крупная индивидуальность, строя свое миросозерцание, по своему и по новому организовывать материал своих личных и общественных переживаний и дум. Но не может быть случайным, что целый ряд в высокой степени принципиальных проблем как раз общественного характера ставится ими всеми одинаково и более или менее одинаково решается.

Славянофилы, как известно, сопоставляли Россию с Европой преимущественно с точки зрения теологической, в плоскости чистых абстракций религиозно-нравственного характера. Когда же в их уединенные и медлительно серьезные размышления над явлениями далекого прошлого, обвеянного чарами фантазии, врывались хотя и отдаленные голоса новой жизни, то они от этих голосов отнюдь не отворачивались и проблемы века тоже ставили и решали на уровне современности.

Западники, в противоположность им, были—психологически, конечно—слишком пленены текущим, и материалы для своих построений и в еще большей степени критерии для своих ценностей и оценок они брали из Европы, преимущественно в ее Status quo, будучи крайне недовольны хулителями ее из лагеря дружеского (разумею отношение Грановского, Боткина, Анненкова и других к «письмам из Франции и Италии» Герцена), тем более из стана враждебного. Но самые глубокие и дальновидные из них поднимали завесу, искусственно отграничивающую момент настоящий от породившего его прошлого и порождаемого им будущего, и тогда слова их звучали той же верой и гордостью, когда говорили о будущих судьбах России, и осуждением, порою и гневом—по отношению к слишком «резкому торжеству» начала, легшего в основу Петровских реформ. Таков, как мы видели был Белинский. Таков был в еще большей степени—Герцен. Ведь ему-то и досталась третья позиция—будущее, и тот основной вопрос его, социальный, который он одинаково решал для России и для Европы, противопоставляя их, главным образом, с точки зрения реальных возможностей, имеющихся у каждой из них для его разрешения. По мироощущению романтик, «всегда и везде, как говорит о нем Достоевский, поэт по преимуществу, политический деятель—поэт, социалист—поэт, философ в высшей степени поэт» (1 т., соч. Дост., изд. 1883 г., стр. 289—290); романтик с умом обостренно аналитическим, и с чрезвычайно зорким взглядом, обращенным на мир внешний, в постоянной борьбе с самим собою разлагающий свои собственные мечтания, обнажая всю

их «иллюзорность», но с тем, чтобы сейчас же, на месте отвергнутых, воздвигнуть новые мечты и иллюзии, ибо романтическая природа его непобедима — Герцен своеобразно претворил в своих воззрениях элементы обоих направлений, совлекая с реальной действительности ее временную и грубую оболочку при свете — тоже чарующих — романтических далей, но не прошлого, а будущего, и в то же время пропитывая отвлеченные этические категории славянофилов определенно реальным содержанием.

Славянофилы, с точки зрения своей религиозно-романтической философии истории, говорили, что «запад гниет», разваливается европейская культура, в основе своей рационалистическая. Белинский перенес эту мысль в плоскость морально-общественных явлений. Он тоже признает, что состояние современной Европы ужасно в нравственном отношении. Она больна,—это правда, но болезнь ее не смертельна: это только «усилия отрешиться от общественных оснований средних веков и заменить их основаниями на разуме и натуре человека основанными» («О Русских Ночах» кн. Одоевского) Герцен мыслит здесь так же, как Белинский, ставит вопрос в той же плоскости, но прогноз его, как известно, гораздо менее утешительный, и вера в Европу и благополучный исход ее болезни, после пережитого им в 48 году в Париже в июльские дни, исчезает почти бесповоротно. Вот здесь-то и начинает ощущаться его крутой поворот от западничества в сторону синтеза между ним и славянофильством, и антитеза: «Россия и Европа» приобретает глубокое и в первый раз уже реальное обоснование.

«Европа приближается к страшному катаклизму»—таково первое положение Герцена в «Письме к Мишле». Все то великое, что совершалось на западе в течение христианской эры, революции религиозные и революции политические, оказались безрезультатными. «Парламентаризм, протестантизм» — эти последние слова европейской мысли и общественности — только «временные отсрочки, временное спасенье, бессильные оплоты против смерти и возрождения. Если «основной вопрос века» есть осуществление гармонии обоих начал: личного и общего, то Европе, своими силами с этим вопросом не справиться; ее ждет борьба решительная, битва, которая должна завершиться либо разрушительной катастрофой, либо переходом к новому, коммунистическому строю. И именно потому для Европы так страшно это «необозримое будущее, куда увлекает ее необоримая сила», что до сих пор вся ее культура зиждилась на одном только начале, начале личности; путь к чаемой гармонии «идет, может быть, через развалины отцовского дома, через обломки минувших цивилизаций», оказавшихся слишком односторонними,—порождением одного только этого начала.

Так видвигается Герценом антитеза: «Россия и Европа», в которой славянофильская община хотя и играет очень важную роль, но далеко не исключительную. Когда он говорит, что мир славянский во главе с русским народом идет на смену старой одряхлевшей Европе, подобно тому, как некогда народы нынешней Европы шли на ту же смену старому разваливавшемуся римскому миру, то вера его в эту великую историческую миссию России зиждится не только на ней, на общине, на особенностях — пусть примитивного, но все же в основе своей коммунистического строя русского деревенского хозяйственного быта, но в очень значительной мере и на анализе прошлого русского народа и в еще большей мере на особенностях его психологии. Вот здесь-то и сказывается ярче всего его действительная близость к славянофильству, то, что роднит его с ними, не только общие мысли, но и общая настроенность, поскольку эти особенности воспринимаются им преимущественно в категории этико-психологической и в этой же категории и обосновываются. Мало сказать, что наше прошлое отличается особой тихостию, что там, «на западе было длинное и богатое развитие дворянства и горожан; там было рыцарство с его высоким понятием независимой личности и среднее состояние с его непреклонной идеей права, было искусство и литература, наука и промышленность, наконец, реформация и революция. Русский же народ ничего этого не имел, ничего подобного не переживал; со времени Владимира и Киевского периода ничего не приобрел»;—для Герцена не только в этой тихости и бедности нашей истории главное различие с Европой; оно, прошлое наше, отличается в самой основе своей, которая так ярко проявляется в нашей незаметной, скромной общине, т.-е. «владении сообща землею, равенстве всех без исключения членов общины, в братском разделе полей по числу работников и собственном мирском управлении своими делами» (т. V, изд. Павленкова, стр. 297).

Так мир славянский складывался и рос на основе противоположного начала, начала общего—и вот то скудное «приданое», с которым он выступает на арену истории. Здесь, конечно, тоже нет гармонии: проблема та же, что пред Европой, поставленная только с другого конца; у нас человек умеет подчиняться требованиям общего; у него нет эгоизма западноевропейской личности, но, вместе с тем, нет и самой личности. Здесь Герцен подходит вплотную к оценке Петровских реформ и вместе не только со славянофилами, но, как мы знаем уже, и с Белинским, тоже признает слишком «резким» «их торжество». Но как характерно, что судит он Петра именно как славянофил, уделяя свое главное внимание отрицательным сторонам его реформ. Петровский переворот был необходим,—говорит он вместе с западниками и старыми славянофилами; в нем была своя правда, поскольку он породил у нас личность, приобщив

ее к западно-европейской культуре; но этот же переворот виноват в том, что с начала 18 века «распалось единство жизни русской», что с тех пор «две России стали враждебно друг против друга: Россия Петербургская, дворянская, образованная и Русь черного народа, бедная, хлебопашеская, общинная, демократическая». Главная антитеза: Россия и Европа имеет т. о. свое дополнение на русской почве—тоже в антитезе: «народ и интеллигенция». В меньшем размере, на почве русской, решаются вопросы те же мировые. Если выдвигается лозунг: «образованная Россия должна возвратиться к народу», дабы мыслями, идеями, усвоенными на Западе, оплодотворить те прекрасные начала, коотрые имеются пока в русском народе лишь в зародыше,—то это нужно не только для России, но и для всего человечества. «Человек будущего в России мужик, а интеллигенция, прошедшая через западную цивилизацию, не более как средство, как закваска», как «посредники между русским народом и революционной Европой» (т. V, стр. 275).

Насколько Герцен здесь во власти своих психо-этических верований больше, чем мыслей, видно ярче всего из дальнейшего: распределяются роли исторические на ближайшие времена между народом и интеллигенцией: народ—носитель инстинктивной, стихийной правды; образованная Россия—светоч, ее освещающий; ее роль—проводить, эту правду, в сознании. И не только это одно выпало на ее долю; если идеал—гармония обоих начал, то ее самая великая обязанность создать эти условия, при которых и возможно только развитие личности—лишить помещиков и чиновников их власти, снять крепостное право. И Герцен верит в образованное дворянство, что оно не откажется от своей роли; подсказываемой ему исотрией; мотив и здесь берется славянофильский: «у нас нет потомства родителей, завоевавших нас» (т. V, стр. 287), и отстаивать свои права на мужика образованное дворянство не будет. «Закоснелые же помещики и московские бояры—сила мнимая», и не им задержать поступательный ход истории. Когда же Герцен переходит к другим доказательствам нашего преимущества перед Европой, дающим нам право верить, что русскому народу предстоит миссия всечеловеческого об'единения, разрешения самого больного вопроса—социального, словом, водворения истинной гармонии на земле; то мы снова возвращаемся в русло тех общих пунктов, которые одинаково разделялись обоими партиями. Герцен пытается раскрыть и опять же психологически обосновать ту самую русскую многосторонность, о какой говорит и Белинский. Как у Достоевского в его Пушкинской Речи, она сказывается в особой широте понимания, в той любви и беспристрастии, с которым образованная Россия относится к идеям, выработанным другими народами, не различая ни племени, ни наций. «В Европе, говорит

Герцен, народы размежевались между собою китайскими стенами. Англия и Франция едва имеют понятие об умственном движении Германии. Париж и Лондон..., отделенные только в несколько часов езды, связанные между собою беспрерывной торговлей, дальше друг от друга, нежели Лондон и Нью-Йорк. Англичанин смотрит на француза с дикой ненавистью и с видом тупого превосходства; француз отвечает ему таким же презрением» (т. V, стр. 318—19). Русский же с удивительной легкостью, с удивительной терпимостью «усваивает себе языки, обычаи, искусства и технику других народов; обживается равно у Ледовитого океана и на берегах Черного моря—он всех и все одинаково об'емлет в своей многосторонней душе, и в то же время совершенно свободен от национальной узости;—он знает свои недостатки, умеет в них сознаваться и мучительно работает над собою, над своим самоусовершенствованием. Герцен усматривает все эти черты в русской литературе—эту необыкновенную, неизвестную ни одному из народов запада, свободу духа, искренность и честность прежде всего по отношению к себе; едва ставши на ноги, она уже проявляет те особенности, которые отличают ее от всех других литератур: «трагическое освобождение совести, безжалостное отрицание, горькую иронию, мучительное углубление в самого себя» (т. V, стр. 279). Таков Пушкин, это изумительное «колоссальное явление, которым Россия через сто лет ответила на царский приказ образоваться; таков и Лермонтов, и Гоголь, и все, пошедшие вслед за ними по их же путям».

«После крестьянского коммунизма—прибавляет Герцен—ничто так глубоко не характеризует Россию, ничто не предвещает ей столь великой будущности, как литературное движение» (т. V, стр. 277—78).

VI.

Когда мы сравниваем взгляды Герцена, только что изложенные, со взглядами Достоевского той поры, которую разумеют под «почвенничеством» (годы 60—63), еще раз полностью отразившимися в его Пушкинской Речи, то сходство получается поразительное. Мы пока еще не выдвигаем гипотезы о непосредственном влиянии: ведь мысли Герцена вращались здесь преимущественно в сфере идей, общих обоим направлениям, и если Достоевский заявляет, что он не западник и не славянофил: «к их домашним раздорам... совершенно равнодушен» (см. об'явление в конце 1860 года о журнале «Время»; Страхов: «Биография, письма...», стр. 180), то, отражая в этих словах настроение эпохи начала 60-х годов, он мог самостоятельно подняться, без чьего бы то ни было влияния, до тех же общих пунктов и в то же время занять свою собственную позицию в общественной мысли того времени. Но тогда тем ценнее это совпадение во взглядах Герцена и Достоевского:

оно свидетельствовало бы о коренном сходстве между ними и, быть может, не только по вопросам общественно-исторического характера, но дальше и глубже,—в основных началах их мировоззрений.

И прежде всего эта черта Достоевского, уже отмеченная нами в Пушкинской Речи: как бы страстно заинтересованно ни относился он к данности, к фактам текущей жизни,—эта данность раскрывается перед нами преимущественно в своих последствиях; в феномене, в частном, он точно ощущает пересечение множества линий, идущих в даль равно далекого прошлого и будущего. То, что Герцену грезилось в идеале, как необходимейшее условие для того, чтобы русский народ оказался способным выполнить возложенную на него историей мировую задачу—слияние образованности с народом, то в эту пору, в конце 1860 г., стало почти фактом, Достоевский так и воспринимает этот момент, как «слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни» (Страхов, стр. 178).

Мы настаиваем, что здесь у Достоевского нет еще и тени его будущей многоплавности, свою идею он пытается обосновать исключительно реалистически. Словом, в эту пору Достоевский целиком находится в плоскости «главной задачи века», и все события прошлого, настоящего и будущего он оценивает исключительно по Герценовски. «К домашним спорам западников и славянофилов мы совершенно равнодушны»—заявляет он с полным правом. Ибо если Герцен—синтез между ними, то в такой же мере является синтезом и его «почвенничество». Славянофильских элементов всесмирения и покорности он еще пока не знает за русской историей; не на православии, не на русском Христе обосновывает он здесь будущую роль русского народа по отношению к Европе, а на тех же самых фактах и явлениях, что и Герцен. В оценке прошлого России он идет в его же направлении до конца, в известном смысле даже дальше Герцена. Для него ясно, что ту самую идею гармонии обоих начал: личного и общего, которая одна осмысливает реформы Петра, народ пытался осуществить своими силами и тем самым обнаружил всю свою готовность к разрешению главной задачи, стоящей ныне перед Европой, перед «революционной Европой». «Сто семьдесят лет тому назад — говорит Достоевский — произошел разрыв между представителями образованности, пошедшими вслед за Петром и народом, с самого начала отказавшимся от его реформы. Народ называл царя иностранцем». Но, разойдясь с реформой, «народ не пал духом и неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее с чрезвычайными судорожными усилиями, потому, что был один, и ему было трудно». Легко догадаться, что разумеет Достоевский под этими

чрезвычайными «судорожными усилиями». Это прежде всего отнюдь не стремление назад», к «старым до-петровским формам жизни», и не те религиозные течения, которые образованные классы презрительно называют «тупым старообрядчеством»,—не называя их по имени, Достоевский дважды определяет признаки этих «усилий» иносказательно. «Невозможно было, говорит дальше Достоевский, более отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли, как это делал наш народ при выходе на эти новые дороги...» И через несколько строк еще раз: «конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев, на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая...» Это то же стремление к осуществлению начала личности, до сих пор приносившегося в жертву интересам государственным,—крестьянские восстания, те огромные «вооруженные полчища бунтовщиков, которые,—по словам Герцена,—отдали Россию, от Урала до Пензы и Казани, под власть Пугачева на целых три месяца». Герцен, дважды говорит об этом, правда, мимоходом, в таком же противопоставлении образованному сословию, получившему иные способы для проявления своей личности, в формах, более культурных и менее опасных для государства. Так получается ясно, что народ, крестьянство—в эту пору оба эти понятия у Достоевского вполне тождественны, и это тоже очень характерно для Герцена—чутьем и инстинктом стремится к тем же новым формам жизни, к той же всеобщей гармонии, которой чает и западное человечество; народу недоставало только сознания, которое имеется у образованных классов; приобщившись к европейской культуре, они развернули свой кругозор, осмыслили будущее значение России в «великой семье всех народов»; по выражению Герцена, вполне подготовились к тому, чтобы исполнять роли «посредников между русским народом и революционной Европой», чреватой последней идеей своей о социальной гармонии.

Путь Европы катастрофический; путь России—путь мирного осуществления этой гармонии,—так, видели мы, верил Герцен, и обосновывал он эту веру свою на том, что у нас нет «победителей». Достоевский тоже смотрит на «приобщение народных масс к элементам текущей жизни» лишь как на начало «огромного переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве», и по той же причине, что в основание его должна «лечь не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, ибо мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных». Так прокладывается дальше тот же герценовский синтез между национальным и общечеловеческим: «Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего вре-

мени, дошла, наконец, до последних своих пределов. Дальше нельзя итти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена». Последовавшие за Петром, посредники между Россией и Европой, убедились, наконец, «что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача—создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал». Но в том то и суть, что собственная, родная, новая форма наша не только не есть отрицание этих общечеловеческих идеалов, а конкретное их утверждение, единственный реальный способ их осуществления. Иными словами, но еще с большим пафосом, чем Герцен, высказывает Достоевский его же заветную мысль, в завершение системы своих и общественно-политических воззрений этой поры: «Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что может быть все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности» (Страхов, стр. 178—180).

Герцен основывал эту же грезу свою, помимо крестьянского коммунизма, еще на том, что русский человек «усваивает себе с удивительной легкостью языки, обычаи, искусства и технику других народов», а также—на движении нашей литературы, которая, едва ставши на ноги, уже проявляет «трагическое освобождение совести, безжалостное отрицание, горькую иронию, мучительное углубление в самого себя». Достоевский это доказательство принимает целиком: «мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых...» «И... недаром заявили мы в нашей литературе такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев»—«способность отрешиться на время от почвы, чтобы трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности» (там же, стр. 180). Так перед нами совпадение с Герценом в основных положениях, в обосновании этих положений—в самой сущности интимной их веры, одинаково гармонизирующей факты из прошлого и настоящего России и Европы, чтобы приобрести видимость убедительности и для других.

Что это так, что позиция «почвенничества» опирается целиком на мировоззрение Герцена, что самим Достоевским она воспринималась, как совершенно чуждая славянофильству,—видно особенно ярко из его полемической статьи, направленной против газеты «День», редактора ее И. Аксакова и заодно уже и против славянофильства вообще. («Последние литературные явления» соч. Дост., изд. Просвещ., т. 19, стр. 138—150).

Страстный спор ведется с ними за литературу, именно за ту великую силу, проявленную ею в самоосуждении, в беспощадном анализе своих недостатков. Славянофильский орган не приемлет всей новейшей русской литературы: она не национальна, в ней нет любви и уважения к прошлому; она западническая, во имя «западных» идеалов обличительная,—словом, продукт последней нездоровой полосы нашей истории Петровского периода. Для Достоевского такое отношение не только неправильно, но и кощунственно. «Страстно отрицательная, с неслыханной ни в какой еще литературе силою смеха и добровольного самоосуждения,—благородная и с энтузиазмом шедшая прямо к тому, что считала доблестным и честным,—эта литература, восклицает Достоевский, по мнению славянофилов, равнодушна к скорбям народным»; только и делает она, что занимается «порицанием нашей народности, не в силу негодующей пылкой любви, но в силу внутреннего нечестия, инстинктивно враждебного всякой святыне чести и долга!». Как смеют они так говорить о русской литературе! Что за узость, что за слепота! Какое отсутствие чутья и жизни! Достоевский весь на стороне «западников», весь с теми, «за которыми до сих пор шло русское общество»,—«которые восторженно поддерживали эту литературу», вместе с нею открыто и смело смотрели правде в лицо, стремились к идеалу не смутному, неопределенному, как славянофилы, а прямому и ясному, общему со всей Европой, со всеми культурными народами. Но кто же эти западники? Конечно, это не Кавелин и не Грановский и даже не Белинский, который не успел дойти в своем повороте от западничества 40-х годов до конца. От них он ведет только свое происхождение, но считает он себя среди тех и с теми, которые «перешли свою черту, совестливо отказались от своих ошибок и об'явили себя реалистами». Это—говорит Достоевский—«партия движения», признавшая необходимость поворота к почве, соединения с народным началом не для того, чтобы отгородиться китайской стеной от всего мира,—прежней жизнью, прежним развитием своим убедилась она, что «дело не в проклятии, а в примирении и соединении, что реформа, отжившая свой век, все-таки внесла и к нам великий элемент общечеловечности, заставила нас осмыслить его и поставила его в нашем будущем, как главное назначение наше, как закон природы нашей, как главнейшую цель всех стремлений русской силы и русского духа» (т. 19, стр. 143).

Достоевский называет этих новых людей, вышедших из западничества, пришедших на смену его, реалистами, причисляя к ним и себя. Но это, конечно, не позиция «Современника»—Чернышевского и Добролюбова, с которыми у него свои счеты по целому ряду вопросов: основная идея его об общечеловеческой, всепримиряющей и всеоб'емлющей роли

русского народа в грядущих судьбах человечества была для них во всяком случае неприемлема (см. резкую полемику Чернышевского с Герценом: «Антропологический принцип в философии». Соврем. 1860 г., № II и 5; «О причинах падения Рима». Соврем. 1861 г., № 5; изложение 4 книги «Политич. Экономии Милля. Соврем. 1861 г., № 8). Это, конечно, Герцен, и только он. Это все черты его мировоззрения, которое Достоевский в эту пору целиком разделяет, считает его до конца своим.

VII.

Если бы в концепции: «Россия и Запад» Достоевского оказалась развитой только одна сторона—положение и роль в будущем России, а отношение его к Европе ограничивалось бы только теми общими местами, которые мы выше приводили, то, несмотря на все сходство его воззрений в эту пору с воззрениями Герцена, у нас — говорили мы выше — все же не было бы права утверждать категорически о непосредственном влиянии Герцена на Достоевского; об'яснение столь близкому сходству искали бы, как это делает Страхов, в состоянии самой эпохи, когда «предполагалось, что литература делает некоторое общее дело, перед которым должны отступать на задний план разногласия во мнениях», и Чернышевский похваливал славянофилов, а славянофилы относились терпимо к Чернышевскому (впрочем, ко времени выступления Достоевского этот всеобщий мир уже приходил к концу). Молодому поколению не до споров было в начале 60-х годов, и общие пункты у западников и славянофилов, которые, при ослабленной борьбе между ними, поддерживались, с одной стороны, выходцами из молодой редакции «Москвитянина», а с другой—вольным станком, на котором печатался Герценовский «Колокол»,—они должны были стать общеприемлемыми, хотя бы на время стушевать те грани, что их разделяли. И пусть системы Достоевского и Герцена чересчур уж близки: близость, как мы видели, не ограничивается одной основой, но захватывает и некоторые детали, и способы доказательств, и сами доказательства;—привычка мыслить их столь различными нашла бы и для этого свое об'яснение. Но к этой поре относятся еще и «Зимние заметки» Достоевского «о летних впечатлениях»; они-то окончательно убеждают нас в том, что тут было именно влияние со стороны Герцена, и влияние столь глубокое, которое бывает лишь в тех случаях, когда мировоззрение одного воспринимается другим не частично, не с одной какой-нибудь стороны второстепенной, а в сути своей, в силу какого-то внутреннего глубокого родства.

«Зимние заметки о летних впечатлениях»—замечает мимоходом Страхов, имевший, повидимому, перед собою упро-

щенный образ Достоевского на основании его писаний последнего периода — «отзываются несколько влиянием Герцена, к которому Достоевский вообще тогда относился очень мягко» (т. I, изд. 1883 г. «Биография»... стр. 240).

Достоевский получил эти впечатления летом 1862 года, когда ему, «сорока лет отроду», удалось, наконец, вырваться за-границу, чтобы увидеть «страну святых чудес». Он «был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и все это, все это об'ехал ровно в два с половиною месяца!» Маршрут был составлен заранее в Петербурге: «хотелось все видеть, везде побывать, чтобы «из всего виденного составилось что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама»; чтобы страна святых чудес «представилась разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы, в перспективе» (т. 4, изд. Просв. стр. 403—4).

В «Заметках», писавшихся зимою (напечатаны в февральской книжке «Времени» за 1863 г.), «земля обетованная, страна святых чудес» уместилась в одном Париже, а «общая панорама» представилась в виде французского буржуа, этого последнего продукта западной цивилизации, ее последнего слова и фирмы. Достоевский очень торопился—в жажде своей «не только как можно более осмотреть, но даже все осмотреть, непременно все, несмотря на срок». Но в Лондоне задержался довольно долго—дней на восемь—и часто видался с Герценом.

Герцен писал тогда свои «Концы и начала», в памяти воскрешая впечатления, полученные пятнадцать лет тому назад от Франции, Парижа, от отверделых форм буржуазного строя, от воцарения Наполеона III, банкротства демократии, от последней и, как он был уверен, окончательной победы над миром торгаша с его добродетелью прилавка. «Концы и начала»—завершение системы; «Письма из Франции и Италии»—ее фундамент и кирпичи. В «Концах и началах» картина дана чертами широкими, обобщающими, в виде определенных и твердых положений; в «Письмах из Франции и Италии»—первые взволнованные наброски к этой картине, яркое и непосредственное отражение процесса ее создания, самой организации и роста тех переживаний его из настоящего и прошлого, которые полярно откладывались по «двум родинам» и постепенно строили в душе его это окончательное убеждение, что Россия и Европа по существу несоизмеримы. Можно было перечитать еще, если не в России, то там, за-границей, «Письма к Мишле и к Дильтону», книгу «С того берега», целый ряд номеров из «Колокола» и «Полярной Звезды»—словом, все те произведения, в которых варьируется все тот же основной тезис Герцена, что мещанство—это по-

следняя форма европейской цивилизации, «основанной на безусловном самодержавии собственности»,—идеал, к которому «Европа подымается со всех точек дна»; вслед за «авангардом образованного мира, уже пришедшего к нему», тянется и крестьянин, самый худший из собственников, и «мир безземельный, мир городского преобладания»—пролетариат.

«Зимние заметки» отзываются влиянием Герцена далеко не «несколько». Они целиком проникнуты им—его мыслями, его восприятиями, его способами доказательств. Позиция Герцена, ставшая позицией его «почвенничества», в ту пору была для Достоевского, в эволюции его воззрений, этапом крайне необходимым, до конца органичным; на кратковременном опыте, но конкретно, проверил Достоевский Герценовские взгляды на Европу и держался их, по крайней мере, до конца 60-х годов. Потом, как мы знаем, он несколько сузил их: «униженные и обойденные», Герценовские кандидаты «в самодержавную толпу сплоченной посредственности, терпеливо и смиренно ждущие своей очереди», в годах 70-х были восприняты Достоевским в виде далеко не покорном и смиренном. Но отношение к буржуа осталось такое же на всю жизнь, и последующие наблюдения над Европой группировались вокруг этого отношения, как вокруг остова.

Герцен высказывает какое-нибудь общее положение, набросает двумя-тремя чертами сцену, обмолвится намеком о какой-нибудь черте характера или быта—Достоевский повторяет это же положение, эскиз развивает в целую картину с обычными для него подчеркиваниями и неустанными повторениями, благодря которым какая-нибудь мелкая незначительная деталь выростает в крупную характеризующую подробность в стиле злой породии, доходящей до каррикатурности.

Совпадение «Писем из Франции и Италии» с «Зимними заметками» начинается почти с первых строк, определяет собою не только мысли, но и сюжет и композицию первых глав «Заметок». Сюжет первого «письма из Франции»—легкий путевой очерк о Германии на основании впечатлений, «схваченных налету», и мысли о покинутой родине в аспекте основного пункта спора между западниками и славянофилами—значения для нас Петровских реформ; причем вторая часть развита ярче и сильнее. Первые три главы «Заметок» развивают тот же сюжет с тем же преобладанием второй его части. Скудость описательнго элемента и замена его элементом повествовательным и рассуждениями, мотивируется у них обоих в самом начале совершенно одинаково.

У *Герцена:* «Не стану описывать виденного мною... Я слишком учтивый человек, чтобы не знать, что Европу все знают, всякий образованный человек состоит в подозрении знания Европы... да и что сказать о предмете битом и пере-

битом—о Европе?» (т. V, изд. Павленкова, стр. 6). Достоевский перефразировал это так: «Что расскажу нового, еще не известного, не рассказанного?». Кому из всех нас русских Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из у ч т и в о с т и, а, наверное, в десять раз». За первой мотивировкой у *Герцена* следует сейчас же вторая: «Европу уже трудно и почти невозможно видеть, а скоро, когда окончат Кенигсбергскую дорогу, она совсем изгладится из памяти людской; сел в вагон, машина свиснула и пошла постукивать: Берлин—4 минуты для наливки воды, Кельн—3 минуты, Брюссель—пять минут, Вельансьен—4 минуты.....» (т. V, стр. 7). У *Достоевского:* «я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене..., в Кельне, в Париже, в Лондоне (перечислены 14 городов) и все это, все это я об'ехал ровно в два с половиною месяца» (т. 4, изд. Просв., стр. 403—4). У Герцена после этих двух мотивировок идет легкая, изящная, полная каламбурами, болтовня о германской скуке, о дряблости немецкого фибрина, о Кельнском Соборе, о немецких правах, добродетельно скучных—и все это на фоне шутливого описания могущественного влияния немецкой кухни. По свидетельству Страхова, Достоевский неоднократно жаловался, что ему не удается легкая пародия; тяжеловесно, зло говорит он о том же, что и Герцен: о той же скуке и вялости немецкой жизни, о том же Соборе, о заносчивости немцев и т. п., но недаром заменяет Герценовскую «об'ективную» причину—немецкую кухню—«суб'ективной», болезнью печени и «белым языком», который об'ясняет ему все: почему ему не понравились ни Берлин, ни дрезденские женщины, ни даже знаменитый Кельнский Собор.

Отделавшись скорее от первой части, Герцен переходит ко второй, где говорится о чувстве благоговения русского образованного человека к Европе, о реформах Петра, об их необходимости; причем центральной является мысль, что, в сущности, русский всегда оставался русским: «Русь Петровскую скорее могли бы обвинить в нашем «себе на уме», которое готово обриться, переодеться, но выдержать себя и в этой перемене» (т. V, стр. 13). Достоевский развивает эти же мысли в двух главах, но не в порядке последовательности, а контрастно, одну другою перебивает. Внимания он уделяет им гораздо больше, чем Герцен, иллюстрирует их бытом и фактами не только из прошлого, но и настоящего.

«Привенчанные к Европе Петром I... мы усвоили ее вопросы, ее скорби, ее страдания вместе с ее нажитым опытом и с ее нажитой мудростью—воспоминания Европы, ее былое, сделались нашим былым и нашим прошедшим. — Эти легкие наброски Герценовских мыслей выражены у Достоевского страстно и взволнованно: «ведь

все, решительно почти все, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, все, все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес». И ставя вопрос: «как еще не переродились мы окончательно в европейцев?», отвечает: «мы не переродились даже при таких неотразимых влияниях—и это факт». Герцен видел наше «себе на уме» в Екатерининских вельможах: «оттого, что они приобрели все изящество, всю утонченность версальских форм (до чего никогда не могли дойти немецкие гранды), они не переставали быть по-своему русскими барами, со всею удалью национального характера, с его недостатками и с его разметистостью». Достоевский полнее раскрывает это «себе на уме», рисует целые картины того, как это «изящество и утонченность версальских форм уживались «рядом со всею удалью национального характера». «Напяливали шелковые чулки, парики, привешивали шпаженки—вот и европеец! И не только не мешало все это, но даже нравилось. На деле же все оставалось попрежнему: так же... расправлялись с своей дворней, так же патриархально обходились с семейством, так же драли на конюшне мелкопоместного соседа, если сгрубит, так же подличали перед высшим лицом... Одним словом, все эти господа были народ простой, кряжевой; до корней не доискивались, брали, драли, крали, спины гнули, и с умилением и мирно и жирно проживали свой век в добросовестном ребяческом разврате». И дальше прибавляет: «мне даже сдается, что все эти деды были вовсе не так и наивны... даже, может, и пребольшие подчас были плуты и «себе на уме» в отношении ко всем тогдашним европейским влияниям сверху» (т. IV, изд. Просв., стр. 423—4). Дальше тема углубляется на анализе произведения «одного из этих французских кафтанов»—«Бригадира» Фонвизина, слова которого: «Рассудка француз не имеет да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье» служат Достоевскому рефреном ко всем его рассуждениям о нашем «себе на уме», а также и к характеристике французского буржуа.

Тема второго письма Герцена целиком легла в основу второй части «Заметок» и ярче всего отразилась в последней главе о французском театре: «Брибри и Мабиш». Предпоследние же главы: «Опыт о буржуа» и «Продолжение предыдущего»—распространенная трактовка целого ряда мыслей Герцена, «рассеянных по другим «Письмам» и произведениям его.

Герцен.	Достоевский.
«Буржуазия эгоистически труслива и может подняться до геройства, только защищая собственность, рост, барыш» (стр. 46, т. V).	Буржуа не хочет ничего вспомнить и руками машет, когда ему напомнят о чем-нибудь, что было в старину.

«Улыбка пренебрежения не новость в истории; за нею скрывается не только глупая самонадеянность и ограниченность, но и страх, нечистая совесть, собственная несостоятельность и даже признание силы в том, над чем смеемся (стр. 47).

Вместе с браком француженка среднего состояния лишается всей атмосферы, окружающей женщину любовью, улыбкой, вниманием. Муж свозит ее в дребезжащей ситадине на тощей кляче в Père Lachaise или, пользуясь дешевизной, от'едет по железной дороге станцию, свозит в Версаль, когда «бьют фонтаны». За эту жизнь современную буржуазию прославили семейно - счастливой, нравственной.

Буржуа выдумал себе нравственность, основанную на арифметике, на силе денег, на любви к порядку (стр. 22).

Буржуа плачут в театре, тронутые собственной добродетелью, тронутые конторским героизмом и поэзией прилавка (стр. 21).

У него тотчас же на уме и в глазах и на языке тревога, когда другие чего-нибудь осмелятся пожелать в его присутствии.

...Он смотрит и чуть не говорит: Вот поторгую сегодня маленько в лавочке, да Бог даст завтра опять поторгую, может и после завтра, если будет великая милость Господня...

...Все блестит добродетелями. Так надо, чтобы все блестело добродотелями. Если посмотреть на большой двор в Пале-Рояле вечером, до одиннадцати часов ночи, то придется непременно пролить слезу умиления. Бесчисленные мужья прогуливаются со своими бесчисленными эпузами под руку... фонтанчик шумит и однообразным плеском струй напоминает вам о чем-то покойном, тихом, всегдашнем (458).

Потребность добродетели в Париже неугасима. Теперь француз серьезен, солиден...

Накопить фортуну и иметь как можно больше вещей, это обратилось в самый главный кодекс нравственности, в катехизис парижанина...

Парижанин себя в грош не ставит, если чувствует, что у него карманы пусты... Бедный Сократ есть только глупый и вредный фразер и уважается только разве в театре, потому что буржуа все еще любит уважать добродетель на театре...

Буржуа страстно любит неиз'яснимое благородство. Гю-

Скриб, певец буржуазии, даже вора умел поднять за то, что он разбогатевши дает кусок хлеба сыну того, которого ограбил. Казалось бы, воровство — страшнейшее из всех преступлений в глазах буржуазии, но... вор уже негоциант, умение нажиться и хорошо вести свой дом смывает все пятна (т. V, стр 23).

Идеал хозяина - лавочника носится светлым образом перед глазами поденщика; только делаясь собственником, хозяином, буржуа, отирает он пот и без ужаса смотрит на детей... Немецкий крестьянин—мещанин хлебопашества, работник всех стран — будущий мещанин (356—7).

— Что же делала демократическая партия, что делали социалисты... Нельзя сказать, чтобы демократия показала себя ловкой или искусной; она умеет только мужественно драться, геройски умирать и гордо выносить тюрьму и галеры. Три раза могла демократия победить монархич. республику и три раза упустила из рук победу» (с. 127).

Мысли Герцена о мещанине, как о последнем типе европейского человека. Они общеизвестны. Герцен повторяет их множество раз— и «В концах и началах», и в «Письмах», и «С того берега».

став должен сиять только одним благородством (461).

Воровать гадко, подло, за это на галеры; буржуа многое готов простить, но не простит воровства, хотя бы вы или дети ваши умирали с голоду. Но если вы украдете из добродетели, о, вам тогда совершенно все прощается. Вы стало быть хотите faire fortune и накопить много вещей, т.-е. исполнить долг природы и человечества.

Буржуа до сих пор как будто чего-то трусит. Кого же бояться? Работников? Да ведь работники тоже все в душе собственники: весь идеал их в том, чтобы быть собственниками и накопить как можно больше вещей... Земледельцев? Да ведь французские земледельцы архисобственники... Коммунистов? Социалистов наконец? Но ведь этот народ сильно в свое время профершпилился, и буржуа в душе глубоко его презирает; презирает, а между тем все-таки боится (463).

Прежде, при Луи-Филиппе, буржуа вовсе не так конфузился и боялся, а ведь он и тогда царил. Да, он тогда еще боролся, предчувствовал, что ему есть враги, и последний раз разделался с ними на июньских баррикадах ружьем

«У обоих Фигаро общее собственно одно лакейство... Из под черного фрака Фигаро нового проглядывает ливрея и, что хуже всего, он не может сбросить ее, как его предшественник, она приросла к нему так, что ее нельзя снять без кожи (стр. 21).

У французов среднего состояния... какое то образованное невежество, вид образования при совершенном отсутствии его; этот вид обманывает сначала, но вскоре начинаешь разглядывать невероятную узкость понятий; их ум так неприхотлив и так скоро удовлетворяем, что французу достаточно десятка два мыслей, сентенции Вольтера и т. п., чтобы довольствоваться ими и спокойно учредить нравственный быть свой лет на сорок (стр. 106).

Видимый Париж представлял край нравственного растления, душевной устали, пустоты, мелкости; в обществе царило совершенное безучастие ко всему выходящему из маленького круга пошлых ежедневных вопросов (стр. 106).

и штыком. Но бой кончился, и вдруг буржуа увидел, что он один на земле, что лучше его и нет ничего, что он идеал... спокойно и величаво позировать всему свету в виде последней красоты и всевозможных совершенств человеческих (469—70).

Лакейство в'едается в натуру буржуа, все более и более считается добродетелью. Так и должно быть при теперешнем порядке вещей (470).

Буржуа очень не глуп, но у него ум какой-то коротенький, как будто отрывками. У него ужасно много запасено готовых понятий... (475).

И какое ко всему равнодушие, какие мимолетные, пустые интересы! Точно все как будто боятся и заговорить о чем-нибудь необыденном, о чем-нибудь не так мелочном, о каких-нибудь всеобщих интересах, ну, там, о каких бы то ни было общественных интересах.

У французов страсть к полиции и к власти.. Каждый француз в душе полицейский комиссар; все независимое, индивидуальное его бесит, он равенство понимает только нивелировкой и покоряется произволу полиции, лишь бы только другие покорились.

Западный мир доразвился до каких-то границ... и в последний час у него не достает духу ни перейти их, ни довольствоваться приобретенным. Тягость современного состояния основана на том, что на сию минуту деятельное меньшинство не чувствует себя в силах ни создать формы быта, соответствующего новой мысли..., ни откровенно принять выработавшееся по дороге мещанское государство за такую соответственную форму жизни германороманских народов, как соответственны китайские формы Китаю.

Мучительное состояние, колебание и нерешительность

Париж—это самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре. Что за порядок! Какое благоразумие, какие определенные и прочно установившиеся отношения! как все обеспечено и разлиновано! как все довольны и совершенно счастливы, и как все наконец до того достарались, что и действительно уверили себя, что довольны и совершенно счастливы, и... остановились на этом. Далее и дороги нет... (444).

Какой порядок, какое, так сказать, затишье порядка... И какая регламентация... Не столько внешняя регламентация, а колоссальная, внутренняя, духовная, из души происшедшая. Париж суживается, как-то охотно, с любовью умаляется, с умилением ежится (445).

...отчаянное стремление с отчаяния остановиться на status quo, вырвать с мясом у себя все желания и надежды, проклясть свое будущее, в которое не хватает веры, может быть, у самих предводителей прогресса, — все это замечается сознательно только в душе передовых, сознающих, да бессознательно инстинктивно в жизненных отправлениях всей массы» (446).

делают жизнь Европы невыносимой. Успокоится ли она... или беспокойный дух западных вершин и низов смоет новые плотины—я не знаю; но во всяком случае считаю современное состояние каким-то временем истомы и агонии» (стр. 385).

То, что Герцен сказал в общих чертах о французском театре, Достоевский раскрывает в последней главе: «Брибри и Мобиш». Здесь и дана злейшая пародия на буржуазную французскую литературу средины прошлого века, типичнейшим представителем которой и был знаменитый Скриб. Буржуазная добродетель, нравственность, основанная на барыше, на приобретении вещей—на всем том, что мещанин разумеет под словами: «делать фортуну»—обрисована при помощи карикатурного изображения схемы развития господствующих сюжетов во французской литературе.

Мы отметили влияние Герцена по существу, со стороны основной проникающей мысли, на всем произведении: «Зимние заметки о летних впечатлениях». Построение в общих чертах дано было тоже Герценом. Достоевский вводит несколько картин из жизни буржуазной Европы, жутких и величавых, как, напр., «Ваал». Есть мысли, которые подчеркиваются гораздо резче и сильнее, чем у Герцена. В одном месте сама антитеза: «Россия и Европа» в плоскости основной проблемы века—социального вопроса—трактуется так, что уже чувствуются некоторые намеки на будущую эволюцию его воззрений, в частности—на роль христианства, как начала нравственного, при решении этой «проблемы века». Но тем выпуклее выступает тот первоисточник, откуда исходит как все его «почвенничество», так и отношение к Европе—и не только буржуазной, но и к европейскому коммунизму, который и Герценом воспринимался преимущественно как сила разрушающая, грозящая европейской цивилизации новым варварством. В Герценовской концепции, по которой России предстоит миссия всечеловеческая—разрешения для всего мира гармонии обоих начал: личного и общего, элемент иррациональный, элемент веры, об'емлющий и освещающий факты исторические и национально-психологические, только констатируется. От обоснования метафизического, тем более религиозного, Герцен отказывается. Во всяком случае связь этого элемента с православным христианством очерчена Герценом очень слабо—лишь несколькими намеками, в двух-трех местах. Достоевский попытается потом подвести под эту «миссию» свой фундамент, преимущественно религиозно-нравственный, и в этом и будет заключаться его расхождение с Герценом, ко-

торый в сущности до конца остается ему наиболее близким из всех его современников.

VIII.

Нашу тему о воздействии Герцена на Достоевского мы развивали до сих пор в плоскости преимущественно общественно-политических их воззрений. Глубин их философского мировоззрения мы вынуждены были коснуться лишь слегка. С нашей точки зрения Герценизм был для Достоевского больше чем материалом. Нам кажется, что это была уДостоевского определенная позиция, с которой он никогда не сходил. Многопланность, умение, и не только умение, а органическая необходимость разсматривать вещи одновременно в разных плоскостях,—вот что для него характерно. Мы уверены, что Достоевский далеко не исчерпывается одним христианством, что это было бы величайшей узостью видеть в его воззрениях только православие: мистическое или этическое, безразлично. Но если-б даже это было так—сближение с Герценом не теряет своего значения. Развитие идей в том ведь и заключается, что идея переносится в новую плоскость и по иному освещается. Считая проблему: Герцен и Достоевский во всем ее об'еме чрезвычайно сложной, долженствующей стать темой для целой книги, мы здесь, в заключении, наметим одну из вех, ведущих в глубь если не философского мировоззрения, то по крайней мере их мироощущения,—того чувства жизни, на основе которого и выростает органически всякая цельная система идей.

Как воспринимал Достоевский Герцена, как определенный образ? Герцена, как писателя-художника, как философа, вне его общественно-политической деятельности?

О Герцене-художнике Достоевский упоминает в первый раз в письме к брату от 1 января 1846 года: «Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. Первый печатался. Их ужасно хвалят». Этот отзыв следует поставить в связь с печатавшимся тогда в «Отеч. Записках» самым крупным художественным произведением Герцена: «Кто виноват». Достоевский мог знать о второй части романа до выхода ее в свет; в то время он уже был с «Отеч. Записками» связан довольно тесно. Не подлежит сомнению, что с тех пор Достоевский следит уже напряженно за творчеством Герцена, знакомится с философскими и литературно-критическими его статьями, прежде им написанными. Мы знаем его отношение к «Письмам об изучении природы», на которые он смотрел, как «на лучшую философию не только в России,—в Европе». «Суб'екты доктора Крупова» упоминаются Достоев-

ским мимоходом даже без имени автора: настолько он считает их общеизвестными. Имя Герцена мелькает в целом ряде его произведений («Подросток», «Бесы»), в переписке; ему дана обстоятельная, хотя и едкая характеристика в параллели с Белинским. Отношение Достоевского к книге: «С того берега», которую «в разговоре с покойным Герценом очень хвалил», выясняется подробнее из рассказа, правда, очень коротенького, об одном свидании Герцена с Белинским (т. 19, стр. 156).

Если эти отдельные намеки и краткие замечания свидетельствуют о том, что Герцен был предметом его частых дум, то в письме к Страхову от 24 марта 1870 года Достоевский обобщает свои думы о нем в цельную точку зрения, которая действительно могла бы быть весьма важной «в определении и постановке главной сущности всей деятельности Герцена». Страхов писал тогда свою прекрасную статью: «Литературная деятельность Герцена», которая вошла позднее в его книгу: «Борьба с Западом». Страхов положил в основу своей работы мысль о том, что «Герцен—пессимист». Он доказывает ее на анализе его художественных произведений и книги «С того берега». Достоевский считает этот пункт чрезвычайно удачным и прибавляет с какой-то наивностью, в которой едва ли не заключается известная доля лукавства, быть может, даже затаенной насмешки: «но признаете ли вы действительно сомнения его неразрешимыми?» Мысль обрывается: своей точки зрения, разрешимы они или нет, Достоевский не высказывает, но ясно ощущается, что в том, что он сейчас скажет про Герцена, есть нечто вроде ответа. Герцен представляется ему «поэтом по преимуществу». «Поэт берет в нем верх везде и во всем, во всей его деятельности. Агитатор — поэт, политический деятель — поэт, философ — в высшей степени поэт. Это свойство его натуры,—усугубляет Достоевский свою мысль,—мне кажется, много об'яснить может в его деятельности: даже его легкомыслие и склонность к каламбуру в высочайших вопросах нравственных и философских» (Собр. соч. изд. 1883 г., т. 1, стр. 290). Эта «склонность к каламбуру в высочайших вопросах нравственных и философских» для Достоевского должна была быть невыносима. Герцен шутит там, где раскрывается величайшая трагедия немощности человеческого духа. Одно только об'яснение: для Герцена все—«поэзия», предмет любования, спорта.

Страхов в своей статье очень много говорит о Герцене, как об общественном деятеле. Мы знаем, как он, вольно или невольно, использывает Герцена в своих «партийных» целях: Герцен—западник совсем особого рода, в свое время натворивший своим друзьям гораздо больше зла, чем их враги; глубоко окунувшись в европейскую культуру, Герцен полно-

стью постиг, насколько чужда она духу русского народа, и искренно и страстно стал проводить идеи, если не славянофильские, то по крайней мере «почвенные». От такого освещения общественной деятельности Герцена Достоевский, конечно, в восторге. Ведь это период «Бесов»; в этот момент увлеченный яростной борьбой с «западниками времени Грановского», он не прочь, чтобы Страхов в свою очередь побил их Герценом. Так говорит он со славянофилом Страховым тоном отчужденности о Герцене, точно никогда и не был проводником его идей, его взглядов: и на будущее России, и на реформы Петра, и на Европу, точно «Зимние заметки»—продукт случайного увлечения, мимолетно схваченных и немедленно же без всякой внутренней борьбы брошенных мыслей. Но не в этом суть. Как бы то ни было, в ту минуту Достоевскому определенно казалось, он был убежден, что победу над своим прошлым, не только далеким, до-каторжным, но и более близким—над Герценом в плоскости общественных вопросов—он одержал окончательную. Другое дело—философские взгляды Герцена, его пессимизм, настойчивый, последовательный, глубоко спрятанный под маской как будто веселого «имманентного суб'ективизма». Герцен каламбурит в «высочайших вопросах нравственных и философских». Герцен—«поэт по преимуществу». Он «святотатствует» там, где душа Достоевского, в величайшем своем напряжении, слишком печальна и серьезна. Но ведь от этого правда, если она там есть в его «каламбурах», ничуть не уменьшается. А что если Герцен делает хорошую мину в плохой игре, бодрым своим имманентизмом издевается не только над другими, но и над собою, — пророчески, над своим же положением всеми оставленного, старого, мало кем понимаемого и чтимого борца и мыслителя конца 60-х годов? Во всяком случае, как бы ни «поэтизировал» Герцен—вопросы, которые он ставит, беспощадность, с какой он разбивает все наши иллюзии, все наши «ценности»—религиозные и позитивные, в частности, его издевательства над молохом-прогрессом, «который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: morituri te Salutant, только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле»—эти то вопросы, это-то глубочайшее отрицание идеи прогресса, вскрытие всей его бессмыслицы для человека, вопрощающего за себя, за свою потубленную жизнь, были слишком близки и родственны Достоевскому, и тут от Герцена он не мог отрекаться, не мог от него отойти, даже в этот период «Бесов».

Герцен ставит и решает эти неразрешимые вопросы свои острее всего в книге «С того берега», написанной в форме

диалога между автором и очень умным оппонентом. Оппонент, трагически философствующий, вопрошает; Герцен, «суб'ективно имманентствующий», отвечает, пестрой диалектикой своей опаляя его крылья, жестоко, беспощадно загоняя его мысль из далеких миров прошлого и будущего в тесные рамки жизни данного поколения.

«Согласитесь,—сказал Достоевский Герцену во время свидания с ним в Лондоне летом 1862 года, всего за несколько месяцев до «Записок из подполья»,—согласитесь, что он, ваш оппонент, вас во многих случаях ставит к стене». Герцену нужно было утвердиться в той мысли, что «смысл жизни—это сама жизнь», и ни в каком оправдании она не нуждается, и ложно и вредно само стремление к нему, к оправданию, если человек, вот эта данная конкретная личность, хочет жить и творить, пользоваться всей полностью настоящего мгновения, не оглядываясь на прошлое и не сворачивая шею в устремлении к будущему. Гибнут цивилизации, проходят чередою народы по арене исторической; приходят сроки, и с ними—другие народы на смену уходящим; а огромное большинство грезит в полусне, не зная, кому и для чего оно служит переходным мостом. Оппонент вопрошает, мучается, возмущается этой «скучной сказкой, рассказанной дураком»,—«Реей, беспрерывно рождающей в страшных страданиях детей, которыми закусывает Сатурн». Оппонент спрашивает, «стоит ли детям родиться для того, чтобы отец их с'ел, да и вообще стоит ли игра свеч?» А Герцен в ответ «каламбурит», смеется над человеком, над его скверной привычкой «к сохранению всего, что ему нравится: родился—так хочет жить во всю вечность; влюбился—так хочет любить и быть любимым во всю жизнь, как в первую минуту признания». «Ведь история—вещает Герцен,—та же природа: такая неподвижная стоячесть противна духу жизни. Она ищет беспрерывного движения, повсюдных перемен, постоянного обновления... И каждый исторический миг полон, замкнут по-своему... И каждый период нов, свеж, исполнен своих надежд, сам в себе носит свое благо и свою скорбь; настоящее принадлежит ему».

Оппонент не унимается. Здесь пропасть, куда все проваливается, все наши ценности: и истина, и правда, и красота, и муки, и веления совести; и уже реет над пропастью жалкое и страшное «все позволено» Раскольникова и Смердякова: «Если будущее не наше, тогда вся наша цивилизация ложь; мечта пятнадцатилетней девочки, над которой она сама смеется в двадцать пять лет; наши труды вздор, наши усилия смешны, наши упования похожи на ожидания дунайского мужика». А Герцен в сущности ничего и не может ответить на этот роковой вопрос; не уповайте, не мечтайте, не мучьтесь—это ли ответ! И снова твердит свою мысль, что

«каждый миг полон, сам себя оправдывает, в себе самом заключает свой единственный смысл, всю полноту его».

Герцен сделал своим оппонентом человека очень умного и тем усилил торжество своей победы над ним. Оппонент не знал еще посвящения Герцена (в той же книге: «С того берега», пятнадцатилетнему сыну Александру), в котором имеются такие грустные строки: «современный человек, печальный pontifex maximus, ставит только мост—иной, неизвестный, будущий пройдет по нем». Или строки, написанные языком человека «старого берега»: «Религия грядущего общественного пересоздания—одна религия, которую я завещаю тебе. Она основана на собственном сознании», на «совести». Знал бы оппонент те и другие строки, он мог бы ловить автора на слове. Но как бы то ни было, победа была одержана Герценом не Бог весть какая славная: противник ведь целиком находился в его власти, и он мог делать с ним, что хотел. Так представился Достоевскому еще один случай заступиться за «обиженного», за «обойденного», невинно пострадавшего от воли «насильника». Все его художественные произведения: от «Записок из подполья» до «Братьев Карамазовых»—неустанная борьба с герценовской «веселой» философией, огромные усилия творческого духа, вместо оппонента, «не сдаваться», еще и еще раз «ставить Герцена к стене»,—показывая, что ворота для выхода во всяком случае не там, где Герцен колотился об стену. О, да, конечно, каждый мит-то, полон, но какая страшная многоликость в нем, в этом миге!. Герцен мог или хотел воспринять лик смеющийся «имманентного суб'ективизма». Достоевский воспринял лик его плачущий. И первый ответный образ его был—человек, проживший сорок лет в подполье. Человек копался в своей душе, мучился, сознавая свое и чужое ничтожество, болел нравственно и физически, куда-то стремился, что-то делал и не заметил, как жизнь прошла глупо, гадко, нудно, без единого яркого момента, без единой капли радости. Отчаяние, беспредельная злоба—вот что осталось ему в результате от жизни. И он выносит на свет эту злобу свою, швыряет в лицо людям свои издевательства: все—ложь, тупой самообман, глупая игра в бирюльки глупых, ничтожных людей, в слепоте своей о чем-то хлопочущих, чему то поклоняющихся, каким-то глупым, выдуманным фетишам, не выдерижающим какой бы то ни было критики. Вот он, подход, тот же герценовский, то же отрицание всех иллюзий наших, всех «идолов нелепых, принадлежащих иному времени и бессмысленно доживающих свой век между нами, мешая одним, пугая других». Подпольный человек тоже дошел до истины, в которой тоже своего рода «отвага, знания»: «мне чтобы чай был, и миру погибнуть, я скажу: мне чтобы чай был, и мир пусть погибнет».

Герцену удалось на развалинах всех иллюзий, на культе данного мгновения, «в себе самом носящего свое оправдание», создать «религию общественного пересоздания». А «подпольный джентльмен с неблаговидной физиономией—мы знаем—уже поджидает его: «а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие,—все это порождение «Религии грядущего общественного пересоздания»,—с одного разу, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к чорту, и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить?»... Таких ли выводов хотел Герцен от свободы, которую он приносит в дар своему пятнадцатилетнему мальчику в книге «С того берега»?

Так происходит первая битва Достоевского—за «оппонента»—с Герценом, в его же плоскости и его же оружием.

Это первая, открытая уже, битва, начало которой мы имеем в тех же «Зимних Заметках о летних впечатлениях», где для вящего торжества буржуазии доказывается Герценовскими доводами вся несостоятельность, неосуществимость этой, Герценом же завещаемой, «Религии грядущего общественного пересоздания».

«...Кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещают кормить, поить его, работу ему доставить, и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему—все кажется сдуру, что это острог, и что самому по себе лучше, потому—вольная воля (т. IV, стр. 469-69)—так сравнительно спокойно говорит Достоевский в «Зимних Заметках», жало которых обращено ведь против буржуазии.

А подпольный человек уже издевательски хохочет над всеми этими «позитивными» стремлениями к братству на основании разумных исчислений «польз» и «выгод».

«... И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хотения? Человеку надо—одного только: самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела... Человек всегда и везде, кто бы он ни был, любит действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода» (т. V, стр. 40).

«Записки из подполья», задуманные и б. м. даже начатые в одно время с «Зимними заметками,—пролегомены ко всему художественному творчеству Достоевского после-каторжного периода. В дальнейшем он только углубляет свои первые «под-

польные» мысли, свой первый отклик «Герцену-поэту». Из всех воззрений «века», в философском смысле, герценовский имманентизм был для него самым страшным, потому что был самым близким, самым родственным воззрением. Перепетии борьбы с ним, на расстоянии всего художественного творчества Достоевского—такова одна из главных задач книги о Герцене и Достоевском.

А. Долинин.

Л. К. ИЛЬИНСКИЙ.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ и Гл. Ив. УСПЕНСКИЙ.

Ф. М. Достоевский и Гл. Ив. Успенский.

I.

В самый разгар споров о народе, увлечения народом, когда литература была полна им, слышались и упреки, что слишком много народом занимаются,—выступает Ф. М. Достоевский в Дневнике писателя с воспоминаниями о «Старых людях» (Полн. собр. сочин. т. X, ст. 1883 г., стр. 5—10). «Старые люди»,—люди его поколения, 40-х г.г.,—оцениваются им в их взглядах на народ. Оценка дана уничтожающая и Белинскому и Герцену. «К русскому народу,—пишет Достоевский,—они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Но они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ,—каким должен быть, по их понятиям, русский народ». Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года» (стр. 5). На этой почве «Герцен должен был стать социалистом» (стр. 6). Но с точки зрения Достоевского он был «прежде всего gentilhomme russe et citoyen du monde». Психологически этот процесс для Достоевского был понятен. Он—результат отдаления от народа и потери веры в Бога (стр. 5, 7).

В 73 году для Достоевского оказались чужими люди, которых в свое время он так уважал и от которых воспринимал идеи. Статья, как известно, вызвала отповедь со стороны современных народников в лице Н. К. Михайловского (Соч. т. I, 1896 г., стр. 840—872). Отповедь Михайловского, где он и себя причисляет к рядам этих citoyen'ов, вскрывала, что современные народники вели свою генеалогию именно от тех, от кого теперь открещивался Достоевский. Для них Достоевский ушел в другой лагерь, стал чужим, как чужды стали Достоевскому «Старые люди».

Противоречие интересно тем более, что противники стремились к одному—к народу, шли от народа. Интересы народа

для них были дороги в одинаковой степени. За кем же устанавливалась привеллегия на истинное понимание народа и его нужд? Кто истинно понял народ, и кто подходил к нему, как «маловерная дама»? (Братья Карамазовы, т. I, кн. 2, гл. IV). Старец Зосима говорит: «Любовь деятельная сравнительно с мечтательною есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут, действительно, доходят до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а поскорей совершилось, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная—это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука». Кто же мечтатель, и кто деятельный?—На решении этого вопроса, в сущности, и зиждится противоречие Достоевского и его оппонентов. А оппонентов, как известно, у него было много. Вся среда, окружавшая Михайловского, как носителя определенной идеологии,—относилась к нему с нескрываемым недоброжелательством. И здесь дело, конечно, не в «Гражданине», не в политическом лагере и проч. внешних признаках, а гораздо глубже и существеннее. По признанию Гл. Успенского, «нет никакого сомнения, что страна, которая вся держится главным образом земледелием, должна вся сплошь, сверху донизу, носить печать главнейших типических черт, налагаемых главнейшим сословием на других. В России народные мужицкие черты должны быть первенствующими» (Собр. сочин. изд. Фукса, т. VII, стр. 129). По существу, это то же самое, о чем говорит и Достоевский в «Дневнике» за 1877 год в очерке «Прежние земледельцы будущие дипломаты» (т. XII, стр. 156 и дал.), ибо «кто в стране владеют землей, те и хозяева той страны, во всех отношениях» (стр. 157). Вопрос весь—в этих «хозяевах земли». Хозяева были загадкой, сфинксом. Одно только ясно—разрешать эту загадку, как ее разрешали люди 40-х г.г., теперь нельзя. Их решение, их идеализация не удовлетворяла не только Достоевского, но и народников в такой же мере. Гл. Успенский писал: «Об... тайне народной силы, о каком-то золоте, таящемся в «недрах», о «независимости народного миросозерцания и силы духа мы..., слышим на каждом шагу, но, к несчастью, решительно не видим мало-мальски определенных очертаний этой народной тайны» (Власть земли. XI. Школа и строгость, т. VIII, стр. 105). Правда, Успенский не отозвался так резко о своих предшественниках, как Достоевский, но Герценом и он не удовлетворен. Для него ясно, что «30-35 лет тому назад даже человек такого огромного знания, таланта и дарования мог только чувствовать эту народную тайну, но мог и не касаться ее пальцем, просто потому, что для этого необходим был мелкий, утомительный опыт, необходима была черная работа в самой глубине, у самых корней этой народной тайны» (ilid,

стр. 106). Другими словами, предшественники народа не знали.

И постановка вопроса и оценка предшественников одинакова и у Достоевского и у одного из ярких народников. Но пропасть между ними была—и пропасть большая. Внешне она выразилась, как я уже сказал, в непримиримой полемике с Достоевским Михайловского, в отрицательном отношении народников к произведениям его. Достоевского не любили. Это было общее настроение, а не отношение отдельных лиц. Не любил его В. Г. Короленко. Не любил и Гл. Успенский. На последнем я и остановлюсь, в связи с теми взаимоотношениями,—конечно, идейными,—какие сложились у Достоевского с представителями других идеологий того времени, в частности, с народническим движением. Отношение к Достоевскому современников, их оценка, чрезвычайно важны для понимания его произведений. Она вскрывает ту атмосферу, в которой писателю приходилось работать, она вскрывает психологию писателя, подчеркивающего отдельные свои мысли под влиянием психологических условий работы. Она дает ключ для понимания напряженности мысли, выяснения температуры писательского настроения.

Гл. Успенский и Достоевский—наиболее яркие представители идеологии того времени. Успенского я ставлю рядом не в смысле создателя теории: она была создана другими—Лавровым, Михайловским,—а в смысле пропагандиста этой теории в художественных образах. И Достоевский и Успенский были публицисты-художники.

Я не буду касаться здесь художественной стороны произведений Достоевского, оценки его Успенским, как художника. Достоевский-художник был для Успенского неоспорим. В рассказах «Волей-неволей» он отмечал широкую подавляющую деятельность «таких огромных сил, как Тургенев, Достоевский, Толстой, Гончаров,—подаривших русское общество... самыми крупными, самыми замечательными своими работами» (Соч., т. VII, стр. 202). В. М. Михеев сохранил нам и другой отзыв Успенского о Достоевском-художнике. Стоя пред портретами Тургенева и Достоевского, Успенский сказал: «вот—двое: изящный поклонник красоты и сам в созданиях своих чистое воплощение ее, и рядом с ним—безумный, страстный проповедник суровой, аскетической морали. И у того, и у другого есть своя доля и гордости и отчуждения. Для нас, людей иного воспитания, кротких и покорных, какими нас создали все условия, та и другая стороны: чистая, отвлеченная красота и проповедь безусловного отречения от текущих злоб дня, в которых чувствуется инстинктивная наклонность покорять себе людей, соединенная с недоступною для нас уверенностью в своей силе, в своей правоте,—для нас та и другая черты прямо не восприемлемы: они чужды совсем натуре нашей, и мы от них

чураемся: мы для этого и слишком уже совестливы и слишком робки. Таковы их натуры, таковыми создали их условия жизни. Достоевского я прямо боюсь: боюсь его глаз, измученных и мучительных...» (Цитирую по статье Ч. Ветринского. Гл. Успенский в его переписке. Голос Минувшего. 1915 г. Март, стр. 219). В этом сказался весь Г. Успенский—с его боязнью измученности и мучительности, с признанием разницы литературного и общественного воспитания,— и с отрицанием общности интересов, сознанием чуждости основы взглядов. Для нас важна именно та разница, которую Успенский чувствовал между собою и Достоевским. Она резко выступает, когда Гл. Успенскому пришлось вплотную подойти к Достоевскому по поводу речи последнего на празднике Пушкина.

На этом эпизоде я и остановлюсь.

Речь Достоевского—его «символ веры». В ней (Дневн. Пис. 1880 г., гл. 3, IV) он высказал идею, которой служил, все, чем жил и волновался. Чуткость души, биение его нерв особенно сказались сильно в речи о Пушкине. Эта сторона речи и была основой того восторга, с каким речь была встречена. «Не заслугами своими произвела она это впечатление,—писал Достоевский,—(я напираю на этом), не талантливостью изложения (соглашаюсь в этом со всеми моими противниками и не хвалюсь), а искренностью ее...» (Дневн. Писателя, за 1880 г. т. XII, стр. 413).

В первой своей заметке о празднике, передавая содержание речи Достоевского, Успенский прибавляет: «Может быть, мы не так и не то рассказали, но почувствовалось, произвело сильное впечатление именно то самое, что у нас изображено... всеобщее внимание было поражено и поглощено стройно выраженной мыслью о врожденной русскому человеку скорби о чужом горе» (Пушкин. Праздник. Соч., т. IX, стр. 261). Чувствуя всю глубину чувства, вложенного Достоевским в речь, Успенский и сам в своих заметках подошел к затронутым вопросам и к самой речи со всей силой своего личного чувства, внося в заметки большую долю нервного напряжения. Эти условия его заметкам придали характер того же «символа веры», каким была и речь Достоевского. Публицист-художник Успенский на самом основном столкнулся с художником-публицистом Достоевским.

И полемика приобретает особый характер, наиболее полно выражающий разницу подхода двух миропониманий к коренному вопросу своего времени. Успенский писал: «ты,— сказал покойный Некрасов,—и убогая, ты и обильная; ты и могучая, ты и бессильная...» Признаки верные, но чтобы эти признаки не были пустыми словами, надо же, наконец, хотя какой-нибудь определенный ответ: в чем именно могучая? в чем именно бессильная? в чем обильная и в чем убогая? Не-

обходимо дать себе на эти вопросы хотя бы самый грубый, но самый общепонятный ответ...» (т. VIII, стр. 153). «А повторять те же таинственные слова: «сила», «таинственная сила, которая...» «дух, который непоколебим», «сила, которая устояла...», словом повторять восторженным голосом это бесконечное «которая», к которому можно прицепить все, что угодно,—повторять это в настоящее время нам кажется решительно невозможно. Так или иначе нам надо знать, что *это такое*...» (Власть земли, т. VIII, стр. 106, курсив Гл. Успенского). С этой стороны, по мнению Успенского, не удовлетворявшегося подходом к народу предшественников, важно теперь «из тайны и подполья вывести дело на ясный Божий свет..., определить всю серьезность, а главное *обязательность* (курсив Гл. Успенского) этого дела для всякого русского совестливого и грамотного человека..., прямо и серьезно поставить вопрос *о народном деле* (Крестьянин и крестьянский труд. т. VIII, стр. 32, курсив Успенского).

А Достоевский, именно, и сделал это. В речи своей он поставил эти вопросы и дал синтез их решения, еще раньше намеченного им в «Дневниках». Он чувствовал всю серьезность момента для определенного ответа на вопросы жизни. А «серезность, по его словам, состояла именно в том, что в обществе ярко и ясно объявились новые элементы, объявились люди, которые жаждут подвига, утешающей мысли, обетования дела. Значит не хочет уж общество удовлетворяться одним только нашим либеральным хихиканьем над Россией, значит мерзит уже учение о вековечном бессилии России! Одна только надежда, один намек, и сердца зажглись святою жаждой всечеловеческого дела, всебратского служения и подвига». (Дневн. Писателя за 1880 г., т. XII, стр. 459).

И с точки зрения этих жаждущих как же было не приветствовать Достоевского, который в первый раз, в течение почти трех десятков лет, с глубочайшею искренностью, решился сказать всем исстрадавшимся за эти трудные годы: «Ваше неуменье успокоиться на личном счастьи, ваше горе и тоска о несчастьи других и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия, есть предопределенная всей нашей природой задача,—задача, лежащая в сокровеннейших свойствах вашей национальности» (Пушкинский праздник. Соч., т. IX, стр. 262).

И как, вместе со всеми, и Гл. Успенскому, болевшему этими вопросами, не отнестись со всей силой своей нервной напряженности к мыслям и чувствам выразителя всеобщего настроения,—ведь это нерв жизни, ибо «никакому из всех молодых поколений, когда-либо существовавших на русской земле, не предлежало такой массы работы именно на служение ближнему, освобожденному от неволи, как поколению последних двух, трех десятков лет» (ibid.).

Сколько внутренних переживаний, болезней совести, как видно из этих сопоставлений, было связано и у Достоевского и у Успенского с пережитыми на празднике Пушкина моментами общественного подъема, захватившего всех во время речи Достоевского. Да! Она была выстрадана автором, она была выстрадана и слушателями, среди которых был Успенский.

II.

Если вдуматься в литературное наследие того и другого писателя,—поражаешься их близостью, их родством.

Тот и другой в своем литературном творчестве шли своими путями, не стесняясь выработанными уже литературными формами, давали свою архитектонику произведений. Развитие характера действующего лица они дали в многообразии его отношений к массе соприкасавшихся с ним лиц. В силу этого перегруженность произведений эпизодическими лицами—характерная черта произведений и Достоевского и Успенского.

Эпизодические лица, важные в общем ходе развития действия, в то же время и индивидуально являют те или иные стороны психологических переживаний. Они приобретают и самостоятельное значение, как вполне законченное лицо. Отсюда—каждый отдельный эпизод романа тоже получает характер законченности. Каждая глава—отдельный рассказ. Общая картина и у Успенского и у Достоевского дается не на одном большом полотне, а отдельными эскизами. Эскизы об'единяются в сознании читателя идеей и главным лицом. Общая картина—результат обзора всей серии рисунков. В этом есть своеобразие действия. Эскизы пишутся под углом общей картины, ее основной мысли. Мысль читателя направляется основным мотивом, не отвлекается посторонними подробностями. У Достоевского и Успенского мы не найдем пейзажа, на что еще обратил внимание Н. К. Михайловский. При всей внешней разнице игнорирования пейзажем в этом есть и глубокая психологическая правда, единящая того и другого.

Это идет и дальше. Внешность действующих лиц также занимает писателей мало. Она допускается постольку, поскольку не мешает понять внутреннюю сущность героя, не заслоняет в нем главного. Она дается только в тех необходимых—можно сказать, часто скудных—рамках, где нет мелочей, подробностей, а только нужное для психологического момента. «То, что он (Успенский) предполагал известным, общим у себя и читателя, над тем он не останавливался для детальной отделки, то отмечал только беглым штрихом, заполняя кое-как, лишь бы не оставить пустоты» (Вл. Короленко. О Гл. Ив. Успенском. Собр. соч., изд. Маркса, т. I, стр. 327—328).

И резко бросается в глаза черта, сближающая того и другого писателя. Анатомируя человека, они разрезают его широ-

ким размахом ножа—сразу. Нет осторожности, постепенно подготовляющей читателя к бездне страданий. Разрез делается большой. Он сразу показывает всю бездну, сразу вскрывает всего человека, а не отдельными частями.

Эта бездна горя, мук, страданий—в их непрерывном движениии,—а это, ведь, характерно для того и другого,—заставляет человека ужаснуться пред кричащим страданием. Успенский это так ярко изобразил пред Короленко, говоря о своих впечатлениях при чтении Достоевского (там же, стр. 329—331). Но и Успенского укоряли в том же. Он принужден был оправдываться: «Я волей-неволей обречен на подбор этих ужасов, которые, впрочем, сами лезут в глаза», ибо в народе «я вижу расстройство, приток дурных явлений, непропорционально великих сравнительно с явлениями устройства и расцвета душевного добра» (Власть земли. XII. Заключение, т. VIII, стр. 127).

Душевные боли, «больная совесть»—вот что привлекает Успенского и Достоевского. И этой болью насыщены их произведения. И про Успенского можно сказать то же, что про Достоевского сказал Вл. Соловьев: «Предмет романа здесь не б ы т общества, а общественное движение» (Собр. соч., т. III, изд. 2-е, стр. 192). Широки рамки захвата картины у Достоевского,—в рамках жизни всего народа рисует картину больной совести и Гл. Успенский. «А здесь еще все в брожении, ничто не установилось, все еще только становится»—черта того и другого писателя, влекущая за собой и ту невыдержанность, особенность, своеобразие их приемов, о чем говорилось до сих пор. Влить в старую установленную форму это движение, этот постоянный порыв совершенно невозможно, ибо это сама жизнь—движущаяся, изменяющаяся, не установившаяся, а только устанавливающаяся.

Жизнь еще не выработала норм, которые бы успокоили больную совесть русского человека. Люди ушли от народа, они слишком эгоистичны, ушли в себя. Цивилизация отдалила их от народа. От этой цивилизации народ, по мнению Гл. Успенского, только кряхтел. И в этом отдалении от народа—гибель русского человека, в этом зло. Оно создает скорбь индивидуальную, скорбь бесплодную—ту болезнь неизлечимую в самом себе, что ведет и к нравственной оторванности, и к нравственной, наконец, нечистоплотности. А это создает условия для развития, как выразился Успенский, «махрового свинства»,—условия обращения общества в стадо свиное, как отмечает Достоевский в романе «Бесы».

«Отдельно обо всех я мог бы мучиться бесплодно, а жалеть я начал всех... жалостливое чувство развило внимание к горю, и не зная, что лучше для себя, я начал думать, что для всех (никаких лиц я при этом не представлял) должно быть и лучше и легче (т. VII, стр. 218). Это то бесплодное мученье,

чем болели, по Достоевскому, интеллигенты русские, начиная с Алеко и Онегина—наши отрицательные типы «человека беспокоющегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого в конце концов отрицающего» (Дневн. Писателя за 1880 г., стр. 409).

Чуткая, больная душа ищет выхода и, не находя, мучается, мучается безнадежно, сознавая свою вину пред всеми. И человек готов покаяться, но покаяться всенародно. Раскольников мечтает о покаянии на площади. Вину пред всеми сознает Маркел, брат Зосимы. Об этом же говорит и Дмитрий Карамазов. Как характерную черту—стремление к всенародному покаянию на площади—в русском человеке отмечает и Успенский, связывая ею современного человека с людьми древности, как Иван Грозный.

И это потому, что мы «воспитываемся в сознании нашей обязанности пред всем человечеством» (т. VII, стр. 207): «Убавляй себя для общего блага, для общей справедливости, для умаления общего зла (ibid., стр. 222). Под этими словами Успенского подпишется и Достоевский, ибо «русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться: дешевле он не примирится» (Пушкин. Очерк, стр. 419).

Сейчас больше зла, нестроения, которых могло бы и не быть. «Народ грешит и пакостится ежедневно»—говорит Достоевский (Дневн. Пис. за 1880 г., стр. 437. См. также за 1876 г., т. XI. Спб. 1882 г., стр. 49). «Я писал о том,—подтверждает и Успенский,—какая он (народ) свинья, потому что он действительно творил преподлейшие вещи» (Автобиография, т. I, стр. 9). Но, ведь, это наносное, временное.

В сочинениях того и другого писателя—и почти одновременно—появляется образ «хорошего русского человека», как называет его Успенский. В ответе А. Градовскому Достоевский категорически утверждает: «Но знайте, что в народе есть и праведники. Есть положительные характеры невообразимой красоты и силы» (Дневн. Пис. за 1880 г., стр. 437, а также за 1876 г., стр. 49). «Я не буду вспоминать,—говорит он в 1876 г.—про его исторические идеалы, про его Сергиев, Феодосиев Печерских и даже про Тихона Задонского. А кстати: многие ли знают про Тихона Задонского?.. Поверьте, господа, что вы, к удивлению вашему, узнали бы прекрасные вещи» (Дневн. Писат. за 1876 г. Февраль, гл. II, стр. 50). А еще раньше—в 1870 г., в письме к А. Н. Майкову он писал: «Выведу величавую, положительную, святую фигуру... Правда, я ничего не создам, а только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом» (Биогр., письма... Под ред. Страхова. Спб. 1883 г., стр. 233—234).

Тихон Задонский привлекал Достоевского, как яркий выразитель внутренней борьбы человека с самим собой. Эта

борьба из раздражительного, тяжелого человека, обличителя других, сделала кроткого, любящего до полного самоотвержения человека. Ценит он в Тихоне и его знание людской психологии, уменье проникнуть в человека, научить его правде. просветить народ. В письме к Н. А. Любимову от 7/19. VIII. 79 г. он пишет: «Особенно прошу обратить внимание на корректуру от 10 до 17 полулиста включительно (главка под рубрикой: О священном писании в жизни отца Зосимы). Эта глава восторженная и поэтическая; прототип взят из некоторых поучений Тихона Задонского...» (Былое, № 15, стр. 109).

Интересно отметить, что это просвещение народа идет именно от таких людей «старого церковного воспитания». «Народ—по Достоевскому—научился в храмах, где веками слышали молитвы и гимны...» И что в том, что... дьячки читают неразборчиво,—самое колоссальное обвинение на нашу Церковь, придуманное либералами, вместе с неудобством церковно-славянского языка, будто-бы непонятного простолюдину. За то выйдет поп и прочтет: «Господи, Владыко живота моего»—а в этой молитве вся суть христианства, весь его катехизис, и народ знает эту молитву наизусть. Знает тоже он наизусть многие из житий Святых, пересказывает и слушает их с умилением» (Дневн. Писателя за 1880 г., стр. 434). Это почти целиком совпадает с мыслями Гл. Успенского на ту же тему: «Никто, никогда,—говорит Успенский,—ни один самый завзятый начетчик и грамотей крестьянского звания не мог и не может рассказать, о чем таком ему читают, но всякий знает, в чем дело, потому что сердцем понимает сердце автора, будь то царь Давид, Апостол, сам Христос. Скрытое в глубине и массе слов чувство, руководившее автором книги, только оно и улавливается слушателями или чтецом, и, уловя его, чтец или слушатель продолжает только чувствовать в данном сердцу направлении, думая о себе» (Голодная смерть, т. II, стр. 283).

А результат такого воспитания и просвещения—обращение эгоистического сердца во всескорбящее. «Человек, вооруженный христианской идеей, шел безбоязненно в массу народа (Власть земли. IX. Школа и строгость, т. VIII, стр. 110). Русский святой человек—тип весьма замечательный,—пишет Гл. Успенский,—он прямо несет свои знания и свою доброту в толпу, учит и грамоте, и опрятности, и порядку, и справедливости... словом, всему, чего нет кругом него, и что должно быть (Через пень колоду. II. Хороший русский тип, т. IX, стр. 135). И для иллюстрации Гл. Успенский не раз обращается к Тихону Задонсдому, ибо он «публично, с кафедры большого губернского города, прямо, открыто и безбоязненно говорит о правде человеческих отношений (Власть земли. X. Земельные непорядки, т. VIII, стр. 103—104). Он привлекает писателя и тем, что оставил кафедру, «чтобы вмешаться с своею деятельною любовью в народную среду (ibid., XI. Школа и

сторость, т. VIII, стр. 110) и т. д. Тихон Задонский, по мнению Успенского, — «прекраснейший образец человечности — по страстности и вниманию к положению ближнего, по негодованию на условии его темноты и—главное—по пониманию христианства (ibidem).

Христианство, по мнению Гл. Успенского, и есть та культурная сила, та «правда» (не справедливость), которою освещена в строе жизни самая ничтожнейшая подробность. «Наши прародители были так умны, знали... так хорошо народную массу, что для общего блага ввели в нее христианство, т. е. взяли последнее слово и притом самое лучшее, до чего дожило человечество веками страданий» (ibidem). Эта «правда» и спасла его от звериного обычая, превращала эгоистическое сердце человека в сердце всескорбящее—эта правда и была положена в основание народной школы, училища, основанного на псалтыре» (ibid.). «Практической пользы в хозяйстве, в доходе, не могло быть ровно ни от какого чтения или заучивания наизусть, напр., псалтыря. Всякий знал, что из этих рыданий псалмопевца «шубы не сошьешь», а долбили и плакали, потому что видели нравственную необходимость глядеть на себя и на окружающих не с одной только точки зрения дремучего леса. «Божественное» знакомило с нравственными обязательствами и задачами человека. Худо ли, хорошо ли знакомило, а знакомство давало, по крайней мере, возможность знать, что э т о—что-то серьезное, важное, хотя и не прибавляет в доходы ни копейки, а, напротив, убавляет (ibid., стр. 111).

И по мнению Достоевского «века бесчисленных и бесконечных страданий, вынесенных русским народом в свою историю, и были школой христианства и истинного просвещения, и «христианство народа нашего есть и д о л ж н о о с т а т ь с я н а в с е г д а (курсив Достоевского) самою главною и жизненною основой просвещения его». «И в высшие роковые минуты свои народ наш всегда решает и решал всякое общее, всенародное дело свое всегда по христиански» (Дневн. Писат. за 1880 г., стр. 436, 437), а это приведет и к осуществлению исторической правды народа. «Я говорил,—пишет в ответ Градовскому Достоевский,—о надежде «стать братом всех людей...» Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловеческому единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено» (ibid., стр. 458). «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю в рабском виде исходил благословляя Христос. Почему же нам не вместить последнего слова Его?» А в этом слава будущего русского народа, его всемирное призвание. «Что же,—спрашивает он,—разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей» (ibid., стр. 458).

Таких параллелей можно привести очень много. И они не случайность. В этом отношении показателен опубликованный уже факт идейной близости двух писателей. Ненаписанная V глава «Волей-неволей», сохранившаяся в наброске начала ее в рукописях, начиналась следующей цитатой из Достоевского: «Я люблю человечество, но дивлюсь на самого себя: чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, т.-е. порознь, как отдельных лиц; в мечтах я нередко доходил до странных помыслов о служении человечеству, и, может быть, действительно бы пошел на крест за людей, если бы это вдруг как-нибудь потребовалось, а между тем, я двух дней не в состоянии ни с кем прожить в одной комнате, о чем знаю из опыта. Чуть он близко от меня, и вот уж его личность давит мое самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже лучшего человека возненавидить—одного за то, что он ест долго за обедом, другого за то, что у него насморк. Я становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснутся. За то всегда так происходило, что чем более я ненавидел людей в частности, тем пламеннее становилась любовь моя к человечеству вообще».

Я не буду цитировать Долбежникова и Тяпушкина—их близость к указанной цитате отмечена. Я приведу лишь одно место, где Успенский возводит эту черту в обобщение:

«что-то подобное... вероятно, было в сердце такого замечательно-загадочного человека, как Иван Грозный. Ведь, вот пред толпой, пред массой людей, пред морем человеческих существ, слитых во-едино, в особый живой организм толпы, этот человек мог публично, на Красной площади, каяться, плакать, просить у этого «организма» прощенья, рассказывать пред ним свои прегрешения, оправдываться, чувствовать потребность оправдаться только пред ним... А отделись от этого организма, толпы частица, песчинка, и об'явись она в виде человеческой фигуры, с человеческими потребностями, просьбами, желаниями,—словом, со всеми мелочами «человеческой» породы,—тотчас замирает не только потребность покаяния, а и внимание, тотчас прекращается отзывчивость сердца на действительные, всегда мелкие человеческие требования». (Волей-неволей. III. Возмутительный случай, т. VII, стр. 223). И как бы подчеркивая это, переводя из истории в современность, Успенский прибавляет: «Уведи меня в стан погибающих»—вопиет герой поэмы Некрасова «Рыцарь на час». И в самом деле: лучше увести его туда, а не то, оставьте его с самим собою, так, ведь, он от какого-нибудь незначительного толчка того и гляди шмыгнет в стан обагряющих руки в крови» (ibid. IV. Подробности возмутительного случая, т. VII, стр. 236).

Это совпадение получает особое значение в связи с признанием Успенского:

«Строчки эти,—пишет Успенский,—выписаны мною из романа Достоевского «Братья Карамазовы», или вернее, не из романа собственно, а из рецензий по поводу выхода в свет первого тома сочин. Достоевского. Эти слова, совершенно случайно встретившиеся мне в упомянутой рецензии уже после того, как мною были написаны первые четыре главы моих записок, я привожу потому, что они в самых грубых, элементарных чертах изображают то отличительное свойство русского сердца, о котором я говорил до сих пор и о котором теперь, в этой заключительной главе, хочу сказать еще одно слово» (ibid.).

Романа Успенский не читал—цитата случайно попала ему на глаза, но в ней он узнал свои мысли, свои чувства. Это дает право особенно настаивать на их близости в основном их стремлении—к решению вопроса о народе, его жизни, задач жизни,—тех вопросов, которыми тот и другой мучились всю свою жизнь, но которые они решали так несходно, что в конце концов вылилось в полемическую статью одного против другого.

И был момент, когда близость их была несомненна. Успенский не любил Достоевского, как передал об этом В. Короленко. Но он готов был принять его за речь о Пушкине. В ней Гл. Успенский увидел смелость, «громко, горячо сказанное слово» о задаче русского человека,—задаче, поставленной на первый план, возведение ее до «ослепительных размеров» (Пушкинский праздник», т. IX, стр. 262). И первая его статья о пушкинском празднике—похвала Достоевскому, увлечение им, его речью.

Смысл всей речи Достоевского Гл. Успенский видит в выяснении задач времени. Ему—русскому человеку—давно надо было сказать то, что сказал своей речью Достоевский: «Ваше неуменье успокоиться в личном счастьи, ваше горе и тоска о несчастьи других и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия, есть предопределенная всей вашей природой задача,—задача, лежащая в сокровеннейших свойствах вашей национальности» (Пушк. праздник, т. IX, стр. 262). Это и есть именно то, что требовало время, полное исканий: «ни одно поколение русских людей никогда, во все продолжение тысячелетней русской жизни, не находилось в таком трудном, мучительном, безвыходном состоянии, как то, которое должно было выполнить свою исконную, по словам Достоевского, миссию в последние два-три десятка лет» (ibid., стр. 261—262). «Три дня пред тем,—передает и Достоевский,—говорили речи, и были огромные овации говорящим, но того, что случилось после моей речи, ни с кем там не было... Момент этот был слишком серьезен... Серьезность его состояла именно в том, что в обществе ярко и ясно об'явились новые

элементы, об'явились люди, которые жаждут подвига, утешающей мысли, обетования дела» (Дневн. Писателя за 1880 г., стр. 454).

Достоевский и явился «истолкователем» задач русской интеллигенции, сказал то своей речью, что было недоговорено за последние 30 лет.

III.

Но не примиренный ушел с праздника Пушкина Гл. Успенский. На личности Пушкина представители двух разных поколений столкнулись в своем понимании задач общественной деятельности: одного—воспитавшегося на идеалах 40-х годов, а другого—на идеалах 60-х г.г., на «Исторических письмах» Миртова, закрепленных социологической теорией Н. К. Михайловского. Пушкин в данном случае сыграл роль реактива.

Речь Достоевского—синтез мыслей его, разбросанных в его произведениях и особенно в «Дневнике Писателя». Чрезвычайное и пророческое явление русского духа—Пушкин отыскал и гениально отметил... того исторического русского страдальца, столь исторически явившегося в оторванном от народа обществе нашем... Русскому скитальцу необходимо... всемирное счастье, чтобы успокоиться... Страдает он искренно, и всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом. Тип этого страдальца «в первый раз схвачен у нас Пушкиным, и тут, в нем,— «подсказывается русское решение вопроса, «проклятого вопроса», по народной вере и правда—и Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто». И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после него, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин» 419—427).

Пушкин соединялся с народом. Но для Успенского это еще вопрос. Характеристика отношения к пушкинскому празднику Гл. Успенским дана убийственная. На празднике об'единились «в восторженном неведении с а м о г о с у щ е с т в е н о г о». Получилось нечто «сербское», — «сгрудились вокруг имени, которого великое множество лиц совершенно не знало, а другие—весьма солидно позабыли (Праздник Пушкина, т. IX, стр. 251). Газетчик, предлагавший «книжонки» «очевидно, не знал,—о Пушкине ли книжонки или Пушкиным сочинены они и, вообще, видя окружающее это имя всеобщее недоумение, сам уныло и неопределенно смотрел на книжонки, не ожидая от них пользы. А посмотрите-ка, как он оживился и с какой энергией сует в руки сборник «Скоморох». Он знает, в чем тут дело» (ibid., стр. 253).

С точки зрения Гл. Успенского такое отношение естественно. Народ, масса, не знал Пушкина, как и Пушкин «не

трогал... поэтических струн народной души, народного миросозерцания, воспитанного исключительно в условиях земледельческого труда» (Крестьянин и крестьянский труд. III. Поэзия земледельческого труда, т. VIII, стр. 21).

И Пушкин в понимании Гл. Успенского не то, что в это имя вкладывал Достоевский. И если Достоевский взял Пушкина, как повод для выявления идеалов современного общества, подошел к нему, как публицист, то такой выбор—тоже нечто «сербское». Выявить идеал современного поколения, которое жаждет оправдания своему существованию в народном деле,—выявить идеал на произведениях Пушкина нельзя. Пушкин не был выразителем полноты народного бытия, каким был, напр., Кольцов. Пушкин дал только то, что мог дать, «как человек иного круга». Он мог только «скорбеть», как скорбели и другие, не проделавшие всей черновой работы для понимания народа.

Сцепление всех деталей вопроса о народном деле, как его понимал Гл. Успенский, в конце концов и привело его к мыслям и оценке речи Достоевского. Гл. Успенский,—сложившийся теоретически на основе взглядов Лаврова и Михайловского, вплотную подошедший к народу в эпоху выявления им самостоятельно своих внутренних качеств, — не мог понять человека, воспитавшегося на идеях «теоретического социализма» (Дневник Писателя за 1873, стр. 153), в эпоху, когда «понималось дело еще в самом розовом и райски-нравственном свете» (ibid., стр. 154). Достоевский тоже знал народ: «Не говорите мне, что я не знаю народа! Я его знаю... Я видел народ наш и знаю его, жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним и сам к «злодеям причтен был», работал с ним настоящей мозольной работой (Дневник Писателя за 1880 г., стр. 435-36). Но в этом же и разгадка. «Власть земли» Успенского—идеалы связанные с землей народа — это одно. «Долгая школа» Мертвого дома Достоевского, где тот же народ, но выкинутый из своей среды знакомством с цивилизацией путем тюрьмы—это другая сторона двуликого Януса. Тихон Задонский—обличитель неправды, закладчик часов для покупки семян, непримиримый борец против неправды людских отношений,—таким он казался Гл. Успенскому. Тихон Задонский—наставляющий людей соприкасаться «с таинственным миром иным», возродиться на основе небесной правды,—казался Достоевскому «серафимоподобным» старцем.

Всю разницу отношений к вопросам жизни того и другого писателя ярко изобразил в одной сцене Успенский:

«Впечатлительный человек», желавший создать мастерскую на новых началах, но встретивший на пути осуществления противодействие, приходит «к Достоевскому посоветоваться, как ему быть».

— Закрыть мне мастерскую или же отстаивать ее?

Что ответит ему Ф. М.?—Неужели скажет:

— Смирись, гордый человек!

Но на это впечатлительный человек может возразить:

— Да я и так уж смирился. Мне лично ничего не надо, я хочу только хоть этим пятерым, шестерым мальчишкам быть полезен. Неужели же я должен бросить их на произвол судьбы? Ведь их пуще прежнего начнут колотить колодкой по голове? Мне кажется, что я и по-христиански не имею права отступать. Я должен идти до конца. Пусть делают, что хотят, я готов.

— Смирись, праздный человек! Покори себя себе, усмири себя в себе. Не в н е т е б я правда, не в сапожной твоей мастерской, а в т е б е с а м о м н а й д и себя, сам собой, в себе!

— Стало быть, бросить посоветуете?

И даже на этот вопрос нет категорического ответа; не слушая и не останавливаясь, Ф. М. продолжает пророчать:

— И узришь свет! и увидишь правду! Победишь себя, усмиришь себя и других освободишь,—и узришь счастье... и начнешь великое дело... Не в вещах правда». (Секрет. т. IX, стр. 273).

IV.

Сцена утрирована, но за этой утрировкой чуется правда, чуется правда разницы этического подхода и социального решения вопроса, то противоречие, что в свое время Н. К. Михайловский подчеркнул в своих «Литературных и журнальных заметках 1873 года»,—противоречие работы совести в понимании Достоевского и Успенского.

Достоевский указывал, что интеллигенция—«citoyen du monde civilisé»—оторвана от народа, от почвы, от Бога (Дневн. Писателя за 1873 г., стр. 5—23 и далее). Ей он предрекал гибель в пучине морской в романе «Бесы».

Михайловский утверждает другое, давая отповедь Достоевскому:

«Если бы вы знали, г. Достоевский, как мучит иногда совесть бедных citoyen'ов, признающих свой долг, особенно в виду того, что кредитор и не сознает себя кредитором. Если-бы вы знали, как мучительно напрягается их мысль, взвешивая способы погашения долга. Я не говорю—всегда, но бывают у этих людей минуты страшного страдания, и они не прячутся от него. Лучше-бы вам их не трогать, особенно в такую минуту, когда кругом кишат и дают тон времени citoyen'ы с совестью хрустальной чистоты и твердости» (Н. К. Михайловский. Сочин т. I, Спб. 1896, стр. 872).

«Минуты страшного страданья»—результат сознания своего долга пред народом, ответственности пред ним. «Воистину всякий пред всеми и за все виноват»—говорит старец

Зосима. Маркел, брат Зосимы, и к птицам обращается: «Птички Божие, птички радостные, простите и вы меня, потому, что и пред вами я согрешил». И сознание виновности пред всеми ведет к страданию, к покаянию: «Мы все жестоки, все мы изверги,—говорит Дм. Карамазов,—все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей... из всех я самый подлый гад... Каждый день моей жизни я, бия себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил все те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар судьбы, чтобы захватить его, как на аркан, и спутать внешней силой. Но гром грянул. Принимаю муку обвинений и всенародного позора, пострадать хочу, и страданьем очищусь».

Здесь вся глубина христианского ученья об ответственности за грех человечества, ибо «люди сами,—как говорит Ив. Карамазов,—виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастными». Искуплением такого вселенского греха, сознанного чрез преступление личное, как у Дм. Карамазова, и является очищающее человека страдание, мучение.

Такой «абсолютной» ответственности Успенский не приемлет. «Народ—это тот человек, который, по изгнании из рая непокорного собрата, предпочел остаться там... сказав свое: «Ладно и так!» (Из разговоров с приятелями. I. Без своей воли, т. VIII, стр. 140). Ответственность, по учению П. Л. Лаврова,—закон естественной необходимости», с которым «рассудительный человек должен примириться...» и «воспользоваться для своих целей».

«Мы должны признать,—говорит он,—что выгоды современной цивилизации сплочены не только неизбежным злом, но еще огромным количеством совершенно ненужного зла (по Успенскому: «роскошь ненужного зла»), ответственность за которое лежит на предыдущих поколениях цивилизующего меньшинства, частью по беззаботности, частью по прямому противодействию всякой цивилизующей деятельности. Исправить в прошедшем это зло мы уже не можем. Страдавшие поколения большинства уже умерли, не облегченные в своем труде. Нынешнее цивилизующее меньшинство пользуется их трудом и страданиями. Мало того: оно пользуется еще страданиями и трудом огромного числа своих современников и может влиять на увеличение труда и страданий своих внуков... за это последнее обстоятельство мы несем и будем нести нравственную ответственность пред потомством. (Миртов. Историч. письма. Изд. Рус. Богатства. СПБ. 1905 г., стр. 91—92).

Дело, следовательно, сводится не к ответственности за прошлое. По мысли Лаврова «за грехи отцов мы ответственны лишь настолько, насколько продолжаем эти грехи и пользуемся ими, не стараясь исправить их последствий». Вся сила ответ-

ственности в другом: «Мы властны в некоторой степени лишь над будущим, так как наши мысли и наши действия составляют материал, из которого организуется все содержание будущей истины и справедливости. Каждое поколение ответственно пред потомством за то лишь, что оно могло сделать, но не сделало (ibid., 87—88).

Прошлое—«необходимое, естественное зло», но оно «ограничивается предыдущим». Цивилизующий же человек должен заботиться, чтобы этого зла не было сейчас и меньше его было в будущем: «Всякое цивилизованное меньшинство, которое не хотело быть ц и в и л и з у ю щ и м в самом обширном смысле этого слова, несет ответственность за все страдания современников и потомства, которые оно м о г л о устранить, если-бы не ограничивалось ролью п р е д с т а в и т е л я и х р а н и т е л я цивилизации, а взяло на себя и роль ее д в и г а т е л я (ibid., стр. 89—90).

Если сопоставить с этим философию Тяпушкина, то пред нами—Гл. Успенский с его мыслями об ответственности. Страх первородного греха и адских мучений у Тяпушкина исчезает (Волей-неволей. III. Возмутительный случай, т. IX, стр. 216—217), остается желанье думать не о себе, а «что для всех должно быть и лучше и легче (218).

«Да,—русскому интеллигентному человеку... давно пора осветить собственное тусклое существование, вопросив самого себя: «Да зачем же собственно я считаюсь интеллигентным?.. И если он вопросит себя таким образом, то непременно ответит себе, что он облечен известными полномочиями вовсе не для того, чтобы расчищать дорогу железным законам—они сами делают свое дело без остановки и поспевают туда, куда надо, минута в минуту и точь в точь с теми свойствами и качествами, которые им иметь следует,—а для того, чтобы парализовать все, что в этих законах неправда и зло... К сожалению, в России меньше чем где-либо внимание интеллигентного человека привыкло сосредоточиваться на этих язвах, грехах, оставляемых триумфальным шествием железных законов, и меньше чем где-либо, по какому-то непостижимому недоразумению, русский интеллигентный человек привык об'яснять себе собственное интеллигентное положение правом хотя-бы думать только о том, чтобы язвы эти не существовали» (Скучающая публика. V. Мечтания, т. IX, стр. 62—63).

И в этом вся суть—ею определяется и место человека в жизни и его деятельность. Ходить «с открытым воротом за сбором,—образ, затронутый Достоевским (см. Дневн. Пис. за 1877 г., стр. 76 и особенно за 1873 г., стр. 34—45), подхваченный Н. Михайловским (Из литерат. и журн. заметок 1873 г. Точ., т. I, стр. 858), а за ним и Гл. Успенским (Секрет. т. IX, стр. 270—271)—не есть решение вопроса. Необходимо знание конкретных условий жизни. «Помилуйте: когда мы дождемся,

чтобы у нас в волостном правлении разговаривали о том, есть-ли кому что есть, и есть-ли у всех сапоги? У нас в самом центре нищеты и нужды только и идет разговор о высших делах и целях» (Скучающая публика. Ш. Верзило, т. IX, стр. 36). В этих словах—осуждение Достоевского,—осуждение, как результат сознания своей задолженности пред народом, пред человеком: его нужно ввести в круг людей, пользующихся благами цивилизации, но ввести в эту цивилизацию не путем «расширения тюремных помещений и улучшения в них вентиляции», а путем уничтожения зла. «Если-бы... уверовали, что «первородный закон» повелевает человеку жить трудами рук своих, исцеляя этим трудом от всех зол, язв и неправд, на которые обречен неуравновешенный, искалеченный человек, так они бы не сделали греха и не опорочили своей интеллигентности, если бы каждогодно прикупали земель, которых множество кругом, если бы каждогодно селили бы на них всех, кто хочет есть, а капиталу имеет—только руки свои. Почему нужно усовершенствовать тюрьму, вводить в ней вентиляцию, гигиену, а современем и электрическое освещение, а нельзя покупать земли, нельзя селить на ней всех, кто не по собственной воле родился на свет и не по собственной прихоти хочет есть? Нельзя-ли опять-таки хоть попробовать поступить с человечеством таким тихим и внимательным манером» (ibid., стр. 62).

Н. К. Михайловский, поучая Достоевского, пишет: «Мы—я говорю «мы», потому, что вменяю себе в честь стоять в рядах этих citoyen'ов,—мы поняли, что сознание общечеловеческой правды и общечеловеческих идеалов далось нам только благодаря вековым страданиям народа. Мы не виноваты в этих страданиях, не виноваты и в том, что воспитались на их счет, как не виноват яркий и ароматный цветок в том, что он поглощает лучшие соки растения. Но принимая эту роль цветка из прошедшего, как нечто фатальное, мы не хотим ее в будущем... Мы пришли к мысли, что мы должники народа... Мы можем спорить о размерах долга, о способах его погашения, но долг лежит на нашей совести, и мы его отдать желаем». (Михайловский. Из литер. и журн. заметок 1873 г., т. I, стр. 868).

Размеры долга—вопрос силы сознания своей задолженности, как это можно понять и из статей Михайловского. Да и Гл. Успенский эти размеры не считает общеустановленными. К их расширению надо стремиться. А то, ведь: «Много-много, если мы слышали, что есть на свете явления мрачные, темные, черные, но чтобы кто-нибудь сказал нам: «ваше ч е с т о л ю б и е должно быть в том, чтобы их не было!—Никогда!»

Вот—во взгляде на способы погашения долга и есть вся суть вопроса. Достоевский звал потрудиться на родной ниве (Пушкин, стр. 421). При жажде «дела»—народного дела, что так ярко выразил в своих произведениях Гл. Успенский, при

его определенном желании в этом деле найти примирение с жизнью, при его убежденности, что настало время подойти к делу вплотную,—призыв Достоевского является центральным местом его речи: «Мы хотим,—говорит он,—обратить внимание читателя на ту поистине громадную жажду, с которой значительная часть общества, если не все общество поголовно, ждет откуда-бы то ни было указания «на дело», на «народное дело» (Секрет.-т. IX, стр. 269).

Вот этого, определенного понимания «работы на родной ниве», и не нашел Успенский в речи Достоевского,—именно: «настоящего выяснения задач народного дела, задач, необходимых для всякого живущего на Руси...» «Теперь вот, через 25 весьма поучительных лет (со времени освобождения крестьян), нам говорят: «поди, мол, потрудись на какой-то родной ниве!» А где она? Что она—неизвестно... Не только нет мало-мальски правдивого, беспристрастного указания на самое дело, но даже и положение той самой нивы, на которую приглашают потрудиться со смирением, как на грех, ни единым словом не упоминается» (ibid., стр. 269—70). Вот первая загадка в речи Достоевского.

Достоевский—человек старого времени, человек 40-х г.г. где были только призывы к делу—был чужд Успенскому, как чужд ему был Пушкин, Тургенев, Гончаров, даже Л. Толстой кроме своего Платона Каратаева. Они были художники большие, но, как и вся предшествующая литература, они не могли быть учителями жизни теперь. Время требовало иного. Герцен—крупный ум, но не он двигает жизнь. Нужны не представители, не хранители цивилизации, а цивилизующие люди. Святой человек, занятый самоусовершенствованием, должен уступить место святому человеку—борцу, работнику общественно-полезному, точно знакомому с чаяниями и нуждами многомиллионного народа.

V.

Гл. Успенский подчеркивает неопределенность, неясность, даже оторванность Достоевского от задач времени не только критическим анализом его речи, но и справкой по Дневнику Писателя. Справка—сопоставление статей: «Злоба дня в Европе» и «Русское решение вопроса» (1877 г., т. XII, стр. 62—68)—лишь иллюстрирует мысль Успенского, как мы не знаем России, как мы еще не отстали от привычки рыться в европейском и национальном хламе без всякой попытки определить свое родное дело. Одно «следует из этого,—по мнению Гл. Успенского,—что прежде нежели приглашать потрудиться на ниве, прежде нежели рекомендовать смирение, как наилучшее средство для этого труда,—следует заняться с возможной внимательностью изучением самой нивы и положения, в котором она находится, так как, очевидно, только это изучение

определит и дело, в котором она нуждается, и способы, которые могут помочь это сделать» (Секрет. т. IX, стр. 273).

Достоевский не только призывает к работе на родной ниве. Он зовет к смирению: «Смирись, гордый человек... Смирись, праздный человек!

«Смирение»—вторая загадка речи Достоевского, вторая его шарада, ребус насчет великого будущего (ibid., 269).

«Смирение» Достоевского, которое, по мнению Успенского, есть смирение Татьяны,—является «смирением букашки, проткнутой булавкой и до конца жизни безропотно шевелящей лапками» (ibid., стр. 269). Это смирение, которое «вполне оправдывает его (старика) женитьбу на Татьяне, (ibid., стр. 265). Это та безропотность, отсутствие протеста, даже на курином языке, что произвело на него ужасающее впечатление при посещении рыбных промыслов. (Очерки переходного времени. VII. На Кавказе, т. Ш, стр. 109—110). Таким смирением, граничащим с ординарною проповедью полнейшего мертвения (На другой день, т. IX, стр. 264), нельзя решить злобы дня.

Если в Зап. Европе процесс «Злобы дня» (Дневн. Пис. 1877 г.). исторически привел к борьбе за существование не на живот, а на смерть (Секрет, стр. 270), то почему в России эта же борьба, намеченная «злобой дня», должна вылиться в отвлеченную проповедь самоусовершенствования? (ibid.). «Какую-такую злобу дня разрешу я, если, подобно Власу, буду с открытым воротом и армяке, собирать на построение Храма Божия?.. решительно нельзя понять, почему на Руси люди будут только совершенствоваться» (ibid., стр. 270—271), спрашивает Гл. Успенский.

Нет! По Гл. Успенскому—и для русского «пролетариата» надо применить те же средства, но только, исходя из понимания об ответственности пред настоящим и будущим, надо ослабить зло железных законов,—надо, «чтобы ласково, а не помощью грубой и ожесточающей нужды привести к независимому труду, вовсе не мешающему быть порядочным и образованным человеком... Это наше русское, обязательное для нас решение вопроса о пролетариате...»

Но чтобы решить так просто и справедливо насущнейшие вопросы, которые дала нам жизнь и в важности которых убедил нас европейский опыт, надо уважать свои мысли и стоять за них и за право их логического осуществления» (Скучающая публика. VI. Побоище, т. IX, стр. 82).

Логическое осуществление с в о и х мыслей, подсказанных жизнью, возможно чрез «постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами (неделимого) и возможно меньшему разделению труда между людьми» (Н. К. Михайловский. Что такое прогресс? Соч., т. I, стр. 148).

Приведенная формула прогресса Михайловского для Гл. Успенского не теория, а сама жизнь. Подтверждение ее он видит не только в своих личных наблюдениях над жизнью народа, что передал он в «Власти земли», в статьях «Крестьянин и крестьянский труд» и др., но и в наблюдениях и в синтезе этих наблюдений Л. Н. Толстого. Толстой указывает, что русский человек прежде всего жив тем, что сам удовлетворяет всем своим потребностям, и этим отличается форма его жизни от формы жизни Европы (Скучающая публика. IV. Трудами рук своих, т. IX, стр. 42—43).

«Повторяем—пишет Гл. Успенский—эта формула и этот вывод, сделанный Л. Н. Толстым относительно форм жизни русского народа, окончательно решают вопрос о том, что такое Россия, Европа, народ и цивилизация. Стоит только эти выводы приложить к любимому рассуждению о благе русского народа, чтобы немедленно убедиться, точно-ли рассуждающий желает народу блага, точно-ли он понимает, в чем оно заключается, точно-ли он любит его, или только галдит о нем и без толку бормочет о России и Европе, о народе и цивилизации (ibid, стр. 44).

Естественно, что народ и не может знать и понимать Пушкина. Русский народ, по счастливому выражению Л. Н. Толстого, «сам удовлетворяет всем своим потребностям», и «употреблено оно им как характеристика форм жизни нашего крестьянства, в отличие от форм жизни, выработанных «цивилизацией». С этой точки зрения,—«чтобы человеку из русского народа полюбить чтение Пушкина..., надо этому человеку перестать быть тем, чем он есть, т.-е. человеком независимым, удовлетворяющим всем своим потребностям» (Л. Н. Толстой. Прогресс и определение образования. Соч., изд. 5-е, М. 1886 г., т. IV, стр. 171, Ср. Гл. Успенский. Скучающая публика. IV. Трудами рук своих, т. IX, стр. 43).

Достоевский, от Пушкина идущий в деле определения задач времени, конечно, и сам идет по тому же пути. Масштаб формулы Михайловского для него будет мерилом безнадежным.

Достоевский, конечно, в этих рамках не уложится со своим призывом к работе на родной ниве. Если он не славянофил, о которых Успенский отзывается, опять-таки под влиянием Н. К. Михайловского, резко (ibid., стр. 44—47),—то во всяком случае—«человек мудреный», его «мудрено понимать» (Пушкин. праздн., т. IX, стр. й62). Да и вообще: «Ох, и фокусники же эти сороковые годы»—восклицает он в письме к Н. К. Михайловскому (Н. К. Михайловский. Г. И. Успенский, как писатель и человек. Соч. Успенского. Изд. А. Ф. Маркса, т. I, стр. LXXXI).

Вскрывается чисто субъективное в отношении Успенского к Достоевскому. Не только разница подхода в решении кар-

динального вопроса, но и внутреннее подозрение в искренности человека. Правда, Успенский не высказывает этой мысли, но чувством этим проникнуты его заметки: «На другой день» и «Секрет»—все его впечатления от напечатанной речи Достоевского о Пушкине.

Успенскому кажется что «в ней есть еще и нечто такое, что превращает ее в загадку, которую нет охоты разгадывать, и которая сводит весь смысл речи почти на нуль. Дело в том, что Достоевский к всеевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальчества ухитрился присовокупить великое множество соображений уже не всечеловеческого, а всезаячьего свойства» (На другой день, т. IX, стр. 263).

«Всезаячье» свойство Успенский видит в тех ограничительных частицах, которые Достоевский вставляет как раз в тех местах своей речи, где высказывает наиболее широкие мысли о всечеловечности: «там воткнуто,—говорит Успенский,—как бы нечаянно, слово «может быть», там поставлено, тоже как бы случайно, рядом «постоянно» и «надолго», там ввернуты слова: «фантастический» и «делание», то-есть выдумка,—хотя немедленно же и заглушены уверением совершенно противоположного свойства: необходимостью, которая не дает возможности продешевить, и т. д. Такие заячьи прыжки дают возможность автору, мало по малу, превратить все свое «фантастическое делание» в самую ординарную проповедь полнейшего мертвения» (ibid., стр. 264).

И «что же остается от всемирного журавля?»—спрашивает Успенский.

Остается Татьяна, ключ и разгадка всего этого «фантастического делания». Татьяна, как оказывается, и есть то пророчество, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Она потому пророчество, что, прогнавши от себя всечеловека, потому, что он без почвы (хотя ему и нельзя взять дешевле), предает себя на с'едение старцу-генералу (ибо не может основать личного счастья на несчастьи другого), хотя в то же время любит скитальца. Отлично: она жертвует собой! Но, увы!—Тут же оказывается, что жертва эта не добровольная: «я другому отдана!» Нанялся—продался. Оказывается, что мать насильно выдала ее за старца, а старец, который женился на молоденькой, не желавшей итти за него замуж (этого старец не мог не знать), именуется в речи «честным человеком». Неизвестно,—что представляет собою мать? Вероятно, тоже что-нибудь всемирное. Итак, вот к какой проповеди тупого, подневольного, грубого жертвоприношения привело автора обилие заячьих идей» (ibid., стр. 264).

Этой «писаревщиной» рушится вся суть речи Достоевского,—в ней слишком много «заячьих» идей, уничтожающих прямоту широких мыслей Достоевского. Такое свойство приводит к тому, что в этой речи люди самых разнообразных на-

правлений найдут для себя оправдание. Гл. Успенский представляет такую возможность. В статье «Секрет» дана художественная картинка, как за речь приходят благодарить Достоевского: муж Татьяны, Маша Булатова—племянница генерала—курсистка, социалист, И. С. Аксаков, сама Татьяна, пришедшая благодарить за Онегина. Всем им угодил Достоевский своей речью.

Да!—с точки зрения Успенского, Достоевский—«мудреный человек». Трудно его понять: определенным, прямым он не хочет быть сам. Он в своей проповеди идет не прямым путем искреннего выявления своих взглядов,—а это всегда ставит человека в комическое положение из-за несоответствия целей способам их осуществления.

Гл. Успенский выявляет не только глубокую пропасть, лежащую между пониманием задач двумя поколениями, не только непонимание Достоевским других, идущих, хотя и разными путями, но к одной высокой цели совершенствования жизни. Не без умысла Успенский вспоминает Достоевского, как автора романа «Бесы», ибо он не понял, не оценил покаянного настроения кающегося интеллигента 70-х г.г. Он «предпочел остановиться и даже во сто раз против действительности преувеличить гнусности и безобразия, обнаруженные в нем, и ни единым словом не попытался отделить от этих гнусностей той самой всечеловеческой задачи русского человека, о которой так хорошо теперь разговаривает на кафедре Общества Любителей Русской Словесности». (Праздн. Пушкина, т. IX, стр. 262).

Неприемлющий неправды Гл. Успенский не мог принять и этой черты речи Достоевского, ибо в этом видел ту «мудреность», что выходит из «фокусничества» 40-х г.г. и что приводит к обилию «всезаячьих» идей,—т.-е. к отсутствию смелости своих мыслей.

Жажда ответа на мучительные искания страдающей души осталась не удовлетворенной. И «что же я внесу в общественное дело? Чем я оживлю общественные учреждения? На чем я осную протест против общественных неправд? У меня личного нет материала для общественного дела, и на деле мы видим, что при беспрерывном гомоне, писаньи, толкотне и разговорах об общем благе, о народе и т. д., ровно ничего человечески простого, нужного другим так же, как и мне, не сделано» (Волей-неволей. IV. Подробности возмутительного случая, т. VII, стр. 238).

И пред Гл. Успенским тот же вопрос:—что-же сейчас нужно сделать? Все жаждут ответа на мучительный вопрос: что сделать для этого многомиллионного народа, доминирующего в России над всеми остальными сословиями,—что сделать, чтобы ослабить действие железных законов, чтобы про-

цесс развития пролетариата не был таков-же, как и на Западе, а шел бы мирным путем.

Это тот вопрос, который поставлен временем, которым мучается современный человек, сознающий свой долг пред народом.

VI.

Интересно—Достоевский, печатая в «Дневнике писателя» свою речь о Пушкине, развил свои мысли, высказанные в ней в предисловии и послесловии, где дал полемический ответ А. Градовскому. Но нигде, ни единым словом он не коснулся статей Гл. Успенского. Он обошел их молчанием. Как и раньше он не ответил на нападки целой группы общественного движения: не отвечал он в свое время и Михайловскому на его статьи о «Бесах», ибо статью в «Гражданине» (№ 50 за 1873 г. Дн. Пис., т, X, стр. 148) за ответ Михайловскому нельзя считать, и нападки Гл. Успенского остались без ответа.

Тем интереснее, конечно, что вопросы, затронутые Гл. Успенским, нашли отклик в статьях другого лица. Когда читаешь «Три речи в память Достоевского» Вл. Соловьева, невольно хочешь сказать, что Вл. Соловьев ответил Гл. Успенскому.

«Достоевский,—по мнению Вл. Соловьева,—не подчинился влиянию господствовавших кругом него стремлений, не следовал покорно за фазисами общественного движения—он предугадывал повороты этого движения и заранее с у д и л их». А судить он мог по праву, ибо имел у себя мерило суждения в своей вере, которая ставила его выше господствующих течений, позволяла ему видеть гораздо дальше этих течений и не увлекаться ими. В силу своей веры Достоевский верно предугадывал высшую, далекую цель всего движения, ясно видел его уклонения от этой цели, по праву судил их и осуждал. Это справедливое осуждение относилось только к неверным путям и дурным приемам общественного движения, а не к самому движению, необходимому и желанному, не к стремлению осуществить общественный идеал. Этот последний и для Достоевского был впереди: он верил не в прошедшее только, но и в грядущее Царство Божие и понимал необходимость труда и подвига для его осуществления... Положительный религиозный идеал, так высоко поднявший Достоевского над господствующими течениями общественной мысли, этот положительный идеал не дался ему сразу, а был выстрадан им в тяжелой и долгой борьбе». (Вл. Соловьев. Собр. сочин., т. Ш, изд. 2-е, стр. 192—193).

Его собственные страдания на пути к идеалу дали ему возможность понимать и страдания других. Напомню статью Достоевского «Одна из современных фальшей» (Дн. Пис. за 1873 г., т. X, стр. 148). Она даст возможность судить о силе

этих страданий. Она же даст возможность судить о правильности оценки Достоевского Вл. Соловьевым.

Мы же на этой основе сделаем одно только заключение: Достоевскому не о чем было спорить с народниками, в частности с Гл. Успенским. Они шли к одной цели,—может быть, разными путями, различно решали отдельные вопросы, но болели одним и тем же. Недаром Достоевский сказал, что «Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но Нечаевцем, не ручаюсь, может и мог-бы...» (Дн. Пис., т. X, стр. 153).

Но его жизнь пошла другим путем: «было непосредственное соприкосновение с народом, братское единение с ним в общем несчастьи, понятие, что сам стал таким-же как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его» (ibid., стр. 157—158).

Это пребывание среди народа переродило его, дало ему понимание правды народной. А эта правда была в Христе, в христианстве. Та правда, о которой говорил и Гл. Успенский. Те сопостановления, которые я сделал раньше, не имеют характера внешних совпадений. В них чуется и внутреннее сродство двух писателей. Тот и другой брали жизнь, как она есть, не скрывая в ней отрицательных ее сторон. Тот и другой, исходя из этих отрицательных сторон, может быть, и сгущая их, искали правды жизни, жизни «по-божецки», болели этими исканиями, как и их герои, т.-е. все тогдашнее общество, и искали выхода в своих мучениях.

И выход был в одном—в народе, его идеалах. Евангельские сестры—обе с одинаковым одушевлением встречали Христа, обе одинаково любили его и стремились к одному—принять Христа, как дорогого гостя. Но каждая—и Марфа и Мария—понимали по своему радушие и готовность угодить гостю. Одна—Марфа—заботилась, чтобы доставить пришедшему все удобства его пребывания в доме в настоящий, ближайший момент. Другая—Мария—заботилась о том радушии, что дает возможность дорогому человеку найти удовлетворение не только в данный момент, но знать и чувствовать и вне дома связь духовную, чувствовать постоянное внутреннее удовлетворение и найти в этом силы для дальнейшей жизни.

Это—«любовь к ближнему» и «любовь к дальнему». Та психологическая или этическая антитеза, всегда и всюду резко обнаруживающаяся в самых разнообразных проявлениях любви.

Для Гл. Успенского—цена прогресса все растет и растет. Растет ответственность пред будущим поколением. Надо сейчас сделать что-то, чтобы шествие железных законов не было мучительно для народа, надо ослабить действие этих законов, чтобы борьба сословий не была так жестока, как на Западе.

Надо устроить жизнь народа путем удовлетворения его насущных потребностей, ибо мы сейчас—цветок, вобравший лучшие соки, но это пусть для прошедшего, для будущего этим цветком быть нельзя. И чтобы осуществить это, необходимо признать всю полноту власти земли,—земли, покрывающей всю жизнь русского народа. Надо сознать в этой власти земли всю силу, покрывающую полноту жизни народа, и служить этой силе. В этом суть прогресса, как понимал его Михайловский, как иллюстрировал его и Толстой. До сих пор в этом направлении ничего не сделано, а мы занимались отвлеченными вопросами. «Когда же настанет время, что в волостном правлении будут говорить о хлебе, земле, сапогах?

С этой точки зрения, конечно, совершенно непонятен Влас, с открытым воротом и обнаженной головой идущий на собирание денег для церкви. Это не решение вопроса, а если и решение, то не решение настоящего времени. Непонятен, конечно, и Достоевский со своим взглядом на народный идеал и искания его народом.

Для Достоевского ясно, что «прогресс человеческий и всечеловечение человеческое» народ понимает только в христианстве, понятом народом, «ведущим все от Христа, воплощающим все будущее свое во Христе и во Христовой истине и не могущим представить себя без Христа» (Дневн. Пис. за 1876 г., т. XI, стр. 268—69). И народ знает Христа, «потому, что во много веков перенес много страданий и в горе своем всегда, сначала и до наших дней, слыхивал об этом Боге-Христе своем от святых своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую до положения жизни» (ibid., стр. 131). На этой почве вырастает «назначение наше, личность и роль... в человечестве...» «потребность наша всеслужения человечеству, даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим интересам» (ibid., стр. 206—207).

Вл. Соловьев сказал, что Достоевский «в силу своей веры верно предугадывал высшую, далекую цель всего движения». У него была именно «любовь к дальнему». Недаром он говорил, что лицо мешает иногда видеть человека. «Не в вещах правда»—говорил он в речи о Пушкине. Ближайшее для него имело значение лишь постольку, поскольку оно подготовляло это будущее Царство Божие: «Все старания «опроститься»—лишь одно переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее. Вы слишком «сложны», чтоб опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей осложненности» (ibid., стр. 65).

В тех же словах Достоевского мы найдем и объяснение, почему Достоевский не полемизировал с Успенским. Ведь, нет между ними антагонизма, а только непонимание друг друга,—«непонимание «серьезных и искренних людей»—это они только не понимают друг друга; а спекулянты дело другое: те друг

друга всегда понимали...» (Дневн. Пис. за 1876 г., т. XI, стр. 52).

Естественно, что в стремлениях к осуществлению идеалов сейчас, для настоящего времени, Гл. Успенский мог в отчаянии, как и Евангельская Марфа, воскликнуть: «Господи, небрежéши ли, яко сестра моя едину мя остави служити; рци убо ей, да ми поможет».

Но как и Евангельская Марфа, мог получить и ответ: «Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу. Мария же благую часть избрá, яже не отымется от нея» (Ев. Луки, гл. X, ст. 40—42).

Такова именно сущность ответа на мучившие вопросы, как и самого Достоевского, так и статьи Вл. Соловьева.

Л. К. Ильинский.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НЕИЗДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО.

Ненапечатанные страницы из „Записок из Мертвого Дома".

(Текст, история отрывка, и почему он не был напечатан).

Из материалов 1 отд. 4 секции Главархива.

Ниже мы приводим отрывок[1]) в несколько страниц, глубоко запрятанных в недрах цензурного ведомства, отрывок, относящийся к «Запискам из Мертвого Дома». Отрывок должен был быть включен в средину второй главы первой части, после рассказа о прекрасном острожном хлебе, славившемся на весь город, о водке, которую каторжане ухитряются доставать, несмотря на все строгости закона, преследующего их за пьянство, и о том, как иные из арестантов вызывающе-дерзко разгуливают по тюремному двору, со всех сторон окруженному палями.

Отрывок был представлен в цензуру; цензура его не запретила. Достоевский мог бы его напечатать; во всяком случае, получить его обратно. Нам кажется это не случайным, что отрывок остался в цензуре, точно Достоевский сам отнесся к нему несколько небрежно. Если вспомнить, как создавались «Записки из Мертвого Дома», как долго Достоевский над ними работал и какое значение он придавал им,—то предположение наше приобретает большую долю вероятности.

Достоевский выезжает из Семипалатинска в Тверь 2 июля 1859 г. Всю осень до конца ноября он работает над «Записками из Мертвого Дома», начатыми не позднее 1855 года, устанавливает окончательную их редакцию. Дальше, в конце ноября же, переезд в Петербург; подготовка первого собрания сочинений (в двух томах в изд. Основского 1860 г.), работа над «Униженными и Оскорбленными», заботы и мытарства в связи журналом «Время». Думается, поэтому, что «Мертвый Дом» обязан Сибири не только содержанием, но и

---

[1]) Отрывок найден в Деле № 77 СПБ. Цензурного Комитета «О дозволении колл. асс. В. Стоюнину издавать газету под названием: «Русскій Міръ». Началось 3-го мая 1858 года.

Дела Цензуры составляют ныне 2-й отдел 1-го Отделения 4 Секции Единого Госуд. Архивного Фонда.

планом и осуществленной композицией. Если не по замыслу, то, во всяком случае, по исполнению «М. Дом» должен быть старше «Села Степанникова», этого первого произведения, с которым Достоевский предстал перед обществом, вновь возрожденный к жизни и творчеству.

У Достоевского были свои причины, чтобы медлить с «Записками из Мертвого Дома». Как ни ценил он высоко «Село Степанниково и его обитателей»—«величайшие недостатки этого произведения, а, главное, может быть, растянутость», были ему вполне ясны, как ясно было и то, что «обделаны только начало и середина, конец писан наскоро». (См. Страхова: «Письма». стр. 121). Кажется, «Село Степанниково», как и «Дядюшкин Сон», и, может быть, даже отчасти и «Униженные и Оскорбленные», сознательно приносится в некую жертву «Мертвому Дому». Если нужно почему-либо спешить, то пусть пострадают от спешки они, а не суровая и мрачная его Wahrheit und Dichtung, которая должна вернуть ему то исключительное место, которое он занял в литературе пятнадцать лет тому назад. Ведь в это время, пока он мучился там, на каторге и в ссылке, в батальоне, выросли во всю величину свою Тургенев и Толстой, и выдвинулись и стали почти вровень с ними,—для тогдашнего читателя, по крайней мере,—Гончаров и Писемский. Читатель уже знал «Дворянское Гнездо» и «Казаков»; «Тысяча Душ» и «Обломов» вызывали его восторги. В «Мертвом Доме» содержание и форма должны быть в полном соответствии, впечатление от него должно стать решающим.

Мы точно не знаем,—мы можем только догадываться,—что именно заставило Достоевского поступиться последним своим «достоянием»: в сентябре 1860 года в № 67 еженедельной «политической общественной и литературной газеты с музыкальными приложениями», в «Русском Мире» Стелловского, стали появляться первые главы «Записок из Мертвого Дома». Первая глава была пропущена цензурой беспрепятственно. На вторую она обратила внимание, и, казалось бы, совершенно с неожиданной стороны. Когда «Записки» были перенесены в журнал «Время» в 1861 году и вышли немедленно отдельным изданием (издание А. Ф. Базунова), критика, как известно, сравнивала «Мертвый Дом» с Дантевским Адом. Но цензуре каторжный быт в первых главах показался слишком легким и соблазнительным для будущих преступников: в «Мертвом Доме» арестанты и вино достают, и в карты играют, и работа не такая уж тяжелая; если не «Рай» то во всяком случае не хуже «Чистилища». Цензурный Комитет, полный сомнения, не берет на себя ответственности за допущение такого соблазна для душ нестойких и запрашивает об этом мнения Главного Управления Цензуры.

МИНИСТЕРСТВО
НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.
Санктпетербургскій
ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТЪ,
С.-тъ Петербургъ.
14 Октября 1860 года.
№ 1003.

Въ Главное Управленіе Цензуры.

Въ № 67 газеты «Русскій Міръ» напечатана первая часть статьи Ф. Достоевскаго, подъ заглавіемъ «Записки изъ мертваго дома», гдѣ въ общихъ чертахъ изображенъ бытъ каторжниковъ втораго разряда.

Въ настоящее время на разсмотрѣніе Цензурнаго Комитета поступила вторая часть означенной статьи, гдѣ подробно описывается вступленіе въ острогъ и первые дни пребыванія въ немъ.

Статья эта, не заключая въ себѣ ничего противнаго Цензурнымъ постановленіямъ, представляется вообще столько же благонамѣренною по изображенію всѣхъ распоряженій и дѣйствій Правительства въ отношеніи арестантовъ съ самой человѣколюбивой стороны, сколько полезною по раскрытію тѣхъ злоупотребленій, которыя дѣлаютъ арестанты.

На напечатаніе этой статьи изъявили свое согласіе Г. Управляющій дѣлами Сибирскаго Комитета и довѣренное лицо отъ министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Но принимая во вниманіе, что при чтеніи подобной статьи, люди неразвитые нравственно, и удерживаемые отъ преступленій единственно строгостію наказаній, вопреки прямому смыслу статьи, человѣколюбивый образъ дѣйствій правительства могутъ принять за слабость опредѣленныхъ закономъ за тяжкія преступленія наказаній, С. Петербургскій Цензурный Комитетъ имѣетъ честь представить означенную статью на разрѣшеніе Главнаго Управленія Цензуры, обозначивъ мѣста, которыя могли бы произвести превратное впечатлѣніе на людей неразвитыхъ.

При семъ Цензурный Комитетъ имѣетъ честь присовокупить, что газета Русскій Міръ имѣетъ, какъ извѣстно, не болѣе 1500 подписчиковъ и при новой редакціи своей, судя по первымъ выпущеннымъ уже нумерамъ, разсчитываетъ преимущественно на публику образованную, а не на массу.

Предсѣдатель Баронъ Медемъ.

Секретарь С. Загибенинъ.

Главное Управление Цензуры статью печатать разрешило. Ответ гласит так:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНІЕ
ЦЕНЗУРЫ.

12 ноября 1860.

№ 1512.

С.-Петербургскому Цензурному Комитету.

Статью получилъ.
15 ноября 1860 г.
Цензоръ

Главное Управленіе Цензуры, разсмотрѣвъ представленіе С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета, отъ 14 истекшаго октября за № 1003, о второй части статьи Ф. Достоевскаго, подъ заглавіемъ **Записки изъ мертваго дома**, 4 текущаго ноября опредѣлило: разрѣшить сію статью къ печати, съ тѣмъ однако, чтобы С.-Петербургскій Цензурный Комитетъ исключилъ изъ оной мѣста, противныя по неблагопристойности выраженій своихъ правиламъ Цензуры.

Корректурные листы означенной статьи у сего возвращаются.

Членъ Главнаго Управленія Цензуры Н. Мухановъ.

Правитель Дѣлъ Пр. Янкевичъ.

Редакция «Русского Мира» знала о сомнениях цензуры. Запрос Цензурного Комитета—от 14 октября, между тем уже от 20 сентября мы имеем следующее письмо от имени Редакции к председателю Цензурного Комитета, барону Медему. Письмо писано рукою Достоевского и его стилем.

РЕДАКЦІЯ
ЖУРНАЛА
РУССКІЙ МІРЪ.

На Вознесенскомъ просп., близъ Измайловскаго моста, д. Соболевской, кв. № 7.

С.-Петербургъ.
20 сентября 1860 г.
№

Письмо Ф. М. Достоевского.

«Редакція имѣетъ честь почтительнѣйше представить Вашему Превосходительству дополненіе къ статьѣ «Записки изъ мертваго дома» на тотъ конецъ, что не найдете ли Ваше Превосходительство возможнымъ допустить къ печатанію статью съ этимъ дополненіемъ, которое совершенно парализирует собою впечатлѣніе, производимое статьею въ прежнемъ ея видѣ, безъ малѣйшаго нарушенія, впрочемъ, истины предмета, которую изволили оцѣнить въ статьѣ Ваше Превосходительство и которою дорожитъ авторъ и редакція.

Если причиной недопущенія статьи къ печати могло служить опасеніе за впечатлѣніе, ведущее къ превратному понятію въ народѣ о каторжной жизни, то теперь статья эта имѣетъ цѣлію произвести то впечатлѣніе, что не смотря ни на какія облегченія участи каторжныхъ, со стороны правительства,—каторга не перестанетъ быть нравственной мукой, невольно и неизбѣжно карающей преступленіе.

Что же касается до выраженнаго Вашимъ Превосходительствомъ мнѣнія, что статья скорѣе могла бы быть дозволена для печатанія въ какомъ-либо другомъ журналѣ (ежемѣсячномъ), то редакція убедительно проситъ Ваше Превосходительство обратить вниманіе Ваше на слѣдующія обстоятельства:

1) Редакція «Русск. Міръ» имѣетъ въ виду сообщить журналу характеръ насколько возможно серьезный; слѣдовательно журналъ предназначается преимущественно для классовъ болѣе или менѣе образованныхъ, а не для массъ, что отчасти видно въ двухъ выпущенныхъ донынѣ №№.

2) Если редакція лишена будетъ возможности продолжить печатаніе статьи,

Его Превосходительству,
Барону Николаю Васильевичу
Медему.

которая потомъ можетъ появиться въ другомъ журналѣ, то ред. Рус. Міръ **въ глазах публики** не будетъ имѣть никакихъ оправданій на помѣщеніе одного лишь начала статьи, безъ обѣщаннаго уже продолженія; а журналистика можетъ подвергнуть укору и публичной насмѣшкѣ редакцію въ самую критическую минуту для изданія—при его первыхъ выпускахъ; истинная же причина прекращенія печатанія статьи в Рус. Мірѣ останется неизвѣстной какъ для публики, такъ и для журналовъ».

Письмо без подписи. Дальше следует отрывок; он начинается со второго листа бумаги и кончается на первом, где письмо от редакции, на обороте этого письма, за подписью: Ф. Достоевскій [1]).

---

[1]) Материал, словно нарочно, так расположен, что производит впечатление, как будто подпись относится и к письму.

Ненапечатанный отрывок.

Однимъ словомъ полная, страшная, настоящая мука царила въ острогѣ безвыходно. А между тѣмъ (я именно хочу это высказать) поверхностному наблюдателю или иному бѣлоручкѣ, съ перваго взгляда жизнь каторжника могла бы показаться даже иной разъ отрадною. «Да Боже мой!—скажет. онъ—посмотрите на нихъ; вѣдь иной изъ нихъ (кто этого не знаетъ?) хлѣба чистаго никогда не ѣлъ, да и не знаетъ какой-такой настоящій хлѣбъ-то на свѣтѣ. А здѣсь, посмотрите, какимъ его хлѣбомъ кормятъ, его каналью, разбойника! Смотрите на него: какъ онъ глядитъ, какъ онъ ходитъ! Да онъ въ усъ никому не дуетъ, даромъ что въ кандалахъ! Вотъ, трубку куритъ; а это еще что? Карты!.. Ба, пьяный человѣкъ! Такъ онъ въ каторгѣ то вино можетъ пить?! хорошо наказаніе!!!

Вотъ что скажетъ съ перваго взгляда человѣкъ посторонній, можетъ быть, благонамѣренный и добрый...

А отчего же этотъ же счастливецъ радъ бы, хоть сейчасъ же бѣжать и бродяжничать? Знаете ли вы, что такое бродяжничество? Объ этомъ когда нибудь скажу подробнѣе. Бродяга по недѣлѣ не ѣстъ, не пьетъ. Спитъ на холодѣ и знаетъ, что всякій свободный человѣкъ, всякій не-бродячій смотритъ на него и ловитъ его какъ дикаго звѣря; онъ знаетъ это и все-таки бѣжитъ изъ острога отъ тепла и хлѣба. Да и вы, коли увѣрены, что онъ счастливецъ, для чего же вы за этимъ счастливцемъ посылаете безпрерывно конвойнаго, а за инымъ такъ и двухъ; за чѣмъ же у васъ такіе крѣпкіе цѣпи зачеркнуто и вписано сверху: кандалы кандалы, замки и запоры? Что хлѣбъ! Хлѣбъ ѣдятъ, чтобы жить, а жизни-то и нѣтъ! Настоящаго-то, сущаго-то, главнаго-то нѣтъ, и каторжникъ знаетъ, что никогда не будетъ; то есть пожалуй и будетъ, да когда?.. Только какъ-бы въ насмѣшку сулится...

Попробуйте, выстройте дворецъ. Заведите въ немъ мраморы, картины, золото, птицъ райскихъ, сады висячіе, всякой всячины... и войдите въ него. Вѣдь, можетъ быть, вамъ и не захотѣлось бы никогда изъ него выйти. Можетъ быть вы и въ самомъ дѣлѣ не вышли бы. Все есть! «отъ добра добра не ищут». Но вдругъ—бездѣлица! вамъ дворецъ обнесутъ заборомъ, а вамъ скажутъ: все твое, наслаждайся! да только отсюда ни на шагъ! И, будьте увѣрены, что вамъ въ тоже мгно-

веніе захочется бросить вашъ рай и перешагнуть за заборъ. Мало того! вся эта роскошь, вся эта нѣга еще живитъ ваши страданія. Вамъ даже обидно станетъ, именно чрезъ эту роскошь...

Да, одного только нѣтъ: волюшки! волюшки и свободушки. Человѣкъ—да не тотъ: ноги скованы, кругомъ вострыя пали, сзади солдатъ со штыкомъ, вставай по барабану, работай подъ палкой, а захочешь повеселиться—вотъ тебѣ двѣсти пятьдесятъ человѣкъ товарищей...

— Да не хочу я ихъ! Не люблю я ихъ, они душегубы, я молиться хочу, а они пахабныя пѣсни поютъ. Какъ же можно жить съ тѣми, кого не любишь, не уважаешь?

— Да такъ и живи! Не хотѣлъ шить золотомъ... и т. д.

Все это арестантъ знаетъ въ совершенствѣ, всѣмъ тѣломъ это знаетъ, не однимъ умомъ [1]); знаетъ еще на придачу, что онъ клейменый и бритый, да еще правъ гражданскихъ лишонъ; онъ отъ того-то всегда золъ, жолченъ и грустенъ; отъ того-то онъ и здоровьемъ хилъ, отъ того-то между арестантами вѣчная свара, сплетня, грызня. Да, отъ того-то вы сами боитесь его; вѣдь безъ конвойнаго въ острогъ не войдете...

Говорятъ когда-то и гдѣ-то, въ каникулярное время, полицейскіе наловили ночью безпріютныхъ собакъ, штукъ [2]) до тридцати, и всѣхъ вмѣстѣ, живыхъ и здоровыхъ, спихали въ одну кучу, въ крытую телѣгу и повезли въ часть. То-то трызня завязалась. Картина глупая, отвратительная! А двѣсти пятьдесятъ арестантовъ въ острогѣ, собравшихся не своей волюшкой, со всего царства русскаго;—живите—молъ какъ хотите, да только вмѣстѣ, да только за палями.—Развѣ это не таже крытая телѣга? Разумѣется не та, а еще получше. Тамъ была только «собачья» грызня, а здѣсь «человѣчья». А человѣкъ—не собака: существо разумное, понимаетъ и чувствуетъ, по крайней мѣрѣ—побольше собаки...

Да! понимаетъ и чувствуетъ каторжникъ, что все потерялъ, вполнѣ чувствуетъ. Онъ, вонъ, пожалуй и пѣсни поетъ, да ведь такъ—фарситъ. Жизнь проклятая и безразсвѣтная! и трудно вообразить это, надо испытать, чтобъ узнать!

Вотъ простой народъ это знаетъ; и безъ опыта. Не-даромъ же онъ назвалъ арестантовъ «несчастными», не даромъ онъ простилъ имъ все, кормитъ ихъ и ублажаетъ. Онъ знаетъ, что тутъ несутъ [3]) великія муки; тутъ «каторга»—«одно слово—каторга!»—какъ говорятъ сами же каторжные [4]).

---

[1]) Зачеркнуто **телом** и сверху написано **умом**.

[2]) В скобках строкой ниже: «(слѣд. стр. 3)», продолженіе на оборотѣ письма отъ редакціи къ цензору Медемъ.

[3]) Въ текстѣ явно прочитывается: **не суть**.

[4]) Зачеркнуто: арестанты.

Ф. Достоевскій.

Из-за задержки ли, по вине цензуры, или по каким-либо иным причинам, продолжения «Записок» в 1860 году не последовало. В 1861 году «Записки» снова начинаются с 1-ой же главы в том же «Русском Мире» (№ 1, января 4-го). В апреле месяце того же года они были перенесены в журнал «Время». В 1862 году вышли в двух изданиях. Этих страниц нигде нет; не появляются они и в последующих изданиях: ни при жизни Достоевского, ни после его смерти, вплоть до последнего издания «Просвещения». Так проявилось, очевидно, исключительно строгое отношение Достоевского к этому своему произведению: к «Запискам из Мертвого Дома». Случайно возникший, не связанный органически с композицией, отрывок нарушил бы и план, и темп и стиль «Записок». Ведь это книга единственная у Достоевского, совершенно не похожая на то, что писалось им раньше и после нее. И прежде всего по сдержанности тона. Ощущается давление крайне напряженной воли, направляемой стремлением к форме, наиболее об'ективной; пафос сжат и сгущен до максимума. Преобладает элемент описательный в рамках рассказа спокойного, как бы незаинтересованного созерцателя, искусно сдавливающего эмоциональную сторону деловитостью и весьма подробой детализацией. В отрывке же тон слишком заинтересованный; речь с первых же строк становится взволнованной, приближаясь по стилю своему к его страстной публицистке эпохи «Дневника Писателя». Мотивы любви и жалости, которые сопровождают большинство глав, принимая участие в постепенном нарастании настроения, здесь выражены в форме рассуждения, даны как некое положение логическое, они крайне ослаблены уже одним тем, что вынуты из обрамляющего их художественного контекста; читатель воспринимает их не в плоскости поэтической убедительности, а преимущественно логического рассуждения на основе страстного ораторского красноречия. Простая форма дневника таинственного Горянчикова об'единяет события и образы вместе с переживаниями повествователя определенной последовательностью во времени. Это единственный порядок, легший в основу всей композиции; потому что развития в пространстве здесь ведь нет и быть не может. Но этот временной порядок, благодаря отрывку, был бы нарушен по крайней мере по отношению к одному из элементов—именно к эмоциональной стороне, которая была бы заранее дана, как некий тезис.

Только два образа—золотой дворец и телега с грызущимися собаками—новые в этом отрывке. В своем дальнейшем художественном творчестве до второго образа Достоевский никогда не снизойдет (В третьей главе второй части, где рассказывается о палачах, Достоевский как бы подчеркнуто пренебрегает этим образом. Стилем бытописателя провинциальной жизни он заносит в свои «Записки», как «иногда в очень

жаркий день посылали палача под конвоем, с длинным тонким шестом, избивать городских собак»... Передается протокольно только факт; факту подыскивается довольно длинное об'яснение; картины того, что происходило при истреблении собак, нет.). Но образ первый, с золотым дворцом, запоминается. В точности Достоевский его не повторит; мотив же его, чувство жизни, его породившее, будет проявляться не один раз. Это прообраз того самого «Хрустального Царства», которое займет такое центральное место в самых главных и наиболее сложных философски-художественных концепциях Достоевского, начиная от «Человека из подполья» и кончая «Великим инквизитором». «Дворец с мраморами, картинами, золотом, птицами райскими, садами висячими. Но вдруг—безделица. Дворец обнесут забором и.. отсюда ни на шаг»...—Так рисуется ему будущее «позитивное счастье», и человек—бунтовщик, посылающий к чорту все «ваши логарифмы», только потому, что хочется «по своей волюшке пожить».

Для исследователя творчества Достоевского «Записки из Мертвого Дома»—книга вдвойне замечательная. Помимо того, что «мирочувствие» творца отпечатлено в ней наиболее непосредственно, менее, чем где либо, осложненное задачами чисто художественными—здесь опыт художественный подводит нас, в смысле материала, непосредственно к своему первоисточнику. Все пережитое Достоевским там, в этой ужасной мучительной обстановке, с 250-ю невольными товарищами,—лица и характеры, воспринятые на каторге, потом развертываются в огромные, универсального значения, образы. Свободною волей художника эти люди будут перенесены в иную плоскость; может меняться фон, окружающая их среда, степень душевной и умственной их напряженности, но рудименты их, основа их личности, там, в «Мертвом Доме». Все последующее творчество Достоевского—так представляется нам—есть в сущности акт возведения им в мировые символы своего личного опыта, приобретенного именно там, в мире отверженных. В этом смысле приведенный отрывок, центральный образ его с золотым дворцом... и бунтующим в нем человеком, впервые здесь выявленный, кажется нам особенно ценным.

А. Долинин.

Старина о «Петрашевцахъ».

Въ настоящую минуту, какъ всемъ извѣстно, производится судъ надъ участниками въ казанской исторіи 6-го декабря. О ходѣ процесса мои читатели вѣроятно уже знаютъ изъ газетъ. Но въ одной газетѣ меня поразило одно замѣчаніе о бывшихъ когда-то «Петрашевцахъ»—извѣстномъ преступномъ обществѣ въ концѣ сороковыхъ годовъ, въ которомъ и мнѣ привелось участвовать, за что я и заплатилъ десятилѣтней ссылкой въ Сибирь и четырехлѣтней каторгой. Замѣчаніе это сдѣлала «Петербургская Газета» в горячей передовой статьѣ о казанской исторіи. Между прочимъ въ статьѣ этой выписаны были изъ сочиненія г-на Стронина «Политика какъ наука» нѣсколько превосходныхъ строкъ, которыя я приведу здѣсь цѣликомъ. Это совѣтъ молодежи идущей «въ народъ»:

«Вмѣсто того, чтобъ идти въ народъ, пользуйтесь случаемъ, онъ самъ придетъ къ вамъ. У васъ есть прислуга, есть кухарка, есть горничная, кучеръ, лакей, дворникъ. Если вамъ хочется быть демократомъ, посадите ихъ съ собою за свой столъ, за свой чай, введите ихъ въ семейную жизнь вашу. Вмѣсто того, чтобы говорить имъ, что нѣтъ Бога и что есть прокламація, какъ начинаетъ поучать всякій глупый либералъ, скажите имъ лучше, что есть сложеніе и вычитаніе, что есть грамота и азбука. А между тѣм, будьте с вашими учениками честны, внимательны, серьезны и не фамильярны, и вообще подайте примѣръ добрыхъ или по крайней мѣрѣ лучшихъ нравовъ».

Теперь собственно о Петрашевцахъ. Вотъ что говоритъ авторъ передовой статьи:

Другая мысль, на которую невольно наводитъ «казанская исторія», представляетъ въ общественномъ сознаніи еще болѣе утѣшительную сторону, а именно, что герои всѣхъ подобныхъ печальныхъ исторій разъ отъ раза становятся все мизернѣе, невнимательнѣе даже для пылкихъ умовъ. Когда-то, 50 лѣтъ назадъ, субъектами политическихъ преступленій въ Россіи были люди, выходившіе изъ среды высшаго, интеллигентнаго общества (декабристы); въ 40 годахъ типъ русскаго политическаго преступника значительно сталъ мельче («петра-

шевцы»); въ началѣ 60 годовъ онъ уже измельчалъ до такъ называемаго мыслящаго пролетаріата («чернышевцы»); въ началѣ 70 годовъ онъ пал до неразвитыхъ, школьныхъ недоучекъ и низкопробныхъ нигилистовъ («нечаевцы»); въ долгушинской исторіи на поприщѣ пропагандистовъ фигурируетъ уже полуграмотный сбродъ; наконецъ въ «казанской исторіи» остается не только еще полуграмотный сбродъ, но съ большимъ оттѣнкомъ еврейскаго элемента и фабричнаго забулдыги. Такое постепенное мельчаніе лучшее доказательство, что преступная политическая пропаганда, послѣ всѣхъ либеральныхъ реформъ нынѣшняго царствованія, никакъ уже не можетъ разсчитывать на увлеченіе ею со стороны сколько-нибудь развитыхъ элементовъ общества, а на народную массу она тѣмъ менѣе можетъ вліять, потому, что народная масса показала, как она встрѣчаетъ своихъ непрошенныхъ пророковъ...

«Дневник писателя»

Жур. Зас. 29 января 1877 г., ст. 2.

Мысль автора о ничтожности у насъ революціонной пропаганды безъ сомнѣненія вѣрная, хотя и выражена неясно; тутъ многое надо было точнѣе опредѣлить ради пользы дѣла. Но я замѣчу лишь о Петрашевцахъ, что врядъ-ли правъ авторъ, указывая на их примѣрѣ объ измельчаніи политическаго преступника сравнительно съ декабристами. Прибавлю, что мысль эту объ «измельчаніи» я уже давно слышалъ; она не разъ уже повторялась въ печати, вотъ почему я и останавливаюсь на ней теперь повстрѣчавъ ее кстати. По моему, коренное измѣненіе типа политическаго преступника произошло у насъ лишь за послѣдніе двадцать лѣтъ; но Петрашевцы были совершенно еще одного типа съ декабристами, по крайней мѣрѣ по тѣмъ существеннымъ признакамъ типа, на которые указываетъ самъ авторъ статьи. Авторъ говоритъ, что декабристы были люди «выходившіе изъ среды высшаго интеллигентнаго общества». Но чѣмъ же инымъ были Петрашевцы? Въ составѣ декабристовъ дѣйствительно можетъ быть было болѣе лицъ въ связяхъ съ высшимъ и богатѣйшимъ обществомъ; но вѣдь декабристовъ было и несравненно болѣе числомъ, чѣмъ Петрашевцевъ, между которыми было тоже не мало лицъ въ связяхъ и въ родствѣ съ лучшимъ обществомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и богатыхъ. Къ тому же высшее общество нисколько вѣдь не сочувствовало замыслу декабристовъ, и въ немъ не участвовало даже и косвенно, такъ, что съ этой стороны не могло имъ придать никакого особаго значенія. Типъ декабристовъ былъ болѣе военный, чѣмъ у Петрашевцевъ, но военныхъ было довольно и между Петрашевцами. Однимъ словомъ, я не знаю въ чемъ видитъ различіе авторъ. И тѣ и другіе принадлежали безспорно совершенно къ одному и тому же господскому, «барскому», такъ сказать, обществу, и

въ этой характерной чертѣ тогдашняго типа политическихъ преступниковъ, т. е. декабристовъ и Петрашевцевъ, рѣшительно не было никакого различія. Если же между Петрашевцами и было нѣсколько разночинцевъ (крайне немного), то лишь въ качествѣ людей образованныхъ, и въ этомъ качествѣ они могли явиться и у декабристовъ. Вообще же говоря, мѣщане и разночинцы не могли быть ни у декабристовъ, ни у Петрашевцевъ въ значительномъ числѣ, но лишь потому, что они тогда и не являлись въ числѣ. Что же до «интеллигентности», какъ высшаго качества декабристовъ надъ Петрашевцами, то въ этомъ авторъ совсѣмъ уже ошибся: общество декабристовъ состояло изъ людей несравненно менѣе образованныхъ, чѣмъ Петрашевцы. Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшіе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведеній—изъ университетовъ, изъ Александровскаго лицея, изъ училища Правовѣденія и изъ самыхъ высшихъ спеціальныхъ заведеній. Было много преподающихъ и спеціально занимающихся наукой. Впослѣдствіи, послѣ помилованія ихъ, многіе изъ нихъ заявили себя весьма замѣтно, и если брать всѣхъ Петрашевцевъ, то есть не однихъ сосланныхъ въ Сибирь, а и наказанныхъ въ Россіи ссылкой по крѣпостямъ и на Кавказѣ, или удаленіемъ на службу въ отдаленные города, или, наконецъ, просто оставшихся подъ надзоромъ, то весьма и весьма многіе изъ нихъ заявили себя потомъ съ большою честью в наукѣ, какъ профессора, какъ естествоиспытатели, какъ секретари ученыхъ обществъ, какъ авторы замѣчательныхъ ученыхъ сочиненій, какъ издатели журналовъ, какъ весьма замѣтные беллетристы, поэты, и вообще какъ полезные и интеллигентные дѣятели. Повторяю, по отношенію къ образованію Петрашевцы представляли типъ высшій передъ декабристами.

Разумеется, наблюдателямъ объ «измельчаніи» типа многое могло представиться невѣрно и потому еще, что Петрашевцы были несравненно малочисленнѣе декабристовъ, существовали самый короткій срокъ и заключали въ составѣ своемъ, въ большинствѣ людей болѣе молодыхъ, чѣмъ декабристы.

Чтобъ заключить, скажу, что вообще типъ русскаго революціонера, во все наше столѣтіе, представляетъ собою лишь наияснѣйшее указаніе до какой степени наше передовое, интеллигентное общество разорвано съ народомъ, забыло его истинныя нужды и потребности, не хочетъ даже и знать ихъ, и вмѣсто того, чтобъ дѣйствительно озаботиться облегченіемъ народа, предлагаетъ ему средства въ высшей степени несогласныя съ его духомъ и съ естественнымъ складомъ его жизни, и которыхъ онъ совсѣмъ не можетъ принять, если-бы даже и понялъ ихъ. Революціонеры наши говорятъ не то и не про то, и это цѣлое уже столѣтіе. Нынѣ же, отъ многихъ и сложныхъ

причинъ, о которыхъ мы непремѣнно скажемъ слово въ одномъ изъ будущихъ выпусковъ «Дневника»,—нынѣ получился типъ русскаго революціонера до того уже отличный отъ народа, что оба они другъ друга уже совсѣмъ окончательно не понимаютъ: народъ ровно ничего не понимаетъ изъ того, чего тѣ хотятъ, а тѣ до такой степени раззнакомились съ народомъ, что даже и не подозрѣваютъ своего съ нимъ разрыва (какъ все же подозрѣвали, напримѣръ, Петрашевцы), напротивъ не только прямо идутъ къ народу съ самыми странными словами, но и въ твердой, блаженнѣйшей увѣренности, что ихъ непремѣнно пойметъ народъ. Эта каша можетъ кончиться лишь сама собою, но тогда только когда восполнится и заключится циклъ нашего европейничанья и мы всѣ воротимся на родную почву всецѣло.

Съ реформами нынѣшняго царствованія естественно началось изученіе и познаніе нужд народныхъ уже дѣятельно, въ живой жизни, а не закрыто и отвлеченно, какъ прежде. Такимъ образомъ получается новый еще неслыханный слой русской интеллигенціи, уже понимающій народъ и почву свою. Новый слой этотъ наростаетъ и укрѣпляется все шире и тверже, и это несомнѣнно. На этихъ-то новыхъ людей и вся надежда наша...

Настоящая заметка предназначалась к январьскому номеру «Дневника писателя» 1877 года, была уже набрана, но в заседании главного управления по делам печати от 29 января была запрещена. Корректура ее находится в деле о «Дневнике писателя», хранящемся в 1-м отделении 4-й секции Государственного архивного фонда.

Статья, которой вызвана заметка, напечатана в номере 16-м «Петербургской Газеты», от 23 января, под заглавием «По поводу политического процесса», и принадлежит, по всей вероятности, редактору газеты И. А. Баталину. Составлена она крайне резко. Общее заключение, к которому автор ее приходит, сводится к нижеследующему: «современная пропаганда основана на эксплоатации невежества, глупости и безнравственности. Вот почему она ничего другого, кроме презрения, не может найти в ответ себе ни в обществе, ни в народе».

Достоевский, как известно, определенно отрицательно относился к революционным у нас выступлениям в 60-х и 70-х годах прошлого столетия, но он никогда не высказывал презрения к активным участникам таких выступлений. Их действия в его глазах являлись роковыми ошибками, вызванными не глупостью или безнравственностью, а, наоборот, глубоким идеализмом, к сожалению, только временами лишь слишком наивным и совершенно оторванным от родной почвы. «Юношество наше, писал он в начале 1876 г.[1]),

[1]) «Дневник писателя» 1876 г., январь, глава третья.

ищет подвигов и жертв. Современный юноша, о котором так много говорят в разном смысле, часто обожает самый простодушный парадокс и жертвует для него всем на свете, судьбою и жизнью; но ведь все это единственно потому, что считает свой парадокс за истину. Тут лишь непросвещение: подоспеет свет и сами собою явятся другие точки зрения, а парадоксы исчезнут, но за то не исчезнет в нем чистота сердца, жажда жертв и подвигов, которая в нем так светится теперь,—а вот это-то и всего лучше». В таком же духе высказался Достоевский и по поводу самой демонстрации в конце 1876 года: «Молодежь пятого декабря на Казанской площади, говорил он в «Дневнике писателя» [1]), без сомнения лишь «настеганное стадо» в руках каких-то хитрых мошенников, судя, по крайней мере, по фактам, указанным «Московскими Ведомостями»... Без сомнения, тут дурь, обезьянья подражательность с чужого голоса, но все-же их могли собрать лишь уверив, что они собраны во имя чего-то высшего и прекрасного, во имя какого-то удивительного самопожертвования для величайших целей. Пусть даже это «искание своего идеала» слишком в немногих из них, но эти немногие царят над остальными и ведут их за собою,—это уже ясно... Виновата главным образом двухсотлетняя наша оторванность «от почвы и от народной правды».

Но так думал о молодежи Достоевский не только в 1876 году, когда в общественно-политической его деятельности намечается ясный поворот в сторону смягчения своих разногласий с народничеством,—молодежь он щадит, нравственные качества ее ставит высоко и в 1873 году, в том-же «Дневнике писателя» [2]), комментируя свой роман «Бесы» и рассуждая о Нечаеве и «нечаевцах». «У нас,—говорит он, быть может, под влиянием критики,—можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем! Это и не у нас одних, а на всем свете так, всегда и сначала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний. Но у нас это более чем где-нибудь возможно, и именно в наше время, и эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени...» Почему, спрашивает Достоевский, увлекающаяся молодежь должна состоять непременно из одних только «праздных недоразвитиков» и из шалопаев с самыми дурными наклонностями? Ведь могли же стать на «Нечаевскую» дорогу в свое время Петрашевцы, «в случае если-б так обернулось дело». А это были люди образованные, почти все они окончили курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые вспоследствии, когда уже все прошло, заявили себя замечательными специальными зна-

---

[1]) 1876 г., декабрь, глава третья.
[2]) № 16—«Одна из современных фальшей».

ниями, сочинениями. «Мы, Петрашевцы, заявляет он далее не без гордости, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас сочло-бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давно прошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос: неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами,—даже,—может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстреляньем, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно-страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь,—может быть, и раскаявались в иных тяжелых делах своих—(из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те понятия, которые владели нашим духом—представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго.

Сравнивая с только что приведенными словами отношение Достоевского к Петрашевцам, высказываемое в публикуемой нами статье его, мы видим, что это отношение его отличается постоянством. Незабываемым навсегда остался для него этот эпизод в его жизни, и никогда от него не отрекался он.

Что же касается утверждения Достоевского, что Петрашевцы, так же, как декабристы, «принадлежали бесспорно совершенно к одному и тому-же господскому, «барскому», так сказать, обществу», и что «в этой характерной черте тогдашнего типа политических преступников, т. е. декабристов и Петрашевцев, решительно не было никакого различия»—то с этим трудно согласиться.

В этом отношении прав, конечно, В. И. Семевский, справедливо указавший на то, что «Петрашевцы не могли похвастать участием в их кружках князей, графов и баронов, хотя на собраниях у Кашкина и бывали князья П. Трубецкой и С. Черкасский», что «в их среде было, действительно, не мало учителей и чиновников», и что «члены этих кружков, вообще, принадлежали к несколько более демократическому слою общества, чем декабристы» [1]).

---

[1]) В. И. Семевский. Из истории общественных идей в России в конце 1840-х годов. Стр. 8.

Своего обещания сказать слово в одном из будущих выпусков «Дневника писателя» о многих и сложных причинах, вследствие которых получился тип русского революционера, до того отличный от народа, что оба они друг друга уже совсем окончательно не понимали, Достоевскому так и не удалось исполнить, быть может, вследствие цензурных затруднений. Но в разных местах «Дневника» за 1876 г. он неоднократно затрагивал вопрос об оторванности нашей интеллигенции от народа и о взаимном непонимании между ними. С особенной же силой и яркостью высказался он по поводу этого вопроса в письме к московским студентам от 18 апреля 1878 года [1]).

С. Переселенков.

---

[1]) Газ. «Русь» 1881 г., № 14, стр. 20—21. Ч. Ветринский. Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках. М. 1912. Стр. 293—297.

ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ.

Из материалов Пушкинского Дома о Достоевском.

В рукописном отделении Пушкинского Дома сосредоточилось уже немалое количество материалов о Достоевском, и исполнившаяся 30-го октября 1921 г. столетняя годовщина со дня его рождения делает вполне своевременным опубликование некоторых из этих материалов.

На первом месте сообщаем 21 неизданное письмо Достоевского: к А. В. Старчевскому (2), П. А. Демидову, А. П. Милюкову, двум неизвестным (2), Л. А. и О. А. Милюковым, А. Н. Майкову (11) и П. А. Исаеву (3) [1]; они обнимают период времени в 30 лет (1846-1847—1877 гг.) и касаются разнообразных отношений Достоевского—и литературных, и общественных, и деловых, и семейных—и, в общем, вносят много нового и ценного в собрание первоисточников для изучения жизни и истории творчества писателя. Материал этот дается в обработке нижеподписавшегося.

Во второй группе новых материалов мы помещаем: а) два письма Достоевского к П. Е. Гусевой и б) отрывок из воспоминаний А. Г. Достоевской: Ф. М. Достоевский в 1871—1872. Письма и отрывки снабжены пояснениями М. Л. Гофмана.

Наконец, в обработке Н. К. Козмина даны письма Достоевского к Я. П. Полонскому: «Из сношений Ф. М. и М. М. Достоевских с Полонским».

Б. Модзалевский.

Из переписки Достоевского.

Серия имеющихся в нашем распоряжении новых писем Достоевского открывается двумя небольшими записками его (находящимися в Дашковском собрании Пушкинского Дома) к Альберту Викентьевичу Старчевскому (род. 1818, ум. 1901), извест-

[1]) В приготовлении их к печати оказали нам помощь сотрудники Пушкинского Дома: Б. И. Коплан, Л. Л. Кун, Д. Н. Маркович и В. Н. Модзалевская.

ному журналисту и редактору многих повременных изданий («Библиотека для Чтения», «Сын Отечества», «Родина» и др.); в 1845—1853 г. он редактировал «Справочный Энциклопедический Словарь», издававшийся К. Крайем; I, V и XII томы этого «Словаря» вышли в 1847 г.; в V-м (буквы И, І и начало К) была помещена обширная статья об иезуитах, которую, вероятно, и имеет в виду Достоевский в своей первой записке; это обстоятельство и соображение о крайней недостаточности Достоевского в 1846—1847 гг., когда он вынужден был искать заработка и не гнушаться никакою работой (в том числе и корректорской), и дают нам основание датировать записки именно этими годами; почерк записок также указывает на раннюю эпоху их написания; наконец, из документов архива Старчевского (в Дашковском собрании Пушкинского Дома) видно, что в доме Шпигеля, указанном на адресе второй записки Достоевского, Старчевский жил именно в 1847 году.

Воспоминания А. В. Старчевского об «Энциклопедическом Словаре» см. в «Историческом Вестнике» 1890 г., т. 41, стр. 507—550. О работе у него Достоевского он в них не упоминает.

1. А. В. Старчевскому.

[1846—1847 г. Петербург].

За той формой, которая вамъ посылается, просидѣлъ я не отрываясь пять часовъ. Статью о Іезуитахъ слѣдовало бы всю переписать. Трудность и мѣшкотность въ томъ, что приходится ч и н и т ь, а не передѣлывать вовсе; да тутъ же надо соблюдать выгоду типографіи и не вымарать всего. Поправишь, да еще не щегольски поправишь, а просидишь четверть часа надъ двумя строчками. Билетики же можно будетъ зачеркивать какъ угодно.

Остальныя двѣ формы принесу самъ, сижу не отрываясь, у меня всего оставшихся 10 формъ. За 3-мя формами приходится сидѣть въ день часовъ 12.

Ѳ. Достоевскій.

2. А. В. Старчевскому.

[1846—1847 г. Петербург].

Милостивый Государь

Альбертъ Викентьевичъ.

Мнѣ ни разу не говорили о вашемъ посланномъ и я самъ съ нетерпѣніемъ ждалъ его. Посылаю вамъ ваши листы; они не просмотрѣны. Я нездоровъ приливами крови въ голову и заниматься рѣшительно не могу по приказанію доктора. Ко-

тда буду въ состояніи работать,—заработаю. Если же работы для меня не будетъ, то отдамъ, данное мнѣ вами впередъ, деньгами тотчасъ же по выходѣ Словаря. За симъ пребываю

Вашъ весь

Ѳ. Достоевскій.

На оборотѣ: Его Высокоблагородію Альберту Викентьевичу Старчевскому. На углу Офицерской и Фонарнаго переулка, домъ Шпигеля.

* * *

В Дашковском же собрании находятся оригиналы писем Достоевского к родным его первой жены: тестю—Д. С. Константу, дочери последнего—Варваре Дмитриевне и пасынку—П. А. Исаеву. Письма эти, очень важные для биографии писателя (числом 42), опубликованы, не совсем исправно и без всяких комментариев, в «Северном Вестнике» 1891 г., октябрь (стр. 7—29) и ноябрь (стр. 5—34), с приложением письма Достоевского к директору Омского Корпуса А. М. Павловскому, договора со Стелловским об отдельном издании «Идиота» и двух заметок: из записной книжки—о классическом и реальном образовании—и незаконченной рецензии об игре Васильева в комедии Островского «Грех да беда на кого не живет» (по подлинникам из того же собрания). При этом, однако, лицо, опубликовавшее все эти материалы, пропустило две приписки на письмах Достоевского его первой жены, Марии Дмитриевны, рожд. Констант, вдовы Александра Ивановича Исаева. О ней лишь вскользь упоминается в биографиях писателя, а между тем, в жизни его,—особенно в период, последовавший за выходом его из «Мертвого Дома» эта женщина сыграла видную и благотворную роль. Современники лишь глухо говорят о ней, и образ ее неясен, почему нам представляется уместным привести здесь две упомянутые приписки, как единственный пока голос самой Марьи Дмитриевны, в жизнеописании Достоевского вполне заслоненный энергичной и монументальной фигурой его второй жены, деловитой и хлопотливой Анны Григорьевны (ум. 1918).

Достоевский познакомился с М. Д. Исаевой в 1855 г., незадолго до того, как она овдовела; ее несчастие очень его тронуло, и зародившаяся любовь, вместе с желанием поддержать молодую вдову с 8-ми-летним мальчиком, привела к браку, который и был совершен в г. Кузнецке 6 марта 1857 г. Упоминания о Марье Дмитриевне, всегда восторженные, мелькают в письмах Достоевского к его близкому другу, барону А. Е. Врангелю (см. «Биография, письма... Достоевского», С.-Пб. 1883, отд. 1, стр. 145 и след., отд. 2, стр. 78 и след.). Н. Н. Страхов, познакомившийся с М. Д. Достоевскою

в самом конце 1859 г., уже в Петербурге, пишет, что она «произвела на него очень приятное впечатление бледностию и нежными чертами своего лица, хотя эти черты были неправильны и мелки; видно было и расположение к болезни, которая свела ее в могилу (Биография... Достоевского, С.-Пб. 1883, отд. I, стр. 171; ср. стр. 145, 150, 151, 153). Смерти этой предшествовала какая-то тяжелая драма между супругами; о ней Достоевский рассказывает подробно и чрезвычайно откровенно в письме к барону А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г., почти через год после событий. «... Существо, любившее меня и которое я любил без меры,—жена моя умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей, от чахотки. Я переехал вслед за нею, не отходил от ее постели всю зиму 1864 года, и 16 апреля прошлого [1864] года она скончалась, в полной памяти... О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Все расскажу Вам при свидании,—теперь же скажу только то, что, несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно-фантастическому характеру),—мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю мою жизнь. Когда она умерла,—я, хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что̀ я хороню с нею,—но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землей. И вот уж год, а чувство все то же, не уменьшается» и т. д. («Биография»..., отд. I, стр. 278—279; ср. «Русск. Стар.» 1881 г., т. XXXII, стр. 35). Детей у Достоевских не было, и всю любовь своего горячего сердца Достоевский перенес на пасынка своего—сына Марии Дмитриевны от первого ее брака, Павла Исаева, который впоследствии причинял ему так много забот, хлопот, волнений и даже горя... Публикуемые приписки М. Д. Достоевской показывают, что это была женщина образованная, чувствительная и вполне «ровня» своему знаменитому мужу. Вот эти приписки:

а) Приписка М. Д. Достоевской к сестре своей, В. Д. Констант, на письме Ф. М. Достоевского к Д. С. Константу от 20 апреля 1857 г. из Семипалатинска.

Чтобъ не потерять случай, а тѣмъ болѣе, что мы такъ давно не писали одна другой, я принялась нацарапать тебѣ, Варя, нѣсколько строкъ. Я думаю, вы уже надавали мнѣ нѣсколько

эпитетовъ за мое молчаніе, но право и мнѣ пришлось ожидать отъ Васъ вѣсточки не малое число недѣль. Мужъ мой посылаетъ Вамъ всемъ поклонъ и проситъ полюбить его такъ же братски, какъ когда-то любила ты искренно добраго Ал. Ив... Хотѣлось бы многое написать и такъ о чемъ поболтать, да подходитъ время отправки писемъ. Скажу тебѣ, Варя, откровенно—если-бъ я не была такъ счастлива и за себя и за судьбу Паши, то право нужно было (бы) поссориться съ тобою, какъ съ не доброю сестрою, но въ счастьи мы всѣ прощаемъ. Я не только любима и балуема своимъ умнымъ, добрымъ, влюбленнымъ въ меня мужемъ,—даже уважаема и его родными. Письма ихъ такъ милы и привѣтливы, что, право, остальное стало для меня трынъ-травою. Столько я получила подарковъ, и все одинъ другого лучше, что теперь будь покойна, прійдется мало тебя безпокоить своими порученіями.

Поцѣлуй за меня Соню, Лиду и поклонись всѣмъ, кто захочетъ меня вспомнить. Если ты не полѣнишься и будешь писать мнѣ, то я всегда съ удовольствіемъ буду отвѣчать тебѣ. Паша кланяется тебѣ и Лидѣ, онъ очень любимъ и балуемъ Ѳ. Михайл.

* * *

Варвара Дмитриевна Констант—незамужняя сестра М. Д. Достоевской; письмо к ней Ф. М. Достоевского из Парижа от 1-го сентября н. ст. (20 августа по старому) 1863 г. опубликовано в «Ниве» 1891 г., № 4, вместе с письмом его же к М. Д. Исаевой от 4-го июня 1855 г. (подлинники обоих писем в Пушкинском Доме).

Тесть Достоевского, отец адресатки,—Дмитрий Степанович Констант,—в 1857 г. занимал должность директора Карантинного Дома в Астрахани и имел чин коллежского советника; то же место занимал и в 1865 году. Письмо Достоевского к Д. С. Константу от 20 апреля 1857 г. см. в «Сев. Вестн.» 1891 г., № 10, стр. 7—8.

Паша—пасынок Ф. М. Достоевского, Павел Александрович Исаев (р. 1847, жив 1881), нежно им любимый, но доставлявший своему вотчиму много огорчений. Письма к нему Достоевского см. в «Сев. Вестн.» 1891 г., № 10 и 11, и ниже, №№ 18, 19 и 20.

Ал. Ив.—Александр Иванович Исаев, первый муж Марьи Дмитриевны Достоевской († 4 августа 1855 г. в Кузнецке); о своих отношениях к нему Достоевский, характеризующий его, как «человека образованного, даровитого, доброго и простодушного», и очень его любивший («Сев. Вестн.» 1891, № 11, стр. 21), рассказывает в письме к своему тестю, Д. С. Константу, от 20 апреля 1857 г. (см. «Сев. Вестн. 1891 г., № 10, стр. 7) и к барону А. Е. Врангелю от 14 августа 1855 г.—«Биогр., письма... Достоевского», С.-Пб. 1883 г., отд. 2, стр. 78—80).

б) Приписка М. Д. Достоевской к отцу своему, Д. С. Константу, на письме к нему же Ф. М. Достоевского от 15 марта 1858 г. из Семипалатинска[1]).

Пользуюсь и я случаемъ, милый, добрый Папинька, написать Вамъ нѣсколько строкъ и поздравить Васъ съ наступающимъ праздникомъ. Желаю Вамъ отъ души здоровья и всего лучшаго. Ѳ. М. занялъ на листѣ такъ много мѣста и такъ подробно описалъ всѣ наши предположенія, что мнѣ остается только поцѣловать и пожелать Вамъ душевнаго спокойствія. Прощайте, да хранитъ Васъ Господь.—Остаюсь любящая и уважающая Васъ дочь М. Достоевская.

* * *

Подлинник следующего письма Достоевского—к П. А. Давыдову — находится также в Дашковском собрании Пушкинского Дома. Оно интересно подробностями о пребывании Достоевского в Твери, предшествовавшем его возвращению в Петербург, где он был уже к началу декабря 1859 г.

3. П. А. Давыдову.

Тверь 14 октября 1859 г.

Милостивый Государь

Петръ Андреевичь.

Увѣренъ, что Вы крайне удивляетесь и даже негодуете на меня за мое молчаніе. Обѣщался писать и увѣдомить скоро и, между тѣмъ, ни слуху, ни духу, точно исчезли. Но не очень сердитесь, дорогой и любезнѣйшій Петръ Андреевичь: безъ вины виноватъ передъ Вами. Я своихъ знакомыхъ никогда не забываю. А Васъ я уже давно отличилъ, какъ честнѣйшаго и благороднѣйшаго человѣка. Если же до сихъ поръ молчалъ, не смотря на то, что обѣщался какъ можно скорѣе вамъ написать объ извѣстномъ дѣлѣ, то это единственно отъ огромныхъ хлопотъ, которыя здѣсь выпали на мою долю. Хлопоты самыя разнообразныя. Дѣло въ моемъ переѣздѣ въ Петербургъ. Это дѣло приняло такія разнообразныя и затруднительныя формы, потребовало столько многоразличныхъ хлопотъ, о которыхъ я и не подозрѣвалъ, что я сдѣлался какъ-то несвободенъ духомъ, до тѣхъ поръ, покамѣстъ все улажу и устрою, что, впрочемъ, идетъ на ладъ. Не то чтобы время у меня было не свободно; духомъ я былъ несвободенъ. Вотъ почему и молчалъ и все ждалъ, какъ уладится главное, что меня безпокоитъ. Тогда, повторялъ я себѣ, тогда напишу всѣмъ моимъ Сибирскимъ друзьямъ. Повѣрите-ли, что я никому еще не писалъ въ Семипалатинскѣ, ни Михаилу Алек-

[1]) Письмо Достоевского см. в «Сев. Вестн.» 1891 г., № 10, стр. 11—12.

сандровичу, ни Гейбовичамъ (хотя и получилъ отъ него письмо изъ Ая-гуза). Гейбовичу непремѣнно напишу на этой же недѣлѣ. Ему я обѣщалъ письмо длинное и подробное; да и онъ меня не забылъ. Добрѣйшаго и благороднѣйшаго Михаила Александровича тоже увѣдомлю. Жена каждый день собирется писать къ Еленѣ Ивановнѣ и откладывала все до необходимѣйшаго устройства нѣкоторыхъ дѣлъ. Выходитъ, что Вамъ я пишу первому, такъ какъ передъ Вами я виноватъ (хоть и безъ вины). Знаю, что надо было раньше увѣдомить. Но къ дѣлу. Первымъ словомъ моимъ брату моему, въ первый же день по свиданіи съ нимъ, было о Васъ. Онъ сказалъ, что дѣло было бы прекрасное, но у него нѣтъ такого точно мѣста, которое необходимо Вамъ. Я подробно и добросовѣстно изъяснился съ нимъ о Вашихъ потребностяхъ. Жалованіе 35 р. въ мѣсяцъ, на Вашемъ содержаніи, для Васъ не годится. На этихъ условіяхъ братъ былъ бы очень согласенъ. Но я знаю, что эти условія для Васъ рѣшительно не годятся. Братъ говорилъ мнѣ резонно: что если вызвать Васъ изъ Сибири, съ семействомъ, и вдругъ Вы увидите, что нужды Ваши въ Петербургѣ пересилятъ средства, тогда,—говорилъ мнѣ братъ,—«ты на себя пенять долженъ, что напрасно обнадежилъ человѣка и поступилъ легкомысленно». Я это все очень хорошо понимаю. Спрашивалъ я брата о другихъ мѣстахъ; онъ сказалъ, что жалованія и вездѣ такія всѣмъ у него; но что вообще мѣста такъ разнообразны и многочисленны, что, разумѣется, можно современемъ найти, что слѣдуетъ. И потому вотъ мое заключеніе: на будущій годъ искать нечего. Но въ будущемъ году, если Вы позволите мнѣ, я буду работать для Васъ, и въ будущемъ году надежды могутъ имѣть успѣхъ. Во первыхъ самъ буду въ Петербургѣ, а во 2-хъ черезъ людей (а у меня они есть)—въ Петербургѣ можно все сыскать, рѣшительно все. Повторяю мое обѣщаніе, что если что и сообщу Вамъ въ теченіи будущаго года, то сообщу точно и положительно, а не легкомысленно. Впрочемъ Вы терять ничего не можете. Мнѣ чрезвычайно бы хотѣлось, чтобы Вы не оставались въ Сибири, и потому у меня Ваши интересы на сердцѣ. Если что найдется хорошаго тѣмъ лучше будетъ для Васъ; свѣденія будутъ сообщены Вамъ точныя и положительныя и окончательное рѣшеніе будетъ совершенно зависѣть отъ Васъ. Напишите мнѣ что нибудь и увѣдомьте о своихъ намѣреніяхъ. Я увѣренъ, благороднѣйшій мой Петръ Андреевичъ, что Вы не захотите раззнакомиться со мною изъ одной лѣни писать. На письмо Ваше отвѣчу болѣе подробно, чѣмъ теперь; ибо теперь имѣю въ виду только увѣдомить Васъ о главномъ дѣлѣ. Большой поклонъ мой Настасьѣ Петровнѣ. Жена тоже ей кланяется. Поклонитесь отъ меня и домашнимъ Вашимъ, если захотите имъ сообщить это письмо.

До свиданія, любезнѣйшій Петръ Андреевичъ. Желаю Вамъ здоровья и всякаго успѣха. Напишите что-нибудь о Семипалатинскѣ. Адресъ мой: въ г. Тверь, въ домѣ Гальянова, близь Почтамта, Напишу Вамъ и о себѣ подробнѣе.

Вашъ весь Ѳедоръ Достоевскій.

Адресат этого письма определяется карандашной на нем пометкой П. Я. Дашкова: «Акмолинскому купцу Давыдову»; это был, без сомнения, один из сибирских знакомцев Достоевского в после-каторжный период; сведений о нем мы не имеем. Очевидно, уезжая в Россию, Достоевский обещал Давыдову устроить ему службу в Петербурге—в предприятии своего брата Михаила Михайловича Достоевского, который в это время имел собственную табачную фабрику, при чем дело это шло настолько хорошо, что его папиросы с сюрпризами расходились по всей России (Воспоминания А. П. Милюкова о Ф. М. Достоевском—«Русск. Стар.» 1881 г., т. XXXI, стр. 35); были они хорошо известны и в Семипалатинске, и одна из тогдашних молодых знакомок Достоевского—Зинаида Артемьевна Гейбович (по мужу Сытина)—в воспоминаниях своих о писателе подробно описывает эти папиросы с сюрпризами (см. «Историч. Вестн.» 1885, № 1, стр. 124; см. о фабрике еще в книге «Биография, письма... Достоевского», С.-Пб., 1883, отд. I, стр. 223 и отд. II, стр. 203). Гейбович была дочерью того самого Артемия Ивановича Гейбовича, который состоял ротным командиром 7-го Сибирского линейного батальона,—следовательно, являлся непосредственным начальником Достоевского; последний приказом от 1-го октября 1856 г. назначен был, с производством в прапорщики из унтер-офицеров, в этот батальон, в котором и прослужил до выхода своего в отставку, подпоручиком, 18-го марта 1859 г. И сам Гейбович, и все его семейство, были очень расположены к Достоевскому и к его жене, находившим в их доме теплый прием, уют, участие и даже ласку. В своих воспоминаниях З. А. Сытина опубликовала длинное дружеское и очень интересное письмо Достоевского к ее отцу (упоминаемое в настоящем письме к Давыдову) из Твери, от 23-го октября 1859 г., в Аягуз (Сергиополь) (l. c., стр. 128—137); оно может служить прекрасным комментарием к публикуемому здесь письму Достоевского к Давыдову.

Достоевский получил разрешение приехать жить в Петербург в конце ноября 1859 г.

О Михаиле Александровиче упоминается и в письме к А. И. Гейбовичу; кто это, нам неизвестно.

Настасья Петровна—жена Гейбовича.

Дом Гальянова, в котором жил в Твери Достоевский, интересен тем, что упоминается и Пушкиным в известном шуточном письме его к Соболевскому (1826 г.):

У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери,
С пармазаном макарони,
Да яишницу свари...

Гальяни, или Галлиани, итальянец родом, славился в Твери, в 1820—1840-х гг., своею гостинницею для приезжающих и рестораном, от которого получила название Гальянова улица, впоследствии переименованная в Пушкинскую (В. Колосов, А. С. Пушкин в Тверской губернии в 1827 г., Тверь. 1888, стр. 1—3).

Следующим, в хронологической последовательности, письмом Достоевского, еще не изданным и хранящимся в подлиннике в Пушкинском Доме, является его письмо к Александру Петровичу Милюкову. В нем говорится о крестинах маленького сына Милюкова,—вероятно, того самого Бибы, которого Достоевский, около 7 лет спустя (см. ниже, письмо от февраля 1867 г. к дочерям Милюкова), рассчитывал видеть на своей свадьбе в качестве икононосца. Вот это письмецо:

4. А. П. Милюкову.

Любезнѣйшій Александръ Петровичъ,

Извѣщаю Васъ, что я не поѣду въ Воскресеніе, а, кажется, во Вторникъ. И потому крестить у Васъ могу. Прошу Васъ, въ свою очередь, извѣстить меня по городской почтѣ: въ какой часъ завтра произойдетъ крещеніе? полагаю, что сейчасъ послѣ вечеренъ.

Я же приступаю къ писанію и не знаю еще, что будетъ, но рѣшаюсь работать не разгибая шеи.

Вашъ весь

Ѳ. Достоевскій.

10 Сентября
860 г.

Александр Петрович Милюков (род. 1818, ум. 1897), автор известного в свое время «Очерка истории Русской поэзии» (1847), в которой он проявил себя сочувственником и единомышленником Белинского и за это пострадал по службе,—популярный педагог и плодовитый литератор; он был издавна знаком с Достоевским—еще с 1848 г., когда Достоевский только начинал свою литературную деятельность,—и в 1849 г. также был арестован по делу Петрашевского; для Милюкова, впрочем, все обошлось трехдневным пребыванием в Петропавловской крепости; известный рассказ Достоевского об

аресте, помеченный 24-м мая 1860 г., записан был им самим в альбом 10-летней дочери Милюкова—Ольги—и впоследствии опубликован в Воспоминаниях Милюкова о Достоевском в «Русской Старине» 1881 г. (т. XXX, стр. 705—706). В этих воспоминаниях А. П. Милюков упоминает и о настоящем письме Достоевского, говоря о возобновлении литературной деятельности Достоевского по возвращении его из ссылки: «в сентябре 1860 г., извещая меня о готовности быть крестным отцом моего сына, он пишет, между прочим: «приступаю к писанию и не знаю еще, что будет, но решаюсь работать, не разгибая шеи». И действительно, он принялся за литературную работу с усиленной энергией. Кроме того, что он принял деятельное участие в журнале «Время», который вскоре после того был основан его братом, явились один за другим романы его...» («Русск. Стар.» 1881 г., т. XXXI, стр. 40). Тут же Милюков приводит (стр. 41—42) отрывок из другого письма к нему Достоевского, из Висбадена в 1865 г. и из с. Люблина в июле 1866 г. (стр. 43—44). Это последнее письмо появилось в печати и полностью—в «Русском Вестнике» 1889 г., № 2, стр. 358—361. Об отношениях Милюкова и Достоевского см. в воспоминаниях Н. Н. Страхова в книге «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», С.-Пб. 1883, стр. 170 и след., а о самом Милюкове—в статье Б. Л. Модзалевского «Альбом О. А. Милюковой»—в «Известиях Отделения Русского языка и словесности», т. XVII (1912), кн. 4 и отд. отт., С.-Пб. 1913. Ср. ниже под № 7—письмо Достоевского к дочерям Милюкова.

* * *

К кому обращено следующее небольшое письмецо Достоевского, не знаем. Александр Федорович Базунов, на письмо которого ссылается Достоевский, был известный в свое время книгоиздатель и книгопродавец, комиссионер Имп. Академии Наук, Морского Ученого Комитета и Министерств Юстиции и Финансов; его благоустроенный книжный магазин был на Невском проспекте, у Казанского моста (дом № 30) и памятен благодаря превосходному «Систематическому каталогу русским книгам» 1825—1869 гг., составленному В. И. Межовым (С.-Пб. 1869, 995 стр.), с Первым, Вторым, и Третьим и Четвертым Прибавлениями (3 т., 1870, 1871 и 1873 гг.,—около 900 стр.). Базунов умер в 1899 году («Петербургский Некрополь», т. I, стр. 125). «Записки из Мертвого Дома» были изданы Базуновым в 1862 г. (печатаны в типографии Иосафата Огризко), в 2-х томиках; в 1867 г. он же издал первое отдельное издание «Преступления и Наказания», а в 1871 г.—«Вечного мужа»—в серии предпринятой им «Библиотеки Современных Писателей».

5. Неизвестному.

Милостивый Государь.

Я сообщилъ Базунову о предполагаемомъ Вашемъ изданіи и онъ ни за что не соглашается на перепечатку Записокъ изъ Мерт. Дома, не смотря на всѣ мои доводы. Взгляните на его письмо, прочтите его все, если Вамъ угодно, и Вы увидите хочетъ-ли онъ позволить. Я же не имѣю теперь (на два года) никакого права на эти «Записки», продавъ ихъ Глазунову. И потому, къ величайшему моему сожалѣнію, ни редакціи на себя не могу взять, ни даже согласиться на перепечатку. Развѣ какихъ нибудь 8 или 10 страницъ. Очень сожалѣю, но что дѣлать? Черезъ два года, если Вы будете еще продолжать Ваше изданіе, перепечатайте хоть нѣсколько главъ. А теперь нельзя.

8 Октября 1862. Ѳедоръ Достоевскій.

* * *

Следующая выписка из письма Достоевского сохранилась в архиве А. Н. Майкова, которому, быть может, была доставлена женою Евгения Михайловича Феоктистова (известного начальника Главного Управления по делам печати)—Софьею Александровною, рожд. Беклемишевой. В записке речь идет об отрывке из поэмы Аполлона Николаевича Майкова «Жаждущий»; в «Русском Вестнике» появилась (1867 г., кн. 1) лишь первая (и единственная) часть этой поэмы, под заглавием «Странник», которая, действительно, была читана Майковым на Карамзинском вечере (ср. «С.-Пб. Вед.» 1866 г., № 324 и «Современная Летопись» 1867 г., № 13), устроенном Литературным Фондом, коего Майков был одним из членов-учредителей (1859), а Достоевский—членом Комитета (1863—1866). Действие отрывка (он посвящен Ф. И. Тютчеву), как и всей поэмы, происходит в мире раскола. «Я воспользовался», говорит сам Майков, «поэтическими образами, созданными фантазией значительной части русского народа, устремившегося по этому пути» (Полное собрание сочинений, изд. 5-е, А. Ф. Маркса, т. II, С.-Пб. 1888, стр. 491), при чем сюжет и обстановка сцены взяты Майковым из повести П. И. Мельникова-Печерского «Гриша».

6. Отрывок из письма к неизвестному.

Петербугъ. Ноября 16/66.

... А. Н. Майковъ написалъ драматическую сцену, въ стихахъ, листа въ полтора печатныхъ (не менѣе, можетъ и болѣе). Это произведеніе можно назвать безъ всякаго колебанія chef d'oeuvre'омъ изъ всего того, что онъ написалъ.

Оно называется «Странникъ». Три лица, всѣ трое раскольники бѣгуны. Еще въ первый разъ въ нашей поэзіи берется тема изъ раскольничьяго быта. Какъ это ново и какъ это эффектно! и какая сила поэзіи! Я слышалъ ее на разныхъ чтеніяхъ (въ домахъ) и не устаю слушать, но каждый разъ открываю новое и новое. Всѣ въ восторгѣ. Онъ будетъ читать ее здѣсь на юбилеѣ Карамзина (отъ Литературнаго Фонда). Изученіе быта и сущности его и ученій—глубокое и богатое. Много новаго. Онъ мнѣ говорилъ самъ, что на этой недѣлѣ ѣдетъ въ Москву предложить это произведеніе редакціи Русскаго Вѣстника. Онъ никому не хочетъ иначе. Во всякомъ случаѣ—это богатое пріобрѣтеніе въ нашей поэзіи.

Пометы: Доставлено Ѳеоктистовой и (рукою А. Н. Майкова): отрывокъ изъ письма Ѳ. М. Достоевскаго.

* * *

Записка Достоевскаго к дочерям А. П. Милюкова (см. выше)—Людмиле и Ольге Александровнам касается женитьбы писателя на Анне Григорьевне Сниткиной; венчание предполагалось сперва 12-го февраля 1867 г.,—о чем писал он сам Н. Н. Страхову, приглашая его быть одним из свидетелей при бракосочетании («Биография . . . », отд. I, стр. 284—285) и жалуясь на хлопоты и нездоровье,—но состоялось лишь 15-го февраля (там же и стр. 293) в Троицком соборе, в Измайловском полку. Биба, упоминаемый в письме—крестник Достоевского, маленький брат барышень Милюковых (см. выше, письмо № 4). Из них об Ольге Милюковой см. в статье Б. Л. Модзалевского в «Известиях Отделения Русского языка и словесности» 1902 г., т. XVII, кн. 4; о Людмиле же Александровне мы знаем лишь то, что она умерла 3-го февраля 1901 г. («Петербургский Некрополь», т. III, стр. 128).

Л. А. и О. А. Милюковым.

[Первая половина февраля 1867 г. Петербургъ].

Многоуважаемыя
Людмила Александровна и
Ольга Александровна,

Напоминаю Вамъ Ваше милое обѣщаніе быть у меня на свадьбѣ и беру смѣлость ждать васъ навѣрно. Вы мнѣ сдѣлаете и честь и несказанное удовольствіе. Въ послѣднее время, сначала страшныя хлопоты (которыя не знаю уже когда кончатся), а потомъ болѣзнь, заставили меня сидѣть дома безвыходно, а то-бы я непремѣнно еще разъ пригласилъ-бы Васъ лично. Очень радъ, что Биба выздоравливаетъ и, вообразите,

я такъ расчитывалъ, что онъ поѣдетъ съ образомъ! Я все думалъ его навѣстить и только что выйду со двора,—зайду непремѣнно.

Васъ проситъ тоже очень, черезъ меня, Анна Григорьевна. Она особенно мнѣ поручила просить Васъ, хотя и не имѣетъ еще никакого права прямо обращаться къ Вамъ. Но надѣюсь, что Вы ее узнавъ полюбите. Она давно уже любитъ Васъ, за Ваше доброе сочувствіе моему счастію и по безпрерывнымъ разсказамъ моимъ. Итакъ досвиданія.

Вамъ искренно и совершенно преданный

Ѳедоръ Достоевскій.

* * *

Далее мы печатаем по подлинникам, находящимся в Пушкинском Доме, 11 неизданных писем Достоевского к Аполлону Николаевичу Майкову; они сохранились среди других писем его к поэту, уже опубликованных (впрочем,—с пропусками, которые теперь можно бы восстановить, и не совсем исправно), во 2-м отделе книги: «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», С.-Пб. 1883 (стр. 168—259), при чем письма эти (числом 27) начинаются с 16/28 августа 1867 г.[1]) и кончаются 21-м апреля (3-м мая) 1871 г.[2]). Они имеют первостепенное значение для биографии Достоевского, благодаря богатству фактических данных, в них заключающихся, и тому тону полной откровенности, в котором писаны. Один из давних знакомцев Достоевского, впервые увидавший его в 1844 году у Белинского (см. «Биография», отд. 2, стр. 194), Майков был очень близок по своему миросозерцанию,—славянофильскому, но особого оттенка,—к Достоевскому; последний неоднократно говорит об этой близости в своих письмах к поэту[3]), к которому его привязывали еще и семейные, и деловые отношения. Близость эту Достоевский постарался закрепить еще и тем, что пригласил Майкова быть восприемником троих своих детей—дочерей Софьи (скончавшейся младенцем) и Любови и сына Федора. Майков (письма которого к Достоевскому в печати еще не появлялись) отвечал своему другу тем же, считая его

---

[1]) Факсимиле части этого письма см. во «Всемирной Иллюстрации» 1881 г., № 6.

[2]) В той же книге опубликовано и еще одно (28-е) письмо Достоевского к Майкову, от 18-го января 1858 г., из Семипалатинска (отд. 2, стр. 83—87), в ответ на письмо Майкова, но подлинник его находится в Московском Историческом Музее (см. у А. Г. Достоевской; Библиографический указатель..., Спб. 1906, стр. 7).

[3]) Напр., в письме от 15/27 мая 1869 г. он выражается «мы с вами... по сердцу и по сердечными встречам, по душе и дорогим убеждениям—почти однокашники. Даже выводы ума и всей прожитой жизни нашей до странности, в последнее время, стали схожи у нас обоих...»

своим единомышленником; это видно, между прочим, и по черновому отрывку из письма Майкова к Достоевскому от конца 1877 г., публикуемому нами в настоящей статье (см. ниже), и по многим местам писем Достоевского, начиная с самого первого письма его, от 18 января 1856 г. («Биография»..., отд. I, стр. 83 и сл.); о той же близости свидетельствует и то краткое надгробное слово Майкова, которое дошло до нас в торопливом черновом наброске автора. Приводим здесь, по подлинной рукописи (но по новой орфографии), этот набросок, как документ важный и ценный для понимания миросозерцания обоих поэтов:

«Мне говорят, что я должен сказать что-нибудь пред этой могилой. Но мне трудно говорить. И теперь бьется сердце, и дома, когда я хотел написать несколько стихов покойному. Сорок почти лет дружбы и почти единомыслия сделали для меня Достоевского потребностью. Об нем сказано было и написано много. Но не сказано того, что для меня казалось самым великим проявлением его души: это—к а к и м он возвратился из Сибири. Не разбитым, не озлобленным, не возгордившимся ею,—нет, примиренным и просветленным. «Там я узнал, говорил он, русский народ, народ—в его историческом и человеческом образе, и по этому народу узнал Христа», а это такое благо, за которое не много—заплатить каторгой. Это-то примирение и просветление, это возрождение умом и сердцем дало силу его таланту и ту мудрость его разуму, которые сделали его светильником для всех жаждавших света и способных его принять» [1]).

Те же мысли высказал Майков и в своей небольшой речи, прочитанной за него О. Ф. Миллером в торжественном заседании Славянского Благотворительного Общества 14-го февраля 1881 года в память Достоевского («Русь» 1881 г., № 18, 14-го марта, стр. 14—15, в брошюре «В память Ф. М. Достоевского», изданной Обществом, С.-Пб. 1881, и в книге: «Первые 15 лет существования С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества», С.-Пб. 1883, стр. 651—653). Сказав здесь о том, как трудно ему, по причине слишком близких и слишком давних своих отношений к Достоевскому, выразить свое о нем суждение, Майков говорит, что отношения эти «установились почти с самого появления в печати «Бедных людей», прервались в 1849 году на много лет, но возобновились тотчас же по возвращении Федора Михайловича из Сибири. Годы, проведенные им заграницей, с 1867 г. по 1871 г. включительно, вызвали между нами постоянную переписку, которая еще более закрепила в нас общность идей и взглядов, симпатий и антипатий,

[1]) Подлинник—в Майковском архиве в Пушкинском Доме.

так что, по возвращении из-за границы в Петербург, видаться часто сделалось нашею взаимною потребностью. Но мы видались, говорили и переписывались, как все простые скромные смертные, ничего не подозревающие», продолжает Майков. «Смерть прервала эти беседы,—и, вдруг, над гробом Федора Михайловича раздался всеобщий голос публики, и не только здешней публики, но всей читающей России, что этот мой давний собеседник, друг и приятель—гений, что он в своих трудах принес целое откровение; молодежь называет его своим учителем, ораторы провозглашают его пророком. Его берут, так сказать, от его близких, от спутников его жизни, чуть не от семьи, и объявляют его достоянием целой России. Что нам остается делать при громе этого приговора, несущегося со всех сторон, от всех возрастов, со всех ступеней общества—нам, его бывшим друзьям? Нам остается только отступить, сквозь слезы радоваться за усопшего друга и присоединить свой голос к общему голосу». Далее Майков, говоря, как важно для понимания писателя, «и особенно русского писателя», знать его «внутренний мир», «его идеалы—нравственные, философские, политические, его понимание России, ее значения в мире, ее истории»,—«этот, так сказать, идеальный очерк писателя, его душевный и умственный портрет»,—утверждает, что портрет этот дать могут не близкие люди писателя, а сам он—своими произведениями, даже не своею перепискою, «ибо в письмах человек пишет иногда под влиянием минуты, иногда шутки, и шутка принимается в серьез». «Однако же», продолжает Майков: «мы беседовали с ним по многим часам в течение многих лет, вырабатывали сообща многие идеи, спорили, судили друг друга, помогали, таким образом, один другому уразумевать вещи. Текущие дела, отдельные случаи частной и общей жизни, великие события, которые мы пережили во внутренней жизни нашего отечества и на мировом поприще,—все это приводилось к своему всемирно-историческому значению: все мелкое, случайное, преходящее приводилось в логическую связь с общим началом. Узнать прошедшее, чтобы понять настоящее и угадать будущее—вот что было характером бесед с Федором Михайловичем; дойти до понимания—вот к чему он стремился, вот, чего он желал всем. «О, если бы люди только «поняли», на земле был бы рай», говаривал он. Мы уж знали, что значило это «если бы люди поняли», т. е., что именно поняли?—Да полагаю, что догадываетесь и вы, милостивые государи. Это он говорил о людях вообще, о роде человеческом. Но сердце его в особенности горело по России»...

При такой духовной близости друзья легко понимали друг друга и в личной беседе, и на письме. Поэтому переписка их имеет особенное значение,—тем более, что все в ней

писалось «всерьез», а отнюдь не для шутки. Мы увидим, какие задушевные мысли высказывает Достоевский Майкову в своих ныне публикуемых письмах, из коих некоторые окажутся чрезвычайно полезными для его будущего биографа и исследователя истории его миросозерцания вообще и отдельных произведений в частности; этот биограф отметит его высказывания о России и о русском народе, предсказания о будущих судьбах нашего отечества, отзывы о «гнилом» Западе и Европе; историю создания «Идиота» и собственное мнение автора об этом романе, идею «Бесов», выраженную в ярком и сжатом виде; признания о психологии своего творчества; некоторые литературные суждения и отзывы о литературных явлениях и деятелях—о Белинском, Салтыкове, Елисееве, Тургеневе, Л. Толстом, Н. Я. Данилевском и других; не говорим уже о любопытных житейских подробностях быта Достоевского заграницей в 1867—1871 гг., о его отношении к жене и детям и т. д. и т. д.

Первое письмо к Майкову (хронологически—четвертое во всей серии писем к нему Достоевского) касается истории романа «Идиот», который, будучи начат 18-го декабря н. ст. 1867 г., стал печататься уже с 1-го январьского № «Русского Вестника» за 1868 г. Достоевский послал его Каткову при следующем письме, которое мы считаем уместным привести здесь полностью, в виду того, что оно опубликовано было на страницах мало кому ведомого «Журнала Журналов» (1915, № 2, стр. 3):

Женева. $\frac{\text{24 Декабря}}{\text{5 Января}}$ 1867/8 г.

Въ Редакцію Журнала Русскій Вѣстникъ.

Посылаю въ Редакцію для напечатанія въ Русскомъ Вѣстникѣ первую часть моего романа «Идіотъ».

Весьма сожалѣю (и безпокоюсь), что не могъ съ этою почтой выслать всю первую часть, а только пять главъ, шестая и седьмая главы будутъ высланы на дняхъ и редакція получитъ ихъ никакъ не позже, какъ черезъ пять дней по полученіи этихъ первыхъ пяти главъ.

Это совершенно вѣрно. Затѣмъ, вторая часть романа получится въ Редакціи никакъ не позже перваго Февраля (новаго стиля). А третья часть (которая даже вся почти отдѣлана) еще раньше 1-го Марта. Ошибки съ моей стороны быть не можетъ. Боюсь только и безпокоюсь, не опоздалъ-ли теперь, такъ какъ, на этотъ разъ, не знаю распоряженій Редакціи на счетъ выхода первой (январской) книги журнала. Помѣщеніе же моего романа въ первомъ нумерѣ составляетъ для меня чрезвычайно важный расчетъ.

Все, что посылаю теперь, заключается въ 64 полулистикахъ почтовой бумаги малаго формата. Сегодня же посылаю письмо Михаилу Никифоровичу особо.

Ѳедоръ Достоевскій.

* * *

Первое письмо к Майкову, еще не опубликованное (четвертое со времени отъезда Достоевского заграницу, от теснивших его в Петербурге кредиторов) важно для истории романа «Идиот», в котором автор, по его словам, задался целью «изобразить вполне прекрасного человека»; оно писано уже после 8-месячного заграничного пребывания.

8. А. Н. Майкову.

Женева. 12 Янв. [1868 г.]—31 Декабря/67.

Дорогой и добрый другъ, Аполлонъ Николаевичъ, настало, наконецъ, время, что могу написать вамъ нѣсколько страничекъ! Что вы обо мнѣ подумали: что я забылъ васъ? Я знаю, что вы этого не подумаете. Вѣрите-ли: Ни одного часу не было времени; я говорю буквально. Я всѣхъ забылъ. Что дѣлаетъ мой бѣдный Паша [1]), которому я уже два мѣсяца денегъ не посылалъ? (Ни копѣйки нѣтъ, буквально, чтобъ отослать!). Пишу къ вамъ и опишу все, а отъ васъ буду ждать съ болѣзненнымъ нетерпѣніемъ отвѣта. Неизвѣстность меня убиваетъ.

А со мной было вотъ что: работалъ и мучился. Вы знаете, что такое значитъ сочинять? Нѣтъ, слава Богу, вы этого не знаете! Вы на заказъ и на аршины кажется не писывали и не испытывали адскаго мученія.—Забравъ столько денегъ въ Русскомъ Вѣстникѣ (ужасъ! 4500 р.) я вѣдь сначала года вполнѣ надѣялся, что поэзія не оставитъ меня, что поэтическая мысль мелькнетъ и развернется художественно къ концу-то года и что я успѣю удовлетворить всѣхъ. Это тѣмъ болѣе казалось мнѣ вѣроятнѣе, что и всегда въ головѣ и въ душѣ у меня мелькаетъ и даетъ себя чувствовать много зачатій художественныхъ мыслей. Но вѣдь только мелькаетъ, а нужно полное воплощеніе, которое всегда происходитъ нечаянно и вдругъ, но расчитывать нельзя, когда именно оно произойдетъ; и за тѣмъ уже, получивъ въ сердцѣ полный образъ, можно приступить къ художественному выполненію. Тутъ уже можно даже и расчитывать безъ ошибки. Ну-съ: все лѣто и всю осень я компоновалъ разныя мысли (бывали иныя презатѣйливыя), но нѣкоторая опытность давала мнѣ всегда предчувствовать или фальшь или трудность или мало-

[1]) Пасынок Достоевского, П. А. Исаев.

выжитость иной идеи. Наконецъ я остановился на одной и началъ работать, написалъ много, но 4-го декабря иностраннаго стиля бросилъ все къ чорту. Увѣряю васъ, что романъ могъ бы быть посредственъ; но опротивѣлъ онъ мнѣ до невѣроятности именно тѣмъ, что посредственъ, а не положительно хорошъ. Мнѣ этого не надо было. Ну что же мнѣ было дѣлать? вѣдь 4-е декабря! А между тѣмъ обстоятельства житейскія представляешь въ слѣдующемъ видѣ.

Писал-ли я вамъ, не помню (я ничего ведь не помню), что я, наконецъ, когда уже пресѣклись всѣ мои средства, написалъ Каткову[1]) просьбу высылать мне по 100 р. ежемѣсячно? Кажется писалъ. Согласіе воспослѣдовало и мнѣ стали присылать акуратно. Но въ письмѣ моемъ къ Каткову (въ благодарственномъ) я подтвердилъ положительно, честнѣйшимъ словомъ, что романъ ему будетъ, и что я въ декабрѣ вышлю въ Редакцію количество романа значительное (Ещебы, когда писалось и столько было написано!). Потомъ я написалъ ему, что расходы мои чрезвычайны и что нельзя-ли выслать изъ опредѣленной мнѣ суммы (пяти-сотъ руб.) одинъ разъ (на декабрь) не 100, а 200 р. Въ декабрѣ воспослѣдовало согласіе и присылка, и именно къ тому времени, когда я романъ—уничтожилъ[2]). Что мнѣ было дѣлать? Всѣ надежды мои рухнули. (Я постигъ вѣдь наконецъ, что работа и романъ есть вся и главная моя надежда, что напиши я романъ удовлетворительный, то оплачу долгъ въ Редакцію, вамъ, пришлю значительно Пашѣ и Эм. Ѳедоровнѣ[3]) и самъ просуществую; а напиши я романъ хорошій,—то и второе изданіе продамъ и можетъ быть что нибудь получу и половину или ⅔ векселънаго долга заплачу и въ Петербургъ ворочусь). Но все рухнуло.—Получивъ 200 р. отъ Каткова, я написалъ ему подтвержденіе, что романъ будетъ непремѣнно для январскаго номера, просилъ извиненія, что придетъ первая часть въ Редакцію поздно, но къ 1-му Января (нашего стиля) непремѣнно, и очень просилъ не выпускать перваго № Русскаго Вѣстника безъ моего романа (№ никогда вѣдь не выходилъ ранѣе половины мѣсяца).

За тѣмъ (такъ какъ вся моя будущность тутъ сидѣла) я сталъ мучиться выдумываніемъ новаго романа. Старый не хотѣлъ продолжать ни за что. Не могъ. Я думалъ отъ 4-го

---

[1]) Редактор-издатель «Русского Вестника». Об отношениях его и Достоевского см. в статьях Б. Л. Модзалевского «Достоевский—сотрудник «Русского Вестника» и «Достоевский о Братьях Карамазовых»—в «Былом» 1919 г., № 14 и 15.

[2]) Все эти письма Достоевского к Каткову в печати неизвестны; ср. статью Б. Л. Модзалевского «Достоевский—сотрудник «Русского Вестника». Неизданные письма Ф. М. Достоевского 1866—1873 г.г.—в «Былом» 1919 г., № 14, стр. 30—52.

[3]) Вдова Мих. Мих. Достоевского.

до 18-го декабря новаго стиля включительно. Среднимъ числомъ я думаю выходило плановъ по шести (не менѣе) ежедневно. Голова моя обратилась въ мельницу. Какъ я не помѣшался—не понимаю. Наконецъ 18-го декабря я сѣлъ писать новый романъ, 5-го января (новаго стиля) я отослалъ въ редакцію 5 главъ первой части (листовъ около 5) съ удостовѣреніемъ, что 10 янв. (новаго стиля) вышлю остальныя двѣ главы первой части[1]). Вчера, 11-го числа я выслалъ эти 2 главы и такимъ образомъ отослалъ всю первую часть,—листовъ 6 или 6½ печатныхъ.

Первую посылку они должны были получить 30 Декабря (нашего стиля), а вторую получатъ 4-го Января;—слѣдственно, если захотятъ, то первую часть еще могутъ напечатать въ Январѣ. Вторую часть (изъ которой конечно не написано ни строчки)—я далъ честное слово прислать въ Редакцію къ 1-му Февраля (нашего стиля) неуклонно и акуратно.

Поймите же, другъ мой, могъ-ли я думать о письмахъ къ кому нибудь и объ чемъ бы я сталъ писать, спрашивается? А потому поймите, какъ гуманный человекъ, и извините, какъ другъ, мое вынужденное молчаніе. Да и время это было очень тяжелое.

Теперь объ романѣ, чтобъ кончить эту матерію. Въ сущности я совершенно не знаю самъ, что я такое послалъ. Но сколько могу имѣть мнѣнія—вещь не очень-то казистая и отнюдь не эфектная. Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся изъ нея сдѣлать романъ, потому что мысль слишкомъ трудная и я къ ней не приготовленъ, хотя мысль вполнѣ соблазнительная и я люблю ее. Идея эта—изобразить вполнѣ прекраснаго человѣка. Труднѣе этого, по моему, быть ничего не можетъ, въ наше время особенно. Вы конечно вполнѣ съ этимъ согласитесь. Идея эта и прежде мелькала въ нѣкоторомъ художественномъ образѣ, но вѣдь только въ нѣкоторомъ, а надобенъ полный. Только отчаянное положеніе мое принудило меня взять эту невыношенную мысль. Рискнулъ какъ на рулеткѣ: «можетъ быть подъ перомъ разовьется!» Это непростительно.

Въ общемъ планъ создался. Мелькаютъ въ дальнѣйшемъ детали, которыя очень соблазняютъ меня и во мнѣ жаръ поддерживаютъ. Но цѣлое? но герой? Потому что цѣлое у меня выходитъ въ видѣ героя. Такъ поставилось. Я обязанъ поставить образъ. Разовьется-ли онъ подъ перомъ? И вообразите, какіе, сами собой, вышли ужасы: оказалось, что кромѣ героя есть и героиня, а стало быть два героя!! И кромѣ этихъ героевъ есть еще два характера—совершенно главныхъ, то есть почти героевъ. (Побочныхъ характеровъ, въ ко-

[1]) Это письмо Достоевского см. выше, перед настоящим письмом.

торыхъ я обязанъ большимъ отчетомъ—безчисленное множество, да и романъ въ 8 частяхъ). Изъ четырехъ героевъ—два обозначены въ душѣ у меня крѣпко, одинъ еще совершенно не обозначился, а четвертый, т. е. главный, т. е. первый герой—чрезвычайно слабъ. Можетъ быть въ сердцѣ у меня и не слабо сидитъ, но—ужасно труденъ. Во всякомъ случаѣ времени надо-бы вдвое болѣе (minimum) чтобы написать.

Первая часть, по моему, слаба. Но мнѣ кажется еще есть одно спасеніе: то, что еще ничего не скомпрометировано и можетъ быть развито въ дальнѣйшихъ частяхъ удовлетворительно (о, еслибы!). Первая часть есть, въ сущности, одно только введеніе. Одно надо: чтобъ она возбудила хоть нѣкоторое любопытство къ дальнѣйшему. Но объ этомъ я положительно не могу судить. У меня единственный читатель—Анна Григорьевна; ей даже очень нравится; но вѣдь она въ моемъ дѣлѣ не судья.

Во второй части должно быть все окончательно поставлено (но далеко еще не будетъ разъяснено). Тамъ будетъ одна сцена (изъ капитальныхъ), но вѣдь еще какъ выйдетъ? хотя записалось на-черно и хорошо.

Вообще все въ будущемъ, но отъ васъ жду строгаго отзыва. 2-я часть рѣшитъ все: она самая трудная; но вы мнѣ напишите и о первой (хотя я искренно знаю, что она не хороша, но все таки напишите). Кромѣ того, умоляю васъ, увѣдомьте меня, только что выйдетъ Русскій Вѣстникъ,—напечатанъ-ли мой романъ? Все еще боюсь ужасно, что опоздалъ. А явиться въ Январѣ для меня капитально необходимо. Увѣдомьте-же ради Бога тотчасъ, чтобъ мнѣ знать, хоть двумя строчками.

Каткову, при отсылкѣ 1-й части, я написалъ о романѣ почти точно то-же что и вамъ. Романъ называется: Идіотъ. А впрочемъ никто себѣ не судья, особенно сгоряча. Можетъ быть и первая часть недурна. Если я не развилъ главнаго характера, то вѣдь такъ по законамъ всей планировки выходитъ. Вотъ почему и жду вашего сужденія съ такимъ алчнымъ нетерпѣніемъ. Но довольно объ романѣ. Вся эта работа съ 18-го Декабря до того меня разгорячила, что я ни думать, ни говорить не могу ни о чемъ другомъ. Теперь скажу нѣсколько словъ о нашемъ здѣсь житьѣ, съ тѣхъ поръ какъ я вамъ не писалъ.

Мое житье конечно—работа. Но хорошо то, что теперь я, благодаря постоянной присылкѣ ежемѣсячно сто рублей,—совершенно не нуждаюсь. Живемъ съ Анной Григорьевной умѣренно, но совершенно достаточно. Но предстоятъ и траты и необходимо имѣть всегда хоть маленькую сумму въ запасѣ. Черезъ полтора мѣсяца Анна Григорьевна (которая великолѣпно переноситъ свое болѣзненное состояніе) сдѣлаетъ меня

отцомъ [1]). Понимаете сами, какіе тутъ предстоятъ расходы. Но попрошу на это время по 200 р. въ мѣсяцъ и Редакція пришлетъ. Я же ужъ отослалъ туда на 1000 р. почти. А къ 5-му февраля отошлю еще на 1000 (и можетъ быть хорошаго, покапитальнѣе, поэффектнѣе)—стало быть и могу спросить сумму позначительнѣе. Кстати, голубчикъ, еслибъ не уничтоженный романъ, то конечно къ Новому году я бы вамъ заплатилъ то, чѣмъ вы меня одолжили. Но теперь прошу васъ подождать на мнѣ еще мѣсяца два, ибо раньше 2-й части ничего не могу спросить въ Редакціи позначительнѣе. Но къ тому сроку уплачу непремѣнно. Но главное, но самое ужасное мое сокрушеніе—это мысль, что дѣлается съ Пашей? Сердце мое обливается кровью и мысль о немъ, при всѣхъ литературныхъ мученіяхъ моихъ въ декабрѣ приводила меня просто въ отчаяніе! Что онъ дѣлаетъ? Я въ ноябрѣ и въ декабрѣ не посылалъ ему денегъ, но онъ еще до ноября не писалъ мнѣ ничего. При послѣдней выдачѣ денегъ (60 р. отъ Каткова) черезъ васъ я писалъ ему длинное письмо [2]) и еще поручилъ ему сдѣлать маленькую справку, чрезвычайно для меня важную, а для него мелкую. Я умолялъ его отвѣчать мнѣ. Ни одной строчки отвѣта. Ради Бога напишите мнѣ о немъ хоть что-нибудь. Ненавидитъ онъ меня, что-ли? За что-же, за что-же? За то-ли, что я послалъ ему изъ самаго послѣдняго и жду съ жгучимъ нетерпѣніемъ, когда еще пошлю? Не можетъ быть, чтобъ ненавидѣлъ. Я приписываю все-не его сердцу, а его легкомыслію и неумѣнію рѣшиться даже письмо написать, такъ, какъ не рѣшился до двадцати лѣтъ хоть таблицу умноженія выучить.

Онъ жилъ у Эмиліи Ѳедоровны и задолжалъ таки не смотря на то, что я до ноября высылалъ ему достаточно. Черезъ васъ я оплатилъ тогда Эмиліи Ѳедоровнѣ. Но что было въ Ноябрѣ и Декабрѣ? Они сами терпятъ. Ѳедя [3]) работаетъ, но не можетъ всѣхъ содержать, а раньше какъ черезъ мѣсяцъ я не могу выслать денегъ (черезъ васъ, конечно, умоляю васъ, голубчикъ, къ вамъ будутъ приходить деньги отъ Каткова. Не брезгайте моей просьбой и не тяготитесь ими! Они—бѣдные А я вамъ на всю жизнь вашъ слуга, я вамъ докажу, какъ цѣню то, что вы для меня сдѣлали). Завтра пошлю письмо Ѳедѣ. Живутъ ли они у Алонкина? Я просилъ именно о томъ Пашу [4]), чтобъ онъ мнѣ написалъ имя и отчество Алонкина (я забылъ), чтобъ написать Алонкину. Мнѣ Алон-

---

[1]) 22-го февраля 1868 г. у Достоевских родилась дочь Софья; Майков был ее крестным отцом (см. ниже).

[2]) Это письмо от 10/22-го окт. 1867 г.; оно напечатано в «Сев. Вестн.» 1891 г., № 10, стр. 18—21.

[3]) Сын Мих. Мих. и Эмилии Фед. Достоевских, крестник Ф. М. Достоевского, в его честь названный.

[4]) См. «Сев. Вестн.» 1891 г., № 10, стр. 21.

кинъ повѣритъ, но ихъ сгонитъ, если отъ меня ни слуху ни духу, потому что я за ихъ квартиру ему поручился. Ни отъ Паши, ни отъ Эмиліи Ѳедоровны не было отвѣта объ и м е н и и о т ч е с т вѣ. А какъ я напишу письмо безъ имени и отчества Алонкину? Онъ купецъ, онъ обидится.

Впрочемъ, можетъ быть и раньше пошлю имъ денегъ, хотя страшная теперь нужда въ ожиданіи родинъ. Хоть живемъ и не нуждаясь въ насущномъ, но однако жъ вещи постоянно въ закладѣ. При каждомъ полученіи денегъ выкупаемъ, а къ концу мѣсяца опять закладываемъ. Анна Григорьевна моя истинная помощница и утѣшительница. Любовь ея ко мнѣ безпредѣльна, хотя конечно есть много различнаго въ нашихъ характерахъ. (Она вамъ и Аннѣ Ивановнѣ[1]) чрезвычайно кланяется. Она ужасно любитъ васъ за то, что вы цѣните какъ слѣдуетъ ея мать[2]), которую она обожаетъ. Высоко она васъ обоихъ ставитъ во всѣхъ отношеніяхъ, и васъ и Анну Ивановну, и глубоко, съ сердечнымъ жаромъ, самымъ искреннимъ, уважаетъ васъ).

Всего болѣе натерпѣлись мы изъ матеріальныхъ неудобствъ въ Женевѣ отъ холода. О, если бъ вы знали, какъ глупо, тупо, ничтожно и дико это племя! Мало проѣхать путешествуя. Нѣтъ, поживите-ка! Но не могу вамъ теперь описать даже и вкратцѣ моихъ впечатлѣній; слишкомъ много накопилось. Буржуазная жизнь въ этой подлой республикѣ развита до nec-plus-ultra. Въ управленіи и во всей Швейцаріи— партіи и грызня безпрерывная, пауперизмъ, страшная посредственность во всемъ; работникъ здѣшній не стоитъ мизинца нашего: смѣшно смотрѣть и слушать. Нравы дикіе; о, еслибъ вы знали, что они считаютъ хорошимъ и что дурнымъ. Низость развитія: какое пьянство, какое воровство, какое мелкое мошенничество, вошедшее въ законъ въ торговлѣ[3]). Есть впрочемъ нѣсколько и хорошихъ чертъ, ставящихъ ихъ все-таки безмѣрно выше нѣмца. (Въ Германіи меня всего болѣе поражала глупость народа: они безмѣрно глупы, они неизмѣримо глупы). У насъ даже Ник. Ник. Страховъ, человѣкъ ума высокаго[4]),—и тотъ не хочетъ понять правды: «Нѣмцы, говоритъ, порохъ выдумали». Да ихъ жизнь такъ устроилась! А мы в это время великую націю составляли, Азію навѣки остановили, перенесли безконечность страданій, съумѣли перенести, не потеряли русской мысли, которая міръ

---

[1]) Жена А. Н. Майкова, рожд. Штеммер.

[2]) Анна Николаевна Сниткина († 15 іюля 1893), вдова Григорія Ивановича Сниткина (р. 1799, † 1866 г.).

[3]) Ср. в «Біографіи», отд. 2, стр. 181 и особенно стр. 189.

[4]) Другъ Достоевскаго: письма к нему Достоевскаго см. в книге «Біографія», отд. 1 и 2, где и Воспоминания Страхова о Достоевском; неизданные письма Достоевскаго к Страхову—в Рукописном Отделении Библиотеки Академии Наук.

обновитъ, а укрѣпили ее, наконецъ нѣмцевъ перенесли, и все таки нашъ народъ безмѣрно выше, благороднѣе, честнѣе, наивнѣе, способнѣе и полонъ другой, высочайшей христіанской мысли, которую и не понимаетъ Европа съ ея дохлымъ католицизмомъ и глупо противурѣчащимъ себѣ самому лютеранствомъ. Но нечего объ этомъ! А то, что такъ тяжело по Россіи, такая тоска по родинѣ, что рѣшительно чувствую себя несчастнымъ! Читаю газеты, каждый № до послѣдней литеры, Моск. Вѣд. и Голосъ. Спасибо Голосу за его новое направленіе. Поговорилъ бы съ вами много, много, другъ мой; и сколько накопилось-то! Но можетъ быть въ этомъ году обниму васъ. А писемъ отъ васъ жду непремѣнно. Ради Бога, пишите, голубчикъ. Въ моемъ мрачномъ и скучномъ уединеніи—вѣдь это единственное утѣшеніе мое. Анна Григорьевна находитъ себя счастливою тѣмъ, что со мной. Но мнѣ надо и васъ, надо и родины.

Въ Швейцаріи еще довольно лѣсу, на горахъ его осталось еще несравненно болѣе, чѣмъ въ другихъ странахъ Европы, хотя страшно уменьшается съ каждымъ годомъ. И представьте себѣ: 5 мѣсяцевъ въ году здѣсь ужасные холода и бизы (вихри, прорывающіеся сквозь цѣпь горъ). А 3 мѣсяца почти та же зима, какъ у насъ. Дрогнутъ всѣ отъ холода, фланель и вату не снимаютъ (бань у нихъ никакихъ—вообразите же нечистоту, къ которой они привыкли), одеждой зимней не запасаются, бѣгаютъ почти въ тѣхъ же платьяхъ, как и лѣтомъ (а одной фланели слишкомъ мало для такой зимы) и при всемъ этомъ нѣтъ ума хоть капельку исправить жилища! Ну что сдѣлаетъ каминъ съ углемъ или съ дровами, хоть топи в е с ь д е н ь? А весь день топить стоитъ 2 франка въ день. И сколько лѣсу истребляется даромъ, а тепла нѣтъ. И что жъ? Вѣдь только бы однѣ двойныя рамы—и даже с каминами можно бы жить! Я ужъ не говорю—печь поставить. Тогда весь этотъ лѣсъ можно бы спасти. Черезъ 25 лѣтъ его совсѣмъ не останется. Живутъ какъ настоящіе дикіе! За то и переносливы же. У меня въ комнатѣ, при ужасной топкѣ, бывало только +5° реомюра (п я т ь градусовъ тепла!). Сидѣлъ въ пальто и въ этомъ холодѣ ждалъ денегъ, закладывалъ вещи и придумывалъ планъ романа—хорошо? Говорятъ во Флоренціи въ эту зиму было до— 10 градусовъ. Въ Монпелье (Monpellier)[1]) было 15° реомюра холоду. У насъ въ Женевѣ холодъ дальше 8 градусовъ не восходилъ, но вѣдь все равно, если въ комнатѣ вода мерзнетъ. Теперь я перемѣнилъ недавно квартиру и имѣю 2 комнаты хорошихъ, одна постоянно холодная, а другая теплая и у меня теперь постоянно въ этой теплой + 10 или + 11 тепла, слѣдственно еще можно жить. Написалъ столько, а ничего по-

[1]) Sic. Б. М.

чти не успѣлъ высказать! Тѣмъ то я и не люблю писемъ. Главное, жду письма отъ васъ. Ради Бога напишите поскорѣе. письмо ко мнѣ, въ теперешней моей тоскѣ, выходитъ почти до значенія *добраго дѣла*. Да, забылъ васъ попросить: не сообщайте никому того, что я написалъ вамъ объ романѣ, до времени. Не хочу, чтобъ какъ нибудь дошло до Русскаго Вѣстника, потому что я туда солгалъ, написавъ, что у меня *вчернѣ* много ужъ написано и теперь только переписываю и передѣлываю. Я и безъ того успѣю и—кто знаетъ—можетъ быть въ цѣломъ-то выйдетъ и совсѣмъ недурной романъ. Но опять объ романѣ; говорю вамъ—помѣшался на немъ.

Здоровье мое очень удовлетворительно. Припадки бываютъ очень рѣдко и это уже 2½ или 3 мѣсяца сряду.—Мой поклонъ искренній вашимъ родителямъ.—Передайте поклонъ и Страхову, если встрѣтите. А ему поручите передать мой поклонъ Аверкіеву [1]) и Долгомостьеву [2]). Особенно Долгомостьеву. Не видали-ль вы его гдѣ нибудь?

Обнимаю васъ и цалую. Вашъ вѣрный и любящій

Ѳедоръ Достоевскій.

Особенный мой поклонъ Аннѣ Ивановнѣ.

Отъ Яновского [3]) я получилъ письмо. Человѣкъ очень добрый, но иногда удивительный. Я люблю его очень.

9. А. Н. Майкову.

Женева. 18 Февраля / 1 Марта 68.

Добрый, единственный и безцѣнный другъ—(всѣ эти эпитеты къ Вамъ примѣнимы и со счастьемъ ихъ примѣняю). Не сердитесь на мое безсовѣстное молчаніе. Судите меня съ тѣмъ-же умомъ и съ тѣмъ-же сердцемъ, какъ прежде. Молчаніе мое хоть и *безсовѣстное*, но почти вѣдь буквально не возможно мнѣ было отвѣчать,—хоть и порывался нѣсколько разъ. Завязъ съ головой и со всѣми способностями во 2-й моей

---

[1]) Дмитрий Васильевич Аверкиев, известный писатель и драматург.

[2]) Иван Григорьевич Долгомостьев, сотрудник «Времени» и «Эпохи», «умный и благородный молодой человек», по словам Страхова; он умер в сумасшествии в 1867 г. См. «Биографию», отд. 1, стр. 205—206. «Как жалко мне Долгомостьева», писал Достоевский в начале 1869 г. Н. Н. Страхову (там же, стр. 271).

[3]) Доктор Степан Дмитриевич Яновский, старинный (с 1845 г.) знакомец Достоевского и один из преданнейших ему людей, автор Воспоминаний о Достоевском, напечатанных в «Русском Вестнике» 1885 г., т CLXXVI, апрель, стр. 796—819; письмо к нему Достоевского от 4 февраля 1872—в книге «Биография, письма... Достоевского». Спб. 1883, отд. 2, стр. 314—316; ср. там же, отд. I, стр. 140 и др. В архиве А. Н. Майкова находится несколько писем к нему С. Д. Яновского, который умер 1-го июля 1897 г., 79 л. в Швейцарии (В. И. Чернопятов, Русский Некрополь за границей, вып. 2, М. 1909, стр. 47).

части, приготовляя ее къ сроку. Окончательно испортить не хотѣлось,—слишкомъ много отъ успѣха зависитъ. Теперь-же даже и не успѣха надо, а только чтобъ не случилось окончательнаго паденія: въ дальнѣйшихъ частяхъ еще можно будетъ поправиться, потому что романъ выходитъ длинный. Отослалъ наконецъ и 2-ю часть (опоздалъ сильно, но кажется поспѣетъ.—Что Вамъ сказать? Самъ ничего не могу про себя самого выразить. До того даже, что всякій взглядъ потерялъ. Нравится мнѣ финалъ 2-й части, но вѣдь это только мнѣ; что скажутъ читатели? Остальное все, какъ и въ первой части, т. е. кажется довольно вяло. Мнѣ-бы хоть-бы только безъ большой скуки прочелъ читатель,—болѣе ни на какой успѣхъ я не претендую.

Голубчикъ, Вы мнѣ обѣщали тотчасъ же по прочтеніи 1-й части отписать сюда Ваше мнѣніе о ней. И вотъ каждый день шляюсь на почту и нѣтъ письма, а вѣроятно ужъ Вы Русскій Вѣстникъ имѣете. Заключеніе вывожу ясное: что романъ слабъ, а такъ какъ Вамъ говорить мнѣ такую правду въ глаза, по деликатности, и совѣстно и жалко, то Вы и медлите. А я именно въ такой правдѣ нуждаюсь! Жажду какого-нибудь отзыва. Безъ этого просто мученіе.—Правда, Вы мнѣ написали 2 письма еще до выхода,—но не можетъ быть, чтобъ Вы, въ такомъ дѣлѣ, со мной письмами считались! Но довольно объ этомъ.—.—Еслибъ Вы знали, другъ мой, съ какимъ счастьемъ я перечитываю по нѣскольку разъ послѣднее письмо Ваше! Еслибъ Вы только знали, какова моя здѣшняя жизнь и что для меня значитъ полученіе письма отъ Васъ! Никого-то я здѣсь не вижу, ни о чемъ-то не слышу, а сначала года такъ даже и газеты (Москов. Вѣдомости и Голосъ) совсѣмъ не приходили. Живемъ съ Анной Григорьевной глазъ на глазъ и хоть живемъ довольно согласно и другъ друга любя и кромѣ того, оба заняты, а все-таки скучно,—мнѣ по крайней мѣрѣ. Анна Григорьевна увѣряетъ совершенно искренно (я въ этомъ убѣдился), что она очень счастлива. Представьте себѣ, до сихъ поръ еще у насъ нѣтъ ничего и ожидаемый джентльменъ еще не являлся на свѣтъ. Я каждый день жду, потому что всѣ признаки. Ждалъ вчера, въ мои именины; не было. Жду сегодня, а ужъ завтра-то кажется навѣрно.

Анна Григорьевна ждетъ съ благоговѣніемъ, любитъ будущаго гостя чрезмѣрно, переноситъ бодро и крѣпко, но въ самое послѣднее время у ней нервы разстроились и иногда посѣщаютъ мрачныя мысли: боится умереть и проч. Такъ что положеніе довольно тоскливое и хлопотливое. Денегъ у насъ самая малая капелька, но по крайней мѣрѣ не бѣдствуемъ окончательно. Предстоятъ впрочемъ траты. Въ этомъ однако положеніи Анна Григорьевна мнѣ стенографировала и переписывала, кромѣ того, успѣла сама все сшить и приготовить, что слѣдуетъ ребенку.—.—Скверне всего то, что Женева ужъ

слишкомъ скверна; мрачное мѣсто. Сегодня Воскресеніе; ничего не можетъ быть мрачнѣе и гаже ихняго Воскресенія. Переѣхать-же теперь никуда нельзя, недѣль пять просидимъ здѣсь по болѣзни, а тамъ еще неизвѣстно, какъ деньги. Наступающій мѣсяцъ для меня тяжелъ будетъ: болѣзнь жены и 3-я часть, которую хотя и опоздаю, а все таки надо безостановочно выслать. А затѣмъ и 4-ю, вотъ тогда я думаю выѣдемъ изъ Женевы, этакъ къ Маю. Хорошо еще, что здѣсь зима вдругъ смягчилась. Весь здѣшній Февраль былъ теплый и ясный, точь въ точь какъ у насъ въ Петербургѣ въ Апрѣлѣ, въ ясные дни.

Обо всемъ, объ чемъ мнѣ сюда пишете, всегда и безпрерывно интересуюсь. Въ газетахъ ищу всегда чего-нибудь въ этомъ-же родѣ, какъ потерянной иголки,—соображаю и угадываю.—Подлость и мерзость нашей литературы и журналистики и здѣсь ощущаю. И какъ наивна вся эта дрянь: Современники и пр. лѣзутъ на послѣдніе барыши все съ тѣми же Салтыковыми и Елисѣевыми [1])—и все таже закорузлая ненависть къ Россіи, все таже ассоссіація рабочихъ во Франціи и больше ничего. А что Салтыковъ на земство нападаетъ, то такъ и должно. Нашъ либералъ не можетъ не быть въ тоже самое время закоренѣлымъ врагомъ Россіи и сознательнымъ. Пусть хоть что-нибудь удастся въ Россіи или въ чемъ-нибудь ей выгода—и въ немъ ужъ ядъ разливается. Я это тысячу разъ замѣчалъ. Наша крайняя либеральная партія въ высшей степени стакнулась съ «Вѣстью» [2]) и не можетъ быть иначе. А про цинизмъ и гадость всей этой швали,—я иногда изъ газетъ вижу.—Прислали мнѣ сюда изъ Ред. 1-й № Русскаго Вѣстника. Прочелъ отъ доски до доски. Вашего нѣтъ,—должно быть Вы или опоздали, или для скрашиванія февральской книжки васъ берегутъ, а въ 1-й Полонскій (Стихотвор. премилое) [3]) и Тургеневъ съ повѣстью весьма слабою [4]). Прочелъ разборъ Войны и мира [5]). Какъ бы желалъ все прочесть. Половину я читалъ. Должно быть капитальная вещь, жаль что слишкомъ много мелочныхъ психологическихъ подробностей. Капельку-бы поменьше. А впрочемъ благодаря именно этимъ подробностямъ какъ много хорошаго.—Ради Бога, пишите мнѣ чаще о литературныхъ новостяхъ. Вы о Вѣстникѣ Европы упоминали (это Стасюлевичъ?). Мнѣ кажется такого направленія у насъ много развелось.—Представьте: объ «Москвѣ», объ «Москвичѣ»—понятія не имѣю.—.—Ваша

---

[1]) Салтыков-Щедрин и Григорий Захарович Елисеев (род. 1821, ум. 1891)—член редакции «Современника» и «Отечественных Записок».

[2]) Консервативная газета, издававшаяся Скарятиным.

[3]) Стихотворение Якова Петровича Полонского—«Вакханка и сатир».

[4]) «История лейтенанта Ергунова».

[5]) Статья П. К. Щебальского о «Войне и мире» в «Русск. Вестнике» 1868 г., № 1.

«Софья Алексѣевна»[1])—совершенная прелесть, но у меня мысль махнула: какъ бы хорошо могло-бы быть, еслибъ вотъ этакая «Софья Алексѣевна» очутилась эпизодомъ в ц ѣ л о й п о э м ѣ изъ того времени, т. е. п о э м ѣ р а с к о л ь н и ч е й или въ романѣ въ стихахъ изъ того времени! Неужели вамъ такія намѣренія никогда не заходятъ въ голову? А такая поэма произвела-бы огромный эффектъ[2]). Но что-же, что-же наконецъ «Слово о Полку Игоревѣ»—вы не пишете, гдѣ оно будетъ? Вѣроятно въ Русскомъ Вѣстникѣ[3]). Въ такомъ случаѣ я прочту его! Можете представить, съ какимъ нетерпѣніемъ жду. Кромѣ чтенія, о которомъ вы упоминали,—не читали-ли вы гдѣ его въ Публикѣ? Опишите мнѣ все. Что вы читали на юбилеѣ Крылова, кромѣ того, что мнѣ прислали? Я читалъ въ газетахъ, но не ясно.—[4]).

Въ послѣднее время у насъ какъ будто затихло: только вотъ о подпискѣ на голодныхъ читаю. Славянство и стремленія славянскія должно быть вызываютъ у насъ цѣлую тьму враговъ изъ русскихъ либераловъ. Когда-то эти проклятыя подонки застарѣлаго и ретроградаго выскребутся! Потому что русскаго либерала нельзя никакъ считать чѣмъ нибудь иначе, какъ застарѣлымъ и ретроградымъ. Это—такъ называемое прежде «образованное общество», сборъ всего отрѣшившагося отъ Россіи, не понимавшаго ее и офранцузившагося—вотъ что либералъ русскій, а стало быть ретроградъ. Вспомните лучшихъ либераловъ—вспомните Бѣлинскаго: развѣ не врагъ отечества сознательный, развѣ не ретроградъ?[5]).

Ну чортъ съ ними! Здѣсь я только полячишекъ дрянныхъ встрѣчаю по кофейнымъ, громадными толпами,—но въ сношенія не вхожу ни въ какія. Съ священникомъ я не познакомился[6]). Но вотъ родится ребенокъ—придется сойтись. Но,

---

[1]) «Стрелецкое сказание о царевне Софии Алексеевне»—в «Русск. Вестн.» 1862 г., № 2.

[2]) См. ниже, в письме 15/27 мая 1869 г.

[3]) Появилось в переводе и с примечаниями Майкова в «Заре» 1870 г., книга 1.

[4]) У Майкова есть стихотворение 1868 г. «Крылов» (нач.: «Когда стою в толпе средь городского сада»).

[5]) Другое резкое мнение о Белинском см. ниже. В 1867 г. Достоевский, по просьбе К. И. Бабикова, написал для предпринятого им сборника «Чаша» статью «Мои воспоминания о Белинском»; статья эта трудно далась Достоевскому и он жалел, что «сдуру взялся за такую статью. Только что притронулся писать и сейчас увидал, что возможности нет написать ц е н з у р н о (потому что я хотел писать все). 10 листов романа было бы легче написать, чем эти 2 листа! Из всего этого вышло, что эту растреклятую статью я написал, если все считать в сложности, раз п я т ь, и потом все перекрещивал и из написанного опять переделывал. Наконец, кое-как вывел статью,—но до того дрянная, что из души воротит. Сколько драгоценнейших фактов я принужден был выкинуть! Как и следовало ожидать, осталось одно все дрянное и золотосерединное. Мерзость!» «Биография», отд. 2, стр. 178; ср. отд. 1, стр. 77, 78 и 295).

[6]) О Женевском священнике (Афанасии Конст. Петрове) Достоевский писал Майкову 19 августа 1869 г., что он «по всем данным (заметьте, не по догадкам, а по фактам) служит в тайной полиции» («Биография», отд. 2, стр. 192).

другъ мой, вспомните, что священники наши, т. е. заграничные, не все такіе-же, какъ Висбаденскій [1]), о которомъ я Вамъ говорилъ, уѣзжая изъ Петербурга (познакомились-ли вы съ этимъ? Это рѣдкое существо: достойное, смиренное, съ чувствомъ собственнаго достоинства, съ ангельской чистотой сердца и страстно вѣрующій. Вѣдь онъ кажется ревизоръ теперь въ Академіи). Впрочемъ, дай Богъ, чтобъ и здѣшній оказался хорошъ, хотя онъ не можетъ не быть избалованъ аристократіей. Здѣсь, въ Женевѣ (по Journal des Etrangers) ужасно много русской аристократіи, такъ даже странно, что всю зиму зимовали не въ Montreux, напримѣръ, а въ Женевѣ, гдѣ климатъ плохой.

Если переѣду куда-нибудь, то въ Италію, но до этого еще далеко и во всякомъ случаѣ тотчасъ же Васъ увѣдомлю, такъ что въ адрессѣ Вамъ не будетъ задержки. А Вы мнѣ ради Христа пишите.—Здоровье мое не скажу чтобъ очень хорошо. Съ весной припадки стали опять почаще.—Читалъ Вашъ разсказъ о Вашемъ присяжничествѣ и у самого сердце билось отъ волненія.

Объ Судахъ нашихъ (по всему тому, что читалъ) вотъ, какое составилъ понятіе: Нравственная сущность нашего судьи и, главное, нашего присяжнаго—выше европейской безконечно; на преступленія смотрятъ христіански. Русскіе измѣнники заграничные даже въ этомъ согласны. Но одна вещь как-будто еще и не установилась; мнѣ кажется въ этой гуманности съ преступникомъ еще много книжнаго, либеральнаго, не самостоятельнаго. Иногда это бываетъ. Впрочемъ издали я могу ужасно ошибаться. Но во всякомъ случаѣ наша сущность въ этомъ отношеніи безконечно выше европейской. И вообще всѣ понятія нравственнѣе и цѣли русскихъ—выше европейскаго міра. У насъ больше непосредственной и благородной вѣры въ добро, какъ въ христіанство, а не какъ въ буржуазное разрѣшеніе задачи о комфортѣ. Всему міру готовится великое обновленіе черезъ русскую мысль (которая плотно спаяна съ православіемъ, вы правы), и это совершится въ какое-нибудь столѣтіе—вотъ моя страстная вѣра.—Но чтобъ это великое дѣло совершилось, надобно чтобъ политическое право и первенство Великорусскаго племени надъ всѣмъ славянскимъ міромъ совершилось окончательно и уже безспорно. (А наши-то либералишки проповѣдуютъ распаденіе Россіи на союзные штаты. О, говняки!)

Имѣю къ Вамъ опять огромнѣйшую просьбу, или лучше сказать 2 просьбы и надѣюсь всего отъ Вашего добраго сердца

[1]) Это известный протоиерей Иоанн Иоаннович Базаров, духовник королевы Вюртембергской Ольги Николаевны, автор многих сочинений богословских на русском и немецком языках, очень ценных автобиографических воспоминаний («Русск. Стар.» 1901 г.), статьи «О кончине В. А. Жуковского» (с письмами Жуковского к нему), воспоминаний о жене Жуковского («Русск. Арх.» 1869) и др. Он умер 5 января 1895 г.

и братскаго участія ко мнѣ. Вотъ въ чемъ дѣло: Я написалъ Каткову съ отправленіемъ 2-й Части и прошу у него 500 рублей. Это ужасъ,—но что-же мнѣ дѣлать! Возможности нѣтъ не просить. Сначала у меня были мечты: 1) Написать 4 части (т. е. 23—24 листа) и 2) написать хорошо,—и тогда уже обратиться съ большой просьбой. Но повторяю—возможности нѣтъ. Теперь, со 2-ю частію, сдалъ въ Редакцію всего 11½ листовъ,—значитъ рублей на 1700 примѣрно. Всего я долженъ туда 4560 руб. (ухъ!)=значитъ остается теперь еще долгу на 2860 руб., и вотъ при этакомъ то положеніи дѣла я прошу опять 500 руб.—, т. е. возвышаю опять долгъ на 2860+500==3360 руб. Но въ виду то, что къ 1-му Мая доставлю опять на 1700 руб., а слѣдов. останется всего долга тоже рублей на 1700 и не болѣе. Мучился я, посылая эту просьбу о 500 руб.,—чрезмѣрно. Главное то, еслибъ романъ былъ хорошъ! Тогда-бы и просить было нѣсколько извинительнѣе—.—. Пришлетъ или нѣтъ—не знаю. Но однако, на всякой случай, сообщаю Вамъ все, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 2 великія просьбы мои: 1-я просьба: Я просилъ Каткова, въ случаѣ его согласія на эти 500 р., распорядиться такъ, чтобъ 300 руб. были высланы мнѣ сюда, въ Женеву, а 200 р. въ Петербургъ, на Ваше имя, Вамъ лично. И однако, не смотря на то, что можетъ-быть Вы и получите эти 200 р., я все-таки передъ Вами остаюсь подлецомъ и не могу уплатить Вамъ (который уже конечно нуждаетесь) ни копѣйки! Меня и Анну Григорьевну это такъ мучаетъ, что мы иногда по ночамъ говоримъ объ этомъ; но все таки просьба моя: подождите еще немножко на мнѣ и тѣмъ спасите меня отъ ужасныхъ страданій. Страданія же мои въ томъ—2-я просьба,—что я даже вообразить не могу безъ ужаса, что дѣлается теперь съ несчастной Эмиліей Ѳедоровной? У ней Ѳедя, но не жестоко-ли и не грубо-ли съ моей стороны надѣяться и взвалить всю заботу о семействѣ на бѣднаго молодого человѣка, который слишкомъ молодъ, слишкомъ боится проворонить ихъ, и ужъ конечно можетъ потерять терпѣніе, а это ведетъ на дурную дорогу. Очень, очень можетъ привести. Чему-нибудь помочь я долженъ и обязанъ. Хоть крошкой. Кромѣ ихъ есть Паша. Опять тоже исторія: невозможно молодому мальчику, несовершеннолѣтнему, жить своимъ трудомъ, это невозможно, нелѣпо и грубо съ моей стороны. Жестоко. Это значитъ толкать его на погибель; не вытерпитъ. А мнѣ его Марья Дмитріевна[1]) завѣщала, послѣдняя просьба ея. А потому умоляю Васъ, если получите эти 200 р., распорядиться такъ: Сто руб. отдать Эмиліи Ѳедоровнѣ, всѣ разомъ, и 100 р. Пашѣ, но Пашѣ выдать теперь только 50 р. (не говоря ему, что у васъ есть другіе 50) и черезъ 2 мѣсяца еще 50, разомъ-же. (Кромѣ житья необходимы по-

[1]) Первая жена Достоевского, умершая в 1864 г. (см. выше).

нравки въ бѣльѣ, въ платьѣ, необходимы и некоторые пустяки, однимъ словомъ нельзя менѣе 50 разомъ). Эти 200 р., если Катковъ согласится, къ Вамъ могутъ придти отселѣ черезъ 2 недѣли, но могутъ замѣшкать и на мѣсяцъ. Я-же Пашу увѣдомлю такъ, чтобъ онъ слишкомъ рано къ Вамъ не заходилъ. Вы мнѣ писали, что они Васъ тогда очень безпокоили; простите имъ, голубчикъ! Эмиліи же Ѳедоровнѣ доставьте сами, или дайте знать черезъ Пашу, чтобъ она къ Вамъ пришла получить. Все это, разумѣется, если получите; такъ я имъ напишу. Ну вотъ это 2-я просьба моя. Безпокою я Васъ чрезвычайно, но другъ мой, избавьте меня отъ этихъ страданій.

Вообразить ихъ положеніе для меня такое страданіе, что лучше мнѣ самому это вынести. И подумать, что все, вся судьба моя зависитъ отъ успѣха романа! Охъ, трудно быть поэтомъ при такихъ условіяхъ! Какова-же судьба н. пр. Тургенева, и какъ онъ смѣетъ послѣ этого являться съ Ергуновымъ! [1]). А что онъ мнѣ самъ сказалъ буквально, что онъ нѣмецъ, а не Русскій, и считаетъ за честь считать себя нѣмцемъ, а не Русскимъ, то это буквальная правда [2]).

До свиданія, другъ мой. Главное, чему я радъ за Васъ, это то, что Вы не допускаете праздности Вашему духу. Въ Васъ кипятъ и желанія, и идеалы, и цѣли. Это много. Въ наше время, если апатія захватитъ человѣка, то онъ пропалъ, умеръ и погребенъ.—.—До свиданья, обнимаю Васъ крѣпко и желаю всего лучшаго. Пишите мнѣ и напишите хоть что нибудь о моемъ романѣ. Ну хоть что нибудь.

Читаю политическія новости всѣ постоянно. Вракъ конечно бездна; но пугаетъ меня ужасно нѣкоторое ослабленіе и приниженіе нашей иностранной политики въ послѣднее время. Кромѣ того и внутри у насъ много враговъ реформъ Государевыхъ. На него только одна и надежда. Онъ уже доказалъ свою твердость. Дай Богъ ему долго царствовать.

Анна Григорьевна кланяется вамъ, Аннѣ Ивановнѣ и Евгенія Петровнѣ [3]). Я тоже; напомните имъ обо мнѣ пожалуйста. Кажется сегодня у меня что нибудь будетъ—Миша или Соня—такъ ужъ положено [4]).

Прощайте, дорогой другъ.

Вашъ весь Ѳ. Достоевский.

---

[1]) Напечатанный в № 1 «Русского Вестника» «Рассказ лейтенанта Ергунова».

[2]) Тогда же (8/20-го марта 1869 г.) Достоевский писал своей племяннице: «Вы пишете о Тургеневе и о немцах. Тургенев за границей выдохся и талант потерял весь, о чем ему даже газета «Голос» заметила. Я не боюсь онемечиться, потому что ненавижу всех немцев, но мне Россия нужна; без России последние силенки и талантишки потеряю» и т. д. («Русск. Стар.» 1885 г., т. XLVII, стр. 153).

[3]) Жена и мать А. Н. Майкова.

[4]) Родилась Соня Достоевская (22-го февраля).

Женева. 3 Марта / 20 Февр. /68.

Вотъ и опять къ Вамъ нѣсколько строкъ, любезный другъ Аполлонъ Николаевичь, и опять съ чрезвычайной просьбой. (Получили-ли Вы вчерашнее мое письмо, въ которомъ я Васъ увѣдомлялъ, что Катковъ, можетъ быть, недѣли черезъ 2 или три пришлетъ на Ваше имя 200 р.? Я Васъ просилъ убѣдительнѣйше помочь мнѣ и раздать эти деньги (100 Эмиліи Ѳедоровнѣ, 50 Пашѣ, а 50 остальных (тоже для Паши), не говоря ему, попридержать у себя и выдать черезъ 2 мѣсяца). По одному настоятельному случаю и по неотлагательной причинѣ я долженъ распорядиться иначе. А именно: Выдавъ Эм. Ѳед. 100, а Пашѣ теперь 50, остальные 50 выдайте, голубчикъ мой родной, Аннѣ Николаевнѣ Сниткиной, матери Анны Григорьевны. Вы ей можете дать знать, чтобъ она пришла къ Вамъ за полученіемъ черезъ Пашу. А впрочемъ мы ей напишемъ и она сама придетъ.—Уѣзжая изъ Петербурга, мы заложили ростовщикамъ и въ громоздкія движимости кажется, всю нашу мебель и всѣ наши вещи. Въ продолженіе цѣлаго года проценты (и весьма значительные) платила за насъ Анна Николаевна изъ своего кармана; но теперь у ней у самой большіе расходы и хоть она не проситъ съ насъ денегъ для уплаты процентовъ и продолжаетъ платить по прежнему, но помочь ей необходимо и именно въ это время. А ужъ Пашѣ я потомъ какъ-нибудь пришлю, если будутъ деньги черезъ 2 месяца.

Не оставьте-же меня, другъ безцѣнный, не оставьте и исполните всѣ эти комиссіи, имѣющія для меня самую капитальную важность. Прошу убѣдительнѣйше. Постараюсь, чтобъ они всѣ Васъ не очень безпокоили, попрошу ихъ.

До свиданья. Обнимаю Васъ крѣпко.

Вашъ весь Ѳедоръ Достоевский.

P. S. Нынѣшнею ночью произошолъ со мной припадокъ, до того крѣпкій, что я опомниться не могу до сихъ поръ, и все болитъ, особенно голова до нестерпимости.

P. S. Вотъ до какой степени я разсѣянъ и все у меня сбилось въ головѣ отъ припадка: Написалъ письмо къ Пашѣ, самое неотлагательное [1]), и хоть онъ и сообщилъ мнѣ свой адресъ, но я боюсь посылать, потому что онъ можетъ быть опять съѣхалъ, и прошу Васъ доставить это письмо ему. Голубчикъ Аполлонъ Николаевичь, простите меня за всѣ эти безсовѣстныя хлопоты, которыя Вамъ доставляю, но письмо это къ Пашѣ, которое при семъ прилагаю, для меня до такой степени важно и заключаетъ такой вопросъ для моей души и сердца, что ничего для меня не можетъ быть важнѣе,

[1]) Оно напечатано в «Северном Вестнике» 1891 г., № 10, стр. 21—24.

какъ скорая доставка ему этого письма. Будьте благодѣтельны. Стоитъ только это письмо послать къ нему черезъ кого-нибудь в Адрессный столъ. Это близко отъ Васъ и Вы его тотчасъ же найдете.—На всякій же случай на письмѣ надписываю и адресъ его квартиры, тоже отъ Васъ не очень далеко. Будьте благодѣтелемъ и доставьте немедленно.

11. А. Н. Майкову.

Женева. 2/14 Марта/68.

Любезнѣйшій и истинный другъ Аполлонъ Николаевичъ, получивъ Ваше письмо, благодарю чрезвычайно, но нахожусь въ ужаснѣйшемъ волненіи и безпокойствѣ, потому что получилъ и другое письмо (отъ Анны Николавны, матери жены) съ странным извѣстіемъ: что Паша былъ у ней, говорилъ заносчиво, что онъ «знать не хочетъ, что я нуждаюсь, что я обязанъ его содержать и что теперь отъ Каткова много денегъ будетъ, вслѣдствіе чего объявилъ, что поѣдетъ въ Москву, лично увидится съ Катковымъ, разъяснитъ ему свое положеніе и спроситъ, на мой счетъ, денегъ. Анна Николавна положительно увѣдомляетъ, что онъ уже уѣхалъ въ Москву, 15 февр. нашего стиля, а съ начальствомъ своимъ поссорился, такъ что она боится, чтобъ его не выключили.—.—

Можете себѣ представить теперь мое положеніе? Каково положеніе передъ Катковымъ? Я и самъ-то о своихъ дѣлахъ краснѣю и каждый разъ положительно боюсь обращаться къ Каткову, потому что ужъ до послѣдняго нѣльзя деликатно со мной поступали и это связываетъ ужасно (на 4500 р. повѣрили впередъ больному человѣку, за границей, не видя еще ни строчки, а тутъ я, какъ разъ, въ тоже время, 500 р. еще попросилъ!). Каково же представить, что онъ явится къ Каткову, среди его дѣйствительно огромныхъ занятий, и начнетъ декламировать, а можетъ быть говорить и дерзости, и ужъ разумѣется меня черня по возможности!—.—Наконецъ: Я вчера заложилъ послѣднее свое пальто, имѣю всего тридцать франковъ, и сорокъ для отдачи garde-malade, 100 франковъ нужно отдать повивальной бабкѣ, 120 франковъ квартира и прислуга къ 20-му Марту, т. е. черезъ 6 дней (экстренныя цѣны за этотъ мѣсяцъ) и на 300 франковъ долгу за заложенное имущество. Ровно черезъ шесть дней у меня кончатся мои 30 франковъ и тогда ни копѣйки и нечего заложить и весь кредитъ истощенъ. Вся моя надежда была на то, что Катковъ исполнитъ просьбу мою о 500 рубляхъ, вышлетъ вамъ двѣсти, (какъ я писалъ), а 300 мнѣ сюда, и что эти 300 именно придутъ къ 20-му числу Марта, т. е. черезъ шесть дней. Ну что-же будетъ теперь, если Паша разсердитъ его и наконецъ выведетъ изъ терпѣнія (потому что каждый человѣкъ можетъ наконецъ потерять терпѣніе при извѣстныхъ обстоятельствахъ) и онъ отвѣтитъ мнѣ отказомъ. Ну что тогда будетъ? Вѣдь я погибъ и уже не просто,

а втройнѣ погибъ, потому что жена уже родила и больна. Между тѣмъ, получаю вчера Ваше письмо; хоть числа и не обозначено, но на пакетѣ значится, что принято в почтамтѣ Петербургскомъ 26 февраля.

Въ письмѣ этомъ Вы ни слова не упоминаете объ этомъ приключеніи. Стало-быть можетъ-быть и неправда. И однако Анна Николавна увѣдомляетъ положительно. Если такъ, то можетъ-быть и правда, но Вы не знаете (потому что дѣйствительно вамъ трудно знать, потому именно, что если ужъ онъ это сдѣлать рѣшился, то навѣрно избѣгалъ попадаться Вамъ на глаза).—Сижу теперь раздавленный и измученный и не понимаю, что дѣлать. Думалъ сегодня-же написать Каткову и извиниться передъ нимъ, разъяснивъ ему все обстоятельство; потому что во 1-х) такъ стыдно передъ нимъ, что хоть провалиться, а во 2-х) боюсь и за деньги, что разсердится и не пришлетъ. Съ другой стороны я письмо-то пошлю, а все это невѣрно? Рѣшаюсь лучше послать и пошлю завтра (письмо къ Каткову). Еслибъ какое-нибудь извѣстіе просвѣтило меня; но никакого ни откуда извѣстія не имѣю! Ждать-же опасно да и тяжело.—.—Во всякомъ случаѣ, умоляю Васъ, голубчикъ: изслѣдуйте это дѣло и пришлите мнѣ немедленно свѣденіе, ибо я умру съ тоски.—.—Если-же это невѣрно, если Паша только говорилъ, а не сдѣлалъ, т. е. если онъ въ Москву не ѣздилъ, съ Катковымъ не говорилъ и даже не писалъ ему (это почти что все равно, впрочемъ, т. е. писать или видѣться лично),—то пожалуста не говорите Пашѣ, что это я знаю черезъ Анну Николавну. Боюсь, что онъ ей очень нагрубитъ. Однимъ словомъ, во всякомъ случаѣ, про Анну Николавну ему ни слова. На Васъ-же смотрю, какъ на Провидѣніе. А Каткову все-таки письмо пошлю; нельзя. Если Паша не виноватъ, т. е. у Каткова не былъ, то я такъ-вѣдь напишу, что ему лично не очень повредитъ: Увлеченіе молодого человѣка, котораго тамъ и не знаютъ.—Съ своей стороны скажу Вамъ, что мнѣ жаль Пашу; я его не ужасно виню: дѣйствительно, молодость, совершенная невыдержанность. Это надо извинить и не поступать круто, потому что до погибели, будучи такимъ дурачкомъ,—не далеко. А я вѣдь воображалъ, что онъ за умъ взялся и понялъ, что ему уже (безъ очень малаго) 21 годъ, и что надо трудиться, если нѣтъ капиталу. Я думалъ, что, поступивъ на службу, онъ понялъ, наконецъ, что честный трудъ его обязанность, равно какъ и всякаго, и что нельзя-же упорно и никого не слушая, какъ-бы давъ себѣ слово,—ничего не дѣлать и стать на томъ.—А онъ, какъ теперь я понимаю, вообразилъ, что онъ мнѣ этимъ милость сдѣлалъ, что сталъ служить. И кто вбилъ ему въ голову, что я обязанъ его содержать вѣчно, даже после 21-го года? Слова его Аннѣ Николавнѣ (которыя ужъ конечно вѣрны): «Я знать не хочу, что онъ самъ нуждается; онъ обязанъ меня содержать»,—

слишкомъ значительны въ извѣстномъ смыслѣ для меня: Это значитъ, что онъ *не любитъ* меня. Конечно я первый извиняю, и знаю, что значитъ увлеченіе и заносчивое слово, то есть знаю, что слово не дѣло. Я всю жизнь помогать ему буду и желаю. Но вотъ бѣда: много-ль онъ потрудился-то для себя? Три мѣсяца онъ не получалъ только отъ меня пенсіона. Но все-таки въ эти три мѣсяца онъ получилъ отъ меня 20 руб. деньгами и 30 я заплатилъ за него долгу Эм. Ѳедоровнѣ. И такъ, въ сущности, он *только* одинъ мѣсяцъ не получалъ! И тутъ стосковаться ужъ успѣлъ! Стало-быть не способенъ-же этотъ человѣкъ для себя потрудиться! Мысль не отрадная.—Ужъ конечно я изъ послѣдняго необходимаго посылаю теперь и ему и Эм. Ѳедоровнѣ. А вѣдь я увѣренъ, что и у Эм. Ѳедоровны меня бранятъ на чемъ свѣтъ стоитъ. И кому-же я человѣкъ больной. Ну если работать не въ состояніи буду,—что тогда?

Голубчикъ, вы одинъ мое Провидѣніе и истинный другъ! Ваше вчерашнее письмо воскресило меня. Никогда тяжеле и труднѣе не было ничего въ моей жизни, 22 февраля (нашего стиля)—жена (послѣ ужасныхъ 30 часовыхъ страданій) родила мнѣ *дочь* и до сихъ поръ больна, и тутъ знаете, какъ нервы разстроены, надо удалять всякое непріятное извѣстіе, она-же такъ меня любитъ. Соня, дочь, здоровый, крупный, красивый, милый, великолѣпный ребенокъ: я положительно половину дня цалую ее и не могу отойти. Это хорошо; но вотъ что дурно: денегъ 30 франковъ; все до послѣдней тряпки, моей и жены, заложено. Долги настоятельные, необходимые, *немедленные*. Вся надежда на Каткова и безпрерывная мысль: а что если не пришлютъ? Измучившее насъ обоихъ извѣстіе о Пашѣ; страшная и безпрерывная боязнь моя, мѣшающая мнѣ ночью спать: что, если Аня захвораетъ? (Сегодня 10-й день), а у меня не на что ни доктора позвать, ни лѣкарства купить. *Еще не начатая* 3-я часть романа, которую я обязался честнымъ словомъ доставить къ 1-му Апрѣля *нашего стиля* въ Редакцію. Вчера ночью *радикально* измѣненный (въ 3-й уже разъ) весь планъ 3-й и 4-й части (а стало быть еще три дня, по крайней мѣрѣ, надо употребить на обдумываніе новаго расположенія); усилившіеся разстройство нервовъ и число и сила припадковъ,—однимъ словомъ вотъ мое положеніе.

При этомъ, при всемъ, да самаго Вашего письма, полное отчаяніе за неуспѣхъ и скверность романа, и слѣдств., не упоминая объ авторской тоскѣ,—убѣжденіе во всѣхъ лопнувшихъ надеждахъ, потому что на романѣ всѣ надежды. Каково-же должно было обрадовать Ваше письмо, ну не вправѣ-ли я Васъ назвать Провидѣніемъ! Вѣдь Вы мнѣ все равно, что покойный братъ Миша, въ теперешнихъ моихъ обстоятельствахъ!

Итакъ Вы меня радуете извѣстіемъ объ успѣхѣ. Я совершенно ободряюсь теперь. Третью часть я къ 1-му Апрѣля

кончу и сдамъ. Вѣдь написалъ же 11½ листовъ ровнешенько въ два мѣсяца! Умоляю Васъ, голубчикъ, когда прочтете финалъ 2-й части (т. е. въ февральской книжкѣ),—напишите мнѣ сейчасъ-же. Повѣрьте, что Ваши слова для меня ключъ живой воды. Этотъ финалъ я писалъ въ вдохновеніи и онъ мнѣ стоилъ двухъ припадковъ сряду. Но я могъ преувеличить и потерять мѣру и потому жду безпристрастной критики. О, голубчикъ, не осуждайте меня за это безпокойство, какъ за тоску самолюбія. Самолюбіе конечно есть, развѣ можно быть безъ него?— Но тутъ главные мотивы мои, ей Богу, другіе. Слишкомъ много съ этимъ романомъ сопряжено во всѣхъ отношеніяхъ.

Ваши письма всегда меня возбуждаютъ и п о д ы м а ю т ъ во мнѣ все на нѣсколько дней сряду. Ужасно-бы хотѣлось и мнѣ съ Вами кой объ чемъ поговорить. Но этотъ разъ все пошло на семейную дребедень; до другого письма. Вѣдь это тотъ Данилевскій, бывшій фурьеристъ, по нашему дѣлу? [1]). Да, это сильная голова. Но въ Журналѣ Министерства! [2]). Мало они расходятся, мало читаются. Нельзя-ли оттиснуть хоть потому особо. О, какъ бы я желалъ прочесть!—.—Пишите мнѣ о себѣ какъ можно больше. Поклонъ мой всѣмъ Вашимъ. Жена Васъ ужасно любитъ и кланяется Аннѣ Ивановнѣ. Она въ восторгѣ отъ своего произведенія, да и я тоже (т. е. отъ Сони). Что-же касается до Идіота, то такъ боюсь, такъ боюсь,—что и представить не можете. Какой-то даже неестественный страхъ; никогда такъ не бывало.—.—Какія я Вамъ тоскливыя и ничтожныя письма пишу! Обнимаю Васъ крѣпко.

Вашъ весь
Ѳедоръ Достоевскій.

Во всякомъ случаѣ буду писать чаще теперь.

Аня заплакала даже, прочтя въ Вашемъ письмѣ объ успѣхѣ Идіота. Она говоритъ, что гордится мною.

---

[1]) Николай Яковлевич Данилевский (р. 1822, ум. 1885), автор известной книги «Россия и Европа». 11/23 декабря 1868 г., из Флоренции, Достоевский писал тому же Майкову: «Я от Страхова письмо тоже получил; много литературных новостей. Порадовало меня между прочим известие о статье Данилевского «Европа и Россия», о которой Ник. Ник. пишет, как о капитальной статье. Признаюсь вам, что о Данилевском я, с самого 49-го года [т. е. с дела Петрашевцев], ничего не слыхал, но иногда думал о нем. Я припоминал, какой это был отчаянный фурьерист. И вот из фурьериста обратиться к России, стать опять русским и возлюбить свою почву и сущность! Вот по чему узнается широкий человек! Тургенев сделался немцем из русского писателя,—вот по чему познается дрянной человек. Равномерно никогда не поверю словам покойного Аполлона Григорьева, что Белинский кончил бы славянофильством. Не Белинскому кончить было этим. Это был только паршивик—и больше ничего...» («Биография», отд. 2, стр. 200—201, с пропусками, восстановленными здесь по подлиннику письма; ср. еще там же, стр. 261). Ср. ниже—в письме № 13, в конце.

[2]) Исследование Данилевского («Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому») было напечатано не в «Журнале Министерства Народного Просвещения», а в «Заре» (1869 г., кн. 1—6, 8—10) и в 1871 г. вышло первым отдельным изданием.

12. А. Н. Майкову.

Женева. $\frac{20\ \text{Мар.}}{2\ \text{Апрѣля}}$ [1868 г.].

Любезнѣйшій и добрый другъ, Аполлонъ Николаевичъ, вопервыхъ благодарю Васъ чрезвычайно, голубчикъ, за исполненіе всѣхъ моихъ порученій, которыя оказываются очень хлопотливыми и за которыми Вамъ пришлось столько ходить. Простите, что мучаю Васъ, но вѣдь Вы одинъ человѣкъ, на котораго могу понадѣяться (что вовсе не составляетъ резону Васъ мучить). Вовторыхъ—благодарю за привѣтъ, поздравленіе и пожеланіе счастья намъ тронмъ. Вы правы, добрый мой другъ, Вы съ натуры описали это ощущеніе быть отцомъ, и съ натуры взяли Ваши прекрасныя слова: все совершенно вѣрно. Я ощущаю, вотъ ужъ мѣсяцъ почти, ужасно много новаго и совершенно до сихъ поръ мнѣ неизвѣстнаго, ровно съ той минуты, какъ я въ первый разъ увидѣлъ мою Соню до сей минуты, когда мы ее только что, общими стараніями, мыли въ корытѣ. Да, ангельская душа и къ намъ влетѣла. Ощущеній моихъ впрочемъ Вамъ описывать не буду. Они растутъ и развиваются съ каждымъ днемъ [1]). Вотъ что, голубчикъ мой: Прошлый разъ, когда я Вамъ писалъ въ такой тревогѣ, я забылъ (!) написать Вамъ то, объ чемъ еще въ Дрезденѣ прошлаго года мы условились съ Аней (и объ чемъ она ужасно попрекала за то, что я забылъ теперь)—Это то, что Вы у меня крестный отецъ Сони. Голубчикъ, не откажите! У насъ такъ ужъ почти 10 мѣсяцевъ какъ рѣшено. Если Вы откажетесь, это будетъ несчастьемъ Сони, первый крестный отецъ и тотъ отказался! Но Вы не откажетесь, другъ мой. Присовокупляю, что Вамъ это несоставитъ ни самомалѣйшихъ какихъ-нибудь заботъ, а что мы покумимся—такъ тѣмъ лучше. Крестная мать Анна Николаевна [2])—говорила она Вамъ? Сообщите мнѣ, ради Бога, Вашъ отвѣтъ поскорѣй—потому что это надо для крещенія. Вотъ ужъ мѣсяцъ, а она еще не крещена! (такъ-ли въ Россіи?). А Ваша крестница (я увѣренъ въ томъ, что она Ваша крестница) — сообщаю Вамъ — прехорошенькая, — не смотря на то, что до невозможнаго, до смѣшного даже похожа на меня. Даже до странности. Я-бы этому не повѣрилъ, еслибъ не видѣлъ. Ребенку только что мѣсяцъ, а совершенно даже мое выраженіе лица, полная моя физіономія, до морщинъ на лбу,—лежитъ—точно романъ сочиняетъ! Я ужъ не говорю объ чертахъ. Лобъ до странности даже похожъ на мой. Изъ этого конечно слѣдовало бы, что она собой не такъ-то хороша (потому что я красавецъ только въ глазахъ Анны Гри-

[1]) О радости Достоевского см. и в других письмах его той поры; поэтому легко можно себе представить, каким горем была для него смерть, через 2½ месяца, его дочки.

[2]) Т. е. бабушка новорожденной, А. Н. Сниткина, мать А. Г. Достоевской.

горьевны—и серьезно я Вамъ скажу!).—Но Вы, сами художникъ, отлично хорошо знаете, что можно совершенно походить и не на красивое лицо, а между тѣмъ быть самой очень милой. Анна Григорьевна Васъ чрезвычайно проситъ, чтобъ Вы были крестнымъ. Она Васъ и Анну Ивановну ужасно любитъ и до безконечности уважаетъ.

Вы слишкомъ большой пророкъ: вы пророчите мнѣ, что у меня теперь новыя заботы и что я стану эгоистомъ и это, къ несчастью, и по невозможности иначе, сбылось: Вообразите: весь этотъ мѣсяцъ я не написалъ ни одной строчки! Боже мой, что я дѣлаю съ Катковымъ, съ моими обѣщаніями, честными словами, обязанностями! Я былъ до невѣроятности радъ, когда, вслѣдствіе моего увѣдомленія, что я опоздаю, по случаю родинъ, Русскій Вѣстн. выставилъ въ концѣ первой части романа, что продолженіе въ Апрѣльской, а не въ Мартовской книгѣ. Но увы! и для Апрѣльской у меня остается теперь никакъ не болѣе 20 дней (опоздалъ ужасно) и ни строчки не написано! Завтра-же пишу къ Каткову и извиняюсь,—но вѣдь изъ моихъ извиненій имъ не шубу шить. А все-таки надо поспѣть къ Апрѣльской книгѣ, хоть и поздно. А между тѣмъ, кромѣ всего остального, все мое существованіе (денежными средствами) зависитъ отъ нихъ-же. Подлинно положеніе отчаянное. Но что дѣлать: Весь-то мѣсяцъ прошелъ въ чрезвычайныхъ тревогахъ, хлопотахъ и заботахъ. Случалось по цѣлымъ ночамъ напролетъ не спать и не то, чтобъ отъ нравственнаго безпокойства одного, а потому что такъ дѣйствительно нужно было. А для падучей это ужасно. Нервы мои разстроены теперь до послѣдней степени. Мартъ здѣсь стоялъ до безобразія гадкій,—со снѣгомъ и съ морозомъ, почти какъ въ Петербургѣ. Анна Григорьевна была ужасно разстроена физически (не говорите этого **низачто** Аннѣ Николаевнѣ, потому что она и Богъ знаетъ что вообразитъ. Просто Аня долго не можетъ оправиться и въ добавокъ сама кормитъ). Молока конечно мало. Употребляемъ и рожокъ. Ребенокъ впрочемъ очень здоровъ (Ах, чтобъ не сглазить!). Аня-же ужъ начинаетъ выходить гулять. Третій день, какъ удивительные солнечные дни стоятъ и начинается уже зелень. Я-же едва опомнюсь отъ всего этого.—Забота тоже страшная—деньги. Прислано намъ было 300 р. Это, съ промѣномъ, 1025 франковъ. Но у насъ уже почти нѣтъ. Расходы увеличились, надо заплатить было прежніе должишки, выкупить заложенныя вещи, а ровно черезъ три недѣли отъ сегодня предстоятъ большія траты, по поводу перемѣны квартиры (съ этой насъ сгоняютъ за крикъ ребенка) и кромѣ того предстоятъ кой-какія расплаты—ужасъ. Да и жить надо, начиная отъ сегодня, по крайней мѣрѣ мѣсяца два до надежды еще получить изъ Р. Вѣстника. Но изъ Р. Вѣстника во всякомъ случаѣ нельзя получить, не пославъ туда 2-й части, а когда я напишу? Развѣ

опять въ 18 дней, какъ то, что было напечатано въ Январьской книгѣ?—.—Распоряженія Ваши съ деньгами были очень хороши. И какъ ни горько мнѣ Васъ тревожить, но пришлите мнѣ оставшіяся у васъ 25 р. сюда, въ Женеву, если возможно немедленно. Вотъ до какого зарѣзу нужда! (NB положите просто 25 рублевый кредитный билетъ въ письмо рекомандируйте, чтобъ не пропало на почтѣ, и пошлите сюда по моему адресу. Здѣсь размѣняютъ и нашъ русскій кредитный билетъ. Только вотъ что: теперь кажется у насъ новыя кредитныя 25 рублеваго достоинства. Боюсь, что здѣсь еще ихъ не знаютъ. Такъ пошлите лучше изъ старыхъ билетовъ). —.—Очень радъ, что Вы Пашѣ выдали 50 руб., а не 25. Ничего.—Радъ ужасно, что онъ на службѣ. Голубчикъ, навѣдывайтесь иногда, изрѣдка хоть объ немъ! Если буду ему писать, то напишу, что я, узнавъ отъ Васъ, что Вы ему выдали заимообразно 25 р.—уже заплатилъ Вамъ. Только вотъ что: неужели и Паша не напишетъ мнѣ ничего и не поздравитъ съ Соней. Другіе поздравили: Вы, Страховъ, изъ Москвы, знакомые Анны Григорьевны изъ Петербурга, а отъ Паши— не только и теперь нѣтъ ничего, но даже и отвѣта на мое письмо, которое я мѣсяца полтора писалъ ему, адресуя на Ваше имя, (получили-ли Вы?: Вы объ этомъ что-то не упоминаете) отвѣта не получилъ. А на то письмо можно-бы было отвѣтить.—Кстати еще и чрезвычайно важное: Вѣдь я все таки не знаю: былъ ли онъ въ Москвѣ или нѣтъ? Ходилъ-ли къ Каткову? Это для меня ужасно важно знать. Представьте я послалъ Каткову большое извинительное письмо, единственно по этому поводу! [1]). Мнѣ чрезвычайно нужно узнать. Нельзя-ли узнать, голубчикъ, ради Бога!—.—(Эмилію Ѳедоровну я официально, торжественно увѣдомилъ, что у меня родилась дочь—ничего, никакого отъ нея отвѣта! [2]). Да и прежде, на чрезвычайно важный отъ меня спросъ, на счетъ ихъ квартиры и хозяина дома Алонкина,—никакого отъ нея отвѣту не было. Даже удивляетъ меня. Вѣдь это даже уже грубо до безобразія!).

На счетъ завѣщаній и прочихъ Вашихъ совѣтовъ я вѣдь всегда, былъ совершенно Вашихъ мнѣній самъ. Но, другъ мой, искренній и преданный другъ (можетъ-быть единственный!),—к чему Вы меня такимъ добрымъ и щедрымъ считаете! Нѣтъ, другъ мой, нѣтъ, я не Богъ знаетъ какъ добръ

---

[1]) Оно в печати не появлялось.

[2]) Когда маленькая Соня умерла (16/28 мая 1868 г.), Достоевский просил «до времени» не сообщать об этом ни невестке (Э. Ф. Достоевской), ни пасынку (П. А. Исаеву): «Мне кажется», объяснял он, «что не только никто из них не пожалеет об моем дитяти, но даже может быть будет напротив, и одна мысль об этом озлобляет меня. Чем виновато это бедное создание перед ними? Пусть они ненавидят меня, пусть смеются надо мной и над моей любовью,— мне все равно» (ср. «Биография», отд. 2, стр. 187, с пропуском настоящих фраз, восстановленных нами по подлиннику).

и это меня печалитъ. А Пашу мнѣ бѣдная Марья Дмитріевна на смертномъ одрѣ оставила! Какъ можно совсѣмъ бросить? (да этого Вы и не совѣтуете). Нѣтъ-нѣтъ, а все таки надо помочь, тѣмъ болѣе что я его искренно люблю; я вѣдь его въ моемъ домѣ, больше 10 лѣтъ растилъ! Все равно, что сынъ. Мы съ нимъ жили вмѣстѣ. И въ такихъ раннихъ лѣтахъ, и одного, на свои собственныя руки оставить—да развѣ это возможно! Все таки, какъ я ни бѣденъ, а надо помочь. Вѣтрогонъ онъ большой, правда; да вѣдь я, можетъ быть, въ его лѣта, еще хуже его былъ (я помню). Тутъ-то и поддержать. Доброе, хорошее впечатлѣніе въ его сердцѣ теперь оставить,—это ему при дальнѣйшемъ развитіи пригодится. А что онъ служитъ и самъ добываетъ теперь,—этому я ужасно, ужасно радъ,—пусть поработаетъ. А Васъ обнимаю и целую братски, за то, что Вы ходили къ Разину[1]) и тамъ объ немъ заботились.—.—Что-же касается до Эм. Ѳедоровны, то вѣдь тутъ опять-таки покойный братъ Миша. А вѣдь Вы не знаете, чѣмъ всю жизнь, съ перваго моего сознанія, былъ для меня этотъ человѣкъ! Нѣтъ, Вы этого не знаете! Ѳедя-же мой крестникъ и тоже молодой человѣкъ, тяжелымъ трудомъ добывающій себѣ хлѣбъ. И тутъ, если только возможно, надо иногда поддержать (ибо человѣкъ молодой, не все-же ему на шею, тяжело-съ). Да Вы-то сами, голубчикъ мой, себя такимъ практикантомъ и эгоистомъ чего выставляете: не вы-ли мнѣ 200 р. взаймы дали, а со смертью брата Миши и съ паденіемъ журнала 2000 р. почти потеряли! А впрочемъ я обо всемъ объ этомъ напрсно заговорилъ. Ваши-же совѣты, во всякомъ случаѣ, я совершенно считаю правильными.—А на счетъ меня собственно есть пословица: Не хвались идучи на рать. Я къ тому это вотъ пишу, что надо-бы помочь и т. д. А почемъ я знаю, что со мной самимъ будетъ?

Какъ ни безобразна, какъ ни гадка для меня стала заграничная жизнь, а знаете-ли что я иногда со страхомъ помышляю о томъ, что будетъ съ моимъ здоровьемъ, когда Богъ приведетъ въ Петербургъ воротиться? Ужъ когда здѣсь припадки,—что-же тамъ? Рѣшительно теряются умственныя способности, память напримѣръ.—.—Все, что Вы пишете про Россію и, главное, ваше настроеніе (розовый цветъ) меня очень радуетъ.—.—Это совершенная правда, что нечего обращать вниманіе на разные частные случаи: были-бы цѣлое и толчокъ и цѣль у этого цѣлаго, а все остальное и невозможно иначе при такомъ огромномъ перерожденіи, какъ при нынѣшнемъ великомъ Государѣ. Другъ мой, Вы рѣшительно точно также смотрите, какъ и я и выговорили наконецъ то, что я три года назадъ, еще въ то время, когда журналъ издавалъ, гово-

[1]) Алексей Егорович Разин (род. 1823, ум. 1875), известный детский писатель и популяризатор, сотрудник «Эпохи» и «Времени»; он служил в это время (1868) в Канцелярии по делам Царства Польского.

рилъ даже вслухъ и меня не понимали, именно: что наша конституція есть взаимная любовь Монарха къ народу и народа къ Монарху. Это любовное, а не завоевательное начало государства нашего (которое открыли кажется первые славянофилы) есть величайшая мысль, на которой много созиждется. Эту мысль мы скажемъ Европѣ, которая въ ней ничего ровно не понимаетъ. Наше несчастное, оторванное отъ почвы сословіе умниковъ, увы!—тѣмъ и должно было кончить. Они съ тѣмъ и умрутъ, ихъ не передѣлаешь. (Тургеневъ-то!). Но новѣйшее поколѣніе—вотъ куда надо смотрѣть. (Классическое образованіе могло-бы очень помочь. Что такое Лицей Каткова?). Здѣсь я заграницей окончательно сталъ для Россіи—совершеннымъ монархистомъ. У насъ если сдѣлалъ кто что нибудь, то конечно одинъ только онъ (да и не за это одно, а просто потому, что онъ царь, излюбленный народомъ Русскимъ, и лично, и потому что царь. У насъ народъ всякому царю нашему отдавалъ и отдаетъ любовь свою, и въ него единственно окончательно вѣритъ. Для народа—это таинственно, священство, міропомазаніе). Западники ничего въ этомъ не понимаютъ, и они, хвалящіеся основанностью на фактахъ, главный и величайшій фактъ нашей исторіи просмотрѣли. Мнѣ нравится ваша мысль о всеславянскомъ значеніи Петра. Я первый разъ въ жизни эту идею услыхалъ и она совершенно вѣрная.—.—Но вотъ что: я здѣсь читаю Голосъ. Въ немъ иногда ужасно печальные факты представляются. Напримѣръ объ разстройствѣ нашихъ желѣзныхъ дорогъ (новопостроенныхъ), объ земскихъ дѣлахъ, объ печальномъ состояніи колоній. Ужасное несчастье что у насъ еще людей, исполнителей мало. Говоруны есть, но на дѣлѣ, первой-другой обчелся. Я разумѣется не въ высокихъ дѣлахъ исполнителей разумѣю, а просто мелкихъ чиновниковъ, которыхъ требуется множество и которыхъ нѣтъ. Положимъ, на судей, на присяжныхъ хватитъ народу. Но вотъ на желѣзныхъ-то дорогахъ? Да еще кое-гдѣ.—Столкновеніе страшное новыхъ людей и новыхъ требованій съ старымъ порядкомъ. Я ужъ не говорю про одушевленіе ихъ идеей: вольнодумцевъ много, а Русскихъ людей нѣтъ. Главное: самосознаніе въ себѣ Русскаго человѣка—вотъ что надо. А какъ гласность-то помогаетъ царю и всѣмъ Русскимъ,—о Господи, даже враждебная, западническая.—.—Мнѣ-бы ужасно хотѣлось, чтобъ у насъ устроились поскорѣй желѣзныя дороги политическія (Смоленская, Кіевская, да поскорѣй, да и ружья новыя тоже поскорѣй-бы! Для чего Наполеонъ увеличилъ свое войско и рискнулъ на этакую непріятную для народа своего вещь, въ такой критическій для себя моментъ? Ч. его знаетъ. Но добромъ для Европы не кончится. (Я какъ-то ужасно этому вѣрю). Плохо, если насъ замѣшаютъ. Кабы только хоть два годика спустя. Да и не одинъ Наполеонъ. Кромѣ Наполеона страшно будущее и къ нему надо

готовиться. Турція на волоскѣ, Австрія въ положеніи слишкомъ ненормальномъ (я только элементы разбираю и ни объ чемъ не сужу), страшно развившійся проклятый пролетарскій западный вопросъ (объ которомъ почти и не упоминаютъ въ насущной политикѣ!)—и, наконецъ, главное, Наполеонъ старикъ и плохого здоровья. Проживетъ недолго. Въ это время надѣлаетъ неудачъ еще больше, и Бонапарты еще больше омерзѣютъ Франціи,—что будетъ тогда? Къ этому Россіи непременно надо готовиться и поскорѣй, потому что это можетъ быть ужасно скоро совершится.

Какъ я радъ, что Наслѣдникъ въ такомъ добромъ и величественномъ видѣ проявился передъ Россіей, и что Россія такъ свидѣтельствуетъ о своихъ надеждахъ на него и своей любви, какъ къ Отцу, и того было бы довольно. А нашему, а Александру дай Богъ жить поживать еще хоть сорокъ лѣтъ. Онъ чуть-ли не больше всѣхъ своихъ предшественниковъ, вмѣстѣ взятыхъ, для Россіи сдѣлалъ. А главное то, что его такъ любятъ. На этой о п о р ѣ все Русское движеніе теперь, все перерожденіе основано и только на ней.—О, другъ мой, какъ-бы я желалъ воротиться, какъ тошна моя жизнь здѣсь! Скверная жизнь. И, главное, работа нейдетъ наладъ. Еслибъ только мнѣ романъ порядочно окончить, какъ было-бы хорошо! Это начало всему моему будущему. Анна Григорьевна не тоскуетъ и искренно говоритъ, что счастлива. А мнѣ тошно.—Никуда не хожу и никого не вижу. Да еслибъ и были знакомые,—такъ кажется не ходилъ-бы, совсѣмъ опустился,—а работа все таки не идетъ. Выхожу въ день только на два часа изъ квартиры, въ пять часовъ, и иду въ кафе читать русскія газеты! Никого-то не знаю здѣсь и радъ тому. Съ нашими у м н и к а м и противно и встрѣтиться. О бѣдные, о ничтожные, о дрянь, распухшая отъ самолюбія, о говно! Противно! съ Г. [1]) случайно встрѣтился на улицѣ, десять минутъ проговорили враждебно-вѣжливымъ тономъ, съ насмѣшками, да и разошлись. Нѣтъ-съ, не пойду-съ. Какъ они, о какъ они отстали, до какой степени они ничего не понимаютъ. А распухли-то, распухли-то какъ!—.—Я здѣсь съ жадностью читаю объявленія въ газетахъ о выходѣ номеровъ журналовъ и оглавленія. Странныя имена и составы книжекъ и пр. Отеч. Записки: да, тряпье вмѣсто знаменъ, это правда! Голубчикъ, не давайте имъ ничего, подождите. А вопросъ, гдѣ печататься, Васъ повидимому даже заботитъ. Не безпокойтесь, другъ мой. Я теперь Вамъ наскоро пишу, а то-бы съ Вами поговорилъ. У меня есть одна мысль, для Васъ, но она требуетъ особаго изложенія въ цѣломъ письмѣ, а теперь некогда. Скоро напишу [2]). Мысль эта по поводу Вашей «Софьи Алексѣевны» у меня зароди-

---

[1]) С Герценом, конечно.
[2]) См. ниже, в письме от 15/27 мая 1869 г.

лась. И повѣрьте, что серьозно, не смѣйтесь! Я изложу. Это не романъ и не поэма. Но это такъ нужно, такъ будетъ необходимо и такъ будетъ оригинально и ново и съ такимъ необходимымъ, русскимъ направленіемъ, что сами ахнете! Я вамъ изложу програму. Жаль, что не въ живомъ разговорѣ, а на письмѣ. Этимъ прославиться можно будетъ и, главное, это даже надо будетъ особой книгой издать, напечатавъ нѣсколько отрывковъ предварительно, а книга должна будетъ разойтись въ громадномъ числѣ экземпляровъ.—.—Такъ Вы таки кончили Апокалипсисъ? А я-то вообразилъ, что Вы его оставили [1]). Разумѣется отъ духовной цензуры не уйдетъ низачто, да и невозможно иначе, но если Вы переводили совершенно вѣрно, то разумѣется позволятъ. Я получилъ письмо отъ Страхова. Обрадовало меня. Хочу ему поскорѣй отвѣтить, но такъ-какъ онъ, мнѣ своего адреса не написалъ (забылъ!), то я и отвѣчу черезъ Васъ. А Васъ попрошу доставить [2]).— Голубчикъ, пишите мнѣ чаще. Вы не повѣрите, что значатъ для меня Ваши письма! Вотъ уже 3-е число Апрѣля здѣшняго стиля, а 25-го—послѣдній срокъ (minimum) высылкѣ романа, а у меня ни строчки, ни единой строки не написано! Господи, что со мной будетъ! Ну, до свиданья, цалую Васъ и обнимаю. Аня Вамъ кланяется, оба мы кланяемся Аннѣ Ивановнѣ. Вашъ весь

Ѳедоръ Достоевскій.

P. S. Ради Бога пишите мнѣ все, что услышите (если только услышите) объ «Идіотѣ». Мнѣ это надо, надо, непремѣнно надо! ради Бога! Финалъ 2-й части, объ которомъ я вамъ писалъ—то самое, что напечатано въ концѣ первой части. А я то на это надѣялся! Въ совершенную вѣрность характера Настасьи Филипповны я впрочемъ и до сихъ поръ вѣрю. Кстати: многія вещицы въ концѣ 1-й части—взяты съ натуры, а нѣкоторые характеры—просто портреты, н. п. Генералъ Иволгинъ, Коля. Но ваше сужденіе можетъ быть и очень вѣрно.

13. А. Н. Майкову.

Флоренція. 15/27 Мая/69.

Сколько, сколько времени не отвѣчалъ я Вамъ на Ваши добрые искренніе отзывы, добрый и единственный другъ мой! Но Вы правы; потому что Васъ и одного только Васъ считаю я человѣкомъ по сердцу своему изъ всѣхъ тѣхъ, съ которыми случалось встрѣчаться и жизнь изживать вотъ уже впродолже-

---

[1]) В № 4 «Русского Вестника» был напечатан, в переложении Майкова, отрывок «Из Апокалипсиса» (гл. IV—X книги Иоанна. Ср. Сочинения, изд. А. Маркса 1888 г., т. II, стр. 337—352 и 492—493.

[2]) Это письмо Достоевский написал Страхову уже из Флоренции 12/24 декабря 1868 г.; см. его в книге «Биография...», отд. 2, стр. 259—262.

ніе сорока восьми лѣтъ. Изъ всѣхъ встрѣтившихся, во всѣ 48 лѣтъ, въ рядъ ли у меня былъ (не говорю ужъ есть) хоть одинъ такой, какъ Вы (я о братѣ покойномъ не говорю). Мы съ вами, хоть и разной общественной жизни, но по сердцу и по сердечнымъ встрѣчамъ, по душѣ и дорогимъ убѣжденіямъ—почти однокашники. Даже выводы ума и всей прожитой жизни нашей до странности, въ послѣднее время, стали схожи у насъ обоихъ и, думаю, что и сердечный жаръ одинъ и тотъ же. Посудите, на примѣръ, другъ мой, по слѣдующему факту: Помните ли Вы, какъ, прошлаго года, кажется лѣтомъ и кажется ровно годъ назадъ (передъ дачнымъ временемъ сколько припомню), я написалъ Вамъ письмо [1]) (на которое мѣсяца три или четыре не получалъ отъ Васъ отвѣта; тутъ пресѣклась наша переписка и когда вновь опять началась осенью, то мы начали писать совершенно уже про другое и забыли то, на чемъ лѣтомъ остановились)—ну такъ въ этомъ письмѣ, въ концѣ, я писалъ къ Вамъ, полный серьезного и глубокаго восторга, о новой идеѣ, пришедшей мнѣ въ голову, собственно для Васъ, для Вашей дѣятельности (т. е. если хотите, идея пришла сама по себѣ, какъ нѣчто самостоятельное и для меня вполнѣ цѣлое, но такъ какъ самъ себя я никоимъ образомъ не могъ считать возможнымъ исполнителемъ этой идеи, то назначилъ ее, въ желаніяхъ моихъ, для Васъ, естественно. Такъ даже, что можетъ она и родилась-то во мнѣ именно, какъ я уже сказалъ, для Васъ, или лучше сказать нераздѣльно съ образомъ Вашимъ, какъ поэта). Еслибъ Вы тогда, лѣтомъ, тотчасъ бы мнѣ отвѣтили, я бы послалъ Вамъ огромное разъясненіе идеи, съ подробностями; я уже и обдумалъ тогда, все до послѣдней строчки, что Вамъ написать. Но кажется и лучше вышло, что Вы мнѣ тогда не отвѣтили. Посудите: идея моя состояла тогда въ томъ (теперь я скажу только нѣсколько словъ про нее),—что могъ бы появиться, въ увлекательныхъ, обаятельныхъ стихахъ,—въ такихъ стихахъ, которые сами по себѣ, безо всякаго усилія, наизусть заучиваются, что всегда бываетъ съ глубокими и прелестными стихами,—могъ бы появиться, говорю я, рядъ былинъ, балладъ, пѣсней, маленькихъ поэмъ, романсовъ, какъ хотите назовите; тутъ ужъ сущность и даже размѣръ стиховъ зависятъ отъ души поэта и являются вдругъ, совершенно готовые въ душѣ его, даже независимо отъ него самого... Сдѣлаю отступленіе значительное: поэма, по моему, является какъ самородный драгоцѣнный камень, алмазъ, въ душѣ поэта, совсѣмъ готовый, во всей своей сущности, и вотъ это первое дѣло поэта; какъ создателя и творца, первая часть его творенія. Если хотите, такъ даже не онъ и творецъ, а жизнь, могучая сущность жизни, богъ живой и сущій, совокупляющій свою силу въ многоразличіи созданія мѣ-

[1]) См. выше, в письме от 20 марта (2 апреля) 1868 г.

стами, и чаще всего въ великомъ сердцѣ и въ сильномъ поэтѣ, такъ что если не самъ поэтъ творецъ, (а съ этимъ надо согласиться, особенно вамъ, какъ знатоку и самому поэту, потому что вѣдь ужъ слишкомъ цѣльно, окончательно и готово является вдругъ изъ души поэта созданіе),—если не самъ онъ творецъ, то по крайней мѣрѣ душа-то его есть тотъ самый рудникъ, который зарождаетъ алмазы и безъ котораго ихъ нигдѣ не найти. Затѣмъ ужъ слѣдуетъ второе дѣло поэта, уже не такъ глубокое и таинственное, а только какъ художника: это, получивъ алмазъ, обдѣлать и оправить его. Тутъ поэтъ почти только что ювелиръ). Ну такъ вотъ въ этомъ рядѣ былинъ, въ стихахъ (представляя себѣ эти былины, я представлялъ себѣ иногда вашъ Констанскій [sic] соборъ) [1],—воспроизвести, съ любовью и съ нашею мыслію, съ самаго начала съ русскимъ взглядомъ,—всю русскую исторію, отличая въ ней тѣ точки и пункты, въ которыхъ она временами и местами какъ-бы сопункты, въ которыхъ она временами и местами какъ-бы сосредоточилась и выражалась вся, вдругъ, во всемъ своемъ цѣломъ. Такихъ всевыражающихъ пунктовъ найдется, во все тысячелѣтія, до десяти, даже чуть ли не больше. Ну вотъ схватить эти пункты и разсказать въ былинѣ, всѣмъ и каждому, но не какъ простую лѣтопись [2]), нѣтъ, а какъ сердечную поэму, даже безъ строгой передачи факта (но только съ чрезвычайною ясностію), схватить главный пунктъ и такъ передать его, чтобъ видно съ какой мыслію онъ вылился, съ какой любовью и мукою эта мысль досталась. Но безъ эгоизма, безъ словъ отъ себя, а наивно, какъ можно наивнѣе, только чтобъ одна любовь къ Россіи била горячимъ ключемъ—и болѣе ничего. Вообразите себѣ, что въ третьей или въ четвертой былинѣ (я ихъ всѣ въ умѣ тогда сочинилъ и долго потомъ сочинялъ) у меня вышло взятіе Магометомъ 2-мъ Константинополя (и это прямо и невольно явилось, какъ былина изъ Русской исторіи, само собою и безъ намѣренія; потомъ я самъ подивился, какъ безъ всякаго сомнѣнія и даже безъ обдумыванія и безъ сознанія, у меня такъ пришлось, что взятіе Константинополя я причелъ прямо къ Русской ис-

---

[1]) Не «Констанцкій», а «Клермонтскій соборъ»—небольшая поэма в стихах Майкова (1853 г.), напечатанная впервые в «Отечественных Записках» 1854 г., № 4, стр. 175—182.

[2]) В «Заре» 1869 г. (кн. 5 и 8) Майков поместил свои известные «Рассказы из Русской истории. (Для детей и народа)», в прозе; их было всего два: в первом повествовании касается святых московских митрополитов Петра и Алексея и Мамаева побоища, а во втором («Начало восточного вопроса»)—даны очерки: «Взятие турками Константинополя» (тема, рекомендованная Достоевским для переложения в стихи—см. ниже, в этом письме), «Москва—Третий Рим», «Царь Иван Васильевич Грозный: Покорение мусульманских царств Казанского и Астраханского» и «Завоевание Сибири». Отзыв о них Достоевского см. в письме к Майкову от 27-го октября 1869 г.—«Биография...», отд. 2, стр. 218—219.

торіи, не усумнившись нимало). Вся эта катастрофа въ наивномъ и сжатомъ разсказѣ: Турки облегли Царьградъ тѣсно; послѣдняя ночь передъ приступомъ, который былъ на зарѣ; послѣдній Императоръ ходитъ по дворцу—

(«Король ходитъ большими шагами»)

идетъ молиться образу Влахернской Божіей Матери; молитва; приступъ: бой; Султанъ съ окровавленной саблей въѣзжаетъ въ Константинополь. Трупъ послѣдняго Императора отыскиваютъ по приказанію Султана въ кучѣ убитыхъ, узнаютъ по орламъ, вышитымъ на сапожкахъ; Святая Софія, дрожащій Патріархъ, послѣдняя обѣдня, Султанъ, не слѣзая съ коня, скачетъ по ступенямъ въ самый храмъ (historique), доскакавъ до середины храма, останавливаетъ коня въ смущеніи, задумчиво и съ смятеніемъ озирается и выговариваетъ слова: «Вотъ домъ для молитвы Аллаху!» За тѣмъ выбрасываютъ иконы, престолъ, ломаютъ алтарь, становятъ мечеть, трупъ Императора хоронятъ, а въ Русскомъ царствѣ послѣдняя изъ Палеологовъ является, съ двуглавымъ орломъ вмѣсто приданаго; русская свадьба, князь Иванъ III въ своей деревянной избѣ вмѣсто дворца, и въ эту деревянную избу переходитъ великая идея о всеправославномъ значеніи Россіи и полагается первый камень о будущемъ главенствѣ на Востокѣ, расширяется кругъ Русской будущности, полагается мысль не только великаго государства, но и цѣлаго новаго міра, которому суждено обновить христіанство всеславянской православной идеей и внести въ человѣчество н о в у ю мысль. Когда загніетъ Западъ, а загніетъ онъ тогда, когда Папа исказитъ Христа окончательно и тѣмъ зародитъ атеизмъ въ опоганившемся, западномъ человѣчествѣ.

Да и не эта одна мысль объ этой эпохѣ: была у меня мысль, рядомъ съ изображеніемъ деревянной избушки и въ ней умнаго, съ величавой и глубокой идеей Князя, въ бѣдныхъ одеждахъ Митрополита, сидящаго съ Княземъ, и при жившейся въ Россіи «Ѳоминишны»,—вдругъ, въ другой уже балладѣ, перейти къ изображенію конца пятнадцатаго и начала 16-го столѣтія въ Европѣ, Италіи, Папства, искусства храмовъ, Рафаэля, поклоненія Аполлону Бельведерскому, первыхъ слуховъ оРеформѣ, о Лютерѣ, объ Америкѣ, объ золотѣ, объ Испаніи и Англіи,—цѣлая, горячая картина, въ параллель со всѣми предыдущими русскими картинами,—но съ намеками о будущности этой картины, о будущей наукѣ, объ атеизмѣ, о п р а в а х ъ ч е л о в ѣ ч е с т в а, сознанныхъ по Западному, а не по нашему, что и послужило источникомъ всего, что есть и что будетъ. Въ горячей мысли моей я думалъ даже, что не надо кончать былины на Петрѣ, напримѣръ, объ которомъ непремѣнно нужно особенное хорошее слово и хорошая поэма-

былина съ смѣлымъ и откровеннымъ взглядомъ, нашимъ взглядомъ. Я бы прошелъ до Бирона, до Екатерины и далѣе,—я бы прошелъ до освобожденія крестьянъ и до бояръ, разсыпавшихся по Европѣ съ послѣдними кредитными рублишками, до барынь, блядующихъ съ Боргезанами, до семинаристовъ, проповѣдующихъ атеизмъ, до всегуманныхъ и всесвѣтныхъ гражданъ, русскихъ графовъ, пишущихъ критики и повѣсти, и т. д. и т. д. Поляки бы должны были занять много мѣста. Затѣмъ кончилъ бы фантастическими картинами будущаго: Россіи черезъ два столѣтія, и рядомъ—померкшей, истерзанной и оскотинившейся Европы, съ ея цивилизацией. Я бы не остановился тутъ ни передъ какой фантазіей...

Вы считаете меня въ эту минуту конечно за сумашедшаго, собственно и главное за то, что я такъ расписался, потому что обо всемъ этомъ надо говорить лично, а не писать, ибо въ письмѣ ничего понятно не передашь. Но я разгорячился. Видите-ли, прочтя въ Вашемъ письмѣ о томъ, что Вы пишете эти баллады [1]), я страшно удивился тому: какъ это намъ, такъ долго разлученнымъ, пришла одна и та же мысль, одной и той же поэмы? Обрадовавшись этому, я потомъ задумался: такъ ли это мы оба понимаемъ, т. е. одинаково-ли? Видите-ли: моя мысль въ томъ, что эти баллады могли бы быть великою національною книгой и послужить къ возрожденію самосознанія Русскаго человѣка много. Помилуйте, Апполонъ Николаевичь, да вѣдь эти поэмы всѣ мальчики въ школахъ будутъ знать и учить наизусть. Но заучивъ поэму, онъ заучитъ вѣдь и мысль и взглядъ, и такъ какъ этотъ взглядъ вѣренъ, то на всю жизнь въ душѣ его и останется. Такъ какъ это стихи и поэмы сравнительно короткія, то вѣдь весь міръ читающій русскій прочтетъ ихъ, какъ Константскій соборъ, который многіе до сихъ поръ наизусть знаютъ. И потому— это не просто поэмы и литературное занятіе,—это наука, это проповѣдь, это подвигъ. Когда я прошлаго года хотѣлъ писать Вамъ и склонить Васъ, чтобъ Вы принялись за эту мысль, я думалъ про себя: да какъ я передамъ ему, чтобъ онъ понялъ меня совершенно?—и вдругъ, черезъ годъ, вы сами вдохновляетесь той-же самой идеей и находите нужнымъ ее писать! Значитъ идея вѣрна! Но одно, одно надо и непремѣнно: надо, чтобъ поэмы были необыкновенной поэтической прелести, чтобъ увлекли и увлекли непремѣнно,

---

[1]) Таких «баллад» вообще из славянской истории Майков написал всего 7: «Никогда! (Первая встреча славян с римлянами)», 1870 г.; «Любуша и Премысл». 1871 г.; «Сабля царя Вукашина. (Из Сербских народных песен)», 1870 г.; «Сербская церковь. (Сербское предание)», 1867 г.: «Как отдарил турецкий султан Московского царя. (Из сербских песен)», 1867 г.; «Сон королевича Марка. (Сербское предание)», 1871 г.. и уже упоминавшееся выше «Стрелецкое сказание о Царевне Софье Алексеевне», 1867 г.

увлекли до невольнаго заучиванія. Другъ мой! вспомните, что можетъ быть вся ваша поэтическая карьера до сихъ поръ была только одно предисловіе, введеніе, и что теперь только придется Вамъ вполнѣ по силамъ сказать новое слово, Ваше новое слово! И потому смотрите на дѣло серьознѣе, глубже и больше восторга. А главное,—простоты и наивности больше. Да вотъ еще: напишите рифмой, а не старымъ русскимъ размѣромъ. Не смѣйтесь! Это важно: теперь рифма—народна, а старый русскій размѣръ—академизмъ. Ни одно сочиненіе бѣлыми стихами наизусть не заучивается. Народъ уже не сочиняетъ пѣсенъ прежнимъ размѣромъ, а сочиняетъ въ рифмахъ. Если не будетъ рифмы (и не будетъ почаще хорея),—право вы дѣло погубите. Можете надо мной смѣяться, но я правду говорю! грубую правду!

Объ Ермакѣ же ничего Вамъ сказать не могу; вы конечно лучше знаете. По моему сначала казачье удальство—бродяжничество и разбой. Потомъ уже указывается геніальный человѣкъ подъ бараньимъ тулупомъ; угадываетъ колоссальность дѣла и будущее значеніе его, но уже тогда, когда почти все дѣло пошло на ладъ и удачно обдѣлалось. Тутъ рождается русское чувство, православное чувство единенія съ русскимъ корнемъ (даже непосредственное можетъ быть чувство въ родѣ тоски), а изъ того выходитъ посольство и челобитье великому государю, выражающему въ понятіяхъ народа вполнѣ русскій народъ. (NB. Главное и полнѣйшее выраженіе этого понятія дошло до полнаго, послѣдняго своего развитія знаете ли когда, по моему? Въ нашемъ столѣтіи. Разумѣется я говорю объ народѣ, а не о прогнившихъ боярахъ и семинаристахъ).

Но довольно теперь объ этомъ. Я только вѣрю одному: что мы съ Вами сходимся въ идеяхъ, и радуюсь этому. Пришлите мнѣ пожалуста хоть что-нибудь изъ написаннаго, а если можно, то больше пришлите. Не употреблю во зло. Сами видите, что это меня доволненія интересуетъ.

Вы спросите: почему я такъ долго Вамъ не писалъ? Но я такъ долго не писалъ, что мнѣ и отвѣчать на это уже затруднительно. Главное—тоска, а если говорить и разъяснять больше, то слишкомъ уже много надобно говорить. Но тоска такая, что если-бъ я былъ одинъ, то можетъ быть заболѣлъ-бы съ тоски. Хорошо еще, что я съ Анной Григорьевной, которая, какъ вы знаете, опять съ надеждами [1]). Эти надежды волнуютъ насъ обоихъ. (Съ нами живетъ тоже теперь мать Анны Григорьевны, что̀ при теперешнемъ ея положеніи необходимо). Мы имѣли недавно большую неудачу, оставшись во Флоренціи, тогда какъ уже мѣсяцъ тому назадъ рѣшено было пере-

[1]) Т. е. беременна.

ѣзжать въ Дрезденъ. Все произошло черезъ деньги. Я кончилъ тѣмъ, что обѣщалъ повѣсть (очень малая будетъ) въ Зарю. Милѣйшій Николай Николаевичъ [1]) (который можетъ быть теперь на меня сердится)—обдѣлалъ дѣло (125 рублей доставилъ Марьѣ Григорьевнѣ Сватковской для внесенія процентовъ (60 р.) и остальные 65 для раздѣла Пашѣ и Эмиліи Ѳедоровнѣ (Пашѣ 25 р. и Эм. Ѳ—нѣ 40)—и кромѣ того, обѣщалъ мнѣ выслать сюда, во Флоренцію, 175 р. къ опредѣленному сроку. Вотъ на этотъ то срокъ и деньги я и расчитывалъ для выѣзда въ Дрезденъ. Но произошла маленькая неловкость. Вмѣсто того, чтобъ послать деньги по почтѣ и застраховать, Заря выслала черезъ какое-то коммиссіонерство, и я получилъ дней 10 или 12 позже (и такъ какъ получилъ не по почтѣ, то имѣлъ даже шансъ и совсѣмъ не получить, потому что коммиссіонерство могло и совсѣмъ меня не отыскать во Флоренціи). Такимъ образомъ мы недѣли двѣ, въ ожиданіи денегъ, зажили лишнихъ и поистратились; денегъ-то на переѣздъ и не достало. Послалъ просьбу въ Русскій Вѣстникъ, чтобъ выручили. Я въ Русскій Вѣстникъ къ Генварю доставляю романъ [2]). Въ Дрезденѣ буду работать не разгибая шеи. Но вообще хлопотъ и дрязгъ много. Жара во Флоренціи наступаетъ ужасная, городъ душный и раскаленный, нервы у насъ всѣхъ разстроены,—что вредитъ особенно женѣ, тѣснимся мы въ настоящую минуту (и все en attendant) въ тѣснѣйшей маленькой комнаткѣ, выходящей на рынокъ. Надоѣла мнѣ эта Флоренція, а теперь отъ тѣсноты и отъ жару даже и за работу сѣсть нельзя. Вообще тоска страшная, а пуще отъ Европы; на все здѣсь смотрю какъ звѣрь. Рѣшилъ во что-бы то ни стало воротиться къ будущей веснѣ въ Петербургъ (какъ кончу романъ),—хотя бы меня въ долговое посадили. Я уже не говорю о духовныхъ интересахъ, но и матеріальные интересы мои здѣсь, за границей, страждутъ. Вообразите, напримѣръ, слѣдующее обстоятельство: какъ бы тамъ ни было, а вѣдь сочиненія мои (всѣ) и третьимъ, и четвертымъ, и пятымъ изданіемъ расходились. Идіотъ (каковъ тамъ ни есть, теперь спорить не буду)—есть все таки добрый товаръ. Я знаю навѣрно, что второе изданіе разошлось бы все въ одинъ годъ. Отчего-же не издать? Теперь именно время, а главное—мнѣ по одному обстоятельству особенно хочется. Что-же я сдѣлалъ? Недѣль шесть назадъ послалъ я къ Марьѣ Григорьевнѣ Сватковской слѣдующее порученіе: заѣхать въ лавку къ А. Ѳ. Базунову [3]) (съ рекомендательной запиской отъ меня) и сказать ему слѣдующія два слова: не возьмется-ли онъ за 2-е

---

[1]) Рассказ «Вечный Муж», напечатан в № 1 и 2 журнала «Заря» 1870 г., издававшегося В. В. Кашпиревым при участии Н. Н. Страхова.

[2]) Предположение не состоялось, и только с января 1871 г. в этом журнале начали печататься «Бесы».

[3]) Книгоиздателю и книгопродавцу; см. выше.

изданіе Идіота [1]) (къ будущей зимѣ бы оно уже было готово, еслибъ теперь взялся). Цѣна 2000 р. (даже полагалъ спустить за 1500, если всѣ деньги разомъ, а то такъ далъ бы разсрочку). Законности и формальности контракта не задержали бы, потому что я могъ-бы послать отсюда форменное и засвидѣтельствованное полномочіе). Я просилъ Марью Григорьевну Базунова только спросить, безъ особенной настойчивости, чтобъ сказалъ д а или н ѣ т ъ, и меня сюда увѣдомить. Если н ѣ т ъ (хотя онъ-то ужъ знаетъ какъ мои книги до сихъ поръ расходились и каковъ это товаръ),—то вѣдь какъ угодно, мнѣ все равно. Я и самъ издамъ воротясь и убытка не понесу. Кажется порученіе не отяготительное, не правда-ли? Могло-бы въ минуту окончиться, двумя словами съ Базуновымъ. И что жъ? Вотъ уже шесть недѣль отъ Марьи Григорьевны ни слуху ни духу. Между тѣмъ я и попросилъ-то ее (въ первый разъ въ жизни) потому, что она сама съ горячностію предлагала мнѣ свои услуги, по порученіямъ и надобностямъ въ Петербургѣ, прошлымъ лѣтомъ въ Швейцаріи. Такимъ образомъ мои интересы видимо страдаютъ и единственно оттого, что я въ отсутствіи. Да и не одно это! Множество, множество вещей, безъ которыхъ я не могу обойтись, осталось въ Россіи! Писалъ я Вамъ или нѣтъ о томъ, что у меня есть одна литературная мысль (романъ, п р и т ч а объ А т е и з м ѣ), предъ которой вся моя прежняя литературная карьера была только дрянь и в в е д е н і е и которой я в с ю мою жизнь будущую посвящаю? Ну такъ мнѣ вѣдь нельзя писать ее здѣсь; никакъ; непремѣнно надо быть въ Россіи. Безъ Россіи не напишешь.—.—.—[2]). А сколько безпокойствъ! сколько дрязгъ! по-

[1]) Ср. в «Сев. Вестн.» 1891 г., № 10, стр. 24—29 письмо к П. А. Исаеву о продаже «Идиота» Ф. Т. Стелловскому и, ниже, проект условия от янв. 1870 г.

[2]) То же говорил Достоевский и в письме к племяннице своей С. А. Ивановой (Хмыровой) от 6-го февраля (25-го января) 1869 г.: «Мне непременно надобно воротиться в Россию; здесь же я потеряю даже возможность писать, не имея под руками всегдашнего и необходимого материала для письма, то-есть русской действительности (дающей мысли) и русских людей. А сколько справок необходимо делать поминутно и негде. Теперь у меня в голове одна мысль огромного романа, который во всяком случае, даже и при неудаче моей, должен иметь эффект,—собственно по своей теме. Тема—А т е и з м (это не обличение современных убеждений, это другое и—поэма настоящая). Это п о н е в о л е должно завлечь читателя. Требует большого изучения предварительно. Два-три лица ужасно хорошо сложились у меня в голове, между прочим католического энтузиаста священника (в роде St. François Fanïer). Но написать его здесь нет возможности...» («Русск. Стар.» 1885 г., т. XLVII, стр. 150). Ей же Достоевский писал 8 (20)-го марта 1869 г.: ...«В литературном деле моем есть для меня одна торжественная сторона, моя цель и надежда (и не в достижении славы и денег, а в достижении выполнения синтеза моей художественной и поэтической идеи, т. е. в желании высказаться в чем-нибудь по возможности вполне прежде, чем умру). Ну вот я и задумал теперь одну мысль, в форме романа. Роман этот называется А т е и з м; ныне, кажется, я весь выскажусь в нем. И представьте же, друг мой: писать его здесь я не могу; для этого мне нужно быть в России непременно, видеть, слышать и в русской жизни участвовать непосредственно; надо, наконец, писать его два года...» (там же, стр. 153).

щадили-бы хоть меня! Аполлонъ Николаевичь, ради Бога напишите мнѣ о Пашѣ и о томъ, какія у нихъ дрязги съ Эмиліей Ѳедоровной! Положимъ это вздоръ, но для меня-то важно. Эмилія Ѳедоровна хоть ничего мнѣ не писала о Пашѣ, но прислала мнѣ на дняхъ письмо съ укорами. Это люди съ удивительнымъ разсужденіемъ. Правда они бѣдны, но вѣдь я могу только сдѣлать то, что могу.—.—Послушайте, Аполлонъ Николаевичь, есть у меня и еще до Васъ просьба. Можете сдѣлать—сдѣлайте, а нѣтъ—такъ и не дѣлайте. И ради Бога не утруждайте себя. Труда положимъ не много, но просьба деликатная. Дѣло въ томъ же Базуновѣ: прошу Васъ очень зайти къ нему въ лавку и спросить его: Расположенъ онъ или нѣтъ издать Идіота, за 2000 р.? (я не хочу спускать на 1500). Съ Базуновымъ Александромъ Ѳедоровичемъ, какъ Вы можетъ быть сами знаете, можно говорить прямо. При этомъ никакихъ стараній съ Вашей стороны и особенно никакихъ особенно упрашиваній,—развѣ (по дружбѣ), если бъ завязался разговоръ (Базуновъ любитъ спрашивать совѣта), сказать доброе слово объ Идіотѣ. Но главное—никакой особой горячности. Узнавъ—написать ко мнѣ. Ну вотъ и вся просьба.

Конечно, конечно Вы бы мнѣ въ этомъ (дѣлѣ для меня очень важномъ, несмотря на то, что я сбавлять не хочу, и если «нѣтъ»—то какъ угодно, своего не потеряю, самъ издамъ или подожду),—Вы бы мнѣ въ этой просьбѣ не отказали. Но вотъ въ чемъ щекотливость дѣла: то, что я это дѣло вѣдь ей поручилъ и даже подъ секретомъ, хотя въ то же время увѣдомилъ ее, что и Васъ извѣщу. Такъ не обидѣлась бы она тѣмъ, что я мимо нея Васъ прошу? И въ то же время, чѣмъ-же тутъ однако же обижаться, тѣмъ болѣе, что ей извѣстно, что Вы про это дѣло должны узнать отъ меня. Кромѣ того—она же вѣдь мнѣ не отвѣчаетъ, не смотря на то, что необходимое время проходитъ, а между тѣмъ дѣло это для меня важное. Хоть-бы увѣдомила меня, что не хочетъ брать на себя порученія, тогда бы у меня, по крайней мѣрѣ, были руки развязаны, а то ни слуху ни духу. Впрочемъ думаю, что ничего, т. е. никакой щекотливости не составило-бы, еслибъ Вы, напримѣръ, зайдя къ Базунову, спросили отъ меня: не было-ли ему отъ меня какого нибудь предложенія объ изданіи Идіота? А тамъ, судя по разговору, поговорить съ нимъ и объ условіяхъ. Ну такъ вотъ въ этомъ—покорнѣйшая просьба моя къ Вамъ, Аполлонъ Николаевичь! Можете—сдѣлайте, очень прошу Васъ. Разумѣется я Васъ не кончать дѣло прошу (потому что его и нельзя кончать, ибо тутъ нуженъ контрактъ и довѣренность), а только начать, т. е. узнать, расположенъ ли Базуновъ и вѣрно-ли его слово, и увѣдомить меня объ этомъ, хоть двумя словами. Ради Бога только не пеняйте на меня и не браните меня за то, что я Васъ все утруждаю и мучаю.—.—Впрочемъ считаю нужнымъ дать Вамъ знать, что я, на дняхъ, пишу къ Марьѣ Гри-

горьевнѣ [1]) и прошу ее дѣло о Базуновѣ оставить въ покоѣ, а просьбу мою къ ней считать какъ бы и не существовавшею. Это-бы я написалъ ей и безъ того, т. е. еслибъ и не думалъ Васъ просить о Базуновѣ. А лучше всего, лучше всего—еслибъ Вы взяли на себя трудъ повидать самое Марью Григорьевну и просто спросить ее: дѣлала-ли она что-нибудь по моему дѣлу или забыла о немъ! Но боюсь утруждать Васъ, слишкомъ ужъ много ходьбы [2]).

Я все еще надѣюсь скоро отсюдова выѣхать и опять таки въ Дрезденъ. Письма, ко мнѣ адресуемыя въ Дрезденъ, перешлются ко мнѣ сюда во Флоренцію, если бъ я остался во Флоренціи, потому что я уже списался съ Дрезденскимъ почтамтомъ. Но это крайній случай, и я все-таки надѣюсь, что выѣду въ Дрезденъ отсюдова скоро, а потому если захотите мнѣ написать (чего буду ждать съ алчностію), то пишите отнынѣ во всякомъ случаѣ по слѣдующему адрессу: Allemagne, Saxe, Dresden, à M-r Theodor Dost—y, poste restante.

Собственно переѣздъ въ Дрезденъ совершается нами по многимъ и необходимымъ соображеніямъ, а главное—это городъ испытанный, сравнительно дешевый, даже съ знакомыми, и тамъ то Анна Григорьевна предполагаетъ осуществить свои надежды (это будетъ къ началу Сентября, т. е. надежды). Анна Григорьевна горячо Васъ благодаритъ за Ваши добрыя слова; она часто объ Васъ вспоминаетъ и все по Россіи тоскуетъ. Я очень радъ, что теперешнее з а н я т і е развлечетъ нѣсколько ея тоску. До свиданья, другъ мой! Три листка написалъ, а что сообщилъ? Ничего. Слишкомъ ужъ долго мы были разлучены, а отъ разлуки слишкомъ много накопляется непонятного.—Все, что у Васъ въ Петербургѣ дѣлается, до меня отчасти доходитъ: имѣю Русскій Вѣстникъ, Зарю и читаю Голосъ, который здѣсь въ Библіотекѣ получается. Какъ Вамъ нравится: «Россія и Европа» Данилевскаго? По моему это произведеніе—важное въ послѣдней степени, но боюсь, что оно у нихъ въ журналахъ недостаточно выставлено [3]). Комедію о Фролѣ Скабѣевѣ Аверкіева [4]) я считаю лучшимъ

---

[1]) Письма к ней Достоевского в печати не появлялись.

[2]) Ср. «Биография...», отд. 2, стр. 209.

[3]) См. выше. Своей племяннице, С. А. Хмыровой, Достоевский писал 8 (20)-го марта 1869 г.: «Первый номер «Зари» произвел на меня впечатление сильное и именно своим откровенным и сильным направлением и двумя главными статьями: Страхова и Данилевского... Данилевского статья, «Европа и Россия», будет огромная, во многих номерах. Это редкая вещь. Этот Данилевский был прежде социалист и фурьерист, замечательнейший человек и тогда еще, когда попался, двадцать лет тому назад, по нашему делу, был удален и вот теперь воротился вполне русским и национальным человеком. До сих пор он ничего не писал. Его статью я вам особенно рекомендую» («Русск. Стар.» 1885 г., т. XLVII, стр. 154).

[4]) «Комедия о российском дворянине Фроле Скабееве и стольничьей Нардын-Нащокина дочери Аннушке» появилась впервые в «Заре» 1869 г., кн. 3, а затем была издана отдельно (1872).

произведеніемъ за нынѣшній годъ. Съ перваго чтенія былъ даже въ острогѣ, теперь со втораго чтенія сталъ смотрѣть поосторожнѣе [1]). Жму Вамъ руку крѣпко и обнимаю Васъ.

Вашъ весь и всегда

Ѳедоръ Достоевскій.

14. А. Н. Майкову.

Дрезденъ. 14/26 Августа/69.

Ужасно радъ Вашему отзыву и ужъ разумѣется напишу не дожидаясь Вашего большого письма, милѣйшій и драгоцѣннѣйшій другъ Аполлонъ Николаевичъ. (Но помните, помните, дорогой человѣкъ, что Вы обѣщали мнѣ большое и скорое письмо!). Благодарю, во-первыхъ, за мысль обо мнѣ и о моемъ интересѣ [2]). Я написалъ Веселовскому. Повернуть дѣло (то есть даже и со мною) зависитъ теперь отъ него. Прочтя все внимательно, что Вы мнѣ написали, я разсудилъ, что въ дѣлѣ этомъ надо начать съ осторожности. Этакое дѣло—щекотливое дѣло! Что тетка была не въ своемъ умѣ нѣсколько лѣтъ (года 4 послѣднихъ навѣрно)—тому и я многократный очевидецъ и если надо, то найдутся 100 свидѣтелей. Но съ другой стороны я ровно ничего не знаю о ея завѣщаніи и о настоящихъ ея намѣреніяхъ насчетъ монастыря. Одно укрѣпляетъ меня въ намѣреніи—это то, что Веселовскій долженъ основательно знать всю сущность ея завѣщанія, равно и о томъ, кто будетъ противъ насъ и кто за. Однимъ словомъ я написалъ ему въ томъ смыслѣ, что я слышалъ отъ Васъ (а Вы отъ Кашпирева) [3]), что онъ говорилъ такія-то слова и изъявлялъ такое-то мнѣніе. Вслѣдъ за тѣмъ, я прошу у него разъясненія фактовъ и обстоятельствъ, подробностей завѣщанія и заключаю тѣмъ, что если онъ твердо увѣренъ въ томъ, что завѣщаніе редактировано въ послѣднее время, т. е. не въ своемъ умѣ, и что право стало-быть очевидное, то чтобъ не оставилъ меня совѣтами и руководствомъ и изъяснился бы со мной въ этомъ смыслѣ. «Я же дѣло начать разумѣется готовъ при вышесказанныхъ обстоятельствахъ».

Вотъ какъ я написалъ. Теперь отъ Веселовскаго буду ждать отвѣта, т. е. разъясненія и руководства. Вы пишете, что

---

[1]) Ср. еще отзыв Достоевского в его «Биографии...», отд. 2, стр. 278—279.

[2]) Далее речь идет о смерти какой-то тетки Достоевского (Александры Федоровны Куманиной, рожд. Нечаевой, сестры матери писателя?) и о неправильности ее духовного завещания; по делу этому Майков советовал обратиться к некоему Веселовскому, приятелю Андрея Михайловича Достоевского, но Веселовский не отозвался на письмо Ф. М. Достоевского, и письмо его не известно (см. «Биография...», отд. 2, стр. 204, 208—209, 280).

[3]) Василий Владимирович Кашпирев, издатель журн. «Заря», по отзыву Н. Н. Страхова—«человек очень добрый, очень деликатный, с благородным образом чувств и мыслей» (см. «Биография...», отд. 2, стр. 215, 260).

я долженъ сдѣлать это не только для себя, но и для семейства Михайлы Михайловича. Увѣряю Васъ, мой дорогой, что я, въ случаѣ правильности дѣла, пустился бы хлопотать не только для семейства дорогого моего покойника, брата Миши, но даже не упустилъ бы дѣла и для себя одного. Что же касается до семейства, то вотъ Вамъ фактъ: знаете-ли, что я отъ Васъ отъ п е р в а г о получилъ извѣстіе о смерти тетки. Никто не увѣдомилъ! Хороши? По моему это признакъ того, что у нихъ деньги есть и что они что-нибудь получили (т. е. значитъ я уже не такъ нуженъ). Я однако-же очень былъ бы радъ, еслибъ они хоть что нибудь получили; хоть на время тягость-бы спала съ моего сердца, потому что все послѣднее время самъ нуждался и ни рубля ужъ не могъ послать. Не можете-ли Вы, другъ мой, узнать, получили-ли они хоть что-нибудь, и увѣдомить меня (потому что сами они не увѣдомятъ, если получили). Эмилія Ѳедоровна (хотя я изъ кожи лѣзу) написала мнѣ укорительное письмо неизвѣстно за что. Еслибъ они знали о томъ, что я женины вещи закладывалъ, чтобъ имъ помогать! Если мало в с е-т а к и, то чѣмъ же я виноватъ? Не смотря на то Эмилія Ѳедоровна въ своемъ письмѣ ко мнѣ не захотѣла упомянуть объ Аннѣ Григорьевнѣ и отвѣтить на ея поклонъ (жена въ каждомъ письмѣ моемъ посылала ей отъ себя свой поклонъ). Я же именно увѣдомилъ ихъ передъ этимъ о ея беременности. Значитъ ужъ очень на меня сердятся. Такъ какъ мнѣ послать въ эти три мѣсяца было нечего, то я ничего не отвѣчалъ. Имъ же адрессъ мой былъ извѣстенъ (могли бы у Васъ справиться, еслибъ сомнѣвались въ адрессѣ, потому что я хотя всего только 10 дней въ Дрезденѣ, но все-таки получилъ по Дрезденскому адрессу нѣкоторыя письма и во Флоренцію [адресованныя], увѣдомивъ изъ Флоренціи двумя строчками Дрезденскій Почтамтъ). Такъ что неувѣдомленіе о смерти тетки—даже мнѣ обидно и въ одномъ только отношеніи, повторяю, можетъ быть хорошо,—въ томъ, что значитъ у нихъ есть деньги, что они получили и не такъ нуждаются. Дай-то Богъ, дай-то Богъ, ибо собственныя дѣла мои далеко не такъ хороши, какъ я прежде расчитывалъ.

Да, я всего только 10 дней въ Дрезденѣ. Вмѣстѣ съ этимъ письмомъ къ Вамъ, я посылаю, сегодня-же, нѣсколько строкъ и Николаю Николаевичу [1]). Въ письмѣ къ нему я вкратцѣ описываю мое послѣднее житье-бытье во Флоренціи. Чтобъ подняться изъ Флоренціи до Дрездена, втроемъ (ибо съ нами мать Анны Григорьевны) и ѣхать съ разстановками (ибо я везъ съ собою беременную на 8-мъ мѣсяцѣ), надо было припасти знатную сумму. Катковъ прислалъ, но почти половину 2000 франковъ, которые онъ прислалъ, мы уже зажили во Флоренціи въ долгъ; на остальное переѣхали-таки. Теперь

[1]) Страхову.

основались въ Дрезденѣ довольно удобно и конечно прозимуемъ. Я наконецъ сажусь за работу. Три мѣсяца во Флоренціи я потерялъ отъ жары! Что за горячій городъ. Доходило къ 3 часамъ пополудни до 34 и даже до 35 Реомюра въ тѣни. По ночамъ 27, 28 и къ утру развѣ, къ разсвѣту, къ 4 часамъ, 26. И что-же, даже до послѣдняго времени встрѣчались на улицахъ Англичане, Французы, даже Русскіе путешественники. Ѣхали мы черезъ Венецію, черезъ Тріестъ (по морю), черезъ Вѣну и Прагу. Венеція и Вѣна (въ своемъ родѣ) ужасно понравилась женѣ. Мы хотѣли и положили основаться въ Прагѣ, а не въ Дрезденѣ. И что же? Три дня жили въ Прагѣ, искали квартиры и не нашли—съ тѣмъ и уѣхали. Дѣло ясное: городъ не посѣщается иностранцами совсѣмъ, а потому квартиръ съ мебелью и прислугой и въ заведеніи нѣтъ, кромѣ какъ по одной маленькой комнаткѣ (въ одиночку) для студентовъ. Въ отеляхъ-же и въ пансіонахъ намъ не по карману. Оставалось стало-быть нанять квартиру пустую, т. е. стѣны, и купить всю мебель, все хозяйство для кухни, нанять служанку и заключить контрактъ на 6 мѣсяцевъ (ибо всѣ квартиры въ городѣ по контрактамъ на 6 мѣсяцевъ). Кончилось тѣмъ, что мы отправились дальше до Дрездена, намъ уже знакомаго, и гдѣ кажется въ каждомъ домѣ отдаются квартиры съ мебелью и прислугою: такова промышленность. А между тѣмъ я воображалъ и мечталъ о пользѣ для себя отъ пребыванія въ Прагѣ. Воображалось мнѣ даже, что на предполагаемыхъ скоро празднествахъ, между Русскими, встрѣчу можетъ быть и Васъ. Напишите мнѣ, не поѣдете-ли, и, во всякомъ случаѣ, приглашали-ли Васъ отъ Комитета?[1]).

Что же касается (возвращаясь опять) къ завѣщанію тетки, то дѣло это, еслибъ и обернулось самымъ благопріятнымъ образомъ въ мою (и Достоевскихъ) пользу, то во всякомъ случаѣ, для меня, въ настоящее время, представляетъ въ себѣ нѣчто слишкомъ отдаленное, чтобъ возлагать какія-нибудь надежды и цѣли. При самомъ благопріятномъ оборотѣ оно разрѣшится года въ три, не меньше. Мнѣ-же (хотя-бы садиться въ долговую тюрьму) надо возвратиться въ будущемъ году въ Россію. Да, теперь дѣла такъ для меня обернулись, что мнѣ садиться въ Россіи въ Долговое Отдѣленіе выгоднѣе, чѣмъ оставаться за границей. Здоровье мое—вещь крѣпкая, если не говорить о припадкахъ, и я всякое стѣсненіе перенесу, но если еще пробуду здѣсь съ годъ, то не знаю, въ состояніи-ли буду что-нибудь писать, не только хорошо, но даже какъ-нибудь, до того отвыкаю отъ Россіи. Я это чувствую. Съ

[1]) Речь идет о торжестве чествования 500-летия рождения Гуса; празднование происходило 6 июля 1869 г. в Констанце, месте сожжения Гуса. А. Н. Майков был одним из главных деятелей возникшего в 1868 г. Славянского благотворительного Общества, которое еще 24 мая 1868 г. возбудило (во 2-м своем заседании) вопрос об участии в празднествах.

другой стороны Аннѣ Григорьевнѣ очень скучно безъ Россіи, я это вижу. Ктому-же, если мы и потеряли одно дитя (дитя, которому я подобнаго не видывалъ по здоровью, по красотѣ, по понятію, по чувству), то единственно потому, что не съумѣли справиться съ заграничной манерой взрощенія и воспитанія дѣтей. Если потеряемъ и теперешняго, ожидаемаго, то тогда мы оба впадемъ въ настоящее отчаяніе. Сроку Аннѣ Григорьевнѣ въ настоящую минуту maximum недѣли три [1]). Я ужасно боюсь за ея здоровье. Первую беременность она выдержала молодецки всю. Нынѣшній же разъ совсѣмъ другое: безпрерывно прихварываетъ и кромѣ того безпокоится, нервна, впечатлительна и въ добавокъ боится серьозно, что умретъ въ родахъ (вспоминая муки при первыхъ родахъ). Такіе страхи и безпокойства у натуръ не робкихъ и не вялыхъ дѣйствительно опасны, и потому я очень безпокоюсь. Кстати: жена кланяется Вамъ и Вашей супругѣ горячо. Она горячо и часто вспоминаетъ объ Васъ, благодаритъ Васъ за поздравленіе съ романомъ, и мы положили, еще 8 мѣсяцевъ назадъ, звать Васъ опять въ крестные отцы. Не откажите-же, Аполлонъ Николаевичъ, пожалуйста; это наше непремѣнное и чрезвычайное желаніе. (Ваша кума, по прежнему, Анна Николаевна, Вамъ извѣстная, мать Анны Григорьевны).

Вообще говоря, собственно у меня время теперь очень хлопотливое: заботъ ужасъ какъ много, а тутъ же надо садиться писать—въ Зарю [2]) и потомъ начать большую вещь въ Р. Вѣстникъ [3]).. 8 мѣсяцевъ уже не писалъ, ничего. Начну разумѣется горячо, но что-то будетъ дальше? Мысли кой-какія есть, но надо Россіи.—

Разумѣется, я лучше Васъ самихъ знаю, какъ Вы живете лѣтомъ, и зналъ заранѣ, что Вы мнѣ до осени не напишете. Но однако же былъ одинъ пунктъ, по которому я все-таки расчитывалъ получить отъ Васъ двѣ строчки увѣдомленія. Не въ укоръ говорю, разумѣется. Это на счетъ Базунова и изданія Идіота,—собственно о томъ, да или нѣтъ, потому что возлагать на Васъ, дорогого человѣка, подобные хлопоты окончательно и думать не смѣю, да и неприлично было-бы даже съ моей стороны васъ до такой степени безпокоить. Но извѣстіе о да или нѣтъ съ мнѣніемъ Базунова было бы интересно. Я впрочемъ теперь жажду запродать изданіе не очень. Потомъ—можетъ быть даже выгоднѣе, и кромѣ того у меня, во всякомъ случаѣ, теперь другія цѣли и намѣренія; ибо возвратиться въ Россію на слѣдующій годъ я положилъ во что бы то ни стало.

---

[1]) Второй ребенок—дочь Любовь—родилась у Достоевских в Дрездене 14 сентября 1869 г.; здравствует поныне и живет за границей; писательница, автор книги «Больная девушка. Современные типы», С.-Пб. 1911.

[2]) Рассказ «Вечный муж». Ср. «Биографию...», отд. 2, стр. 283.

[3]) «Бесы».

Но—еще просьба, дорогой другъ! Напишите мнѣ что-нибудь о Пашѣ! Я томлюсь и мучаюсь, думая и раздумывая о немъ. Я знаю, что онъ получаетъ жалованіе—если только продолжаетъ служить, но мнѣ ужасно какъ хотѣлось бы ему помочь. Въ настоящую минуту не имѣю ни копѣйки лишней; но черезъ мѣсяцъ, или недѣль черезъ 5 отправлю въ Зарю повѣсть, которая, по объему, кажется навѣрно будетъ стоить болѣе того, что я взялъ впередъ изъ Зари. Тогда можно немножко опять удѣлить Пашѣ (немного все-же лучше, чѣмъ совсѣмъ ничего). Мнѣ же самому Богъ знаетъ какъ нужны будутъ къ тому времени деньги. Достоевскіе-же, вѣроятно, кой-что получили и нѣкоторое время можетъ быть не будутъ во мнѣ нуждаться. Напишите мнѣ объ этомъ, голубчикъ.

Напишите мнѣ тоже о себѣ. Напишите мнѣ обѣщанное большое письмо. Полагаю, что ко времени прибытія этого письма въ Петербургъ Вы тоже воротитесь съ дачи.

Крѣпко жму Вамъ руку, кланяюсь Вашей супругѣ.

Знаете что, мнѣ приходитъ иногда въ голову, что мы гораздо болѣе отстали другъ отъ друга, чѣмъ кажется, и что намъ уже трудно въ полнотѣ передавать свои мысли въ письмахъ.

Весь Вашъ завсегда
Ѳедоръ Достоевскій.

Адрессъ мой: Allemagne, Saxe, Dresden, à M-r Theodore Dostoewsky, poste restante.

Среди писем Достоевского к Майкову сохранился, в архиве последнего, черновой проект договора или условия Достоевского об издании отдельною книгою романа «Идиот». Условие заключено от имени Достоевского, по его доверенности, пасынком его, Павлом Александровичем Исаевым, и, в общем, совпадает с тем собственноручно писанным проектом условия, который опубликован в «Северном Вестнике» 1891 г., № 10, стр. 27—28. К Стелловскому, издателю недобросовестному, с которым ему вскоре пришлось судиться (см. ниже). Достоевский обратился после того, как не осуществилось его предположение издать роман через известного книгопродавца-издателя А. Ф. Базунова; о переговорах с ним, как мы видѣли, он просил М. Г. Сватковскую [1]), а затем А. Н. Майкова,—но безуспешно (см. выше, письмо от 15/27 мая 1869 г.).

Условие.

С.-Петербург. Тысяча восемьсот семидесятого года, января..... дня. Мы, нижеподписавшіеся, повѣренный отставного подпоручика Федора Михайловича Достоевского,—дворянин Павел Александрович Исаев и С.-Петербург-

[1]) Ср. еще в «Биографии...», отд. 2, стр. 277.

ский 2-ой гильдии купец Федор Тимофеевич Стелловский, совершили сей договор в том, что из нас я, Исаев, на основании данной мне Г. Достоевским доверенности, предоставляю ему, Стелловскому, право на издание, печатание и продажу в течении тысяча восемьсот семидесятого, тысяча восемьсот семьдесять первого, тысяча восемьсот семьдесять второго и тысяча восемьсот семьдесять третьего годов, в издаваемом им «Полном Собрании сочинений русских авторов», романа под названием «Идиот», собственного доверителя моего сочинения, напечатанного в журнале «Русский Вестник» в течение тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года и оконченного в виде приложения в том же журнале в тысяча восемьсот шестьдесят девятом году, на нижеследующих условиях: 1) Я, Исаев, на основании доверенности, выданной мне Отставным Подпоручиком Федором Михайловичем Достоевским, предоставляю Стелловскому право издания романа «Идиот» за тысячу рублей серебром, составляющего собственность моего доверителя, напечатанного доверителем моим, Федором Михайловичем Достоевским, в журнале «Русский Вестник» в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году и оконченного печатанием в том же журнале в тысяча восемьсот шестьдесят девятом году, в виде приложения. 2) Вышеозначенный роман «Идиот» может быть отпечатан Стелловским не иначе, как совершенно по тексту «Русского Вестника», без всяких изменений, кроме обыкновенных корректурных исправлений и ошибок. 3) Вышеозначенный роман «Идиот», собственно доверителю моему принадлежащий, по настоящее время никому им, доверителем моим, не запродан, не заложен, и Стелловский имеет право со дня подписания сего условия издавать и печатать означенное сочинение доверителя моего в формате «Полного Собрания сочинений Русских авторов», предпринимаемого им, Стелловским, издания, в таком количестве экземпляров, какое понадобится по его, Стелловского, усмотрению и продавать оные в его, Стелловского, пользу. [4). Стелловский не имеет права издавать и продавать роман «Идиот» в переверстанном виде формата «Полного Собр. сочин. русск. авторов» и отдельными изданиями или книгами] [1]). 4) Стелловский не имеет права издавать и продавать роман «Идиот» ни в переверстанном виде формата «Полного собрания сочинений русских авторов» ни отдельными изданиями или книгами, а должен издавать и продавать оный только исключительно в предпринятом им, Стелловским, издании «Полного собрания сочинений русских

[1]) Этот § 4 перечеркнут.

авторов», в противном случае он, Стелловский, обязуется уплатить моему доверителю тысячу рублей неустойки и, вслед за тем, сие условие будет считаться нарушенным. 5) Срок сего условия считать со дня заключения и подписания сего контракта по первое июня тысяча восемьсот семьдесять третьего года. 6) Доверитель мой, с своей стороны, обязан в продолжении сего срока, т. е. по первое июня тысяча восемьсот семьдесять третьего года, не приступать ни сам лично, ни наследники его, ни то лицо, кому бы он захотел передать право издания романа «Идиот» при его жизни или по смерти его, к изданию поименованного в сем условии романа. В противном случае, доверитель мой, или его наследники, платят Стелловскому в виде неустойки тысячу рублей серебр., предоставляя при том право Стелловскому обратить в свою пользу напечатанные кем бы то ни было, вопреки сему условию, экземпляры романа «Идиот», обозначенного в сем условии. 7) Стелловский, печатая роман «Идиот» в силу четвертого пункта сего условия в формате издания «Полного Собрания сочинений русских авторов», им предпринятого, но не в одном томе с другими сочинениями моего доверителя, а отдельно от них или в одном томе с какими-нибудь сочинениями других лиц, пользуется правом издания романа «Идиот» по пятому пункту сего условия. 8) Стелловский обязан уплатить за право издания романа моего доверителя «Идиот»..... руб. сер. при подписании сего условия, а остальные..... руб. сер. ..... В случае, если Стелловский не уплатит вышеозначенные остальные....., то платит в пользу моего доверителя неустойки пятьсот рублей если не уплатит..... ....., то контракт будет считаться нарушенным. 9) Условие сие с обоих сторон хранить ненарушимо. Подлинное иметь Стелловскому, а засвидетельствованную с оного копию Исаеву.

15. А. Н. Майкову.

Дрезден. 9/21 октября 1870.

На письмо Ваше, дорогой и многоуважаемый Аполлонъ Николаевичь, — письмо, которымъ вы меня и обрадовали, и удивили,—не отвѣчалъ до сихъ поръ, потому что сидѣлъ за досадной работой, и во что-бы то ни стало хотѣлъ кончить. А потому не только на два-на три накопившіеся письма не отвѣтилъ, но даже и не читалъ ничего во все это время (кромѣ газетъ разумѣется). Работа, которую я затянулъ,—есть только начало романа въ Русскій Вѣстникъ [1]) и по крайней мѣрѣ полгода еще буду писать его день и ночь, такъ что ужъ онъ

[1]) «Бесы».

мнѣ заранѣе опротивѣлъ. Есть разумѣется въ немъ кое-что, что тянетъ меня писать его; но вообще—нѣтъ ничего въ свѣтѣ для меня противнѣе литературной работы, т. е. собственно писанія романовъ и повѣстей — вотъ до чего я дошелъ [1]). Что-же касается до мысли романа, то ее объяснять не стоитъ. Хорошо разсказывать въ письмѣ никакъ нельзя, это во-первыхъ, а во-вторыхъ довольно будетъ съ васъ наказанія, если вздумаете прочитать романъ, когда напечатаютъ. Такъ чего-же два-то раза наказывать?

Пишите Вы мнѣ много про Николая-Чудотворца. Онъ насъ не оставитъ, потому что Николай-Чудотворецъ есть русскій духъ и русское единство. Мы уже теперь съ Вами не ребята, многоуважаемый Аполлонъ Николаевичъ, мы знаемъ напримѣръ вотъ такой фактъ: то, что въ случаѣ,—не то что русской бѣды, а просто большихъ русскихъ хлопотъ,—самая не русская часть Россіи, т. е. какой-нибудь либералъ—петербургскій чиновникъ, или студентъ и тѣ русскими становятся, русскими себя начинаютъ чувствовать, хотя и стыдятся признаться въ томъ. Я вотъ какъ-то зимою прочелъ въ Голосѣ серьезное признаніе въ передовой статьѣ, что «мы дескать радовались въ Крымскую Кампанію успѣхамъ оружія союзниковъ и пораженію нашихъ». Нѣтъ, мой либерализмъ не доходилъ до этого; я былъ тогда еще въ каторгѣ и не радовался успѣху союзниковъ, а вмѣстѣ съ прочими товарищами моими, несчастненькими [2]) и солдатиками, ощутилъ себя русскимъ, желалъ успѣха оружію русскому и,—хоть и оставался еще тогда все еще съ сильной закваской шелудиваго русскаго либерализма, проповѣданнаго говняками въ родѣ букашки навозной Бѣлинскаго [3]) и проч.,—но не считалъ себя не логичнымъ, ощущая себя русскимъ. Правда, фактъ показалъ намъ тоже, что болѣзнь, обуявшая цивилизованныхъ русскихъ, была гораздо сильнѣе, чѣмъ мы сами воображали, и что Бѣлинскими, Краевскими и проч., дѣло не кончилось. Но тутъ произошло то, о чемъ свидѣтельствуетъ Евангелистъ Лука: Бѣсы сидѣли въ человѣкѣ и имя имъ было легіонъ и просили Его: повели намъ войти въ свиней, и онъ позволилъ имъ. Бѣсы вошли въ стадо свиней, и бросилось все стадо съ крутизны въ море и все потонуло. Когда-же окрестные жители сбѣжались смотрѣть совершившееся, то увидѣли бывшаго бѣсноватаго—уже одѣтаго и смыслящаго и сидящаго у ногъ Іисусовыхъ, и видѣвшіе разсказали имъ, какъ исцѣлился бѣсновавшійся. Точь въ точь случилось такъ и у насъ: Бѣсы вышли

---

[1]) Ср. в письме к С. А. Хмыровой от 17/29-го авг. 1870—«Русск. Стар.» 1885 г., т. XLVII, стр. 164.

[2]) «Несчастными» в Сибири называют ссыльных и каторжан.

[3]) Резкие отзывы Достоевского о Белинском см. выше; Белинский в свою очередь не очень благоволил к Достоевскому лично: см., напр., в письмах его (изд. Е. А. Ляцкого), т. III, стр. 176, 180, 296—297, 338.

изъ русскаго человѣка и вошли въ стадо свиней, т. е. въ Нечаевыхъ [1]), въ Серно-Соловьевичей и проч. Тѣ потонули или потонутъ навѣрно, а исцѣлившійся человѣкъ, изъ котораго вышли бѣсы, сидитъ у ногъ Іисусовыхъ. Такъ и должно было быть. Россія выблевала вонъ эту пакость, которою ее окормили, и ужъ конечно въ этихъ выблеванныхъ мерзавцахъ не осталось ничего русскаго. И замѣтьте себѣ, дорогой другъ: кто теряетъ свой народъ и народность, тотъ теряетъ и вѣру отеческую, и Бога.—Ну, если хотите знать,—вотъ эта то и есть тема моего романа. Онъ называется Бѣсы, и это описаніе того, какъ эти Бѣсы вошли въ стадо свиней. Безо всякаго сомнѣнія я напишу плохо; будучи больше поэтомъ, чѣмъ художникомъ, я вѣчно бралъ темы не по силамъ себѣ. И потому испорчу, это навѣрно. Тема слишкомъ сильна. Но такъ какъ еще никто, изъ всѣхъ критиковъ, судившихъ обо мнѣ, не отказывалъ мнѣ въ нѣкоторомъ талантѣ, то вѣроятно и въ этомъ длинномъ романѣ будутъ мѣста недурныя. Ну вотъ и все [2]).

А что у васъ въ Петербургѣ кажется еще много у м н а г о народу, которые, хоть и ужаснулись мерзавцевъ, вошедшихъ въ свиней, но все еще мечтаютъ о томъ, какъ хорошо было въ либерально-гуманныя времена Бѣлинскаго и что надо бы воротить тогдашнее просвѣщеніе. Ну-съ вотъ эту то мысль даже можно увидать теперь въ самыхъ новообращенныхъ націоналистахъ и проч. Старики не сдаются: Плещеевы, Павлы Аненковы [3]), Тургеневы и цѣлые журналы въ родѣ Вѣстника Европы держутся этого направленія. А продолжаютъ-ли на выпускахъ, въ Гимназіяхъ, раздавать гимназисткамъ книги въ родѣ полнаго собранія сочиненій Бѣлинскаго, въ которыхъ тотъ плачетъ, зачѣмъ Татьяна осталась вѣрна мужу? Нѣтъ, долго еще это не искоренится, и потому, мнѣ кажется, намъ нечего бояться даже и внѣшнихъ политическихъ потрясеній, н. прим. Европейской войны за Славянъ, хотя дѣло странное: мы одни, а они то в с ѣ. Даютъ теперь намъ обстоятельства года два или три навѣрнаго мира—поймемъ-ли наше положеніе? Приготовимся-ли? Настроимъ-ли дорогъ и крѣпостей? Заведемъ-ли еще хоть милліонъ штукъ оружія? Станемъ-ли твердо на окраинахъ, и рѣшатся-ли у насъ на реформу въ подушномъ поборѣ и рекрутчинѣ? Вотъ чего надо, а прочее, т. е. русскій духъ, единеніе,—все это есть и будетъ и въ такой силѣ, въ такой цѣлости и святости, что даже мы не въ силахъ проникнуть во всю глубину этой силы, не только иностранцы,

---

[1]) Об отражении дела Сергея Геннадиевича Нечаева в «Бесах» см. в «Былом» 1919 г., № 14, стр. 48.

[2]) Для истории «Бесов» см. еще опубликованные Б. Л. Модзалевским письма Достоевского к М. Н. Каткову и Н. А. Любимову—в «Былом» 1919 г., № 14, стр. 44—49.

[3]) Т.-е. Павел Васильевич Анненков (известный редактор сочинений Пушкина, изд. 1855 г.).

и—моя мысль—девять десятыхъ нашей силы именно въ томъ состоитъ, что иностранцы не понимаютъ и никогда не поймутъ всей глубины и силы нашего единенія. О, какъ они умны! Вотъ уже три года читаю усидчиво всѣ политическія газеты, т. е. главное большинство. До какой степени хорошо они знаютъ свои дѣла! Какъ предсказываютъ впередъ! Какое умѣніе иногда ударить въ самую настоящую точку! (Какое сравненіе съ нашими политическими газетами, съ подражающею дрянью, кромѣ лишь развѣ Моск. Вѣдомостей). И что же? Чуть-лишь дѣло коснется до Россіи,—точно горячешный человѣкъ въ темнотѣ забормочетъ чортъ знаетъ что такое! Я думаю звѣзду Сиріусъ основательнѣе знаютъ въ Европѣ, чѣмъ Россію. Это-то вотъ до времени и есть наша сила. А другая сила была бы наша собственная вѣра въ свою личность, въ святость своего назначенія. Все назначеніе Россіи заключается въ Православіи, въ свѣтѣ съ Востока, который потечетъ къ ослѣпшему на Западѣ человѣчеству, потерявшему Христа. Все несчастье Европы, все, все, безо всякихъ исключеній, произошло оттого, что съ Римскою церковью потеряли Христа, а потомъ рѣшили, что и безъ Христа обойдутся. Ну представьте-же вы себѣ теперь, дорогой мой, что даже въ такихъ высокихъ Русскихъ людяхъ, какъ напримѣръ авторъ «Россіи и Европы» [1]),—я не встрѣтилъ этой мысли о Россіи, т. е. объ исключительно-православномъ назначеніи ея для человѣчества. А коли такъ,—то дѣйствительно еще рано спрашивать отъ насъ самостоятельности.

— Но слишкомъ ушелъ въ лѣсъ, а между тѣмъ уже четвертая страница. Живу кое-какъ, стараюсь работать, вездѣ опоздалъ, вездѣ манкировалъ обѣщаніями—и оттого страдаю. Тоскуетъ и Анна Григорьевна, такъ что и не знаю, что дѣлать. Весной надо бы воротиться,—да все денегъ нѣтъ, т. е. не на уплату долговъ, а только на то, чтобъ воротиться. Здѣсь знакомствъ имѣю мало, а Русскихъ въ Дрезденѣ такая куча, какъ Англичанъ. Все дрянь народъ, т. е. вообще говоря... И Боже мой, какая есть дрянь! И для чего они скитаются!

Дѣвочка моя [2]) здорова, выкормлена, отучена отъ груди, начинаетъ сильно понимать и даже говорить, — но очень нервный ребенокъ, такъ что боюсь, хотя здорова. Что это Вы, многоуважаемый другъ, пишете о Пашѣ, о такомъ фактѣ, какъ его женитьба, и сообщаете такъ мало подробностей. Ради Христа сообщите, если знаете сами [3]). Я отъ Паши никакого увѣдомленія не получалъ. А вѣдь онъ мнѣ дорогъ. Разумѣется было бы очень смѣшно, съ моей стороны, отсюдова, послѣ 3-хъ лѣтъ разлуки, претендовать на вліяніе надъ его рѣше-

---

[1]) Т.-е. Н. Я. Данилевский, о которомъ см. выше.

[2]) Любовь Федоровна.

[3]) П. А. Исаев женился на Надежде Михайловне N. (см. «Сев. Вестн.» 1891 г., № 11, стр. 20—22, письмо Достоевского к нему).

ніями. Но все таки грустно. Есть у меня племянникъ Миша, тотъ женился еще раньше Паши, но тотъ мальчикъ очень умный и съ характеромъ [1]). А Паша—это дѣло другое, т. е. насчетъ характера и хоть какой-нибудь выдержки.

Если напишете мнѣ что-нибудь, то очень, очень меня одолжите. Жена Вамъ кланяется. Люба цалуетъ. Досвиданія, будьте здоровы и благополучны.

Вашъ весь Ѳедоръ Достоевскій.

На конверте адрес: Russie. St.-Pétersbourg. Его Превосходительству Аполлону Николаевичу Майкову. С.-Петербургъ. По Большой-Садовой противъ Юсупова-Сада, домъ Шеффера; почтовые штемпеля: Dresden 22 Oct. 70 и С.-Петербургъ 13 Окт. 1870 и: франкировано.

В ряду писем Достоевского к Майкову помещаем также одно письмо к нему Анны Григорьевны Достоевской, так как в нем заключается несколько сведений и о Ѳедоре Михайловиче, его здоровье и душевном состоянии.

А. Г. Достоевская—А. Н. Майкову.

Дрезден. 29/17 Окт. 1870 г.

Не посетуйте на меня, многоуважаемый Аполлон Николаевич, что я решаюсь обеспокоить Вас одною очень важною для меня просьбою, за исполнение которой я буду Вам чрезвычайно благодарна. Вы были так обязательны, что доставили Павлу Александровичу Исаеву [2]) работу по составлению статистических списков г. Петербурга; он, кажется, надеется получить по Вашему ходатайству такую же работу и в Москве, в нынешнем декабре месяце. Я хотела просить Вас, многоуважаемый Аполлон Николаевичь, если только это возможно, доставить это занятие и моему брату, Ивану Григорьевичу Снитткину [3]). Он живет в Москве и будет иметь довольно свободного времени, чтобы заняться этой работой; за хорошее исполнение дела я могу поручиться; это доставило бы ему хотя небольшие деньги, а он в них теперь несколько нуждается. Но пожалуйста, Аполлон Николаевичь, если моя просьба хоть немного может затруднить Вас, не исполняйте ее. Я ни за что в мире не хочу поставить Вас в неприятное положение. Если же просьбу исполнить легко, то будьте столь обязательны, известите меня

---

[1]) Младший сын М. М. Достоевского, Михаил Михайлович (род. 5 ноября 1846 г.) женат был на Марии Сергеевне Антоновой, от которой имел сына Михаила (род. 1874) и дочерей Наталию (род. 1871), Екатерину (род. 1872) и Марию (род. 1878). См. Родословную книгу Дворянства Московской губернии,

[2]) Пасынок Достоевского.

[3]) Помещик Курской губернии, род. 1 июня 1849, ум. 1 октября 1887 г. (Петербургский Некрополь, т. IV, стр. 116). Его сын Григорий Иванович Снитткин был (1916) лифляндским губернским тюремным инспектором.

в письме к Федору Михайловичу или напишите два слова к моему брату в Москву. Адресс его: в Канцелярию Петровской Лесной и земледельческой Академии, для передачи Ивану Григорьевичу Сниткину. Сделайте как для Вас удобнее. Мне чрезвычайно совестно, что я Вас так беспокою, но Вы так добры, что может быть простите меня.

Как Ваше здоровье? Как здоровье милой и доброй Анны Ивановны? Передайте Ей мой поклон и мое горячее желание поскорее Ее вновь увидеть. Я редко встречала такое прекрасное и доброе существо, как Анна Ивановна. Мое знакомство с Нею навсегда останется для меня одним из лучших воспоминаний в жизни. Мы очень часто вспоминаем Ваше семейство с матушкой и Ф. М. Как поживают Ваши дети? Как, я думаю, они выросли. Прилагаю карточку Вашей крестницы и буду очень счастлива, если моя Люба Вам понравится. Ей уже более году; у ней десять зубков, она уже умеет немного говорить и ходит, хотя не очень твердо. Здоровья она довольно крепкого и бодро вынесла зубки и неважные детские болезни. Мы все ее очень любим; она же, кажется, больше всех любит Федора Михайловича, который ее чрезвычайно балует и ни в чем ей не отказывает; я волей-неволей должна играть роль строгой матери, иначе с нею сладу не будет.

Ах, Аполлон Николаевичь, как нам хочется воротиться в Россию, какая ужасная тоска здесь, особенно теперь, когда, после побед, немцы стали еще грубей и наглей. Как мне наскучили эти вечные переезды, неменьше своего, постоянного угла. А еще находятся люди, которые тоскуют, что не могут век жить за границей; я здесь встречала таких. Когда мне удастся наконец воротиться домой и устроиться, тогда, мне кажется, меня никакими калачами, никакими заграницами из России не выманишь. Но пока возвращение—прекрасная мечта, которая неизвестно когда осуществится. Наши кредиторы непременно засадят Федора Михайловича в долговое. Вот, еслиб они согласились меня посадить вместо Федора Михайловича, то я-бы ни минуты здесь более не осталась. Вся надежда на работу Ф. М., а тут в последнее время у него начались довольно частые и сильные припадки, что очень останавливает работу. Мы живем очень дружно и счастливо, и я считала-бы себя счастливее всех в мире, еслиб не эта вечная тоска по России. Извините, Аполлон Николаевичь, я заболталась и верно наскучила Вам. Потрудитесь передать мой нижайший поклон многоуважаемым Николаю Аполлоновичу и Евгении Петровне [1]). Как их здоровье? Моя матушка и Федор Михайловичь просят меня передать Вам и доброй Анне Ивановне их низкий поклон. Пишите почаще, Вы не знаете, что значит получить письмо с родины; мы оживаем, читая Ваши письма.

---

[1]) Родители А. Н. Майкова.

До свиданья, многоуважаемый Аполлон Николаевичь, сохраните мне Ваше доброе расположеніе, которое я так высоко ценю.

Уважающая Вас Анна Достоевская.

P. S. Извините за бестолковое письмо; разучилась правильно выражаться по-русски и ужасно стыжусь этого.

Следующие за сим письма и документ касаются очень волновавшей Достоевского тяжбы его с его издателем, купцом Федором Тимофеевичем Стелловским, книгоиздателем, типографом и литографом, собственником всех первых изданий произведений Достоевского («Полного собрания сочинений», в 3-х томах, 1865—1866, и отдельных романов, повестей и рассказов). Стелловский, уже в 1862 г. имевший звание Поставщика Двора Его Императорского Величества, одновременно с Достоевским, издавал сочинения Писемского, Вс. Крестовского, графа Л. Толстого и др., широко развил свое дело, но довольно скоро прекратил его. О тяжбе с «плутом» и «шельмою» Стелловским см. еще в письмах к Майкову в «Биографии», отд. 2, стр.: 204, 214—215, 219—221, 223, 225, 226—228, 231—232, 236—240, 241—243, 244—247, 248—249, 249—252, 253, 254—255, 256—257, 258—259, и в «Северном Вестнике» 1891 г., № 11, стр. 19, 20—21 (в письмах к П. А. Исаеву) и, особенно, в письме к поверенному Василию Ивановичу Губину от 8-го мая 1871 г., приведенному, с пропусками, в «Биографии», отд. I, стр. 291—292.

16. А. Н. Майкову.

Дрезден. 7/19 Января/1871.

Любезнѣйшій и дорогой Аполлонъ Николаевичь, получилъ Ваше письмецо и очень радъ, что Вы получили повѣстку: это отъ меня. Повторяю, прочтите к о п і ю [1]) и увидите весь смыслъ дѣла ясно. Но вотъ что: если Вы с е м ь разъ не заставали Стелловскаго, значитъ онъ раскуѣилъ зачѣмъ Вы приходили, и этотъ фактъ даетъ мнѣ увѣренность, что онъ н е х о ч е т ъ з а п л а т и т ь, т. е. онъ заплатитъ въ концѣ концовъ, ибо не заплатить не можетъ, но—когда? Вѣроятно ему выгодно оттянуть уплату на безконечность и онъ будетъ вилять всѣми силами. Поэтому дѣйствовать съ нимъ прямо н е л ь з я: онъ просто не дастъ отвѣта ни на мое письмо (высланное Вамъ къ нему), ни на Вашъ запросъ, и не будетъ давать до послѣдней невозможности. Вамъ стало быть хлопоты, а я останусь безъ денегъ. И потому вотъ мой совѣтъ: сохранивъ всѣ права повѣреннаго (т. е. на пріемъ денегъ и проч.), о чемъ особенно

---

[1]) Т.-е. копию договора Достоевского со Стелловским об издании «Преступления и наказания»; см. следующую за сим доверенность Достоевского Майкову.

прошу Васъ, ибо онъ будетъ понимать, что за дѣло взялся честный и вліятельный въ литературѣ человѣкъ (а это мерзавцамъ внушаетъ),—возьмите сами повѣреннаго, опытнаго ходока (не на процессы, не присяжнаго повѣреннаго, ибо тутъ не можетъ быть процесса серьознаго),—а ходока, знающаго, какъ взыскать, какую мѣру понужденія употребить, какъ дѣйствовать, напримѣръ, черезъ полицію, т. е. знающаго всѣ эти мелкіе практическія продѣлки. Должно быть такихъ въ Петербургѣ много. Паша разумѣется не способенъ на это. Тутъ нужно опытнаго крючка. И тогда прекрасно. Разумѣется еслибъ только не очень большая плата. Но вѣдь дѣло безспорное, такъ что можно бы и д е ш е в о. Еслибы этотъ повѣренный поставилъ бы его въ такое положеніе, чтобъ или платить сейчасъ или подвергнуться процессу и ужъ непремѣнно неустойкѣ,—то мнѣ кажется онъ тотчасъ заплатилъ бы. Слѣдств.—все въ умѣніи повернуть дѣло такъ сказать по-полицейски, т. е. чтобъ онъ увидѣлъ сразу, что взыскивастъ опытный крючокъ. Безъ сомнѣнія Вамъ невозможно взять на себя, а стало быть и хорошо-бы послать повѣреннаго. Но объ чемъ прошу особенно—не оставляйте сами начальничества въ дѣлѣ. Пусть крючокъ дѣйствуетъ Вашимъ именемъ и кромѣ того, пусть Вы-же и получите деньги с о б с т в е н н о р у ч н о, не довѣряя никому. Вотъ объ чемъ прошу убѣдительно.

А повѣрите-ли, любезный другъ, что мнѣ ужасно совѣстно, что втянулъ Васъ въ это дѣло! Смѣшно извиняться, уже когда втянулъ, а все-таки совѣстно.

Что такое Стукъ-стукъ Тургенева? [1]) Я запоздалъ въ Русскій Вѣстникъ на Февральскій номеръ и работаю день и ночь. Анна Григорьевна захворала, я тоже не совсѣмъ здоровъ. У насъ морозы. Печки подлыя немѣцкія. Мнѣ поминутно мѣшаютъ работать, завелись нѣкоторыя знакомства и лѣзутъ, когда мнѣ надо быть одному. Одна дама уже другой разъ приходитъ съ тѣмъ, чтобъ поговорить о русской литературѣ (русская путешественница). Я не принимаю, она обижается. Есть и другіе такіе же. До литературы-ли мнѣ теперь? Я на нужнѣйшія письма другой мѣсяцъ не отвѣчаю.

Вашъ весь Ѳ. Достоевскій.

Впрочемъ, что бы ни взялъ повѣренный, я заплачу и жалѣть не буду, но только чтобъ поскорѣе получить—крайняя нужда, особенно теперь! Неужели въ Зарѣ до того еще легкомысленны, что не хотятъ понять факта, рѣжущаго глаза и состоящаго въ томъ, что выходить въ 1-е число мѣсяца акуратно (и н е п р е м ѣ н н о въ 1-е)—значитъ имѣть 1000 подписчиковъ лишнихъ? Это фактъ неоспоримый. Доказательство Вѣстникъ

---

[1]) «Студия» Тургенева «Стук!.. стук!.. стук!..» появилась в № 1 «Вестника Европы» за 1871 г.

Европы [1]), старая Библіотека для Чтенія и домъ Краевскаго. Краевскій выигралъ не Бѣлинскимъ,—Бѣлинскаго послѣ узнали,—а 1-мъ числомъ! Неужто этого еще не понимаютъ! Послѣ этого не могутъ они быть издателями и пусть раньше отказываются отъ дѣла, чтобъ не обанкрутиться совершенно.

На конверте адрес: Russie, St.-Pétersbourg. Его Превосходительству Аполлону Николаевичу Майкову. Въ С.-Петербургъ. По Большой-Садовой, напротивъ Юсупова-Сада, домъ Шеффера. Почтовые штемпеля: Dresden 19 Jan. 71, С.-Петербургъ 11 Янв. 1871 и: франкировано.

Приложение:

Доверенность А. Н. Майкову.

Ваше Превосходительство

Милостивый Государь

Аполлон Николаевичь,

Находясь в настоящее время за границею и будучи не в состоянии лично вести свои дела в С.-Петербурге, я сим поручаю Вам: а) истребовать и получить вместо меня с С.-Петербургского второй гильдии купца Ѳедора Тимофеевича Стелловского, под вашу росписку, следуемую мне с него уплату за изданное им, Стелловским, в настоящем тысяча восемьсот семидесятом году мое сочинение, роман под названием Преступление и Наказание, в формате издаваемых им, Стелловским, сочинений русских авторов и в котором уже отпечатано и издано в свет Стелловским полное собрание сочинений моих в тысяча восемьсот шестьдесят шестом, в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом годах. Сочинение же мое Преступление и Наказание написано мною в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году и напечатано было первоначально в том-же году в журнале «Русский Вестник» в Москве; б) Сию уплату за сочинение мое Преступление и Наказание, отпечатанное теперь Стелловским, поручаю Вам истребовать и получить вместо меня под Вашу росписку с Стелловского в силу восьмого пункта условия, заключенного мною с Стелловским в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году и явленного у частного маклера Барулина второго Июля того же года, за № 292, при продаже ему, Стелловскому, в том году полного собрания сочинений моих на основании соглашения, точно и ясно обозначенного в четырнадцати пунктах, из которых состоит вышеозначенное мое с Стел-

---

[1]) Действительно: «Из трех журналов, на которые я подписался в нынешнем году, только «Вестник Европы» доходит аккуратно»,—писал Тургенев Стасюлевичу, 24 февр. (8 марта) 1869 г.: «он в этом отношении стоит во главе остальных—«facile primus» («Стасюлевич и его современники», т. III).

ловским условие, в) Точный расчет следуемой мне теперь уплаты со Стелловского за отпечатанный и опубликованный им в продажу роман мой Преступление и Наказание доверяю Вам сделать в силу восьмого пункта вышеозначенного условия, совершенного мною с Стелловским в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году. г) В случае, если упоминаемый С.-Петербургский купец второй гильдии Федор Тимофеевичь Стелловский откажется от следуемой мне теперь на основании пунктов вышеозначенного условия уплаты за отпечатанное и выпущенное им в свет сочинение мое Преступление и Наказание; равномерно, в случае если им, Стелловским, при издании в свет сего сочинения моего и вообще при издании всех тех сочинений моих, которые имеет право издавать Стелловский на основании пунктов вышеозначенного условия, будут или были нарушены им, Стелловским, какие бы то ни было пункты того условия, то доверяю Вам немедленно судебным порядком преследовать и с Стелловского в пользу мою взыскать по закону всю обозначенную по точному смыслу тринадцатого пункта того условия (заключенного мною с Стелловским в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году и явленного у частного маклера Барулина второго Июля того же года за № 292) неустойку. д) По всем вообще делам моим уполномочиваю Вас иметь ходатайство, во всех без исключения Присутственных и Судебных местах, а также у должностных лиц, порядком гражданским или уголовным, исковым или тяжебным,—являться вместо меня в качестве истца или ответчика, подавать, от имени моего, всякого рода прошения, об'явления, об'яснения, заявления, отзывы и возражения, пред'являть споры о подлоге и давать ответы по таковым спорам, заявлять отводы и привлекать к ответственности третьих лиц, присутствовать при докладах дел и давать словесные об'яснения, выслушивать решения и определения, из'являть на них удовольствие или неудовольствие, приносить частные, апелляционные и кассационные жалобы во все высшие инстанции Суда, не исключая и Правительствующего Сената; ходатайствовать о предварительном исполнении решений и об отмене решений, вступивших в законную силу, оканчивать дела миром и заключать мировые сделки, избирать посредников для третейского разбирательства, взыскивать судебные издержки и убытки, находиться при описи и продаже имущества должников, получать под свою росписку деньги, исполнительные листы, копии с решений, документы и другие бумаги; словом, во всех случаях, где может потребоваться личное мое присутствие, прошу заменять меня вполне. Доверенность эту предоставляю Вам передоверять другим лицам по Вашему усмотрению. Во всем-же, что Вы на основании сей доверенности учините, я Вам верю, спорить и прекословить не буду. Дрезден. 1870 г. Декабря, тридцатого дня. Отставной подпоручик Федор Михайлов Достоевский.

Доверенность эта принадлежит действительному статскому советнику Аполлону Николаеву Майкову.

№ 736. Императорская Российская Миссия свидетельствует подлинность вышезначущейся подписи отставного подпоручика Федора Михайлова Достоевского.—Дрезден. Декабря 30 (января 11) 1870 (71) года.—

Пошлин взыскано 1 Тал. 2 гр. Старший секретарь Миссии Блюмер. (Печать Имп. Рос. Миссии в Дрездене).

№ 138. Подпись удостоверена в Департаменте Внутренних Сношений Министерства Иностранных Дел. Января, 9 дня, 1871 г. Вице-директор И. Демидов. Делопроизводитель Тамаринский (Печать Департ. Внутр. Сношн. М. Ин. Дел).

По сей доверенности учинено передоверие на имя коллежского секретаря Василия Ивановича Губина, на ходатайство по делу о взыскании денег с с.-петербургского второй гильдии купца Ѳедора Тимофеевича Стелловского,—в конторе с.-петербургского нотариуса Ивана Васильевича Есипова, 29-го апреля, 1871 года, по реестру за № 1016-м. Нотариус Иван Есипов (Печать).

Василий Иванович Губин (см. дальше его письмо к А. Н. Майкову) с 9 февраля 1869 г. был членом С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества; вероятно, ему принадлежат статьи (с подписью В. Губин): «О чешских переселенцах» в «Соврем. Летописи» 1868 г., № 24; «Очерки Праги» (с Н. Е. Губиной)—там-же, 1869 г., № 18, 23 и 27, и «Из Северной Америки. Приготовления к выборам Президента»—в «Русск. Вестн.» 1868 г., т. 77, № 10 (стр. 645—661). Как указано было выше, письмо к нему Достоевского из Дрездена, от 8-го мая 1871 г., напечатано в «Биографии...», отд. 1, стр. 291—292.

В. И. Губин — А. Н. Майкову.

Москва. 2 апреля 1871 г.

Милостивый Государь,

Аполлон Николаевичь!

Озабочённый делом г. Достоевского, я, немедленно по прибытии в Москву, побывал у И. С. Аксакова, а затем у г. Кошелева [1]) и переговорил с ними о том, как бы полезно было для них и своевременно заказать г. Достоевскому написать что-нибудь для Беседы. Они совершенно согласны с этим, но за от'ездом до 10-го апреля г. Юрьева [2]) из Москва в имение, не могут ничего сказать положительно, а спрашивали: нет-ли уже

---

[1]) Александра Ивановича.

[2]) Сергея Андреевича.

чего-нибудь готового у Достоевского?—в таком случае они поспешили бы сделать все необходимое, т.-е. дать деньги. В половине апреля будет в СП-бурге редактор Юрьев и повидается со мною или с Вами по этому делу. Теперь-же Вы потрудитесь уведомить меня: нет-ли уже чего-нибудь готового у г. Достоевского, чтобы я мог сообщить о том Аполлону Александровичу Майкову или Кошелеву, адресуя письмо: На Арбат, Хлебный пер., д. Полякова, кв. Френкеля. Если Вам неизвестен запас Достоевского, в таком случае поспешите спросить его о том же предмете, чтобы ко времени приезда Юрьева в СПб. готов был ответ его с определенными предложениями и требованиями, и Достоевский, получив деньги, мог бы хотя в апреле возвратиться в Россию. Такой оборот дела был бы лучше получения пособия от Литературного Фонда, особенно если в этом последнем откажут. Я пробуду здесь до 6—8 апреля.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностию имею честь быть Вашим покорнейшим слугою

В. Губин.

Условие В. И. Губина с А. Н. Майковым.

Копия.

1871 г., двадцать девятого Апреля, мы нижеподписавшиеся: действительный статский советник Аполлон Николаевичь Майков, жительствующий Спасской ч., по Большой Садовой, д. Шеффера, и коллежский секретарь Василий Иванович Губин, жительствующий Казанской ч. 3 уч. д. № 15—45, кв. № 35, заключили между собой сие условие в том, 1-е, что я, Губин, получил от г. Майкова доверенность на взыскание в пользу отставного подпоручика Федора Михайловича Достоевского с СПбургского 2-й гильдии купца Фефора Тимофеевича Стелловского платы за издание романа его «Преступление и Наказание» на двадцати девяти листах в размере около восьмисот семидесяти рублей (870) и неустойки по контракту в три тысячи рубл. (3.000), обязуюсь производить это взыскание с г. Стелловского как посредством миролюбивой сделки, так и судебным порядком, являясь в последнем случае на судебные состязания, подавая прошения, требуя об'яснения и производя взыскание по исполнительным листам, с удержанием из полученных денег лишь следуемого по сему условию гонорара, 2-е, я-же, Майков, по доверенности г. Достоевского, передоверив взыскание с г. Стелловского вышеозначенной суммы в размере около трех тысяч восьмисот семидесяти рублей (3870) г. Губину, обязуюсь вознаградить его за труды десятью процентами со взысканной суммы, т.-е. приблизительно тремя стами восьмидесятью семью рубл. (387 р.) даже в случае окончания взыскания мировою сделкою, из причитающейся г. Достоевскому

суммы платежа Стелловского, а также отказываюсь за себя и за г. Достоевского от всяких сделок с должником без согласия на то г. Губина.

Коллежский секретарь Василий Иванов Губин [1]).

Счет.

1871 г. Апр. 30. СПБ.

Аполлону Николаевичу Майкову—Василия Ивановича Губина, по делу г. Достоевского.

1. Гербовая бумага для написания доверенности на ведение дела	2 р.	20 к.
Сбор в пользу города 1 р. и за написание и засвидетельствование с присылкою на дом 3 р.	3 »	— »
2. На гербовую бумагу для искового прошения в Окр. Суд и приложений к нему 5 листов по 40 коп. = 2 р.	2 »	— »
Судебные пошлины, вносимые в кассу при подаче прошения по 50 коп. со ста р., с 3,870 р. = 19 р. 50 к.	19 »	50 »
Канцелярские пошлины на две повестки 1 р. сер.	1 »	— »
На покупку четвертого тома собрания сочинений Достоевского, где напечатан роман «Преступление и Наказание», для приложения к прошению 3 р.	3 »	— »
На покупку «Русскаго Вестника» за 1866 г. или на получение нотариального удостоверения редакции его о времени первоначального напечатания «Преступления и Наказания» и на копию с него	— »	— »
На раз'езды по этому делу и переписку бумаг	— »	— »
	31 р.	70 к.

Получил Поверенный В. Губин.

17. А. Н. Майкову.

[Конецъ іюля 1871 г. Петербургъ].

Дорогой Аполлонъ Николаевичъ!

Будьте такъ добры и сдѣлайте великую честь мнѣ и Аннѣ Григорьевнѣ, не откажитесь быть крестнымъ отцомъ Ѳедѣ [2]).

---

[1]) Сохранился еще черновик условия между Майковым и Губиным (писанный последним), из которого видно, что Стелловский обязался заплатить Достоевскому, по договору, по 30 р. сер. за лист «Преступления и наказания»,—всего за 29 листов 870 р.

[2]) Федор Федорович Достоевский родился в Петербурге 16-го июля 1871 г. (см. в «Биографии...», отд. 1, стр. 293, и в «Родословной книге Дворянства Московской губернии», том I, М. (1915), стр. 509).

Мы крестимъ въ среду, совершенно никого почти не зовемъ. И если зайдете обѣдать, то тутъ-же все и будетъ совершено.

И такъ можно ли ожидать? Простите, что не попросилъ гораздо ранѣе. Но тревоги-то наши были каковы?

Адрессъ мой: Близь Загороднаго проспекта (и Технологическаго Института) по Серпуховской улицѣ, домъ № 15 (Г-жи Архангельской) во 2-мъ этажѣ.

Вашъ весь, душевно преданный
Ѳедоръ Достоевскій.

18. П. А. Исаеву.

18 Августа 1871 г. [Петербургъ].

Люб. Паша, я у Петра Петровича сегодня былъ. Онъ обѣщалъ быть тебѣ всячески полезнымъ.

Досвиданія.
Твой Ѳ. Достоевскій.

Павел Александрович Исаев—пасынок Достоевского, сын его жены Марии Дмитриевны, рожд. Констант (ум. 1864),—от первого ее брака с Александром Ивановичем Исаевым (умершим 4 авг. 1855 г.). См. выше.

Год на письме приписан на подлиннике карандашом рукою П. А. Исаева; ср. след. записку.

Петр Петрович—Семенов-Тянь-Шанский, известный ученый, географ и путешественник, член Государственного Совета и деятель освобождения крестьян; он был знаком с Достоевским еще в Петербургский период жизни последнего, до ссылки, о чем рассказывает в своих Воспоминаниях (Мемуары П. П. Семенова-Тянь-Шанского. Том I. Детство и юность (1827—1855 гг.). Издание семьи. Пгр. 1917, стр. 195, 197, 200—204, 206—214); посетил он его затем в 1857 г. и в Семипалатинске (см. письмо Достоевского к А. И. Гейбовичу—«Ист. Вестн.» 1885 г., № 1, стр. 135; Материалы для биографии Достовского, Спб. 1883, отд. II, стр. 124, 125—126).

19. П. А. Исаеву.

5 Ноября/71. [Петербургъ].

Люб. Паша, мнѣ вчера Аполонъ Николаевичь [1]) случайно въ разговорѣ упомянулъ, что Леонидъ Николаевичь [2]) спрашивалъ о тебѣ и желалъ бы тебя видѣть.—Ничего не знаю самъ для чего, но не для работы-ли какой? Сходилъ бы ты къ нему не отлагая, если хочешь.

Тебя очень любящій
Ѳедоръ Достоевскій.

---

[1]) Майков постоянно хлопотал об П. А. Исаеве и поддерживал этого неудачника.

[2]) Майков, впоследствии академик и Вице-Президент Академии Наук.

20. П. А. Исаеву.

17 Мая [1873 г. Петербургъ]. [1])

Любезный Паша,

Апол. Николаевичь Майковъ желаетъ тебя видѣть по очень важному и неотлагательному дѣлу—интересному какъ для него, такъ и для тебя. Но такъ какъ дѣло неотлагательное, то проситъ тебя прійти какъ можно скорѣе, т. е. завтра въ Пятницу часовъ въ 10 утра, если только поспѣетъ къ тебѣ [2]), и во всякомъ случаѣ какъ можно скорѣе.

До свиданія. Я завтра ѣду [3]). Мой поклонъ твоей супругѣ [4]).

Весь твой

Ѳедоръ Достоевскій.

21. А. Н. Майкову.

Января 17/77.

Дорогой и многоуважаемый Аполлонъ Николаевичь,

Завтра, 18-го, во Вторникъ, вечеромъ, обѣщался быть у меня Ник. Яковл. Данилевскій [5]). Не сдѣлаете-ли мнѣ чрезвычайнаго удовольствія прибывъ тоже? Я просилъ нашего милѣйшаго князя [6]), очень можетъ быть, что и онъ будетъ. Во всякомъ случаѣ разодолжите Вашего, остающагося въ добромъ ожиданіи вашего прибытія

Ѳ. Достоевскаго.

Черновик письма А. Н. Майкова — Достоевскому [7]).

[Октябрь-ноябрь 1877 г. Петербургъ].

Любезнѣйшій другъ Ѳедоръ Михайловичь.

Не знаю как Вы, а я почти только въ своей семьѣ да съ Вами душу отвожу, говоря о войнѣ. Такъ мало людей, смотря-

---

[1]) Ср. записку к Исаеву же от 19 мая 1873 г.—«Сев. Вестн.» 1891 г., № 11, стр. 23. Год помечен на записке самим Исаевым.

[2]) Т.-е. эта записка Б. М.

[3]) Достоевский ехал в Старую Руссу, где в 1876 г. купил себе небольшой дом.

[4]) Супруга Исаева—Надежда Михайловна, на которой он женился в 1871 г. (см. «Сев. Вестн.» 1891 г., № 11, стр. 20—22 и выше).

[5]) О Данилевском см. выше, в письме к Майкову от 2/14 марта 1868 г.

[6]) Князь Владимир Петрович Мещерский (род. 11-го января 1839, ум. в Царском Селе 10-го июля 1914), внук, по матери своей, Карамзина, основатель известного «Гражданина», привлекший к редакции его, в 1873 г., Достоевского. В 1872 г. Мещерский издал 3-е издание «Стихотворений» А. Н. Майкова, в 3-х частях. См. «Биографию...» Достоевского, отд. 1, стр. 299, и «Мои воспоминания», князя Мещерского, ч. II, С.-Пб. 1898, стр. 175—182, глава XII: «Мое сближение с Достоевским. Его характеристика».

[7]) Из архива А. Н. Майкова. На подлиннике рукою Майкова карандашом написано: «Во время войны, когда Государь был под Плевной». Але-

щихъ на преходящее, на явленія минуты, радостныя или скорбныя, не упуская изъ виду общей идеи. И одни мы съ Вами, не смотря на то, что у меня вторично разливалась желчь, а у Васъ, вѣроятно, были въ слѣдствіи той же причины припадки,—не смотря на все это, мы съ Вами одни, кажется, спокойны за изходъ дѣла.

Я думаю, впрочемъ, что есть еще одинъ человѣкъ который спокоенъ въ этомъ смыслѣ, не смотря то же на то, что, какъ говорятъ, посѣдѣлъ совсѣмъ и постарѣлъ,—и смѣшно насъ къ нему приравнивать; но вѣдь нельзя же отказаться отъ дерзкой мысли погадать—что у него въ душѣ произходитъ? Смѣшно,—потому что у него все это должно быть въ большихъ размѣрахъ, онъ отвѣтственъ, онъ главный, наконецъ, дѣятель, и обо всемъ дѣлѣ можетъ сказать «мое дѣло». Хотя, впрочемъ, онъ все таки одного не знаетъ: это то, что еслибъ дѣло кончилось (чего не можетъ быть, но допустимъ) полной неудачей, то онъ не только м о ж е т ъ возвратиться (иностранныя газеты пишутъ, и многіе повторяютъ, что н е м о ж е т ъ) въ свой народъ, въ Россію, въ Москву, и будетъ встрѣченъ болѣе чѣмъ какъ тріумфаторъ, нѣтъ, какъ страдалецъ, какъ мученикъ, какъ с в я т о й,—удача въ рукахъ Божіихъ, но величіе подвига за нимъ, на немъ будетъ вѣнецъ терновый, за Христа же, Х р и с т о в ъ вѣнецъ, выше котораго русскій народъ не знаетъ. Ахъ, еслибъ онъ это зналъ. Онъ былъ бы еще спокойнѣе, т. е., въ томъ, въ высшемъ смыслѣ.

Но я увлекся, я совсѣмъ не это хотѣлъ Вамъ сказать, хотя, впрочемъ, это все очень близко къ тому, что я хотелъ сообщить Вамъ, есть даже одинъ изъ выводовъ изъ того, что хочу разсказать. Дѣло вотъ въ чемъ.

Отчего мы съ Вами спокойны? Оттого, что основываемъ свои сужденія не на тѣхъ толкахъ, которые ходятъ въ обществѣ, по существу своему молодушномъ, да притомъ прямо представляющемъ ту среду, которую стараются разшатать или поляки, или разные идеалисты, одни съ конституціей въ головѣ, другіе Богъ знаетъ съ чѣмъ. Эти конституціоналисты теперь особенно хлопочутъ. Сколько совращено людей простыхъ и здравомыслящихъ, которые полагаютъ, что если бы у насъ была Конституція, то не было Плевенскихъ неудачъ, была бы лучше доставка раненыхъ съ поля сраженія, и не было бы Товарищества Грегра[1]). Мы съ Вами прислушиваемся къ народному чувству. И вотъ я хотѣлъ предложить Вамъ, чтобы Вы въ своемъ Дневникѣ сохранили бы хоть нѣко-

---

ксандр II находился под Плевной, после неудачных первой и второй атак на нее, с 26-го августа 1877 г., был очевидцем третьей неудачи, а затем находился при последней операции, с середины октября, завершившейся взятием Плевны 28-го ноября 1877 г. Письмо Майкова относится, вероятно, к этому последнему времени, т.-е. к октябрю—ноябрю 1877 г.

[1]) Грегер и Горвиц—поставщики провианта для войск. *Б. М.*

торые дѣйствительно бывшіе разговоры и разсужденія съ лицами изъ простого народа. И я хотѣлъ Вамъ сообщить нѣсколько изъ этихъ эпизодовъ. Жаль, если это потеряется для исторіи—корреспонденты передаютъ множество чертъ, рисующихъ настроеніе войска, разныя проявленія солдатъ и офицеровъ. Но что здѣсь, въ Россіи, не на театрѣ дѣйствій, дома, это надо сохранить въ главныхъ чертахъ, ибо то, что въ арміи, то есть только отраженіе того, что дома. Она не особый народъ, не особое государство, не наемная дружина какого-нибудь кондотьери, а проявленіе въ дѣйствіи, видимо, той силы, которая цѣликомъ находится дома, какъ стихія, изъ коей вышла однородная съ ней армія [1])...

Сообщ. Б. Модзалевский.

---

[1]) Конца нет.

Из сношений Ф. М. и М. М. Достоевских с Я. П. Полонским.

(Из материалов Пушкинского Дома).

В принадлежащем Пушкинскому Дому архиве Я. П. Полонского сохранилось несколько писем к нему братьев Достоевских: Федора Михайловича и Михаила Михайловича. Не представляя большого литературного значения, эти письма однако заключают в себе несколько любопытных данных для характеристики литературной деятельности упомянутых писателей и для выяснения взаимных отношений наших журналистов начала шестидесятых годов истекшего столетия.

I.

Ѳ. М. Достоевскій — Я. П. Полонскому.

1.

Петербургъ (Колтовская 31 Іюля/61).

Безценнѣйшій Яковъ Петровичь, простите великодушно, что до сихъ поръ не писалъ къ Вамъ ничего. Все время былъ занятъ—вѣрьте Богу. Ѣздилъ въ Москву прогуляться, хоть и на 10 только дней, но запустилъ свою работу, а потому съ перваго Іюля начиная и до самаго конца мѣсяца, работалъ усиленно. А когда я работаю, такъ ужъ норовъ такой, что хоть и есть иногда свободный часъ, но ужъ не до посторонняго и не до писемъ.

Вотъ почему и Вамъ до сихъ поръ не писалъ. Прощаете-ли?

Ну какъ-то Вы поживаете, главное здоровы-ли? Что дѣлаете? Пишете-ли? Читаю все Ваши письма, но вы ужъ мало въ нихъ пишете о себѣ. Да кстати: когда вы пріѣдете и все-ли ли время пробудете только въ одной Австріи. Италія подъ-

бокомъ, какъ кажется не соблазниться и не съѣздить? Счастливый Вы человѣкъ! Сколько разъ мечталъ я съ самаго дѣтства, побывать въ Италіи. Еще съ романовъ Ратклифъ [1]), которые я читалъ еще восьми летъ разные Альфонсы Катарины и Лючіи въѣлись въ мою голову. А донъ Педрами и доньями Кларами еще и до сихъ поръ брежу. Потомъ пришолъ Шекспир—Верона, Ромео и Джюльета—чортъ знаетъ какое было обаяніе. Въ Италію, въ Италію! а вмѣсто Италіи [2]) попалъ въ Семипалатинск, а прежде того въ Мертвый Домъ. Неужели жъ теперь не удастся поѣздить по Европѣ. Когда еще осталось и силъ и жару и поэзіи. Неужели придется ѣхать лѣтъ черезъ десять согрѣвать старыя кости отъ ревматизма и жарить лысую и плѣшивую голову на полуденномъ солнцѣ. Неужели такъ и умереть не видавъ ничего!

Но вѣдь это не отъ Васъ зависитъ и потому перейдемъ къ другому. Сначала объ Васъ: Пишете ли Вы драгоцѣнный голубчикъ? 3 главы Ваши вышли еще въ Іюнѣ и произвели сильное разнообразное впечатлѣніе [3]). Во первыхъ, вообще, впечатлѣніе вышло неполное — это понятно. Весь романъ, напечатанный цѣликомъ, произвелъ-бы впечатлѣніе гораздо сильнѣйшее. Въ публикѣ отзывы (какъ я слышалъ) различные, но что хорошо [4]), цѣнители дѣлятся довольно рѣзко на двѣ стороны: или бранятъ или очень хвалятъ—а это самое лучшее: Значитъ не пахнетъ золотой серединой, чортъ ее возьми! Иные въ восторгѣ, хвалятъ очень и ужасно бранятся, что нѣтъ продолженія. Одинъ, человѣкъ очень неглупый, такъ просто объявилъ что ему романъ совсемъ не нравится, потому что «ничего не развито». Братъ отвѣчалъ ему, что развитіе романа еще только началось, и какъ услышалъ это цѣнитель, то разинулъ ротъ отъ удивленія: онъ было вообразилъ что эти три главы—и есть весь романъ, совершенно оконченный. Онъ проглядѣлъ что сказано о продлженіи впредь. Другъ Страховъ [5]) заучилъ всѣ эти три Ваши главы наизусть, ужасно любятъ цитовать изъ нихъ и мы собравшись иногда вмѣстѣ, кстати или некстати, приплетаемъ иногда къ разговору Ваши стихи. Въ литературѣ, какъ вы сами можете вообразить, отзывовъ еще нѣтъ, кромѣ тѣхъ, которымъ не терпиться, чтобъ не ругнуть. Партія Минаевыхъ, Курочкиныхъ (воображающихъ, что они составляютъ партію) ругаются. Н. Курoч-

---

[1]) Об увлечении русских читателей романами Анны Ратклиф см. Ап. Григорьев. Полное собрание сочинений. Петроград, 1918 г., т. I, стр. 37, 79 и др. Ср. также мой очерк: «О переводной и оригинальной литературе конца XVIII и начала XIX века в связи с поэзией В. А. Жуковского». Спб. 1904 г.

[2]) Несколько слов тщательно зачеркнуто.

[3]) В журнале «Время», выходившем под редакцией Мих. Мих. Достоевского, напечатаны три главы романа «Свежее преданье» (№ 6, стр. 393—432.

[4]) Далее следует: то.

[5]) Николай Николаевич.

кинъ (братъ Василія [1]) получилъ редакторство Иллюстраціи,—то-то его пробило! Они критикуютъ что стихи не хороши, а за стихъ:

«Блохою жизни былъ укушенъ»

Минаевъ [2]) сравниваетъ Васъ съ Пл. Кусковымъ [3]) пишущимъ, будто-бы объ однихъ комарахъ и мухахъ [4]). Но гадости всѣхъ этихъ мерзляковъ разумѣется не имѣютъ ни смысла, ни вліянія. Въ Москвѣ я видѣлъ Островскаго. Некрасовъ проѣзжая Москву до меня, былъ у него и Островскій разсказывалъ мнѣ что Некрасовъ отъ Вашего романа въ восторгѣ. Братъ объявилъ что продолженіе Вашего романа послѣдуетъ въ Сентябрѣ. Хорошо-ли онъ сдѣлалъ? Правда—то что продолжить надо непремѣнно, а печатать скорѣе (говорю я для вашей и для нашей выгоды разумѣется) но отнюдь не надо откладывать. Впечатлѣніе пройдетъ въ публикѣ. А вѣдь я знаю какое у васъ дальше въ романѣ развитіе. Сильно подѣйствуетъ и поставитъ передъ публикой романъ самостоятельно и крѣпко. Я вотъ напримѣръ очень плохо сдѣлалъ что моихъ «Униженныхъ и Оскорбленныхъ» растянулъ до Іюля, и ослабилъ впечатлѣніе [5]). Теперь кончилъ, слава Богу. К зиме выйдет отдельной книжкой. Я продалъ одному издателю, взявъ 1000—больше взять нельзя было [6]). — Журнал [7]) идет, — до сихъ поръ еще тянется подписка,—хоть кой-какая, да тянется! Въ Литературном мірѣ много полемики, но [8]) не объ литературѣ, а въ публицисти-

---

[1]) Николай Степанович Курочкин (род. 2-го іюня 1830 г., ум. 2 декабря 1884 г.), поэт и публицист.

[2]) Дмитрий Дмитриевич Минаев (род. 21-го октября 1835 г., ум. 10-го іюля 1889 г.).

[3]) Платон Александрович Кусков (род. в 1834 г., ум. в 1909 г.) поэт.

[4]) См. «Русское Слово 1861 г., № 7 (іюль), Смесь, стр. 18: «Говоря о своем герое, Камкове, поэт замечает:

«Камков был сам порой смешон
И странен,—но иначе он
Блохою жизни был укушен,
Иным фантазиям послушен,
Иною солью просолен.

Нужна истинная смелость дарования юмориста, чтоб сказать два такие стиха:

Блохою жизни был укушен,
Иною солью просолен.

Я уверен, что г. Кусков, у которого в стихотвореннях везде так и прыгают всевозможные насекомыя, позавидуют этой богатой метафоре».

[5]) Роман выходил в журнале «Время» в течение семи месяцев: с января по іюль включительно.

[6]) «Униженные и оскорбленные» напечатаны в 1861 г. в типографии Эд. Праца.

[7]) «Время».

[8]) Далее зачеркнуто: все.

ческомъ смыслѣ. Чернышевскій началъ рядъ статей о современной журналистикѣ; преимущественно отвѣчаетъ своимъ непріятелямъ[1]). Очень бойко и,—главное—возбуждаетъ говоръ въ публикѣ, а это важно. Поставилъ себя очень рельефно и оригинально. Въ этой оригинальности разумѣется и недостатки его. Мы можетъ быть скажемъ что нибудь по поводу его полемики и скажемъ съ полнымъ безпристрастіемъ. Съ Русскимъ Вѣстникомъ у насъ продолжается баталія[2]). Многое-бы можно разсказать[3]), да ужъ лучше сами прочтете.

Вчера прочелъ ваше письмо къ Котѣ, но вѣдь братъ писалъ къ Вамъ. Коту же кажется ужасно было пріятно получить отъ Васъ письмо. Мы въ Колтовской живемъ ни весело ни скучно. Дѣла много. Кажется журналъ все болѣе и болѣе пріобрѣтаетъ симпатіи. До сихъ поръ каждый номеръ интересуетъ читателей.

Если Вы въ этомъ году напечатаете еще хоть 3 главы; то цѣльно и рельефно поставите Ваше произведеніе передъ публикой. Узнаютъ съ чѣмъ имѣютъ дѣло и много будутъ ожидать отъ романа. Даже самые ругатели знаютъ и теперь, что оцѣнить и что хорошо. Вообще мы не ошиблись; ему суждено имѣть и эффектъ и значеніе.

Прощайте безцѣнный другъ обнимаю Васъ крѣпко

Вашъ Ѳ. Достоевскій.

P. S. Пріѣзжайте скорѣе.

2.

4 Февраля/76.

Многоуважаемый

Яковъ Петровичъ,

Благодарю за привѣтъ и радъ что отъ Васъ. Къ Вамъ собираюсь мѣсяца три, но все разныя хлопоты, доходившія до мученій мѣшали. Дневникомъ моимъ я мало доволенъ, хотѣлось бы въ 100 разъ больше сказать.—Хотѣлъ очень (и хочу) писать о Литературѣ, и объ томъ именно о чемъ никто, съ тридцатыхъ еще годовъ, ничего не писалъ: О чистой Красотѣ. Но желалъ бы не сѣсть съ этими темами и не утопить Дневникъ. Въ четыре дня продалъ 3000 экземпляровъ въ Петербургѣ. Что же до Москвы—до городовъ, то не знаю продается-ли тамъ хоть одинъ экземпляръ, тамъ это не организовано, и къ тому же всѣ буквально, не понимаютъ что такое

---

[1]) Речь идет о статьях Н. Г. Чернышевского в Современнике.

[2]) О «баталии» с «Русским Вестником» см. «Музей памяти Ф. М. Достоевского», стр. 35—36, 55.

[3]) Первоначально было: сказать.

Дневникъ—журналъ или книга? Но о Дневникѣ потомъ. Ну возможно, скажите все такъ хворать? А давно я Васъ не видѣлъ. Непремѣнно зайду на дняхъ. А теперь еще разъ благодарю за письмо.

Весь Вашъ

Ѳ. Достоевскій.

P. S. Да кѣмъ же намъ и быть какъ не одинакаго пошиба людямъ?

3.

27 Декабря/80.

Любезнѣйшій

Яковъ Петровичь,

Не можете ли Вы отдать Вашу поэмку: «Дѣти въ лѣсу» въ «Семейные Вечера»—журналъ, издаваемый Софьей Сергѣевной Каширевой. 1-й № «Семейныхъ Вечеровъ» (издающихся превосходно и имющихъ много подписчиковъ) выйдетъ 15 Января [1]). Это ничего что къ тому времени можетъ еще и не состоится представленія у Юліи Ѳедоровны Абаза. Дѣтямъ еще лучше будетъ выучивать роли по печатному. Цѣну назначьте сами, заплатятъ сейчасъ-же. Сдѣлаете большое удовольствіе и Софьѣ Сергѣевнѣ и мнѣ. Во всякомъ случаѣ, сдѣлайте одолженіе не замедлите отвѣтомъ.

Вамъ совершенно преданный

Ѳ. Достоевскій.

4.

Любезнѣйшіи Яковъ Петровичь,

Если Ваше время завтра въ Воскресеніе не занято, то посѣтите меня вечеркомъ, выпить чайку, чѣмъ очень обяжете, Васъ крѣпко любящаго

Ѳ. Достоевскаго.

(8 апр.). Суббота.

II.

М. М. Достоевскій — Я. П. Полонскому.

Спб. 16 Іюля 1861.

1.

Посвящаю Вамъ первый вечеръ, добрѣйшій другъ Яковъ Петровичъ,—вечеръ, въ который я хоть нѣсколько свободенъ не относительно времени, а свободенъ духомъ, свободенъ отсутствіемъ разныхъ гадкихъ заботъ и дрязгъ въ головѣ. Вотъ

[1]) В первом номере «Семейных Вечеров» 1881 г. (стр. 1—30) помещена «драматическая фантазия для детского театра» «Лесные чары».

и пишу къ Вамъ и отвѣчаю на Ваши два письма, за которыя я Вамъ уже мысленно давно отослалъ множество благодареній. Вѣрите-ли, я не могу писать дружескихъ писемъ, когда у меня на душѣ сидитъ какой-нибудь гадъ, какая-нибудь дрянная забота и точитъ её. Просто, не могу писать тогда: гожусь развѣ для корректуръ только.

Вотъ почему и не писалъ Вамъ такъ давно. Простите, пожалуйста, и не браните меня много изъ вашего прекраснаго, но какъ кажется довольно сырого «далека».

Изъ этого предисловія Вы можете судить, что лѣто, не смотря на то что оно стоитъ у насъ чудесное, рѣдкое, небывалое, проводится мною очень невесело. Что дѣлать? Ужъ этотъ годъ начинанія придется видно выкинуть изъ жизни. Пусть его будетъ полонъ перевалъ, лишь бы другіе, послѣдующіе были попокойнѣе. А на это я сильно надѣюсь и разсчитываю, потому что «Время» повидимому все болѣе и болѣе выигрываетъ въ общественномъ мнѣніи. Подписка, хоть и слабая теперь, все еще продолжается.

Новаго у насъ здѣсь не много. Всѣ разъѣхались. Остались съ нами только Страховъ и Кусковъ, съ которыми мы и любимъ часто вспоминать о Васъ. Николай Николаичъ знаетъ наизустъ всѣ три главы вашего чуднаго романа [1]). Знаю еще одного господина, заучившаго изъ него, нѣсколько мѣстъ. Что говорятъ о немъ въ публикѣ—не извѣстно, потому что публики въ Петербургѣ теперь нѣтъ, а потому и говора нѣтъ, но вѣроятно, онъ производитъ свой эффектъ.

О, еслибъ остальныя главы были также хороши, какъ напечатанныя.

Вы пишете о деньгахъ. Все это время я самъ очень нуждался вслѣдствіе разныхъ платежей по фабрикѣ. Но въ концѣ этого мѣсяца получаю порядочныя деньги, и тогда могу вамъ выслать 200 или 300 р. куда назначите.

Заходилъ два раза къ Юнгмейстеру [2]), но ни разу не удалось застать его дома, т. е. въ магазинѣ [3]). Буду въ тѣхъ краяхъ, зайду еще разъ, чтобъ исполнить Ваше порученіе, хотя и не понимаю какимъ образомъ оно исполнится. Онъ конечно пожметъ плечами, скажетъ невѣроятную причину и такъ отдѣлается, а книга все таки не выйдетъ въ свѣтъ. Между книгопродавцами есть господа ужасные.

Вчера я надѣялся на дождь. Небо заволакивало—надоѣла эта однообразная жара — а нынче опять день сверкающій. Опять къ обѣду поѣду на дачу, несмотря на дѣла, потому что нѣтъ силъ сидѣть въ городѣ. Мои Вамъ всѣ, не исключая и котовъ, кланяются.

---

[1]) «Свежее преданье».

[2]) Книгопродавец-издатель.

[3]) Магазин Ю. А. Юнгмейстера находился на Невском проспекте, у Полицейского моста.

Съ Майковымъ [1]) я не видался съ тѣхъ поръ, какъ былъ у него съ вами. Ѣздили мы какъ-то всѣ въ Парголово, но его не встрѣтили: вѣроятно, онъ гдѣ-нибудь удилъ въ то время.

Прощайте, дорогой Яковъ Петровичъ, будьте здоровы и наслаждайтесь всѣми прелестями чудной природы. Мнѣ нанесли сейчасъ столько корректуръ, а жара стоитъ такая страшная, что кажется я и не справлюсь съ ними. Еще разъ прощайте. Братъ на дняхъ будетъ писать къ Вамъ. Онъ только что отдѣлался, т. е. кончилъ романъ свой [2]).

Искренно преданный Вамъ

М. Достоевскій.

2.

26 іюля 1861. Спб.

Третьяго дня я получилъ Ваше письмо, дорогой мой Яковъ Петровичъ и душевно и сердечно болѣлъ, читая Ваши справедливыя пѣни. Сознаюсь, я много былъ виноватъ передъ Вами. Одно меня утѣшало: что въ то время когда мнѣ было совѣстно самого себя, Вы уже непремѣнно получили письмо мое, адресованное къ Вамъ въ Ииль. Получили ли Вы его? Если да и если Вы знаете человека (а Вы должны знать его, потому что Вы поэтъ), то совершенно поймете причину моего молчанія. Все это время я былъ просто въ тискахъ. Столько заботъ налегло на мою голову, заботъ самыхъ гадкихъ, т. е. денежныхъ, что я просто не могъ, просто неспособенъ былъ къ дружеской перепискѣ. Будь Вы не Яковъ Петровичъ, а какой нибудь Г. NN, къ которому я не питалъ бы ничего душевнаго, я конечно отвѣчалъ бы и писалъ бы. Но въ томъ то и штука, что на дружеское письмо человѣкъ, (я по крайней мѣрѣ) бываетъ способенъ только тогда, когда уже пронесутся нѣкоторыя тучи, и онъ начинаетъ успокаиваться. Вспомните, что этотъ годъ рѣшительный въ моей жизни.

Теперь небо надо мной проясняется. Завтра выходитъ VII N. Временн. Я стало быть покоенъ и потому пишу къ Вамъ съ удовольствіемъ. Хлопоты и заботы были впрочемъ не о Времени. Оно шло своимъ порядкомъ. Меня заѣдала фабрика.

Романъ Вашъ встрѣченъ нашими маленькими поэтами очень холодно даже непріязненно. Русское Слово въ лицѣ Минаева скверно и гадко глумится надъ нимъ въ своемъ послѣднемъ нумерѣ [3]). Еслибъ Вы знали какая это все шваль, наши маленькіе поэты. Но ничего, они срамятъ только самихъ себя. Они и не воображаютъ въ какую глупую ловушку идутъ.

---

[1]) Аполлономъ Николаевичемъ.
[2]) «Униженные и Оскорбленные».
[3]) «Русское Слово», 1861 г., № 7, Смесь, стр. 16—22.

Люди, понимающіе искусство, отъ него въ восторгѣ. Они пристыдятъ ихъ.

А Вы мнѣ задали трудную задачу съ деньгами. Какъ я долженъ ихъ Вамъ выслать: переводнымъ векселемъ или золотомъ или россійскими ассигнаціями. Если векселемъ, то на какой городъ. Золота нигдѣ не достанешь. Вышлю Вамъ ассигнаціями въ Ambassade Russe à Vienne и дамъ знать Вамъ по телеграфу. Сдѣлаю это на дняхъ. Не знаю только 300 или 200 р. Если 200 и Вамъ не достанетъ то дошлю послѣ. Однимъ словомъ исполню все такъ какъ Вы того желаете.

Мы живемъ такъ себѣ ни весело ни скучно. Изъ знакомыхъ только одинъ Страховъ никуда не уѣхалъ. Всѣ другіе куда-то скрылись. Даже Майковъ бросилъ Парголово, уду и уѣхалъ въ Смоленскую губернію.

А письма-то ходятъ гораздо дольше, чѣмъ Вы разсчитываете. Вмѣсто 15 іюля, какъ Вы полагали, я получилъ Ваше послѣднее письмо 24 іюля. Такія ошибки могутъ ввести Васъ въ заблужденіе касательно охоты Вашихъ друзей отвѣчать Вамъ.

Сейчасъ иду въ одну контору узнавать какъ лучше выслать Вамъ деньги. На дняхъ по телеграфу узнаете какъ я это сдѣлалъ. Р[усскій] Вѣстникъ въ майской книжкѣ разразился на насъ цѣлымъ потокомъ самыхъ неприличныхъ ругательствъ, сравнилъ насъ съ Аскоченскимъ [1]). Статья называется: одного поля ягоды [2]). Мы же ведемъ себя джентлеменами.

Съ нетерпѣніемъ жду Вашего возвращенія. Я объявилъ, что продолженіе романа будетъ печататься съ сентября. Будетъ-ли? Но не подумайте, чтобъ романъ былъ причиною моего нетерпѣнія Васъ скорѣе видеть. Жестоко ошибаетесь. Мнѣ Васъ хочется видѣть, голубчикъ Яковъ Петровичъ. А до тѣхъ поръ прощайте. Будьте здоровы и поправляйтесь. О Гастейнѣ давно уже на Руси идетъ слава, какъ объ извѣстной купели.

Прощайте. Мои вамъ всѣ кланяются. Братъ тоже.

Душевно и сердечно Вашъ

М. Достоевскій.

Сообщ. Н. Козмин.

---

[1]) Виктор Ипатьевич Аскоченский (род. 1-го октября 1813 г., ум. 18-го мая 1879 г.), редактор «Домашней Беседы».

[2]) «Русский Вестник», 1861 г., май, Литературное обозрение и заметки, стр. 1—26.

Два письма Ф. М. Достоевского к Е. П. Гусевой.

(Из материалов Пушкинского Дома).

I.

Петербургъ.
Кузнечный переулокъ
близь Владимірской церкви
домъ № 5, кв. № 10.

15 Октября/80.

Многоуважаемая

Пелагея Егоровна,

Вмѣсто того, чтобы такъ горько упрекать, Вамъ бы хоть капельку припомнить, что могутъ быть случай поста и всякія обстоятельства. Я жилъ все лѣто съ семействомъ въ Старой Руссѣ (Минеральныя воды), и только 5 дней какъ воротился въ Петербургъ. Первое письмо Ваше отъ Іюля, адресованное въ Вѣстникъ Европы, дошло до меня чрезвычайно поздно, въ концѣ Августа. И что же бы я могъ сдѣлать сидя въ Старой Руссѣ въ Редакціи Огонька, которой я не знаю и изо всѣхъ силъ знать не желаю? Вамъ же не отвѣтилъ—вы не повѣрите почему. Потому что если есть человѣкъ въ каторжной работѣ, то это я. Я былъ въ каторгѣ въ Сибири 4 года, но тамъ работа и жизнь была сноснѣе моей теперешней. Съ 15-го Іюня по 1-е Октября я написалъ до 20 печатныхъ листовъ романа и издалъ Дневникъ Писателя въ 3 печат. листа. И однако я не могу писать съ плеча, я долженъ писать художественно. Я обязанъ темъ Богу, поэзіи, успѣху написаннаго и буквально всей читающей Россіи, ждущей окончанія моего труда. А потому сидѣлъ и писалъ буквально дни и ночи. Ни на одно письмо съ Августа до сегодня—еще не отвѣчалъ. Писать письма для меня мученіе, а меня заваливаютъ письмами и просьбами. Вѣрите ли, что я не могу и не имею времени прочесть ни одной книги и даже газеты. Даже съ дѣтьми мнѣ некогда говорить. И не говорю. А здоровье такъ худо какъ Вы

и представить не можете. Изъ катарра дыхательныхъ путей у меня образовалась анфизема—неизлѣчимая вещь. (Задыханіе, мало воздуху) и дни мои сочтены. Отъ усиленныхъ занятій падучая болѣзнь моя тоже стала ожестченнѣе. Вы по крайней мѣрѣ здоровы, надо же имѣть жалость. Если жалуетесь на нездоровье, то не имѣете все таки смертельной болѣзни и дай Вамъ Богъ много лѣтъ здраствовать, ну а меня извините.

Второе же письмо Ваше съ упрекомъ отъ Сентября я получилъ лишь на дняхъ въ Петербургѣ. Все приходило на мою квартиру безъ пересылки въ Ст. Руссу, вслѣдствіе ошибочнаго моего собственнаго распоряженія, (конечно по недоумѣнію) и я разомъ получилъ десятки писемъ.—.—Съ Огонькомъ я не знаюсь, да и замѣтьте тоже, что и ни съ одной Редакціей не знаюсь. Почти всѣ мнѣ враги—не знаю за что. Мое же положеніе такое, что я не могу шляться по Редакціямъ: Вчера же меня выбранятъ, а сегодня я туда прихожу говорить съ темъ, кто меня выбранилъ. Это для меня буквально невозможно. Однако употреблю всѣ усилія, чтобы достать Вашу рукопись изъ Огонька. Но куда ее пристроить? Всякая шушера, которую я приду просить, чтобы напечатали Вашъ романъ, будетъ смотреть на меня какъ на выпрашивающего страшнаго одолженія. Да и какъ я пойду говорить съ этими жидами? Съ другой стороны ведь эту рукопись надо прочесть предварительно, а у меня буквально нѣтъ ни минуты времени для исполненія самыхъ святыхъ и неотложныхъ обязанностей: я все запустилъ, все бросилъ, о себѣ не говорю. Теперь ночь, 6-й часъ по полуночи, городъ просыпается, а я еще не ложился. А мнѣ говорятъ доктора, чтобъ я не смѣлъ мучить себя работой, спалъ по ночамъ, и не сидѣлъ бы по 10 и 12 часовъ нагнувшись надъ письменнымъ столомъ. Для чего я пишу ночью? А вотъ только что проснусь въ часъ пополудни, какъ пойдутъ звонки за звонками: тотъ входитъ одно проситъ, другой другого, третій требуетъ, четвертый настоятельно требуетъ, чтобъ я ему разрѣшилъ какой нибудь неразрѣшимый «проклятый» вопросъ—иначе де я доведенъ до того, что застрѣлюсь. (А я его въ первый разъ вижу). Наконецъ депутація отъ Студентовъ, отъ Студентокъ, отъ гимназій, отъ Благотвор. Обществъ—читать имъ на публичномъ вечерѣ. Да когда же думать, когда работать, когда читать, когда жить.

Въ Редакцію Огонька пошлю и буду требовать выдачи рукописи—но прочесть, помѣстить—этого я и понять не могу, какъ и когда я сдѣлаю. И б о б у к в а л ь н о н е м о г у, не имѣя времени и н е з н а я н и к у д а д о р о г ъ. Вы думаете можетъ быть, что я отъ гордости не хочу ходить? Да помилуйте, какъ я пойду къ Стасюлевичу, али въ Голосъ, али въ Молву, али куда бы то ни было гдѣ меня ругаютъ самымъ

недостойнымъ образомъ. Если я принесу рукопись, и потомъ она не понравится, скажутъ: Достоевскій надулъ, мы ему повѣрили какъ авторитету, надулъ чтобъ деньги выманить. Напечатаютъ это, разнесутъ, сплетни выведутъ—Вы незнаете литературнаго міра.

— Не дивитесь на меня что я пускаюсь въ такіе разговоры. Я такъ усталъ и у меня мучительное нервное разстройство. Сталъ бы я съ другимъ или съ другой объ этомъ говорить! Знаете ли что у меня лежитъ несколько десятковъ рукописей, присланныхъ по почтѣ не извѣстными лицами чтобъ я прочелъ и помѣстилъ ихъ съ рекомендаціей въ журналы: вы дескать знакомы со всѣми редакціями! Да когда же жить то, когда же свое дѣло дѣлать, и прилично ли мнѣ обивать пороги редакцій! Если Вамъ сказали вездѣ что повесть Ваша растянута,—то конечно что нибудь въ ней есть неудобное. Рѣшительно не знаю что сдѣлаю. Если что сдѣлаю—извѣщу. Когда—не знаю. Если не захотите такой неопредѣленности, то уполномочьте другого. Но для другой я бы и не двинулся: это для Васъ, на память Эмса. Я Васъ слишкомъ не забылъ. Письмо Ваше (первое) очень читалъ. Но не пишите мнѣ въ письмахъ объ этомъ. Крѣпко, по дружески, жму Вашу руку.

Вашъ весь

Ѳ. Достоевскій.

[На поляхъ приписано:] Буквально вся литература ко мнѣ враждебна, меня любитъ до увлеченія только вся читающая Россія.

2.

С.-Петербургъ.
Ноября 3/80 г.

С.-Петербургъ.
Кузнечный Переулокъ
домъ № 5, квартира № 10
(близь Владимірской церкви)
Ѳ. М-чу Достоевскому.

Глубокоуважаемая и дорогая

Пелагея Егоровна,

Простите что ограничусь лишь нѣсколькими словами: страшно занятъ, ждутъ корректуры, переписка послѣднихъ листовъ Карамазовыхъ, и безпрерывно надоѣдающие посѣтители. Рукопись Вашу «Мачиха» изъ «Огонька» взялъ и отправилъ въ «Русь». Написалъ и Ивану Сергѣевичу все какъ желали и прибавилъ еще о томъ что онъ долженъ знать Васъ по Чешскимъ стихотвореніямъ, о которыхъ Вы мнѣ написали. Что же до тетради Вашихъ стиховъ, бывшихъ въ

«Огонькѣ», то она давно сожжена Редакціей: таково у нихъ правило со всѣми стихотвореніями, которыя у нихъ залежатся. Прибавлю отъ себя, дорогая Пелагея Егоровна, что, кажется, ничего Вы не могли сдѣлать непрактичнѣе, какъ эта пересылка Вашей Мачихи въ «Русь»! Еженедѣльная газета, выходящая по 2 печатныхъ листа въ недѣлю, развѣ можетъ начать печатаніе романа въ 12 печатныхъ листовъ? Это чтобы черезъ полгода окончить? Да еслибъ былъ присланъ уже патентованный чей-нибудь шедѣвръ, такъ и тогда, я напримѣръ, еслибъ былъ редакторомъ такой газеты, не напечаталъ, а развѣ выдалъ бы публикѣ въ приложеніяхъ. Само собою я этого не написалъ Аксакову. Какъ онъ рѣшитъ, такъ теперь и будетъ. Сообщилъ ему Вашъ адресъ. Вы бы лучше присѣли и написали что нибудь хорошенькое въ 1 листъ печатный, да и послали-бы поскорѣе въ «Русь». Это было бы лучше, я объ Васъ написалъ Аксакову какъ объ хорошемъ человѣкѣ.

Простите же что пишу лишь два слова. Я Вамъ преданъ и объ Васъ вспоминаю сердечно, въ этомъ будьте всегда увѣрены. До свиданія, милая Пелагея Егоровна, жму крѣпко Вашу ручку.

Вашъ весь

Ѳ. Достоевскій.

Печатаемые выше два письма Ф. М. Достоевского (и в особенности первое) к Пелагее Егоровне Гусевой представляют, как нам кажется, исключительный интерес и исключительное значение для биографа Достоевского, как ясная картина того душевного состояния, в каком он находился в последние месяцы своей жизни. Письма эти представляют исключительный интерес, понятно, не по адресату—лицу в общем мало замечательному, а по корреспонденту—в нервном, горячем письме передавшему, откровенно, и быть может невольно, своей случайной знакомой болезненное и мучительно-нервное состояние своей души, передавшему мысли, волновавшие его в последние годы жизни.

Сведения о П. Е. Гусевой крайне скудны в нашей библиографической литературе. В «Источникахъ Словаря Русскихъ сателей» С. А. Венгерова мы читаем всего лишь следующее:

«Гусева, П. Е., автор сельск. драмы «На Рогачевке» (М. 1875—1895).

Голицын, Словарь писательниц. Отзыв: О «На Рогачевке»: Экс—А. П. Чебышев-Дмитриев, «Нов. Вр.» 1875, 241».

Еще меньше сведений о П. Е. Гусевой сообщает князь Н. Н. Голицын в своем «Словаре писательниц»: из него мы опять-таки узнаем только, что она является автором сельской драмы

«На Рогачевке». Между тем П. Е. Гусева писала и повести, и романы, и стихи, занималась переводами и кое-что печатала. Все написанное ею не выходит из рамок посредственных писаний многочисленных незаметных тружеников пера 70-х и 80-х годов, скудость же сведений о ней об'ясняется как тем, что она не привлекла ничьего внимания, так и еще в большей степени тем, что в печати она подписывалась в большинстве случаев псевдонимом «А. Шумова», оставшимся неразгаданным С. А. Венгеровым. С П. Е. Гусевой Достоевский познакомился во время своего шестинедельного курса лечения в Эмсе в 1874—1875 гг., и она на него произвела впечатление «хорошего человека», как он о том писал И. С. Аксакову и как это еще более чувствуется из приведенных выше писем Ф. М. Достоевского к самой Гусевой.

В письме своем (втором) Достоевский прямо и откровенно говорит, что он рекомендует Гусеву как «хорошего человека» (а не как хорошего писателя) и так и н а п и с а л о ней И. С. Аксакову. Маленькая неточность Достоевского, свидетельствующая о том, какого труда стоило ему собраться написать Аксакову о романе П. Е. Гусевой: в письме к ней 3 ноября Ф. М. говорит, что он «н а п и с а л и Ивану Сергеевичу все, как Вы желали», в действительности же он на другой день—4 ноября—писал И. С. Аксакову:

_Глубокоуважаемый и дорогой Иван Сергеевич!

Третьего дня я отправил в редакцию «Руси» одну рукопись, повести или романа, под названием «Мачиха». Это вот что такое: Одна давно уже нищущая барыня, сама очень хороший, кажется, человек, Пелагея Егоровна Гусева, лет 6 тому назад познакомилась со мною на водах в Эмсе и теперь прибегла к моему посредничеству по поводу своего романа. Живет она в Рязани, очень бедно. «Мачиха» была в «Русском Вестнике», была в «Огоньке». Везде отказали. И вот Пелагея Егоровна, прочтя в газетах ваше об'явление, поручила мне взять из редакции издания «Огонек» ее рукопись и переслать вам в «Русь», что̀ я и сделал. «Мачиху» я не читал; понятия о ее достоинствах не имею, и лишь по настоятельной просьбе автора совершаю факт передачи. Как рассудите, так и будет, а я тут, конечно, не причем. Ничего не рекомендую, ничего не навязываю. Г-жа Гусева прибавляет, что, может быть, отчасти вам известна переводами некоторых чешских стихотворений, которые вы когда-то поместили в каком-то издании, «Братская помощь», кажется. Впрочем, она сама забыла название. Подписана «Мачиха» псевдонимом А. Шумова. Этот псевдоним она согласна уничтожить с тем, чтоб поставить настоящую фамилию: П. Гусева. Адрес Г-жи Гусевой: Рязань, Введенская улица, дом священника Успенского...»

Повторяем еще раз: письма интересны не тем, что они адресованы П. Е. Гусевой, а тем, что среди немногочисленных писем Ф. М. Достоевского 1879—1880 гг. они выделяются своей яркостью и характеризуют его душевное состояние незадолго перед смертью.

Сообщ. **М. Л. Гофман.**

Письмо Ф. М. Достоевского к Валиханову [1].

(Из материалов Публичной Библиотеки).

Семипалатинскъ 14 Декабря 56.

Письмо ваше, добрѣйшій другъ мой, передалъ мнѣ Александръ Николаевичь. Вы пишете такъ привѣтливо и ласково, что я какъ-будто увидѣлъ васъ снова передъ собою. Вы пишете мнѣ, что меня любите. А я вамъ объявляю безъ церемоніи, что я въ васъ влюбился. Я никогда и ни къ кому, даже не исключая роднаго брата, не чувствовалъ такого влеченія какъ къ вамъ, и Богъ знаетъ какъ это сдѣлалось. Тутъ бы можно много сказать въ объясненіе, но чего васъ хвалить! А вы вѣрно и безъ доказательствъ вѣрите моей искренности, дорогой мой Вали-ханъ, да еслибъ на эту тему написать 10 книгъ, то ничего не напишешь: чувство и влеченіе дѣло необъяснимое. Когда мы простились съ вами изъ возка, намъ всѣмъ было грустно послѣ цѣлый день. Мы всю дорогу вспоминали о васъ и въ запуски хвалили. Чудо какъ хорошо было-бы еслибъ вамъ можно было съ нами поѣхать! Вы бы произвели большой эффектъ въ Барнаулѣ. Въ Кузнецкѣ (гдѣ я былъ одинъ) (NB Это секретъ)—я много говорилъ о васъ одной дамѣ, женщинѣ умной, милой, съ душою и сердцемъ, которая лучшій другъ мой [2]). Я говорилъ ей о васъ такъ много, что она полюбила васъ никогда не видя, съ моихъ словъ, объясняя мнѣ, что я изобразилъ васъ самыми яркими красками. Можетъ быть эту превосходную женщину вы когда-нибудь увидите и будете тоже въ числѣ друзей ея, чего вамъ желаю. Потому и пишу вамъ объ этомъ. Я почти не былъ въ Барнаулѣ. Впрочемъ былъ на балѣ и успѣлъ познакомиться почти со всѣми. Я больше жилъ въ Кузнецкѣ (5 дней). Потомъ въ Зміевѣ и въ Локтѣ. Демчинскій [3]).

---

[1]) Валиханов, Чекан Чолканович, киргиз, путешественник по Средней Азии. (О нем см. А. Е. Врангель. Воспоминания о Достоевском в Сибири. Спб. 1912, стр. 94—95, 174; Пленинг. Истор. русск. этногр. IV, 397—400; Н. М. Ядринцев. Сибирск. инородцы, 240—41.

[2]) Речь идет, повидимому, о Марье Дмитриевне Исаевой, будущей жене Ф. М—ча.

[3]) Демчинский—адъютант военного губернатора. («Воспоминания» А. Е. Врангеля, 84 и д.).

былъ въ своемъ обыкновенномъ юморѣ во все время. Семеновъ превосходный человѣкъ [1]). Я его разглядѣлъ еще ближе. Много бы можно было вамъ разсказать чего въ письмѣ не упишешь. Но когда-нибудь кое-что узнаете, а вотъ теперь, когда в душѣ моей, вдругъ, неожиданно (и ждалъ и не ждалъ) накопилось столько горя, заботъ, и страху за то, что мнѣ дороже всего на свѣтѣ, теперь, когда я совершенно одинъ, (а дѣйствовать надо)—теперь я раскаиваюсь, что не открылъ вамъ главнѣйшихъ заботъ моихъ, и цѣлей моихъ и всего, что уже слишкомъ два года томитъ мое сердце до смерти! Я был бы счастливъ. Дорогой мой другъ, милый Чеканъ Чолкановичь, я пишу вамъ загадки. Не старайтесь ихъ разгадывать, но пожелайте мнѣ успѣха. Можетъ быть скоро услышите обо всемъ отъ меня-же. Пріѣзжайте если возможно скорѣе къ намъ, а уже въ Апрѣлѣ непремѣнно. Не перемѣняйте своего намѣренія. Такъ бы хотѣлось васъ увидѣть, да и вы вѣрно не соскучитесь. Вы пишите, что вамъ въ Омскѣ скучно,—еще бы! Вы спрашиваете совѣта: какъ поступить Вамъ съ вашей службой и вообще съ обстоятельствами. По моему вотъ что: не бросайте заниматься. У васъ есть много матеріаловъ. Напишите статью о Степи. Ее напечатаютъ (помните мы объ этомъ говорили). Всего лучше еслибъ вамъ удалось написать нѣчто въ родѣ своихъ Записокъ о степномъ бытѣ, вашемъ возрастѣ тамъ и т. д. Это была-бы новость, которая заинтересовала-бы всѣхъ. Такъ было-бы ново, а вы конечно знали-бы что писать (н. прим. въ родѣ Джона Теннера въ переводѣ Пушкина, если помните). На васъ обратили бы вниманіе и въ Омскѣ и въ Петербургѣ. Матеріалами, которые у васъ есть, вы бы заинтересовали собою Географическое общество. Однимъ словомъ и въ Омскѣ на васъ смотрѣли-бы иначе. Тогда-бы вы могли заинтересовать даже родныхъ вашихъ возможностью новой дороги для васъ. Если хотите будущее лѣто пробыть въ степи, то ждать еще можно долго. Но съ 1-го Сентября будущаго года вы бы могли выпроситься въ годовой отпускъ въ Россію. Годъ проживъ тамъ вы бы знали что дѣлать. На годъ у васъ были бы средства. Повѣрьте, что ихъ нужно не такъ много. Главное съ нѣкіимъ расчетомъ жить и новый взглядъ имѣть на это дѣло. Все относительно и условно. Въ этотъ годъ вы бы могли рѣшиться на дальнѣйшій шагъ въ вашей жизни. Вы бы сами выяснили себѣ результатъ, т.е. рѣшили бы, что дѣлать далѣе. Воротясь въ Сибирь, вы бы могли представить такія выгоды, или такія соображенія (мало-ли что можно изобразить и представить!) роднымъ своимъ, что они пожалуй выпустили-бы васъ и за границу, т. е. года на два въ путешествіе по Европѣ. Лѣтъ через 7, 8, вы бы могли такъ устроить

[1]) Семенов, Петр Петрович (Тянь-Шанский), впоследствии член Государств. Совета, вице-председатель Географического Общества.

судьбу свою, что были-бы необыкновенно полезны своей родинѣ. Н. прим.: не великая-ли цѣль, не святое-ли дело, быть чуть-ли не первымъ изъ своихъ, который бы разтолковалъ въ Россіи, что такое Степь, ея значение и вашъ народъ относительно Россіи, и въ то же время, служить своей родинѣ, просвѣщеннымъ ходатайствомъ за нее у Русскихъ. Вспомните что вы первый Киргизъ,—образованный по Европейски вполнѣ. Судьба же васъ сдѣлала въ добавокъ превосходнѣйшимъ человѣкомъ, давъ вамъ и душу и сердце. Нельзя, нельзя отставать; настаивайте, старайтесь и даже хитрите, если можно. А вѣдь возможно все, будьте увѣрены. Не смѣйтесь надъ моими утопическими соображениями и гаданьями о судьбѣ Вашей, мой дорогой Вали-ханъ. Я такъ васъ люблю, что мечталъ о васъ и о судьбе вашей по цѣлымъ днямъ. Конечно въ мечтахъ я устраивалъ и лелѣялъ судьбу вашу. Но среди мечтаній была одна действительность: это то, что вы первый изъ вашего племени, достигшій образованія Европейскаго. Ужъ одинъ этотъ случай поразителенъ и сознаніе о немъ невольно налагаетъ на васъ и обязаннести. Трудно рѣшить: какой сдѣлать вамъ первый шагъ. Но вотъ еще одинъ совѣтъ (вообще) менѣе загадывайте и мечтайте и больше дѣлайте: хоть съ чего-нибудь да начните, хоть что-нибудь да сдѣлайте для расширенія карьеры своей. Что-нибудь всетаки лучше, чѣмъ ничего. Дай вамъ Богъ счастья.

Прощайте дорогой мой и позвольте васъ обнять и поцаловать разъ 10. Помните меня и пишите чаще. Цуриковъ мнѣ нравится, онъ прямъ, но я еще мало знаю его. Съѣдетесь-ли вы съ Семеновымъ и будете-ли вмѣстѣ въ Семипалатинскѣ. Тогда насъ будетъ большая компания. Тогда можетъ быть много перемѣнится и въ моей судьбѣ. Далъ бы Богъ! Вамъ кланяется Демчинскій. Пишу вамъ у него на квартирѣ, за тѣмъ столомъ, на которомъ мы обыкновенно завтракали или вечеромъ пили чай, въ ожиданіи обиженныхъ сиротъ.

Напротивъ меня сидитъ Цуриковъ и тоже вамъ пишетъ. Демчинскій же спитъ и храпитъ. Теперь 10 часовъ вечера. Я не понимаю отчего очень усталъ. Хотѣлось бы вамъ написать кое что о Семипалатинскѣ; есть вещи очень смѣшныя. Да не упишешь и 10-ой доли если писать какъ слѣдуетъ. Прощайте же добрый мой другъ. Пишите мнѣ чаще. А я всегда буду вамъ отвѣчать. Можетъ быть рискну въ другой разъ написать и о своихъ дѣлахъ. Поклонитесь отъ меня Д—ву, и пожелайте ему отъ меня всего лучшаго. Увѣрьте его, что я люблю его и искренно преданъ ему.

NB. С. вамъ кланяется, разсказывала какъ вы ее сманивали въ Омскъ. Она о васъ помнитъ и очень вами интересуется. Adio!

Письмо Ф. М. Достоевского к Каченовскому[1]).

(Из материалов Публичной Библиотеки).

Петербургъ, 16 Октября/80.

Многоуважаемый

Владиміръ Павловичь,

Ваше письмо, въ которомъ Вы просили меня о скоромъ отвѣтѣ, получилъ я лишь на дняхъ, возвратясь въ Петербургъ. Жилъ я лѣто, съ семьей моей, въ Старой Руссѣ, и готовился воротиться въ Петербургъ еще въ половинѣ Сентября. Но вслѣдствіе разныхъ задержекъ остался до 10-го Октября, а между тѣмъ еще мѣсяцъ тому назадъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы письма мнѣ уже въ Старую Руссу не высылались, а ждали моего пріѣзда въ Петербургъ. Такимъ образомъ возвратясь изъ Руссы нашелъ нѣсколько писемъ, ожидавшихъ меня, въ томъ числѣ и Ваше. Мнѣ очень жаль, старый товарищъ, если Вы подумали, что я отнесся къ Вашему письму холодно и невнимательно. И опять таки нельзя было Вамъ отвѣчать сейчасъ, потому что хотѣлось по Вашей просьбѣ что-нибудь устроить, а на все нужно время. На счетъ общества поощренія писателей я ничего не знаю, а потому никакого Вамъ совѣта дать не могу. Но я отправился къ Виктору Павловичу Гаевскому, который состоитъ членомъ комитета (и даже кажется предсѣдательствуетъ) въ Обществѣ Литературнаго Фонда. Онъ мнѣ обѣщалъ непремѣнно доложить о Васъ въ Комитетѣ Лит. Фонда въ первое же засѣданіе его и обнадежилъ меня, что можетъ кончиться успѣшно, т. е. возможностью выдачи временнаго вспоможенія (конечно не чрезвычайно значительнаго), а можетъ быть и нѣкоторой постоянной (т. е. ежегодной) помощи или пенсіи. Я знаю, что в Литерат. Фондѣ, при опредѣленіи вспоможеній всегда требуется отчетливаго обозначенія, т. е. перечня, прежнихъ литературныхъ трудовъ просящаго вспомоществованія. Но Гаевскій сказалъ мнѣ, что Вамъ могутъ выдать вспомоществованіе и за литературныя и ученыя заслуги Вашего отца. Кроме того, принято за правило всегда, прежде опредѣленія вспоможенія, поручать

---

[1]) Каченовский, Владимир Михайлович (ошибочно названный Достоевским—Павлович), сын историка, Михаила Трофимовича, товарищ Достоевского по Московскому пансиону Чермака, публицист.

кому нибудь изъ членовъ Литературнаго Фонда лично удостовѣриться въ болѣзненномъ или въ безпомощномъ состояніи требующаго вспоможенія. Такъ какъ Фондъ имѣетъ множество членовъ и нѣкоторые изъ нихъ живутъ въ Москвѣ, то, если будетъ уважено представленіе о Васъ Гаевскаго, кому-нибудь изъ Московскихъ членовъ Общества поручатъ посѣтить Васъ лично. Когда это можетъ случиться не могу предсказать, но вѣроятно не позже трехъ недѣль отъ сего числа, а можетъ и раньше. Весьма бы желательно еслибъ Лит. Фондъ опредѣлилъ хоть малую, но ежегодную пенсію. Вотъ все, что я успѣлъ сдѣлать. Если дѣло будетъ сразу отвергнуто, то я Васъ увѣдомлю. Если же получитъ ходъ, то членъ Лит. Фонда непремѣнно посѣтитъ Васъ. Полагаю, что отвергнуть совсѣмъ не могутъ, и хоть единовременное пособіе опредѣлятъ.

Вотъ все, что я успѣлъ сдѣлать. Такъ-ли я поступилъ, обратясь к Лит. Фонду? Не обращались-ли Вы къ нему и прежде? Не знаю какъ Вы примете мое распоряженіе. Во всякомъ случаѣ отъ души желаю Вамъ здоровья. Да, нашихъ Чермаковцевъ [1]) немного, а я всѣхъ помню. Въ жизни встрѣчалъ потомъ лишь Ламовскаго и Толстого. Съ Шумахерами никогда не пришлось увидѣться, равно какъ и съ Мильгаузенами. Съ Анной Леонтьевной Чермакъ (Ламовской) встрѣтился съ большимъ удовольствіемъ. Бывая въ Москвѣ мимо дома въ Басманой [2]) всегда проѣзжаю съ волненіемъ. Я васъ очень помню. Вы были небольшого росту мальчикъ съ прекрасными большими темными глазами. Жаль, что мы не встрѣтились лѣтомъ. Подростка вышлю моей милой читательницѣ, дочери Вашей, какъ только разберусь съ моимъ книжнымъ хламомъ. Я самъ тоже человѣкъ нездоровый съ двумя неизлечимыми болѣзнями, которыя очень меня удручаютъ и очень мнѣ дорого стóятъ: падучей и катарромъ дыхательныхъ путей (анфиземой)—такъ что дни мои, самъ знаю, что сочтены. А между тѣмъ безпрерывно долженъ работатть безъ отдыху.

Жму Вашу руку и обнимаю Васъ какъ стараго товарища дѣтскихъ лѣтъ.

Вашъ весь **Ѳ. Достоевскій.**

С.-Петербургъ, Кузнечный переулокъ, домъ № 5, кварт. № 10, близь Владимірской церкви, Ѳ. М-чу Достоевскому.

На всякій случай: Викторъ Павловичъ Гаевскій, С.-Петербургъ, Литейная, домъ № 48, Его Превосходительство.

Сообщил Д. И. Абрамович.

---

[1]) Чермаковцы—воспитанники Московского пансиона Леонтия Ивановича Чермака.

[2]) На Новой Басманной, в доме княгини Касаткиной, помещался пансион Чермака.

Два письма Ф. М. Достоевского к И. А. Гончарову.

(Из материалов Академии Наук).

Сильный голод, поразивший население Самарской губернии в 1873 г., вызвал у русских писателей всех направлений мысль оказать помощь голодающим изданием в пользу них сборника статей. Мысль эта осуществилась выходом в свет в 1874 году книги, носившей заглавие «Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов». В «Складчине» приняли участие 50 писателей. В редакционный комитет вошли по избранию: И. А. Гончаров, П. А. Ефремов, А. А. Краевский, кн. В. П. Мещерский, Н. А. Некрасов и А. В. Никитенко. В своем «Дневнике» А. В. Никитенко отметил, что избрание этого комитета состоялось в квартире В. П. Гаевского 19 декабря р873 года. А месяца через полтора (8 февраля 1874 г.) в том же «Дневнике» он записал, что по поводу избранного комитета возникла «целая буря»: «Московскія Вѣдомости», по обыкновению своему, «приписали этому делу какое-то зловредное направление. Теперь сторонники ихъ или, лучше сказать, ихъ сеиды, кричатъ, зачем в комитетъ назначены Некрасовъ и Краевскій... красные. Одинъ изъ таковыхъ напалъ на Гончарова а сегодня и на меня. Гончаровъ, который тоже былъ у меня, учинилъ сильный отпоръ, а я объявилъ, что мнѣ нѣтъ дѣла ни до Краевскаго, ни до Некрасова а дѣло в томъ, что надобно помочь страдающимъ отъ голода и, напримѣръ, Краевскій необходимъ, какъ мастеръ издательской механики. Выходитъ, что у насъ ни одно благое начинаніе не можетъ обойтись безъ того, чтобы его не осквернили тѣ же самые люди, котрые должны были бы его содѣйствовать» [1]).

Ф. М. Достоевский дал в «Складчину» очерк «Маленькія картинки. (В дорогѣ)» (стр. 454—478). По поводу этого очерка и написаны Достоевским печатаемые ниже два письма к И. А.

---

[1]) А. В. Никитенко Моя повѣсть... Записки и Дневникъ. Изд. 2-ое,... подъ редакціей М. К. Лемке. СПБ. 1905. т. II, стр. 503, 505.

Гончарову, бывшему членом редакционного комитета «Складчины». Эти письма не велики по объему и не отличаются богатством содержания; тем не менее они представляют известный интерес для характеристики Достоевского и его отношений к Гончарову. Близких отношений между ними не было. Письма к Гончарову лишний раз свидетельствуют об известной мнительности Достоевского, с одной стороны, и о неровности в отношниях его к людям, с другой стороны. Такую неровность его тона к Гончарову подтверждает конец первого письма, где Достоевский просит Гончарова «вѣрить искреннѣйшему уваженію и таковой же преданности», и весь текст второго письма, в котором корреспондент назван «милостивым государем», даже без упоминания его имени и отчества. Причиной изменения тона явилось газетное объявление о выходе в свет «Складчины», с пропуском имени Достоевского, как ее сотрудника. Едва ли Гончаров или кто-либо другой из членов редакционного комитета был виновен в этом пропуске фамилии такого замечательного писателя, каким в 1874 г. был признан Достоевский. Нужно думать, что здесь был простой типографский недосмотр.

Подлинники писем хранятся в рукописном отделении библиотеки Российской Академии Наук.

А. Лященко.

I.

Марта 7-го 1874.

Многоуважаемый Иванъ Александровичь,

Простите великодушно, что такъ много утруждаю Васъ— все по поводу того же моего маранья въ «Складчину». До сихъ поръ я все ожидалъ корректуры, — такъ какъ значительное время прошло—и вдругъ вчера, в первый разъ, узналъ отъ В. П. Мещерскаго правило, принятое въ редакціи Складчины о томъ, что авторы, желающие корректовать сами, приписываютъ о томъ на рукописи доставленной статьи. У меня же на рукописи ничего не выставлено, а потому боюсь, что обошлись безъ меня, прокорректовали, сверстали, и можетъ быть даже уже отпечатали, и теперь мнѣ уже не видать авторской корректуры какъ своихъ ушей. Вся моя чрезвычайная просьба къ Вамъ, многоуважаемый Иванъ Александровичь, спросить у тѣхъ, кто этимъ завѣдуетъ, въ какомъ положеніи мое дело и можно ли мнѣ прислать корректуру? Если же я уже опоздалъ, то нельзя ли хоть оттискъ, даже въ гранкахъ, если еще не сверстано, прислать ко мнѣ, чтобы по крайней мере я могъ видѣть сдѣланныя ошибки, а по неразборчивости моей рукописи предвижу, что ошибки быть должны. Къ Вашему же посредству обращаюсь, потому что на Ваши слова обратятъ навѣрно

болѣе вниманія, чѣмъ на всѣ письма, которыя бы я написалъ въ редакцію Складчины. Да и письмо могло бы тамъ пролежать нѣкоторое лишнее время. Знаю, что поступаю, обращаясь къ Вамъ, весьма эгоистически, и потому еще разъ прошу Вашего извиненія.

Поручая себя Вашему благорасположенію прошу вѣрить искреннѣйшему моему уваженію и таковой же преданности.

Вашъ слуга Ѳ. Достоевскій.

Адресъ мой: Лиговка—Гусевъ Переулокъ, домъ № 8 (Сливчанскаго) квартира № 17.

II.

Милостивый Государь,

Въ газетномъ объявленіи о скоромъ выходѣ сборника «Складчина», три дня тому назадъ, при перечисленіи именъ всехъ авторовъ, принявшихъ въ нем участіе, пропущено лишь одно мое имя. Если это сдѣлалось только по ошибкѣ, то прошу Васъ, въ будущихъ публикаціяхъ, помѣстить и меня въ числѣ аторовъ, доставившихъ въ Складчину свои труды.

Покорный слуга Ѳ. Достоевский.

ВОСПОМИНАНИЯ А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ.

Воспоминания А. Г. Достоевской.

Ф. М. Достоевский в 1871—1872 г.г.

1. Возвращение на родину в 1871 году.

Возвращение наше в Петербург, после более чем четырехлетнего пребывания за границей, состоялось в жаркий, летний день, 8-го июля 1871 года, в праздник Казанской Божьей Матери [1]).

С Варшавского вокзала мы Измайловским проспектом проезжали мимо Собора св. Троицы, в котором были обвенчаны [2]). Оба мы с Феодором Михайловичем помолились на церковь, на нас глядя перекрестилась и наша малютка-дочь [3]). Помню, как Феодор Михайлович сказал: «А что, Анечка, ведь мы счастливо прожили эти четыре года за границей, не смотря на то, что подчас было и трудновато. Что-то даст нам петербургская жизнь? Все пред нами в тумане! Предвижу много тяжелого, много затруднений и беспокойств прежде, чем станем на ноги. На одну помощь Божию только и надеюсь!»— Зачем горевать заранее, помню, ответила я.—Будем надеяться на милость Божию. А теперь главное—наша давнишняя мечта исполнилась и мы с тобой опять в Петербурге, опять на родине!

Самые разнообразные чувства волновали нас обоих. Во мне преобладало чувство бесконечной радости. Я, с ранней юности мечтавшая о заграннце и с таким счастьем туда поехавшая, за последние два года нашего пребывания там, не только к ней охладела, но почти возненавидела чужие края. Все за границей: вера, язык, люди, нравы, обычаи—казались мне не только чужды, но почти враждебны. Мне недоставало русского, черного хлеба, глубокого снега, санок, православного колокольного звона, словом, всего, с чем я сроднилась с детства. Временами я тосковала ужасно, и ни приезд моей матери, ни приезд брата не заставили меня забыть, что я не в России. Я видела, что Федор Михайлович работает не щадя своих сил; видела, что и деньги получаются иногда в большом количестве, но так как приходилось значительную долю их

отдавать родным, да платить % за заложенные при от'езде вещи, то я потеряла надежду скопить сколько-нибудь значительную сумму, чтобы вернуться в Петербург и уплатить частицу долга нашим кредиторам для того, чтобы они нас хоть на первое время не беспокоили и дали нам возможность оглядеться и что-либо предпринять для поправления наших запутанных дел. Я отлично понимала, что, только вернувшись на родину и действуя лично, а не через посредников, мы можем устроить наши денежные дела. Мне представлялось, что в Петербурге я также могу найти себе какую-либо работу, по стенографии, переводам и пр. и, таким образом, буду вносить и свою лепту в семью [4]). Мечтала я и о том, что предназначенный мне моею матерью дом на Костромской улице перейдет, наконец, в мои руки. В этом случае освобождение от долгов пошло бы успешнее. Я хотела немедленно продать дом и уплатить наиболее кричащие долги, а остальные уплачивались бы понемногу из получаемых за романы денег. Вот почему я так и стремилась в Россию. А между тем постоянно являлись разного рода препятствия к нашему возвращению на родину: то не было достаточно денег, чтобы приехать и устроиться хозяйством. Случалось, получались и крупные деньги, а ехать было нельзя: предвиделось в ближайшем будущем прибавление семьи, или же ребенок был слишком мал, чтобы везти его зимой в Россию [5]). За препятствиями к нашему возвращению дело не стояло, и я, наконец, пришла к твердому убеждению, что нам никогда не выбраться из Германии и что нам суждено сделаться «эмигрантами поневоле». Эта мысль была до того невыносима, что я заранее соглашалась на все бедствия и невзгоды, нам предстоявшие, лишь бы они происходили в России. Словом, я на себе испытала, что значит «тоска по родине» и злейшему врагу моему не пожелала бы этой напасти. Я всеми силами старалась скрывать от Федора Михайловича мою тоску и подавленное настроение, но разве можно было это укрыть от его проницательности? Он очень мучился тем, что не имеется возможности избавить меня от тяготившей меня жизни за границей. Федор Михайлович и сам тосковал по родине, которую всегда глубоко любил. Но, кроме того, его преследовала мучительная мысль о том, что за долгие годы пребывания между чужими, он забудет Россию, отстанет от русского общества, перестанет понимать русскую жизнь и русскую действительность, словом, что с ним произойдет то самое, за что он когда-то упрекал Тургенева. «По газетам жизни не узнаешь», говорил он мне иногда.—«Писатель не должен на долго оставлять свою страну, он должен жить одною с ней жизнью, иначе он погиб!» [6]). И вот Федор Михайлович тревожился, что такое долгое отсутствие может пагубным образом повлиять на его литературный талант, погубить его, а ведь писательство было всем в его жизни, его на-

значением, а вместе и единственным источником его материальных средств. Поэтому можно представить ту глубокую радость, которую он испытал, когда сложились благоприятные обстоятельства, и мы могли вернуться домой. На этот раз нас не остановило и то соображение, что мы в самом близком будущем ожидали прибавления семьи [7]). Но к этим чувствам нашей радости примешивались и опасения, как устроются наши дела. Ведь долгов у нас было около 25 тысяч, а все наше достояние, в день приезда, состояло из 60 рублей наличными и из двух привезенных из-за границы чемоданов. В одном находилась одежда Федора Михайловича, его рукописи и записные книжки; в другом—мои и детские вещи. Вспоминая это теперь, думаешь, как много нужно было иметь сил и бодрости душевной для того, чтобы начинать новую жизнь при подобных обстоятельствах.

По приезде мы остановились в Коммерческой гостинице на Большой Конюшенной и прожили там всего два дня. Оставаться в ней, в виду приближавшегося прибавления семейства, было неудобно, да и не по средствам, а потому, мы перебрались на Екатерингофский проспект и в N в третьем этаже заняли две меблированные комнаты. Мы выбрали эту местность с тою целью, чтобы наша девочка [8]) жаркие июльские и августовские дни могла проводить в Юсуповом саду, который от нас находился в двух шагах.

В первые же дни по приезде к нам явились родные Федора Михайловича, и со всеми мы встретились очень дружелюбно. За эти четыре года положение Эмилии Федоровны Достоевской [9]) изменились к лучшему: старший сын ее Федор Михайлович («младший», как его называли родные в отличие от моего мужа, Феодора Михайловича «старшего») имел в то время массу выгодных уроков на рояли; второй сын, Михаил Михайлович служил в Банке. Дочь, Екатерина Михайловна, тоже имела какие-то занятия, так что семье жилось даже привольно. К тому же, Эмилия Федоровна за это время привыкла к мысли, что Федор Михайлович, имея свою семью, может помогать ей только в экстренных случаях. Один Павел Александрович Исаев [10]) никак не мог отказаться от мысли, что «отец», как он называл Феодора Михайловича, «обязан» содержать не только его, но и его семью. Но и с ним я встретилась добродушно и это, главным образом, потому, что мне пришлось познакомиться с его женой, на которой он женился всего в апреле того же года. Надежда Михайловна Исаева мнѣ сразу понравилась и, несмотря на некоторую разницу лет, мы с нею тотчас же подружились. Это была хорошенькая женщина, небольшого роста, очень скромная и не глупая, и я никак не могла понять, как она решила выбрать

в спутники жизни такого невозможного человека, как Павел Александрович. Мне было искренно ее жаль, так как, зная его характер, я предвидела, как несладка будет ее жизнь. Через 8 дней по приезде в Петербург, 16-го июля, в 9 часов утра, совершилось ожидаемое нами событие—родился у нас старший сын Феодор [1]).

Когда я стала поправляться, мы окрестили нашего мальчика, при чем восприемником его (как и наших двух дочерей) был Аполлон Николаевич Майков [11]). А крестной матерью Феодор Михайлович выбрал свою дочь Любочку, которой еще не было двух лет.

В конце августа Феодор Михайлович с'ездил в Москву и привез оттуда некоторую сумму денег, не очень впрочем большую, но которая дала нам возможность переехать из меблированных комнат на зимнюю квартиру. Главный вопрос состоял в том, что у нас не было никакой мебели, и прежде, чем нанять квартиру, нужно было ею запастись. Мне пришло в голову отправиться в Апраксин двор и поспросить тамошних мебельных торговцев, не согласятся ли они продать нам мебель с рассрочкой платежа по 25 р. в месяц, с тем, чтобы до выплаты всей суммы—мебель считалась собственностью торговца. Нашелся один мебельщик, некто Любимов, который согласился на эти условия и выдал нам сразу вещей на четыреста рублей. Но, Боже, что это были за вещи! Мебель была новая, но все из березы или сосны, и, не говоря уже о нелепом фасоне, она была такой плохой рыночной работы, что чрез три года ее употребления она вся расклеилась и развалилась, и ее буквально всю пришлось выбросить и заменить новой. Но я и за такую мебель была благодарна: это давало нам возможность иметь собственную квартиру, так как жить в меблированных комнатах было немыслимо: близкое соседство маленьких детей мешало Феодору Михайловичу и спать и работать.

Условившись на счет мебели, я принялась искать квартиру, и в этом мне вызвался помогать Павел Александрович. В этот же вечер он об'явил, что нашел отличную квартиру в 8 комнат за очень дешевую цену по сто рублей в месяц. Да зачем нам такая большая квартира? спросила я.—Да совсем она не велика, отвечал Павел Ал. Для вас будет гостиная, кабинет, спальня, детская; для нас—гостиная, кабинет, спальня, а столовая у нас с вами будет общая.—Разве вы полагаете,

---

[1]) Скажу кстати: я почувствовала себя дурно накануне, 15 июля. Ф. М., весь день и всю ночь молившийся о благополучном окончании родов, сказал мне потом, что во время молитвы решил, если родится сын, хотя бы за 10 минут до полуночи—назвать его Владимиром, в честь св. Владимира, имя которого празднуется 15 июля, а не Феодором, как мы давно предположили. Но сын родился утром 16-го июля, а потому его и назвали Феодором, этим дорогим для меня именем.

что мы будем жить вместе? — А как же иначе? Я так и Наде сказал, что когда «отец» приедет, то мы поселимся вместе. Тут мне пришлось поговорить с ним серьезно и доказать ему, что обстоятельства теперь изменились, и что я ни в каком случае не соглашусь жить в общем хозяйстве. По своему обыкновению Павел Александрович начал говорит дерзости и грозить, что пожалуется Феодору Михайловичу. Но я не стала и слушать. Четыре года самостоятельной жизни не прошли для меня даром. Когда же П. А. обратился к Феодору Михайловичу, то получил ответ, что он все предоставил мне и что́ я решу, то так и будет. П. А. долго не мог простить мне крушение составленных им планов. Наняла я квартиру в Серпуховской улице, близ Технологического института, в доме г-жи Архангельской и записала квартиру на свое имя, чтобы избавить Феодора Михайловича от необходимости вести переговоры с хозяйкой, дворником и пр.

Квартира состояла из 4-х комнат: кабинета (в котором спал на диване Феодор Михайлович), гостиной, столовой и детской, где спала и я. Собираясь устраиваться, я тешила себя мыслью, что многое из хозяйственных принадлежностей и из одежды мне не придется покупать, так как эти вещи были розданы на хранение разным лицам. И вот, только что я оправилась после моей болезни, я стала хлопотать о возвращении моих вещей. Но тут неприятные для меня сюрпризы следовали один за другим.

Началось с того, что я поехала в наш дом, где проживала много лет старая девица Ольга Васильевна (фамилии теперь не помню). Это была честнейшая женщина, и вот ей-то на сохранение и были отданы разные хозяйственные вещи (самовар, медная, стекл. и фарфоровая посуда и др.) моею матерью, когда та, три года назад, поехала (тоже на короткое время) ко мне за границу. К моему большому горю, оказалось, что несколько месяцев тому назад Ольга Васильевна скончалась, и так как она была одинокая, то явилась какая-то ее племянница из провинции, похоронила ее, и Мировой судья присудил ей в уплату за расходы по погребению всю движимость, находившуюся в квартире. Нашлись люди, жильцы нашего дома, знавшие, что у Ольги Васильевны хранились мои вещи, но наследница об'явила, что она «ничего не знает», а пусть ей напишут, кто и что давал, и тогда она возвратит. Так и увезла все в провинцию. Я писала ей в Торжок, но получила от нее обратно только малахитовые серьги, да чайный ящичек, которые она признала не принадлежащими покойной тетке, а на счет остальных вещей она предлагала судиться. Конечно, я не судилась. Вторым неприятным сюрпризом была история с моими фарфоровыми и стеклянными вещами, которые я просила сохранить мою сестру, Марию Григорьевну. Надо сказать, что мой отец был большой знаток и ценитель

фарфора, любил ходить по антикварам и приобретал отличные вещи. На мою долю, после его смерти, досталось несколько прелестных чашек Vieux-Saxe, Sèvre, николаевских времен, а также старинная граненая мелкою гранью посуда. Все эти вещи хранились в отдельном шкафу, и в сохранности их я была уверена. Но надо же было случиться такому приключению: вернувшись с дачи и приводя в порядок хозяйство, моя сестра приказала своей горничной перемыть в шкафах посуду, в том числе и мою, и особенно наказала ей быть осторожной, так как посуда чужая. И вот девушка, которую за что-то моя сестра побранила и обещала прогнать, нарочно, со зла, чтобы насолить хозяйке, при горничной и при кухарке, бросила весь громадный поднос на пол, но с такой силой, что все вещи разлетелись в дребезги и нельзя было ничего даже склеить. Конечно, моя сестра вознаградила меня, прислав мне чайную и стеклянную посуду, но я до сей поры вспоминаю с жалостью о тех чашечках с пастушками, с картами и о стеклянном стакане с мухой, столь живо нарисованной на стекле, что все, пившие из этого стакана, непременно ее вылавливали, как живую. И я дорого бы дала, еслиб могла иметь эти вещи. Впечатления детства остаются в нас всю нашу жизнь. И надо же было, чтоб злоба этой горничной проявилась именно над моими вещами, а не над вещами побранившей ее моей сестры. Вот уж по истине «на бедного Макара все шишки валятся».

Большое горе принес мне и следующий сюрприз: Феодор Михайлович все четыре года нашего отсутствия высылал Прасковье Петровне (матери Вани, побочного сына Михаила Михайловича Д—го) деньги на уплату % за заложенные нами при от'езде меховые вещи (шубу Феодора Михайловича и мой салоп), и мы радовались, что нам придется только выкупить, а не делать крупной издержки на теплые вещи. Каково же было наше с Феодором Михайловичем огорчение, когда Прасковья Петровна (которую я просила принести квитанции) пришла к нам и с рыданиями рассказала (может быть, и ложную) историю о том, что она все время платила %, но последний раз запамятовала и вещи наши пропали. Она плакала, обещала вернуть вещи, но все это были только пустые обещания, никогда не исполненные. Правда, спасибо ей хоть за то, что она вернула квитанции на заложенные нами золотые и серебряные вещи. Этим вещам еще лет пять потом пришлось пролежать в залоге прежде, чем нам удалось их выкупить.

Уезжая в 1867 году за границу, только на три месяца, мы перевезли некоторые вещи из мебели (постель, большой комод, набитый подушками и одеялами, книжный шкаф с библиотекой Феодора Михайловича, и пр.) к Эмилии Феодоровне, у которой поселился Павел Александрович. Туда

же были перевезены старинные образа Спасителя и Божией Матери в серебряных окладах, которыми меня благословили, когда я выходила замуж. Устраиваясь на новой квартире, я просила Павла Александровича привезти мне мои образа; он мне их доставил, но—без серебряных риз. При этом он рассказал целую басню о том, как его обворовала квартирная хозяйка (за 4 года он их переменил десяток) и как он, откуда-то вернувшись, нашел эти иконы без риз, что он предпринял, как судился и пр. и пр. Про мебель, подушки, одеяла сказал, что оставил себе для своей новой семьи, а когда дошло дело до библиотеки, то откровенно признался, что, не имея денег, он распродавал книгу за книгой. Продал также все книги, даримые Феодору Михайловичу с автографами и посвящениями авторов. Когда я выразила сожаление о потере библиотеки, то Павел Александрович на меня же накинулся и об'явил, что виноваты во всем мы сами: зачем не во время высылали ему деньги, как будто мы обязаны были содержать человека здорового и ленивого.

Потеря библиотеки Феодора Михайловича была для нас особенно чувствительна. Я помню, живя за границей, Феодор Михайлович тосковал по своим книгам, и я его утешала тем, что библиотека его будет наверно сохранена, и что, вернувшись в Россию, он получит возможность ею пользоваться. И вот—такая потеря, для нас невознаградимая, так как денежные обстоятельства до самой смерти Феодора Михайловича были таковы, что у нас не было средств завести себе хорошую библиотеку. А Феодор Михайлович не даром гордился своею прежнею библиотекою, на которую затрачивал ежегодно крупную сумму. Судя по счетам книгопродавца Базунова, в ней было много серьезных произведений, напр., по отделу старообрядчества. И все это пропало за гроши. Потом, в Александровском рынке, мне случайно попалась из этих проданных Павлом Ал. книг, принадлежавшая мне книга: Мир Божий—Разина. Она была дана мне в награду при переходе из класса в класс в Мариинской женской гимназии. В книге сохранился листок с надписью, кто ею награжден. Я, конечно, купила эту книгу.

Вот какие потери по самым невероятным случайностям нам пришлось перенести за те четыре года, которые мы провели за границей.

Но, впрочем, были и не все неприятные сюрпризы. Выяснилось обстоятельство, доставившее мнѣ большую радость. Как-то зимой 1871 года я была у моего двоюродного брата доктора Михаила Николаевича Сниткина. Весною того года он женился на Екатерине Ипполитовне, сестре г-жи Сент-Илер. Услышав о моих злоключениях по поводу вещей, Екатерина Ипполитовна сказала мне: «Я слышала от сестры Саши (Александры Ипполитовны Сент-Илер), что на чердаке ее

дома хранится какая-то корзина с бумагами, принадлежащая вашему мужу. Я стала расспрашивать, и оказалось, что, года три назад, Феодор Михайлович «младший» просил у г-жи Сент-Илер позволения поставить у нее на время плетеную корзину с бумагами его дяди. Сам он куда-то уехал, а корзина хранится у них. Я на другой же день послала за корзиной. Мне привезли большую плетеную корзину для платьев, битком набитую бумагами и тетрадями, не запертую на замок, а лишь обвязанную тонкой бичевой.

Можно представить мое восхищение когда, рассматривая содержимое корзины, я нашла несколько записных книжек Ф. М., несколько книг по ведению журналов «Время» и «Эпоха», доставшихся от Михаила Михайловича, и массу самой разнообразной корреспонденции. Эти найденные бумаги не раз сослужили мне службу в дальнейшей нашей жизни, когда приходилось доказывать или опровергать какие-либо факты из неизвестной для меня жизни Ф. М. до 1867 г. Как потом выяснилось, эту корзину с письмами и тетрадями по нашем от'езде взял к себе Павел Алекс.; переезжая от Эмилии Ф., он оставил ей корзину; та, не зная что с нею делать, передала ее сыну, а Ф. М. младший поставил ее на хранение в дружественный дом. И все о судьбе этой корзины забыли. Я тогда же припомнила, что у Ф. М. могли быть тетради и рукописи более раннего времени, напр., относившиеся к ром.: «Униженные» или «Записки». И вот, думается мне, что была и другая корзина с бумагами и рукописями, тоже взятая Павл. Ал., перешедшая от него через несколько рук и лежащая на чьем-нибудь чердаке, всеми забытая, пока о ней не позаботились мыши. Но раз'яснить об этом мне не удалось не смотря на все старания.

Начало борьбы с кредиторами.

В сентябре 1871 года какая-то газета оповестила публику о возвращении Достоевского из-за границы и оказала нам этим медвежью услугу. Кредиторы наши, доселе молчавшие, сразу заявились с требованиями об уплате долга. Первым и очень грозным выступил Г. Гинтерлах. Ему должен был не лично Феодор Михайлович и не по журнальным делам, а по табачной фабрике покойного Михаила Михайловича, брата моего мужа. М. М. Достоевский, с целью большего распространения табака своей фабрики, об'явил в газетах, что в каждом ящике с сигарами известного сорта вложен сюрприз в виде ножниц, игольника, бритвы, перочинного ножичка и т. п. Эти сюрпризы привлекли покупщиков и затея на первый раз имела большой успех; но так как выбор сюрпризов был ограничен, то вскоре покупщики сократились и пришлось пре-

кратить высылку их [12]). Сюрпризы состояли исключительно из металлических вещей и покупались М. М. Достоевским у оптового торговца Г. Гинтерлах (Невский, против Гостиного двора, внутри двора). Тот давал в кредит и на векселя и брал значительный %. Когда хорошо пошла подписка на журнал «Время», М. М. расплачивался с Гинтерлахом, которого считал самым требовательным из своих кредиторов. За 3—4 дня до своей смерти (в июле 1864 г.) [13]) М. М. с радостью сообщил Феодору Михайловичу и своей жене, что наконец-то развязался с «этим пиявкой Гинтерлахом». И вот, когда после смерти М. М. все дела его перешли к Феодору Михайловичу, и он поневоле взял на себя и лежавшие на журнале «Время» долги, к нему явилась г-жа Гинтерлах и об'явила что М. М. остался ей должен около двух тысяч рублей. Феодор Михайлович припомнил слова брата об уплате долга г-ну Гинтерлах и сказал об этом ей, но та отвечала, что это отдельный долг, и что она дала эти деньги М. М. безо всякого документа. Г-жа Гинтерлах умоляла Феодора Михайловича или уплатить ей эти 2.000, или выдать ей векселя; уверяла, что если не получит векселя, то муж сживет ее со свету. Она рыдала, становилась на колени пред Федором Михайловичем, впадала в истерику. Феодор Михайлович, всегда веривший в людскую честность, поверил ей и выдал два векселя по тысяче рублей каждый. По первому векселю было уже уплачено до 1867 г., по второму же векселю, возросшему с % за 4 года до 1.300 р., Гинтерлах потребовал вскоре по нашем приезде. Он прислал угрожающее письмо, и Феодор Михайлович поехал к нему просить отсрочки до Нового (1872) года, когда он получит деньги за свои романы. Вернулся Феодор Михайлович в совершенном отчаянии. Гинтерлах об'явил, что больше ждать не намерен и решил описать его движимое имущество, а если его не хватит на покрытие долга, то посадит Феодора Михайловича в Долговое отделение [1]). Феодор Михайлович сказал ему: да разве я, сидя в Долговом, вместе с посторонними лицами, вдали от семьи, могу заниматься? Чем же я буду вам платить, если вы меня лишите возможности работать? О, вы знаменитый литератор, и я рассчитываю, что вас тотчас же выпустит из тюрьмы ваш Литературный Фонд, ответил Г. Г. Феодор Михайлович, относившийся с недобрым чувством к тогдашним деятелям Литературного Фонда, высказал сомнение в помощи этого учреждения, а еслиб она и состоялась, то он заранее решил лучше сидеть в Долговом, чем принять помощь от Литературного Фонда. Вечером мы с Феодором Михайловичем долго обсуждали, как устроить дело и решили предложить Г. Гинтерлаху новую сделку: именно, внести ему сейчас 50 р. и предложить уплачивать по 25 руб. еже-

[1]) Так называлось отделение, помещавшееся в 1-й роте в доме Тарасова, где содержались лица, лишенные свободы за долги

месячно с тем, чтобы после Нового года заплатить половину долга. С таким предложением Феодор Михайлович поехал вторично к Г. и вернулся страшно возмущенный. Г. Г., после долгого разговора, сказал ему: «Вот вы талантливый литератор, а я хочу показать что я, маленький немецкий купец, м о г у знаменитого русского литератора запрятать в долговую тюрьму, и, будьте уверены, я сделаю это» [1]). Я была возмущена подобным дерзким отношением к моему дорогому мужу, но сознавала, что мы находимся в руках негодяя и не имеем возможности от него избавиться. Предвидя, что Г. Г. не остановится на одних угрозах, я решила сама попытаться уладить дело и, не сказав ни слова о своем намерении Феодору Михайловичу (который бы наверно мне запретил), отправилась к Г. Г. Встретил он меня высокомерно и об'явил, что: или деньги на стол или через неделю наше имущество будет описано и продано, а мой муж водворен в «Тарасовом доме» [2]). Я на это хладнокровно ответила, что нанята квартира мною, а не Феодором Михайловичем, и на мое имя записана, (а сделано было это для того, чтобы не вмешивать моего мужа в хозяйственные дрязги, разговоры с хозяйкой, дворником, и пр.), а потому я не позволю описать мои вещи. Мебель же взята мною в долг и до уплаты всего долга принадлежит торговцу мебели, значит, и она для описи не подходит. Можно описать две-три вещи из одежды Феодора Михайловича, но это составит слишком небольшую сумму, чтобы стоило ему хлопотать. В виде доказательств подала ему квартирную книжку и копию условия с мебельщиком. На угрозу Г. Г. о Долговом, я ответила, что если он ее выполнит и Феодор Михайлович принужден будет переехать туда хотя на несколько дней, то «даю вам честное слово, Г. Гинтерлах,—говорила я, что я умолю на коленях моего мужа там и остаться до того времени, пока истечет срок вашего долга [3]). Сама я поселюсь вблизи, буду навещать его с детьми каждый день и помогать ему в работе. Конечно, живя в Долговом, вместе с посторонними лицами, заниматься ему будет трудно, но Бог даст, мой муж привыкнет, приспособится и будет работать. Но зато, Г. Гинтерлах, вы не получите ни гроша и сверх того принуждены будете платить «кормовые» [4]). Даю вам честное слово, что это так будет, и что вы за вашу неуступчивость будете жестоко наказаны». Г. Гинтерлах начал говорить о неблагодарности моего мужа за то, что он так долго терпел за ним

---

[1]) Надо сказать, что это было после победоносной войны, и все немцы и за границей и здесь, стали чрезвычайно высокомерны и старались выказать свое превосходство над другими нациями.

[2]) Так в общежитии называлось Долговое отделение.

[3]) Пребывание должника в Долговом отделении погашало долг. За 1300 р. приходилось сидеть, сколько помнится, или 9, или 14 месяцев.

[4]) Тогда кредиторы вносили в Долговое отделение известную сумму ежемесячно на прокормление своего должника, и это называлось «кормовыми».

этот долг. Это меня окончательно возмутило, и я вышла из себя: «Нет это вы должны быть благодарны моему мужу, говорила я,—за то, что он выдал вексель вашей жене за долг, может быть, уже уплаченный. У ней не было росписки М. М., и мой муж мог не брать на себя обязательства платить ей. Если Феодор Михайлович выдал вексель вашей жене, то выдал из великодушия, из жалости, так как ваша жена плакала и говорила, что вы ее проклянете и будете вечно ее упрекать, если она не получит векселя. Но не думайте, что ваша жестокость пройдет вам даром. Если вы осмелитесь поступить как угрожаете, то и я, с своей стороны, постараюсь сделать вам крупную неприятность: я опишу всю эту историю со всеми подробностями и помещу ее в «Сыне Отечества». Пусть все увидят на что способны так называемые «честные» немцы. Вас узнают под придуманным мною именем, а если вы потянете меня за это к суду, то я докажу, что написала правду: ведь еще живы свидетели, при которых ваша жена умоляла Феодора Михайловича выдать ей вексель».

Словом, я была вне себя и говорила не разбирая выражений, только, чтобы излить одолевавшую меня злобу на этого человека. И хотя я не раз в жизни бывала жертвою своего гнева, но на этот раз вспышка моя мне пригодилась: немец вструхнул того, что я напишу о нем в газете и, подумав, спросил, чего же я хочу? Да того же самого, о чем просил вчера мой муж. Ну, хорошо, давайте деньги, сказал Г. Г. Я просила его расписаться и подробно упомянуть в ней о дальнейших наших условиях, так как боялась, что он впоследствии отдумает и опять начнет нас мучить. Совершенной победительницей возвращалась я домой с этим документом в кармане, зная, что этим выигрывается на некоторое время спокойствие моего дорогого мужа и мое собственное.

Но прежде, чем рассказывать о нашей борьбе с кредиторами и о невероятных усилиях и трудах (продолжавшихся еще 10 лет, почти до самой смерти моего дорогого мужа), чтобы с долгами расплатиться, мне хочется сказать несколько слов о том, как возникли эти, столь замучившие нас обоих долги.

Только самая малая доля их (тысячи две-три) была сделана лично Феодором Михайловичем на его собственные потребности. Частью это были долги по табачной фабрике Михаила Михайловича Достоевского, о чем я уже говорила выше. Главным же образом это были долги по журналам «Время» и «Эпоха» которые издавались братом Феодора Михайловича—Михаилом Михайловичем Достоевским. В 1864 году Михаил Михайлович умер, проболев всего три дня. Семья его (жена и четверо детей, еще не достигших совершеннолетия) привыкшая жить в довольстве, осталась безо всяких средств, и вот Феодор Михайлович, к тому времени овдовевший и не

имевший детей, счел своею обязанностью заплатить долги брата и так сказать очистить его память от нареканий, а также поддержать его семью. Ради этих благородных целей Феодор Михайлович решил пожертвовать своим талантом (разменявшись на мелочи), своими силами и своим временем и взвалить на плечи совершенно незнакомое для него дело (издание и ведение журнала «Эпоха»). Сделавшись редактором журнала, Феодор Михайлович неизбежно должен был взять на себя и долги, лежавшие на журнале, то-есть бумажному фабриканту, типографии, переплетчику, а также долги писателям, помещавшим в журнале свои произведения. Возможно, что Феодору Михайловичу и удалось бы исполнить свои благородные предположения, если бы в его характере была бы осторожность и хотя бы некоторая практичность. Но этих качеств у Феодора Михайловича вовсе не было; напротив, было полнейшее доверие к людям и искреннее убеждение в человеческой честности. Когда впоследствии я слышала рассказы очевидцев о том, как Феодор Михайлович выдавал денежные обязательства и из старинных писем узнавала подробности многих фактов, я поражалась чисто детской непрактичностью моего дорогого мужа. Его обманывали и от него тянули деньги и денежные обязательства все, кому было не совестно и не лень. При жизни брата Федор Михайлович в дела радакции «Время» не входил и не знал в каком положении находятся материальные средства Михаила Михайловича. И вот после его смерти к Феодору Михайловичу стали являться лица, частью совершенно ему неизвестные, которые заявляли, что покойный его брат остался им должен столько-то. В большинстве случаев никто не представлял Феодору Михайловичу доказательств справедливости своих притязаний, а Ф. М., веривший в честность людей, и не думал спрашивать доказательства или проверять документы. Обыкновенно он говорил: «Сейчас денег у меня нет никаких, но если хотите, то я могу дать вексель, но просил бы с меня скоро не требовать; уплачу, как только будет можно». Люди брали векселя, обещали ждать и, конечно, не исполняли обещаний, а взыскивали немедленно. Приведу случай, правдивость которого мне пришлось проследить по документам. Был один мелкий писатель Б., помещавший повести в «Времени». Он явился к Феодору Михайловичу с просьбою уплатить ему неуплаченные за повесть деньги. Сумма была около 250 р. По обыкновению у Федора Михайловича денег не оказалось (подписные деньги были получены еще Мих. Мих., а дальнейшие получки выдавались семье покойного), и он предложил вексель. Б. страшно был растроган, горячо благодарил Феодора Михайловича и обещал ждать, когда у того поправятся дела, а вексель просил дать бессрочный, чтоб не имет надобности по наступлении срока протестовать. Феодор Михайлович и на

это согласился. Каково же было его изумление, когда через 2—3 недели с него потребовали по этому векселю деньги и хотели приступить к описи имущества. Феодор Михайлович к Б. поехал за об'яснениями. Б. проявил страшное возмущение по этому поводу, но высказал: видите ли, что его квартирная хозяйка пристала к нему за деньгами и гнала прочь с квартиры; доведенный до крайности, он решился отдать ей вексель Феодора Михайловича, и она обещала не взыскивать. Он в отчаянии, что поставил Ф. М. в такое положение, он переговорит с хозяйкой, он устроит дело и пр. и пр. В результате, чтобы спастись от описи имущества, Феодору Михайловичу пришлось за большие % найти денег и уплатить по этому векселю. Лет через 8—9, уже в семидесятых годах, мне пришлось по одному случаю пересмотреть массу бумаг, писем и тетрадей, хранившихся Феодором Михайловичем. Между тетрадями были и записные книжки по редакции журнала «Время». Представьте мое удивление и негодование, когда я нашла расписку этого г. Б. в получении от Мих. Мих. денег за вышеозначенную повесть, а затем записку, в которой г. Б. расписывался в получении задатка в колич. 60 руб. за повесть, которую он обязался написать. Все эти документы я показала Феодору Михайловичу и услышала в ответ: «Вот уж не думал, что он способен был меня обмануть. До чего доводит человека крайность!».

По моему мнению, значительная часть взятых на себя Феодором Михайловичем долгов была подобного свойства. Всего долгов набралось около двадцати тысяч, а благодаря наросшим % они дошли и до 25 тыс., и мы их уплачивали в течение последних 13 лет нашей совместной жизни. Только за год до смерти Феодора Михайловича были уплочены в с е долги, и мы могли начать дышать свободно, не ожидая, что нас будут мучить, грозить, описывать и пр. А между тем для уплаты этих, частью фиктивных долгов, Феодору Михайловичу приходилось работать сверх своих сил, работать на спех, иногда рискуя испортить художественное произведение и страшно от этой мысли мучаясь. Приходилось и Феодору Михайловичу и мне и всей нашей семье отказыватть себе не только в довольстве, в комфорте, но и в самых насущных наших потребностях, все время нашей совместной жизни работая, напрягая все свои мысли на то, чтобы расквитаться с этими мучающими нас долгами. Как счастливее и довольнее и спокойнее мог бы прожить эти 14 лет мой бедный муж, и я также, еслиб над нами всегда не висела эта забота об уплате долгов. Ведь будь в нашем распоряжении лишние деньги, то Феодор Михайлович не вынужден был бы предлагать редакциям свой труд, а имел бы возможность ждать, когда к нему явятся и предложат купить роман, как это было со всеми обеспеченными писателями: Тургеневым, Островским, Писемским и

др. Ведь, не имей этих долгов и угнетавших его дух забот, Феодор Михайлович мог бы писать свои произведения не на спех, как теперь, а просматривая, отделывая их, прежде чем отдавать их в печать, и можно себе представить, на сколько выиграли бы эти произведения в художественности. Ведь Феодору Михайловичу до конца своей жизни не пришлось написать *ни одного* романа, которым он был бы сам удовлетворен, и этому причиною были наши долги!

А когда я подумаю о своей жизни, то всегда во мне поднимается горькое чувство. Я понимаю нравственное удовлетворение, когда уплачиваешь *свои* долги. Вспоминаешь, что люди вас когда-то выручили из беды, помогли вам в тяжелую минуту, и радуешься возможности с благодарностью возвратить им деньги.

Совсем другое чувство возникает в душе, когда приходится платить *чужие* долги, долги лица, которого я никогда не знала (Мих. Мих. умер в 1864 г.), а, главное, долги фиктивные, по обязательствам, взятым у моего дорогого мужа обманным образом. Я часто думала, на сколько моя жизнь стала бы счастливее и радостнее, если бы не было у меня этих вечных размышлений о том: где к такому-то числу достать столько то денег; где и за сколько заложить такую-то вещь; как сделать чтобы Феодор Михайлович не узнал о посещении такого-то грозящего кредитора или не узнал бы про заклад такой-то вещи. Всеми этими делами и неприятностями была по истине омрачена моя жизнь, на это ушла моя молодость, пострадало здоровье и расшатались на всю жизнь нервы [14]).

И как подумаешь, что ведь половина этих долгов, а, стало быть, и половина бедствий могла бы быть отстранена от Феодора Михайловича и его семьи, еслиб среди его друзей и знакомых нашлось бы один—два добрых человека, которые захотели бы руководить Феодора Михайловича в этом совершенно незнакомом ему практическом деле. Мне всегда представлялось непонятным (и, если говорить правду, и жестоким), как могли друзья Феодора Михайловича (nomina sunt odiosa [15]), зная чисто детскую непрактичность Федора Михайловича, его излишнюю доверчивость, его болезненность и полнейшую необеспеченность,—как могли они допустить, чтобы Феодор Михайлович единолично действовал в этом разборе претензий и долгов по журналу после смерти Михаила Михайловича. Неужели «друзья» не могли предвидеть, что Феодор Михайлович, такой непрактичный и такой доверчивый, наделает в этом случае непоправимых ошибок. Неужели нельзя было «друзьям» моего дорогого мужа составить из себя кружок, который помог бы ему разобраться в деле, который решил бы сообща рассмотреть все претензии и потребовать доказательств каждого долга. Я убеждена, что, составься подобный кружок, и многие претензии так бы и не

появились на свет Божий, зная, что пройдут чрез известный контроль. Нет, между «друзьями» и «почитателями» Феодора Михайловича не нашлось ни одного доброго человека, который бы захотел пожертвовать своим временем и силами и тем оказать ему настоящую дружескую услугу. Все, конечно, жалели Феодора Михайловича, сочувствовали его невозможному положению, но все это были «слова, слова, слова».

Скажут пожалуй, что «друзья» Федора Михайловича были—поэты, романисты, критики, что же они понимали в практических делах и могли ли дать дельный совет. Но ведь они были не юношами в те (60-е) годы и свои личные дела умели отлично устраивать.

Скажут, может быть, Феодор Михайлович желал самостоятельности и не захотел бы подобной помощи со стороны своих друзей. Но это совершенно неверная мысль. Доказательством приведу то, с какою охотою и с каким полным доверием передал он в мои руки все свои материальные дела и выслушивал и исполнял все мои советы, хотя в начале он, конечно, не мог меня считать опытным деловым человеком. Но он верил мне; также глубоко верил он и своим друзьям и, конечно, не отказался бы от их помощи, еслиб она была предложена. Да, это всегда меня поражало, и я никогда не могла себе уяснить подобных «дружеских» отношений, и в моей душе всегда оставалось горькое чувство недовольства и обиды против этих «друзей» моего дорогого мужа.

2. Дополнение.

Я уже упоминала, что, узнав из газет о нашем приезде, кредиторы наши так и набросились на нас. С своей точки зрения они были правы, так как долго ждали и хотели получить свое. Но что же нам-то было делать, когда мы не имели никакой возможности удовлетворить их немедленно. Моя надежда получить в мое распоряжение предназначенный мне дом и тотчас его продать, чтобы расплатиться с наиболее беспокоившими нас кредиторами, не могла тотчас осуществиться, т. к. моя матушка, по случаю женитьбы моего брата, оставалась за границею. В ноябре же 1871 года уехала в Рим на всю зиму моя сестра, Мария Григорьевна Сватковская, заведывавшая домами моей матери, и обещала, вернувшись весною, сдать как дома, так и все отчеты по управлению ими моей матери, предполагавшей еще в январе 1872 г. вернуться в Россию. Приходилось волей неволей ждать до весны. А весною всех нас постигло ужасное несчастье: моя сестра Мария Григорьевна Сватковская заболела в Риме тифом и там скончалась 1 мая 1872 г. После ее кончины выяснилось, что М. Г. доверенность на управление домами моей матери передала своему мужу, а тот, в свою очередь, передоверил лицу, которое не оправдало его доверие. Этот господин, в течение трех—четырех лет,

пользуясь доходами с домов, не нашел нужным уплачивать казенных налогов, накопились крупные недоимки, и дома моей матери были назначены к продаже с публичного торга. К большому нашему несчастию, у нас не нашлось средств уплатить налоги и спасти дома от аукциона. Мы, впрочем, расчитывали, что дома будут проданы за хорошую цену, и моя мать получит, за уплатою долгов, лежавших на доме, значительную сумму, часть которой и даст мне вместо предназначавшегося мне дома. Но случилось нечто совсем неожиданное. Господин, управлявший домами, совершил фиктивные условия с подставными лицами, которым будто бы отдал дома в аренду на дозволенный законом срок, то-есть на 10 лет, и будто бы получил за все время арендные деньги. Эта сделка обнаружилась лишь на торгах, и понятно, что не нашлось желающих купить дома, с которых нельзя было в течение 10 лет получать доходу. Тогда негодяй купил наши дома за сумму казенных недоимок и сравнительно незначительную (около 10 тысяч) лежавшего на домах долга, и, таким образом, оставил за собою за 12 тысяч три дома и 2 больших флигеля, стоимостью не менее 40 тысяч рублей. В результате выяснилось, что на долю моей матушки, мою и моего брата не досталось ни копейки. Конечно, мы могли бы затеять процесс, но, чтобы вести его, надобны были деньги, а у нас их не было. К тому же мы имели дело с ловким аферистом, который сумел обставить дело правильно с юридической стороны, и мы навряд ли бы выиграли процесс. Кроме того, возбудив его, мы должны были привлечь к ответственности мужа моей сестры, а это бы нас с ним поссорило, и мы лишились бы возможности видаться с оставшимися после моей сестры четырьмя ее сиротками, которых мы очень любили. Взвесив все шансы, мы решили отказаться от процесса и примириться с потерей домов. Но каково мне было перенести крушение этой наиболее твердой из моих надежд поправить наше тяжелое положение! Впрочем, полная безнадежность этого убыточного для нас дела выяснилась окончательно только года через два, а в первое время я все еще питала надежду получить некоторую сумму и ею заплатить неотложные долги.

В начале я допускала кредиторов вести переговоры с Ф. М., как он этого требовал. Но результаты их переговоров были плохи: кредиторы говорили ему дерзости, грозили описью обстановки и Долговым отделением. Ф. М., после таких разговоров, приходил в отчаяние, целыми часами шагал по комнате, теребил свои волосы на висках (его обычный жест, когда он сильно волновался) и повторял: «Ну, чтож мы теперь будем делать!» А на завтра, случалось, был приступ эпилепсии. Мне было страшно жалко Ф. М., и я, не спросясь его, решила не допускать до него кредиторов, а взять все это досадное дело на одну себя.

Было приказано прислуге раз навсегда говорить, что «барин спит» или что «барина нет дома», так «неугодно ли переговорить с барыней. Она дома всегда утром до двенадцати». Какие удивительные типы перебывали у меня в те времена! В большинстве это были перекупщики векселей, купившие, разумеется, за гроши и желавшие получить сумму полностью: разные чиновничьи вдовы, хозяйки меблированных комнат, отставные офицеры, адвокаты низшего сорта. Все они, конечно, грозили и описью и Долговым, но я уже научилась с ними говорить. Главным моим аргументом был тот же, как и в деле с г. Гинтерлах: «Я вам сама не должна, квартира записана на мое имя, а мебель принадлежит мебельщику; у Ф. М. же ничего нет, кроме носильного платья, которое и предлагаю описать». На счет же Долгового отделения, я уверяла, что Ф. М. «охотно туда сядет, т. к. там будто бы ему будет удобно работать». Но за то они ничего не получат. А если хотят миром окончить дело, то я обещаю уплачивать по частям, такого-то числа или месяца по стольку-то рублей, но это уже будет в е р н о, в этом даю слово, а теперь могу уплатить столько-то». Кредиторы, видя бесполезность угроз, соглашались, и мы подписывали отдельное условие, которое давало мне уверенность, что, пока я буду исполнять данное слово, покой Ф. М. не будет нарушен: его не будут вызывать к мировому, грозить, говорить дерзости и пр. Но как ужасно трудно было мне иногда выплачивать обещанное в назначенный срок! На какие ухищрения приходилось мне пускаться, занимать у родных, закладывать вещи! Приходилось отказывать себе и семье в самом необходимом, чтобы иметь возможность исполнить свои обязательства. Ведь получение денег у нас не было регулярным. Оно зависело всецело от успеха работы, и у нас, по пословице, всегда было «или густо или пусто». Приходилось должать за квартиру, по лавочкам, закладывать вещи и когда получались деньги (рублей 400—500 за раз), то обыкновенно на другой день после получения у меня (Ф. М. все деньги отдавал мне) оставалось рублей 25—30. Моим правилом было по получении денег непременно выкупать вещи (залогов у меня было рублей на 400), во-первых, чтобы не платить %, тогда огромных, иногда 5% в месяц; а, во-2-х, чтобы в кассе ссуд [1]) знали, что я могу выкупить и берегли вещи. Кроме того, было некоторое нравственное удовлетворение в мысли о том, что вещи, так мною любимые (все подарки Ф. М., мамы и брата), опять находятся дома, хотя бы и на короткое время. Приходы кредиторов, переговоры с ними и пр. не могли пройти иногда незамеченными моим дорогим мужем. Он допрашивал, кто и по какому делу приходил, и, видя мое нежелание рассказывать, начинал меня упрекать в скрытности, в том,

[1]) Тогда не существовало теперешних ломбардов или обществ для заклада движимостей, а были т. н. «кассы ссуд», большею частью еврейские.

что я недостаточно с ним откровенна. Жалобы его по этому поводу отразились и в его письмах [1]) [16]). Но могла ли я быть с ним вполне откровенной в этих моих материальных затруднениях! Ему необходим был покой для его здоровья и работы, от которой зависело наше существование; неприятности же его страшно расстраивали и вызывали припадки, мешавшие работе. Это был своего рода. . . . . К тому же, узнав случайно, какие мне приходится выносить неприятности, М. Ф. принимался тосковать о том, какую полную забот и огорчений жизнь он мне устроил. И это опять волновало и огорчало его. И вот приходилось—при всем искреннем желании быть с ним откровенной—всетаки тщательно скрывать от него все, что могло его расстроить, даже подвергаясь его упрекам в моем будто скрытном, недоверчивом характере. Как мне было горько переносить эти его несправедливые упреки! Да, тяжелую, страшно тяжелую в материальном отношении жизнь пришлось мне пережить в течение 12—13 лет нашей совместной жизни, так как только за год до смерти Ф. М. были уплачены все долги и началось откладывание небольших денег на черный день.

С большою горечью в душе вспоминаю я, как бесцеремонно черпали из нашего кармана на свои нужды некоторые родственники Ф. М. Как ни малы были средства, но Ф. М. не считал возможным отказывать в помощи брату Николаю Михайловичу, своему пасынку Исаеву, а в экстренных случаях и другим родным. Кроме определенной ежемесячной выдачи известной суммы (50—60 руб.), «брат Коля» [17]) получал в каждое свое посещение по пяти рублей, и вот какую тяжесть испытывала я, когда он, может быть, и без корыстного намерения, учащал свои визиты под разными предлогами: поздравить детей с рождением, беспокойством о здоровье кого-либо из нас, и пр. Не скупость говорила во мне, а мучительная мысль, что дома имеется всего 20 рублей, а Ф. М. позовет меня и скажет: «Анечка, дай мне пять руб. для Коли», а завтра платеж кому-нибудь, и сохранись у меня эти 5 руб., не пришлось бы завтра идти в кассу ссуд. Но «брат Коля» был милый и жалкий человек, и, хотя я порой и сердилась на него за учащенные визиты, но всегда любила его и ценила его деликатность. Но кто особенно меня раздражал—так это Павел Александрович Исаев. Он не просил, а требовал и был глубоко убежден, что имеет на это право. При каждой крупной получке Ф. М. непременно давал П. А. Исаеву для семьи нередко значительную сумму. Но у того являлись очень часто экстренные нужды, и он шел с ними к Ф. М., хотя отлично знал, как тяжело нам живется. Придет, и у нас происходит приблизительно такой разговор: спрашивал меня: Ну что

---

[1]) Письмо № 16.

папа? Как его здоровье? Мне нужно с ним поговорить, мне до зарезу нужно 40 рублей. П. А., говорила я, вы знаете, мы от Каткова еще не получали, денег у нас совсем нет. Вот я сегодня заложила брошку за 25 руб. Показываю ему залоговой билет. Ну что ж, заложите еще что-нибудь. Но у меня уже все заложено и вот тому доказательство. Да, мне необходимо сделать такую-то издержку. Сделайте ее, когда мы получим деньги. Я не могу отложить. Но у меня нет денег... А мне что за дело—достаньте. И вот я уговариваю, упрашиваю Павла Александровича просить у Ф. М. не 40, которых у меня нет, а 15 рублей, чтобы у меня самой осталось хоть 5 рублей на всякий случай. Павел Ал., после долгих упрашиваний, уступал и считал, что делает мне большое одолжение, ограничиваясь меньшею, чем он требовал суммою. И вот меня звал в кабинет мой дорогой муж и говорил: «Дай-ка мне, Анечка, 15 руб., у меня Паша просит». И я давала деньги, с неприязненным чувством, думая о том, что не выпроси П. А. этих 15 рублей, мы бы прожили дня три спокойно, а теперь завтра опять иди—закладывай какую-нибудь вещь. Все это тяжелые воспоминания, и я не могу забыть, сколько горя причинил мне этот бесцеремонный человек. Может быть, скажут, отчего я решительно не протестовала против такой бесцеремонности? Но для этого пришлось бы поссориться с Павлом Александровичем и его семьей, а жену его я искренно полюбила и жалела ее. К тому же я знала черту в характере Ф. М., именно: его доброе, отзывчивое отношение ко всем обиженным. В случае ссоры П. А. сумел бы разжалобить Ф. М. и представить себя несправедливо мною обиженным. И Ф. М., по своей доброте, несомненно бы ему поверил и счел бы его несчастным, которого надо жалеть и которому надо помочь. Это я уже раз испытала, когда пришлось по какому-то случаю поссориться с П. А. Тот тотчас же нажаловался на меня Ф. М., представил все в извращенном виде и напомнил Ф. М. просьбу своей матери Марии Дмитриевны жалеть «Пашу»[18]). Кончилось тем, что Ф. М. просил меня «не обижать Пашу, т. к. тот хоть и легкомысленный, но добрый человек и всех нас очень любит». Щадя спокойствие Ф. М., я предпочитала лучше самой терпеть и себе во всем отказывать, лишь бы в нашей семье сохранился мир.

Возвращаюсь к зиме 1871—1872 г.г., первой по нашем приезде из-за границы. Должна сказать, что, несмотря на крупные неприятности со стороны кредиторов, я с истинным удовольствием вспоминаю эту зиму. Уж одно то, что мы опять на родине, среди русских и всего русского, представляло для меня чрезвычайное счастье. И Ф. М. был очень доволен своим возвращением в Россию и возможностью снова сблизиться со своими друзьями, а также наблюдать русскую жизнь, от ко-

торой Ф. М. чувствовал себя несколько отдалившимся [19]). Кроме Аполлона Николаевича Майкова, с которым Ф. М. был дружен в молодости, и Н. Н. Страхова, любимого им собеседника Ф. М., у своего родственника М. И. Владиславлева, познакомился со многими лицами ученого мира, напр., В. В. Григорьевым. Познакомился с кн. Владимир. Петр. Мещерским, с Т. И. Филипповым и со всем кружком, бывавшим у Мещерского на обедах по средам. Там же, кажется, познакомился, а впоследствии сдружился с К. П. Победоносцевым, и эта дружба сохранилась до самой смерти. Помню, что в эту зиму приезжал в Петербург Н. Я. Данилевский, и Ф. М., знавший его еще в юности фурьеристом и очень ценивший его книгу «Россия и Европа», захотел возобновить старое знакомство. Встретившись с Данилевским у Страхова, Ф. М. пригласил его к себе на обед, на который собралось много интересных и умных людей. Беседа затянулась у нас до позднего вечера.

В ту же зиму 1871—72 г.г. Третьяков просил у Ф. М. разрешения написать его портрет для своей Московской галлереи. Художник Перов приехал с этою целью из Москвы. Ф. М., конечно, был очень этим польщен, тем более, что сам Перов оказался чрезвычайно милым и простым человеком. Прежде, чем приняться за работу, П. навещал нас каждый день в течение недели, заставал Ф. М. в самом различном настроении, беседовал, вызывал его на спор и сумел подметить и изобразить на портрете самое характерное выражение Ф. М., именно то, которое Ф. М. имел, когда был погружен в свои художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил в портрете «минуту творчества» Ф. М. Такое выражение я много раз примечала в лице Ф. М., когда, бывало, войдешь, заметишь, что он как бы «в себя смотрит», и уйдешь, ничего не сказав, а потом узнаешь, что Ф. М. был так занят своими мыслями, что не заметил моего прихода, и не верит, что я к нему заходила. В. Гр. был умный человек, и Ф. М. любил с ним беседовать. Я также с ним подружилась и всегда присутствовала на сеансах. Мне эту зиму не пришлось бывать в обществе. Я сама кормила моего старшего сына Федю, и мне нельзя было от него отлучаться на долго. Но у меня было так много забот о детях, о работе для Ф. М., о хозяйстве, что эта счастливая зима пролетела как сон. Наступила весна 1872 года, а с нею—целый ряд несчастий, оставивших после себя незабываемые последствия.

Приступы ревности Феодора Михайловича очень меня огорчали и мучили. Обиднее всего было то, что ревность его не имела никаких оснований, а между тем проявления ее ставили меня иногда в нелепое положение. Расскажу один из подобных случаев. Я уже говорила где-то, что мечтала зарабатывать стенографией деньги и таким образом помогать семье.

Случай применить мои знания неожиданно мне представился. В 1872 г. предполагался с'езд сельских хозяев в г. Новой Александрии или Ломже и для этого с'езда приискивали стенографа. Об этом сообщил мне мой брат, бывший слушатель Петровской землед. академии, продолжавший интересоваться сельским хозяйством. Т. к. выбор стенографа зависел от проф. Шафранова, то я, с разрешения моего мужа, списалась с ним. Хоть Феодор Михайлович постоянно утверждал, что я, занимаясь детьми и хозяйством и помогая ему в работе, достаточно делаю для семьи, но, зная мое горячее желание заняться и посторонним трудом, не решился мне противоречить, расчитывая (как потом мне признался), на то, что место стенографа будет уже занято. Проф. Шафранов ответил согласием [1]) и сообщил условия. Правду сказать, они не были очень заманчивы, и большая часть полученных денег ушла бы на проезд и житье в Александрии. Но для меня важны были не столько деньги, как начало труда: если я хорошо исполнила свою работу то, могла бы, опираясь на рекомендацию проф. Шафранова, расчитывать получить и другие занятия. Серьезных возражений против моей поездки Ф. М. не имел никаких, т. к. на время моего отсутствия моя матушка обещала переехать ко мне и присмотреть за детьми и хозяйством. У самого же Ф. М. для меня работы на то время не было: он был занят переделкою плана романа «Бесы». Предполагаемая поездка моя видимо Ф. М. не нравилась, и он придумывал разные предлоги, чтобы ее отклонить, напр.: как это я, молодая женщина, поеду одна, в незнакомый, да еще польский край, как там устроюсь и пр. и пр. Мой брат, часто у меня бывавший, чтоб разрешить его сомнения, предложил ему придти со мною завтра провести у них вечер, а сам обещал пригласить своего товарища (фамилии которого теперь не помню, она оканчивалась на «к'янц» [2]) или «шидзе»), бывавшего в Александрии и который едет тоже на с'езд. На этом и порешили. На завтра мы с Ф. М. поехали к моему брату, и Ф. М., которого давно не беспокоили припадки, был в прекрасном настроении. Мы мирно беседовали, как вдруг в комнату вошел, почти вбежал, молодой человек лет 23, высокого роста, с курчавыми волосами, с необыкновенно выпуклыми глазами и красными губами, словом, тот тип, который называется «отвратительным красавцем». Войдя и увидев свое «божество», он до того смешался, что кое как раскланялся с Ф. М. и хо-

[1]) Письмо его хранится в бумагах Архива.

[2]) Этого «к'янца» я никогда не видала, но знала его по наслышке. Это был добрый, но не особенно умный кавказский юноша, которого за его горячность и скоропалительность товарищи прозвали «диким азиатом». Он очень обижался этим прозвищем и в доказательство того, что он «европеец», создал себе в каждом искусстве «богов»: в музыке «богом» его был Вагнер, в живописи—Репин, а в литературе Феодор Михайлович. Узнав, что он познакомится с Достоевским и может оказать ему услугу, юноша был в совершенном восторге.

зяйкой дома, а все свое внимание обратил на меня (очевидно, как на существо земное, ему подобное), схватил мою руку, поцеловал ее и несколько раз сильно потряс, говоря своим картавым голосом, что он чрезвычайно рад, что я еду на с'езд и что он готов быть мне полезным. Его восторженность меня насмешила и я об'яснила ее робостью и замешательством. Но не так посмотрел на это Ф. М. Он хоть и редко, но целовавший у дам руки и не придававший этому никакого значения, был всегда недоволен, если кто-либо применял ко мне эту форму вежливости. Это его чрезвычайно раздражало. Мой брат, заметивший, что настроение Ф. М. изменилось (а переходы из одного настроения в другое у Ф. М. были очень резки), поспешил завести деловой разговор о с'езде, но юноша был по-прежнему смущен и отвечал на вопросы не брату и не Феодору Михайловичу, а обращаясь исключительно ко мне. На мой вопрос: не трудно ли добраться до Александрии и много ли будет пересадок, юноша отвечал, что мне незачем беспокоиться, что он охотно берется меня туда сопровождать и, если я пожелаю, может поехать в одном со мною вагоне. Я конечно, отклонила его предложение, сказав, что с'умею доехать и одна. На вопрос Ф. М., есть ли там гостинница и удобно ли мне, молодой женщине, в ней остановиться, юноша, все еще не осмеливаясь взглянуть на свое «божество», и, обращаясь ко мне, воскликнул: «Но если Анна Гры-го-ровна пожелает, то я, хоть и хотел остановиться у товарища, но могу поселиться вместе с нею в одной гостинице».

— Аня, ты слышишь, Аня? Молодой человек согласен поселиться с тобою вместе. Но ведь это пре-вос-ход-но!.. вскричал во весь голос Ф. М. и изо всей силы ударил кулаком по столу. Стоявший на столе стакан с чаем слетел на пол и разбился вдребезги, хозяйка бросилась поддерживать сильно покачнувшуюся от удара лампу, а Ф. М. вскочил с места, бросился в переднюю, накинул на себя пальто и был таков. Я кинулась за ним со словами: «Федя, куда ты? Федя, остановись!» но его и след простыл. Я тотчас же оделась, но мое одеванье взяло известное время, и когда я вышла за ворота, то увидела уже вдали человека, бегущего в противоположную сторону от нашей обычной дороги. Пришлось и мне бежать, и так как ноги у меня были молодые, то я минут через пять догнала Ф. М., который к тому времени сильно запыхался и бежал не так скоро. Я несколько раз его окликала и просила остановиться, но он меня не слушал. Наконец мне удалось его догнать: я забежала перед ним, схватила обоими руками полы его надетого в накидку пальто и вскричала: «Федя, ты с ума сходишь. Куда ты бежишь, ведь это не наша дорога. Остановись, надень пальто в рукава. Так нельзя, ты простудишься. Мой окрик и взволнованный вид подействовали на Ф. М., он остановился и натянул с моею помощью пальто; я застегнула

пуговицы, взяла его под руку и повела в обратную сторону. Ф. М. хоть меня и послушался, но сохранял смущенный вид. Я вышла из себя и вскричала: Ну чтож, опять приревновал, не правда ли? Думаешь, что я успела в несколько минут влюбиться в «дикого азиата», а он в меня и мы собираемся вместе сбежать, не так ли? Ну как тебе не стыдно!..И я принялась отчитывать моего бедного мужа, доказывать, как он меня обижает своею ревностью. Ведь мы шесть лет женаты, знает же он как я его люблю и как ценю наше семейное счастье, и вот он способен приревновать меня к первому встречному и поставить меня в смешное положение, и пр. и пр. По мере моих упреков Ф. М. пытался извиняться, оправдываться, обещал никогда не ревновать, но я и слышать ничего не хотела. Словом, я взяла с него все, что могла взять «разгневанная супруга». Но я на моего дорогого мужа долго сердиться никогда не умела. Вспылив и наговорив несообразностей, я быстро остывала, и мне становилось ужасно жаль Ф. М., тем более, что я знала, что сдержать себя в порыве ревности он был не в состоянии. Так было и теперь. Мне живо представилось в комическом виде разговор и восторженность юноши, гнев Ф. М. и его бегство, и я стала смеяться. Видя перемену в моем настроении, стал подшучивать над собой и Ф. М., расспрашивая меня, сколько вещей он перепортил сегодня у моего брата, и не прибил ли кстати и восторженного своего поклонника. Кончилось тем, что мы дорогою помирились, а так как вечер был чудесный, то и прошли пешком до самого дома. Не обошлось и без покупки рахат лукума и копченого сига [1]). Путь был долгий, и мы, с заходами в магазины, употребили на него полтора часа. Придя домой, мы застали у себя моего брата. Бедный Иван Григорьевич, увидав наше бегство, вообразил Бог знает что и помчался к нам и был поражен, не найдя дома ни меня, ни Ф. М. Весь час до нашего прихода он провел в мрачных мыслях и предчувствиях, и как он был удивлен, увидав, что мы возвращаемся в самом мирном настроении. Мы его усадили за чай и угостили сигом; было много смеху. На вопрос мой, чем же он об'яснил юноше наше странное бегство, Иван Григ. ответил: когда он спросил, что тут такое произошло, я ему сказал: «А ну тебя к чорту, если сам не понимаешь».

История благополучно кончилась, но я поняла, что мне приходится отказаться от поездки. Конечно, я могла бы уговорить Ф. М., и он бы меня отпустил, но затем стал бы волноваться, не выдержал и поехал бы за мной в Александрию.

---

[1]) Когда у нас случались мелкие стычки, и Ф. М. чувствовал себя неправым, но он не хотел извиниться, то приносил мне в подарок фунт рахат-лукума или копченого сига (вещи мною любимые) или оба предмета вместе, смотря по вине. Это я называла «веткою мира», и я грозила Ф. М. почаще с ним ссориться, чтоб получать почаще столь вкусные вещи.

Вышел бы только скандал и напрасно издержанные деньги, которых у нас было так мало.

Так и закончилась моя попытка зарабатывать себе хлеб стенографией.

Приведенные выше отрывки из воспоминаний А. Г. Достоевской о Ф. М. Достоевском составляют три разрозненных тетрадочки ее записок, случайно попавших в Пушкинский Дом при Российской Академии Наук и предполагаемых к опубликованию полностью в отдельном издании, посвященном исследованию жизни Достоевского.

Нам представляется излишним говорить о том значении и интересе, какой представляют записки А. Г. Достоевской,— верного друга, помощника, издателя, хозяйки, жены и руководительницы в практических делах Достоевского в течение 14 последних и самых творчески-напряженных и производительных лет его жизни. Воспоминания такого спутника жизни нельзя недооценить, интерес к ним вперед уже и надежно обеспечен. Мы не сомневаемся в том, что читатель, предубежденный вперед в п о л ь з у этих записок, отнесется к ним с должным вниманием и интересом, и разве лишь по прочтении их почувствует некоторую неудовлетворенность и легкое разочарование. И вот после прочтения воспоминаний А. Г. Достоевской читатель может и умалить их значение, не найдя в них того, что естественно ожидал найти, и не достаточно оценя то, что в них является настоящею, непреходящею ценностью, что является действительно важным для изучения жизни и творчества Достоевского.

Читатель, естественно, ожидает найти мелкие, будничные детали, мелкие подробности и случаи б ы т а Достоевского, подробное, отчетливое описание окружавшей его обстановки, по которому он может составить себе представление об интимном, домашнем образе писателя; читатель ожидает найти в воспоминаниях ответы на вопросы: как Достоевский любил? как ненавидел? как он создавал свои великие драмы? как он творил? как он мыслил и чувствовал, что он мыслил и чувствовал? как он радовался и как страдал? как из фона жизни создавался фон его романов?

На многие из этих вопросов воспоминания А. Г. Достоевской дают посильные ответы, но чтобы получить эти ответы, чтобы о т в е т и т ь с е б е на эти вопросы, надо м е д л е н н о читать записки Анны Григорьевны, вчитываться в них и часто догадываться о том, чего она не договаривает, поглощенная своим длинным рассказом о долгой, мучительной борьбе своей с кредиторами мужа, рассказом о подвиге ее собственной жизни, ставшем для нее целью существования: высвободить великого писателя из той—не сибирской уже, а петербургской—каторги долгов, обязательств и других кошмарных усло-

вий, в которых надрывался Достоевский,—надрывался в работе, надрывался в жизни, надрывался в творчестве, в которых разрушался его болезненный организм и болезненно-напряженное, вечно-лихорадочное и судорожное творчество. На фоне тех житейских мелочей, о которых так подробно рассказывает А. Г., вырисовывается и образ самого Достоевского, и если мы не различаем в нем всех малейших, интересующих нас черт,—не будем в этом упрекать автора и не забудем, что перед нами не весь том ее воспоминаний о муже, а только три отрывка из них, относящиеся к небольшому периоду двух лет жизни Достоевского 1871—1872 г.г., кстати сказать, мало освещенных в литературе о Достоевском.

А. Г. Достоевская, в своих воспоминаниях, не раз говорит о «дорогом» муже, для спокойствия которого она пожертвовала своею жизнью и молодостью: спутничество А. Г. иначе и не может быть рассматриваемо, как постоянный, длительный подвиг, девиз которого—все для Федора Михайловича,—на первом плане он, а она—всего лишь скромная, но надежная обстановка, скромная, но надежная опора и защита от всех житейских мелочных волн, которые грозили захлестнуть огромный писательский талант Достоевского. Странным образом, однако, в ее воспоминаниях на первый план выступает она (правда, опять-таки в качестве обстановки, окружавшей его). Узнаем ли мы что-нибудь новое об Анне Григорьевне Достоевской из ее записок? Недоверчивая к людям, энергичная, с твердой, решительной волей, не подверженной «сантиментам», рассудительная и рассудочная, трезвая и практическая, быть может, слишком практическая, очень деловая и расчетливая до скупости, добросовестная и честная, идеальное воплощение конторы и счетоводной книги,—такою мы знаем Анну Григорьевну Достоевскую по всем рассказам о ней, и такою же рисуется она нам и в своих записках-воспоминаниях о Достоевском... Но в этих записках находится и ключ к освещению ее характера, к об'яснению того, как из молодой девушки с широкими духовными и душевными запросами (такою чувствуется она в неопубликованной еще нами первой части воспоминаний, в которой она рассказывает подробную историю женитьбы на ней Ф. М.) превратилась она в идеальную контору по изданию сочинений Достоевского и по ведению его денежных дел. Рассказав о начале борьбы своей с кредиторами, А. Г. делает лирическое отступление: «Я часто думала, на сколько моя жизнь стала бы счастливее и радостнее, если бы не было у меня этих вечных размышлений о том: где к такому-то числу достать столько-то денег; где и за сколько заложить такую-то вещь; как сделать, чтобы Феодор Михайлович не узнал бы про посещение такого-то грозящего кредитора или не узнал бы про заклад такой-то вещи. Всеми этими делами и неприятностями была поистине омрачена моя

жизнь, на это ушла моя молодость, пострадало здоровье и расшатались на всю жизнь нервы». «Все эти дела и неприятности» во имя Ф. М. Достоевского и превратили А. Г. в бережливого, скупого и сухого конторщика,—и кто станет упрекать ее за то, что она принесла б. м. самую большую человеческую жертву...

Не будем останавливаться на отдельных местах воспоминаний А. Г., непосредственно говорящих о Достоевском,—о его ревности, о писании его портрета художником В. Г. Перовым, об его отношениях к людям и пр. и пр.: внимательный читатель обратит на них должное внимание; полное же исчерпание всего, что могут дать воспоминания А. Г. Достоевской для изучения жизни и творчества Достоевского, не преминет произвести историк литературы, специально занятый этим вопросом. Отказываясь от такой оценки—комментария воспоминаний А. Г., мы позволяем себе сделать несколько кратких пояснительных замечаний к отдельным местам записок А. Г. Достоевской, необходимых для уяснения текста.

Примечания.

[1]) Ф. М. и А. Г. Достоевские выехали за-границу (первоначально в Дрезден) 14 апреля 1867 года, через два месяца после свадьбы, причем предполагали оставаться за-границей всего лишь 3—4 месяца.

[2]) Свадьба Ф. М. и А. Г. Достоевских состоялась 15 февраля 1867 года. Вот как описывает ее А. Г. в неизданной еще части своих воспоминаний:

«Ф. М. с'умел хорошо распорядиться: церковь была ярко освещена, пел прекрасный хор певчих, была масса нарядных гостей, но обо всем этом я узнала потом, из рассказов, так как до половины обряда я была в каком-то тумане, машинально крестилась и чуть слышно отвечала на вопросы священника. Не заметила даже, кто из нас первый ступил на розовую шелковую подстилку; думаю, что первым стал Ф. М., так как я всю жизнь ему покорялась. Только после причащения голова моя прояснилась и я начала горячо молиться. Потом мне все говорили, что под венцом я была страшно бледна, «краше в гроб кладут». После венчания был благодарственный молебен и начались поздравления. Затем Ф. М. повел меня расписываться в какой-то книге (обыск?), в которой уже расписались он и наши свидетели»...

[3]) Любовь Федоровна Достоевская, современная писательница (см., напр., ее психологические рассказы «Больные девушки», несколько в стиле и тоне Достоевского), в то время почти двухлетний ребенок (она родилась 14 сентября 1869 года в Дрездене).

[4]) А. Г. Достоевская—Сниткина, в 1866 году окончила курсы стенографии Ольхина, и это обстоятельство сыграло решающую роль в ее жизни: в качестве стенографистки она явилась к Ф. М., спешившему в то время с окончанием повести «Игрок». В течение всего октября 1866 года А. Г. Сниткина писала под диктовку Достоевского, и за это время они так сблизились, что А. Г. осталась на всю жизнь Ф. М. его вечной стенографисткой, и не только стенографисткой... Попытки А. Г. зарабатывать или, вернее, прирабатывать трудом стенографистки на стороне, окончились неудачно (см. третий отрывок воспоминаний А. Г.).

[5]) За четыре года пребывания Ф. М. и А. Г. Достоевских за-границей родились две дочери: старшая, Софья—22 февраля 1868 г. в Женеве, и младшая, Любовь — 14 сентября 1869 г. в Дрездене. Софья умерла менее, чем через три месяца после рождения.

[6]) В каком состоянии находился Достоевский в Дрездене перед возвращением на родину, свидетельствует его письмо к Н. Н. Страхову от 18/III 1871 г. с одним и тем же рефреном в начале и конце письма: «Некоторое время хворал, а, главное, тосковал после припадка падучей. Когда припадки долго не бывают и вдруг разразится, то наступает тоска необычайная, нравственная. До отчаяния дохожу. Прежде эта хандра продолжалась дня три после припадка, а теперь дней по семи, по восьми, хотя сами припадки в Дрездене гораздо реже приходят, чем где-нибудь. Во-вторых, тоска по работе. Мочи нет, как туго пишется. Надо в Россию, хотя и совершенно отвык от петербургского климата. Но, все-таки, во что бы то ни стало, а надобно воротиться.—Но нечего пересчитывать все эти тоски...». «Не пишется, Николай Николаевич, или пишется с ужасным мучением. Что это значит,—я понять не могу. Думаю только, что это—потребность России. Во что бы то ни стало надо воротиться...». О том же говорит и письмо Ф. М. к С. Д. Яновскому, написанное уже из Петербурга через полгода по возвращении (4 февраля 1872 г.): «Я... пробыл за-границей 4 года, в Швейцарии, Германии и Италии, и наскучило, наконец, ужасно. С ужасом стал замечать, что и от России отстаю; читаю три газеты, говорю с русскими, а чего-то как бы не понимаю, нужно воротиться и посмотреть своим глазом. Ну, чтожь, воротился и особенной загадки не нашел, все в два—три месяца поймешь снова». Но если Ф. М. Достоевский рвался на родину для себя, то еще более побуждало его к этому состояние его жены, о чем он писал А. Н. Майкову: «Остаться в Дрездене еще на год—всего уже невозможнее. Это значит совсем убить Анну Григорьевну отчаянием, в котором она невластна, ибо тут настоящая болезнь тоски по родине».

[7]) Достоевские ожидали рождения сына—Федора Федоровича (он родился через неделю по возвращении их в Петербург из заграницы — 16 июля 1871 года).

[8]) Любовь Федоровна Достоевская (см. выше).

[9]) Эмилия Федоровна Достоевская, вдова Михаила Михайловича Достоевского.

[10]) Павел Александрович Исаев, пасынок Ф. М., сын его первой жены Марии Дмитриевны от первого брака. О том, каким тяжелым крестом был в жизни Достоевских П. А. Исаев, А. Г. не раз говорит во всех частях своих записок. Л. Ф. Достоевская в своих воспоминаниях об отце, напечатанных в прошлом году в Мюнхене, рассказывает новые, интересные, но неправдоподобные данные об истории его первой женитьбы (цитируем по рецензии Я. Л., напечатанной в № 6—7 1921 года «Вестника Литературы»):

«По переезде из Кузнецка в Семипалатинск, М. Д. сумела устроить уютное гнездышко, ставшее приютом местной интеллигенции. Семейное счастье Достоевского не нарушалось и по возвращении в Европейскую Россию, но оно оказалось призрачным. Здоровье его жены стало ухудшаться. Пришлось перевезти ее из Петербурга в Тверь. И вот здесь то, стоя уже одной ногой в гробу, она сделала мужу страшное признание. Она сказала, что вышла за него исключительно по расчету, прельстившись его литературной славой и его связями, что ночь перед свадьбой провела со своим любовником, молодым, красивым репетитором, и что со своим возлюбленным она продолжала связь в течение всего своего замужества. Он все время следовал, по ее словам, за нею, как тень, и только когда чахотка обезобразила ее, скрылся, не оставив адреса. М. Д. заявила мужу, что не только не любила его, но прямо презирала, как бывшего каторжника...

Достоевский бросил жену и уехал в Петербург!...».

Точность этих данных легче всего проверить по запискам А. Г. и по письмам Ф. М. Первый брак Достоевского был, действительно, неудачным, совместная жизнь их уже началась бурно—грозою: сценами взаимной ревности, но уже самый факт (о котором говорит ниже А. Г.), что Достоевский исполнял предсмертный завет своей первой жены «жалеть Пашу» и всю

жизнь возился с пасынком, причинявшим ему много хлопот, беспокойств и неприятностей, заставляет сомневаться в достоверности рассказа его дочери. Утверждение же Л. Ф. Достоевской, что ее отец бросил умирающую жену в Твери и сам уехал в Петербург, опровергается письмом Достоевского к брату Михаилу Михайловичу, посланному из Москвы (М. Д. Исаева-Достоевская умела не в Твери, как пишет Л. Ф., а в Москве) накануне ее смерти (15 апреля 1864 г.): «Вчера с Марьей Дмитриевной сделался решительный припадок: хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить. Мы все ждали кончины. Все мы были около нее. Она со всеми простилась, со всеми примирилась, всем распорядилась. Передает всему твоему семейству поклон с желанием долго жить. Эмилии Федоровне особенно. С тобой из'явила желание примириться. (Ты знаешь, друг мой, она всю жизнь была убеждена, что ты ее тайный враг). Ночь провела дурно. Сегодня же, сейчас, Александр Павлович сказал р е ш и т е л ь н о, что ныньче умрет. И это несомненно». В Р. S. Достоевский добавляет: «Марья Дмитриевна умирает тихо, в полной памяти, Пашу благословила заочно».

[11]) О дружбе Достоевского с А. Н. Майковым, помимо всех других свидетельств, говорят печатаемые в настоящем сборнике письма, хранящиеся в Пушкинском Доме при Российской Академии Наук.

[12]) Табачная фабрика М. М. Достоевского прекратила свое существование в 1861 году, вскоре после того, как М. М. начал издавать журнал «Время» (по свидетельству Н. Н. Страхова, «эта фабрика заведена была им после 1849 года, когда литература была в очень стесненном положении»).

[13]) М. М. Достоевский умер скоропостижно 10 июня 1864 года (а не в июле, как пишет А. Г.).

[14]) См. выше, введение.

[15]) А. Г. Достоевская имеет в виду, очевидно, двух больших друзей—А. Н. Майкова и Н. Н. Страхова. Действительно, nomina sunt odiosa, и можно различно оценивать то, что говорит А. Г. о друзьях Достоевского, но нельзя не отметить этого места, являющегося ответом на вопрос: не способствовала ли А. Г. расхождению Достоевского с искренно преданными ему друзьями? Очевидно, что если в душе его спутницы «всегда оставалось горькое чувство недовольства и обиды против этих друзей» Достоевского, то вряд ли она могла способствовать поддержанию дружеских отношений своего мужа к близким ему людям. Другой вопрос—права или неправа была А. Г. в своем горьком чувстве...

[16]) №№ писем Анна Григорьевна не проставила, а письма эти, которые могли бы пролить свет на многое в жизни Достоевского, за последние 10 лет, нам неизвестны.

[17]) Николай Михайлович Достоевский был самым младшим братом Ф. М. (Михаил, Федор, Андрей и Николай).

[18]) См. выше (примечание 10).

[19]) В цитированном уже нами письме к С. Д. Яновскому Достоевский говорил: «Ну, что ж, воротился и особенной загадки не нашел, все в два—три месяца поймешь снова».

М. Л. Гофман.

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА М. М. ДОСТОЕВСКОГО К М. Ф. ДЕ-ПУЛЕ и Н. С. МИЛОШЕВИЧУ.

К истории журнала „Время".

(Неизданные письма М. М. Достоевского к М. Ф. Де-Пуле и Н. С. Милошевичу).

I. Письма М. М. Достоевского к М. Ф. Де-Пуле.

Милостивый Государь

Михаилъ Ѳедоровичъ,

Я получилъ прекрасную статью вашу и давно уже отвѣчалъ бы вамъ, еслибъ не усиленныя и неизбѣжныя хлопоты по возникающему журналу [1]). Надѣюсь, что вы примете это въ соображеніе и извините меня. Премного благодарю васъ за желаніе участвовать въ моемъ изданіи и вмѣстѣ прошу не оставлять его своими статьями и на будущее время.

Статья ваша прекрасна, и я съ большимъ удовольствіемъ напечатаю ее в февральской же книге [2]), если Вы позволите

---

[1]) «Время» («Журнал литературный и политический») стало выходить в 1861 г. Оффициальным редактором числился М. М. Достоевский, негласным являлся Ф. М. Достоевский, ближайшими сотрудниками были: А. А. Григорьев и Н. Н. Страхов. 24 мая 1863 г. «Время» было запрещено за превратно понятую статью Н. Н. Страхова: «Роковой вопрос», напечатанную в 4-ой книжке, подписанную: «Русский» и посвященную польскому восстанию. В 1864 году, вместо «Времени», М. М. Достоевский стал выпускать «Эпоху», которая после его смерти издавалась его семьей и прекратилась в 1865 г. на 2-ой книжке за отсутствием средств. О «Времени» и «Эпохе» см.: 1) «Библиография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПБ., 1883; 2) М. К. Лемке. «Эпоха цензурных реформ 1859—1865 г.г.» СПБ., 1904, стр. 281—285; 3) В. Спиридонов. «Направление «Времени» и «Эпохи».—«Достоевский». Однодневная газета Русского Библиологического Общества. 12 ноября 1921 г., стр. 2—9.

[2]) М. М. Достоевский говорит в этом письме о статье М. Ф. Де-Пуле: «Нечто о литературных мошках и букашках по поводу героев г. Тургенева», напечатанной без подписи автора во «Времени», в 1861 г., т. I, № 2, отд. III, стр. 115—131.

сдѣлать въ ней немногія измѣненія, для того, чтобъ она подходила подъ тонъ нашего журнала. Измѣненія эти вовсе несущественны и статья отъ нихъ ничего не потеряетъ. Сверхъ того, какъ вы увидите изъ первой книги, у насъ принято не подписываться подъ критическими статьями. Впрочемъ, это можетъ подвергаться иногда и исключеніямъ [1]). Не могу, впрочемъ, умолчать, что Редакціи пріятно бы было, еслибъ вы не требовали для себя этого исключенія.

Сдѣлайте одолженіе, отвѣчайте мнѣ съ первою же почтою, такъ какъ, въ случаѣ согласія вашего, я немедленно отошлю статью вашу въ типографію и примите увѣреніе

в совершенномъ почитаніи

Вашего покорного слуги

М. Достоевскаго.

С. п. б.
27 декабря 1860.

P. S. Вмѣстѣ съ этимъ покорнѣйше прошу васъ назначить Ваши условія относительно платы. Мы же платимъ в этомъ отдѣлѣ по 50 р. съ листа. Такъ теперь, сколько мнѣ извѣстно, платятъ и другіе журналы, не исключая и «Р. Слова» [2]), гдѣ Вы сами были сотрудникомъ [3]). Больше платить мы не можемъ.

Милостивый Государь

Михаилъ Ѳедоровичъ,

Премного благодаренъ Вамъ и за письмо Ваше и за стихотвореніе И. С. Никитина [4]). Особенно за письмо, потому что оно даетъ мнѣ право надѣяться на Ваше сотрудничество.

---

[1]) Это исключение делалось, например, для А. А. Григорьева, несколько статей которого во «Времени» были подписаны.

[2]) «Русское Слово» («Литературно-ученый журнал») стало выходить в 1859 г. Издателями были: в 1859—1862 г.г. Г. Кушелев-Безбородко, в 1863—1866 г.г.—Г. Е. Благосветлов, редакторами: Г. Кушелев-Безбородко, Я. П. Полонский и А. А. Григорьев, в конце 1859 г.—Г. Кушелев-Безбородко, а затем А. Хмельницкий, с 1860 г.—Г. Е. Благосветлов. Являясь в 1860-х г.г. органом наиболее радикально настроенной интеллигенции, «Русское Слово» было запрещено в 1866 г.

[3]) М. Ф. Де-Пуле сотрудничал в «Русском Слове» в 1859 и 1860 г.г.

[4]) Служа в 1848—1865 г.г. в Воронеже, М. Ф. Де-Пуле сблизился с жившим там И. С. Никитиным, принял самое теплое участие в нем, играл видную роль в жизни поэта, который питал к нему глубокое расположение, оказал большое доверие, назначив своим душеприказчиком. См. «Полное собрание сочинений и писем И. С. Никитина». Под ред. А. Г. Фомина. Т. I, СПБ., 1913.

Статья Ваша «Мошки и букашки» уже напечатана [1]). Я, съ позволенія Вашего, выкинулъ изъ неё все то, что теперь уже не современно, т. е. разборъ «Наканунѣ» [2]) и всѣ мѣста, гдѣ были ссылки на «Русское Слово». Вышло ровно I печ. листъ, деньги за который при есмъ препровождаю [3]).

Вы спрашиваете у меня, чѣмъ можете быть полезнымъ «Времени» на май? Многимъ. Если Вы потрудитесь прочесть вышедшія двѣ книги, то увидите, что полемика играетъ важную роль въ нашемъ изданіи. Въ качествѣ критика Вы, вѣроятно, читаете наши толстые журналы. За всякую замѣтку, за всякую честную полемическую страницу я буду Вамъ весьма благодаренъ. Если угодно, возьмите въ свое завѣдываніе одинъ какой-нибудь журналъ или два и присылайте мелкія замѣтки. Я былъ бы тоже радъ, еслибъ къ маю вы разобрали сочиненія Крестовскаго (Хвощинской) по поводу ея послѣдняго романа «Въ ожиданіи лучшаго» [4]). Мнѣ сдается, что вы согласны съ направленіемъ «Времени». Мы не западники и не славянофилы, а русскіе. Взглядъ нашъ на искусство весь выраженъ въ статьѣ: «Г-бовъ и вопросъ объ искусствѣ» [5]).

Что же касается до стихотворенія Никитина, то его «Поминки» запрещены цензурой [6]). Я хотѣлъ самъ писать ему объ этомъ, но не зналъ его адреса. На-дняхъ только узналъ, что онъ живетъ въ Воронежѣ. Присланное же вами стихотвореніе [7]), признаюсь вам, мнѣ не нравится. Первая страница прелестна и въ самомъ дѣлѣ полна поэзіи, далѣе же (домашній бытъ гуляки-купца) такъ исключителенъ, что походитъ на портретъ, на анекдотъ. Чтобъ эта исключительность не бросалась в глаза, нужно бо́льшее развитие содержанія.

---

[1]) См. примечания к предыдущему письму.

[2]) «Накануне» И. С. Тургенева было напечатано в «Русск. Вестн.», 1860, кн. I.

[3]) Как видно из надписи на сохранившемся конверте [illegible] Достоевским было прислано М. Ф. Де-Пуле 50 руб.

[4]) Роман Н. Д. Хвощинской-Зайончковской: «В ожидании лучшего» был напечатан под псевдонимом: В. Крестовский в «Русск. Вестн.», 1860, кн. XIV—XVII. Отдельно: М., 1861; 2-е изд., СПБ., 1880.

[5]) Статья Ф. М. Достоевского: «Г.-бов и вопрос об искусстве», посвященная Н. А. Добролюбову), напечатана во «Времени», 1861, кн. II, стр. 165—205.

[6]) О стихотв. И. С. Никитина: «Поминки» см. примечания к «Полному собранию сочинений и писем И. С. Никитина». Под ред. А. Г. Фомина. Т. III, Пгр., 1915, стр. 202, где ошибочно указано, что это стихотв. было послано Никитиным в «Русск. Слово». Впервые «Поминки» были напечатаны в «Сочинениях И. С. Никитина». Т. II, Воронеж, 1869, стр. 52—53.

[7]) М. М. Достоевский имеет в виду стихотворение Никитина: «Хозяин», которое было напечатано после смерти поэта во «Времени», 1861, кн. XI, отд. I, стр. 121—125 (см. следующее письмо).

Несмотря на все это, я бы помѣстилъ это стихотвореніе, но вы пишете, что «Русское Слово» платитъ ему огромныя деньги [1]). Мы сами иногда платимъ огромныя деньги, напр., Майкову, но за то стихотвореніе Майкова и окупится—дастъ подписку, сдѣлаетъ шумъ, возбудитъ говоръ. Стихотвореніе же Никитина пройдетъ незамѣченнымъ. Вотъ почему я не рѣшаюсь напечатать присланное Вами стихотвореніе, а буду очень благодаренъ И. С. Никитину, если онъ пришлетъ нѣчто небольшое, но тщательно обдѣланное. Мнѣ кажется, что онъ уже слишкомъ сильно принялъ къ сердцу критику—бова — писать о голодныхъ [2]), и это таращенье писать именно объ этомъ сильно вредитъ ему, какъ поэту.

Если вы не прочь написать о Хвощинской, то сдѣлайте одолженіе, увѣдомьте меня,—въ такомъ случаѣ, я не стану уже и хлопотать о статьѣ объ этомъ писателѣ. Если въ статьѣ Вашей будетъ нѣкоторая доля полемики—тѣмъ лучше. Честная, безпристрастная и непридирчивая къ пустякамъ полемика необходима въ настоящее время критическаго застоя.

Душевно благодаря васъ еще разъ за вашу милую готовность помогать мнѣ, я съ особеннымъ удовольствіемъ подписуюсь

глубоко уважающимъ Васъ

М. Достоевскимъ.

[Февраль 1861 г. [3])].

Милостивый Государь
Михаил Ѳедоровичъ,

Возвратясь из Москвы, куда я ѣздилъ на двѣ недѣли, я нашелъ у себя письмо Ваше и очень ему обрадовался. Искренно благодарю Васъ за то, что обо мнѣ вспомнили.

Спѣшу отвѣчать Вамъ на ваши вопросы.

Очень было бы хорошо, еслибъ Вы написали для «Времени» статью о Крестовскомъ (о Хвощинской) [4]); по поводу ея послѣдняго романа «Въ ожиданіи лучшаго» можно было бы

---

[1]) Как видно из имеющегося у меня неизданного письма редактора «Русского Слова» Г. Е. Благосветлова к И. С. Никитину, относящегося к началу 1861 г., «Русское Слово» платило ему 50 к. за стих.

[2]) М. М. Достоевский говорит здесь об отзыве Добролюбова о «Стихотвореніях Никитина» (Спб., 1859), напечатанном в «Современнике», 1860, кн. IV, Новые книги, стр. 367—391, в котором Добролюбов высказал пожелание о том, чтобы Никитин больше обращал внимания на окружающую жизнь.

[3]) Как видно по почтовому штемпелю на сохранившемся конверте этого письма, оно послано М. М. Достоевским из Петрограда 24-го февраля 1861 г.

[4]) См. предыдущее письмо.

разобрать всю ея дѣятельность. Сдѣлайте милость напишите и вышлите поскорѣе.

О романѣ брата [1]), который просилъ меня поклониться Вамъ, писать для «Времени» неудобно. Романъ этотъ начинаютъ бранить наши журналы («Русское Слово», «Современ.») [2]). Я не читал еще ни той, ни другой критики.

Стихотвореніе покойнаго Никитина я помѣщу в Ноябрьской книгѣ [3]). Мнѣ его очень жаль. Отчего это онъ умеръ? Вѣроятно, отъ чахотки [4]).

Извините меня, сдѣлайте милость, за то, что я не выслалъ Вамъ денегъ за послѣднюю статью Вашу. Надо мной нынѣшнимъ лѣтомъ разразились такія бѣды (по торговлѣ) [5]), что я, несмотря на значительную подписку [6]), все это время крайне нуждался въ деньгахъ. Прошу Васъ быть только увѣреннымъ, что я въ очень скоромъ времени постараюсь сквитаться съ Вами.

Пишу къ Вамъ, какъ видите, очень немного. Дѣла такая пропасть, что голова имъ только и полна и ея не хватаетъ даже на это коротенькое письмецо.

Прошу Васъ быть увѣреннымъ, что я буду Вамъ искренно благодаренъ за каждую статью Вашу, а въ особенности разсчитываю на статью о Крестовскомъ.

Примите увѣреніе въ глубокомъ почитаніи

Вашего покорнаго слуги

М. Достоевскаго.

9 октября 1861 г.
СПБ.

---

[1]) Роман Ф. М. Достоевского: «Униженные и оскорбленные» был напечатан во «Времени», 1861, кн. I—VII.

[2]) В 1861 г. в «Русском Слове» была напечатана статья об «Униженных и оскорбленных» Гр. Кушелева-Безбородко (кн. IX, стр. 35—49), а в «Современнике» статья Н. А. Добролюбова: «Забитые люди» (кн. IX, стр. 99—149).

[3]) См. предыдущее письмо.

[4]) И. С. Никитин скончался 16 октября 1862 г. от туберкулеза. См. А. Г. Фомин. «Болезнь и последние минуты жизни И. С. Никитина (по неизданным материалам)».—«Современник», 1912, кн. V, стр. 286—299.

[5]) В 1850-х г.г. М. М. Достоевский занялся коммерческими предприятиями, основал табачную фабрику и начал продавать папиросы с сюрпризами. См. его биографический очерк в «Собрании сочинений М. М. Достоевского». Т. I, Пгр., 1915, стр. VI.

[6]) Действительно, для своей эпохи «Время» имело значительное количество подписчиков: в 1861 г.—2.300, в 1862 г.—4302. См.: 1) «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». Спб., 1883, стр. 221; 2) Ч. Ветринский. «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках». М., 1912, стр. XIV.

II. Письмо М. М. Достоевского к Н. С. Милошевичу.

Милостивый Государь.

На ваше письмо честь имѣю отвѣчать слѣдующее:

Я посылаю деньги (31 р. 25 к.), которыя съ такимъ жаромъ требует отъ меня Г. Де-Пуле, но дѣлаю это не оттого, что считаю себя ему должнымъ, а единственно потому, чтобъ избавить его отъ стыда сдѣлать скандалъ въ литературѣ и этимъ порадовать тѣхъ, которые на нее косо смотрятъ. Я ему не долженъ ни копѣйки, потому что посылаю ему журналъ въ нынѣшнемъ году, а въ этомъ году онъ не напечаталъ у меня ни одной строки. Сотрудникомъ своимъ я тоже не могъ его считать, потому что мы съ нимъ не сходимся ни во взглядахъ, ни въ мнѣніяхъ. Въ конце прошлаго года или въ началѣ нынѣшняго—не помню—ему уже была возвращена одна большая его статья, какъ неудобная для моего журнала. Да и въ прежнихъ статьяхъ его я долженъ былъ всякій разъ дѣлать большія измѣненія и поправки (конечно, съ его согласія), чтобъ только напечатать ихъ. Между тѣмъ, журнал я посылаю ему по его желанію. Судите сами, правъ ли я или нѣтъ.

Итакъ, я снова повторяю, что я не считаю себя ему должнымъ. Посылая ему деньги, я покорнѣйше прошу васъ, Милостивый Государь, передать ему, чтобъ и онъ въ свою очередь выслалъ мнѣ деньги за получаемый имъ журналъ.

Что касается до протеста въ журналахъ, то я, считая себя правымъ, не боюсь никакихъ протестовъ и съумѣю защитить себя [1]).

Примите, Милостивый Государь, увѣреніе въ совершенномъ почтеніи, съ которымъ

честь имѣю быть

Вашимъ покорнымъ слугою

М. Достоевскій.

P. S. Покорно прошу извинить меня за нѣкоторыя помарки.

14 сентября [1862 г.] [2]).

---

[1]) Этот эпизод с М. М. Достоевским М. Ф. Де-Пуле не предал гласности.

[2]) Как видно из имеющегося у меня неизданного письма Н. С. Милошевича к М. Ф. Де-Пуле от 6 сентября 1862 г. (см. ниже), это письмо М. М. Достоевского относится к 1862 г.

III.

Михаил Федорович Де-Пуле, к которому написаны первые три письма М. М. Достоевского, родившись 12-го октября 1822 г. и окончив в 1846 г. Историко-филологический факультет Харьковского университета, был в 1848—1862 г.г., в эпоху переписки с М. М. Достоевским, преподавателем русского языка и истории в Воронежском Кадетском Корпусе, в 1862—1865 г.г.—помощником инспектора того же Корпуса. Служа в Воронеже, он явился одним из самых энергичных местных культурных работников, приняв деятельное участие в открытии в Воронеже воскресных школ и общественной библиотеки. В 1865—1868 г.г. Де-Пуле был инспектором, а затем директором Виленской I-й гимназии, в 1868—1870 г.г.—чиновником особых поручений при Главном управлении военно-учебных заведений, в 1870—1875 г.г.—инспектором Полтавской военной гимназии. Выйдя в 1875 г. в отставку, Де-Пуле скончался в Тамбове 27 августа 1885 г. Де-Пуле принадлежит множество критических, историко-литературных, исторических, биографических, публицистических и литературных статей, из которых некоторые безусловно являются ценными. В 1857—1859 г.г. Де-Пуле печатал статьи в «Москов. Вед.», «Атенее», «Русск. Беседе» и «Воронежск. Губ. Ведом.». В 1859—1860 г.г. он был деятельным сотрудником «Русск. Слова». В 1860-х г.г. Де-Пуле выпустил: «Материалы для истории Воронежской и соседних губерний» (Воронеж, 1861), «Последний король польский в Гродне и Литве в исходе XVII в.» (1869) и большую биографию И. С. Никитина («Сочинения Никитина», Воронеж, 1869), издал совместно с П. Глотовым, сборник: «Воронежская Беседа» (Воронеж, 1861), редактировал: «Воронежск. Губ. Ведом.» (1862—1863), «Виленский Вестник» (1866—1868) и печатал статьи в «Воронежск. Губ. Ведом.», «Библиографич. Зап.», «Русск. Речи», «Москов. Ведом.», «Филологич. Записках», «Чтениях в Обществе истории и древностей», «Русск. Архиве», «Воронежском Листке», «Дне», «С.-Петерб. Ведом.» и «Виленском Вестнике». Держась умеренных общественно-политических взглядов, в середине 1860-х г.г. Де-Пуле стал все более и более склоняться к консервативному лагерю и в 1870-х г.г. сделался постоянным и деятельным сотрудником издаваемого М. Н. Катковым «Русского Вестника», который явился боевым органом русского консерватизма. Кроме «Русского Вестника», в 1870—1880-х г.г. Де-Пуле помещал статьи в «Чтениях в Обществе истории и древностей», «Русск. Старине», «Заре», «Вестн. Европы», «С.-Петерб. Ведомостях», «Москов. Ведомостях», «Русск. Архиве», «Древней и новой России» (где была напечатана в 1878 г. его большая биография Кольцова), «Руси» и «Новом Времени» [1]).

Четвертое публикуемое выше письмо М. М. Достоевского написано к Николаю Степановичу Милошевичу, которого Де-Пуле просил получить деньги за его статью во «Времени». Н. С. Милошевич родился в 1827 г., окончил Константиновское Артиллерийское училище, в 1855—1856 г.г. принимал участие в Крымской кампании, в 1858 г. преподавал историю в Воронежск. юнкерском училище. Живя в Воронеже, Н. С. Милошевич близко сошелся с И. С. Никитиным и М. Ф. Де-Пуле. По своему умственному развитию Милошевич выделялся из тогдашней офицерской среды, имел литературные наклонности и выступал в печати. В 1859 г. он напечатал в «Русском Дневнике» статью, направленную против Воронежской администрации. Ему было предложено напечатать опровержение, от чего он категорически отказался, и ему пришлось покинуть военную службу. После этого он короткое время служил на частной

---

[1]) О М. Ф. Де-Пуле см.: 1) «Воронежский Юбилейный Сборник в память 300-летия г. Воронежа». Воронеж, 1886, стр. 378—395); 2) Д. Д. Языков. «Обзор жизни и трудов покойных русских писателей». Вып. V, Спб., 1889, стр. 45—49; 3) «Русский Биографический Словарь». Изд. Русск. Историч. Общества. Дабелов-Дядьковский. Спб. 1905, стр. 259—261; 4) С. А. Венгеров. «Источники словаря русских писателей». Т. II, Спб., 1910, стр. 233.

службе у известного купца-откупщика В. А. Кокорева. В 1860—1870 г.г. Милошевич служил в Министерстве Внутренних Дел, в 1871—1880 г.г. в мировых учреждениях Юго-Западного края. Скончался Милошевич в 1901 г. После его смерти были изданы его воспоминания: «Из записок Севастопольца» (Спб., 1904) [1]).

Среди имеющейся у меня неизданной переписки Н. С. Милошевича с М. Ф. Де-Пуле находятся два письма, в которых Н. С. Милошевич описывает свои переговоры с М. М. Достоевским об уплате им гонорара Де-Пуле. В виду того, что эти письма тесно связаны с перепиской М. М. Достоевского с М. Ф. Де-Пуле и Н. С. Милошевичем, рисуя безвыходность материального положения «Времени», приведем из них то, что относится к данному вопросу.

«Предсказанія мои относительно причинъ, по которымъ Достоевскій не разсчелся со мною въ предпослѣднее свиданіе, оправдались,—писал Н. С. Милошевич М. Ф. Де-Пуле 15-го августа 1862 г.,—вчера онъ напрямикъ сознался, что нѣтъ денегъ и воспросилъ отсрочку до 1-го сентября. Я не настаивалъ, зная очень хорошо, что настоящее время самая лихая пора для издателей журналовъ, и потому еще, что онъ окончательно объявилъ, что заплатитъ». В письме к М. Ф. Де-Пуле 6-го сентября 1862 г. Н. С. Милошевич говорит: «Пишу Вамъ, безцѣнный Михаилъ Ѳедоровичъ, съ сердечнымъ сокрушеніемъ. Ежели бы Вы знали, какъ меня замучилъ подлецъ Достоевскій! Хожу и только хожу къ нему, а денегъ все нѣтъ: «завтра, после завтра» и т. д. И выругать-то хорошенько скота не хватаетъ духу; «нетъ денегъ, хоть зарѣжьте меня»—вотъ его отвѣтъ.—Думаю, наконецъ, напечатать всю эту исторію, ежели не сдержитъ послѣдняго обѣщанія—прислать въ концѣ этой недѣли» [2]).

IV.

Опубликованные выше неизданные письма М. М. Достоевского к М. Ф. Де-Пуле и Н. С. Милошевичу дают довольно ценный материал для истории «Времени», которому оба брата Достоевских отдали много сил, и напряженная работа в котором является крупным фактом биографии Ф. М. Достоевского [3]). Письма эти заключают данные для характеристики направления «Времени», воззрений редакции, отношения ее к полемике, обрисовывают материальные условия работы в нем сотрудников, взгляды редакции на оплату их труда. Ценны письма и для характеристики М. М. Достоевского, как редактора «Времени», обнаруживая, что он не являлся лишь номинальным редактором, а играл видную, активную роль в редактировании журнала, привлекая сотрудников, давая им определенные задания, руководя их работою. В этом отношении публикуемые письма вполне подтверждают ту характеристику, которую дал М. М. Достоевскому, как редактору журнала, Ф. М. Достоевский в статье: «Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском», написанной под свежим впечатлением кончины брата (10-го июня 1864 г.) и напечатанной в июньской книге «Эпохи» 1864 г. (стр. I—VI): [4]). По словам Ф. М.—«это был

---

[1]) О Н. С. Милошевиче см.: 1) Биографич. заметку о нем, приложенную к его воспоминаниям: «Из записок севастопольца». Спб. 1904, и 2) Биографию И. С. Никитина в «Полном собрании сочинений и писем И. С. Никитина». Под ред. А. Г. Фомина. Т. I, Спб. 1913.

[2]) Как видно из напечатанного выше письма М. М. Достоевского к Н. С. Милошевичу от 14 сентября 1862 г., Достоевский уплатил деньги Де-Пуле.

[3]) О работе Ф. М. Достоевского во «Времени» и «Эпохе» см.: 1) «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». Спб., 1883 и 2) Предисловие Л. П. Гроссмана к XXII дополнительному тому «Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского». Изд. «Просвещения».

[4]) Статья эта была перепечатана в «Собрании сочинений М. М. Достоевского». Т. I, Пгр., 1915, стр. IX—XIV, а затем в XXII дополнительном томе «Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского». Изд. «Просвещения», стр. 210—216. После этой статьи Ф. М. Достоевский говорил о М. М. Достоев-

человек, с уважением относившийся к своему делу, всегда сам занимавшийся им, никому не доверявший даже на время своих редакторских обязанностей, и работавший беспрерывно. Он был человек образованный, развитой, уважавший литературу и сам литератор, страстно любивший поэзию, и сам поэт... Он горячо, с страстным участием следил за движением современной общественной жизни, и, сколько я помню, почти всегда составлял себе о нем точное мнение. Он был знаток европейских языков и литератур, много читал и всегда умел угадать то, что надо читателю и чем наиболее интересуется русский читатель в данный момент. Состав книжек журнала, выбор статей, выбор вопросов, о которых именно теперь нужно бы говорить, и о чем журналу надо дать свое мнение,—все это почти вполне принадлежало самому Михаилу Михайловичу. Он охотно выслушивал советы, охотно сам спрашивал их, во многом не признавая себя судью, но, выслушав совет, почти всегда поступал самостоятельно. Это был человек скромности даже необыкновенной, но в высшей степени полной самого благородного самоуважения, о чем особенно знали все наиболее близкие к нему люди... Мнения свои он высказывал осторожно, не любил длить споров, метко отличал убеждение серьезное от болтовни или от напускного увлечения. Сотрудника он оценял с первого раза и почти всегда безошибочно»

Если опубликованные выше письма М. М. Достоевского к М. Ф. Де-Пуле и Н. С. Милошевичу подтверждают эту, сделанную Ф. М. Достоевским, характеристику М. М. Достоевского, как энергичного редактора и журналиста, то эти же письма опровергают то, что писал о брате Ф. М. Достоевский в позднейшей статье: «За умершего», напечатанной в «Дневнике писателя», в апреле 1876 г. В некрологе А. П. Щапова, написанном С. С. Шашковым и напечатанном в апрельской книге «Дела» 1876 г., был приведен следующий эпизод из жизни А. П. Щапова: В 1862 году, когда Щапов не захотел более уже иметь дела с тогдашними «Отеч. Зап.», а другие журналы были временно прекращены, он отдал своих «Бегунов» во «Время». Осенью он сильно нуждался, но покойный редактор «Времени», Михаил Достоевский, очень долго затягивал уплату следуемых ему денег. Настали холода, а у Щапова не было даже теплого платья. Наконец, он вышел из себя, попросил к себе Достоевского и при сем произошла у них следующая сцена.—«Подождите-с, Афанасий Прокопьевич,—через неделю я вам привезу все деньги»,—говорил Достоевский.—«Да поймите же вы, наконец, что мне деньги сейчас нужны!»—«На что же сейчас-то?»—«Теплого пальто вон у меня нет, платья нет».—«А знаете ли, что у меня знакомый портной есть; у него все это в кредит можно купить, я после заплачу ему из ваших денег».—И Достоевский повез Щапова к портному-еврею, который снабдил историка каким-то пальто, сюртучком, жилетом и штанами весьма сомнительного свойства и поставленными в счет очень дорого, на что потом жаловался непрактический Щапов». Эта выдержка из «Дела» была перепечатана в «Новом Времени» (1876, № 40). Ф. М. Достоевский был очень возмущен и, приведя выдержку, горячо выступил на защиту брата, говоря: «Я твердо уверяю, что весь этот анекдот лишь одна нелепость и, если некоторые обстоятельства в нем не выдумка, то, по крайней мере, все факты извращены и правда в высшей степени пострадала... Мне совершенно известно, что журнал «Время»

ском, как редакторе-издателе «Времени» и «Эпохи» 1) в примечаниях к «Воспоминаниям об А. А. Григорьеве» Н. Н. Страхова, помещенных в «Эпохе», 1864, кн. IX, стр. 51—55 и перепечатанных в сборнике: «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». Спб., 1883, стр. 208—212; 2) в статье: «За умершего», помещенной в «Дневнике писателя», 1876, апрель и перепечатанной в его сочинениях. Кроме указанных статей Ф. М. Достоевского, о М. М. Достоевском см.: 1) «Русский Биографический Словарь». Изд. Русского Исторического Общества. Дабелов-Дядьковский. Спб., 1905, стр. 607—608; 2) С. А. Венгеров. «Источники словаря русских писателей». Т. II, Спб., 1910, стр. 297; 3) «А. А. Григорьев. Материалы для биографии». Под ред. В. Княжнина. Пгр., 1917; 4) Биографию, приложенную к «Собранию сочинений М. М. Достоевского». Т. I, Пгр., 1915, стр. V—VII.

имел блестящий по тогдашнему успех. Известно мне тоже, что расчеты с писателями не только не производились в долг, но, напротив, постоянно выдавались весьма значительные суммы вперед сотрудникам. Про это-то уж я знаю и много раз бывал свидетелем. И в сотрудниках журнал не нуждался: они сами приходили и присылали статьи во множестве, еще с первого года издания; стоит просмотреть №№ «Времени» за все 2½-ю года издания, чтоб убедиться, что в нем участвовало огромное большинство тогдашних представителей литературы. Так не могло бы быть, если-б брат не платил сотрудникам, или, вернее, неблагородно бы вел себя с сотрудниками... Брат не мог «затягивать уплату Щапову», да еще тогда, когда у того не было платья. Если же Щапов попросил брата к себе, то не «выведенный из терпения» за неуплату, а именно *прося денег вперед*, подобно многим другим». Письма М. М. Достоевского к М. Ф. Де-Пуле и Н. С. Милошевичу и письма Н. С. Милошевича к М. Ф. Де-Пуле, с несомненностью, устанавливают, что М. М. Достоевский в 1862 г., как раз в то время, к которому относится приведенный эпизод с А. П. Щаповым, задерживал уплату гонорара сотрудникам, вынужденный, повидимому, тяжелым материальным положением.

А. Фомин.

БИБЛИОТЕКА
891.7
Д-70-с
Раб. клуба
им. т. АНРОПОВА

ОГЛАВЛЕНИЕ.

стр.

От редактора I

ЧАСТЬ I.

С. АСКОЛЬДОВ. Религиозно-этическое значение Достоевского 1
Л. КАРСАВИН. Достоевский и католичество 35
Н. ЛОССКИЙ. О природе сатанинской (по Достоевскому) 67
И. ЛАПШИН. Эстетика Достоевского 95
Э. Л. РАДЛОВ. Соловьев и Достоевский 155

ЧАСТЬ II.

В. КОМАРОВИЧ. Ненаписанная поэма Достоевского 177
В. ВИНОГРАДОВ. Стиль петербургской поэмы «Двойник» 211
Е. ПОКРОВСКАЯ. Достоевский и Петрашевцы 257
А. ДОЛИНИН. Достоевский и Герцен 275
Л. К. ИЛЬИНСКИЙ. Ф. М. Достоевский и Гл. Ив. Успенский 327

ЧАСТЬ III.

Неизданные произведения Достоевского. (Сообщил А. Долинин).
Неналечатанные страницы из «Записок из Мертвого Дома» 359
С. ПЕРЕСЕЛЕНКОВ. Старина о «Петрашевцах» 369

Письма и воспоминания.

Письма к А. Майкову и другим (сообщил Б. Л. Модзалевский) 379
Из сношений Ф. М. и М. М. Достоевских с Я. П. Полонским (сообщил Н. Козмин) 453
Два письма Ф. М. Достоевского к П. Е. Гусевой (сообщил М. Л. Гофман). 461
Письма Ф. М. Достоевского к Валиханову и к Каченовскому (сообщил Д. И. Абрамович) 467
Два письма Ф. М. Достоевского к Н. А. Гончарову (сообщил А. Лященко). 472
Воспоминания А. Г. Достоевской (сообщил М. Л. Гофман) 477
Неизданные письма М. М. Достоевского к М. Ф. Де-Пуле и Н. С. Милошевичу. К истории журнала «Время» (сообщил А. Фомин) 507

2007334943